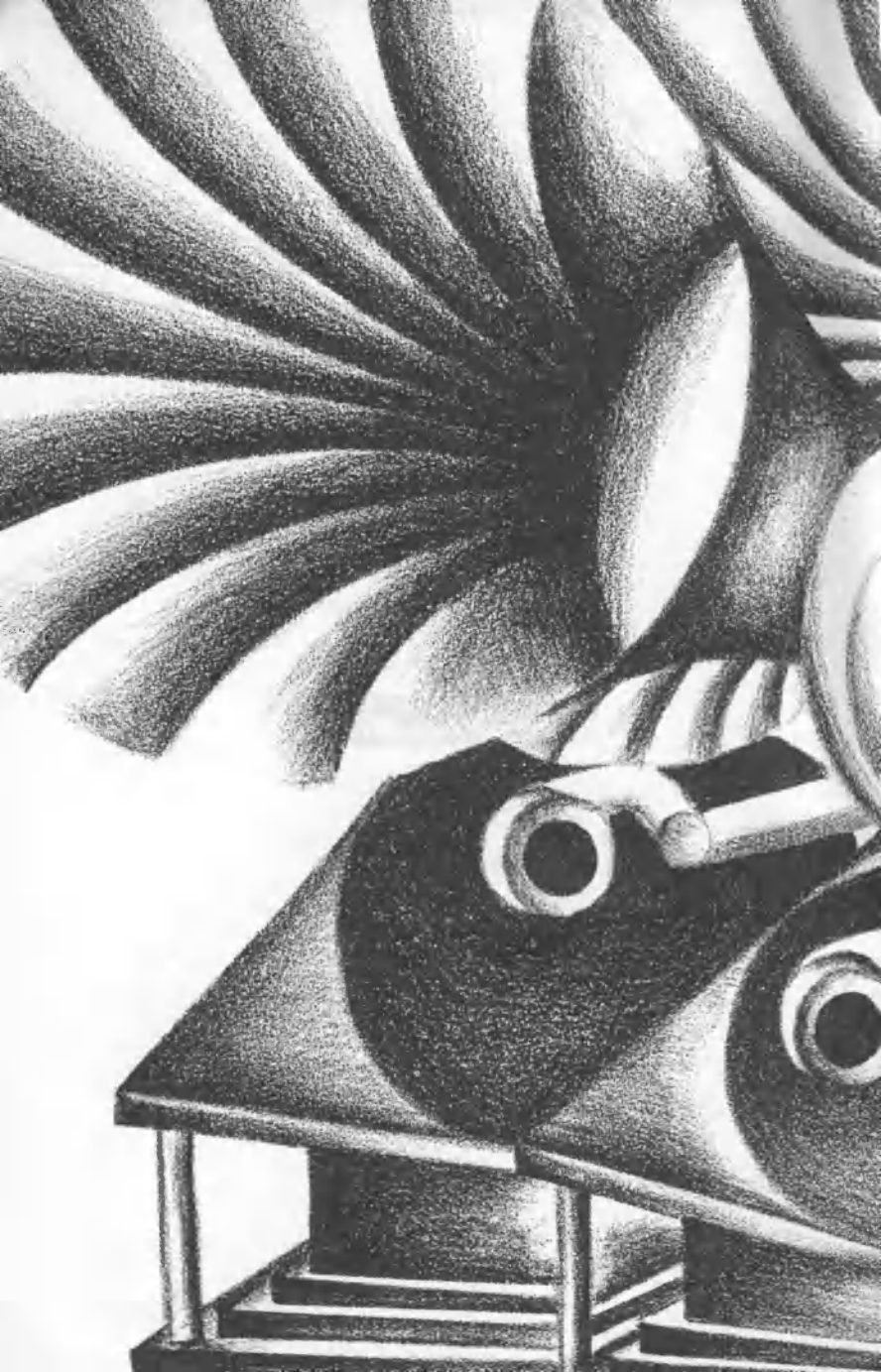
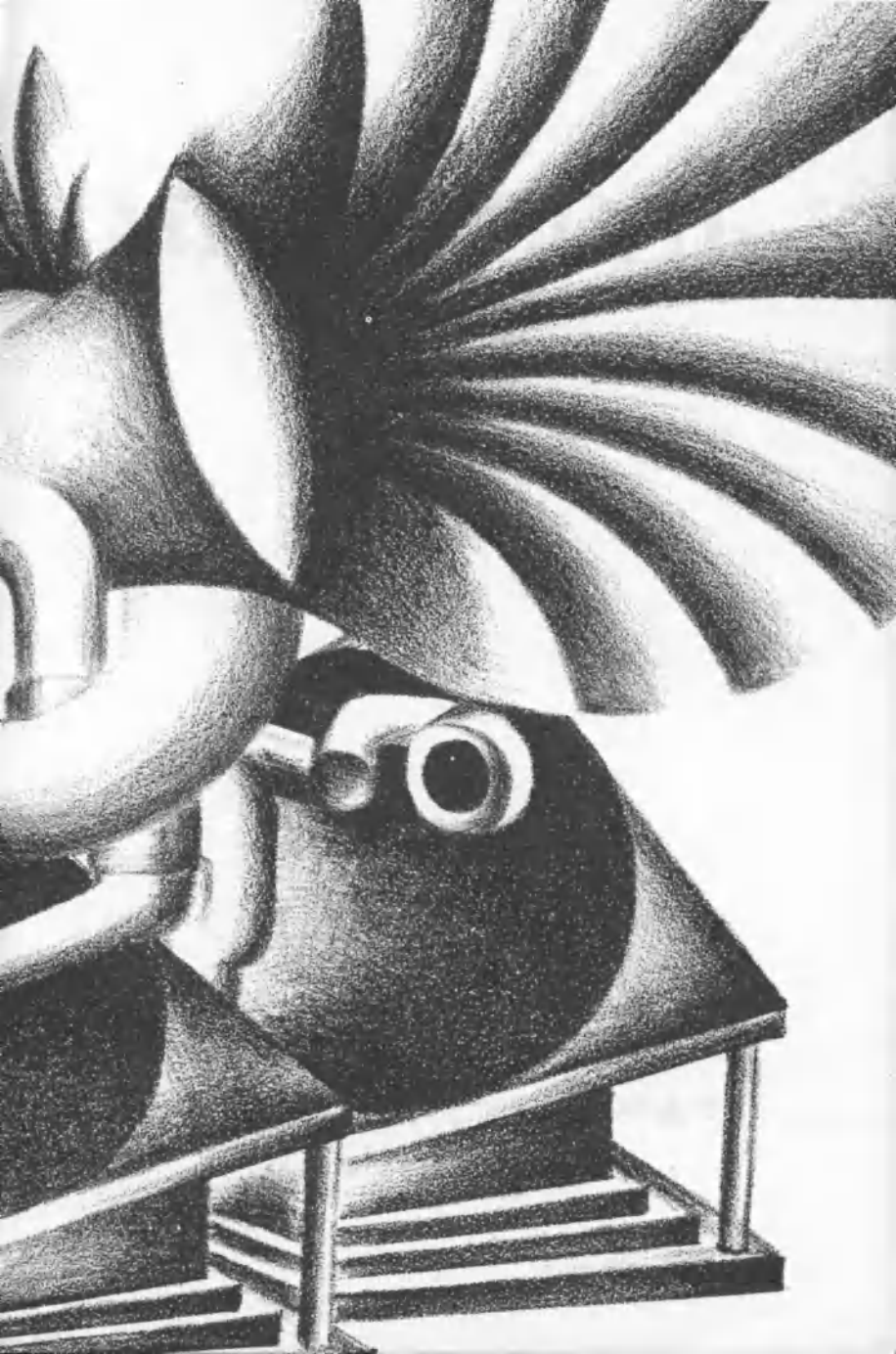


МЕТРОПОЛЬ









МЕТРОПОЛЬ

литературный
альманах

АНН АРБОР

АР ▲ ИС

Москва
1979

Copyright ©1979 by Metropol

Published by
ARDIS
2901 Heatherway
Ann Arbor, Michigan

ISBN 0-88233-475-1
Library of Congress Catalog No. 79-51643

World rights to "Metropol," exclusive of English
(published by Norton & Co.) and Russian
(published by Ardis), are held by
Editions Gallimard.

составили: В. АКСЕНОВ, А. БИТОВ, Вик. ЕРОФЕЕВ,
Ф. ИСКАНДЕР, Евг. ПОПОВ
макет Д. БОРОВСКОГО
фронтиспис Б. МЕССЕРЕРА

МЕТРОПОЛЬ, 1979 г.

Альманах «Метрополь» представляет всех авторов в равной степени. Все авторы представляют альманах в равной степени.

Альманах «Метрополь» выпущен в виде рукописи. Может быть издан типографским способом только в данном составе. Никакие добавления и купюры не разрешаются.

Произведения каждого автора могут быть опубликованы отдельно с разрешения данного автора, но не ранее, чем через один год после выхода альманаха. Ссылка на альманах обязательна.

МЕТРОПОЛЬ

Кому-то может показаться, что альманах «Метрополь» возник на фоне зубной боли. Это не так. Детище здоровое, и у всех авторов хорошее настроение.

Занимаясь литературой, на том и стоим: нет для нас дела более веселого и здорового, чем сочинение и показ сочиненного, а рождение нового альманаха, надо думать, для всех праздник.

Однако почему же возникла именно такая форма? Вопрос этот закономерен в устах человека, не вполне знакомого с некоторыми особенностями нашей культурной жизни. Не будет излишней дерзостью сказать, что жизнь сия страдает чем-то вроде хронической хворобы, которую можно определить то ли как «неприязнь к непохожести», то ли просто как «боязнь литературы». Муторная инерция, которая существует в журналах и издательствах, ведет к возникновению раздутой всеобщей ответственности за «штуку» литературы, не только не умеющей быть такой, как надо, но даже такой, как вчера. Эта всеобщая «ответственность» вызывает состояние застойного тихого перепуга, стремление подогнуть литературную «штуку» под ранжир. Внекомплектная литература обречена порой на многолетние скитания и бездомность. Слепой лишь не заметит, что такой литературы становится с каждым годом все больше и больше, что она уже образует как бы целый заповедный пласт отечественной словесности. (Наш альманах состоит главным образом из рукописей, хорошо знакомых редакциям.)

Мечта бездомного — крыша над головой; отсюда и «Метрополь» столичный шалаш, над лучшим в мире метрополитеном. Авторы «Метрополя» — независимые (друг от друга) литераторы. Единственное, что полностью объединяет их под крышей, это сознание того, что только сам автор отвечает за свое произведение; право на такую ответственность представляется нам священным. Не исключено, что упрочение этого сознания принесет пользу всей нашей культуре.

«Метрополь» дает наглядное, хотя и не исчерпывающее представление о бездомном пласте литературы.

Все желающие читать приглашаются с чистым сердцем.

Просьба воздерживаться от резких движений при переворачивании страниц.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

В О З В Р А Щ Е Н И Е

На шипастые кроны уселись грачи.
Боровицкий кирпич голубеет в ночи.
Перекрёстки — сычи.

Тишину заушающий скрежет и свист.
Свежевымытой станции гипсовый лист.
Жухлый мрамор скалист.

Задремал пассажир, точно хочет сказать:
скоро горе ты ложками будешь черпать,
в страхе руки сжимать.

Потаённая воля! Чужая судьба!
Пустотелых вагонов гремят короба.
Чу, гремят короба.

Полно, братец, шутить.
Поднимаю лицо.
С радиальной маньяком бегу на кольцо.

Мне-то что — я сегодня опять в барыше:
полчаса и, считай, что я дома уже.

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Над темной молчаливою державой
какое одиночество парить!
Завидую тебе, орел двуглавый,
ты можешь сам с собой поговорить.

ПУТЬ К ХРАМУ

Среди пути сухого
К пристанищу богов
Задумалась корова
В тени своих рогов.

Она смотрела грустно
На купол вдалеке
И туловище грузно
Покоила в песке.

Далекий дым камильниц,
И отсвет рыжины,
И томность глаз-чернильниц
Вдруг стали мне нужны.

По морю-океану
Вернусь я в город свой,
Когда я богом стану
С коровьей головой.

Там, где железный скрежет,
Где жар и блеск огня,
Я знаю, не прирежут
И не сожгут меня.

Тогда-то я в коровник
Вступлю, посол небес,
Верней сказать, толковник
Таинственных словес.

Шепчу я втихомолку,
Что мы — в одной семье,
Что я наперсник волку
И духовник змее.

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ

Мизантропия — та же энтропия.
Всеобщий хаос, логарифм несчастья,
та мера одиночества, которой
мы меряем последние шаги.
Неужто тяжесть века в том повинна?
Неужто даже мы под этим гнетом
теряем форму, вязнем и течем?
Завистники, ревнивцы, честолюбцы,
давайте соберемся, как обычно,
слетимся все на наш последний шабаш,
в ладоши хлопнем, скажем заклинанье,
и обернемся лучшими друзьями,
а наши парниковые улыбки
так жарко разогреют атмосферу,
что впору выключать теплоцентраль.
давайте поиграем в доброту.
Я вам, вы мне. Хорошенькое дело.
Пока еще летает этот мячик,
все ничего. Но если он сорвется —
тогда хана. О Господи, неужто
никто ни перед кем не виноват?!

Троеглавая гидра семейства —
Вот питающий мой чернозем.
Хорошо бы найти свое место,
И остаться на месте своем.

Двух столиц неприкаянный житель,
Обитатель убогих квартир,
Обещаний своих нарушитель
Я давно сам себе командир.

Но обузой бессмертному телу
Становился избыточный вес,
И предался я гневу и тлену,
Как пилот не достигший небес.

О, как тяжело быть мужем и сыном,
Малой дочери сирым отцом,
Но страшнее остаться рассыльным
И готовым на все молодцом.

Хватит, хватит, достаточно, полно —
Не скрываю, до вас довожу:
Да, я жил иступленно и подло,
И ужасней еще заживу.

Не преступишь границ неприступных,
То ли дело когда под рукой
Остающийся для бесприютных
Троецарственный женский покой.

Постучуся я утречком рано,
Вы еще не зажжете огня.
Мама, Галя и дочь моя Анна,
Пропустите, простите меня.

Инна ЛИСНЯНСКАЯ

У нищих прошу подаюню,
Богатым сама подаю.
И входит второе дыханье
В охрипшую глотку мою:

Подайте мне ваше терпенье
На паперти жизни стоять
И посохом щупать ступени
Земли, отступающей вспять!

Подайте мне дар беззащитный
Угадывать издалека
Дающих в толпе ненасытной, —
Да не оскудеет рука!

Подайте мне вашу беспечность
Не думать, не знать наперед,
И кружку поставив под вечность,
Отведывать медленный мед!

Бесчувственные к оплеухам
И милостивые к грехам,
Подайте, блаженные духом,
А я ненасытным подам.

Владимир ВЫСОЦКИЙ

ЛЕЧЬ НА ДНО

Сыт я по горло,
до подбородка.
Даже от песен стал уставать.
Лечь бы на дно,
как подводная лодка,
Чтоб не могли
запеленговать!

Друг подавал мне
водку в стакане,
Друг говорил, что это пройдет.
Друг познакомил с Веркой по пьяни, —
Верка поможет, а водка спасет.

Не помогли ни Верка, ни водка:
С водки — похмелье,
с Верки — что взять?
Лечь бы на дно,
Как подводная лодка,
И позывных
не передавать!

Сыт я по горло, сыт я по глотку,
Ох! надоело петь и играть.
Лечь бы на дно,
как подводная лодка,
Чтоб не могли
запеленговать!

Генрих САПГИР

ПОЛИФОНИОН

Шкатулка медь сургуч бутыль с клеймом
Музейный стул — с помойки уворован
Мы в мастерской у Сашеньки Петрова
Покрыты даже пылью тех времен

Я звучный ящик Полифонион
На желтой крышке ангел гравирован
Вложи железный диск полуметровый —
И звон! и Вифлеем! и фараон!

Ведь были же трактиры и калоши!
Всего себя в тоске переерошу...
Когда ж печать последнюю сниму —

Рожок играет и коза пасется
В арбатском переулке на снегу
Напротив итальянского посольства

МНОГО СОБАК И СОБАКА

Посвящено Василию Аксенову.

...Смеркалось на Диоскурийском побережье... — вот что сразу увидел, о чем подумал и что сказал слабоумный и немой Шелапутов, ослепший от сильного холодного солнца, айсбергом всплывшего в южные сады. Он вышел из долгих потемок чужой комнаты, снятой им на неопределенное время, в мимолетную вечную ослепительность и так стоял на пороге между тем и этим, затаившись в убежище собственной темноты, владел мгновением, длил миг по своему усмотрению: не смотрел и не мигал беспорядочно, а смотрел, не мигая, в близкую преграду сомкнутых век, далеко протянув разъятые ладони. Ему впервые удалась общая бестрепетная недвижимость закрытых глаз и простертых рук. Уж не исцелился ли он в Диоскурийском блаженстве? Он внимательно ранил тупые подушечки (или как их?...) всех пальцев, в детстве не прозревшие к черно-белому Гедике, огромным ледяным белым светом, марая его невидимые острия очевидными капельками крови, пронизательной ощупью узнавая каждую из семи разноцветных струн: толстая фиолетовая басом бубнила под большим пальцем, не причиняя боли. Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан. Отнюдь нет — не каждый. Шелапутов выпустил спектр из взволнованной пятерни, открыл глаза и увидел то, что предвидел. Было люто светло и холодно. Безмерное солнце, не уместаясь в бесконечном небе и бескрайнем море, для большей выгоды блеска не гнушалось никакой отражающей поверхностью, даже бледной кожей Шелапутова, не замедлившей ощетиниться убогими воинственными мурашками, единственно защищающими человека от всемирных бедствий.

Смеркалось на Диоскурийском побережье — не к серым насморочным сумеркам меркнувшего дня — к суровому мраку, к смерти цветов и плодов, к сиротству сирых — к зиме. Во всех прибрежных садах одновременно повернулись черные головы садоводов, обративших лица в сторону гор: там в эту ночь выпал снег.

Комната, одолженная Шелапутовым у расточительной судьбы, одинокая в задней части дома, имела независимый вход: гористую ржаво-каменную лестницу, с вершины которой он сейчас озирает изменившуюся окрестность. С развязным преувеличением постоялец мог считать своими отдельную часть сада, заляпанного приторными дребезгами хурмы, калитку, ведущую в море, ну, и море, чья вчерашняя рассеянная бесплотная лазурь к утру затвердела в непреклонную мускулистую материю. Шелапутову надо было спускаться: в предгорьях лестницы, уловив возлюбленное веяние, мощную лакомую волну воздуха, посланную человеком, заюлила, затявкала, заблеяла Ингурка.

Но кто Шелапутов? Кто Ингурка?

Шелапутов — неизвестно кто. Да и Шелапутов ли он? Где он теперь и был ли на самом деле?

Ингурка же была, а может быть, и есть лукавая подбострастная собака, в детстве объявленная немецкой овчаркой и приобретенная год назад за бутылку (из-под виски) бешеной сливовой жижи. Щенка нарекли Ингуром и посадили на цепь, дабы взлелеять свирепость, спасительную для сокровищ дома и плодоносящего сада. Ингур скромно рос, женственно вилял голодными бедрами, угожливо припадал на передние лапы и постепенно утвердился в нынешнем имени, поле и облике: нечеткая помесь пригожей козы и неказистого волка. Цепь же вопросительно лежала на земле, вцепившись в отсутствие пленника. На исходе этой осени к Ингурке впервые пришла темная сильная пора, щекотно зудящая в подхвостьи, но и возвышающая душу для неведомого порыва и помысла. В связи с этим за оградой сада, не защищенной сторожевым псом и опутанной колючей проволокой, теснилась разномастная разноликая толпа кобелей: нищие горемыки, не все дотянувшие до чина дворняги за неимением двора, но все с искаженными чертами славных собачьих пород, опустившиеся призраки предков, некогда населявших Диоскурию. Один был меньше других потрепан жизнью: ярко оранжевый заливистый юнец, безукоризненный

Шарик, круглый от шерсти, как спиц, но цвета закатной меди.

Несмотря на сложные личные обстоятельства, Ингурка, по своему обыкновению, упала в незамедлительный обморок любви к человеку, иногда — деловой и фальшивый. Шелапутов, несомненно, был искренне любим, с одним изъяном в комфорте нежного чувства: он не умещался в изворотливом воображении, воспитанном цепью, голодом, окриками и оплеухами. Он склонился над распростертым изнывающим животом, усмехаясь неизбежной связи между почесыванием собачьей подмышки и подергиванием задней ноги. Эту скромную закономерность и все Ингуркины превращения с легкостью понимал Шелапутов, сам претерпевший подобные перемены, впавшей в обратность тому, чего от него ждали и хотели люди и чем он даже был еще недавно. Но, поврежденным умом, ныне различавшим лишь заглавные смыслы, он не мог проследить мерцающего пунктира между образом Ингурки, прижившимся в его сознании, и профилем Гете над водами Рейна. Он бы еще больше запутался, если бы умел вспомнить историю, когда-то занимавшую его, о внучатой племяннице великого немца, учившейся возить нечистоты вблизи северных лесов и болот, вдали от Ваймара, но под пристальным приглядом чистопородной немецкой овчарки. То-то было смеху, когда маленькая старая дама в неуместных и трудно достижимых бükлях наострилась прибавлять к обращению «Пфертхен, пфертхен» необходимое понукание, не понятное ей, но заметно ободряющее лошадь. Уж не зная этой зауми, Шелапутов двинулся в обход дома, переступая через слякоть разбившихся о землю плодов. Ингурка опасалась лишний раз выходить из закулисья угодий на парадный просцениум и осталась нюхать траву, не глядя на обожателей, повисших на колючках забора.

Опасался бы и Шелапутов, будь он в здравом уме.

Безбоязненно появившись из-за угла, Шелапутов оценил прелесть открывшейся картины. Миловидная хозяйка пансиона мадам Одетта, сияя при утреннем солнце, трагически озидала розы, смертельно раненные непредвиденным морозом. Маленькая нежная музыка задрезбуждала и прослезилась в спящей памяти Шелапутова, теперь пребывавшей с ним в двоюродной близости, сопутствующей ему сторонним облачком, прозрачной вольнолюбивой сферой, ускользающей от прикосновения. Это была тоска по чему-то кровно

родимому, по незапамятному пра-отчеству души, откуда ее похитили злые кочевники. Женщина, освещенная солнцем, алое варенье в хрустале на белой скатерти, розы и морозы, обреченные друг другу божественной шуткой и вот теперь совпавшие в роковом свадебном союзе... Где это, когда, с кем это было? Была же и у Шелапутова какая-то родина — роднее речи, ранящей рот, и важности собственной жизни? Но почему так далеко, так давно?

Некоторое время назад приезжий Шелапутов явился к мадам Одетте с рекомендательным письмом, объясняющим, что податель сего, прежде имевший имя, ум, память, слух, дар чудной речи, временно утратил все это и нуждается в отдыхе и покое. О деньгах же не следует беспокоиться, поскольку в них без убытка воплотилось все, прежде крайне необходимое, а теперь даже не известное Шелапутову.

Он, действительно, понес эти потери, включая не перечисленное в их списке обоняние. В тот день и час своей высшей радости и непринужденности он шел сквозь пространственный многолюдный зал, принятый им за необитаемую Долину Смерти, если идти не в сторону благодатного океана, а иметь ввиду расшибить лоб и тело о неодолимый Большой Каньон. Прямо перед ним, на горизонте, глыбилось возвышение, где за обычным длинным столом двенадцать раз подряд сидел один и тот же человек, не имевший никаких, пусть даже невзрачных, черт лица: просто открытое пустое лицо без штрихов и подробностей. Слаженным дюжинным хором громко вещающего чрева он говорил что-то, что ясно и с отвращением слышал Шелапутов, взятый на предостерегающий прицел его двенадцати указательных пальцев. Он шел все выше и выше, и маленький бледный дирижер, стоящий на яркой заоблачной звезде, головой вниз, к земле и Шелапутову, ободрял его указующей палочкой, диктовал и молил, посылал весть, что нужно снести этот протяжный миг и потом уже предаться музыке. Шелапутов вознесся на деревянное подобие парижского уличного писсуара, увидел свет небосвода и одновременно графин и недопитый стакан воды, где кишели и плодились рослые хищные организмы. Маленький дирижер еще тянул к нему руки, когда Шелапутов, вернее, тот человек, которым был тогда Шелапутов, упал навзничь и потерял все, чем ведал в его затылке крошечный всемогущий пульт. Его несбывшаяся речь, хоть и произвела плохое впечатление, была прощена ему как понятное и добродетельное волнение. Никто, включая самого оратора, никогда

не узнал и не узнает, что же он так хотел и так должен был сказать.

И вот теперь, не ощущая и не умея вообразить предсмертного запаха роз, он смотрел на мадам Одетту и радовался, что она содеяна из чего-то голубовато-румяного, хрупкого и пухлого вместе (из фарфора, что ли? — он забыл, как называется), оснащена белокуроыми волосами и туманными глазами, склонными расплываться влагой, посвященной жалости или искусству, но не отвлекающей трезвый зрачок от сурового безошибочного счета. Что ж, ведь она была вдова, хоть и опершаяся стыдливо на прочную руку Пыркина, но не принявшая вполне этой ищущей руки и чужой низкородной фамилии. Ее муж, скромный подвижник французской словесности, как ни скрывал этого извращенного пристрастия, вынужден был отступать под всевидящим неодобрительным прищуром — в тень, в глушь, в глубь злоключений. Когда он остановился, за его спиной было море, между грудью и спиной — гниlostное полыхание легких, а перед ним — магнолия в цвету и Пыркин в расцвете сил, лично приехавший проверять документы, чтобы любоваться страхом мадам Одетты, плачущим туманом ее расплывчатых глаз и меткими твердыми зрачками. Деваться было некуда и он пятился в море, выпадающее в мироздание, холодея и сгорая во славу Франции, о чем не узнал ни один соотечественник Орлеанской девы (инкогнито Шеллапутова родом из других мест). Он умер в бедности, в хижине на пустыре, превращенных умом и трудом вдовы в благоденствие, дом и сад. «Это все — его», — говорила мадам Одетта, слабым коротким жестом соединяя портрет эссеиста и его посмертные владения, влажнея глазами и сосредоточив зрачки на сохранности растения фэйхоа, притягательного для прохожих сластен. При этом Пыркин посылал казнящий каблук в мениск ближайшего древесного ствола, или в безгрешный пах олеандрового куста, или в Ингурку, забывшую обычную предусмотрительность ради неясной мечты и тревоги. Но как женщине обойтись без Пыркина? Это всегда трудно и вовсе невозможно при условии неблагоприятного прошлого, живучей красоты и общей системы хозяйства, не предусматривающей процветание частного пансиона с табльд-отом. Да и в безукоризненном Пыркине, честно и даже с некоторой роскошью рвения исполнявшем свой долг вплоть до отставки и пенсии, были трогательные изъяны и слабости. Например: смелый и рав-

нодушный к неизбежному небытию всех каких-то остальных, перенасытившему землю и воздух, он боялся умереть во сне и, если неосторожно слабел и засыпал, кричал так, что даже невменяемый Шелапутов слышал и усмехался. Кроме того, он по-детски играл с непослушанием вещей. Если складной стул, притомившись или распоясавшись, разъезжался в двойной неполный «шпагат», Пыркин, меняясь в лице к худшему, орал: «Встать!» — стул вставал, а Пыркин усаживался читать утреннюю почту. По возрасту и общей ненадобности отстраненный от недовершенных дел, Пыркин иногда забывался и с криком: «Молчать!» — рвал онемевшую от изумления неоспоримую газету в клочки, которые, опомнившись, надменно воссоединялись. Но обычно они не пререкались и не дрались и Пыркин прощался с чтением, опять-таки непозволительно фривольно, но милостиво: «Одобряю. Исполняйте». Затем Пыркин вставал, а отпущенный стул вольно садился на расхлябанные ноги. И была у него тайна, ради которой, помрачнев и замкнувшись, он раз в декаду выезжал в близлежащий городок, где имел суверенную жилплощадь — мадам Одетта потупляла влажную голубизну, но зрачок сухо видел и знал.

Непослушная глухонемая вещь Шелапутов понятия не имел о том, что между ним и Пыркиным свищет целый роман, обоюдная тяга ненависти, подобной только любви неизъяснимостью и полнотой страсти. Весь труд тяжелой взаимной неприязни пал на одного Пыркина, как если бы, при пилке дров, один пильщик ушел пить пиво, предоставив усердному напарнику мучиться с провисающей, вкривь и вкось идущей пилою. Это небрежное отлынивание от общего дела оскорбляло Пыркина и внушало ему робость, в которой он был неопытен. В присутствии Шелапутова заколдованный Пыркин не лягал Ингурку, не швырял камней в ее назревающую свадьбу, не хватался за ружье, когда стайка детей снижала крылышки к вожделенному фэйхоа.

В ямбическое морозно-розовое утро, завидев Шелапутова, Пыркин, за спиной мадам Одетты, тут же перепосвятил ему ужасные рожи, которые корчил портрету просвещенного страдальца и подлинного хозяина дома.

Но Шелапутов уже шел к главному входу-выходу: за его нарядными копыями золотилась девочка Кетеван. Узкая, долгая, протянутая лишь в высоту, не имеющая другого объема, кроме продолговатости, она протлевала себя вста-

ванием на носки, воздеванием рук, удлинняя простор, тесный для бега юной крови, бесконечным жестом, текущим в пространство. Так струилась в поднебесье, переливалась и танцевала, любопытствуя и страшась притяжения между замороженными псами и отстраненно — нервной Ингуркой. Девочка была молчаливей безмолвного Шелапутова: он иногда говорил, и сказал:

— Ну, что, дитя? Кто такая, откуда взялась? Легко ли состоять из ряби и зыби, из непрочных бликов, летящих прочь, в родную вечность неба и моря и снега на вершинах гор?

Он погладил сплетение радуг над ее египетскими волосами. Она отвечала ему вспышками глаз и робкого смеющегося рта, соловьиными пульсами запястий, висков и лодыжек, и уже переместилась и сияла в отдалении, ничуть не темней остального воздуха, его сверкающей дрожи.

Сзади донесся многократный стук плодов о траву, это Пыркин заехал инжировому дереву: он ненавидел инородцев и лучшую пору жизни потратил на выдворение смуглых племен из их родных мест в свои родные места.

Шелапутов пошел вдоль сквозняка между морем и далекими горами, глядя на осеннее благоденствие угодий. Мир вам, добрые люди, хватит скитаний, хватит цинги, чернящей рот. Пусторукий и сирий Шелапутов, предавшийся проголоди и беспечности мыслей, рад довольству, населившему богатые двухэтажные дома. Здравствуй, Варлам, пляшущий в деревянной выдолбине по колено в крови на время убитого винограда, который скоро воскреснет вином. Здравствуй, Полина, с мокрым слитком овечьего сыра в хватких руках. Соседи еще помнят, как Варлам вернулся из долгой отлучки с чужеродной узкоглазой Полиной, исцелившей его от смерти в дальних краях, был отвергнут родней и один неистово гулял на своей свадьбе. Полина же заговорила на языке мужа — о том, о сем, о хозяйстве, как о любви, научилась делать лучший в округе сыр и оказалась плодородной, как эта земля, без утайки отвечающая труду избытком урожая. Смиренные родные приходили по праздникам или попросить займы денег, недостающих для покупки автомобиля, — Полина не отказывала им, глядя поверх денег и жалких людей мстительным припеком узкоглазья. Дети учились по разным городам и только первенец Гиго всегда был при матери. Здравствуй и ты, Гиго, втуне едящий хлеб и пьющий вино, Полине ничего не жаль для твоей красоты,

перекатывающей волны мощи под загорелой цитрусовой кожей. А что ты не умеешь читать — это к лучшему, все книги причиняют печаль. Да и сколько раз белотелые северянки прерывали чтение и покидали пляж, следуя за тобой в непроглядную окраину сада.

На почте, по чьей-то ошибке, из которой он никак не мог выпутаться, упирающемуся Шеллапутову вручили корреспонденцию на имя какой-то Хамодуровой и заставили расписаться в получении. Он написал: «Шеллапутов. Впрочем, если Вам так угодно, — Хамов и Дуров». Терзаемый тревогой и плохими предчувствиями, утяжелившими сердцебиение, вдруг показавшееся неблагополучным и ведущим к неминуемой гибели, он не совладал с мыслью о подземном переходе, вброд пересек мелкую пыльную площадь и вошел в заведение «Апавильон».

Стоя в очереди, Шеллапутов отдыхал, словно, раскинув руки, спал и плыл по сильной воде, знающей путь и цель. Числившийся членом нескольких союзов и обществ и почетным членом туманной международной лиги, он на самом деле был только членом очереди, это было его место среди людей, краткие каникулы равенства между семестрами одиночества. Чем темней и сварливей было медленное течение, закипающее на порогах, тем явственней он ощущал нечто, схожее с любовью, с желанием жертвы, конечно, никчемной и бесполезной.

Он приобрел стакан вина, уселся в углу и стал, страдая, читать. Сначала — телеграмму: «вы срочно вы зываетесь объявления вы говора занесением личное дело стихотворение природе итог увяданья подводит октябрь». Эта заведомая бессмыслица, явно нацеленная в другую мишень, своим глупым промахом приласкала и утешила непричастного уцелевшего Шеллапутова. Если бы и дальше все шло так хорошо! Но начало вскрытого письма: «Дорогая дочь, я призываю тебя, более того, я требую...» — хоть и не могло иметь к нему никакого отношения, страшно испугало его и расстроило. Его затылок набряк болью, как переспелая хурма, готовая сорваться с ветки, и он стиснул его ладонями, спасая от забвения и падения. Так он сидел, укачивая свою голову, уговаривая ее, что это просто продолжение нелепой и не опасной путаницы, преследующей его, что он не причем и все обойдется. Он хотел было отпить вина, но остерегся возможного воспоминания о нежном обезболивании, затмевающим и целующем мозг в обмен на струйку

души, отлет чего-то, чем прежде единственно дорожил Шеллапутов. Оставался еще пакет — прежде — запиской, звавшей его скорее окрепнуть и вернуться в обширное покинутое братство... уж не те ли ему писали, с кем он только что стоял в очереди, дальше которой он не помнил и не искал себе родни?... ибо есть основания надеяться на их общее выступление на стадионе. «Как — на стадионе? Что это? С кем они все меня путают?» — неповоротливо подумал Шеллапутов и увидел каменное окружье, охлестнувшее арену, белое лицо толпы и опустившего голову быка, убитого больше, чем это надо для смерти, опустошаемого несколькими потоками крови. К посланию был приложен бело-черный свитер, допекавший Шеллапутова навязчивыми вопросами о прошлом и будущем, на которые ему было бы легче ответить, обладай он хотя бы общедоступным талантом различать запахи. Брезгливо пригнувшись и ничего не узнав, он накинул свитер на спину и завязал рукава под горлом, при чем от очереди отделился низкорослый задыхающийся человек и с криком: «Развяжи! Не могу! Душно!» — опустошил забытый Шеллапутовым стакан.

Шеллапутов поспешил развязать рукава и пошел прочь.

Вещь, утепляющая спину, продолжала свои намеки и недомолвки, и близорукая память Шеллапутова с усилием вглядывалась в далекую предысторию, где неразборчиво брезжили голоса и лица, прояснявшиеся в его плохие ночи, когда ему снился живой горячий страх за кого-то и он просыпался в слезах. Все расплывалось в подслеповатом бинокле, которым Шеллапутов пытал былое, где мерещилась ему мучительная для него певичка или акробатка, много собравшая цветов на полях своей неопределенной деятельности. Уж не ее ли был его свитер? Не от нее ли с омерзением бежал Шеллапутов, выпроставшись из кожи и юркнув в расщелину новой судьбы? Ужаснувшись этому подозрению, он проверил свои очертания. К счастью, все было в порядке: бесплотный бесполой силуэт путника на фоне небосвода, легкая поступь охотника, не желающего знать, где сидит фазан.

Возвращаясь, Шеллапутов встретил слоняющегося Гиго, без скуки изживающего излишек сил и времени. Сохатосроslый и стройный, он объедал колючие заросли ежевики и вдруг увидел сладость слаще ягод: бело-черный свитер, вяло обнимавший Шеллапутова.

— Дай, дай! — закланчил Гиго. — Ты говорил: «Гиго,

не бей собак, я тебе дам что-нибудь». Гиго не бьет, он больше не будет. Дай, дай! Гиго наденет, покажет Кетеван.

— Бери, бери, добрый Гиго, — сказал Шелапутов. — Носи на здоровье, не бей собак, не трогай Кетеван.

— У! Кетеван! У! — затрубил Гиго, лаская милую обнову.

Шелапутов сделал маленький крюк, чтобы проведать двор писателя, где его знакомый старый турок плел из прутьев летнюю трапезную, точное подражание фольклорной крестьянской кухне с открытым очагом посредине, с крюком над ним для копчения сыра и мяса. Прежде, чем войти, Шелапутов, вздыбив невидимую шерсть, опушившую позвоночник, долго вглядывался в отсутствие хозяина дома. Прослышав о таинственном Шелапутове, любознательный писатель недавно приглашал его на званый ужин и перепуганный несостоявшийся гость несколько не солгал, передав через мадам Одетту, что болезнь его, к сожалению, усугубилась.

— Здравствуй, Асхат, — сказал Шелапутов. — Позволь войти и посидеть немного?

Старик приветливо махнул рукой, покореженной северным ревматизмом, но не утратившей ловкости и красоты движений. Ничего не помнил, все знал Шелапутов: час на сборы, рыдания женщин и детей, уплотнившие воздух, молитвы стариков, разграбленная серебряная утварь, сожранная скотина, смерть близких, долгая жизнь, совершенство опыта, но откуда в лице этот покой, этот свет? Именно люди, чьи бедствия тоже пестовали увеличивающийся недуг Шелапутова, теперь были для него отрадны, успокоительны и целебны. Асхат плел, Шелапутов смотрел.

Подойдя к своей калитке, он застал пленительную недосяжимую Ингурку вплотную приблизившейся к забору: она отчужденно скосила на него глаза и условно пошевелила хвостом, имеющим новое, не относящееся к людям выражение. Собаки в изнеможении лежали на земле, тяжело дыша длинными языками, и только рыжий голосистый малыш пламенел и звенел.

И тогда Шелапутов увидел Собаку. Это был большой старый пес цвета львов и пустынь, с обрубленными ушами и хвостом, в клеймах и шрамах, не скрытых короткой шерстью, с обрывком цепи на сильной шее.

— Се лев, а не собака, — прошептал Шелапутов и, с воспламенившимся и уже тоскующим сердцем, напрямик

шагнул к своему льву, к своей Собаке, протянул руку и сразу совпали выпуклость лба и впадина ладони.

Пес строго и спокойно смотрел желтыми глазами, нахмурив для мысли темные надбровья. Шеллапутов осторожно погладил зазубрины обкромсанных ушей — тупым ножом привечали тебя на белом свете, но ничего, брат мой, ничего. Он попытался разъединить ошейник и цепь, но это была сталь, навсегда прикованная к стали, — ан ничего, посмотрим.

Шеллапутов отворил калитку, с раздражением одернув оранжевого крикуна, ринувшегося ему под ноги: «Да погоди ты, ну-ка — пошел». Освобожденная Ингурка понеслась вдоль моря, окруженная усталыми преследователями. Сзади медленно шел большой старый пес.

Так цвел и угасал день.

Пристанище Шеллапутова, расположенное на отшибе от благоустройства дома, не отапливалось, не имело электрического и света и стекла в зарешеченном окне. Этой комнатой гнушались прихотливые квартиранты, но ее любил Шеллапутов. Он приготовился было уподобиться озябшим розам, как вдруг, в чепчике и шали, кокетливо появилась мадам Одетта и преподнесла ему бутылки с горячей водой для согревания постели. Он отнес эту любезность к мягкосердечию ее покойного мужа, сведущего в холоде грустных ночей: его робкая тень и прежде заметно благоволила к Шеллапутову.

Красное солнце волнуяще быстро уходило за мыс, и Шеллапутов следил за его исчезновением с грустью, превышающей обыденные обстоятельства заката, словно репетируя последний миг существования. Совсем рядом трудилось и шумело море. Каждую ночь Шеллапутов вникал в значение этого мерного многозвучного шума. Что знал, с чем обращался к его недалекости терпеливый гений стихии, монотонно вбивавший в камень суши одну и ту же непостижимую мысль?

Шеллапутов возжег свечу и стал смотреть на белый лист бумаги, в котором не обитало и не проступало ничего, кроме голенастого шестиногого паучка, резвой дактилической походкой снующего вдоль воображаемых строк. Уцелевшие в холоде ночные насекомые с треском окунали в пламя теплые крылья. Зачем все это? — с тоской подумал Шеллапутов. И чего хочет эта ненасытная белизна, почему так легко принимает жертву в муках умирающих, мясистых и сум-

рачных мотыльков? И кто волен приносить эту жертву? Неужто вымышленные буквы, приблизительно обозначающие страдание, существеннее и драгоценней, чем бег паучка и все мелкие жизни, сгорающие в чужом необязательном огне? Шеллапутов, и всегда тяготившийся видом белой бумаги, с облегчением задул свечу и сразу же различил в разгулявшемся шелесте ночи одушевленно-железный крадущийся звук. Шеллапутов открыл дверь и сказал в темноту: «Иди сюда». Осторожно ступая, тысячелетним опытом беглого каторжника умеряя звон цепи, по лестнице поднялась его Собака.

Шеллапутов в темноте расковырял банку тушонки — из припасов, которыми он тщетно пытался утолить весь голод Ингурки, накопленный ею к тому времени. И тут же в неприкрытую дверь вкатился Рыжий, повизгивая сначала от обиды, а потом — как бы всхлипывая и прощая. «Да молчи ты, по крайней мере», — сказал Шеллапутов, отделяя ему часть мясного и хлебного месива.

Наконец, улеглись: Собака возле постели, Шеллапутов — в теплые, трудно сочетаемые с телом бутылки, куда вслед за ним взлетел Рыжий и начал капризно устраиваться, вспльчиво прощелкивая зубами пушистое брюхо. «Да не толкайся ты, несносное существо, — безвольно укорил его Шеллапутов. — Откуда ты взялся на мою голову?» Он сильно разволновался от возни, от своего самовольного гостеприимства, от пугающей остановки беспечного гамака, в котором он дремал и качался последнее время. Он опустил руку и сразу встретил обращенную к нему большую голову Собаки.

Странно, что все это было на самом деле. Не Хамодурова, не Шеллапутов, или как там их зовут по прихоти человека, который в ту осень предписанного ликования, в ночь своей крайней печали лежал на кровати, теснимый бутылками, Рыжим и толчеей внутри себя, достаточной для нескольких жизней и смертей, не это, конечно, а было: комната, буря сада и закипающего моря, Собака, и человек, желавший все забыть и вот теперь положивший руку на голову Собаки и плачущий от любви, чрезмерной и непосильной для него в ту пору его жизни, а может быть, и в эту.

Было или не было, но из главной части дома, сквозь проницаемую каменную стену донеслось многоточие с восклицательным знаком в конце: это мадам Одетта ритуально пролепетала босыми ногами из спальни в столовую и

повернула портрет лицом к обоям. Рыжий встрепенулся спросонок и залился пронзительным лаем. Похолодевший Шелапутов ловил и пробовал сомкнуть его мягко обороняющиеся челюсти. После паузы недоумения в застенной дали стукнуло и грохнуло: портрет повернулся лицом к неприглядной яви, а Пыркин мощно брыкнул изножие кровати. Уже не впопыхах, удобно запрокинув морду, Рыжий предался долгой вдохновенной трели. Шелапутов больше не боролся с ним. «Сделай что-нибудь, чтоб он, наконец, заткнулся», — безнадежно сказал он Собаке, как и он, понимавшей, что он говорит вздор. Рыжий твякнул еще несколько раз, чтобы потратить возбуждение, отвлекающее от сна, звонко зевнул и все затихло.

За окном медленно, с неохотой светало. Из нажитого за ночь тепла Шелапутов смотрел сквозь решетку на серый зябкий свет, словно в темницу, где по обязанности приходил в себя бледный исполнительный узник. Пес встал и, сдержанно звякая цепью, спустился в сад. Рыжий спал, иногда поскуливая и часто перебирая лапами. Уже было видно, какой он яркий франт, какой неженка — по собственной одаренности, по причуде крови, заблудшей в месте судьбы, где собак нежить некому. Успел ли он поразить Ингурку красотой оперения, усиленной восходом, — Шелапутов не знал, потому что проснулся поздно. Сад уже оттаял и сверкал, а Шелапутов все робел появиться на хозяйской половине. Это живое чувство опять соотносило его с забытой действительностью, с ее привычным и когда-то любимым уютом.

Вопреки его опасениям, мадам Одетта, хоть и посмотрела на него очень внимательно, была легка и мила и предложила ему кофе. Шелапутов, подчеркнуто чуравшийся застольного и всякого единения, на этот раз заискивающе согласился. Пыркин, фальшивой опрометью побежал на кухню, вычурно кривляясь и приговаривая: «Кофейник, кофейник, ау! Скорее иди сюда!» — но тут же умолк и насупился: сегодня был его день ехать в город.

Мадам Одетта, построив подбородку грациозную подпорку из локотка и кулачка, благосклонно смотрела, как Шелапутов, отвыкший от миниатюрного предмета чашки, неловко пьет кофе. Ее губы округлялись, вытягивались, складывались в поцелуйное рыльце для надобности гласных и согласных звуков — их общая сумма составила фразу, дикий смысл которой вдруг ясно дошел до сведения Шелапутова:

— Помните, у Пруста это называлось: совершить катлею?

Он не только понял и вспомнил, но и совершенно увидел ночной Париж, фиакр, впускающий свет и тьму фонарей, борьбу, бормотание, первое объятие Свана и его Одеты, его жалкую победу над ее податливостью, столь распротертой и недостижимой, возглавленной маленьким спертым умом, куда не было доступа страдающему Свану. При этом, действительно, была повреждена приколотая к платью орхидея, чьим именем стали они называть безымянную безысходность между ними.

Шеллапутов прекрасно приживался в вымышленных обстоятельствах и в этом смысле был проницательно практичен. Малым ребенком, страдая от войны и непрерывной зимы, он повадился гулять в овальном пейзаже, врисованном в старую синюю сахарницу. По изогнутому мостику блеклого красного кирпича, лаская ладонью его нежный мох, он проходил над глухим водоемом, вступал в заросли купалы на том берегу и навсегда причислил прелесть желто-зеленых цветов в молодой зелени луга к любимым радостям детства и дальнейшей жизни. Он возвращался туда и позже, смелея от возраста и удлиняя прогулки. Из черемухового оврага по крутой тропинке поднимался на обрыв парка, увенчанный подгнившей беседкой, видел в просвете аллеи большой, бесформенно-стройный дом, где то и дело кто-то принимался играть на рояле, бросал и смеялся. Целомудренный зонтик прогуливался над стриженным кустарником. Какой-то господин, забывшись, сидел на скамье, соединив нарядную бороду и пальцы, оплетшие набалдашник трости, недвижно глядя в невидимый объектив светлыми, чуть хмельными глазами. Шеллапутов хорошо знал этих добрых беспечных людей, расточительных, невпопад влюбленных, томимых благородными помыслами и неясными предчувствиями. Он, крадучись, уходил, чтобы не разбудить их и скрыть от них, что ничего этого нет, что обожаемый кружевной ребенок, погоняющий обруч, давно превратился в прах и тлен.

Годы спустя, незадолго до постыдного публичного обморока, затаившись в руинах чьей-то дачи, он приспособился жить в чужеземстве настенного гобелена. Это было вовсе беспечальное место: с крепостью домика, увитого вечным плющом, с мельницей над сладким ручьем, с толстыми животными, опекаемыми пастушкой, похожей на мадам

Одетту, но, разумеется, не сведущей в Прусте. Там бы ему и оставаться, но он затосковал, разбранился с пастушкой, раздражавшей его шепелявыми ласкательными суффиксами, и бежал.

Вот и сейчас он легко променял цветущую Диоскурию на серую дымку Парижа, в которой и обитал палевый, голубой и лиловый фазан.

Две одновременные муки окликнули Шелапутова и вернули его в надлежащую географию. Первая была — маленькая месь задетой осы, трудящейся над красным вздутием его кисти. Вторая боль, бывшая больше его тела, коряво разрасталась и корчилась вовне, он был ею и натыкался на нее, может быть, потому, что шел вслепую напрямик, мимо дорожки к воротам и ворот, оставляя на оградительных шипах клочья одежды и кожи.

Бессмысленно тараша обрубки антенн, соотносящих живое существо с влияниями и зовами всего, что вокруг, он опять втеснился в душную темноту, достаточную лишь для малой части человека, для костяка, кое-как одетого худобою. Какие розы? Ах, да. Читатель ждет уж... Могила на холме и маленький белый монастырь с угловой темницей для наказанного монаха: камень, вплотную облегающий стоящего грешника, его глаза, уши, ноздри и губы, — благо ему, если он стоял вольготно, видел, слышал и вдыхал свет.

Потайным глубинным пеклом, загодя озирающим длительность предшествующего небытия, всегда остающимся про запас, чтобы успеть взглядеться в последующую запредельность и погаснуть, Шелапутов узнал и впитал ту, что стояла перед ним. Это и была его единственная родимая собственность: его жизнь и смерть. Ее седины развевались по безветрию, движимые круговертью под ними, сквозь огромные глаза виден был ад кипящей безвыходной мысли. Они ринулись друг к другу, чтобы спасти и спастись, и, конечно, об этом было слово, которое дымилось и пенилось на ее губах, которое здраво и грамотно видел и никак не мог понять Шелапутов.

Как мало оставалось мученья; лишь разгадать и исполнить ее заклинающий крик и приникнуть к, проникнуть в, вновь обрести блаженный изначальный уют, охраняемый ее урчащей когтистой любовью. Но что она говорит? Неужели предлагает мне партию на миллиарде? Или все еще хуже, чем я знаю, и речь идет о гольфе, бридже, триктраке? Или она нашла мне хорошую партию? Но я же не могу всего

этого, что нам делать, как искуплю я твою нестерпимую муку? Ведь я — лишь внешность раны, исходящей твоею бедною кровью. О, мама, неужели я умираю!

Они хватали и разбрасывали непреодолимый воздух между ними, а его все больше становилось. Какой маркшейдер ошибся, чтобы они так разминулись в прозрачной толще? Вот она уходит все дальше и дальше, протянув к нему руки, в латах и в мантии, в терновом венце и в погонах.

Шеллапутов очнулся оттого, что опять заметил свою руку, раненную осоею: кисть болела и чесалась, ладонь обнимала темя Собаки.

Опираясь о голову Собаки, Шеллапутов увидел великое множество моря с накипью серебра, сад, обманутый ослепительной видимостью зноя и опять желавший цвести и красоваться. На берегу ослабевшая Ингурка, вяло огрызаясь, уклонялась от неизбежной судьбы. Уже без гордости и жеманства стряхивала она то одни, то другие объятия. Рыжий всех разгонял мелким начальственным тоном. И другая стайка играла неподалеку: девочка Кетеван смеялась и убежала от Гиго.

Под рукой Шеллапутова поднялся закрик Собаки, и у Шеллапутова обострились лопатки. Он обернулся и увидел Пыркина, собравшегося в город. Он совсем не знал этого никакого человека и был поражен силою его взгляда, чья траектория отчетливо чернела на свету, пронзала затылок Шеллапутова, взрывалась там, где обрывок цепи, и успевала контузить окрестность. Он сладострастно посылал взгляд и не мог прервать этого занятия, но и Шеллапутов сильно смотрел на Пыркина.

Следуя к автобусной станции, Пыркин схватил камень гор вместе с домами и огородами и запустил ими в иноплеменную нечисть собак и детей, во всю дикоязыкую прустовую сволочь, норвящую бежать с каторги и пожирать фэйхоа.

— Вот что, брат, — сказал Шеллапутов. — Иди туда, не уступай Рыжему прощальной улыбки нашего печального заката. А я поеду в город и спрошу у тех, кто понимает: что делать человеку, который хочет уехать вместе со своею Собакой.

Пес понуро пошел. Шеллапутов не стал смотреть, как он стоит, опустив голову, пока Рыжий, наскакывая и отступая, поверхностно кусает воздух вокруг львиных лап, а Ингурка, в поддержку ему, морщит нос и дрожит верхней губой,

открывая неприязненные мелкие острия, при одобрении всех второстепенных участников.

Не стал он смотреть и на то, как Гиго ловит смеющуюся Кетеван. Разве можно поймать свет, золотой столбик неопределенной пыли? — а вот поймал же и для шутки держит над прибором, а прибор для шутки делает вид, что возьмет себе. Но она еще отбивается, еще утекает сквозь пальцы и свободно светится вдалеке — ровня лучу, неотличимая от остального солнца.

Престарелый автобус с брезентовым верхом так взбалтывал на ухабах содержимое, перемешивая разновидности, национальности, сорта и породы, что к концу пути все в нем стало равно потно, памято и едино, — кроме Пыркина и Шелапутова.

Вот какой город, какой Афинно-белый и колоннадный, с короной сооружения на главе горы; ну, не Парфенон, я, ведь, ни на что и не претендую, а ресторан, где кончились купаты, но какой любимый Шелапутовым город — вот он идет, богатый чужеземец, владелец выпрених излишеств пальм, рододендронов и эвкалиптов, гипса вблизи и базальта вдали. Лазурный, жгучий, волосатый город, вожделяющий царственной недоступной сестры: как бы смял он ее флер-д-оранж, у, Ницца, у!

Шелапутов, направляясь в контору Кука, как и всегда идучи, до отказа заведя руки на спину, крепко ухватившись левой рукой за правую. Зачарованный Пыркин некоторое время шел за ним, доверчиво склонив на бок голову для обдумывания этой особенности его походки, и даже говорил ему что-то поощрительное, но Шелапутов опять забыл замечать его.

Сподвижники отсутствующего Кука, до которых он доплыл, на этот раз без удовольствия, по извилинам очереди, брезгливо объяснили ему, что нужно делать человеку, который хочет уехать вместе со своею Собакой. Все это не умещалось во времени, отведенном Шелапутову, а намордник, реставрация оборванной цепи и отдельная клетка для путешествия и вовсе никуда не умещались.

Устав и померкнув, Шелапутов пошел вдоль набережной, тяготясь неподъемной величиной неба, гор и снующей жизни. Море белесо отсутствовало и прямо за парапетом начиналось ничто. Урожденный близнец человеческой толчеи, слоняющейся, торгующей, настагающей женщин или

другую добычу, он опять был совсем один и опирался лишь на сцепленные за спиною руки.

Усевшись в приморской кофейне, Шелапутов стал смотреть, как грек Алеко, изящный, поджарый, черно-седой, ведает жаровней с раскаленным песком. Никакой болтливости движений, краткий полет крепкого локтя, скошенный блеск ёмкого глаза, предугадывающий всякую новую нужду в черном вареве, усмехающийся кофейным гадателям: ему-то не о чем спрашивать перевернутую чашку, он прозорливей всеведущей гущи.

Ничего не помнил, все знал Шелапутов: тот же мгновенный — пошевеливайся, чучмек! — час на сборы, могилы — там, Алеко — здесь.

Почувяв Шелапутова, Алеко любовно полыхнул ему глазом: обожди, я иду, не печалься и здравствуй вовеки веков. Есть взор между человеком и человеком, для которого и следует жить в этом несказанном мире, с блистающим морем и хрупкой гигантской магнолией, держащей на весу фарфоровую чашку со светом. Совладав с очередной партией меди в песке, Алеко подошел, легкой ладонью приветил плечо Шелапутова. Про Собаку сказал:

— Иди по этому адресу, договорись с проводником. Он придет завтра вечером, послезавтра уедет и вместе с ним ты со своею Собакой.

Потом погасил глаза и спросил:

— Видел Кетеван?

— Езжай туда, Алеко, — внятно глядя на него, ответил Шелапутов. — Не медли, езжай сегодня.

Алеко посмотрел на простор дня, на Грецию вдали, коротко сыграл пальцами по столу конец какой-то музыки и сказал с вольной усмешкой:

— Я старый бедный грек из кофейни. А она — ты сам знаешь. Пойду-ка я на свое место. Прощай, брат.

Но как ты красив, Алеко, все в тебе. Ты все видел на белом свете, кроме высшей его белизны — возлюбленной родины твоей древней и доблестной крови. С тобою Самофракийская Ника! Смежим веки и станем думать, что море и море похожи, как капля и капля воды. И что так стройно белеет на вершине горы? Не храм же в честь начала и конца купат, а мысль без просчета, красота без изъяна: Парфенон.

Шелапутов обнял разрушенную колонну, вслушиваясь лбом в шершавый мрамор. Внизу подтянуто раскинулся

Акрополь, ниже и дальше с достоинством суетился порт Пирей, совсем далеко, за маревом морей, в кофейню вошли двенадцать человек, не отличимых один от другого. Кто такие? Должно быть, негоцианты, преуспевшие в торговле мускусом, имбирем и рабами, допировывающие очередную сделку. Но где уже видел их Шелапутов? Влюбленная прислуга сдвигала столы, тащила бутылки и снедь. Виктория — их, несомненно, но разве мало у них драхм, чтобы подкупить руку, смазавшую черты их лиц, воздвигшую большой жир животов, опасный для их счастливой жизни? Бр-р, однако, как они выглядят.

— Пошевеливайся, грек! — но он уже идет с чашкой и медным сосудом, безупречно статный, как измышление Лисиппа, весело глядя на них всезнающими глазами.

— На, грек, выпей!

С любезным поклоном берет он стакан, пристально разглядывает влагу, где что-то кишит и плодится, смеется, дерзкими свежими зубами и говорит беспечно:

— Грязно ваше вино.

Больше он ничего не говорит, но они, беснуясь, слышат:

— Грязно ваше вино, блатные убудки. Проклятье тому, кто отпил его добровольно, горе тому, чью шею пригнули к нему. Этот — грек, тот — еще кто-нибудь, а вы — никто ниоткуда, много у вас владений, но родины — нет, потому что все ваше — чужое, отнятое у других.

Так он молчит, ставит стакан на стол и уходит на свое место: путем великих Панафиней, через Пропилеи, мимо Эрехтейона — к Парфенону.

Прощай.

Какое-то указание или приглашение было Шелапутову, о котором он забыл, но которому следовал. Бодрым и деловым шагом, задушевно и мимолетно поглаживая живую шерсть встречных пальм, шел он вдоль темнеющих улиц к подмигивающему маяку неведомой цели. Вот юный дом с обветшалой штукатуркой, надобный этаж, дверь, бескорыстный звонок с проводами, не впадающими в электричество. Он постучал, подождал и вошел.

Мрак комнаты был битком набит запахом, затрудняющим дыхание и продвижение вперед, — иначе как бы пронюхал Шелапутов густоту благовонного смрада?

Повсюду, в горшках и ящиках, подрагивали и извивались балетно-неземные развратно-прекрасные цветы.

Лицом к их раструбам, спиной к Шелапутову стоял и

сотрясался Пыркин, в упоении хлопотавший о близкой удаче.

Вот пала рука и раздался вопль победы и муки.

Отдохнув, охладев к докучливой искушающей флоре, Пыркин отвернулся от загадочно глядящих неуголимых растений, увидел Шелапутова и прикрикнул на него с достоинством:

— Я на пенсии! Я развожу орхидеи!

— Ну-ну, — молча пожал плечами Шелапутов, — это мило.

Они двинулись к автобусу и потом к дому: впереди Шелапутов, сомкнувший за спиной руки, сзади — Пыркин, приглядывающий за его затылком.

Поднявшись к себе, Шелапутов не закрыл дверь и стал ждать.

Вот — осторожно зазвенело в саду и вверх по лестнице. Шелапутов обнял голову Собаки, припал к ней лицом и отстранился; — Ешь.

В эту ночь Рыжий появился ненадолго: перекусил, наспех лизнул Шелапутова, пискляво рывкнул на Собаку, в беспамятстве полежал на боку и умчался.

Важная нежная звезда настойчиво обращалась к Шелапутову — но с чем? Всю жизнь разгадывает человек значение этой пристальной связи, и лишь в мгновение, следующее за последним мгновеньем, осеняет его ослепительный ответ, то совершенное знание, которым никому не дано поделиться с другим.

Шелапутов проснулся, потому что пес встал, по-военному насупив шерсть и мышцы, клопоча глубиною горла.

— Ты не ходи, — сказал Шелапутов и толкнул дверь.

Что-то сыпалось с лестницы, затрещало в кустах и затаилось. Шелапутов без страха и интереса смотрел в темноту. Пес все же вышел и стал рядом. Выстрел, выстрел и выстрел наобум полыхнули по звезде небес. Эхо, эхо и эхо, оттолкнувшись от гор, лоб в лоб столкнулись с криком промахнувшегося неудачника:

— Все французы — жида! Свершают катлею! Прячут беглых! Воруют фэйхоа!

— Не спится? — сказал Шелапутов. — Ах, да, вы боитесь умереть во сне. Опасайтесь: я знаю хорошую колыбельную.

Утром окоченевший Шелапутов ленился встать, да и не было у него дел покуда. В открытую дверь он увидел

скромную кружевную франтоватость — исконную отраду земли, с которой он попытался разминуться: на железных перилах, увитых виноградом, на убитых тельцах уязвленной морозом хурмы лежали северная белизна. Обжигая ее пальчики, по ступеням поднималась мадам Одетта в премоной душегрейке. На пороге ей пришлось остановиться в смущении:

— Ах! Прошу прощения: вы еще не одеты и даже не вставали.

Галантный благовоспитанный Шелапутов как раз был одет во все свои одежды и встал без промедления.

Мадам Одетта задумчиво озирала его голубую влагой, красиво расположенной вокруг бдительных черных зрачков, знающих мысль, которую ей трудно было выразить, — такую:

— Причина, побуждающая меня объясниться с вами, лежит в моем прошлом. (Голубизна увеличилась и пролилась на щеку.) Видите ли, в Пыркине, лишенном лоска и лишнего образования, есть своя тонкость. Его странные поездки в город (влага подсохла, а зрачки цепко вчитались в Шелапутова) — это, в сущности, путешествие в мою сторону, преодоление враждебных символов, мешающих его власти надо мной. Он тяжело ревнует меня к покойному мужу — и справедливо. (Голубые ручки.) Но я хочу говорить о другом. (Шопот и торжество черного над голубым.) Будьте осторожны. Он никогда не спит, чтобы не умереть, и все видит. Пыркин — опасный для вас человек.

— Но кто это — Пыркин? — совершенно растерявшись спросил Шелапутов и вдруг, страшно волнуясь, стал сбивчиво и словно нетрезво говорить: — Пыркин — это не здесь, это совсем другой. Клянусь вам, вы просто не знаете! Там, возле станции, холм, окаймленный соснами, и чудная церковь с витиеватыми куполами, один совсем золотой, и поле внизу, и дома на его другом берегу. Так вот, если идти к вершине кладбища не снизу, а сбоку, со стороны дороги, непременно увидишь забытую могилу, над которой ничего нет, только палка торчит из-под земли и на ней написано: «ПЫРКИН!» Представляете? Какой неистребимый характер, какая живучесть! Ходить за водкой на станцию, надвигать кепку на шальные глаза, на этом же кладбище, в праздник, сидеть среди цветной яичной скорлупы, ощущать в полегчавшем теле радостную облегченность к драке, горланить песнь, пока не захрипит в горле слеза неодолимой печалью.

ли, когда-нибудь нелепо погибнуть и послать наружу этот веселый вертикальный крик: «ПЫРКИН!»

— Врешь! — закричал невидимый однофамилец нездешнего Пыркина. — Это тот — другой кто-нибудь, вор, пьяница, бездельник с тремя судимостями! Все спал, небось, налив глаза, — вот и умер, дурак!

Никто уже не стоял в проеме двери, не заслонял размороженный, нестерпимо сверкающий сад, а Шелапутов все смотрел на заветный холм, столь им любимый и для него неизбежный.

Дождавшись часа, когда солнце, сделав все возможное для отогревания этих садов, стало примеряться к беспристрастной заботе о других садах и народах, Шелапутов через калитку вышел на берег и увяз в мокрой гальке. Уже затрещинами и зуботычинами учило море непонятливую землю, но, как ей и подобает, никто по-прежнему ничего не понимал.

Из ничьего самшита, вырвавшегося на волю из чьей-то изгороди, лениво вышел Гиго в полосатом свитере, снова не имеющий занятия и намерения. Далеко сзади, закрыв лицо всей длиной руки, преломленной в прелестной кисти, обмокнутой в грядущую мыльную бесконечность, шла и не золотилась девочка Кетеван.

Солнце, перед тем, как невозвратно уйти в тучу, ударило в бубен оранжевой шерсти, и Рыжий скрестил передние лапы на волчье-козьей темно-светлой шее. Сооружение из него и Ингурки урочилось и застыло. Массовка доигрывала роль, сидя кругом и глядя. Вдали оцепеневшего хорова стоял и смотрел большой старый пес.

— Плюнь, — сказал ему Шелапутов. — Пойдем.

Впереди был торчок скалы на отлогом берегу; еще кто-нибудь оглянулся, когда нельзя, — Шелапутов провел ладонью по худому хребту — львиная шерсть поежилась от ласки и волна морщин прокатилась по шрамам и клеймам.

Сказал: — Жди меня здесь, а завтра — уедем, — и, не оглянувшись, пошел искать проводника.

Адрес был недалкий, но Шелапутов далеко зашел вглубь расторопно сгустившейся ночи, упираясь то в тупик чащобы, то в обрыв дороги над хладным форельным ручьем. Небо ничем не выдавало своего предполагаемого присутствия, и Шелапутов, обособленный от мироздания, мыкался внутри каменной безвоздушной темноты, словно в погасшем безвыходном лифте.

Засквозило избавлением, и сразу обнаружилось небо со звездами и безукоризненной луной, чье созревание за долгими тучами упустил из виду Шелапутов, и теперь был поражен ее видом и значением. Прямо перед ним, на освещенном пригорке, стоял блюстититель порядка во всеоружьи и плакал навзрыд. Переждав первую жалость и уважение к его горю, Шелапутов, стыдясь, все же обратился к нему за указанием — тот, не унимая лунных глаз, движением руки объяснил: где.

Женщины, в черном с головы до ног, встретили Шелапутова на крыльце и ввели в дом. Он еще успел полюбоваться скорбным благородством их одеяний, независимых от пестроты нынешнего времени, и лишь потом заметил, как с легким шелковым треском порвалось его сердце, и это было не больно, а мятно-сладко. Старик, главный в доме, и другие мужчины стояли вокруг стола и окропляли вином хлеб. И Шелапутову дали вина и хлеба. Старик сказал:

— Выпей и ты за Алеко, — он пролил немного вина на хлеб, остальное выпил.

Как прохладно в груди, какое острое вино, как прекрасно добавлен к его вкусу вольно-озонный смолистый привкус. Уж не рецина ли это? Нет, это местное черное вино, а рецина золотится на свету и оскоминным золотом вяжет и услаждает рот. Но все равно — здравствуй, Алеко. Мы всегда умираем прежде, чем они, их нож поспекает за нашей спиной, но их смерть будет страшнее, потому что велик их страх перед нею. Какие бедные, в сущности, люди. И не потому ли они так прожорливо дорожат своей нищей жизнью, что у нее безусловно не будет продолжения и никто не заплачет по ним от горя, а не от корысти?

Шелапутов выпил еще, хоть тревожно знал, что ему пора идти: ему померещилось, что трижды пошатнулась и погасла звезда.

— Так приходи завтра, если сможешь, — сказал старик на прощанье. — Я буду ждать тебя с твоею Собакой.

Не потратив нисколько времени, одним прыжком спешащего ума, Шелапутов достиг вздыбленного камня. Собаки не было там. Шелапутов не знал, где его собака, где его лев, где он лежит на боку, предельно потянувшись, далеко разведя голову и окоченевшие лапы. Три пулевых раны и еще одна, уже лишняя и безразличная телу, чернеют при ясной луне. По горлу и по бархатному свободному излишку шеи, надобному большой собаке лишь для того, чтобы

с обожанием потрепала его рука человека, прошелся нож, уже не имевший понятной цели причинить смерть.

— Значит — четыре, — аккуратно сосчитал Шелапутов. — Вот сколько маленьких усилий задолжал я гиенам, которые давно недоумевают: уж не враг ли я их, если принадлежащая им падаль до сих пор разводит орхидеи?

Зарницей по ту сторону глаз, мгновенным после-тоннельным светом, за которым прежде он охотился жизнь напролет, он вспомнил все, что забыл в укрытии недуга. Оставалось лишь менять картины в волшебном фонаре. Селенье называлось: Свистуха, река Яхрома, неподалеку мертвая вода канала возлежала в бетонной усыпальнице. За стеной с гобеленом хворала необщительная хозяйка развалившейся дачи. Однажды она призвала его стуком и он впервые вошел в ее комнату, весело глядящую в багрец и золото, октябрь, подводивший итог увяданья, солнечный и паутинный в том году. Старая красивая дама пылко смотрела на него, крепко прихватив пальцами кружева на ключицах. Он сразу увидел в ней величественную тень чего-то, большего, чем она, оставившую ее облику лишь узкую ущербную скобку желтенького света. Он был не готов к этому, это было также просто и дико, как склонить к букварю прилежный бант и прочесть слово: смерть.

— Голубчик, — сказала она, — я видела тех, кто строил этот канал. Туда нельзя было ходить, но мы заблудились после пикника и нечаянно приблизились к недозволенному месту. Нас резко завернули, но мы были веселы от вина и от жизни и продолжали шутить и смеяться. И тогда я встретила взгляд человека, которого уже не было на свете, он уже вымостил собою дно канала, но вот стоял и брезгливо и высокомерно смотрел на меня. Столько лет прошло, клешни внутри меня намертво сомкнулись и дожирают мою жизнь. А он все стоит и смотрит. Бедное дитя, вы тогда еще не родились, но я должна была сказать это кому-то. Ведь надо же ему на кого-то смотреть.

Все это несправедливо показалось прежнему Шелапутову: ведь он уже бежал в спасительные чудотворные рощи и теперь ему надо было подаваться куда-то из безмятежных надмогильных лесов и отсиживаться в гобелене.

Время спустя Шелапутов, или та, чей свитер был — его, плыл или плыла по каналу на развлекательном кораблике с музыкой и лампочками. Двенадцать спутников эффектной экскурсантки в обтяжном бархате и перезвоне серебряных

цепочек — отвечали неграмотными любезностями на ее предерзкие словечки. Слагая допустимые колкости, она пригубляла вино, настоенное на жирных амебах. И вдруг увидела, как из законной русалочьей сырости бледные лица глядят на нее брезгливо и высокомерно. Но почему не на тех, кого они видели в свой последний час, а на нее, разминувшуюся с ними во времени? Остальная компания с удовольствием смотрела на уютную дрессированную воду, на холодную лунную ночь, удачно совпавшую с теплом и светом внутри быстрокрылого гулящего судна.

Затем был этот недо-полет через долину зала, врожденный недо-поступок, дамский подвиг упасть без чувств и натужное мужество без них обходиться. Не пелось певунье, не кувырчалось акробатке, и этот трюк воспалил интерес публики, всегда грезящей об умственной собственности. Каждой делательнице тарталеток любо наречь божеством того, кто прирученно ест их с ее ладони, втянув зубы, вытянув губы. Но Шеллапутова ей не обвести вокруг пальца!

Он положил руку на пустоту, нечаянно ища большую голову Собаки с ложбиной меж вдумчивых надбровных всхолмий.

Ничто не может быть так холодно, как это.

Спущенный с тетивы в близкую цель, Шеллапутов несся вдоль сокрушительного моря и споткнулся бы о помеху, если бы не свитер цвета верстового столба.

Гиго рыдал, катая голову по мокрым камням.

— Мать побила меня! Мать била Гиго и звала его сыном беды, идиотом. Мать кричала: если у Кетеван нет отца, пусть мой отец убьет меня. Отец заступался и плакал. Он сказал: теперь Алеко женится на ней. А она убежала из дома. Мать велела мне жить там, где живут бездомные собаки, и она вместе со всеми будет бросать в меня камни и не бросит хлеба.

Отвечая праздничной легкости Шеллапутова, сиял перед ним его курортник, его кромешный Сен-Тропез, возжегший все огни, факелами обыскивающий темноту.

Навстречу ему бежала развевающаяся мадам Одетта. Добежала, потащила к губам его руки, цепляясь за него и крича:

— Спасите! Он заснул! Он умирает во сне!

Отряхнувшись от нее, Шеллапутов вошел в дом и не спеша поднялся в спальню. На кровати, под перевернутым портретом, глядящим сквозь стену в Шеллапутовскую камор-

ку, хрипел и кричал во сне Пыркин. Лицо его быстро увеличивалось и темнело от прибыли некрасивой крови, руки хватались за что-то, что не выдерживало тяжести и вместе с ним летело с обрыва в пучину.

Ружье отдыхало рядом, вновь готовое к услугам.

— Помогите! — рыдала мадам Одетта. — Ради того, которого над нами нет, — разбудите его! Вы же можете это, я не верю, что вы так ужасно жестоки. — Она пала на колени, неприятно белея ими из под распавшегося халата и рассыпалась по полу саксонской фасолью, нестройными черепками грузного фарфора.

Маленький во фраке, головою вниз повисший со звезды, поднял хрустальную указку, и Шелапутов запел свою колыбельную. Это была невинная песенка, в чью снотворную силу твердо верил Шелапутов. От дремотного речитатива Пыркину заметно полегчало: рыщущие руки нашли искомый покой, истомленная грудь глубоко глотнула последнего воздуха и остановилась — на этом ее житейские обязанности кончались и выдох был уж не ее заботой, а кого-то другого и высшего.

Прилично соответствуя грустным обстоятельствам, Шелапутов поднял к небу глаза и увидел, что маленький завсегдатай звезды, отшвырнув повелительную палочку, обнял луч и приник к нему плачущим телом.

Шелапутов накинүлся на затихшего Пыркина: тряс его плечи, дул ему в рот, обегал ладонью левое предплечье, где что-то с готовностью проснулось и бодро защелкало. Он рабски вторил подказке неведомого сүфлера и приговаривал:

— Не баю-бай, а бей и убей! Я все перепутал, а вы поверили! Никакого отбоя! Труба зовет нас в бой! Смерть тому, кто заснул на посту!

Новорожденный Пыркин открыл безоружные глаза, не успевшие возыметь цвет и взгляд, и, быстро взрослея, строго спросил:

— Что происходит?

— Ничего нового. — Доложил Шелапутов. — Деление на убийц и убиенных предрешено и непоправимо.

Опытным движением из нескольких слагаемых: низко уронить лоб, успеть подхватить его на лету, вновь подпереть макушкой сто шестьдесят пятый от грязного пола сантиметр пространства с колосниками наверху и укоризненной звездой в зените и спиной наобүм без промаха пройти сквозь занавес — он поклонился, миновал стену и оказался в сво-

ей чужой и родной, как могила, комнате. А там уже прогуливался бархат в обтяжку, вправленный в цирковые сапожки со шпорами, переливалось серебро цепочек, глаза наследственно вели в ад, но другого и обратного содержания.

— Привет, кавалерист-девица Хамодурова! — сказал Шелапуттов (Шеломатов? Шуралеенко?). — Не засиделись ли мы в Диоскурийском блаженстве? Не время ли вернуться под купол стадиона и пугать простодушную публику песенкой о том, что песенка спета? Никто не знает, что это — правда, что канат над темнотой перетерся, как и связки голоса, покрытые хрипылыми узелками. И лишь за это — браво и все предварительные глупые цветы. Ваш выход. Пора идти.

Так она и сделала.

Оставшийся живучий некто порыскал в небе, где при творно сияла не существующая звезда, и пошел по лунной дорожке, которая — всего лишь отраженье отраженного света, видимость пути в невидимость за горизонтом, но, ведь, и сам опрометчивый спутник — вздор, невесомость, призрачный неудачник, переживший свою Собаку и все, без чего можно обойтись, но — зачем?

Петр КОЖЕВНИКОВ.

ДВЕ ТЕТРАДИ

Посвящается М.П.

I.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Иногда я думаю, зачем веду дневник? Наверное от тоски по человеку, которого люблю. Он сейчас далеко, служит под Комсомольском-на-Амуре. И зачем парней так далеко посылают? Служил бы в пригороде, тогда можно было бы встречаться. А так ни ему отпуска не дают, ни я не могу к нему поехать. Два года не видеть любимого человека. Это — ужасно! Но он не может меня разлюбить. В каждом письме Сева пишет, как будет меня обнимать и целовать, когда приедет. Мы пишем друг другу каждый день. Правда, я иногда думаю. Вот закончу училище, направят работать, и так на всю жизнь, до самой пенсии. А какая жизнь после пенсии? Женщины вообще стареют после тридцати, а мне почти шестнадцать. Прожила половину. Да и какая жизнь у женщины? Замуж выйдешь — и всё. Мужчина по дому ничего не делает, а ты работаешь тот же рабочий день, а потом столько же времени возишься дома по хозяйству. Надо: ходить в магазин, готовить еду, подавать, мыть посуду, стирать белье, рожать детей, кормить их, воспитывать... С ума сойти! Интересно, а Всеволод будет мне помогать? Конечно, мне бы не хотелось, чтобы любимый человек мыл посуду или стирал носки. Но можно просто как-то разделить обязанности. Там, где физическая работа, например, вымыть пол — мужчина, а вытереть пыль — женская...

Третье апреля.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

Сегодня мне пришла в голову мысль о самоубийстве. Это — итог моих несчастий и неудач. Но как мне умереть? Вот, в Штатах, купил револьвер — и порядок. А у нас как достать? Отнять у милиционера? Стать охотником? Проще открыть газ, но если учуют соседи — все пропало. Достать снотворного? Не знаю, правда, какого и сколько. Да и как достать? Прыгнуть под трамвай боюсь, да и сделаю, а потом зачинят и живи всю жизнь уродом. Нет уж, фиг! Может, умереть от тока? Нет, ненадежно, а мне хочется, чтоб наверняка. А, главное, не мучиться — без боли. Не знаю, зачем пишу все это в дневник. Для себя? Для других? Ну, пусть прочтут. Только чтобы я это знал, а они думали, что не знаю. Я даже могу посвятить Вам, читайте!

Я считаю, что у каждого человека своя нить в жизни. Я потерял ее или не нашел. Меня мучают неразрешимые вопросы. Вот, человек. Он рождается, растет, учится, работает, заводит семью, а потом — умирает. Человек всегда умирает! И мое настроение невыносимо! Иногда я думаю, как возникла жизнь вообще, как возникла Вселенная? Тогда мне кажется, что я свихнулся. А почему человека, когда-то сильного и смелого, в старости может оскорбить любой гад? Почему люди дряхлеют?

Даже хочется плакать.

Уехать куда-нибудь.

Третье апреля.

II.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Сегодня в училище было комсомольское собрание. Уже после четвертого урока внизу дежурили девчонки с третьего года обучения, которым было велено никого не выпускать. Так что нас с Маринкой вернули. На собрании Маринча читала общую тетрадь. Я дремала, а потом заглянула к ней и зачиталась. У нее был переписан английский рассказ про то, как одна супружеская пара пригласила фотографа снимать детей, а другая пара пригласила «государственного мужа». У них есть такая должность. Этого человека вызывают семьи, в которых нет детей. Так вот, фотограф при-

шел в ту семью, где хотели иметь детей, а «государственный муж» пришел туда, где хотели снимать детей. Мужья были на работе, а у них дома происходили очень смешные вещи. После собрания мы с Маринкой поехали ко мне. Она рассказывала, как целовалась с парнем. Он наставил ей на губы засосов и они теперь болят. Маринка вообще фартовая девчонка. Курит только «Беломор», а пьет только водку. Она много гуляет с парнями, но хоть кажется прожженной, на самом деле — девочка. Не знаю, как ей удастся сохранить невинность, когда она так напивается с парнями. А ругается как! Через каждое слово — мат! Но с виду о Маринке никогда не скажешь, что она блатная. Главное в ее лице — большущие синие глаза. Я всегда себе представляла такие глаза у Мальвины. Лицо грубовато, но кожа — прекрасная. Маринка невысокого роста, но фигура у нее очень пропорциональная и она не кажется ниже остальных девчонок. Ведет она себя, конечно, развязно, но на самом деле очень стеснительная. А когда что говорит, то таким спокойным и уверенным голосом, будто иначе и быть не может. Моя Мама ее не любит и я прошу Маринку всегда звонить перед приходом из автомата. Пусть приходит, когда Мама нет дома.

Шестнадцатое мая.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

Я никогда не спешу домой после училища. Но все-таки спускаюсь в метро и через десять минут я на Васильевском. Сегодня получил только одну двойку — уже достижение. В нашей группе тридцать человек, но бывает не больше двадцати пяти. Кто болеет, кто прогуливает. Я хотел слянуть с двух последних часов — была спец. технология, но на выходе дежурил мастер и ничего не вышло. Спецуха, — очень дурная наука. Преподаватель читает, а мы записываем: «Процессом резания древесины называется пиление. Элементы стружки — опилки...» И так два часа. А преподаватель любит вызвать к доске и издевается, пока ты ему отвечаешь. Не огрызнешься — поставит тройку, а не двойку, если не фига не знаешь. Он себя считает самым умным. Да все, наверное, так считают. Вот спускаюсь в метро, а навстречу непрерывно едут люди и каждый думает, что он

и есть самый умный. На уроках эстетики вообще маразм. Первый час преподавательница рассказывает о чем-нибудь, зачитывает какие-нибудь определения, а ведь не она их и выдумала. Второй час мы записываем то, что она нагородила. Дома заучиваем. Но я думаю, что у каждого должен быть свой взгляд на искусство или любовь. А как он у нас будет, когда она так делает? Учебный год кончается, а в музее мы были только раз — в Доме Научно-Технической Пропаганды. После занятий нас согнали на лекцию. Пожилой мужик рассказывал, как мы совершаем уголовщину, думая, что шалим. Один кадр угнал машину — хотел просто покататься, а его — в колонию. Другой, тоже из ПТУ, выточил из металла пистолет и выкрасил его в черный цвет. А потом на Голодае стал им страшать тридцатипятилетнюю бабу, которая шла с продуктами, хотел изнасиловать. Баба испугалась его вороненой игрушки. Изнасиловать парень не сумел, а его — в колонию. Они оба, конечно, дураки. Мне самому иногда хочется угнать машину, когда выпью. И с оружием я себя часто представляю — что бы тогда делал. Сегодня среда и нет вечерней школы. Можно почитать книгу. Брался за нее в этом году два раза — и все никак. Совершенно нет времени. Из училища прихожу в три часа и не могу ничего делать — валюсь и сплю. А книгу надо возвращать. Библиотекарша сказала, что на Шерлока Холмса очередь: его Конан Дойль написал.

Шестнадцатое мая.

III.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Вчера Маринка опоздала в училище и весь день была как больная. В вечернюю школу не пошла, спросила, можно ли ко мне вечером зайти. Мама сегодня работает в ночь, и я сказала, что буду дома. Когда Маринка пришла, то сказала, что стала женщиной. Тот парень, который нацеловал ей губы, сказал, что если она его любит, то пусть отдается. Они были в компании. Все уже напились, Маринка и Сашка пошли в поле и там в заброшенном доме она ему отдалась. Сразу у них не вышло и на следующий день они опять были в этом доме. Теперь Маринка не знает, что делать, если заберемене-

неет? Ей ведь нет еще шестнадцати, а парню этому осенью идти в армию. Ему в июле будет восемнадцать. Он работает электриком. Мне жалко Маринку. Мама всегда пугала меня, что становиться женщиной очень больно. Я спросила Маринку, а она сказала, что почти не чувствовала боли. А я думаю, что у всех по-разному.

Двадцатое мая.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

Сегодня ездили с Мамою смотреть дачу. Она хочет пожить отпуск на воздухе. Там я встретил Пашку. Он стал совсем мужиком. Ростом я его повыше. Учится Пашка на третьем курсе энергетического техникума. Пошел туда после восьми классов. Мы обрадовались встрече. Договорились встретиться в городе. Вспоминали детство. Ведь мы не снимали дачу у Вероники Егоровны восемь лет. Когда отец и мать жили вместе, они снимали каждое лето времянку в Шувалове. Я в первый же год сдружился с хозяйским внуком. Он был старше меня на два года, но не обижал. По утрам мы бегали купаться на озеро, после обеда сражались в саду малиновыми прутьями, а вечером нас не могли развести по постелям. Но один случай оборвал нашу дружбу. Пашке было тогда десять лет и это был последний год, когда родители жили вместе. К хозяйке приехала внучка от первого мужа. Ей было девятнадцать лет. Нам она казалась взрослой женщиной. У Вероники Егоровны были сданы все помещения и она устроила ее с Пашкой в одной комнате. За Риткой каждый день заходили какие-то чуваки и она пропадала с ними до самой ночи. Пашка говорил, что когда засыпает, то ее еще нет дома. Однажды после обеда, не дождавшись Пашки в саду, я пошел в хозяйский дом. Когда открыл дверь в комнату, то Рита сидела на кровати. На ней была розовая грация и она пристегивала к поясу чулок, надетый на ее полную ногу. Другой чулок висел на стуле поверх цветастого платья. Рядом с ней сидел Пашка. Я всегда видел Риту в платье или в купальнике, а тут впервые увидел ее в нижнем белье. Она мне очень понравилась. Захотелось прикоснуться к розовому бюстгальтеру там, где он выдавал вершины груди. Мне хотелось просто прикоснуться. А Рита закричала, зачем я вхожу без стука? Я спросил, почему Пашке можно сидеть с ней, а мне нельзя? Она сказала, что

Пашка ей родственник. Помню, тогда я до того разозлился на Пашку, что до конца лета не играл с ним. Теперь-то я понимаю, зачем он сидел за ее спиной. Пашка помогал Ритке одеваться.

Двадцатое мая.

IV.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Произошла ужасная вещь. Погиб человек — парень. Не знаю даже, как написать обо всем. В доме на соседней с нами улице собралась компания. Наркоманы. Девушка, которую этот парень любил, на него за что-то обиделась. Он просил прощения. Она сказала, что простит, если он выпрыгнет в окно. А парень вышел на карниз и прыгнул. С девятого этажа. Разбился насмерть. Говорят, страшно было смотреть. Вызвали милицию. Компания увидела из окна на асфальте кашу и разбежалась. Девушка тоже. Ребята потом собрались, выждали, когда у нее никого не было дома, и ворвались в квартиру. Они били ее головой о батарею и топтали ногами. Украли много золотых вещей. Девушка эта из богатой семьи. Ребят потом поймали и судили за наркотики и избиение. Всех посадили. Девушку не судили. Она в больнице в тяжелом состоянии и на всю жизнь останется инвалидом. Они ей все отбили. Сейчас у нас все говорят об этом случае. Конечно, кто — что. Некоторые говорят, что не прими они наркотиков — ничего бы не было. Парень — дурак, что прыгнул, но ведь он хотел доказать, что на все готов, что любит ее настолько, что готов умереть по одному ее слову. Она — дрянь, хотя конечно, страшно, что ее так отделили. Вообще видеть избитую девочку — страшно. Когда мы ездили зимой на каток, то там девушки часто дрались из-за парней. А дерутся они страшней, чем парни. Берут в руки коньки и бьют ими по голове и лицу. Мы с Маринкой несколько раз видели такие драки. Мы туда приезжали уже с парнями, поэтому не попадали в такие истории. А избитых девочек я видела — и это ужасно.

Двадцать седьмое мая.

Вчера после занятий мы с Лехой пошли на Петропавловку. Купаться было холодно. Загорали на бастине. Бросали оттуда камешки на тех, что внизу. Люди, которые загорали под стеной, бесились, а не могли понять, кто их тревожит. Думали, наверное, друг на друга. Леха сказал, что думает бросать училище. Он вообще отличается от наших пацанов. Отчим у него — скульптор, а мать — певица. Он — умный парень, много знает и интересно рассказывает. Правда, домашний уж очень и тихий, но ребята его не обижают. Наверное потому, что я с ним дружу. Леха, хоть и худой, немного похож на девушку. В мышцах никакого рельефа, попа большая, соски и те набухшие. Переходный возраст. Глаза он часто опускает, обидчивый. Лицо у него такое, будто он только что молился, а глаза синие и в них часто бывает словно ужас какой-то перед чем-то никому из нас невидимым, но очень страшным. Леха очень откровенный. Когда Потапов спросил, спал ли Леха с бабой, тот ответил: «Признаться, нет». Я при Лехе почти не ругаюсь. Но вообще, мне кажется, что люди про себя называют многие вещи теми словами, которые не печатают в книгах. Я, например, даже думаю иногда одними ругательствами. Они все время вертятся в голове. А вот в дневник их почему-то не пишу.

Часов около семи мы поехали в Д/К Кирова. Там показывают старые ленты и есть, что посмотреть. Мы хотели сходить на фильм ужасов. Но на этот раз ничего дельного не было. Пошли на Смоленское. Я очень люблю кладбище. Все детство в нем провел. Когда прихожу, словно книгу перечитываю. Все тебе здесь так знакомо, будто сам в этой книге. Правда, сейчас на кладбище стало хуже. Многие памятники разрушают. Рабочие увозят камни и решетки. Вот подохнешь, а тебя ограбят. Лучше, чтобы сожгли. Да и тогда какая-нибудь падла сопрет твой пепел и посыпет им свой огород или просто ноготки на балконе. Мы прошли через кладбище к дрессировочной площадке. Там шли занятия. Мы смотрели. Площадка соединяется одним забором с кладбищем, и в детстве мы с ребятами любили смотреть на собак, сидя на заборе. А хозяева всегда травили их на нас. Мы кидали в собак камнями, а надо было в хозяев. Потом я потащил Леху на залив. Он не хотел — я соблазнил его рогозом. Но никакого рогоза не оказалось. Там все застроили и испортили. Раньше мы с ребятами ходили на залив

купаться и загорать голышом, а потом носились в высокой траве, скрывавшей нас с головой. Из травы вылетали утки, а над берегом кричали чайки. Когда трава сохла, мы ее жгли. Теперь кругом стоят дома и кишат люди. Мы дошли до ковша. Хотели покататься на лодке. Была большая очередь, а Лехе надо было еще съездить по делу. Мы сели на «семерку» и расстались у метро. Леха поехал до Восстания, а я пошел на набережную. Куда девать время?

Двадцать седьмое мая.

V.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Сегодня я поняла, что влюблена в него. Он живет в доме напротив. Тоже на последнем этаже. Я часто вижу его в окно или с балкона. Он старше меня на полгода. Всех девочек, с которыми гуляет, он быстро бросает. А есть у него одна, которая старше его на три года. Меня познакомила с ним сегодня Маринка. Она была с Сашкой и со мной у него. Мы купили три бутылки портвейна. Когда выпили и послушали музыку — пошли гулять. По дороге Сашка встретил двух своих друзей с девицами. С ними мы пошли за железнодорожную линию в поле. Там вообще происходят страшные вещи. Как-то мы гуляли с Маринкой и зашли в полуразрушенный дом. Он одноэтажный, небольшой, а что в нем было раньше, никто не знает. На полу валялись пустые бутылки и окурки. Стоял старый, грязный диван. (На нем Маринка стала женщиной, когда ее приводил сюда Сашка.)

Когда мы первый раз зашли сюда, нам было и страшно и интересно. После этого каждый раз, как ходили в поле, наблюдали за домом. А однажды увидели, как солдат завел в дом пьяную девицу. Они вышли почти через час. Девица плакала. Ее слезы размыли тушь на веках и черными струйками стекали по щекам.

В поле мы гуляли, пока было солнце. Потом пошли по домам. Сейчас в школе масса зачетов — надо готовиться. В училище на носу экзамены. А я пришла и не могу ничего делать. Сажу, смотрю в окно, но Толи не вижу. А мне так хочется побыть с ним еще. Вчера получила письмо от Севы.

Думала ответить сегодня, а что писать? Я разлюбила его. Хочу поговорить с Мамой. Может быть, Мама подскажет, что делать?

Двадцать восьмое мая.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

После занятий я ходил к Ромину. Он — руководитель нашего ансамбля. В этом году заканчивает училище. Отмаялся три года, а теперь понял, что его призвание — музыка, а не профессия столяра, которую он терпеть не может. На гитаре Вадим играет отлично, а вот поет слабо — нет голоса. Вообще он отличный парень. Сам хоть и хилый, но очень самостоятельный и держится всегда с большим достоинством. Очень любит кого-нибудь осмеять. Но когда смеется сам, то глаза серьезные. Они у него такие, будто олово расплавлено, а туда добавлена горчица. Я относил Вадиму порнографический журнал, из которого он хочет переснять один кадр, а мне на этот снимок не очень приятно смотреть. Журнал цветной, шведский. Я отнял его еще два года назад у одноклассника, когда тот показывал журнал в классе.

У Ромина мне понравилось. В его комнате стоит только шкаф и раскладушка, а у окна — стерео-магнитофон. Половина шкафа занята пленками. Вадиму очень повезло с соседями. Когда я спросил, не ругаются ли жильцы, что у него громкая музыка, он сказал, что соседи иногда кричат, чтобы он сделал погромче. А летом перед его окнами танцуют.

Вадим достал на время американские стерео-наушники. Он дал мне в них послушать музыку и она зазвучала сильнее и правдивее. Вообще я очень люблю слушать музыку. Наша музыка — искусство будущего. Она принадлежит нам, потому что мы идем в будущее. Мы встанем на места наших отцов, а они на места дедов... Когда слушаешь музыку, то перед тобой открывается совершенно другой мир. Иногда он не очень красив, не очень справедлив, но всегда искренен. Он чужой, но близок нам. В нем мы переживаем чьи-то судьбы. Чужие, но близкие. Они сложны и кажутся недостижимыми, но ты попадаешь в них и живешь какие-то мгновения единым целым с ними. И когда музыка становится возвышеннее всего на свете, то моя, еще нерастратенная любовь, встречается с ее потоком, вышедшим из

берегов человеческого сознания. И музыка затопляет самые глубины моей души, в которые не проникает никто. О которых никто не догадывается. О которых никто не думает. Я не понимаю текста многих песен, но они никогда не обманывают меня. Я чувствую их и верю и иду за своей музыкой туда, куда она ведет меня. И от нее зависит, останусь ли я жив или погибну. Она — вечна! Я — смертен! Но я не боюсь смерти в глубинах своей музыки. Может быть, когда погибну, то опущусь на самое дно этого величества и увижу всю красоту до предела. Захлебнусь этой красотой. Иногда, когда слушаешь, тебя охватывает внутренний ритм и, если танцуешь, то всю музыку сжирает твое возбужденное тело. Я предпочитаю слушать не двигаясь. Просто весь замираю, когда слушаю. В нашей музыке все настоящее. Такое, как есть. Она — разная. В одной я вижу нависшие надо мной дома, которые вот-вот раздавят меня и не будет слышно даже хруста. Они смеются надо мной. Стекла в их окнах блестят, как обнаженные зубы. Я вижу вооружившихся наркоманов, которые бросаются и зверски убивают в своем разрушительном беспамятстве. Вижу сексуального маньяка-садиста, терзающего девчонку, и тело, истосковавшееся по тому, чего никогда не знало. Вижу самоубийство, тонущее в крови, и насилие, смеющееся своей бесчеловечности, и сожженные напалмом тела. Вижу порожденный безумным человеческим гением гриб, нависший над планетой, над испуганными, остолбеневшими в последнем миге ужаса лицами землян. В других музыкальных вещах меня поражает свежесть цветов, первый раз подаренных девушке, и невольно подслушанное признание в любви — истеричное, но такое, как все мы, как наше поколение. Меня поражает искренность чьей-то исповеди, поведенной мне моей музыкой.

Двадцать восьмое мая.

VI.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Сегодня получила письмо от Всеволода. Спрашивает, почему я молчу? Пишет, что очень соскучился по мне. Не дождется нашей встречи. Жалеет, что мне мало лет, а то бы поженились.

Мы познакомились с ним в деревне, куда я почти каждый год ездила к бабке на все каникулы. Он приезжал из Петрозаводска к дяде, дом которого стоял рядом с нашим. Сейчас вот вернулся из армии. Хотя я его больше не люблю — интересно, какой он стал. Ему уже двадцать два. Говорила о нем с Мамой. Она сказала, ни в коем случае не писать, что я его разлюбила. Сева покончит с собой, если прочтет такое письмо. Я хотела ему написать так, как раньше, но все время представляла написанное и зачеркивала. Переписывала четыре раза. Отослала.

Вчера ночью я была у Толи. Когда ушла, Мама уже спала, а с ним я договорилась, что в два часа он мне откроет дверь. Толя живет с родителями в квартире, как наша. Отец очень пьет. Мать работает на одном заводе с отцом. Она тоже маляр. Толя провел меня к себе. Мы просидели до пяти часов. Он только клал голову мне на колени, но ни разу не захотел меня поцеловать. Станный какой-то! Вообще я обратила внимание на то, что он очень ограниченный человек. Толя кончил восемь классов. Работает на почте. Развозит на мотороллере корреспонденцию. В вечернюю школу не ходит. Часто выпивает. А говорить с ним неинтересно. Мы обычно молчим.

Двадцать девятое мая.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

Сегодня была практика. У нас так сделано: полнедели теория, полнедели — практика. Мастерскую нам сделали на территории фабрики — экспериментальная группа.

Когда шли с фабрики, в проходной заловили Молчанова. Он рассовал струны по карманам и часть положил во внутренний карман пиджака. А они возьми и выскочи чуть не в нос бабке, проверявшей пропуска. Ворует, вообще, вся группа. В основном — струны, их нигде не купишь, а здесь завались. Еще берут звукосниматели для электрогитар, чехлы и даже корпуса (их подсовывают под вторые ворота). А по сути прут все подряд. Когда Молчанова вели к начальнику караула — он чуть не плакал. Молчанов очень толстый, а рожей похож на хомяка. Весь в веснушках. Парень он тихий, домашний, ворует тоже тихо, а тут вот попался. Теперь его как-нибудь накажут, а ему и так достается в группе почти от всех и ни за что. А кличку ему дали: «Солёные яйца».

Двадцать девятое мая.

VII.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Я поняла, что не люблю Толю. Он красивый — а мне не нравится. Его глаза, по которым все сходят с ума, кажутся мне твердыми и плоскими. В него влюблены все девчонки, а он любит только меня. Толя сказал мне об этом сегодня. Хотел поцеловать. Я не дала ему это сделать. Не могу целоваться с тем, кого не люблю.

Ко мне заходила Маринка. Она — беременна. Не знает, что делать. Говорят, что часто в первый раз аборт делать нельзя. Она сказала обо всем Сашке. Он согласен жениться. Но главное в том, что теперь вся ее жизнь ограничится ребенком. Об учебе будет нечего и думать.

По-моему, ей надо любым способом избавиться от ребенка.

Тридцатое мая.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

Сегодня после занятий нас с Лашиным оставили натирать пол в актовом зале. Мы опоздали на линейку, а опоздавших всегда заставляют что-нибудь делать. Мы натерли быстро и пошли в вечернюю школу. По дороге Васька сказал, что у него есть рубль. Мы пошли к дневной школе, которая напротив училища, и натрясли у ребят пятьдесят копеек. Купили бутылку портвейна. Пошли к Ботаническому саду. Там перелезли через забор. Устроились в беседке, которую знает вся наша группа. Вся беседка исписана именами мальчишек и девчонок, словами «любовь» и разными ругательствами. Сделаны даже рисунки с пояснительными надписями. Я не понимаю, зачем ребята это делают. И когда Васька достал нож, я ему сказал, чтобы он ничего не писал.

Вообще, странно. Вот, Васька. У него чистые, просто прозрачные голубые глаза. Щеки румяные, даже кажется, что у него всегда повышенная температура. Его и зовут в группе «Машей». А он сейчас хотел написать или нарисовать какую-нибудь гадость. И ведь главное в том, что в голове у него все это уже было представлено. Как-то нелепо. И кто, смотря в его прозрачные глаза, поверит, что Васька ворует с фабрики, что Васька стреляет из поджиги голубей и что ругается он, как потерявший разум пьяница.

А в группе он комсорг.

Тридцатое мая.

VIII.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Только что у меня были Маринка с Сашкой. Тащили на свадьбу. А я не пошла. Как это так? Брат и сестра?! Двоюродные, правда, говорят, что во Франции это модно, но только представить — брат и сестра?! Сейчас я понимаю, почему все так странно у них было. Как ни придешь, они каждый раз, будто из постели. Олег одет наспех, рубашка не заправлена, брюки часто не застегнуты, потный, глаза бегают, и было в нем всегда что-то неприятное, даже страшное. Смотрит на тебя так, будто ты перед ним голая — я даже стеснялась. А чего ходила к ним, не знаю. И Светка тоже всегда в одном халате и лицо недовольное. А на диван садишься, смотришь — покрывало измято и на нем то лифчик, то трусы Олега валяются. Как их родители не убили?! — Свадьбу играют! А если бы Светка не забеременела, что тогда? Так бы втихаря и жили. Теперь будут скоро с коляской ходить. Прямо сон страшный.

Семнадцатое июня.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

В понедельник — первый экзамен. Вчера вечером ко мне зашел Генка. В руках у него была завернутая в газету бутылка. Спросил, хочу ли я выпить? Конечно, да! Пошли к его тетке. Он мне про нее рассказывал. Говорил, что фатовая баба. Живет тетя Зина недалеко. На Шестой линии у набережной в Бугском переулке. Квартира коммунальная. Один сосед по полгода гостит в дурдоме, а другой, молодой парень, ходит в загранку, а комнату его жена сдает. Квартира паршивая. Первый этаж. Пол дощатый со здоровенными щелями. Трубы ржавые, текут. Ванны нет. Грязище.

Генкина тетка здорово пьет и вообще... Раньше у нее была отличная комната в другом районе. Она жила тогда с одним кадром, который заставил ее поменяться. А как переехали — скоро свалил. Вот она здесь и живет. Родичи от нее отказались. Только Генка и ходит. Но ходит он, я думаю, не зря.

Когда мы пришли и позвонились, то нам долго не открывали. Наконец голос, похожий на мужской, спросил: «кто пришел?»... Генка ответил. Звякнуло, и дверь отворилась.

Перед нами стояла женщина, которую нельзя было назвать ни «средних лет», ни пожилой. Вид ее был и неопределенный, и в то же время вполне определенный. Первое, что было можно сказать, она — пьяница. Своей красной рожей тетя Зина смахивала на мужика. Ранее голубые глаза побелели. Волосы были сальные, крашены в белый цвет. Верхнего переднего зуба не хватало. Лицо ее было как недоспелый гниющий помидор. Ну и тетя! Генка ведь мне не описывал ее внешности, а только говорил, что ей сорок лет и всякое такое.

Встретила нас тетя Зина неприветливо. Наверное, из-за меня. «Привел... Чего привел... Ходят... Водят...» — бормотала она почти про себя. Одета она была в салатно-бежевое кримпленовое платье. Генка говорил, что это ее гордость, за которую она очень боится — вдруг кто продаст? На ногах у тети Зины были белые босоножки, а ноги все в синяках и царапинах. Генка развернул газету и дал ей бутылку. Она быстро взяла и как хищная птица склонилась над бутылкой голову. Генка сказал, что мы поздравляем ее с днем рождения, а Батя вот прислал спиртяшки. Бутылка была на поллитра, полная.

Слева от входной двери было окно, почти вровень с землей, напротив дверь дурного соседа. На ней висел замок, а через два стола от соседской двери был проход без дверей в коридор. Между входной дверью и туалетом стоял еще стол и плита. Прихожая была одновременно и кухней. На стене против окон висела облупленная раковина. Налево по коридору была комната тети Зины, а в конце соседа-моряка.

Мы вошли в комнату. Там сидели мужик и баба. Они, по всему, тоже были пьяницами. Мужик пожилой, небритый, нос лилово-черный, и все остальное в том же роде. Рожа как мороженая картошка с приставшей к ней землей. РУКИ как коряги — ими наверное невозможно застегнуть ширинку — поэтому она всю дорогу была распахнута. Одет он был в старые милицейские штаны и рубашку. Ботинки такие, какие носят в школу дети бедных родителей. У бабы волосы не по возрасту коротко острижены, выкрашены в черный цвет, блестят меньше, чем у тети Зины. Зубов у нее не хватало изрядно, а рожа раскрашена так, что похожа на восковое яблоко. Раньше она, видно, была очень красивой, а сейчас похожа на внезапно состарившуюся девочку. Одета в василькового цвета платье в белый горошек, корот-

кое для ее лет и не скрывавшее ее стареющего тела. Генка сказал, что зовут ее Валентиной Степановной. Она работает на хладокомбинате, проверяет пропуска, и у нее всегда можно пожарить мяса. Валентина Степановна — подруга тети, а мужик — дядя Саша, бывший милиционер, теперь работает вместе с тетей Зиной на комбинате, где делают торты и пирожные. Дядя Саша там грузчик, а тетя Зина уборщица. Она берет на комбинате масло, сахар, орехи — что удастся, продает, а на вырученные деньги пьет. Когда не хочет для Генки что-нибудь сделать, то тот страшает ее тюрьмой за воровство, и она ему все делает.

Когда Генка меня со всеми познакомил, мы сели за стол. Я огляделся. Комната была меньше нашей. Потолки низкие. У стены, за которой живет дурной сосед, стояла полуторная кровать с отбитой местами эмалью. На одеяле, какие выдают летом в больницах, горка грязных подушек. У противоположной стены стоял буфет, который, будто старый пес, облез и протер свою шкуру до кожи. В комнате было два окна. Света они не давали из-за дома, стоявшего метрах в двух перед ними. Между окнами стояла крашеная в фисташковый цвет, тумбочка. На ней телевизор «Волхов». Генка говорил, что тетка взяла его напрокат. Телевизор сломался, и она боится его нести назад. Посреди комнаты стоял обеденный стол, накрытый для праздника. На изрезанной клеенке в алюминиевой кастрюле стояла картошка. В общепитовских тарелках лежали соленые огурцы и грибы, селедка. В алюминиевой миске был студень. Стоял еще торт, который тетка заказала на комбинате к своему дню рождения. Генка говорил, что когда заказывают свои, то кондитеры кладут всего столько — сколько положено, а не как обычно. В широкой стеклянной вазе были насыпаны орехи и шоколадные обломки, из которых на комбинате делают пудру, чтобы посыпать изделия. А орехи кладут в кос-халву. Тетя Зина вышла, а вернулась с полной сковородой жареного мяса. Вокруг стола стояло шесть стульев разного калибра, но добытых наверняка в одном месте — на свалке. Мы сидели на этих стульях.

Над кроватью висела пожелтевшая фотография с тетрадный листок. Рядом несколько маленьких. Я видел их у Генки — это все разные предки и родичи. К стене над телевизором была прикреплена фотография Ленина из журнала.

На столе стояло шесть бутылок. Две водки и четыре портвейна-72. Тетя Зина поставила спирт и сказала, что они

без нас не начинали. Дядя Саша убрал карты и разлил водку. Мы выпили за здоровье виновницы. Дядя Саша разлил еще. Предложил тост за то, «чтобы все было хорошо!» Выпили. Водка кончилась. Я сказал, что мы пили за здоровье тети Зины водку, а теперь надо выпить портвейна. В голове шумело, хотелось какого-то движения.

У дяди Саши портвейн после водки не пошел. Его вырвало частью на стол, частью на пол. Тетя Зина назвала его «паразитом», убрала. Валентина Степановна сказала, что «мужики вообще хулигны и сволочи». Дядя Саша, когда мы с Генкой вели его до кровати, ухватил было тетю Валю за руку. Она назвала его «нахалом бесстыжим», сказала, что сейчас вообще не умеют веселиться, а пить и подавно. Называла нас «ребятками», рассказывала, какие в молодости устраивала вечера. Мы выпили за ее молодость. Тетя Зина сказала, что хорошо бы позвать соседей, которые снимают комнату морячка.

Это были молодые ребята. Ему лет двадцать, а ей на вид, как нам. Они говорят, что муж и жена. Он — высокий, здоровый. Глаза часто делает мутными, томно вытягивая губы. Девчонка была аппетитная. Яркая, как сырая переводная картинка. Волосы пышные, глаза коричневые, глубокие, с желтым цветом изнутри. Нос вздернут. Губы такие, что их хочется сейчас же поцеловать. И сама будто вот-вот... Ноги полные, грудь небольшая. Вообще, совсем еще девочка. Они все отказывались, жалели, что не знали о рождении, но потом зашли.

Парня звали Владлен. Он вел себя тихо, называл всех на «Вы». Разговаривал со мной, приглашал как-нибудь зайти посмотреть его работы. Он — художник. Девчонка молчала, часто и долго смотрела на Владлена, а смотрит она на него внимательно и долго, как на икону. В глазах у нее все время была грусть, как у обезьянок в Зоопарке. Посидели они недолго. Выпили с нами по стакану и ушли, сказав, что надо по делу. А перед уходом постучались, и Владлен дал тете Зине какую-то бумажку. Она поблагодарила его, подошла к буфету и приставила подарок к пластмассовой вазочке, стоявшей на нем. На бледно-розовой бумаге белой и красной красками в профиль был нарисован Ленин.

В это время погас свет, и мы с Генкой пошли посмотреть, в чем дело. Тетя Зина вышла за нами, но когда увидела, что из угла, в котором мы шурували, вылетают искры,

то заорала, как бешеный поросенок, и спряталась в туалете. Тетя Валя вышла ее успокаивать, а когда свет был починен и все мы шли в комнату, то я услышал чей-то оживленный разговор. Кто-то кому-то что-то доказывал и, распалась, ругался. Я спросил, что это? Генка сказал, что это дядя Саша. Он вообще молчалив, а иногда по пьянке вот так заведется сам с собой матюгаться — не остановишь.

Дядя Саша за все это время отошел и подсел к столу. Что-то хотел объяснить, но никто ничего не понял. Впрочем, мы с Генкой не понимали, а у них просто такой разговор. Потом стало понятней. Он говорил, что приходит к тете Зине не как к шлюхе, а как к человеку, но если она его продаст... И тут он не жалел матери ради того, чтобы дать понять, что он сделает, если его продадут. Потом стал говорить ласково, называл тетю Зину «котиком маленьким и умненьким».

Тетя Зина сказала, что дядю Сашу надо отвести домой. потому что жена у него — «сука». Оказывается, он — сосед Валентины Степановны, и та попросила меня ей помочь его доставить. Я согласился. Был первый час. Генка сказал, что останется у тети. Ну что ж, так я и думал. Она, видно, его кормит, поит, а ему — все равно. Мы выпили на дорожку. В дверях Генка мне подмигнул. Ох, и вмазал бы я ему сейчас по роже.

Дядя Саша был совсем пьян. Рожа его вспотела и стала похожа на мороженую картошку в мокрой земле. По дороге он пел песню про несдающийся «Варяг». Мы дошли до Первой линии. Там их дом. По лестнице дядя Саша шел тяжело. Мы его волокли и подталкивали. Когда вошли в квартиру, жена открыла из комнаты дверь — он на жену и повалился. Входная дверь закрылась. Я прислонился к ней и стал оседать. Все кружилось, мутило. Хотелось спать, но когда закрывались глаза, то проваливалась голова. Я встряхивал ею и ударялся о дверь. Тетя Валя стала меня поднимать. Я слышал, как дядя Саша ругается с женой. Мне стало смешно. Я стал хватать тетю Валю руками. Она тоже засмеялась. Я несколько раз громко чмокнул ее в шею. Она повела меня по коридору. Было темно. Мы тыкались в стены. Что-то упало. Я выругался.

Вошли в комнату. Не помню даже обстановки. Все вертелось перед глазами. Плыли огромные круги. Я лез к ней под юбку. Мы все смеялись. Она толкнула меня на диван. Сама стала раздеваться, смотря на себя в зеркало. Навер-

ное, я в нем тоже отражался. Мы были там оба. Мне казалось, что я катаюсь на бешеной, стремительной карусели. На ней меня укачало. Я могу упасть... Я повалился лицом на диван. Тетя Валя окликнула меня. Она стояла передо мной голая и была похожа на лошадь, которая давно в работе: спина провисла, живот вспучило, а на ногах вздулись вены. Груды были большие, но отвислые. Сквозь кожу просвечивали зелено-голубые жилы. Соски темные, как изюм. Сколько мужиков мяло эти груди? И еще я подумал кое о чем в этом же роде, отчего мне стало совсем не по себе, когда осматривал ее с ног до головы — с ног до головы. А ведь она лет на двадцать пять старше меня. На целую жизнь! Страх! Сейчас мы с ней ляжем, а в уме я ее все время зову по отчеству и тетей. При толстом теле она имела тощие ноги и была похожа на семенящего клопа, когда ходила по комнате. Спросила, чего я не раздеваюсь? Я начал, а она сидела на стуле, смотрела и курила папиросу. Живот ее сложился в несколько ярусов.

Труссы я не стал снимать. Она сказала, что так не годится. Я снял. Мы легли. Мне уже ничего от нее не хотелось, но было как-то стыдно лежать и ничего не делать, когда она ждет. Еще подумает, что я не мужчина. Целовать, даже в шею, мне стало ее противно. Я мял ее груди, а потом опустил руку вниз. Она хрипло засмеялась. Сказала, что так щекотно. Я лежал рядом с ней. Она сказала, чтобы я лег иначе. А я больше не мог касаться ее тела! Меня охватило отчаянье. Я заплакал.

— Ты что сынок? — спросила она.

Я отпихнул ее и слез с дивана. Чувствовал, что по лицу стекают слезы. Засмеялся. Стал обзывать ее сквозь свой слезливый смех. Назвал «старой курвой», «грязной сукой», «падлой». В сумраке рассвета она удивленно смотрела на меня со своего дивана. Он был без ножек. Заплакала.

Я долго не мог найти трусов. Хотел одеться как можно быстрее, но меня качало, будто после моря. Не мог завязать шнурки, потом застегнуть запонки. Дрожали руки. Полузастегнутый вышел из комнаты. В крошечной тишине слышался плач со стонами. Под ногами трещали половицы. Я снял крюк и вышел на лестницу. Спустился. Вышел на улицу. Побежал. И не знал, куда. А в ушах полз на стенку плач тети Вали.

Я добежал до набережной. Сел под Сфинксом. Закурил. Почувствовал, что сейчас вытошнит. Очень не люблю, когда

рвет. Кажется, что все кишки сейчас вывернет наизнанку. Но я не сдержался и меня вырвало тут же на ступеньки. Голове стало легче. Я опустил руки в Неву. Умылся. Подняв голову, увидел на мосту людей. Огляделся. По набережной прогуливались люди. Сейчас же белые ночи! И меня все видели. Как гадко! Противно... Я быстро пошел домой.

Семнадцатое июня.

IX.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Позавчера был последний экзамен. По техноложке. Сдала на пять. Прямо умница! Только одна четверка. В школе их правда три, но по сравнению с остальными я — отличница. Мама за мою хорошую учебу и вообще... обещала подарить на шестнадцатилетие магнитофон. Это будет просто прекрасно. Теперь каждый день практика. Сегодня, когда мы ехали с девочками на фабрику, в трамвай опять набились ребята. Они тоже из училища и проходят практику напротив нас на мебельной фабрике. Мы почти всегда ездим одним трамваем. Многих ребят я узнаю в лицо. Девчонки даже в некоторых влюблены. Мы их всегда обсуждаем и часто смеемся над ними. Я вообще всегда, когда вижу парней, даю им внутри себя оценку, представляю некоторых вдвоем с собой и думаю, как бы они себя вели и что бы делали. Это очень интересно. С некоторыми я вообще не могу себя представить, другие ничего, но один... Я видела его раньше, но первое время он был мне противен, потом смешон — мы всегда смеялись над ним, а он что-то шептал своему другу, который очень скромный и почти всегда молчит, только иногда улыбнется — видно, тот, которого я теперь люблю, говорит ему что-нибудь гадкое или смешное про нас. Парни всегда смеются гадостям. Мой парень внешне похож и не похож на остальных. У него те же длинные волосы, развевающиеся брюки, но иногда кажется, что он притворяется, когда выкрикивает ругательства, мучает других парней, смотрит на нас гадко и вообще ведет себя как все парни.

Второе июля.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

К экзамену по техмеханике готовился всю ночь. Получил пять. По материаловедению — четыре. Теперь экзамены позади. Школа закончилась еще раньше. Все учебники я забросил до сентября на антресоли.

Началась практика. Теперь кататься по утрам как на работу. Лето, а мы ишачим: пилим и строгаем. На кой черт я пошел в это училище?! Оно создано исключительно для кретинов. Мастера тупы до упора. Преподаватели рассказывают до смешного простые вещи. Как-то я читал, что один кадр написал толмуд о том, как надо сбрасывать снег с крыш. Так и в нашей лавочке. Объясняют, что такое есть стружки, а что такое есть опилки. Единственная отдушина — поиграть вечером с пацанами на гитаре. Но ансамбль у нас со всего училища и некоторые участники в другом потоке. Приходится собираться по воскресеньям. Ну, ничего, искусство требует...

Приглянулась мне одна девчонка. Конечно, не Софи Лорен, но в общем-то товар нормальный. Она тоже с ПТУ. Мы сейчас вместе ездим на практику. Их, как и нас, человек тридцать. А из всех нравится мне она одна. Сегодня вот едем, болтаем с Лехой о том, о сем. Смотрю, а она за мной наблюдает. Видно, тоже интересуется. Рядом с ней стояла какая-то шизья с заячьей губой. Я шепнул Лехе, смотри, мол, какая очаровашка. Он, ясное дело, рассмеялся, а моя баба подумала, я про нее чего ляпнул, губы надула и отвернулась. Доехали до работы и разошлись. Им направо, нам налево. Даже жалко... Надо с ней как-то состыковаться.

Второе июля.

Х.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Сегодня ребята были выпивши и привязались к нам в трамвае. Один из них, рыжий, противный, оперся руками на сидение: я сидела с тремя девчонками сзади, и спрашивал, откуда мы такие взялись? Он же знает, откуда. Вот — дурак! Когда вышли из трамвая — он останавливается как раз напротив проходной, — то парни увязались за нами. Мари-

на Соколова сказала, что им надо на другую сторону улицы, но они дошли до проходной. И вот здесь мой парень подошел ко мне. Выпивший он был еще красивей. Если всегда он был то серьезн, то смеялся, то теперь как-то разомлел от выпитого. Он смотрел пошло, а мне нравилось. И мне знакомо его состояние. Когда ты выпивши, но не пьян, то хочешь охватить весь мир и всех осчастливить. Он посмотрел мне в глаза.

— Ты после работы свободна?

Господи, я бы сейчас пошла с ним, куда бы он ни повел меня, сейчас целовала бы его руки и отдала все на свете. Но здесь, рядом, его пьяные друзья и наши девчонки, которые уже все слышали...

— Свободна для чего?

— Для того...

— Иди отсюда!

Он засмеялся и ушел, ушли и остальные. А мне хотелось плакать.

Четвертое июля.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

Сегодня мы с корешками крепко поддали. Получили за лето деньги за питание и отметили это дело, как у нас полагается. На фабрику ехали в лучшем виде. Наш поток сегодня во вторую смену. Когда садились, то в трамвае уже ехали девчата. Первым выступил Гена. Мы зовем его «Крокодил».

Он вообще неприятный тип. Рыжий, прыщавый, пахнет чем-то сладким. Неприятен уже тогда, когда подходит. Из рта у него несет тем запахом, какой бывает, когда на солнце гниют раздавленные озерные ракушки. Глаза, как ни странно, голубые, но это только усиливает гадкое от него впечатление. А на харе Генки всегда написано то, чего он хочет.

«Крокодил» прицепился к бабам, сидевшим на заднем сиденье. Я смотрю, а с краюшку у самого выхода — моя. Ну, думаю, Геночка, ладно. Но он ничего особенного не сказал. А когда сошли, я подошел к ней и хотел культурно познакомиться, а наговорил ерунды. Совсем не то, что хотел. Даже не успел, потому что разговора не вышло. Да так даже и лучше. Жалко, конечно.

Четвертое июля.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Интересно, что такое любовь? Говорят, будто привязываешься так, что от тоски по человеку можешь умереть или покончить с собой. Не представляю себе такого! Я, конечно, могу влюбиться очень сильно, но страдать по парню — никогда! Их столько, что всегда можно влюбиться в другого.

Пятое июля.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

Сегодня мы с Потаповым были дежурными по мастерской. Он подметал пол и рассказывал мне, как вчера сделал одну девку женщиной. Хотя я не знаю подробностей этих дел, но он явно врал от начала и до конца. Он — грязная скотина! Ведь он выдумал те слезы, которыми плакала эта девочка, а это хуже, если бы они были. Я хотел набить ему морду, но подумал, как отнесутся к этому ребята? Каждый считал бы себя героем, рассказав такую историю.

Потом вспоминал, как они ездили с Лашиным за город с ружьем, которое Васька берет у своего дяди. Они дошли до поля и там стреляли птиц. Маленьких, вроде воробьев. Я спросил, зачем это делать? От птиц-то, поди, и перьев не остается? Какой толк? Потапов сказал, что просто так, интересно. Хотя, когда стреляешь ворон, то те иногда еще трепыхаются. Ну, а ворон-то он тоже не жрет же!? — сказал я ему. Это же бессмысленное убийство!

Юрка сказал, что не всегда убивает бессмысленно. Вот, однажды, совершенно справедливо, чтобы наказать соседку, не дававшую им играть в футбол около своих окон, Юрка поймал ее кота и закопал в землю, оставив на поверхности только голову. Потом разложил вокруг костер и поджег. А сам сидел, смотрел и слушал.

Я назвал его сволочью. Он заржал. Сказал, что поговорил бы со мной серьезно, да вечером надо идти к бабе, а я ведь ему тоже могу испортить карточку во время драки. Бабы же этого не любят.

Я подумал, что Юрка ненормальный, но тогда он не

один. Черт его знает?! Рожа-то у него бешеная: глаза круглые и вращает он ими постоянно. А сам, кажется, сейчас плюнет. Два верхних передних зуба у Юрки выбиты. Он похож на обиженного волка, а чихает, как кот.

Пятое июля.

ХII.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Вчера в Д/К был вечер. Несколько девчонок из нашей группы и я пошли. Народу было уйма. Играл ансамбль. И как я обрадовалась, когда увидела на сцене своего парня. Он играл на гитаре и пел. Щеки его горели. Видно, он выпил. Сейчас все парни пьют, да и девки не лучше. Мы выпили с девчонками в туалете две бутылки «Хирсы» на пятерых, покурили и пошли плясать. Меня приглашали несколько парней. Я танцевала, но не давала себя лапать и лезть руками. Мой парень играл весь вечер. Закончился пляс в двенадцатом часу. Все стали расходиться. Надо идти и мне, а я, как дура, встала и глазаю на сцену. Потом сообщила, что он может это заметить и стала смотреть на выходящих, будто ищу кого-то глазами, кого жду. А сама нет-нет да и посмотрю на него. Все наши девчонки уходили с парнями, кроме Лены Забелиной. У нее заячья губа, поэтому нижние веки оттянуты вниз и получается страшная и смешная гримаса, заставляющая еще раз на нее посмотреть. А тело у нее как мертвечина, хоть худое, но рыхлое, и пахнет от Ленки всегда ужасно. Когда приходишь к ней домой, то в ее комнате всегда пахнет ее особенным потом — очень неприятно. Парни с ней не ходят, а зовут Ленку «гнилым мясом». Мне ее всегда жалко: она же ждет, что кто-то будет и с ней ходить.

Когда все вышли, я тоже пошла, но вдруг услышала: «Здравствуй!». Я еще не обернулась, но узнала голос — это был его голос! А когда обернулась, то он стоял передо мной.

— Здравствуй! — ответила я.

— Извини меня за тот раз у фабрики. Мы тогда с корешками малехо заложили.

— Да ты и сейчас под кайфом.

— Ну, это ничего. Когда играешь — надо пить.

— Майкл! За аппаратурой приедем завтра. Так что, чу. Не томи девочку. — Крикнул ему со сцены волосатый парень в кожаном пиджаке, который с другими ребятами там еще возился.

— Пока, Вадим, — ответил Миша и обратился ко мне. — Тебя можно проводить?

— Мне далеко.

— А куда?

— В Дачное.

— Бывает и дальше. Поехали.

Мы спустились в гардероб. Почти все уже разошлись. Несколько парней и девочек курили в ожидании друзей. В кресле около выхода сидела Забелина и курила. Рядом стоял с папиросой в зубах тот рыжий, который пристал в трамвае. У него было веснучатое прыщавое лицо, какое может не вызывать отвращения, но в лице его было столько гадости, что мне стало еще больше жаль Забелину. Есть люди, у которых на лице написано то, чего им надо. Конечно, пусть, всем надо. Но здесь, когда надо не человека, не Забелину с ее заячьей губой, а то, что у нее в порядке и примерно такое же, как у всех, а она рада даже такому вниманию... Мне захотелось подойти и ударить рыжего, но я подумала, что у меня нет заячьей губы и вообще никаких дефектов. Лицо, если не красивое, то симпатичное, хорошая кожа, стройное тело. Я еще не знаю, что видит во мне Миша, но готова отозваться всем своим существом даже на то внимание, на какое отзывается сейчас Забелина. Но жалею я ее, а она мне наверняка завидует, что я пойду с высоким видным парнем.

— Ты о чем мечтаешь? — услышала я голос Миши. Он получил вещи и подавал мне плащ. Оделись и пошли на метро.

Когда дошли до моего дома, Миша посмотрел на часы.

— Ай-ай-ай! Четверть второго!

— Как же ты поедешь? Тебе куда?

— На Васильевский.

— Здесь можно поймать такси.

— Какое такси, когда на водку не хватает.

Мы замолчали. Миша предложил посидеть на детской площадке.

— Ты с кем живешь? — спросил он.

— С мамой.

— У вас отдельная квартира?

— Конечно, двухкомнатная.

— На двоих?

— Нет, отец прописан у нас, а сам снимает или живет у кого-нибудь.

Мы долго сидели около моего дома, наверное с полчаса. Говорили о разном. Потом Миша спросил, не будет ли волноваться Мама, что меня долго нет дома. Что было ответить? Сказать правду, что Мама работает в ночь? Или, что она не волнуется за меня. Я сказала правду и еще, что ко мне можно зайти посидеть, пока откроют метро.

Я думала, что он, как все парни, начнет сразу ко мне лезть, обниматься и целоваться, но он даже не взял меня в этот вечер под руку. Я подумала — он понял, что я ему не нравлюсь. Он только говорил и говорил со мной или вовсе молчал.

Когда вошел к нам и помог мне раздеться, то стал совсем тихий и очень хорошенький. Он был теперь похож на маленького мальчика, а не того гопника, каким я его видела раньше... От ветра волосы его рассыпались в разные стороны кольцами, а около губ щеки были припухлыми, как у ребенка. Мне захотелось приласкать его. А он сидел и рассказывал, но теперь без этих своих «малехо», «с легонца», «по делу», а просто и интересно, как любит он свою музыку, выступления, что музыка эта — настоящее искусство, что ж, что возникает она с помощью электричества! Говорил о том, что тоже живет без отца, с одной матерью в коммунальной квартире. А отец прописал его у себя для того, чтобы получить трехкомнатную квартиру, а у него жена и ребенок от нее. Потом говорил про своих друзей. Про парня, который бесподобно рисует. Про того, которого я видела на сцене — что он прекрасный музыкант, шикарно говорит по-английски и может достать любую вещь. Пока он рассказывал, я сварила пельмени. Мы поели. Выпили кофе. Он закурил, и я тоже. Кончили курить, немного поговорили и замолчали. Я подумала: «Что же дальше?» Решила, что он, наверное, хочет спать. Сказала, что лягу у Мама, а ему постелю у себя. Он удивился — неужели я хочу спать? Завтра же воскресенье? Но я все-таки постелила, а потом мы еще говорили, а мне хотелось, чтобы он меня поцеловал, и еще, и еще... Конечно, я не хотела, чтобы это слишком далеко заходило. То, о чем я недавно мечтала,

пугало теперь меня одной мыслью об этом.

Он дал мне посмотреть порнографический журнал. Как можно фотографировать такую гадость? И кто на это идет? Когда я посмотрела и подняла голову, то он пристально, даже как-то отчаянно на меня посмотрел. Потянулся ко мне и поцеловал прямо в губы, а потом притянул к себе, посадил на колени и все целовал. Как мне было хорошо с ним! Но когда он полез руками — мне стало стыдно. У меня маленькая грудь и я стесняюсь этого. Я стала убирать его руки, а он все лез, а потом взял мою руку и положил к себе. Господи, как я испугалась! Никогда не думала, что это такое большое. Я много слышала, кое-что читала, но тут мне стало очень страшно и я попросила оставить меня.

Когда мне было семь лет, Мама единственный раз снимала дачу: сарайчик в Белоострове. В доме наших хозяев была масса дачников. Жили муж и жена с двумя сыновьями. Они были младше меня. Старшему было шесть, а младшему четыре с половиной. Мы всегда играли с ними в разные игры. Пускали мыльные пузыри, ловили сачками насекомых. А как-то придумали игру в доктора и больного. Больной ложился в гамак, а доктор его осматривал и говорил, как лечиться. Мы всегда подолгу осматривали то, что нас больше всего интересовало друг в друге. А потом, если я бывала доктором, то говорила, что они должны вначале сходить «по малому» (мне очень нравилось, когда они это делали — я даже иногда подсматривала), а потом покачать меня в гамаке, стоя у сосен со спущенными штанами, чтобы поправиться. Мальчишки говорили, что так нечестно: я тоже должна снять штаны и задрать юбку. Я смеялась и задирала юбку, не снимая штанов. Мы быстро ссорились. Мальчишки со слезами на глазах натягивали штаны и уходили. А я продолжала качаться.

Я выросла и узнала, как все делается. Но до самого этого момента не представляла себе ничего на деле.

Миша сказал, что больше не будет, но когда я хотела выйти, то обнял меня очень нежно, стал опять целовать, довел до дивана, уложил на него и стал раздевать. Мы молча боролись и изредка я шептала: «Не надо». А он говорил: «Подожди... Ну что ты... Я ничего...» А сам раздел и поцеловал в грудь. Мне стало очень беспокойно. Я совсем потерялась и заплакала. Он отпустил меня, и я ушла, взяв свои вещи, не пожелав ему спокойной ночи. Я вся горела. Легла. Уткнулась в подушку. Хотелось плакать. Слез не было. Они

будто высохли в моем жару. Мне хотелось к Мише. И я пошла. Но он заснул, а я не могла будить его и тихо ушла.

После того, как увидела его спящим — я успокоилась. Легла и даже задремала, но вдруг почувствовала, что он в комнате. Миша стоял в одних трусиках около кровати. Всю меня била дрожь и я только спрашивала, что он хочет со мной сделать? Он сказал, что ничего не сделает, чтобы я успокоилась. Сел на кровать, наклонился ко мне и прижался всем телом. Он тоже дрожал. Поцеловал меня в лоб — совсем как в детстве отец перед сном. Пошел к дверям. Я окликнула его. Он подошел ко мне. Я протянула к нему руки. Мы снова стали целоваться, а потом я все с себя бросила и сказала, что готова на все. А он стал меня целовать все реже, а потом вовсе перестал, встал и вышел. Вернулся с сигаретами. Мы закурили. Я взглянула на часы. Скоро должна была придти Мама. Я сказала, что ему пора уходить. Он быстро оделся, а вид у него был совсем смущенный, будто он нашалил. Мы поцеловались в дверях. Миша ушел. Я все убрала и Мама ничего не заметила.

Восьмое июля.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

Вчера мы играли на вечере. Исполняли в основном западные вещи. Пляс вышел шикарнейший. Драк было немного, но повеселились нормально. Когда все расходились, я разглядел на выходе свою бабу. Стало ясно, что видел ее среди танцующих, да не узнал. Она сегодня сделала прическу: челочка на лоб, остальные волосы зачесаны назад и собраны, как кружевной крендель, на висках и по всей голове гирляндами свисают завитки. Губы — вишневые, ногти тоже. Ресницы длинные, как усики у махаона, черны так, что глаза словно в трауре. Брови, видно, выщипала. (Раньше они мне казались гуще). Под ними голубые тени. Лицо напудрено загарной пудрой. Прямо кукла раскрашенная.

Вообще я ничего не имею против, если баба красится. Да и парень если удачно выкрасит волосы, тоже ничего — сам этим занимался. Но когда накрашено все, что можно, мне кажется, что это только портит дело. Ну, ладно, бледные губы. Подкрась! Блестит нос, тоже, валяй замазывай!

Но ведь другая вся перемажется и думает, что это сногсшибательно.

Она, видно, кого-то ждала, потому что не выходила, а внимательно смотрела в толпу выходящих. На ней была юбка серого цвета, коротенькая, как у маленькой. Ноги длинные, в дымчатых чулках. Туфли на платформе. Штатская баба!

Спустившись со сцены, я все-таки подошел к ней. Мы поздоровались. Познакомились. Мне захотелось ее проводить. Она была поддавши, а в таком виде бабы многое позволяют. У меня, правда, до сих пор не было девки, с которой бы я переспал, но я много раз целовался и умею это делать. Мне, конечно, хочется переспать с бабой, но это не так просто. Связаться со шкурами у меня не выходит. Когда они начинают сами лезть, то мне становится неприятно. И вообще, как-то страшно связываться с бабой, которая все прошла, а ты только целовался и больше ничего. Мне кажется, я проще сделаю это с бабой, которую совсем не знаю: она мне просто понравится при встрече. Но разве это возможно? А когда уже хорошо знаком с девчонкой, то как на это решиться? Как мы узнаем и увидим друг друга в этот момент?

Я не знал, какая Галька, но она мне понравилась и я поехал ее проводить. Она живет в Дачном.

От метро мы шли пешком. До ее дома доперли во втором часу. Посидели перед домом. Поболтали о жизни. Она все волновалась, как я доберусь на свой Васильевский, а я об этом и не думал. Мне хотелось поцеловать ее, но я не решался. Сидим, разговариваем и вдруг — нате! Она же поймет, что это несерьезно, а так... Я спросил, не будет ли волноваться ее Мама. Она сказала, что Мама работает в ночь. Пригласила зайти.

У них с матерью двухкомнатная квартира. Отец прописан с ними, а сам, вроде моего, только в другую сторону. Дом — шикарный! Два лифта, мусоропровод. Потолки приличные для новостроек. Прихожая большая, стенные шкафы. Обстановка, конечно, не фонтан. У Галки комната с лоджией. Она показывала квартиру, пока кипятилась вода для жратвы. Я спросил, не страшно ли жить на четырнадцатом этаже? Она ответила, что отсюда до Бога ближе. Я похвалил ее за остроумие.

Заморив червячка, мы опять разговорились о разных вещах. Рассказывали о себе, о друзьях. Курили. Другие пар-

ни не любят, чтоб девка курила, а по мне все равно. Лишь бы как следует, взятяг. Разговор сникал, а я думал: «Что же дальше?»

Она сказала, что если я хочу спать, то могу лечь. Перед приходом Мамы она меня разбудит. И я уйду. Мне не хотелось спать, а хотелось еще побыть с ней. Это ведь здорово! Еще сегодня были чужие люди. Она покрашенная, внешне пустая кукла. Не знаю, чем казался я. А теперь сидим в ее доме и говорим, как самые близкие люди. Наверное, мы с ней в чем-то похожи, раз так скоро сошлись.

Я думал об этом, пока она мыла посуду. Потом мы пошли в ее комнату. Закурили. Мне захотелось показать ей порнографический журнал, который мне сегодня вернул Вадим. Я спросил Галю, как она относится к порнографии? Она сказала, что это — ужасная гадость. Но журнал посмотрела и опять сказала то же. Я обратил внимание на то, что мне было приятно, когда Галя смотрела журнал. И когда она поднимала голову, которую склонила над ним, то я поцеловал ее. Посадил к себе на колени и продолжал целовать. Мне хотелось узнать все ее тело. Она снимала мои руки с колен и груди. А у меня было непередаваемое чувство того, что устроенные природой по-разному, чтоб соединяться в единое целое, мы можем сейчас увидеть и узнать друг друга и что может быть на свете значительнее!? Она отпихивала меня и хотела уйти. Попросила оставить себя. Я отпустил ее, но в дверях мне захотелось снова ее обнять. И я обнял ее и завалил на диван. Раздел до пояса и поцеловал в правую грудь. Она заметалась в моих руках. Заплакала. Я дал ей уйти. А сам разделся и лег. Но какой тут сон? Услышал, что она вернулась и зачем-то притворился спящим. Она была недолго, потом ушла.

Я не мог лежать и пошел к ней. Когда подошел к кровати, меня начала бить дрожь. Галя спросила, что я хочу с ней делать? Станный вопрос. Я сказал, что ничего, прижался к ней. А потом просто поцеловал в лоб и пошел вон. Она позвала меня. Протянула руки. Мы стали целоваться. Галя сняла с себя рубашку и сказала, что согласна на все. В ее голосе звучала торжественность жертвы, которую она мне была готова принести. Мне стало смешно. Потом я понял, что это тот момент, когда в моих руках чистая девочка, которой я могу воспользоваться. Но я вдруг испугался неизвестности этого дела и еще той пустоты, которая в этот миг скользнула под рукой. Я перестал ее целовать.

Сходил за сигаретами. Пока курили, Галя сказала, что мне пора сваливать. Я пошел одеваться. Было стыдно своей минувшей робости. Опять свалил дурака. Но она подумает, что я благородно не воспользовался ее согласием. Ну и ладно. Прощальный поцелуй вышел короткий и стыдливый. Будто в первый раз.

Я приехал домой, когда Мама уже пила кофе. Она привыкла к тому, что я не ночую дома. Ничего не сказала. Вообще ей сейчас не до меня. Она ждет ребенка от одного кадра, за которого собирается замуж, а ведь ей сорок лет. Виктор на семь лет моложе. Интересно, где они собираются жить с ребенком? У Виктора одиннадцатиметровая комната, а у нас с матерью четырнадцать метров.

Восьмое июля.

ХIII.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Мы с Маринкой и Сашкой напились. На рождение я их не приглашала из-за Мама, а вчера скинулись на три бутылки портвейна и насосались, как клопы. Маринке, конечно, не стоило так, но что ей скажешь? Не будешь отнимать стакан, а Сашка молчит. Вообще он чудной. Глаза у него очень красивые — кошачьи, цвета каштановой скорлупы. Они ласковые и мягкие, когда он в хорошем настроении. И сам он производит впечатление чего-то очень мягкого, что хочется иногда прямо взять да потискать. Непонятно, как такой может лишать невинности. Он ведь рассказывал Маринке, что до нее у него были три любовницы — и все девочки. Младшей тринадцать лет. Он всегда мечтает — то об учебе, то о карьере на производстве, но я думаю, что он слишком безвольный, чтобы чего-то добиться в жизни, да и не умен он.

Мы пили у меня — Мама работала. Сашка рассказывал все время анекдоты. Маринка слушала и все время мне говорила, что напрасно не пригласила Толю: он говорил ей, что ему до сих пор нравлюсь.

Я почти весь вечер молчала и вспоминала Мишу — то на сцене, то как он меня целовал, а потом ушел и ни разу не позвонил. И не позвонит, наверное, никогда. Что я ему? Он — парень.

Двенадцатое июля.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

Сегодня я опоздал на фабрику на полчаса. Мастер ругался. Начали делать табуретки. Строгали все, кроме Сереги, а он пристроился за задним верстаком и проспал на полу до обеда. А после обеда мы идем домой.

До трамвая шли с Серегой. Он, как всегда, рассказывал про свои подвиги. Вчера надрался с корешками. Пошли гонять народ. Пристали к курсантам морского училища. Тех тоже было восемь. Начали махаться. Серега с друзьями похватала колы, покидали их в моряков. Те в них. Курсанты взяли за ремни. Одному рассекли голову. «Зеленый» был весь в кровищи», — сказал Серега. Набежала милиция и дружинники. Кто-то вызвал «Графа», и «Зеленого» повязали. Остальные разбежались.

Серега уходил проходными. В одном дворе наткнулся на пьяного. Тот валялся около гаражей. Серега расстегнул штаны и помочился тому на лицо. Попал в глаз. Веко, говорит, заворачивалось, и сквозь струю блестел белок.

Я сказал Сереге, что он совсем опустился. Спросил, зачем делает такие вещи? А он ответил, что нефиг валяться на дороге.

Вообще я Серегу побаиваюсь. Думаю, не будь я ему другом, как бы он со мной когда-нибудь обошелся? Я крупнее его, но во мне нет его решительной беспощадности и желания делать то, что он. Может быть, про себя я думаю о таких вещах, но никогда не сделаю.

После поступления в училище, в сентябре, нас отправили в колхоз. Нас поселили там в бывшей пекарне. В ней каждый год живут студенты или ребята из училищ, которые помогают совхозу собрать урожай. Но какая от нас помощь? Все давили сачка. Из турнепса вырезали рожи, а картошкой кидались. Когда мастера говорили, что если мы не соберем столько того-то и того-то, то председатель не даст денег на нашу жратву, то мы собирали сколько надо. По вечерам мастера пили, а мы ходили за два километра в бывшую школу. Там поселили группу ювелиров. В ней было только шесть парней, а остальные девчонки. Нас было две группы, но многие сявки не ходили и драк из-за баб почти не было. Мы устраивали пляс, а потом махались с местными ребятами, если девчонки говорили, что те к ним лезли.

В совхозе мы были около месяца. Потом стали уезжать. Я уехал с первой партией. Потом Леха мне рассказывал,

что Серега мучил тех котят, которых ребята откуда-то при-тащили в пекарню. Их и называли: одного по кличке Сереги Свинцова — «Бес», а второго по кличке его лучшего друга Потапова — «Лоцман». Серега лил на них йод и бросал в костер. Потом, когда котята с виду были дохлые, играл ими с Юркой в футбол. А ночью, когда все спали, Леха вышел во двор в туалет. Услышал писк. Пошел на звук. Увидел два комка шерсти и мяса, которые лежали друг около друга, только поднимали ослепшие мордочки и пищали. Леха тут же заплакал, а с Серегой не разговаривает до сих пор.

Один раз я был у Сереги дома. На окне стоял аквариум. Серега постучал пальцем по стеклу и рыбки сбежались. Он бросил им червей мотыля. Танцующих в воде червей просвечивал насквозь рефлектор, висящий на аквариуме. Серега сказал, что рыбки его узнают. «Котят в костер кидает, а дома с рыбками беседует», — подумал я.

Меня очень удивило, когда Серега рассказал, как заступился за мать, когда пьяный Батя поднял на нее руку. Наверное, Сереге было просто охота почесать кулаки. А бьет он с наслаждением. Он привык бить. А теперь ему некуда девать свое умение и привычку. Раньше он занимался боксом, имел первый разряд и подавал большие надежды. Такой человек мог стать великим боксером. Серега бросил бокс, когда его тренер перешел в другое общество. Сейчас он много курит и пьет, путается с девками.

Закончил свой рассказ Серега тем, как пошел потом к одной бабе и что там сделал. Он никогда не смакует эти вещи, как все ребята. Там, где он хорош — он примитивен.

Когда я поступил в училище, то Серега не производил на меня впечатления садиста. Я никогда не могу сразу определить человека по его внешности.

Глаза у Сереги коричневые, холодные, даже мертвые, когда звереет — блестят. Стрижется всегда коротко. Волосы светлые. Он похож на лошадь, симпатичен лицом. Иногда кажется невинным и томным, но присмотришься и видишь, что Серега, как новенький штиблет, который уже успел окунуться и в придорожную грязь и в дерьмо скотины, и в его блестящую обувную юность уже въедается и то и другое. Иногда, когда Серега дремлет на уроках, он похож на старуху. Он здоровый парень. Но, как стремительно разматывается катушка, так Сережа жжет свои силы.

Двенадцатое июля.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Наконец позвонил Миша. Я так ждала его звонка. Даже рассердилась. Хотела его позлить и сказала, что Сева сделал мне предложение. А Миша пожелал мне счастья в семейной жизни и повесил трубку. Что же теперь делать? Когда езжу на фабрику, то его не бывает в трамвае. Надо решиться и спросить у Мишиного друга, с которым он всегда держался вместе, что с Мишей?

Всеволод приехал вчера и сразу сделал мне предложение. А я его еле узнала. Совершенно отвыкла. Он стал очень неприятный. Или был? Лицо у него розовое, а руки красные. Он лысеет и носит короткую прическу, только сзади волосы отпущены и завиваются колечками. Глаза, как гороховый суп. Сам небольшого роста, не выше меня, спортивный. Все время серьезный, деловой, все знает. Собирается держать экзамены в ЛИАП. Он провалил туда два раза до армии. Теперь, говорит, после службы, льготы.

Когда я заговариваю с ним о чем-нибудь сложном, то он уводит разговор в сторону. Видно, боится осрамиться. Когда я включаю магнитофон, то он делает вид, что вслушивается и о чем-то внутри себя переживает, а сам в это время стучит ногой — разве можно?

Он — человек, который знает, что ему надо. Вот выбрал меня и все, хоть лопни, а будь его женой. А может быть в нем ко мне что человеческое? Так-то он, как машина. Одет всегда в бордовый костюм с жилетом, и обязательно галстук. Часы на цепочке, ботинки остроносые. Даже в солнечную погоду носит плащ и шелковый шарфик.

Сева нарасказал мне очень страшных вещей. В часть, где он служил, приходили из поселка одиннадцати-двенадцатилетние девочки, а вечером прибегали матери, били их и тащили домой. На следующий день девочки опять приходили. А взрослые бабы приходили и ложились. Солдаты ставили такой бабе стакан воды и кусок хлеба. Ею пользовался кто хотел. Я не могу себе даже представить такой ужас.

Сева остановился у родных. Встречаемся с ним каждый день. Как раньше я его любила? Ведь он первый учил меня целоваться. Как я могла это с ним делать? Сейчас только назло Мишке разрешаю Всеволоду себя трогать.

Мне даже иногда хочется назло Мишке ему отжаться.

Мы с ним вчера выпили за встречу, и он смотрел на меня такими сладкими глазами, что я засмушалась.

Сегодня Всеволод говорил с Мамой. Он ей давно нравится. Мне она всегда говорила, что мечтает иметь такого зятя. Мама сказала, что с нашим браком надо подождать, пока я хотя бы закончу училище, а это еще два года, и мне будет как раз всеонадцать. За это время и Всеволод поступит в институт и вообще как-то устроится в Ленинграде.

Пятнадцатое июля.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

Я бросил ходить на практику. Ну их всех к черту! Тошнит меня от этих табуреток! Чтобы мать не догадалась — ухожу утром, будто на фабрику, а сам иду на Петропавловку, залезаю на наш с Лехой бастион и там сплю. Говорят, утром солнечные ванны полезны. Потом иду к Зоопарку, перелезаю там через забор и хожу смотрю зверушек.

Позвонил Гальке. Она сказала, что какой-то кадр хочет на ней жениться. Я пожелал ей счастья. Не буду больше звонить.

Пятнадцатое июля.

XV.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Я сказала Всеволоду, чтобы он не ходил ко мне, не звонил. Не могу его видеть.

Практика кончилась. Проклинаю себя, что не успела поговорить с Мишиным другом. Не могу даже узнать Мишин адрес — не знаю фамилии. Хоть плачь! Да и плачу часто. Все готова ему простить! Только бы он пришел или позвонил. Где он? Что с ним? Может быть, он умер?

Ко мне заходила Маринка. Она сказала, что все мои страдания по Мишке — ерунда. Вот она, поняла, что не любит Сашку, а ведь живет с ним. Она от него ничего не получает, не чувствует себя женщиной, только больно всегда, но идет на это ради Сашки — он к ней очень привязан. У них будет ребенок, и родители разрешили им жить. Сей-

час они ходят в исполком, чтобы выбить Маринке разрешение на брак. Она сказала, что зря я отказала Всеволоду, а тем более бросила Толю. Он сейчас из-за меня пьет.

Я рассказывала Маринке, как люблю Мишу. Она долго не соглашалась, что можно, как я, сидеть униженной и ждать. Потом сказала, что вообще-то кто его знает. А когда уходила, сказала, хоть я и дура, а она мне завидует.

А я решила, если не буду Мишиной, то ничьей. А если стану его, то после этого покончу с собой.

Девятнадцатое июля.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

Вчера встретил Владлена. Он узнал меня. Поздоровались. Владлен был с двумя друзьями и тремя бабами. Они были поддавши. Он сказал, что если я хочу выпить и послушать фирменный магнитофон, то могу двигаться с ними. Я пошел. Все ребята, кроме Владлена, были хорошо одеты. На нем были старые вельветовые брюки песочного цвета, розовая рубашка, завязанная узлом, и грязные белые кеды. Я был одет плохо и стеснялся своего вида. Мы зашли в угловой магазин. Они взяли три бутылки водки и пять портвейна. Парень с прической, как у Гоголя, положил бутылки в большой кожаный портфель. Парня звали Володя. Волосы у него были черные, даже с синевой. Лицо белое, будто в мелу. Глаза карие, как у коровы, умные. Губы толстые и красные. Зубы плохие, но он все время широко улыбался. Володя был выше Владлена, но очень хилый, только плечи широкие. Его брюки были цвета яичного желтка, модные, в таких только иностранцы ходят. Очки на поллица, дымчатые. На теле белая футболка без рукавов. На ней нарисован черной краской лев (Это Владлен ему нарисовал). Под футболкой вычерчивается впалая грудная клетка. Худые руки свисают, как плети. Запястья — одна кость, а кисти широкие, пальцы длинные. Часы старинные на толстом кожаном ремешке. А сам словно истощен и изнурен, но, как человек в последней степени утомления, расслаблен и весел.

Мы сели в автобус. Сошли у «Юбилейного». В начале Большого зашли в подворотню. В глубине двора была парадная, у которой парень, который был все время серьезный, сказал, что это и есть «гнездо». Поднялись на шестой этаж.

Открыла девица в роскошном халате. Фигура — полный порядок. Волосы цвета спелой пшеницы, стрижка «Гаврош». К корням волосы здорово темнеют — видно, крашенные. Лицо русское, здоровое. Глаза, как незабудки: веселые, с виду небрежные к окружающим, а на самом деле она все секет. Она сказала, что думала, мы уже не придем. Владлен нас познакомил. Лариса небрежно на меня посмотрела.

Квартира была трехкомнатная. Комнаты огромные и мебель в них тоже. В одной две стены до самого потолка занимали полки с книгами. Стояло старинное бюро и кресло такого же стиля. В углу рояль, а над круглым столом в центре с потолка свисала бронзовая люстра. Во второй комнате стояло два шикарных дивана, трехстворчатый шкаф, трюмо и очень красивый торшер с большим колпаком. В третьей комнате жила Лариса. У нее стоял японский стерео-магнитофон, а стены были завешаны фотографиями.

Володя потащил одну бабу на кухню. Он говорил, что она обязана приготовить жратву, что это ее профессиональный долг, а Сима смеялась и отказывалась, но потом он ее уговорил. Серьезный парень, которого звали Костей, включил магнитофон. У Кости даже прическа была серьезная, а похож он был на ковбоя из американского боевика. Телом сухой, как вобла. Узкий, и плечи на одной линии с бедрами. На нем были попсовые фиолетовые джинсы. Рубашка лимонного цвета, приталенная. На шее кумачевый шарфик в большие черные горошины. На правой руке серебряный перстень. В него вправлен прозрачный, как стекло, камень, под которым нарисовано женское лицо с ползающими по нему муравьями. (Это тоже работа Владлена.)

Костина баба — Виктория, сказала, что у нее болит голова от этой музыки. Ну и дура! Володя закричал из кухни, чтобы она переложила вату в уши, а не мешала вкушать современные ритмы. Она вообще — противная баба! Лицо, как смытое дождем объявление: оно все выцветшее, только губы, накрашенные алой помадой, были как у вампира, напившегося крови. На ней были белые брюки такой ширины, каждая штанина которых, если ее зашить с одного конца, могла служить Виктории спальным мешком или саваном. На левой брючине вышита роза. На теле тельняшка, поверх которой джинсовая куртка. Помесь пирата с ковбоем, а на ногах — босоножки на платформе.

Я спросил Владлена, где его жена? Он сказал, чтобы

я лучше поинтересовался, где хозяйка дома. Я пошел искать Ларису. Она курила, облокотившись на рояль и вглядываясь через очередное облако дыма в его полировку. Я спросил, чего она ушла. Лариса сказала, что не выносит Тамару, с которой пришел Владлен. И вообще, женился — ходи с женой!

Володя позвал всех к столу. Сима сделала салат и пельмени. Мы поели. Владлен говорил непонятные мне тосты, а мы пили. Сейчас он вел себя развязно: все время лапал Тамару и лез к ней лизаться. Она была баба ничего. Лицо загорелое. Волосы до груди, черные и вьющиеся. Глаза узкие, скулы широкие, губы пухлые. Ноздри четко раздувала. Казалось, что она только что выловлена из дикого племени и силой наряжена в замшевые брюки, белую гипюровую блузку, а на ноги ей надели совсем непривычные ступне дикарки спортивные тапочки. От нее веяло свежестью. Ей бы танцевать танец с саблями.

Володя с Симой пошли танцевать. За столом Сима все время молчала. На ней было платье цвета весенней травы в черную полоску, и она походила в нем на гусеницу, потому что все время словно хотела свернуться и вела себя так, будто боялась, что с нее сейчас свалится вся одежда и все на нее будут глазеть. Она часто смотрела в одну точку и все время молчала. Она была темная и измятая. Стрижка короткая, но только подчеркивающая, что Сима старше всех друзей. На лице меньше косметики, чем у остальных. Она все время снимала Володину руку со своего зада и недовольно на него смотрела, а Володя говорил, что она напрасно это делает — ведь он считается лучшим массажем глубочайших морщин.

Владлен о чем-то спорил с Костей. Он говорил ему очень интересные вещи, которые не везде услышишь, а Костя отвечал то, что я уже давно слышал, к чему привык и что мне надоело. Я хотел это сказать Косте, но он закрыл мне рот рукой, назвав «мальчоночкой», и посоветовал выпить «сельтерской». Я не обиделся на него, потому что он был гораздо старше, как и все ребята, потом ведь я попал в их компанию случайно, задарма ем и пью — чего ж выступать? Я закурил и стал смотреть на Костю: у него был благородный профиль, но я уверен, что он сам непрочь пожить, а говорил он глупости.

Володя с Симой перестали танцевать и вышли. Виктория вышла за ними. Вернулась и сказала, что они в спаль-

не и уже «того». Владлен сказал, что она сегодня нетерпелива. Он назвал ее «ципой» и пригласил танцевать. А я пригласил Тamarу.

Мы выпили уже половину бутылок. Девушки — портвейн, а мы — водку. Я был счастлив, что попал в такую компанию. Хотел поцеловать Тamarу, но кто-то ущипнул меня за задницу. Это был Владлен. Он сказал, что не хотел бы конфликтовать с такой «деткой», как я. Я хотел ему что-нибудь ответить, но тут резко вошел Володя и закричал, что больше не подойдет к Симе на пушечный выстрел и что ему нужна «тачка». Хлопнула входная дверь. Это ушла Сима. Володя стал вызывать такси.

Тамара сказала мне, что не любит Володю за его образ жизни. Он не работает: играет по ночам в карты на деньги и тем живет. Умный парень, а целый день торчит в «Сайгоне». Как ни зайдешь в кафетерий — он там. И всегда лезет со всякими гадкими разговорами.

Володя услышал Тamarу и сказал, что теперь он прижился в «Ольстере», а ей советует не «испражняться» его биографией так небрежно. Тут зазвонил телефон, и Володе сообщили, что «тачка» едет. Он ушел, сделав нам на прощание двумя руками «общий привет».

Владлен с Ларисой вышли из комнаты. А мы взялись за руки и понеслись по кругу по комнате. Потом, закружившись, упали. Я упал на Тamarу и быстро поцеловал ее в губы. Костя с Викторией во время падения закатились под стол, но оттуда, видно, еще долго не собирались вылезать.

Вошел Владлен, назвал Тamarу «мамой» и сказал, что пора плыть. Они ушли. Лариса сказала Косте и Викторине, что они могут идти в спальню. Они, взявшись за руки, ушли. Лариса стала скромнее, когда мы остались одни. Я пригласил ее танцевать. Танцевали спокойно. Я поцеловал ее в шею. Она прижалась ко мне. Кроме ощущения того, что пьян, я чувствовал, что какая-то сила сейчас сомнет меня в комок и бросит к ней в ноги, чтобы потом распрямить уже другим человеком. И я встал на колени и целовал ее руки. От нее очень приятно пахло. Я поднял ее на руки и отнес на диван. С ее ног упали на пол тапочки изумрудного цвета, шитые золотыми нитками, с помпончиками из красного меха.

Когда мы легли, я раздел ее. Она все время повторяла мое имя. Я замирал и ждал — она что-нибудь скажет, но Лариса только склоняла голову на мое плечо. Я целовал ее

и понимал, что меня уже захватывает новое чувство. И когда она хотела помешать, то я властно прошипел: «Лежи...» И она подчинилась.

Девятнадцатое июля.

XVI.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Мама предлагала мне поехать до конца лета к бабушке, а я не согласилась. Конечно, надежды никакой, но я все равно жду. Почти не выхожу из дома. Целыми днями слушаю музыку. Мама сдержала обещание и подарила мне магнитофон. Сашка притащил разных кассет с самой популярной музыкой.

Я очень люблю музыку. Но не однообразную и дикую, а более человечную, не такую злую, какую любят ребята. Когда слушаю, то часто даже дрожь берет. И будто музыка мне что-то рассказывает и отвечает на мои мысли. Не могу пересказать словами, но сердце понимает, и иногда мне чудится, будто музыка говорит, что у Миши есть девочка красивей и умней меня и он сейчас с ней и целует ее, а меня не любит. А если мы с Мишей встретимся, то нас ожидают какие-то огромные события и я чувствую, какие они громадные и важные. А чаще всего чудится, что там тоже кто-то тоскует, сидит и ждет любимого человека, а может быть не встретится с ним никогда. И тут же всем телом чувствую стену между мной и Мишей, и чем нежнее мое чувство, тем меньше ему надежды проникнуть через эту стену, и вижу себя с расстроенными глазами.

Двадцатое июля.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

Вот и я стал мужчиной. Но, странно, кажется, что я уже давно все это проделывал и даже привычка была какая-то. А когда к чему привыкаешь, то это тебя уже не трогает. Вообще Лариска после этого стала для меня из двух половинок, как фильм: люди на экране, а звук из динамиков.

Двадцатое июля.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Иногда мне кажется, что я ненавижу Мишку. Я злось на него и думаю, что никогда о нем не вспомню. Но потом вспоминаю и очень хочу, чтобы он хоть минутку побыл рядом, чтобы я могла просто внимательно посмотреть на него. И мне даже хочется поймать Мишку и запереть у себя, чтобы он не мог выйти. Тогда всю жизнь могла бы с ним быть.

Двадцать восьмое июля.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

Не могу больше ходить к Лариске. Она понимает, что я ни капельки ее не люблю и нужна она мне как баба. А она говорит, что влюбилась в меня с первого раза. Раньше она любила Владлена, но он, хоть и талантливый художник, а человек плохой, и женщин хочет иметь, как полную пригоршню ягод. А она гордая и не хотела его делить ни с кем. Я пришел как раз в тот момент, когда у них эти дела разваливались, и она его вызывала тогда из комнаты, чтобы сказать, что не любит и не хочет видеть. Мне она сказала, что хоть я и дикарь, а она меня любит.

А я все время вспоминаю Гальку, даже представляю, что это она со мной, когда сплю с Лариской. Очень хочу увидеть Гальку. Как странно устроен человек. Вот я: в меня влюблена баба, которая в самом соку (ей двадцать два года), денег у нее завались и всегда хата. Ее предки сейчас в Венгрии на каком-то конгрессе. Отец — большой ученый, а мать не работает и всю жизнь следит за собой. Они ничего не жалют для Лариски. Она закончила третий курс театрального института — будет играть в театре. Ну вот, а я рвусь к девке, у которой ни кола, ни двора (вообще-то площадь у нее есть), которая не читала ни Шекспира, ни Гете. Но ничего не могу с собой поделатъ, а ведь даже не знаю, за что ее люблю. Передо мной часто возникают ее глаза — большие, шоколадные и обиженные, как у ребенка. Неужели мы больше никогда не увидимся?! Но как я к ней пойду? Ведь я изменил ей!? Да она, наверное, сейчас с этим кадром, как его — Сева?! Тоска!!!

Двадцать восьмое июля.

ХVIII.

ИЗ ДНЕВНИКА ГАЛИ:

Он спал на диване одетый. Мой диван стоит у окна. Миша лежал головой к окну и на его лице было солнце. Я подошла и села рядом. Его загоревшее лицо вспотело на солнце, оно было спокойно. Около носа было несколько прыщиков. Странно, но мне это совершенно не казалось противным, как у других ребят. Мне было интересно, что он видит во сне? Наверное, Зоопарк, куда он хотел меня повести.

Миша был сегодня ночью со мной. Он позвонил вчера вечером. Спросил, можно ли зайти? Конечно, да! У Мама сейчас отпуск, и на две недели она уехала в санаторий. Но даже если бы она была дома, то я пустила бы Мишу.

Он был выпивши, но не сильно. И опять мы сидели с ним и он был похож на маленького мальчика, а потом стал серьезный, но серьезный, как ребенок. Он взял мою руку, поцеловал и стал говорить, что не может жить без меня, что понял, как я ему дорога, что у него нет никого, кроме меня. А я сказала, что не могу без него, и разревелась, как дура. Он целовал меня. Я хотела стать его, но он сказал, что лучше потом, и мы проспали остаток ночи вместе просто так.

Миша хочет на мне жениться! Я сказала, что ничем не хочу стеснять его свободы. И не требую от него ничего. А если он полюбит кого-нибудь, то я ему ничего не скажу.

Двадцать шестое августа.

ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ:

Вчера я не выдержал и позвонил Гальке. Она разрешила мне придти. Я пришел, мялся, а потом сказал, что у меня нет никого на свете, кроме нее. Она плакала, говорила, что все время ждала меня. Я и сам чуть не разреvelся.

Я очень хочу жениться на ней. Жалко, что нам только шестнадцать лет.

Двадцать шестое августа.

СТИХИ 1959 – 1978

ВОЛОГДА

В провинциальном городе чужом,
Когда сидишь и куришь над рекою —
Прислушайся и погляди кругом.
Твоя печаль окупится с лихвою.

Доносятся гудки и голоса,
Собачий лай, напевы танцплощадки.
Не умирай.

Доступны небеса

Без этого.

И голова в порядке.

1. МОНАСТЫРЬ

Молю святое провиденье:
Оставь мне тягостные дни,
Но дай железное терпенье,
Но сердце мне окамени.
Пусть, неизменен, жизни новой
Приду к таинственным вратам
Как Волги вал белоголовый
Доходит целый к берегам!

Н. Языков.

За станцией Сокольники, где магазин мясной
И кладбище раскольников, был монастырь мужской.

Руина и трясина, развалина, гнилье;
В двадцатые пустили строенье под жилье.
Такую коммуналку теперь уж не сыскать —
Зачем я это сделал не стану объяснять.
Я загнанный, скандальный, бедняга и нахал
В том доме отпевальню на Ленинград сменял.
Шел коридор верстою и сорок человек
Как улицей Тверскою гуляли целый день.
Там жили инвалиды, ночные сторожа —
И было от поллитра так близко до ножа.
И все-таки при этом, когда она могла,
С участием и приветом там наша жизнь текла.
Там зазывали в гости, делилися рублем,
Там были сплетни, козни; как в обществе любом.
Но было состраданье, не холили обид.
Направо жил Адамов, хитрющий инвалид.
Стучал он рано утром мне в стенку костылем,
Входил, обрубком шарил под письменным столом,
Где я держал посуду кефира и вина.
Бутылки на анализ просил он у меня.
И я давал бутылки и мелочь иногда,
И уходил Адамов. А рядом занята
Рассортировкой семги, надкушенных котлет,
Ватрушек и закусок в неполных двадцать лет
Официантка Зоя, мать черных близнецов.
За нею жил расстрига Георгий Одинцов,
Служил он в гардеробе издательства «Прибой»
И был литературы он справочник живой.
Он Шолохова видел, он Пастернака знал,
Он с Нобелевских премий на водку получал,
Он Юрию Олеше галоши подавал.
Но я-то знал — он тайно крестил и отпевал.
Но дело не в соседях, типаж тут не при чем,
Кто эту жизнь отведал, тот знает, что почем.
Почем бутылка водки и чистенький галльон,
А то, что люди волки, сказал латинский лгун.
Они не волки. Что же? Я не пойму. Бог вещь.
Но я бы мог такие свидетельства привести,
Что обломал бы зубы и лучший богослов.
И все-таки спасибо за все, за хлеб и кров
Тому, кто назначает нам пайку и судьбу,
Тому, кто обучает бесстыдству и стыду,
Кто учит нас терпению и душу каменит,

Кто учит просто пенью и пенью аонид,
Тому, кто посылает нам дом или развал,
И дальше посылает белоголовый вал.

2. КОНЕЦ МОНАСТЫРЯ ИЛИ ПОСЛЕДНЕЕ УТРО

За станцией Сокольники сломали монастырь,
У кладбища раскольников раздался вширь пустырь.
Шестнадцатое мая, столица и жара,
Но Клавдия Петровна здесь сорок лет жила.
Сосед мой Валентинов построил Днепрогэс,
Вернулся коллективно и поселился здесь,
Привез жену и бабу, что скоро померла.
Супруга Валентина не помнит, как жила.
Она с годов тридцатых водила свой трамвай.
Остаток не устаток — бульдозер, добивай!
Вздываются матрасы, грохочет шифоньер,
Пилоты и матросы летят во весь карьер
Из стареньких альбомов, из рамок завитых,
Стоит сосед Антонов, лежит сосед Черных.
Он выпил нынче ночью, он утром перебрал —
Черных Сергей Иванович здесь дочку потерял.
Свою толстухку Сашу, курьершу из газет,
Она в ресницы сажу подмазала чуть свет.
Сегодня новоселье на улице Бойцов,
Застолье и веселье. Итог. Конец концов.
Стоят кресты кладбища и церковь Покрова,
Малиновый клопище ползет из рукава
Крановщика Сережи.

Я тоже голошу.

О, всемогущий Боже, уж я тебя прошу —
Учи меня рыданию и масс, и аонид,
Включи меня в преданье, от коего знобит,
Сожги меня до пепла и обрати в подзол,
Одень на праздник в светлонебесный свой камзол.
Пошли мне, ради Бога, квартиру и привал
И вылей у порога белоголовый вал.

КЛЮЧИК

Т. Г.

О чем вы, ветер лопочущий,
Поток и листопад?
Вино спасет от полночи,
От сырости — табак.
От лампы керосиновой
Спасает полный мрак.
Без обуви резиновой
Не проживешь никак.

Ненасья и безумия
Боялся я всегда,
Тебя и полнолуния
И влаги у виска.
Ах, осень беспощадная,
Наверно ты близка,
Скрипит ступень дощатая
От мокрого песка.

И входит кто-то маленький
В цилиндре и плаще,
И смотрит бедной лакомкой
На водку и вообще.
То местный дух неистовый,
Чей ревматизм в плече.
Какая, Боже, истина
Заклочена в ключе!



Холодным летним днем
У Сретенских ворот
Не отыскать с огнем,
Москва, твоих щедрот.
«Вечерку» отложив,
Я вижу — кончен день!
Еще покуда жив,
Отбрасывает тень.
Травы позеленей,

Красней крепленых вин.
В небесной целине
Пестра, как арлекин,
Ночная тень Москвы
Включает семафор,
Наркотики тоски
И жажды самовар.
Великих городов
Тем и велик разброд,
Что падаль от плодов
Никто не отберет.
Закончены дела,
Прочитаны листы;
И все, что ты дала —
Все отобрала ты.
Не забывай меня!
Когда-нибудь, потом
Пошли и мне огня
Расплавленным пятном.

ТРИДЦАТОЕ СЕНТЯБРЯ

На подмосковной даче слетает желтый лист,
Последний теплый месяц, тридцатое число.
Гоняет по участку ребенок-футболист,
Стоит на солнцепеке расхлябанный шезлонг.

На даче запустенье и пролитый коньяк,
Несвежие постели и шпильки на полу,
А я сижу в шезлонге, вздыхая: «Как же так,
Как вышло, что попал я в такую кабалу?»

О, как здесь веселились, как выпивали здесь
В июне и в июле под дождик и туман!
Какие только люди перебивали здесь!
Когда-нибудь об этом я напишу роман.

Съезжались гости поздно, в двенадцатом часу.
Смеркалось ровно в полночь, стоял солнцеворот.

Был тамада прекрасен и ни в одном глазу,
А гости, к сожаленью, совсем наоборот.

Смеялись, целовались, терзались как могли,
Кого-то поминали под яблочный пирог,
Кому-то отпускали слова, грехи, долги,
Кому-то говорили: «Вот Бог — а вот порог!»

Брюнетка с перламутром помады до ушей,
Студентка в белых джинсах, готовившая чай,
Любитель бледноватый цветных карандашей —
Я всем сказал однажды: «Прощай, прощай, прощай!»

Спешила электричка, шуршал таксомотор.
Одни ушли, другие придрались к пустякам,
И только тамада наш, известный самодур,
Не замечал пустыни и наливал стакан.

На скатерть вытекает вино, вино, вино!
Заляпана посуда и заалел крахмал.
«Скажите, тамада, мне — кто этому виной?»
Но тамада уходит, как будто он устал.

И вот последний случай, осенняя жара.
Ведь мы ее все лето пережидали здесь.
И я сижу под кленом с восьми часов утра,
Как будто в этом клене вся честь моя и спесь.

15 ЛЕТ НАЗАД

В костюме васильковом,
В жилете, под зонтом,
С Сережей Васюковым
(О нем скажу потом)
На улице эстонской
У баров и кафе,
С прическою тифозной
На пьяной голове
Он шел в начале лета

Пятнадцать лет назад,
Заглядываясь в бледно-
Пылающий закат.
Чуть сзади шла подруга,
(О ней скажу сейчас!).
Карабкалась по трубам,
Что капля в ватерпас,
Над мелким горизонтом
Янтарная луна.
И в хаки гарнизонном,
Чернява и бледна,
Всезнайка и невежда,
Хозяйка дел и слов —
Пока еще невеста
И первая любовь,
Ступая резковато
На острых каблуках,
Ты здесь прошла когда-то,
Изрядно обругав
Серезу Васюкова
За пошлый вкус в кино.
В костюме васильковом.
Пятнадцать лет. Давно!
Мы шли втроем по Виру.
Теперь иду один.
Но вижу ту квартиру.
Тех этикетки вин.
На Каннском фестивале
Сереза Васюков
Стоит на пьедестале
Из премий и венков.
Средь блочного комфорта
Окраинной Москвы
Горит ее конфорка,
Висят ее носки.
Играют в детской дети,
Чья чужеродна кровь.
А Таллин на рассвете,
Как первая любовь
Среди бессонной ночи
Пятнадцать лет назад.
Но жизнь еще короче.
И сшита наугад.



Нет вылета. Зима. Забит аэродром.
Базарный грош цена тому, как мы живем.

Куда мы все летим? Зачем берем билет?
Когда необходим один в окошке свет.

Я вышел в зимний лес, прошел одну версту,
И то наперерез летел проклятый ТУ.

Он сторожил меня овчаркой злых небес.
Я помахал ему перчаткой — он исчез.

И я пошел назад по смерзшейся лыжне,
Я здорово озяб, и захотелось мне

Обратно в теплый дом, где мой в окошке свет.
Крылом и колесом не оправдаться, нет.

ПОДПИСЬ К РАЗОРВАННОМУ ПОРТРЕТУ

Глядя на краны, речные трамваи,
Парусники, сухогрузы, моторки,
Я и тебя и тебя вспоминаю.
Помню, как стало легко без мотовки,
Лгуньи, притворщицы, неженки, шлюхи
Преобразившей Васильевский остров
В берег свиданья и гавань разлуки,
Вдох облегченья и бешенства воздух.
Годы тебя не украсили тенью.
Алой помадой по розовой коже
Я тебя помню в слезах нетерпенья.
О, не меняйся. И сам я такой же.
Я с высоты этой многоэтажной
Вижу не только залив и заводы —
Мне открывается хронос протяжный
И выставляет ушедшие годы.
Вижу я комнат чудное убранство —

Фотопортреты, букеты, флаконы.
Все, что мы делали, было напрасно,
Нам не оплатят ни дни, ни прогоны.
Глядя отсюда, не жаль позолоты
Зимнему дню, что смеркается рано —
Выжили только одни разговоры,
Словно за пазухой у Эккермана.
Как ты похожа лицом-циферблатом,
Пряткая муза истории Клио,
На эту девочку с вычурным бантом,
Жившую так исстуженно и криво
В скомканном времени, в доме нечистом,
В неразберихе надсады и дрожи.
Ключик полночный, кольцо с аметистом,
Туфли единственные — и все же
Даже вино, что всегда наготове,
Даже с гусиною кожицей эрос
Предпочитая законной любви,
Вечно впадая то в ярость, то в ересь.
Глядя отсюда в последнюю темень,
Свет ночника вырывает из мрака
Бешеной нежности высшую степень,
В письмах, как в жизни, помарки с размаха.

Грай вороний над бульваром.
Лыжи пахнут скипидаром,
И упрямый лыжник сам
Ходит на ногах негибких
Около ворот Никитских
Ровно в полночь, по часам.

Вот зима посередине,
Жизнь сама посередине —
Ни начала, ни конца.
В теплокровной сердцевине
Нет печали и в помине —
Толчая, как в магазине
За углом, без продавца.

Кто-то движется под снегом,
Поцелует, обоймет,
Пощекочет мокрым мехом,
Пошурует по прорехам —
Может, этот и поймет!
Полчаса до темноты,
Вот теперь давай на «ты».

А вокруг лежит огромный
Рыхлой грядкой огородной
Протянувшийся квартал.
Я и сам такую ночью
Вижу, вижу всё воочью:
Что хотел и чем не стал.

ФОНТАН

Сойду на пристани, взойду по лестнице.
Пройдусь по Пушкинской и Дерибасовской,
Войду во дворик я, где у поленницы
Стоит фонтан с разбитой вазочкой.

Он сонно капает слезою ржавою,
А раньше славился струею пресною —
И я припомню жизнь дешевую
И роскошь южную и воскресную.

Рубашку белую и юность целую,
Тебя во дворике под полотенцами.
И ничего я не подделаю
Под полутенями полосатыми.

Так славно в августе, а надо малости —
Винца в бутылочке, мясца на вилочке,
А ты дурачишься, стоишь ломаешься
В своем одесском переулочке.

Когда же вечером выходим в город мы,
Где одиночки горе мыкают,

И где купальщики проходят голые,
И пароходы за море двигают,

Тебе мерещится Европа глупая,
А мне матраса дерюга грубая.
О, юность лютая, Одесса людная,
На пляжах галька такая крупная!

Двенадцать лет прошло — не много ли?
Я в этом городе бывал наездами,
Жил на Чичерина, жил на Гоголя,
Бывал тут с женами, бывал с невестами.

Но твой проулочек забылся накрепко.
И вот теперь зашел и слушаю —
И нету хохота, и нету окрика,
Фонтанчик капает слезою рыжею.

У ЛУКОМОРЬЯ

У Лукоморья дуб зеленый,
Мясной, тяжелый суп соленый,
Да мутноватая бутылъ.
Четвертый день безумный дождик,
Экскурсовод, турист, художник
Со мною пьют — всё гиль!

Привёз леща я из Ростова,
У положенья холостого
Есть преимущество одно —
Внезапные перевороты
По поводу тоски, погоды.
В 12 дня темно!

Без пропуска обсерваторий
Тьма наступает как Баторий,
Который шел на Псков
По этим вот местам священным.
Под влажносиним освещеньем
Готов я? Не готов?

К огню и кружкам жмутся тени,
Стучат разбитые ступени.
Кто там? А никого!
Когда же я ушел из дома,
Что это — сон или истома,
А счастье каково?

Не знаю. Жизни выкрутасы,
А может девочка с турбазы,
Что забегает вдруг,
Иль шум дождя о рубероид,
Овчина, что меня укурует,
И голоса старух.

Они у молока судачат.
Мой век окончен? Он не начат,
Я только что рожден.
Сам перегрыз я пуповину,
Сегодня прожил половину,
Скончаюсь завтра днем.

КРЕСТОВСКИЙ

Что мне стоит припомнить Крестовский проспект,
Где балтийские воды гудят нараспев,
В ноябре, в наводненье, когда острова
Заливает запоем залив и Нева?
Что мне стоит припомнить окно над водой,
Занавешенное ветровой темнотой?
Что мне стоит припомнить, красотка, тебя?
Как глядишь ты спросонья, висок теребя,
Подбираючи прядь рыжеватых волос.
Я хотел бы узнать, — как все это звалось?
Или шестидесятым отпетым годком?
Иль твоим полосатым французским платком?
Иль вином «Цинандали», что цедили тогда?
Иль трубою Армстронга, что ценили тогда?
Иль Татьяной, иль Анной, Октябриной чудной,
Виолетою странной иль Марией родной?

Или бедным проспектом пятилетки стальной,
Или первой разведкой и последней войной?
Что мне стоит припомнить? А вот не могу!
Там где остров приподнят, на большом берегу,
За пустым стадионом, рыдания копя,
Я стою мастодонтом, забывшим себя.

ЧЕТЫРЕ

А. Кушнеру

Четыре трубы теплостанции
И мост над Фонтанкой моей —
Вот родина, вот непристрастная
Картина, что прочих милей.

Как рад я — мы оба не умерли,
Лишь лаком покрылись седым,
Какие знакомые сумерки,
Звоночек над рынком Сенным.

С мохнатым лицом волосатика
Заснеженный вечер парил.
Четыре знакомые садика
От дома до школьных перил.

Теперь безразлично, бессмысленно
Рыдать у тебя на груди;
Но вечно я слушал — не слышно ли
Твоей материнской любви?

Не слышно ли пения жалкого,
Что прочим о стенку горох?
Не видно ль хранителя-ангела
На трубах твоих четырех?

Тут был я героем и школьником —
Так что же на свете милей?
Пусть станет четверка угольником
Над жизнью, над смертью моей.

БАЛКОН

— Домой, домой! — Не так-то просто
От Автова до Льва Толстого.
Но оставаться слишком поздно,
А ночевать не та основа
У отношений. Значит, утром
Упреки или перебранка,
И будут несусветным чудом
Простые слезы без припадка.
Но позолочена пилюля,
Сегодня пятое июля,
Пол-третьего на циферблате —
Сие считается рассветом.
Остаться? Нет, чего же ради?
Такси случается и в этом,
Забытом городском квартале.
Вот через Нарвские ворота,
Вот плавный поворот на Газа.
Что этот город? Он хвороба,
Наркомания и зараза.
Через Фонтанку и Калинин,
К реке прикованный цепями;
Как бы садовою калиткой
И на Садовую. Цепляя
Боками Маклина, Сенную,
Демидова и Чернышева.
— Теперь уж скоро! Хорошо бы!
Темнее крови Инженерный
Ждет заговорщиков, как прежде,
И вот восходит ежедневный
Восход во всей своей надежде.
Нева от Ладоги к Балтфлоту
Летит, как адмиральский катер,
А я уже держу банкноту,
Поскольку близко дебаркадер.
Причал. На Каменноостровском
Стоит мой дом. Балкон огромен.
Ребенком, мальчиком, подростком
Я здесь бывал. И он построен.
И для меня. Хотя, возможно,
Построен он гораздо раньше.
Не даром мой балкон роскошный
Две голых держат великанши.

ЯПОНСКОЕ МОРЕ

Пиво, которое пили в Японском море,
Слабое пиво, о слабые воспоминанья,
Разные случаи, которые происходили —
Драки и выверты, разве мы их понимали.
Лезет Японское море, шипя побеленною пеной;
Вольтовым светом побелят и пену и локти.
Тычется в море один островочек военный,
Где отпускают под воду подводные лодки.
Радиомызыка ходит по палубам, палубам.
Музыку эту танцуют и плачут и любят.
Водку сличают с другими бутылками слабыми,
После мешают и пьют. Надо пить за разлукую!
О, не забудь эти танго и эти обеды;
Смерти в газетах и книгах, написанных скоро,
О, не забудь ни единой, нарочной обиды,
Всякие смерти и дивная смерть Луговского.
Люди плывут, как и жили, глядя — все понятно,
Век разбегается, свежее море утрюмо;
Душно в каютах от бархата и эбонита,
Весело в сердце от пароходного шума.

1959

599/600

В. Аксенову

На шестисотом километре колодец есть у полотна.
Там глубока до полусмерти вода и слишком холодна.
Но нет другой воды поблизости, и поворачивая ворот,
Я кашлю потную облизываю, пока не канула за ворот.
И достаю я пачку «Джебела», сажусь на мокрую скамейку,
Вытаскиваю вместо жребия надкушенную сигаретку.
Мои зрачки бегут вдоль линии. Сначала в сторону Варшавы,
Где облаками соболиными закрыты дальние составы,
Где на границе город Кузница, и за него ни шагу больше,
Затем, что там страна-союзница, наш друг могущественный,
Польша.

Но сладко мне в другую сторону спешить, к родному
Ленинграду
И подгонять нерасторопную в пути путейскую бригаду.
О паровозы с машинистами, позавчерашняя потеха,
Как сборники с имажинистами — вы техники былого века.
И я не понимаю спутников, транзисторов и радиации,
А понимаю я распутников, что трижды переодеваются.
И не спеша сидят за столиком, и медленно следят
за женщиной,
Позируя перед фотографом из этой вечности засвеченной.
На свете что непостояннее, чем жизнь? Отстав от века
скорого,
Не наверстать мне расстояния, как пассажирскому
до скорого.
Я докурил, и боль курения дошла до клапана уставшего.
Дай Бог испить воды забвения из этого колодца страшного.

31 ДЕКАБРЯ

Когда морозного заката
Я узнаю багровый свод,
Мне кажется: случится как-то,
Вся жизнь моя под ним пройдет.

О, этот освещенный сумрак,
И набережной долгий путь.
Я словно чей-то верный спутник,
Всегда готовый повернуть
За милым и лихим вожатым,
Ведущим через снежный мрак,
Что под закатом кровожадным
Краснеет, точно белый флаг.

Я все на поворот поставил,
Предчувствовал его и вот,
Где дровяной составлен штабель,
Стою, уставясь в небосвод;
Покуда не пойдут на убыль

Кармин и клюква декабря,
Покуда не погаснет купол
Воздушного поводыря.

Покуда город темносиний
На желтый снег и белый свет
Не вынесет невыносимых
Вечерних, вычурных газет.
И под прожектором витрины,
Неисправимый домосед,
Дрожа в поношенном ватине,
Я сам себе даю совет:

«Уймись, уже судьба велела
Все обещанья взять назад,
Понять, что лучше нету дела
Чем город, снег или закат».

КАРАНТИН

В том году шестидесятом вез меня нечистый поезд
Через глину и долину, через Волгу и Урал,
Пахло потом, самосадом, и наматывалась повесть.
Я еще был молод, то-есть жить еще не начинал.
Но уже сошел в Ташкенте, огляделся на перроне,
И ко мне явился среднеазиатский азиат,
Постучал по чемоданам, поднял, словно по команде,
И ответил конкуренту: «Шуток кроме — это брат!»
Побывал я в Самарканде.

Там где Гур-Эмир сверкает
Голубыми изразцами, как холодное стекло.
Оказался в карантине. Так бывает, так бывает!
Доложу вам: «Это время незаметно утекло».
В этих дореволюционных номерах, где коридоры
Переламывались трижды и четырежды подчас,
Где ни разу не давали нам обедов порционных,
Где валялись помидоры, проживал я, изловчась
Тратить два рубля — не больше — на еду, затем, что деньги
Были мне нужны и дальше в Фергане и в Бухаре,

И случилось — и должно быть это первое паденье —
Подбирал я сухофрукты на базаре в октябре.
Отмывал я их под чаем, после баловался чаем,
Но не очень интересно чай вприглядку попивать.
И тогда я постучался, ибо в номерочке крайнем
Проживали две девицы — демонизм и благодать.
Та, что демон, просто Нина, та, что ангел — Ангелина.
Чай кипел у них на плитке, и водилося вино;
Две недели карантина, и душевная картина —
Ангелина или Нина прямо вам глядят в лицо.
О, брюнетка и блондинка, зоотехник и ботаник,
И одна из Ленинграда, а другая — Кострома.
Сigaretка, свитерочек, петроградская бандитка,
А другая — то, что надо — так сказала мне сама.
О, как я любил обеих, и прожженные солями
Эти сильные ладошки пожимал и целовал,
Изводил остатки денег на портвейн и ночами
Выпивал под радиолу и немного танцевал.
Нина или Ангелина? Ангелина или Нина?
Чернобелая забота, бледночерная любовь!
Та головку наклонила, эта высшего полета —
Нина или Ангелина? Ангелина! Стынет кровь.
Я любил вас, я люблю вас, больше никогда не видел,
Пролетели две недели, и сложился чемодан.
Но моя тоска бессмертна. Я любил вас в самом деле,
Пусть пустая сеть пространства прохудилась по краям.
Никогда уже, о, Боже! Ни в одном отеле мира,
Ни в «Астории» столичной, ни в Монако в казино
Я не встречу вас, не встречу. Этого не будет больше!
Что-то будет, жду я знака. Но пока мне всё равно.

MELANCOLIA

Заслонимся от города
Шторой или стеклом,
Неуютно и дорого
Распрощаться с теплом.

Подойди к подоконнику,
Обопрись, закури —

Теплота потихонечку
Растворится в крови.

Всё тесней и мучительней,
Дальше, больше, больней,
Глубже, и возмутительней,
Лучше, уже, умней.

Чудеса меланхолии
Окружают тебя,
Волоски колонковые
Украшают тебя.

Хочешь — маслом и темперой,
Хочешь — сильным резцом,
Но чем дальше — тем жертвенней
Связь твоя с образцом
На гравюре у Дюрера,
Где волшебный квадрат.
Только чур его! Чур его!
А не то замудрят
Эти числа и символы.
Станем жить в простоте,
Хоть она непосильнее
Временами, чем те,

Что тесней и мучительней,
Лучше, уже, умней,
Глубже и возмутительней,
Дальше, больше, больней.



За десять лет два раза. В тот же день.
Шестое мая, было воскресенье.
Медовая московская сирень,
Лиловое густое сновиденье,
Моталась по углам. На телеграф
Зачем-то шел я, стиснутый народом,
И вдруг — нос к носу. И она, задрав
Свой горборимский, ибо шла с уродом,

Какой-то смесью чушки и хорька,
И потому особенно надменна,
Хотя нам было с ней наверняка,
О чем повспоминать. Одновременно
Пролить слезу на теплый тротуар
чужой Москвы, пустой, как все столицы
В воскресный день. И ветер продувал
Тверскую и не мог утомиться.
Он нес пустые пачки «Мальборо»,
Сиреневые гроздья, чьи-то письма.
О, жизнь, ты возникаешь набело,
Как из души прорвавшаяся песня!
Ты возникаешь наугад, впотьмах,
Где ищешь выключателя наощупь.
Ну, вот и окна вспыхнули в домах —
Мы двинулись на Пушкинскую площадь.
Она была подругой двух друзей
В других краях и временах когда-то.
Ее белье пора продать в музей,
И, я ручаюсь; воздадут богато.
Все это было в лучшей из систем,
Где ипзокрена бьет на черном хлебе.
Зачем — я вопрошаю вас — зачем?
И для чего? И что всего нелепей,
Остались оба, в общем, в дураках,
Затем, чтобы всерьез дохнув шампанским,
Она едва стояла на ногах
Здесь на Тверской с уродом-иностранцем.
Он оказался, впрочем, не у дел —
не то искусствовед, не то наладчик.
— Из-за чего ж, дружок, ты погорел?
Мой ученик, мой гениальный мальчик.
Из-за чего нешуточный свой дар
Принес другой на сей алтарь грошовый?
Но тут уже кончался тротуар,
И начинать им не хотелось новый.
Я видел, как они вошли в такси,
И «Волга» побежала по бульварам.
Кончаю. Ни задора, ни тоски,
Ни ругани. И все-таки не даром,
Ведь что-то было? Что-то? Хоть слеза,
Хоть пол-словечка, дырочка в перчатке?
Я повернул блудливые глаза

На Вавилон, где жизнь еще в зачатке,
Где к вечеру из пиджаков в пальто
Перелезали южные пижоны,
Где булькала толпа у ВТО,
Синея в джинсовне на все фасоны.
Шестое мая, день известный встарь.
Пятнадцать лет назад он много значил.
День ангела жены. Но календарь,
Как водится, его переиначил.

НИКОДИМ

Пятидесятый там какой-то год.
Отчалил Сталин. Пионерский лагерь.
Все носят креп-де-шин и коверкот,
«В стране далекой» наш любимый шлягер,
И в пионерской замкнутой среде
Является на велосипеде

Соседний дачник с элитарной дачи.
Он старше на год, он уже не то,
Он мастер бадмингтона и лото,
Его во всем преследуют удачи.
И даже воспитательница Ней
К нему внимательнее и нежней,

Чем к прочим детям. Ней Ирэна Львовна,
Француженка, должно быть, по кровям.
Она к нему относится любовно,
Что объяснимо, доложу я Вам,
Поскольку Ника или Никодим
Хорош и в спортигре непобедим.

Разнообразен. Правый край футбола.
Велосипеда гоночного маг.
Он оттесняет всякого, любого,
И защищает наш спортивный флаг.
В 16 лет он чемпион района,
Знарок и старожитель стадиона.

И девочки всех четырех отрядов,
От девяти до взрослополовых,
Алмазы в 96 каратов,
Дурнушки и немного остальных,
Играя в правду отвечают: «Ника».
И рдеют, как июльская клубника.

Бег времени по указанию свыше
Неотменяем и неотвратим.
Уже тебя я кандидатом вижу
В науке нашей, мудрый Никодим.
Ему всегда служили аппараты,
Девчонки и спортивные парады.

На дальнем полуострове Чукотка,
Испытывая новый аппарат,
Он здоровеет. Астма и чахотка
Ему не угрожают. Говорят,
Что он не курит. Отвернул бутылку,
И только дамы падают в копилку.

Он приезжает в Питер и Москву,
Средь знаменитейших маэстро нежась.
Я видел фото — где-то на мосту
Под ветром декорирующим свежесть
Стоит с актрисой студии «Ленфильм»,
Худой, в кожанке.

Вектор изменил

Свой скорый бег на злое торможенье.
И Никодим разгрохал аппарат.
Что сплетни? Идеалов отраженье!
Не виноват он был и говорят,
Спасти его пытался до минуты
Когда пришлось накинуть парашюты.

Но слава Богу, ни тюрьмы, ни смерти.
Он приземлился в тундре на кедрач.
Вы сами-то попробуйте, сумеите,
Когда винты обломаны, хоть плачь,
Когда до смерти 42 секунды
И шансы на спасение паскудны.

Итак, не виноват и виноват,
От дел уволен, доктор и не доктор.
Переезжает в город Ленинград,
Где предлагает атомный реактор
Соединить с турбинным колесом,
И тотчас упадает в грязь лицом.

Поскольку и колеса и турбины,
Рентген, такси, пельменный автомат,
Спасение «Двуглавой Катарины»¹⁾
Не по зубам ему, и говорят —
Он проживает у родного дяди,
Весовщиком работая на складе.

Жена уходит. Впрочем, это дичь.
Ведь в тот же день находится другая.
И даже бывший тесть Сергей Ильич
С ним выпивает, на футбол ступая,
Когда они спешат на стадион,
Который там от центра удален.

Теперь уже не модные поэты,
И не актрисы смутных варьете...
Он ловит рыбу возле парапета
На Малой Невке. Ходит в бороде.
Пьет пиво и портвейн на вокзале.
И вот, что мне недавно рассказали.

Теперь он счастлив. Так покоен он.
Он присмотрелся к жизни и увидел,
Что светский раут, как и стадион,
Как и наука — суеты обитель,
Набитая удельной пустотой,
Он перестал вздыматься над толпой.

И вот идет он через Чернышев²⁾,
С рекой Фонтанкой скованный цепями.
От холода синее страшный шов
Через лицо. Холодными тенями
Покрыт воздушный, майский Ленинград,
В руках его удилице. Он рад.

1) Костел в Вильнюсе.

2) Мост в Ленинграде.

Он рад тому, что впереди денек
Наполненный рыбалкой и «Перцовкой»,
Стоит он абсолютно одинок
Перед трамвайной шумной остановкой.
И только очертанья облаков
Свидетельствуют, что и он таков

Когда-то был, как эти очертанья,
Исполненные блеска и хвалы,
Материков, животных сочетанья,
Таких, как вепри, леопарды, львы
И прочие геральдики фигуры,
Что далеки от подлинной природы.

Поскольку в местном зоопарке лев
Жить приказал, колитом оков.



ЧЕРТОВА ДЮЖИНА РАССКАЗОВ

1. «ВОРЮГА»

Как-то раз Галибутаев явился домой, имея во внутреннем кармане телогрейки поллитра водки.

При нынешних ценах на водку и прочие крепкие напитки мысль о них вызывает горькую усмешку у пьющего, о чем Галибутаев и сообщил своей жене Машке.

А та отвечает:

— Ты много-то не болтай, а садись, будем жрать.

— Цыц, воруга, — строго прикрикнул Галибутаев и поставил поллитра на стол. А сам улыбнулся.

И стал умываться, сняв телогрейку, скинув сапоги, размотав портянки.

И босой, умытый, в майке, он сел за стол, где дымилась щи и водка глядела из стаканов живыми глазами.

— Да... Водка, — сказал Галибутаев и выпил.

Выпила и Машка.

— Вот ты говоришь «ворюга». Сколько раз тебе повторять, чтоб ты так не говорил. Я — рабочая женщина, — завела она.

— Знаю. Галибутаев знает всё. А воруга это тебе, чтобы тебя одушевить. Поняла?

— Я не знаю, — сказала женщина.

— А ты знай. Я хочу видеть одушевленный предмет. Неодушевленный предмет я не хочу видеть и не вижу. А тебя я хочу видеть в одушевленном виде, потому и называю воруга. Поняла?

— Воодушевить, что-ли? — сказала Машка неуверенно.

— Нет. Одушевить. Понимаешь?

Машка обиделась.

— Понимаю. Я понимаю, что я тебя с такими разговорами скоро попру с квартиры. Пошел, пошел. Ишь, одушевленный нашелся.

И с расстройства выпила единым духом еще полстакана.

Галибутаев призадумался. А подумать ему было о чем. В том-то всё дело и заключалось, что он не имел своего угла. А Машка, конечно, жена, но без ЗАГСа. Так что в любой момент могла попросить вон.

— Ну, ты шибко-то не хипишишься, — примирительно сказал Галибутаев.

— А ведь выгоню, — пообещала Машка. — Вот дети приедут, и выгоню. Ты дождешься.

— Ну, дети, — сказал Галибутаев, разливая остатки из бутылки и продолжая обедать.

В том-то и дело, что дети. Их было у Машки четверо, но две дочки, слава Богу, вышли замуж за демобилизованных солдат и куда-то с ними уехали.

Потом Мишка-сын — главная язва. Он работал с Галибутаевым на одном производстве и постоянно допекал его. То спросит какую-нибудь гадость, то толкнет, а то еще начнет заставлять Галибутаева читать вслух газету, зная, что тот газету никак читать не может из-за болезненного косоглазия и малограмотности. Гонял его. Галибутаев язву опасался, но спуску тоже не давал. Баш на баш.

А младшенький Сережа — тот был бы вроде совсем безобиден, ввиду младшего пионерского возраста, но потенциально тоже угрожал Галибутаеву, его любви и квартире, так как, подрастая, начинал стыдиться маминого поведения, о котором знала вся улица.

Покушав, настроение у супругов значительно возросло, и они включили машин телевизор.

— Американский буржуазный профессор в данном случае обнаруживает полное незнание основ марксизма-ленинизма, — сказал диктор.

И далее. А потом был концерт и кино «Ставка больше чем жизнь» про неутомимого капитана Клосса. После чего телевизор кончился и потух.

Потух и день. Кончился день. Кончился и вечер. Наступила ночь, после которой и Галибутаеву и Машке нужно было опять идти и зарабатывать деньги.

— Шалыжки колотить, — сказал Галибутаев, потягиваясь.

— Ась, — не услышала Машка, собираясь укладываться.

— Шалыжки, говорю! Оглохла! — заорал Галибутаев и вышел на крыльцо.

На крыльце тоже была ночь. Светила полная луна. Белели в темноте сараи. Окна барака почти все потухли. Была ночь, и Галибутаев вернулся домой, в постель. А уж в постели-то он был полный король и хозяин.

— Машка, давай я тебя сегодня как бы изнасилую, — сказал он. Машка заинтересовалась.

— Это как еще так?

— А вот так. Ты вроде бы сопротивляйся изо всех сил, но по-настоящему, а я тебя попробую шарахнуть.

— Давай, — обрадовалась Машка.

... — И я набросился на нее, как лютый зверь, — рассказывал Галибутаев. — Сорвал с нее все. А она крутится, а она царапается, а она визжит... Другой бы насильник уже давно отступил. Но не таков Галибутаев. Сорвал с нее всё, и только хотел, как вдруг она как меня мотанет, и я больно упал с кровати.

— Ну и что?

— А то, что я сломал большой палец на правой ноге. Я упал на палец.

И Галибутаев длинно выругался.

— Ну, а потом?

— Вот слушай.

...Утром Галибутаев хромяя пришел на работу и, отозвав бригадира в сторону, изложил ему все обстоятельства. Бригадир ничего не сказал, и они пошли работать — разгружать бочки с огурцами.

Бригадир встал с Галибутаевым на погрузку и осторожно-осторожно, очень бережно опустил край бочки на ногу Галибутаева. Причем даже на левую.

— Ой-ой-ой, — закричал и заныл Галибутаев. — Ой, ноженька моя! Ой, беленькая моя! Ой-ой-ой!

После чего был составлен акт о несчастном случае. Галибутаев пошел в больницу, где ему сделали рентген большого пальца. Рентген полностью подтвердил производственную травму, и Галибутаеву дали стопроцентно оплачиваемый листок о нетрудоспособности.

И Галибутаев пришел домой, где Машка ужасно хохотала, когда он ей всё рассказал.

— Значит, тебе за это дело еще и деньги будут платить? Вот так да.

... — И целый месяц я просидел дома, — рассказывал Галибутаев, блестя глазами. — Я ничего не делал. А с Машкой мы выделывали такие номера, каких больше никто не умеет.

— А потом?

— Что потом? Потом она меня всё-таки выгнала. Мишка-подлец вернулся из командировки, Сережа из пионерлагеря. Выгнала, а плакала. Я, говорит, так не могу, а так тоже не могу. У меня все-таки дети. Ворюга. Сломала мне палец. В ней весу знаешь сколько? Девяносто шесть кило. Она меня на десять лет старше.

— Ничего себе!

— Нет, даже не на десять, — Галибутаев стал считать, — мне тридцать два, а ей — сорок три. Стало быть, она меня старше на одиннадцать лет.

— Все мне отдала, — продолжал он рассказ о своей несчастной любви. Всё, что на мне моё, отдала и даже кожанку своего первого мужика. Он у ней техник был на аэродроме. Всё — и телогрейку, и спецовку, и пальто-ГДР, и валенки, и шапку. Только деготь я у ней оставил.

— Какой еще деготь?

— Деготь. У меня была бутылочка дегтю, чтобы мазать сапоги. Я его у ней оставил. Надо будет Мишку попросить, чтобы принес или самому сходить.

— А где ты сейчас живешь?

— А я сейчас не живу, а ночую. Я у нас ночую, в гараже. Но мне обещают дать комнату. На территории прямо. А то зима скоро. Я вообще-то зимы не боюсь, потому что она мне всё отдала, и валенки, и шапку. А номера мы с ней выделывали — больше таких никто не умеет. Знаешь...

И Галибутаев радостно засмеялся.

Отсмеявшись, он продолжал.

— Одно скажу. Я с детства болезненно близорукий. За это меня звали косым, и я кончил всего два класса. Потому что не мог учиться. О! Меня тонко нужно было учить! Специальное освещение, определенный час и мое настроение. А где всё это взять, если я воспитывался в детдоме?

— Плохо было в детдоме?

— Почему плохо? Он мне и сейчас, как родной. Они меня даже к главному главному Филатову возили, но толь-

ко тот сказал, что меня привезли слишком поздно и хотел срывать у директора с жакета медаль.

— Какую еще медаль?

— А я откуда знаю? У ней на жакете была медаль, и Филатов хотел ее срывать. Вы, говорит, испортили мальчика. А они тут при чем? Они обо мне заботились. Только они не знали, что меня нужно сразу везти к Филатову.

Вот почему я вижу только одушевленный предмет. Неодушевленный предмет я не вижу. А неодушевленный предмет — это всё, что написано, и всё, что есть вокруг.

— А одушевленный предмет — это была моя ворюга, — сказал Галибутаев и более не пожелал со мной разговаривать, считая, что дальнейшие мои вопросы задаются исключительно для того, чтобы над ним посмеяться.

2. ПРО КОТА КОТОВИЧА

Сидели теплой августовской ночью в душной кухне близ ванной за столом, крытым цветной клеенкой, визави.

— Кошмарно неведомы пути Господни для человека! — сказал Гаригозов. — Кошмарно! Нынешние уж настолько совсем растряслись, что и очертания свои потеряли, как при вибрации. Это ж, это ж, ты понимаешь? Это ж ведь горько! Это — страшно! Разве я, к примеру, думал, что она сможет так поступить? — жаловался образованный в местном Политехническом институте Гаригозов другу своему Канкрину, образованному в том же институте.

А Канкрин сосредоточенно молчал-молчал, а потом хлопнул носом да и отвечает:

— Совершенно я с тобой, браток, согласен. Вот ты смотри, вот ведь даже и сейчас, в данном конкретном случае, в данном примере: на дворе месяц август, а они взяли и включили батареи. Жарко? Жарко. Душно? Душно. А зачем? А — так. Душно, ну и пусть. Зато — зимой, смотри — зимой. Ведь зимой, браток, ведь зимой будет страшно дуть и начнутся сугробы, а только хрен ты тогда от них дождешься полного теплового накала. Тут сам и смекай — то ли это простая свинская бесхозяйственность, то ли, то ли — вообще... черт его знает что, вообще!

— Правильно ставишь вопрос, — одобрил Гаригозов. — Правильно, хотя и чересчур конкретно. Ты пойми, и я думаю, что ты не станешь тут сильно спорить. Ты пойми, ведь во многом мы САМИ виноваты. Понял? Потому что многое исправимо буквально легко, но нужно лишь не трястись и не вибрировать, а как-то взять себя в руки, что ли, понимаешь. Хозяином себя почувствовать, понимаешь, — своей судьбы, своей семьи, своей работы, своей страны, наконец! Понимаешь?

— Ну, я тогда однако уж до конца разливаю, что ли? — сказал Канкрин.

— Ага, — сказал Гаригозов.

И зажурчала, забулькала в зеленые рюмки оставшаяся белая водка. И выпив крикнули приятели, нюхнули индивидуальные черные корочки и устали друг на друга живыми блестящими глазами.

Но — молчали. В молчании этом, происходящем не от недостатка, а от избытка, и прошло некоторое небольшое количество двойного человеческого времени. Пока не вплелись в кухонную капающую тишину какие-то новые звуки: осторожные цап-царапанье некоторое, шуршащие шорохи и даже определенное урчание.

— Ты? — очнулся Гаригозов. — Ты есть хочешь?

— Нет, я не хочу есть, — напряженно отвечал Канкрин, прислушиваясь и клоня голову к полу, в направлении посудного, замечательной резной работы шкафа.

— Я и говорю, — некстати залепетал Гаригозов. — Я и говорю, что о душе, о душе пора подумать трясущемуся этому индивидууму эпохи, человеку совершенно потерявшему очертания.

— Да, — сказал Канкрин.

— И эпоха тоже совершенно потеряла очертания, — ныл Гаригозов. А человеку свежему, на него глядя, тотчас бы стало ясно, что просто порция ему крепко в голову шибанула, и он внезапно запьянел, как это бывает иногда в ночной тиши при тесном общении с горячими напитками.

— Вот так, — итожил Гаригозов.

Но Канкрин его уже не слушал. Канкрин вдруг рывком подскочил, прыжком взвился и вытащил из-под резного шкафа упирающегося и оказывающего сопротивление бедного кота громадных размеров. Ужасная шерсть виноватого животного дыбилась, зрачок был огромен и горел нехорошим блеском.

— Помидор катал! — возбужденно донес Канкрин. — Ты понимаешь, катал под шкафом помидор. Ва-аська кот! — запел он. — Ва-аська кот! Ваську нужно драть!

— Да... э... его можно выдрать, — подтвердил Гаригозов, брезгливо хрустя пальцами. — Тут — ночь, тишь, разговоры, а он тут...

И Гаригозов огорчительно махнул пухлой ручкой.

— Ах ты, Васька-Васька! Васька — кот! — всё радовался неизвестно чему Канкрин. — Васька — кот! Ваську нужно драть! — всё твердил он.

И услышав такое горькое решение своей одинокой судьбы, измученный Василий тут же героически закрыл свои желтые глаза и безропотно приготовился к истязаниям. И я не берусь смело утверждать, но очевидно все же наказали бы его, хоть бы и слегка, но выпороли подвыпившие друзья, кабы... кабы не случилось следующее.

А случилось так, что внезапно на кухонном порожке появилась строгая фигура рослого кудрявого стройного ребенка в черных сатиновых трусах и полной пионерской форме, состоящей из белой рубашки и красного галстука. Некоторое время ребенок молчал и пристально вглядывался в багровые лица веселящихся собутыльников. Потом он кашлянул.

— Пашка? Ну — здорово! А ты что ж это, брат, не спишь? Я когда в твои годы, то я в это время всегда спал. Да еще и при галстуке! Ну смотри-ка ты, какая важная персона в ночное время! — добродушно обрадовался Канкрин.

— А это моего сыночку третьего дня в пионеры приняли, так вот он и не расстается с реликвией, — объяснил польщенный Гаригозов, и шутливо скомандовал: — А ну будь готов, дня — конец, спать иди, стервец!

И вот тут вдруг к ужасу Канкрина мальчик и воскликнул звенящим от напряжения голосом:

— Прекратит кричать, папа! И я уже не говорю, что вы с дядей Канкриним можете разбудить своим поведением нашу маму, которая очень устает на работе. Но я скажу, что не вздумайте драть кота Васеньку. Я люблю кота Васеньку и буду с этим бороться. Вы — взрослые люди, вы активно строите и должны знать, что — нельзя! Нельзя терять нравственные ориентиры! Нельзя бить кота, ударять кролика, кидать камнем в птицу!

И он с достоинством вырвал кота из канкринских рук.

— Ах ты, ах ты... Ах, ты вон как запел? — побледнел

Гаригозов. — Вон ты как запел? Нельзя? А человека мучить можно?

И тут Гаригозов тоже вскочил и выпустил на ребенка град неприличных выражений, на которые пионер с достоинством ничего не ответил, а лишь продолжал глядеть гордо, смело и честно, держа kota близ сердца и пионерского галстука.

Вот такая тут замерла скульптурная группа. И неизвестно, чем бы дело кончилось, но внезапно заходили половицы, и на кухню ворвалась заспанная толстенная веселая женщина средних лет в одной ночной сорочке. Она щурилась от яркого света и близоручко оглядывала присутствующих.

— А вы что это расшумелись среди ночи, товарищи? — певуче сказала она. — Пашка! А ну марш, шельма-пака, в постель, и чтоб духу твоего здесь не было! А ты, Егор, ты неправильно поступаешь, устраивая волнения, — обратилась она к Канкрину. — Что вы бутылочку выпили, я против этого не возражаю, но ты зря устраиваешь волнения, волнуя Андрюшу да и сам волнуясь. Неужели ты, ДРУГ, обрадуешься, если он снова попадет в сумасшедший дом?

— Они kota хотели драть, — сообщил мальчик.

— Ко-та? Ну, вы даете, артисты! — расхохоталась женщина. — Нет, вы на этот раз точно в шизарню вдвоем угодите. И потом — Андрей! Андрюш-ка! Ты ж помнишь, что ты нам с Павликом обещал? Помнишь, а? Не пи-ить!

— А ну, ты че это тут расхипишилась? — злобно сказал Гаригозов. — В какую такую шизарню? Шизарню ты это дело оставь, я знаю, для чего тебе моя шизарня! А только врач Гусаков сказал, что пьянство надо спускать на тормозах, а не сходу обрывать. У нас была пара, мы их и выпили. А kota мы все равно будем драть, потому что он катал помидор. Выпорю я также и Павлика, потому что нельзя так разговаривать с родным отцом. А тебе я набью морду, потому что, пока я лежал в больнице, ты путалась с офицером из «Севера». Скажешь, не так?

— Конечно не так, — искренне не согласилась женщина. — С Сережей мы просто знакомые. Он, кстати, женатый человек. Павлик тебя любит. А kota? Да зачем же драть kota-то? — изумилась женщина. — Совершенно незачем его драть! Давайте-ка мы лучше завяжем ему на шею красивый красный бант и спляшем все вокруг него веселый танец!

Гаригозов с Кранкриным и застыли, раскрыв рты.

— Ну и мамка! — пришел в восторг мальчик. — Видать, тоже со своим дядькой Сережкой тяпнули двести-триста!...

— Цыц! — строго и вместе с тем шутливо сказала Евдокия Апраксиевна, ибо она в это время уже ловко обрядила Василия в уже упомянутые одежды. Кот шипел, но потом, купленный блюдечком молока, стал это молоко ловко прилебывать.

А они, взявшись за руки, закружились в ночное время на тихой кухне вокруг насыщающегося животного. Запела мама:

— Мы споем, мы споем
Про Кота Котовича...

Д, про Кота Котовича,
Д, про Кота Петровича,

— вторили ей Гаригозов, Канкрин и представитель грядущего поколения.

И они тихо плясали в ночное время на тихой кухне вокруг насыщающегося животного, эти тихие люди громадной страны. Им было пусто, им было душно, им было хорошо, им было весело. Канкрин вывернул коленце. Гаригозов топнул ножкой.

— Ну скажи честно, стерва! Спала с официантом или нет?

— Тихо, — сказал мальчик. — Тихо, а то соседи снизу будут шваброй стучать.

— А вот мы их! — сказал Гаригозов.

И была ночь, и погасли на улице фонари. Гаригозов провожал, спотыкаясь, Канкринина по темному подъезду.

— Какая, брат, пустота! — хрипло шептал он. — Пустота-то ка-кая, брат! И зачем мы только в институте учились?

Но Канкрин с ним не соглашался и приводил в ответных речах множество аргументированных примеров.

3. ОТЧЕГО ДЕНЬГИ НЕ ВОДЯТСЯ

— Да? Ну и что? Ну, пьяный. А вы мне, извините, подавали? Нет! Вот так. А вам я что сделал? Раскачиваюсь и на

ногу наступил? Да нет, не нарочно я... Уж вы извините, извините, я немножко заснул. Я — поезд. Я электричку жду до Кубековой. Вы извините, я просто, не потому, что я — пьяный, я просто спал, а сейчас проснулся, вы меня извините, я не хотел вам сделать ничего дурного.

Обычная, милая сердцу российская картинка. Мужик в мятой шляпе и мятых брюках, проснувшийся в зале ожидания пригородных поездов. Сосед его, интеллигентненький мужчина, хранящий брезгливое молчание в ответ на излиния бывшего пьяного. Бабы, мужики, девки, длинноволосые их хахали с транзисторами, лускающие семечки и время от времени вскрикивающие в метафизическом восторге.

— Ну, ты меня заколебал!...

Да и сам зал ожидания — со знаменитыми жесткими эмпээсовскими скамьями, вековым запахом карболки и громаднейших размеров фикусом, «фигусом», который, наряду с еще больших размеров картиной из жизни вождей мирового пролетариата, должен видимо, по хитроумному замыслу станционного начальства, эстетически воздействовать на буйных пассажиров, смягчать страсти, утишать расходившиеся сердца.

— Да! А всё виноват был тот самый беляшик, — сказал мятошляп, хотя чистый сосед его, уткнувшись в газету «Правда», отвернулся и всем своим видом давал понять, что лишь по значимости своей в жизни и некоторой даже доброте не выталкивает он опустившегося за те большие двери, крепко ухватив его за шиворот, а то и хряпая по тощей шее жирным кулаком.

— Беляшик-беляшик, — монотонно повторял проснувшийся. — Кабы не тот беляшик, так оно, может, всё и покапало бы по-иному, что-ли?

Спрашивающий задумался.

— Хотя... черт его знает, черт его знает, — бормотал он.

— Эй! Пахан-кастрюля, что хипишишься? Курить есть? — окликнул его высокий парень с гитарой.

— Дак а почему нет? — рассудительно сказал «пахан».

— Товарищи! — оторвался было от газеты культурный человек, но, увидев крутой лоб присевшего на корточках любителя легкой музыки и протянутую за папирсой «Север» мощную длань, татуированную воспоминаниями всё о той же далекой части света, лишь только мелко выдохнул, а потом брезгливо в себя вдохнул, стараясь не улавливать ядовитый лично для его здоровья, равно как и других

трудящихся, табачный дым этих дешевых мерзких папиросок.

— Ну, дак ты расскажи, ты чо там плел-то? — рассеянно обратился к старшему товарищу курящий мужественный юноша.

— Дак я вот те о чем и говорю. Меня беляшик и погубил, а они мне дали самый последний шанс.

— Да какой же такой беляшик-то и какой «шанс»? — вскричал нетерпеливый молодой человек. — Ты говори, что ли. Ты что нищему бороду тянешь? а?

— Да я ж тебе начинаю, а ты тут стрекочешь! — раздражился мужик. — Хочешь, так слушай. А не хочешь — вали кулем!

— Ну, слушаю, — сказал юноша.

И полился ровным потоком строгий рассказ мужика.

— Вот. Это началось в суровые шестидесятые годы нашего столетия. Я, тогда находясь на ответственной работе снабжения с хорошим окладом, зарвался и, получив головокружение от успехов, стал сильно пить коньяк и спирт, потому что оне тогда были маленько дешевле, чем сейчас, ну а денег у меня всегда было предостаточно.

Вот. И товарищи, и начальство обычно предупреждали меня, что дело рано или поздно может кончиться хреново при таком отношении, но я им безнаказанно не верил, потому что имел удачу в работе всегда, а это очень ослабляет.

Но время показало, что они стали правые. Ибо ввиду пьянства, у меня начались различные служебные неудачи, не говоря уже о личных, поскольку моя жена вскоре после всяких историй от меня совсем ушла. А служебные ужасы запрыгали один за другим, как черти. В частности, вот на такой же скамейке Савеловского вокзала города Москвы, где я в пьяном виде коротал ночь, не имея гостиницы, у меня неизвестные козлы и вонючки украли моток государственной серебряной проволоки, за которой я был послан самолетом в город Сызрань, так как у нас вставал из-за отсутствия этой проволоки цех, а у меня ее украли. Сам знаешь, что за это бывает...

— Понимаю, — сказал парень.

— Ну, то, что я выплачивал, это — как Божий день, хотя и тут нарушены были правила. Они не имели меня права за этой проволокой посылать. Эта проволока должна

пересылаться спецсвязью, потому что она серебряная. Но я сильно не возникал — у них на меня и другие материалы имелись.

Ну и вот. И таким образом я, совершенно пролетев, предстаю недавно перед стальными очами Герасимчука, а тот мне и говорит: «Ну, вот тебе, Иван Андреич, последний шанс работы на нашем предприятии. А нет — так и давай тогда с тобой по-доброму расставаться, потому что нам твои художества при неплохой работе уж совершенно надоели, и мы завалены различными письмами про тебя и просьбами тебя наказать, что мы делаем весьма слабо. Так вот тебе этот твой шанс! У нас истекает срок договора с теплично-парниковым хозяйством, и если нам не продлят договор, то этот чертов немец Метцель ставит нам неустойку. И мы платим 5 тысяч. А немец нам точно вставит перо, потому что он — нерусский, и никакого другого хозяйства, кроме своего, понимать не хочет. К тому ж он очень сердитый: у него парники, и к нему всякая сволочь ездит кланчить лук, огурцы, помидоры и редиску, имея блатные справки от вышестоящих организаций. А поскольку справки высокие, то немец их должен, скрепя сердце, удовлетворять, чтобы его не выперли с работы. И он их удовлетворяет, разбазаривая свое немецкое парниковое имущество, отчего он очень стал злой, и ты точно увидишь, что 5 тысяч он с нас обязательно слупит...»

— А что же мне тогда нужно сделать? — спрашиваю я, дрожа и догадываясь.

— А тебе нужно сделать, — нахально усмехается Герасимчук, чтобы он нам договор ПРОЛОНГИРОВАЛ на полгода, и нам тогда 5 тысяч не платить.

— Это что такое значит «пролонгировал»? — обмирая и снова догадываясь, спрашиваю я.

— А это значит, чтоб он нам срок его исполнения ПРОДЛИЛ, дорогуша, — всё так же усмехается Герасимчук.

— И мы тогда не станем платить 5 тысяч.

— Дак а что же он, дурак, что ли? — вырвалось у меня.

— Зачем он будет продлять договор, зная, что он с нас может получить 5 тысяч?

— А вот за тем мы тебя и посылаем, — нежничает этот дьявол. — Вот это тебе и есть твой шанс последний работы на нашем предприятии. Выполнишь — орел, премия, и все прошлые дела — в архив. Не исполнишь — ну уж и сам понимаешь, — сокрушенно развел он руками.

— Да, как в сказке, — подтвердил Герасимчук. И я от него так же тихо вышел, тут же решив совершенно никуда больше не ехать.

Потому, как ехать мне туда было совершенно не к чему. Ибо немца этого я знал, как облупленного, равно как и он меня. Сам я с ним и заключал вышеупомянутый договор о поставке продукции. Причем немец совершенно не хотел его подписывать, а я клялся и божился, что всё будет выполнено в срок на высшем уровне аккуратизма и исполнительности.

Так что ничего хорошего от моего дружеского визита к немчуре, за исключением того, что он просто велел бы вытолкать меня в шею, мне ожидать не приходилось, отчего я и пошел к стенду около «Бюро по трудоустройству» искать новую работу.

Ну, и там смотрю, что везде «требуется, требуется», а сам и думаю — черт с ним, съезжу, авось как-нибудь там это и пронесет — вдруг этот немец уже совсем сошел с ума и все мне сейчас сразу подпишет, хохоча. А мне терять нечего.

С такими мыслями я и являюсь в это образцовое благонное хозяйство. И, гордо задрав плешивую голову, следую между рядами освещенных изнутри теплых стеклянных теплиц, полных огурцов, луку и помидоров для начальства. После чего и оказываюсь в кабинетике, где сходю, не давая ей дух перевести, спрашиваю наглую от постоянных просителей секретаршу:

— Владимир Адольфович у себя?

— У себя, — нахально отвечает она.

— Я к нему...

— Одну минутку, — вопит она, но я уже делаю шаг, открываю кожаную дверь и вижу, что там сидит мелкое совещание. А во главе его ораторствует какой-то мужик, но он далеко не тот мой друг, бравый камрад Метцель, а какой-то совсем другой начальствующий мужичонка.

— Извините, — говорю. — Помешал!

И делаю шаг назад.

А там секретарша Нинка на меня бросается, что, дескать, куда это я лезу, что Метцель действительно у СЕБЯ. Но он у себя ДОМА, потому что он месяц назад вышел на

пенсию и сейчас сидит дома от обиды, что его на пенсию послали.

— А если вы насчет лука или огурцов, то у нас их нету, они будут в марте-апреле, а мы сейчас только лишь произвели посадку этих культур, — говорит мне Нинка.

— Милая Ниночка, — отвечаю я ей. — На кой же мне они сдались, ваши огурчики, свеженькая ты моя, когда я к вам совсем по другому делу, связанному с производством, а не то, чтоб всё жрать да разбазаривать.

— Ну, это тогда совсем другой коленкор, — успокаивается Нинка и мне говорит: — Вы подождите, у него товарищи из Норильска. Они скоро закончат, и он вас примет.

— А я и жду, я и жду, — отвечаю. А сам думаю: — Господи! Да неужто уж и спасен?

Ну, часа всего полтора и прождал. Они все оттуда выйдут как из парилки. Я к оратору:

— Товарищ! Товарищ!

— Что? Нет! — гаркнул он. — Я! Мы идем обедать. Луку нет, огурцов нет, помидоров нет!

— Да я...

— Нету лука! Нету огурцов! Вы прекратите эту порочную практику, понимаешь! Что у вас? Письмо? Откуда?

И он берет в ручки свои мою бумаженцию и долго в нее смотрит, ничего совершенно не понимая.

А тут Нинка-умница, чтобы свой ум доказать, хихикая ему говорит:

— Да нет, Мултык Джангазиевич, оне совершенно по другому вопросу. Насчет продления договора о поставке.

— А-а, — смягчился новый начальник. — Что ж вы мне сразу не сказали.

Вынимает свою шариковую ручку, а у меня аж сердце захолонуло.

— Где расписаться-то? И что же вы это, товарищи, нас так со сроками подводите? — журит он меня, держа мой документ и свою авторучку вместе.

— Да мы... У нас реконструкция. Всего на полгода и продлить-то, — лепечу я.

И смотрю — о, Господи! — деловой этот замечательный человек, красивый этот Муллюк Варпахесович, стоящий ныне, как кавказская скала, на страже государственных огурцов и луку, быстро мне всё подписывает, а Нинке говорит:

— Шлепнешь печать! Мы пошли обедать.

После чего и уходит прочь с нетерпеливо топчущимися, как стоялые кони, норильчанами.

И — о, Господи! — спасен! Крашенная Нинка, все еще хихикая, ставит мне печать, я дарю ей приготовленную шоколадку «Сказки Пушкина», и действительно, как в сказке, на крыльях Радости и Победы, вылетаю за дверь этого нервного предприятия.

— Спасен, — думаю. — Спасен! Прогрессивка — моя, премия — моя, а все прошлые дела в архив!

А в это время в кабинете звонок. Я притаился за дверью.

— Да, да. Нет, нет, — говорит Нинка. — Уже ушел, одну минуточку — я посмотрю.

Выбегает. Я притаился за дверью.

— Товарищ! Товарищ! — кричит она в лестничный пролет.

Ха-ха! Нету там для тебя товарищей!

Она и возвращается, понурая, говорит в телефон:

— Нет, он уже уехал, наверное.

Из телефона же — ругань с акцентом, даже за дверью слышно.

— Ага, — думаю. — Опомнился? Ну да поздновато, брат. Подпись-то уже на месте. И печать там же.

На уже упомянутых крыльях лечу дальше. Солнце светит ясное, здравствуй, страна прекрасная! Небо — синее, скоро — весна, уж и теплом повеяло, и я — вон он я какой молодец! Все свои интересы соблюл, включая и интересы родного предприятия.

А только жрать мне сильно захотелось, а времени уж ровно оказалось два часа. Я — туда-сюда, и везде, нигде нету для меня питания. Потому что где и совсем закрыто на обед с двух до трех, а где стоят хвосты таких же, как я, гавриков. И торчат мне там нету никакого навару, теряя время.

И тут-то вот и появляется на сцене этот проклятый беляшик, из-за которого я погиб.

А то, что жрать-то мне охота. Ну я и купил у этих двух, две заразы стояли на остановке с алюминиевым бачком, из которого валил пар. И эти заразы кричали:

— С пыла, с жара, 38 копеек пара!

— Свежие? — спрашиваю.

— Сегодняшние... С пыла, с жара...

— Рыбные, что ли?

— Како рыбные? Настоящие, мясные. 38 пара, — с гордостью отвечают мне эти две лживые толстухи в нечистых белых куртках поверх ватных телогреек.

И тут я мгновенно пропадаю. Потому что лишь купив два рекламируемых беляша и доедая уже второй, я лишь тогда понял, в чем дело. А дело было в том, что они, видать, пролежали у них там где в витрине, засохнув, а потом они их пропарили хорошенько и швырнули на улицу для таких дурачков, как я. Сразу меня, конечно, и замутило. Но я не растерялся, потому что на всякий замок есть отмычка. Я тогда — бац! — вынул из портфеля читушку (а я всегда ношу с собой читушку), насыпал ей в горлышко соли, размотал и для сокращения желудочного жжения взял да и выпил её всю из горла. А дело это было уж в какой-то не помню, «Закусочной».

И вот тут, ну вот честное слово, я ведь и не знаю, за что меня осуждать? Ведь и папаша мой всегда так делал. У него два лечения было. От простуды — водка с перцем, от живота — водка с солью. И дожил бы он наверняка до многих лет, коли не убили бы его на фронте всё те же проклятые немцы.

Так что за что меня осуждать-то? И говорить, что я был в состоянии алкогольного опьянения. А подлецы эти, что уже наверняка позвонили мне на работу, что я был в состоянии алкогольного опьянения, подлецы эти совершенно всё врут, что я был в состоянии алкогольного опьянения. Потому что, когда я у них был, то я еще не был в состоянии алкогольного опьянения. А когда я им потом в состоянии алкогольного опьянения звонил, то они не могут по телефонному проводу видеть — в состоянии я алкогольного опьянения или не в состоянии алкогольного опьянения. А то, что они сказали, будто у меня язык заплетается, так это они тоже по злобе совершенно все врут... Вовсе он у меня и не заплетался, а просто им обидно стало, что я их умней и вроде как их обманул — вот они и решили, со мной разделаться. Эх и влип же я!

А влип я вот как. И ведь точно — как только я эту водку выпил, то у меня всё жжение сразу прекратилось. Но, уж если всю правду до конца говорить, сильно мне захотелось в туалет.

А уж и стемнело. Туалет же этот, будучи самым настоящим сортиром, куда я тогда сразу пошел около вокзала, мне сразу не понравился. Потому что там было уже темно,

потому что уже стемнело, а там свету нету. И мужики заходят, и слышны всякие грубые шутки, которые я не решаюсь повторить. Я тогда брезгливо тоже там сел и крепко задумался.

Я тогда задумался — что вот же она какая странная жизнь, какие странные все эти ее взлеты и падения. Ну вот кто я был утром? Кандидат на выгон. А кто я есть сейчас? Мудрый работник, блестяще выполнивший ответственное производственное задание, несмотря на все трудности.

А только видимо от водки, что ли, или от предчувствий, а что-то мне вдруг стало очень страшно. Вода потому что рычит там, гудит подо мной. И страшно, во-первых, и как сама вода гудит, и вдобавок мне еще и видение — а что, думаю, вдруг да какая подводная рука да как сейчас меня хватит снизу.

Быстренько я свое болезненное дело справил и наружу.

И вот тут-то меня ихватило кирпичом по башке! Да чем же ты подтерся-то гад? Ты ж ДОГОВОР пустил в эту страшную, рычащую воду.

Аж и застонал я, покрывшись мелкой испариной и сразу бросился звонить в этот пригородный теплично-парниковый бардак. А там мне сообщают, что я, дескать, пьяный, что я обманом подсунул тов. начальнику на подпись бумагу, которую он, не будучи еще окончательно введен в курс дела, подписал. И опять, что я, де, был в нетрезвом состоянии и что, значит, уже бежит-катится на меня в родное учреждение капитальная ТЕЛЕГА за двумя подписями свидетелей.

— С Норильска что ли, эти ваши ворюги-свидетели, — лишь огрызнулся я и бросил трубку, предварительно обложив их, за неимением другого оружия бороться со свинцовыми мерзостями жизни, густым матом.

Ну а дальше? Дальше что? Дальше — что мне терять? Меня же всё ещё беляшная интоксикация яда грызла, поэтому я тогда — еще водки с солью. Короче говоря, упал я на улице, но привозят, слава Богу, не в вырезвитель, а в неотложку. А там врач Царев, вот честное слово не совру, сам еле на ногах держистя, толстый такой, бородатый, как кот, и урчит:

— Как только тебя семья терпит! Из-за вас вот таких семьи разрушаются!

— Ах ты, хряк! Сам косой вдугаря, а туда же! — не стерпел я, блюя. Ну и оттуда на меня тоже телега поехала.

А сейчас я и сам собственной персоной качу. Не то вслед за ними, не то — вперед... Вот так-то, сынок!

Говоривший открыл глаза, закрытые от волнения в самом начале рассказа, и обнаружил, что зал ожидания почти пуст. Исчезли бабы с мешками, девки с чемоданами, мужики и бабы, и гражданин с газетой ушел, и лишь татуированный юноша сладко спал, положив свою кудлатую голову на круглый кулак.

— Эй, кент! — потрянул его рассказчик.

— Ну ты что, ну ты чо? — забормотал во сне юноша.

— Вставай! Вставай!

Появилась строгая уборщица.

— Чего разорались, бичи! — крикнула она, гордо опираясь на высокую швабру.

— Мы... мы ничего, — оробел мужик. — Мы электричку ждем. До Кубековой.

— До Кубековой! — сардонически усмехнулась уборщица. — Давно ушла ваша электричка до Кубековой, освобождайте помещение, я мыть буду.

— А мы, — еще пуще оробел мужик. — Мы можно, тетенька, следующую подождем?

— А следующая, ПЛЕМЯННИЧЕК, — ехидно сказала баба, — будет утром, следующая ваша электричка до Кубековой.

— Ну и ничего, а мы до утра, — предложил мужик.

— А вот этого ты не видел?

И баба показала мужику обидный шиш. Проснулся гитарист.

— А ну, что за шум! — гаркнул он. — Ты что, бабка, нас заколебала совсем? Щас как дам по кумполу!

— Я, я милиционера позову, — завизжала, отступая, эта пожилая женщина.

— Не надо, ой не надо милиционера! — вскрикнул мужик, как раненый.

— Это точно ты говоришь, батя, — снисходительно согласился юноша. — Милиционер нам вовсе ни к чему. Пошли отсюда, батя.

— А куда?

— Да куда-нибудь пошли. Куда-нибудь придем.

— Но куда ж всё-таки?

— Да... пойдём, споем... отчего деньги не водятся.

— Ну, идем, — сказал мужик.

И они куда-то пошли.

4. ЗОЛОТАЯ ПЛАСТИНА

Эх, граждане! Послушайте-ка немного развязного человека, совершенно разочаровавшегося во времени, потому что — я не совру! Потому что — **СО ВРЕМЕНЕМ ШУТКИ ПЛОХИ**, это я вам точно говорю. У меня вот были замечательные ручные часы «Победа» отечественного производства с грифом «противоударные». Они славно ходили, но когда я этот механизм случайно выронил на асфальт, то он тут же остановился и встал, требуя 6 руб. 10 копеек на починку «волоска», как заявил мне один часовщик в белом халате, имевший на лбу ослепительно-багровый прыщ, равно как индийская женщина из кинофильма имеет на лбу черную мушку.

Хорошо. Я еще не знаю, что **СО ВРЕМЕНЕМ ШУТКИ ПЛОХИ** и вверю 6 руб. 10 копеек, а также часы в руки этого прыщавого индуса, а он мне велит приходить через 6 дней. Вот так.

Но я не отчаиваюсь. Надеюсь на оставшееся. А оставшееся, старинного вида от бабы Муси ходики с высовывающейся кукушкой тоже мигом застонали, зашипели. Дореволюционная кукушка, высунувшись, лишь сказала «кук» больным голосом, а больше уж ничего она не говорила, и назад не спряталась, и те гирьки её уж повисли вяло и некрасиво.

Ничего? Познав, на собственном кошельке, что нынче и мелочь обходится порой в вышеупомянутые 6 руб. 10 коп., я тогда уже к деловому деятелю часовой промышленности идти не решился, всё же робко надеясь на ЧТО-ТО. Ибо, во-первых, настоящему человеку, не больному, и всегда свойственно надеяться на ЧТО-ТО. Ну, а, во-вторых, у меня еще оставался обыкновеннейший трехрублевый работяга-будильник, который вечно будит меня, работягу, идти работать в контору, куда я опаздывал, опаздываю, а теперь еще пуще опаздывать стану, потому что я, надо сказать, после некоторых историй совершенно разочаровался во времени.

Ну, да это особого отношения не имеет. И бросьте вы, и не думайте, что я в каком-то **ОПРЕДЕЛЕННОМ** смысле разочаровался во времени. Я... я неточно выразился, наверное, потому что ведь со временем шутки плохи, а я разочаровался лишь в **ЧАСАХ**, совершенно не видя в них никакого толку, а справедливо видя лишь один только вред, близкий к уголовщине. И я объясню почему.

А потому что с последним моим оплотом, этим самым работягой будильником, приключилось та-а-кое, пардон, товарищи, дельце, вылитое похожее иль на фильм ли «Романс о влюбленных» или просто на какой-либо короткий романс композитора Глинки, исполняемый по первой программе радиовещания бархатным певцом и роялем.

Потому что пришла с морозу моя подруга Светлана Светлячок, вся раскрасневшаяся от ядерного сибирского морозца. Вся раскрасневшись от ядерного сибирского морозца, лукаво, как волк, поблескивая озорными глубокими и необъятными, как наша Родина, карими глазками, эта раскрасневшаяся стерва заявила мне так:

— Я пришла тебе сказать, так будет честно, о том, что я выхожу замуж.

— И заявление ты уже подала? — спокойно поинтересовался я, сидя в это время на маленькой табуреточке во всем нательном и в шерстяных носках.

— Подала, — смело ответила девушка.

— А скажи, дорогая Светочка, — продолжал любопытствовать я. — Твой говнюк знает, где ты в настоящий момент находишься, или мне пойти ему позвонить, чтобы он прилетел сюда на крыльях своей любви и свой порченный товар окончательно и начисто забрал, и, любуясь, и страдая, и млея, как тот самый Ленский, который в конце-концов получил может быть и незаслуженную, но самую настоящую пулю в свой пылающий от любви лобешник?

От таких моих горьких, но справедливых слов Светлана-Светлячок залилась натуральными слезами и разразилась глубокими натуральными всхлипами.

Но перед этим пустила в меня будильником. Довольно реактивно, а все-таки не попала.

Я тоже был очень взволнован и предложил Свете успокоиться, обняв ее рукой за шею. Света всхлипывала, мы осыпали друг друга бесчисленными поцелуями и вскоре стали близки, нежны, как никогда. Мы гукали и щекотались, но когда я заявил, что нужно бы и нам в конце-концов поговорить серьезно, Света грубо расхохоталась, резко отбросила мою проникающую руку, встала и начала быстро одеваться.

— Ты, конечно, можешь сказать, что я тебе не раз уже это говорил, — начал было я.

Но она, не допустив никакого худого слова в мой адрес, молча меня поцеловала на прощанье и ушла, хлопнув две-

рю, по-видимому, навсегда. Я это сразу понял, лишь как услышал, что у ней уже лежит заявление в ЗАГСе.

Понял. И понял еще, что остался я, беднячок, один-одинешенек на свете без Светы наедине с полностью отсутствующим временем.

Ой, как муторно! Вот тебе и Света ушла, оплот мой в мохеровой косынке! Светлана-Светлячок, я может и плохо люблю тебя, но я тебя люблю ж таки и других мне не надо, потому что все одинаковые. Вот и Света ушла, символ света, и телевизора у меня нет, потому что он символ мещанства, и радио у меня отключили за неуплату, а газету я читать не могу, потому что у меня её константум крадут из почтового ящика какие-то бессовестные маниаки. Ой, как муторно! Ой, как нехорошо!

А вечерело. Сам я живу на пятом этаже многоквартирного дома, со средним и переменным успехом занимаюсь своей основной профессией — служением в лаборатории научной организации труда, которая якобы разрабатывает какие-то нормативы, а на самом деле, будь моя воля, так я бы ее начисто и навсегда прикрыл, как опаснейший рассадник тунеядства и безразличия. Судите сами, будучи инженером я получаю 120 рублей плюс 20% сибирского коэффициента и каждый день сильно мучаюсь, потому что делать мне на работе ровным счетом совершенно нечего, равно как и другим 69-ти сотрудникам, которые с озабоченным видом снуют по коридору либо тупо сидят за полированными столами. Землю мы не пашем, хлеба не сеем, а только научно пытаемся организовать то, что сами делать не умеем. Я просто даже удивляюсь, как это Государство мирится с существованием такого скопища прохиндеев, получающих ни за что получку, одним из которых являюсь я, потому что у меня нет мужества. Ой, как муторно! Ой, как нехорошо! И куда же эта идиотка закинула мой будильник?

Сильно раздосадованный подобными мыслями я полез под кровать и с ужасом увидел, оттуда появившись, что никогда доселе я подобного странного времени не встречал, что будильник мой тоже сломан, как поломаны все остальные мои приборы и самое жизнь.

Ибо понес я будильник и вижу — эх, граждане! Не совру! — и вижу, что все три его стрелки ИЗГИБАЮТСЯ ВОЛНИСТО!

Волнисто! Вы представляете. Это — как рябь в россий-

ском пруду, где около купальни гимназист вздыхает, ожидая свою Олю, которая в белом девушка с косой и восковым каким-то личиком. Или как тощая веревочка играющего мальчика, который изображает из нее змейку среди городского песочка и ярко-раскрашенных детских грибов. Или как... Да что тут сравнивать! Я всегда знал, что Светка поэтическая натура, но чтобы такое? Чтобы так романтично запулить будильник? Чтоб стекла не разбив, заставить страдающей рукой ВОЛНИСТО изогнуться все три стрелки! Я стал еще больше уважать Свету и, окончательно сильно по ней тоскуя, вдруг заплакал, окончательно поняв, что потерпел полное фиаско.

После чего и лег спать. Человеку, потерпевшему полное фиаско, нужно спать и не видеть снов, а по возможности и не просыпаться. Потому что проснувшись он должен по возможности в чем-нибудь участвовать, а человеку, потерпевшему фиаско, ни в чем участвовать и нельзя и не надо. Это я вам точно говорю, на основе излагаемого моего горького опыта.

Да. Я лег спать. Но тут же и проснулся, ибо волнистый будильник вдруг зазвонил и пронзительно, и золото, и печально, хотя совсем не нужно было бы ему это делать. Я, например, его (простите за неловкую шутку), я, например, его об этом не просил.

И вот — началось. А потом всё очень плохо кончилось, потому что — о, Господи! — этот проклятый бывший будильник стал продолжать САМ ПО СЕБЕ ЗВОНИТЬ И ЗВОНИТЬ!!!

То ли это как там у него ловко сместился механизм в сторону вечного двигателя, то ли еще что антинаучное, но я клянусь и не совру, чтоб мне не сойти с этого места, я клянусь, что лишь стоило мне задрожать, как он тут же сразу — звонит, звонит и звонит.

Ну и что, по-вашему, нужно делать в такой кошмарной ситуации, когда человеку горько и требуется спать? Разбить часы молотком? Выпить седуксену? Ну, молотком — это уж никак нельзя, и так хватает от меня шуму. А седуксен — зачем такой наркотик? От него всегда болит голова и слипаются веки, и ты плывешь утром, как жареный карась в густой сметане.

Вот так ноченька пришла! Я вертелся со стоном, и стонали пружины, и хрусталец со стеклом переговаривались в посудном шкафу, и кукучечка не кукучала, потому что —

сломанная, зараза. И — эх ты, Светка! Светка-падла! Всегда я знал, дорогая Светланочка, что когда-нибудь оно так и станет. Светочка встанет, встанет-устанет, возьмет и к какому-нибудь другому жулику уйдет. И никто не может понять, почему б мне ее не удержать, не поцеловать и законной женой в районном отделении ЗАГС не назвать. Что мне мешает — время ли или что? Время ли или что? Время ли или что?

Ворочаясь со стоном, я ворчал со стоном и ворочался, и ворочался. И доворочался-доворочался, что и рассвет уже высветлил зимние мерзлые окошки, и в домах стали хлопать слышимые ставни. Люди шли что-то возводить, а я еще даже и не спал, слабенький!

Ну, я тогда сильно стал бешеный и близкий к помутнению.

Время! Ненавистный сгусток дергающихся зубчатых колесиков, которые дергают и цепляют друг-друга, и поддерживают, и крошат, и трут! И звон, звон! Этот звон!

Глядел я, глядел на это безобразие, слушал, слушал, а потом взял да и выкинул оставшееся время в форточку.

НО СО ВРЕМЕНЕМ ШУТКИ ПЛОХИ!

Ибо непосредственно после процесса выбрасывания будильника в форточку снизу долетел убогий вопль раненого человека.

— Ай! Ай! Убили! — кричал человек.

И я высунулся в форточку и увидел такое, что тут же полетел по лестнице вниз кубарем.

Там, на белом снегу, стоял на карачках неизвестный человек, окрашивая головной кровью снег. Он держался за голову и кричал:

— Ай! Ай! Убили!

— Ай! Ай! Убили! — продолжал кричать человек. Хотя если бы его действительно убили, то он уже лежал бы в снегу мертвый, а так — простая случилась вещь, круто упал на него серьезный будильник.

— Да кто же тебя обидел, бедолагу?! — вскричал я, приближаясь.

— Не мрачнейте! Не мрачнейте! Только не мрачнейте! — кричал раненый, поднимаясь с карачек и зажимая рану.

— Я клянусь, что вы у меня не будете сидеть в тюрьме!

— Да мне и незачем сидеть, благороднейший бедолага! — снова вскричал я, совсем приблизившись к этому хитро

улыбающемуся человеку оборванной наружности и развязного поведения.

— Сам, дружок, прекрасно знаешь, что при соответствующей постановке вопроса будешь сидеть, как миленький, — уперся человек.

Я приуныл.

— Да ты не отчаивайся, — утешил меня добрый человек. — Ничего плохого! Ты дай мне лучше побольше денег, я тогда пойду к врачу, и он мне за твой счет вставит в голову золотую пластину.

— А может тебе лучше вставить пластину из крылатого металла алюминия? — осторожно осведомился я.

— Нет, мне нужна золотая, — уперся пострадавший.

— Да зачем же золотая-то? — все не понимал я.

— А чтоб была подороже, — нагло объяснил мне этот веселый бродяга.

И добавил, испытующе на меня глядя:

— Ну что? В милицию за актом идти?

Я открыл рот и хотел его отбрить языком, как бритвой, но мне вдруг стало жаль бродягу, как товарища по какому-то одинаковому несчастью.

— Стой здесь, — велел я и, взлетев домой, мгновенно вернулся с пятью рублями суммы бумажных денег.

— Вот это дело! — пришел в восторг потерпевший.

После чего мгновенно опять сошел с ума, то есть стал вроде бы опять как дурачок.

У него кровь хлещет, а он поет:

— Легко на сердце от пенсы веселой...

Принял этот якобы дурак мою сумму с пением и поклонами и ушел, заверив меня, чтоб я не беспокоился. Что золотая пластина будет у него в голове непременно, так что зачем и беспокоиться.

Ну а мне что беспокоиться? Я ведь это только так, движимый гуманизмом. Что из того, что из окна упал будильник? Это происшествие вполне можно было бы квалифицировать, как несчастный случай. Случай и всё! Мало ли какие бывают случаи? Эх ты, будильник! Как будто ты мне на голову упал, а не дураку. Как будто бы мне упал и выбил из моей дурацкой башки все мучения мои и все заботы.

Потому что действительно ведь скоро все устроилось. Я познакомился с другой девушкой. Ее зовут Катя, и я обещал ей, что мы когда-нибудь пойдем в ЗАГС. На работе

меня сделали руководителем группы, и вы можете надо мной смеяться, конечно, но я полюбил свою работу и даже нашел в ней некоторую изюминку. Ручные часы мои отремонтированы и сияют на моей руке, кукушка кукует, трехрублевый будильник есть новый. Все, почти все устроилось.

И я дурака за это очень люблю. Я люблю этого кадрового старожилу, исконного городского дурака Мишу. Мне всегда приятно встретить его в самых неожиданных местах.

Вот он на барахолке. Торгует подержанными радиолампами и фотографическими портретами различных звезд. Одежда: вытертые вельветовые штаны, рюкзак и котелок.

Вот он в книжном магазине. Важно беседует с развлекаемыми продавщицами о нескромном. Небрит. Слюна брызжет из щербатого рта.

А вот он забрался на высокий постамент рядом с исполкомом. Забрался и что-то кричит. Что он кричит? Подойдем, послушаем...

Золотая пластина! Золотая пластина!

Я трагедию жизни превращу в грёзо-фарс.

Золотая пластина! Золотая пластина!

Из Нью-Йорка — в Решеты!

Из Козульки — на Марс!

А я гляжу на него, опершись о ручку новой родной прелестной Кати, я гляжу на него и думаю... думаю... думаю... Что я думаю! Да так, ничего я не думаю. Не бойтесь.

5. СТОРОЖ СОШЕЛ С УМА

В этот свой уникальный день сторож Кудрявцев явился как всегда под вечер на обычное ночное дежурство по охране одной шарашкиной конторы, которая помещалась напротив многоквартирного жилого дома в пять этажей. Где жила ученая Валька Кузьмичева, а к ней приходил хахаль Абрамов, бывший инженер и служащий.

Валька поставила на газовую плиту варить куриный супок, а как Абрамов-то дверь своим ключом открыл, то она и отвернулась.

— Ой, какие мы сегодня сердитые. Губочки надули, — сказал Абрамов.

Валька молчала.

— Снился мне сегодня странный сон, — сказал Абрамов. — Как будто одна женщина вся совсем заплаканная, в старом одетая и лица не видать. Ты не знаешь, к чему такой сон?

— Заявление на работу подал? — глядя в стену, спросила Валька.

— Видишь ли, Валек! — заскрипел Абрамов. — Работа ж — отчуждение! Контора. Не могу я работать в конторе. Я там схожу с ума. Меня не устраивает процент соотношения реального и фантастического в конторе...

— Шататься тебя устраивает да книжки идиотские читать! — вскрикнула Валька, оборотившись, наконец, к своему возлюбленному, человеку сложной души.

— А еще я там засыпаю и больно бьюсь головой об стол, в конторе, — ровным голосом пояснил Абрамов. — Пожожу, Валек, посмотрю, пригляжусь...

— В дворники пора! Улицу подметать! Зачем высшее образование получал? Зачем народные деньги тратил?! — наступала Валька. Но тут сильно закипел супок, и Валька бросилась его спасать, на время оставив Абрамова в покое.

Оставим их и мы. Вернемся к сторожу. Он на дежурство явился, имея с собой обычное сторожевое: копченого сала шмат, кусок круто посоленого хлеба и журнал «Огонек». Однако, день этот, как уже сообщалось, был для Кудрявцева уникальный, почему он и прихватил ещё и свекольного самогону целых 0,25 литра.

— Да что же уж такого уникального было для сторожа Кудрявцева в его обычном ночном дежурстве?! — воскликнет какой-либо нетерпеливый читатель. И я спешу ему объяснить — лишь потому день этот стал уникальным для ночного сторожа Кудрявцева Дмитрия Алексеевича, что он в этот день сошел с ума. А перед тем решил овладеть диванчиком начальника шарашкиной конторы. Начальника, фамилией которого я не собираюсь забивать мозг читателя как нетерпеливого, так и любого другого.

Очень красивый был диванчик у начальника. Он весь был до складочки кожаный, с зеркальцем и стоял в кабинете начальника, где на стенке висел портрет вождя, в углу пылилось знамя, а весь центр занимал полированный стол, образующий высокую и толстую букву «Т».

Сторож, ликуя, выпил самогон, съел сало, доел хлеб и, прежде чем лечь на диванчик кабинета, к которому он подобрал ключи, предался воспоминаниям.

И вспомнилась ему вся его трудовая жизнь. Как всегда мечтал он поспать на таком диване или на каком-нибудь другом, но таком же. И как первый раз увидел он кожаный диван в 1934 году, будучи совсем ребенком, аж сердце заглохло! И как он потом стремился, возносился, слетал, подымался, опускался, обогащая свою жизнь опытом, но не унывал, потому что знал — будет впереди Он, диван. Диванчик!

Воспоминания затянулись, и сторож почувствовал усталость. Он зевнул и направился закрыть штору, чтобы желтая луна не так билась ему в глаз, когда он окончательно встретится с диваном.

— Ишь! Ключа не давали! — сурово бормотал сторож, пробираясь к окну. — Ты, дескать, диван заспишь! А вот — накось, выкусь! Сплю и ежедежурно буду спать, проклятые! — сурово бормотал сторож, пробираясь к окну среди темной мебели.

А добравшись-то до окна и пропал мгновенно, потому что, элегически глянув в окошко, увидел многоквартирный жилой дом, в котором по случаю позднего времени лишь где Валька жила, то там и светило лишь сквозь шторы.

И сквозь шторы, а вернее — над плотными занавесками вдруг сторож Кудрявцев разглядел такое, отчего и схватился за косяк, с трудом удерживаясь на ставших ватными ногах.

А дело в том, что Валька Кузьмичева наелись с Абрамовым супу, выпили бутылку вина и теперь приступили к серьезному разговору о женитьбе Абрамова на Вальке официально через ЗАГС. Серьезному разговору, который происходил у них каждую неделю два раза в течение ближайших пяти лет.

И заканчивался всегда одинаково. А так как от многократных повторений, упражнений и тренировок оба они достигли в своем деле нечеловеческого мастерства, искусства и изобретательности, то сторож глядел на их союз, глядел, глядел, глядел, разиня рот, а потом завыл и стал драть на себе дешевые, но крепкие одежды.

...А утром Абрамов, истертый молодой человек тридцати двух лет, осторожненько выходил на зорьке, дабы не скомпрометировать даму сердца перед соседями. Чтоб не

задавался ученой даме, кандидату наук, хамский вопрос с пустым зачином: «Вы извините, Валечка, это, может, и не наше дело...»

Так вот. Абрамов выходил на цыпочках. И, выходящий на цыпочках, лихой и заботливый Абрамов, стал свидетелем сразу двух уникальных сцен, одновременно — и распада личности и первой стадии лечения нервных больных.

На гребне шиферной крыши, обратив свое небритое лицо к востоку, сидел голый синий человек, размахивающий красным знаменем. Он пел песню, из слов которой можно было различить лишь слово «диван». А все остальные слова тоже можно было различить, но все они были неприличные

—
., диван. —

— пел сторож.

— Эт-то кто еще такой? — жадно спросил Абрамов у скучающего юноши приятной наружности, в бачках, белом халате и джинсах. Юноша тянул сигаретку и вяло наблюдал за сторожем.

— Это сторож сошел с ума, а мы — психобригада, — пояснил юноша, отшвыривая сигаретку и указывая на других молодцов, которые карабкались по пожарной лестнице, имея в руках нечто беленькое.

— А это беленькое? уж не смирительная ли рубашка? — заволновался Абрамов.

— Вязочки это специальные. Смирительную рубашку наша медицина уже давно не применяет, — сказал юноша и снисходительно посмотрел на Абрамова.

— А ты что ж не лезешь? — сказал Абрамов.

— Студент-заочник был, — сказал юноша. — Пищевой институт закончил. Завтра начинаю командовать рестораном. Да и надоело! Мутота! Но платят, прямо тебе скажу, мужик, до фига!

— Снимай свой халат! Я поступаю в санитары! — сказал Абрамов.

6. СТАРАЯ ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ СКАЗКА

Под прямыми лучами солнца, принадлежащего Украинской ССР, нежились на галечном пляже друзья по курорт-

ной комнате: доктор Царев Валерий Михайлович, полковник Шеин и некто Рябов, не совсем простой человек.

Разговор тянулся вялый. Слова доктора были, в основном, посвящены чудесным свойствам лекарства с дурацким названием «мумиё». Это лекарство доктор сам прошлый год с компанией искал в Присаянской тайге. И нашел. А сейчас об этом рассказывал. Полковник в ответ кричал и пыхтел. А Рябов вообще молчал, вытянувшись в шезлонге и не сняв золоченых очёчков. Сам был робкий, застенчивый, унылый. Трудно сходился с людьми.

Постепенно, как это водится, разговор перекинулся с частных на всеобщее. Царев вдруг заговорил обо всём чудесном, что, несмотря на науку, еще присутствует в жизни.

— Ибо наука — враг всего чудесного, — твердил он, оглаживая свою черную и крепкую бороду. — Где есть наука — там нету места чудесному. И наоборот!

— Совершенно верно, — согласился Шеин. А Рябов опять смолчал.

— Собаки, например! — вяло кричал доктор. — Им не нужно лекарство! Сами себе ищут травку. И получается, что все наши научно-исследовательские институты — ничто по сравнению с обонянием обычного Бобика.

— Ну уж вы... — запыхтел полковник. — Это ж даже ж, хе-хе-хе, определенное отрицание вашей же науки Гиппократа.

Как видите — спор принимал интересное направление.

— Не, — вдруг сказал Рябов.

Друзья посмотрели на него.

— Что означает ваше «не», юноша? — напряжился полковник.

— Вы со мной несогласны? — заинтересовался доктор.

Тут Рябов страшно смутился. Он схватился за очки, протер их, снова надел и заявил дрожащим голосом:

— Что вы! Я — за вас. Но я и не против вас, — поспешил он объясниться с полковником. — Я, то есть мы с вами, доктор, не отрицаем всякую науку. Мы просто подчеркиваем многовариантность бытия, правда? Ведь возможности человека использованы всего лишь на 0,000001%. Человек, например, может всё. Он даже может, усилием воли, разумеется, зависать в воздухе!

— Чего? — удивился офицер.

— А летать, — тонко улыбаясь пояснил Царев. — Наш

друг хочет сказать, что человек сам и безо всего может летать, если того захочет его разум. А только это... — он выдержал паузу. — Это — старая идеалистическая сказка.

— Во-во, — поддержал полковник.

— Не летать, — осмелился уточнить Рябов. — А лишь зависать в воздухе.

Доктор улыбался. Полковнику же при этих словах страшно захотелось пива. Полковник сглотнул, а доктор почти вежливо обратился к Рябову:

— И это всем простым людям дано или только избранным личностям?

— Не знаю, — потупился Рябов.

— А вы сами не можете продемонстрировать нам такой дивный случай?

— Могу, — тихо сказал Рябов.

— Но, разумеется, не желаете? — рассмеялся доктор.

— Не хочу, но могу. Впрочем, могу и несмотря на нежелание, — совсем запутался Рябов.

Доктор вежливо захлопал в ладоши.

И тогда Рябов частично сложил шезлонг, превратив его в стул. Сел на стул. Напружинился. И немедленно медленно поднялся в небеса.

Представляете, какое тут наступило некоторое молчание?

Полковник дышал открытым ртом. А доктор спросил, заикаясь:

— Ну и что? Что там видно?

Сверху донесся унылый голос Рябова:

— Космос! Открылась бездна звезд полна! Окоем! Тучки небесные вечные странницы! Философия! И, кроме того, тут, оказывается, рядом женский пляж, весь усеянный голыми женскими телами.

— Неужто совсем голыми? — задохнулся полковник.

— Натурально голыми, — так же уныло прокричал Рябов.

— И все... э... прелести видны? — оживился доктор.

— Ну...

— Так ты, это, Рябов! Ты возьми нас с собой, — засуетился полковник. И обратился к доктору: — Валерий Михайч, скажи хоть ты ему, чтоб он нас взял!

— Рябов! — крикнул доктор. — Ты слышишь?

— Низзя, — уныло, но решительно отвечал Рябов.

— Ну, Рябов, не знали мы, что ты такая свинья, — горько сказал полковник.

— Да уж, — сухо подтвердил доктор.

— Правда же — низзя, — жалобно сказал Рябов. Но все-таки сильно снизился.

Доктор с полковником подпрыгнули и уцепились. Но стул не выдержал такой перегрузки и сразу упал вниз на то место, где он и раньше стоял. Упал, вызвал окончательное оцепенение у собравшегося пляжного народа, который стал невольным изумленным свидетелем вышеописанного.

Все друзья, кроме Рябова, раскатились по галечному пляжу, причинив себе некоторый телесный вред. Доктор горько пощупил, вытирая сочащуюся кровь:

— Вот оно! Факт, как говорится, на лице!

У полковника под глазом наливалась синяя гуля.

А Рябов молчал. Он тихо сидел на стуле и при первом же взгляде на него становилось ясно, что человек этот не совсем прост. Такие люди опасны для общества, и, как только они где появляются в общественном месте, у них необходимо сходу требовать документы! Такие люди опасны для общества! Таких людей неплохо бы и вообще изолировать от общества куда-нибудь подальше!

7. РУКОПИСЬ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Однажды на улице Засухина решили снести и разрушить все старые деревянные дома, чтобы на их месте построить лабораторное здание Политехнического института.

Для этого приехали трое рабочих и выкопали семиметровый шурф — узкий и длинный, а когда выкопали, то явился некто из инженерно-технических работников и, слазив в шурф, вылез оттуда с образцами песков и глин, составляющих разрез четвертичных отложений этой местности.

Столпившиеся к этому времени у копающегося шурфа окрестные жители стали робко теребить И. Т. Р-а за рукав, пытаясь узнать результаты исследования, а некоторые даже зазывали его в дом, обещая напоить водкой и угостить мясом.

Но он оказался циничным гордым и желчным человеком, показал собравшейся публике шиш и уехал, сопровождаемый плохими взглядами, на машине ГАЗ-51, посадив и рабочих в машину, а сам сев за руль.

И не сразу, на следующий день, а этак денька через два, через неделю на улице Засухина появился еще один какой-то начальник, но уже не горный инженер, а исполнитель.

Он переписал всех жильцов в книжку и сказал, что снос и разрушение домов действительно состоится, и на месте их деревянного убожества будет сиять стеклами новый лабораторный корпус Политехнического института, а сами они получат равноценную благоустроенную жилплощадь из расчета 9 квадратных метров на человека в новом экспериментальном северо-восточном районе — с ваннами, с унитазами, чего они отродясь не видали.

Выслушав это известие, многие заплакали, потому что им было жаль старых своих гнезд, а многие стали кричать от радости, потому что хотели скорей иметь ванну, унитаз и горячую воду. И не ходить за водой на колонку, которая до того иногда зимой обледеневала, что ее приходилось обливать бензином и жечь.

Некоторые заплакали, некоторые засмеялись, но записаны были на бумажку исполнителя, человека, прибывшего оттуда, где решают, что сносить, а что строить, все поголовно.

Ну и что — записанные они вскоре действительно получили новые благоустроенные квартиры в новом микрорайоне. Конечно, было много недовольства, были и неурядицы. Некоторым дали не тот этаж, что они хотели, некоторых не устраивала жилплощадь, выраженная в квадратных метрах, — мало казалось после своей объемистой, а нашлись и такие, что вообще озлобились — дескать, тащиться из этого самого микрорайона чрезвычайно далеко до мест, где они привыкли действовать — до работы, до рынка, до аптеки, до кино.

Но все переселенцы без исключения были рады горячей воде и, в особенности, газу. Газ они поджигали и так и сяк, и большим языком и малым, и пустили бы, наверное, дом на воздух, если б не ходил каждый день по новым квартирам, по новым людям инспектор ГОРГАЗА и не учил, как нужно с газом правильно обращаться, чтобы его не испортить.

То есть, в общем итоге все все-таки довольны остались.

И разговор, а вернее, не разговор, а рассказ пойдет далее о том, как поступили жильцы с принадлежавшей им много лет деревянной недвижимой собственностью, собственностью, которой они, переехав на государственные квартиры квартиросъемщиками, отнюдь не лишились.

Распорядились жильцы этой собственностью совершенно по-разному.

Одни просто бросили всё. Плюнули, и всё. Дескать, черт с ним, с домом.

Другие продали дома по дешевке.

Третьи же, которым повезло более всех, продали дома, как дома — за настоящие деньги.

Покупали общественные организации — например, колхозы, чтобы, привезя бревна в деревню, устроить там магазин.

Покупали и отдельные граждане, чтобы, перетащив бревна за город и собрав их, иметь по дешевке дачи.

Все, в общем, как-то распорядились своими домами и получили от этого деньги, кто больше, кто меньше — по-разному.

Промахнулся лишь один Васька Харабаров, что выглядит очень странно, если учесть, что Василий пять лет сидел в тюрьме за какие-то дела, все знал и ничего не боялся.

Он и крутился, он и вертелся — все хотел, чтобы как получше. Ему когда на дрова предлагали продать, то он не согласился, и это, конечно, с одной стороны, правильно.

Но вот зачем он, спрашивается, отказался, когда артель «8-е марта» хотела брать его пятистенку под медпункт — это непонятно.

Крутился, вертелся да и довертелся-докрутился, что больше предложений не поступало, а дома на-днях должны уже были сносить.

Но недаром Василий имел столкновения с Законом и столь долгое отсутствие от родных мест. Выход из затруднительного положения он нашел и притом — блестящий.

Там у одних во времянке жили два молодых специалиста. Они приехали из Москвы, но положенной им, как молодым специалистам, квартиры не получили. Не получили они и оклада в 150 рублей плюс 20% надбавок, о котором мечтали все долгие студенческие годы, кушая маргарин.

А получили они оклад 108 рублей включая сюда и 20% надбавок, а также город, куда они прибыли, им не нравил-

ся из-за своей промышленной копоти, патриархального уклада жизни и якобы свирепого сибирского хамства жителей.

Их тянуло в Москву. Им зачем-то хотелось опять в институт, хотелось сидеть, греясь под солнышком, в университетском садике на Манежной, ныне «50 лет Октября» площади, хотелось в шашлычную «Казбек» у Никитских ворот, хотелось в кино «Метрополь», хотелось даже в библиотеку имени Ленина, куда они вообще-то ходили крайне редко.

Им-то Василий и предложил купить свое строение.

А когда они вежливо отказались, заявив, что денег у них таких нет, чтобы покупать дома, то он и их посвятил в свой план.

Он им сказал, что возьмет лишь малую толику того, что на самом деле стоит дом, они оформят купчую, а если они будут иметь купчую, то исполком обязан будет и им выделить квартиру.

И они сначала посмеялись, а потом задумались — а вдруг им не удастся так скоро с места распределения совершить побег, как они думают.

И они заплатили Василию Харабарову почти все деньги, что были у них в карманах, и переселились в его пятистенку, ожидая чьего-либо прибытия, чтобы им дали ордер, чтобы и им переселиться в северо-восточный район, состоящий исключительно из стекла и бетона.

А был вечер, и на руках у них была купчая от нотариуса, что они Харабарову заплатили деньги, и не знали они, что Харабаров и их обманул, и еще одного товарища, которому тоже продал дом, и обманул еще и государство, получив с него квартиру за дважды проданный дом.

Они под вечер пришли на новую собственную жилплощадь и почти ничего с собой не взяли, кроме водки, и устроились, водку попивая и дожидаясь утра, чтобы объявить официальным лицам, что и они — домовладельцы, и им тоже обязаны дать новую квартиру в новом микрорайоне, где кирпич, где стекло, где бетон.

Они были бодры и полны мыслей, они говорили о том и о сем, многое ругали и многое хвалили, и постепенно пьянели, закусывая исключительно луком.

И они вышли ночью из духоты, которая образовалась в избе из-за того, что они докрасна натопили бывшую Васькину печку.

И увидели — звезд мириады на небе, а на земле — отсутствие света, и дома — одни полуразрушенные бульдозерами, другие целехонькие еще, но мрачные, пустые, черные, а некоторые и не дома, а фундаменты со снятыми домами, полные многолетнего сора и свежего серого, набившегося в фундаменты снега.

— Мне что-то страшно, — сказал один молодой специалист, — я, я боюсь, что нам не дадут квартиру.

— Это не исключено, — подал голос второй молодой специалист, продолжавший смотреть на звезды, — а нам с тобой не один ли фиг?

— Только денег жалко, — подытожил первый, и пьяные молодые специалисты вернулись в купленную по дешевке избу.

И они пили дальше и больше, и уже видели себя в сияющем новом экспериментальном микрорайоне, и уже они обосновались, якобы, в этом городе на вечное поселение, обживались в нем, заводили на каждого по семье, становились уважаемыми старожилками города, и нянчили внуков, и выступали в качестве почетных пионеров, людей, помнящих наше грозное время, на пионерских сборах грядущих лет.

И один из них тогда другому говорит:

— А ты знаешь, что у меня есть рукопись, состоящая из одного стихотворения, посвященная тебе?

— Нет, — ответил другой.

И они встали, и они положили руки на плечи друг другу и стали смотреть друг другу в глаза.

Но тут раздался страшный удар. Дом зашатался, и штукатурка, осыпаясь, стала больно ударять молодых специалистов по голове, и они поспешили выбраться из очага поражения наружу, где бульдозер из СМУ-2 с утра пораньше ворочал дома, увеличивая и создавая площадь новостройки.

При этом они потеряли свой важный и взволнованный вид, а рукопись, состоящая из одного стихотворения, которую один из них этой же ночью пьяный посвятил другому, погибла.

8. ТЕМНЫЙ ЛЕС

Многие неурядицы на свете объясняются, по-видимому, очень просто — различием темпераментов. Один человек, допустим, такой это веселый-веселый, что с ним хоть что ни случись — ему хоть бы хны, плюнет и дальше жить пойдет. А другой от всякой ерунды сычом смотрит, и нету с его мнительностью никакого сладу.

Вот и тут тоже. Царьков-Коломенский взял да и брякнул Васильевской бабе, что они в субботу ездили с Васильевым в лес «любоваться его осенним убранством». А Васильевская баба, на которой тот упорно не хотел жениться, тут же смекнула, что если они ездили в лес, то никак не иначе, как в сторону совхоза «Удачный», где в школе дураков преподает старая романтическая васильевская любовь Танька-Инквизиция. Живя якобы в глуши, а на самом деле шлюха, каких свет не видал. И работает «в глуши», потому что город близко и по зарплате ей выходит за непонятную «вредность» коэффициент 15%. Васильевская баба пришла к Васильеву и закатила ему скандал. Васильев весь покрылся красными пятнами, затопотал на бабу, что она лишает его свободы думать, и выставил ее, прорывавшуюся, напудренную, за дверь. А сам остался и стал ходить по комнате, бессмысленно присаживаясь в кресло, трогая лоб, кусая ус, ероша шевелюру.

Тут снова стучатся в дверь. Открыл, а там шутовски стоит на коленях друг-предатель. В. Царьков-Коломенский и говорит:

— Ты уж извиняй, брат, я не знаю, как такое оно и случилось. Ну — трёкнул ей, трёкнул я ей, а кто же знал? Ты уж извиняй, брат, давай, что ли, выпьем в заглаживание моей вины?

Васильев сверху посмотрел на него. Смотрел, смотрел, а потом и захлопнул дверь, не сказав другу никакого обидного слова.

И Царьков-Коломенский поэтому не обиделся. Но оставаться на коленях было как-то очень уж неудобно. Весельчак встал, отряхнул брюки, харкнул в лестничный пролет и зашагал вниз, в направлении собственного плевка.

А при выходе из подъезда его чуть не сбил с ног какой-то взволнованный молодой человек в мохеровом шарфе.

— Тише нужно бежать, молодой человек, — научил Царьков-Коломенский. Но тот, бессмысленно на него посмо-

трев, ничего не ответил и взлетел наверх.

Вскоре он уже стучался в дверь васильевской квартиры.

— Что вам угодно? — сухо спросил Васильев, так как он его слегка узнал, этого молодого человека. Его звали вроде бы Санечка.

— Мне... мне что угодно? — вдруг заулыбался юноша. — Здравствуйте, во-первых, — сказал он.

— Здравствуйте, — хмуро сказал Васильев.

— А во-вторых, не дадите ли мне глоточек воды, я очень хочу пить?

— Мне не жалко воды, — сказал хозяин. — Но поищите ее где-нибудь в другом месте, — сказал он и хотел закрыть дверь.

— Да подождите же вы, подождите... — Молодой человек дико блуждал глазами, принюхиваясь, он даже зачем-то на цыпочки становился, отвратительно вытягивая шею. Так что Васильев, обозлившись окончательно, стал его выпихивать. Но молодой человек оказался тяжел и неповоротлив. Густо дыша, они сцепились и замерли в исходной позиции, в этом узком коридорчике.

— Так может вы всё-таки позвольте мне пройти! — выкрикнул молодой человек. — Я хочу всё сам увидеть собственными глазами.

— А... ты вон о чем? — внезапно понял хозяин и усмехнулся. — Ну иди, брат, проходи. Будь гостем...

Молодой человек и юркнул в комнату.

— Но ее же тут нет?! — вскричал он, заламывая руки. — Где она?

Хозяин ухмылялся.

— Выходит, она нас обоих обманула?! — вскричал юноша. — И вы, вы миритесь с этим?

— Пошел вон, — сказал хозяин. — Пошел-ка ты вон отсюда, сопляк, хам, неуч, кретин, дебил, размазня! Пошел отсюда вон!

— Вы... вы потише! Я ведь боксер! — из последних сил выкрикнул вроде бы Сенечка. Но тут же истерично разрыдался и, пятясь эдак боком, боком выполз. Вывалился из квартиры, как ключ из кармана.

А хозяин тогда запер дверь на ключ. Он всё еще ухмылялся. Он подошел к зеркалу и построжал. На него глядела его красивая голова, чуть тронутая сединой, несвежее

его лицо. Он сделал гримасу, показал сам себе язык, сел за стол и начал писать:

«Многие неурядицы на свете объясняются, по-видимому, просто — различием темпераментов. Один человек, допустим, такой это веселый-веселый, что с ним хоть, допустим, что ни случись, от чего другой сразу бы окачурился или повесился в петле, а этому — хоть бы хны! Плюнет и дальше жить пойдет. А другой от всякой ерунды сычом смотрит, и нету с его мнительностью никакого сладу».

И тут в дверь снова постучали. Васильев вздохнул и пошел открывать.

На пороге стояли: васильевская баба, Царьков-Коломенский и давешний молодой человек.

— Да вы мне, никак, чудитесь? — сказал Васильев.

— Ишь ты, ишь ты какой! — ликовал молодой человек. — Ох и остро-ум-ный старичок! — обращался он к васильевской бабе.

Гости гурьбой ввалились в комнату и расселись по стульям. На столе появилась бутылка вина.

...А близ совхоза «Удачный», в школе для дефективных детей мальчик Ваня Кулачкин никак не мог понять, чего хочет от него эта чужая накрашенная тетя. Какие такие квадратики? Какие такие птички? Почему, где, кто она, эта тетя, где мама, почему мама была белая и качала головой, паук зачем муху ел, муху ел, не доел...

— Ваня, я ведь кажется тебя спрашиваю? — сердито сказала тетя.

Ваня встал и хлопнул крышкой парты.

— Я больше никогда не буду, — сказал Ваня.

Глаза у него были синие-пресиние.

Тетя ему ничего не ответила. Лишь хрустнула тонкими пальцами и подошла к окну, чтобы долго смотреть на темный лес, подступающий к школе.

Ели, пихты освежены дождем. Замерли, не шелохнутся строгие деревья. Петляет проселочная дорога. Какая-то птица, тяжело хлопая крыльями, скрывается в глубине...

— Шишкина бы с Левитаном сюда. Пускай садятся друг против друга и рисуют, рисуют, рисуют, сволочи! — подумала тетя.

И эта картина её слегка развеселила.

9. «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

...А я был тогда страшно молод, поступил в Литературный институт, работал грузчиком на железной дороге, снимал комнату в предместье, писал свою «Песню первой любви».

Однажды, когда я, покушав на ночь холодного супу, сел работать, у них за тонкой стенкой вроде бы опять началось. Но я, пытаясь не отвлекаться, упорно строчил: «Со Степаном это было впервые. Никогда раньше он не испытывал ничего подобного». Скрипнула кровать. «Степан сначала удивлялся, откуда пришло это — неизведанное, знакомое? Может, он заболел или слишком устает на тяжелой физической работе, этот молодой смущающийся паренек из Сибири?» «Постой, постой, — залепетала женщина. — Да погоди ж ты, милый...» «И вот, в один погожий летний день, когда, казалось, вся природа была погружена в сонную дрему...» Железные ножки кровати... Цок, цок... «Лето выдалось в тот год дождливое, с долгими обложными утренними грибными туманами, когда призрачно в лесу и не шелохнется ветка...» — Это просто свинство, — специально громко сказал я. «И вот, когда, осторожно раздвигая руками волглые листья папортника, они вышли на полянку, косой луч солнца...»

Утробный вопль, по всем признакам, предвещал конец, но я, как всегда, ошибся. Дрались они, душили ль друг друга — не знаю, но умоляющий свистящий шепот, вопль, удар тел о тонкую стенку сменились этим леденящим душу пением, гимном ли, не знаю, как и определить эту ошеломляющую мерзость с разрывными нотами, рыданием, плачем, слезами.

ОНА. Ах, кончай, скорей, кончай, кончай, кончай!...

ОН (басом, тяжело дыша). Кончать-то кончай, а может, снова начинай?

ОН и ОНА. Кончим, кончим, кончим днём,
Вечером снова начнем,
Кончим вечером, ночью начнем,
Кончим утром, кончим днём, кончим
вечером и кончим ночью...

ОН (басом, тяжело дыша). Во-о-очию!

И непосредственно за этим — женский крысиный визг. Во мне тоже всё перевернулось. Я швырнул авторучку и стал колотить в стену. В ответ сначала пустота и молчание

были мне ответом, а потом в стену тоже заколотили и, по-видимому, в четыре руки, потому что у меня сорвалась с полочки меднолитая статуэтка Горького и больно упала мне на затылок. Я тогда взвыл и, не сознавая себя, выско-чил на улицу, в снег.

А снег в наступающих сумерках был дьявольски кра-сив, фиолетов, свеж. Я стал нервно нажимать кнопку звон-ка в их тамбуре, желая сказать, что нельзя всё же столь громко себя вести, что всему есть предел и определенные границы. Однако звонок наверное не работал, и я стал пинать дверь ногой.

И тут дверь резко распахнулась, на меня выкатился толстый бородатый человек с поднятой рукой, которой он меня сразу же, не сказав ни единого слова, до крови уда-рил по лицу. Но я не зря работал на железной дороге, тас-кая мешки. Я его тоже ударил подволом снизу, но с ног не сбил, хоть он и покачнулся. Мы сцепились, ломая штакет-ник. Была ночь, выпукло всходил острый месяц, и был поч-ти неразличим острый зубец соснового леса, расположен-ного в непосредственной близости от нашего поселка. Нече-ловеческим усилием я извернулся, схватил его левой рукой за глотку, а правой нанес еще один мощный удар, но всё приливало и приливало. И я хотел ударить еще раз, но тут на крыльце появилась эта гнусная баба, босая, в разъезжаю-щемся пальто на голое тело. Она летела по снегу босая, с визгом вцепилась мне в волосы, горячая потная кожа кос-нулась моего лица...

Тут же со мной всё и кончилось. Судороги били меня. Я на четвереньках отполз в сторону. Бородатый выплевывал в снег черную кровь. «Хулиган! Мы на вас в суд подадим!» — кричала баба.

Я тогда поплелся домой, собрал свои немудрящие пожитки и наутро съехал с этой квартиры, несмотря на то, что мной было уплачено хозяйке за всю зиму. «Песню пер-вой любви» я заканчивал уже в другом месте, и она вскоре была напечатана сначала в журнале, а потом и отдельным изданием, с чего, собственно, и началась моя писательская биография. Этих людей я, разумеется, никогда больше не встречал и, зачем я вам рассказал эту гнусную историю, — а даже и не знаю, не знаю, молодой человек. Не знаю, воз-можно, для того, чтобы вас предостеречь, потому что вы симпатичны мне своей искренностью, верой в «настоящее искусство»... От чего предостеречь? Тоже не знаю. Не знаю,

не знаю, решайте сами, молодой человек. Все вы, нынешние, — экстремисты, и думаете, будто мы, старое поколение, были совсем уж слепы. Нет, вы видите, что это не так. Но мы сделали свой выбор, а как будете жить вы — ну что ж, это — ваше дело, ваше право...

10. ВОДОЁМ

А ведь сначала и Бублик показался нам порядочным человеком. Он перекупил за хорошие деньги двухэтажный домик и возделанную территорию у соломенной вдовы посаженного в тюрьму расхитителя народного богатства Василя-Василька, который продавал налево кровельное железо, метлахскую плитку, радиаторы водяного отопления. Что он и нам «по-соседски» предлагал, однако мы его слушать-то слушали, но не связывались, предпочитая идти честным путем. Потому что все мы — старожилы Сибири. И чтоб я в родном городе не достал какой-нибудь там метлахской дряни? Так это было бы смешно и отчасти шло вразрез с политикой улучшения жизни и принципами освоения окраинных районов громадной Родины. Мы не кулаки какие там, но сейчас все так живут, и куда лучше прежних дураков-кулаков, которые не ко времени зарвались, выскочили вперед, не ведя за собой никого. За что и были строжайше, но справедливо наказаны.

Но — Господи! Господи! Боже ж ты мой! За что? Столько трудов-то было-то положено! Возили по субботам балонный газ. Это Козорезов умница. Спасибо, позаботился — выделил машину, человека... Малина — кустами, клубника — грядками... Эта прятная нарядная красота, смягчающая глаз и утишающая душу... Эта прятная нарядная красота...

И самое главное — водоём. Господи! Водоём! Этот, вечно обновляемый хрустальными подземными водами, водоём, он ведь просто услаждал нас в душевные наши летние дни. В ласковых водах его гурбились веселой стайкой озорные пацаны. А наши девушки, невесты, словно сама Юность, лежали, кошечки, на хрустком кварцевом песочке. Готовясь к экзаменам или просто предаваясь обычным девичьим мечтам — о будущей трудовой жизни, семье, браке,

воспитании детей, правильных отношениях между полами.

А вокруг мы, родители. Женщины что-нибудь вяжут из мохера или рассказывают, кто где отдыхал на юге или чего купил — какую обновку для семьи. В кустах тальника полковник Жестаканов с профессором Буревичем в шашки сражаются. Митя-короед спорит с физиком Лысухиным о соответствии количества градусов чешского пива натуральному алкоголю. Кто кроссворд решает, кто — производственные вопросы. А я... я гляжу на всё это и, честное слово, сердце и радуется и переворачивается. Голодные военные годы вспоминаются, когда я был оставлен по броне, и, после — как я под номером 261 стою с супругой вьюжным черным утром в арке около кинотеатра «Рот-фронт» за мукой. Залубенела нога моя, совсем не чувствую ногу в худом валенке: после растирали, гусиным салом мазали. Как вспомню, так, честное слово, вот лично бы вот этими самыми пальцами душил бы всех этих болтунов и злопыхателей, обожравшихся шашлыками и опившихся пепси-колой! Этих бы всех вонючек на моё место в очередь сорок седьмого года! Вот тогда бы я посмотрел, что б они запели, сопляки!

А что касается тех двух молодых людей, по наружности артистов, то они нам сначала даже и понравились, не стану оплошность нашу таить, не стану оправдываться...

Их режиссер Бублик привез, вместе с миловидной женой-певицей. Этот подлец единственно чем хорош был, режиссер, что в свою бытность часто радовал нас визитами в нашу «Пустую чужь» (так называется поселок), визитами различных знаменитостей. То, глядишь, певец М, идет, полотенце повеся и рыкая «Славься, славься!», то иллюзионист Т. веселит всех фокусом исчезновения карманных жестакановских часов в ботинок Мити-короеда, а то вдруг уже сидит на возвышенности наш знаменитый портретист Спожников и рисует портрет водоёма на фоне окружающей его окрестности. Странно, что эти умные люди не смогли до нас разглядеть гнилое нутрецо этого Бублика, странно!

А те двое были на первый взгляд самые простые длинноволосые парни. Но ведь недаром в народе говорится, что иная простота хуже воровства, хоть скромность и украшает человека. Один — повыше был такой, голубоглазый спортсмен. Другой — хлипше, чернявенький и более шустрый. Девчата наши, невесты, аж кругами заходили, когда увидели всю ловкость состязания молодых людей в настоль-

ный теннис. А ребята им нет, чтобы какое-нибудь пошлое слово сказать или сделать пошлый зазывной жест. Нет! Скромно, и достойно, видите ли, стучали они, мерзавцы, этим своим белым шариком. Пока не грянуло.

А как грянуло, так все сразу и закричали, что мы, дескать, сразу сообразили. А что там «сообразили» — и не чуяли даже, пока не разразился тот самый натуральный и настоящий свинский скандал, последствия которого неизгладимы, необратимы, печальны и постыдны — уж и дачи заколачиваются крест-накрест, и снуют всюду мелкие перекупщики, шурша осенним листом, плодовые деревья выкапываются, перевозятся, и нету бодрости на лицах, а есть одно усталое уныние, разочарование, страх.

Хотя, имея чуть голову, можно было бы и сразу догадаться. Ведь они даже ХОДИЛИ ПОД РУЧКУ, не говоря уже о том, что явно, явно они сторонились наших девчат.

А те и рады, озорницы, подсмеяться. Заплели маленькому из головных волос косички, как у узбечки. Губы накрашили яркой помадой, а потом взяли да и натянули силком на довольно его жирную, не по комплекции его грудь, пустой запасной бюстгальтер. Ну и хохоту было!

И мы все в тот момент тоже ошибочно веселились, хохотали, тоже сочтя эту довольно-таки пошлость относительно удачной шуткой. Веселились и хохотали, пока не грянуло.

Господи! Я это на всю жизнь запомню. Значит, расставновка сил была такая. Водоём. Эти двое на плотике-дощанике близ берега, девчата — подле, мы все сидим в кустах, а режиссера Бублика с миловидной женой-певицей где-то нету.

И лишь младшему навязали девочки на грудь это невинное женское украшение, как старший вдруг вскочил, побледнел, голубые глаза его потемнели, и он резким ударом боксера вдруг толкнул Настю прямо в солнечное сплетение, отчего ребенок, даже не ойкнув, бесшумно повалилась на песок.

Мы все замерли и разинули рты. А он, секунды не медля, резко отпихнул дощаник, и парочка в мгновение ока очутилась на середине водоёма, где принялась скверно и грязно браниться. Длинный свирепствовал, а маленький лишь что-то хныкал в ответ, но тоже матом. Он даже показал длинному язык, после чего тот, странно дернувшись, завопил: «Ах ты, шлюха!» И влепил маленькому пощечину.

А тот тогда рухнул на колени и стал целовать своему товарищу его босые грязные ноги, полузакрытые набегающей волной.

Господи! Господи! Боже ты мой! А тот пнул его изо всех сил, и первый молодой человек, пронзительно вскрикнув, очутился в воде. Однако при этом нарушилось равновесие, и дощаник, крутанувшись, сбросил в воду и другого молодого человека. Оба они, не булькая, стали исчезать в пучине. Потом снова появились на поверхности, не умея, по-видимому, плавать, после чего, вновь не булькая, окончательно пошли на дно.

И наступила страшная тишина.

Мы все стояли, как громом пораженные. Девчата наши сгрудились группой испуганных зверьков вокруг оживающей Насти, бабки и домработницы проснулись, заплакали грудные дети, залаяли собаки.

Первым пришел в себя полковник Жестаканов. С криком: «Я этих пидарей спасу для ответа перед судом народных заседателей», отличный этот пловец, неоднократный в молодости призер различных первенств, бросился в воду и надолго пропал. А вынырнув, долго отдыхал на спине, после чего, не говоря лишних слов, снова нырнул.

Однако ни повторное, ни последующие проныривания полковником Жестакановым акватория водоёма никаких положительных результатов не дали. Полковник бормотал: «Да как же так», но они исчезли.

Догадались броситься к Бублику, виновнику, так сказать, «торжества». Но и тот исчез вместе с миловидной женой-певицей. На пустой их даче бродил сосновый ветер, играя тюлевыми шторами, опрокинутая чашка кофе валялась на ковре, залит своим содержимым номер какого-то явно не нашего глянцевого журнала, ярко-оранжевые цветы сиротливо никли в красивых керамических вазах, а Бублик и его миловидная жена-певица исчезли.

А когда мы через несколько дней отправили делегацию наших людей к нему в музкомедию, то там администрация, глядя в пол, сообщила, что Бублик уже оттуда подчистую уволился и отбыл в неизвестном направлении. И лишь потом мы поняли смущенный вид этих честных людей, потом когда окончательно определилось неизвестное направление режиссера Бублика, оказавшееся Соединенными Штатами Америки, куда он, практически на глазах у всех, нагло эмигрировал вместе с миловидной женой-певицей. Что ж,

это вообще-то не так и удивительно, что в США — видимо, им там легко будет заниматься тем развратом, которому у нас поставлен строгий шлагбаум. Это не удивительно.

Удивительно другое. Удивительно, что когда прибыла на водоём милиция и приехали аквалангисты, то они нико-го совершенно тоже не нашли. Мы очень просили аквалангистов, они очень старались лазать по каждому сантиметру дна, но всё было напрасно. Они исчезли.

Вы знаете, мы потом обсуждали, может, черт с ним, хватило бы у нас денег, может, нужно было все-таки пойти на значительные расходы, спустить пруд, разобраться, выяс-нить все до конца, чтоб не пахло после чертовщинкой и по-повщиной, чтобы не было усталого уныния, разочарования, страха. Но время было упущено, и вот теперь мы сурово расплачиваемся за свое ошибочное легковерие, беспечность и головокружение.

Потому что буквально уже на следующий день после того, как все якобы улеглось, поселок вдруг был оглашен страшным воплем убиваемого человека, которым оказался любитель ночных купаний т. Жестаканов. Бедняк был бли-зок к удушению, глаза его выпучились из орбит, и он лишь показывал на водный след лунного сияния, лишь повторяя «Они! Они! Там! Там!»

А будучи растерт стаканом водки, он очнулся, но упор-ствовал, говоря, что будто бы сам собой в двенадцать часов выплыл плотик на середину, и на этом плотике вдруг появи-лись два печально обнимающиеся скелета, тихонько пою-щие песню «Не надо печалиться, вся жизнь впереди». Вот так-то!

И хотя Жестаканов вскоре уже лечился у психиатра Царькова-Коломенского, это никому не помогло. Видели и слышали скелетов также проф. Бурвич, т. Козорезов, Митя-короед и его теща, слесарь Епрев и его коллега Шенюпин, Ангелина Степановна, Эдуард Иванович, Юрий Александро-вич, Эмма Николаевна, я и даже физик Лысухин, которого, как человека науки, это зрелище настолько потрясло, что он опасно запил.

Пробовали отпугивать, кричать «Кыш», стреляли из двустолки — ничего не помогало. Скелеты, правда, не всег-да были видны, но уж плотик-то точно сам-собой ездил, а вопли, пенье, жалобы, хриплые клятвы, чмокающие поце-лун и мольбы раздавались по ночам ПОСТОЯННО!

Я вам не Жестаканов какой, пускай и не был на фрон-

те, и не физик Лысухин, хоть и не имею высшего образования, я — нормальный человек, я и водки особо много не пью, так вот — В ЭТОМ Я ВАМ САМ ЛИЧНО КЛЯНУСЬ, ЧТО ЭТО Я СЛЫШАЛ СВОИМИ УШАМИ! «Милый мой! Милый мой!», а потом — хрип, да такой, что волосы дыбом встают.

А когда уже всё перепробовали — и ружья, и камни, и хлорофос, то тут и настали концы: конец нам, конец поселку, конец водоёму. Уж и дачи заколачиваются крест-накрест, уж и снуют всюду мелкие перекупщики, шурша осенним листом, плодовые деревья выкапываются, перевозятся, и нету бодрости на лицах, а есть одно усталое уныние, разочарование, страх.

Ну, а что бы вы от нас хотели? Мы не мистики какие-либо и не попы, но мы и не дураки, чтобы жить в таком месте, где трупный разврат, сверкая скелетной похотью в лунном сиянье, манит, близит, пугает и ведет людей прямо в психиатрические больницы, лишая женщин храбрости, мужчин — разума, детей — их счастливого детства и ясно-го видения перспектив жизни и труда на благо нашей громадной Родины.

Господи! Господи! Боже ты мой...

11. ВЕРА ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ

Не сказал бы, чтоб визит к другу детства, отрочества и юности оставил в моей душе какой-либо неприятный осадок. Меня даже звали еще приходиться. Меня угощали огурцами, помидорами, кальмаром, тушеной уткой, рыбой «кунжа», вином «Кавказ». Кроме того, я в значительной мере обогатил себя дополнительными сведениями о жизни.

Потому что, когда остаточным скрипом проскрипел паркет, и шелестящий шепот наконец стих, и гулко отозвались кроватиные пружины, тогда...

— Вера! Вера! Ты спишь? — осторожно высунулся из кухни Саша.

Ответа не последовало.

— Значит, спит, — удовлетворился он. И вывел туман-

но: — В её положении спать — это одно из главных преимуществ.

— Чего преимуществ? — спросил я.

— Одну минуту, — насторожился Саша. — Минутку. Ну-кай, выйди в коридор. Вот я говорю — слышно?

— Слышно.

— А вот я дверь плотно закрываю? Ну-ка, ну-ка...

— Не слышно.

— Тогда — порядок, — решил Саша. Но всё же ещё немного посуетился: прикладывал ухо к стене с накатом, изображающим васильки, выключил верхний свет, включил настольную лампу, заново наполнил граненые стаканы и —

— Понимаешь, старик, понимаешь, — начал он свистящим шепотом...

А. Э. Морозов, молодой человек в очках, тридцати пяти лет от роду, холостой, был направлен производством на две недели работать в колхоз. Чтобы помочь труженикам коллективного хозяйства колхоза «Красный маяк» деревни Сихнево в их тяжелом сельском труде хлеборобов нечерноземной полосы. Чтоб больше было зерна, мяса, птицы и овощей. Чтобы стало хорошо!

Из города ехали весело, с песнями. Разместился весь слаженный хор в здании бездействующей по случаю летнего времени школы на нарах. Снова пели, выпили в честь приезда, Шишаев с Кошкиным подрались в коридоре, а на следующее утро все дружно принялись за работу.

Первое время Саша скучал. Он сонно ходил с небольшими вилами за какой-то оранжеевской машиной, которая резала траву и хватала ее в себя, будучи прикрепленной к трактору. Машина ела траву сама, без помех, тракторист был высокий скуластый неразговорчивый парень, младше Саши лет на двадцать. Морозов и скучал. А тут еще машина — всю траву съела, и Саша попросился домой. Однако старший группы, начальник отдела Фиурин сказал, что уж если кто приехал помогать коллективному хозяйству, так пусть и помогает, и потом — что это еще за бытовые разговорчики: нету работы? Нету работы для дурака, а если ты умный человек, так и лежи себе, загорай, чернику в лесу ищи. Или какие-нибудь смешные корни для деревянного народного творчества. Получка-то идет, командировочные-то тебе выписаны для лучшей твоей помощи коллективному хозяйству? А, Сашок? Ну так а чего же тебе еще надо? Да ты просто идиот, Сашок, если отсюда

просишься. И куда? В пыльный город, к канцерогенному асфальту, к восьми тридцати за канцелярский стол, в пять сорок пять звонок звенит... Тьфу!...

— Оно и в самом деле, — вдруг успокоился Саша. — Погода стоит отменная, в лесу птички балуются, а свежий этот воздух так прямо запаковывай в консервные банки и отправляй в Японию, чтоб они его там, банки открыв, глотали, как об этом пишут в газетах, будто бы они так уже и делают.

И Морозов полюбил ходить босиком. Но вовсе не из пижонства, например, а по той лишь причине, что сильно жали новые кирзовые сапоги, купленные ему мамой в расчете на дождливость, а также от незнания нынешней трудовой атмосферы в современном сельском хозяйстве, где теперь гораздо меньше грязи и навоза, чем раньше, когда об этом только начинали мечтать великие умы и провидцы...

Питание, правда, было в колхозе организовано плоховато, чего уж тут скрывать! Морозов и присел по внезапной надобности в придорожные кусты пыльной долины, выставив сапоги на обочину. Кусали комарики. Вечерело. Мимо ехала телега с двумя пьяными мужиками. За телегой бежал дурак. Дурак тоже был босой, но не по необходимости, как Морозов, а просто по дурости, как дурак. Он стучал в густую пыль грязными пятками. Пробегая мимо одиноко сидящего в кустах Морозова, дурак, не снижая скорости, схватил морозовские сапоги и помчался дальше, обогнав телегу.

Морозов недолго сидел орлом. Полузастегнувшись, он пулей вылетел из кустов и тоже обогнал телегу, схватившись за сапоги. Дурак не выпускал сапоги. Морозов толкнул его сапогами в грудь, и дурак упал в пыль, не расставаясь с сапогами. В это время и телега подъехала. Мужики радостно глядели на эту сцену и перемигивались.

— Вы его не бейте, товарищ, — сказал первый мужик, взяв себя в задумчивости за ухо.

— Он же дурак, он все равно не понимает, товарищ, — сказал второй мужик, почесываясь.

— Сапоги украсть, это он понимает, — сказал Морозов, отобрав-таки сапоги.

— Ой, да что вы, что вы, вы и не думайте даже, товарищ, — запфукали мужики. — Он — честный. Он бы вам их всё равно потом отдал, такой уж он дурак, обязательно бы отдал. Он — честный. Походил бы с ними и отдал.

— Послушайте, вы что, меня тоже за дурака прини-

маете, товарищи? — начал было Морозов. Но крестьяне, его больше не слушая, уже сердито понукали лошадку, уже пустились вскачь крестьяне, снова догоняя дурака, который снова лупил босыми пятками, держа дорожный курс на далекую церковь без креста, большей своей частью скрывающуюся за дальней горюшкой. Наш Морозов пожал плечами и побрел обратно к насиженному месту, а вскоре...

... а вскоре и поднялся. Тщательно на сей раз застегнул свои красивые штаны, новые джинсы производства одной из братских социалистических стран. Но — солнце, солнце уже заходило, золотило изумрудную переливчатую рябь полей, золотило даже ржавые купола далекой церкви без креста, и Морозову стало грустно. Грустно глядел молодой человек на сочную вечернюю природу, где все цветы уже были опылены, на елках зрели шишки, картошка цвела беленьким, и лишь ему Морозову А. Э., тридцати пяти лет от роду, все как-то неудобно, стыдно и нету времени кому-нибудь тоже сделать что-нибудь тоже такое же приятное — кого кого-то увлечь, согреть, обрадовать. Солнце совсем скрылось за горой, золотые купола опять заржавели, и от таких грустных мыслей Морозов тихо, но сильно икнул.

И мгновенно, как в горах Ала-Тау или Памира, где, как известно, один маленький камушек вызывает грандиозный выстрел лавины, и обрушивается на беззащитный город грозная стихия, икание молодого человека вызвало тоже взрыв, но биологический, который обрушился на весь его расслабленный элегическими мыслями организм. Глаза у Морозова непонятно почему заслезились, в носу у него засвербило, он чихнул, снова икнул, потом было нечто оглушительное, и он вдруг с ужасом понял, что страшно ошибался, думая, что уже «всё», он вдруг с ужасом почувствовал, что далеко не всё благополучно у него в новых штанах...

Застонав и ругаясь сквозь плотно стиснутые зубы, побледнев, не разжимая ног, Морозов запрыгал сусликом по направлению к местному сихневскому пруду, где у барина утонула дочка.

А пруд этот весь зарос ольхой и осокой, как у Тургенева, когда тот на долгие годы уезжал во Францию слушать песни Полины Виардо и писать романы о горячо любимой родной земле, о каждом ее кустике, каждой пяди, каждой травинке, вписанной в окружающий бескрайний бездонный патриотический простор, как то нам преподава-

лось в средней школе № 10 сибирского города К. и в Политехническом институте того же города, где мы с Сашей долгие годы обучались всем наукам...

— Саша, Саша! Это вы, Саша? — вдруг услышал Саша милый женский голос. Не расслабляясь, он обернулся. Довольно далеко мелькало нечто красное и черное из одежды, и светлые волосы были, окаймлявшие неизвестное и плохоразличимое слабозрящим Морозовым лицо. Саша метнулся и снова присел среди густой травы. Женщина удивилась. Она подошла ближе и удивленно водила вокруг маленькой головкой. Теперь Саша лучше ее видел. Это была машинистка Вероника из машбюро, про которых говорят «хохотушка и заводила»: вечно она бегала по производству с широкими обувными коробками, шепталась с подружками в коридоре, там же громко просила у мужчин покурить. В автобусе именно Вероника всех сплотила, и все громко пели «Мой адрес — не дом и не улица. Мой адрес — Советский Союз». Саша перестал дышать.

— Да где же вы, Саша? Я вас видела! — еще раз неуверенно аукнулась женщина, вздохнула опечаленная и направилась к пруду, на ходу раздвигая высокие травы, снимая черз голову красную махровую майку.

А в пруду этом и на самом деле около шестидесяти лет назад потонула незамужняя дочка отставного офицера Сихнева, тогдашнего хозяина здешних мест, и колхозники с той поры упорно не хотели купаться в обезображенной воде, крестясь и приговаривая «тут место нечистое, тут барышня баринова утонули». Чем немало веселили и без того веселых горожан, неизменно в течение многих лет приезжающих к ним летом для помощи по коллективному хозяйству. И о чем горожане всегда с неизменным успехом рассказывали по возвращении в кругу друзей и подруг для иллюстрации идиотизма сельской жизни. Выпивая и закусывая...

Морозов крался. Пруд был пустынен. Пустынен еще и потому, что даже верные помощники колхоза не ходили на пруд вечером, так как вечером на пруду было совершенно темно, противно распевали лягушки, бесчинствовали комары, хлюпало, скользило под ногами вязкое илистое дно, упокоившее молодую Сихневу. Морозов и удивлялся — кой черт понес сюда Веронику в одиночестве, отчего бы ей не выбрать для прогулок какое-нибудь более комфортабельное пространство? Но тут вдруг легкое на помине ока-

залось вблизи раздетое тело. Морозов и остолбенел, так как в лунном сиянье уже наступившей луны было видно со спины, как неожиданно крупные белые пухлые вероникины груди с хлопаньем погружались в темную воду, и как бы даже всплывали в лунной ряби, когда она, перевернувшись на спину и упруго загребая сильными руками, поплыла туда, в глубь темноты. Саша понял — от собственного шума пловцу в воде нипочем не услыхать, что творится на берегу, отчего и полез, не таясь, через кусты в сторону, где, выбрав удобную бухточку, стянул сапоги, морщась и отворачиваясь снял джинсы, вывернул трусы и стал все это в бухточке тихонько мыть-полоскать. Медленно успокаиваясь, приходя в непонятно хорошее настроение, а также неизвестно зачем довольно сладко почему-то волнуясь. Воображение рисовало ему НЕЧТО. Морозов кричал и ожесточенно тер обезображенную ткань.

— Вот это да! Вот я вас и поймала! Вы что тут делаете плутишка! — услышал Саша знакомый голос за спиной. От неожиданности инженер вздрогнул и уронил в воду свои синие трусы. Трусы не поплыли по воде ввиду отсутствия течения, они медленно заизгибались в теплой воде и стремились ко дну. Саша резко обернулся.

— Вот это да! Значит, я не ошиблась, Александр Эдуардович! А вы куда пропали, почему не откликались, бессовестный? — все повторяла и повторяла Вероника, все приближаясь и приближаясь к Морозову.

Саша скрючился, скорчился, замахал руками.

— Вы... вы... не надо, — лепетал он.

Девушка в недоумении остановилась. Но потом лукаво расхохоталась видя лишь его сверкающие в лунном сиянье, как осколок бутылочного стекла на мельнице, очки.

— Ой, да я же голенькая, я же голенькая совсем! — всхлипывала она, тоже приседая на корточки.

— Дело не в этом, — буркнул Саша.

— Ну и что, что я — голая! — вдруг решительно выпрямилась машинистка. — Смотрите, смотри, Александр Эдуардович, смотри, Саша, разве я плохо сложена... на Западе, кстати, есть целые поселения интеллигентных, кстати, людей... все ходят голые, и никого это не стесняет... зачем сразу думать о чем-то дурном...

И все приближалась.

— Ну, что ты! — снова растерялся Саша. И вскочил, прикрывшись ладошкой.

— Да вы, оказывается, стираетесь? — ну просто заливалась смехом девушка. — А я вам помогу, у меня лучше получится.

И она наклонилась, было, над кучей сашиной одежды, но он схватил ее за руку, рванул на себя, и они оба, задыхаясь и хохоча, упали в мелкую теплую воду. Тут же вскоре между ними всё и произошло, прямо там же, в теплой воде, на илистом мелководе и случилось между ними то, что, по-видимому, и должно было между ними неизбежно случиться...

Потом они снова разошлись в разные стороны. Вероника, мощно оттолкнувшись, снова уплыла в глубь пруда. Она плескалась, и пела, и брызгалась. А Саша быстро все свое прополоскал, выкрутил, помахал в воздухе штанами и надел их прямо на голое тело.

— Я иду, — сказал он.

— погоди, я с тобой, я — мигом, — быстро отозвалась она. Ловко выкарабкалась на берег, и они пошли. Трусы Морозова так и остались ночевать на илистом дне.

— Ты дрожишь, ты весь мокрый, ты зачем, чудак, брюки-то намочил? Давай я тебя погрею, — сказала она.

Они лежали подле друг друга, зарывшись в нагретое сено, и смотрели на звезды.

— Ты — смешной. Я тебя давно заметила. Ты какой-то всё время грустный. Все поют, а ты молчишь. Наши в волейбол играют, а ты в лес ушел...

Саша молчал.

— Ты почему молчишь? — нежно коснулась она.

— Я всех ненавижу, — сказал Саша.

— Ну, разве можно всех ненавидеть, — укорила девушка. — Впрочем, ты, наверное, шутишь, — сообразила она.

И они замолчали.

— Скажи, ты веришь в Бога? — вдруг спросила Вероника.

— Какого еще Бога? — Саша, изумившись приподнялся на локте. Она, оказывается, глядела на него вполне серьезно.

— А я верю, — просто сказала она. — Я верю, что это Бог свел нас сегодня. Я тебя увидела за телегой и отчего-то дивно радостно стало мне на душе, и я, как девчонка, побежала, побежала, побежала. Ты не думай! — вспыхнула она. — Я ведь вовсе не такая наглая, как это может показаться. Я — просто, я... я тебя сильно захотела, — потупилась она.

— Я тебя люблю, и я просто не могла иначе. Все кругом такие равнодушные, жестокие, я бы с ними так не могла. Я сначала не хотела, но в последний миг... ты понимаешь?... в последний миг я вдруг поняла, что люблю тебя. А ведь странно, скажи — странно? Я столько раз видела тебя: ты брал пирожки в буфете, покупал печеночную колбасу, а я и не догадывалась, что люблю тебя. Мы были всей лабораторией, фильм «Большие гонки», помнишь, там играл Ив Монтан, а я не понимала, что уже люблю тебя. Или на субботнике — я тебе грузила лопатой в тачку, и мы с тобой ни о чем не знали, не ведали, что с нами будет. А теперь я вижу, что люблю тебя, и я верю в Бога, потому что Бог дал мне мою любовь и дал мне тебя. А ты меня любишь?

Саша молчал.

— Молчун! — вскрикнула девушка. — Но — не спеши, не спеши признаваться. И главное — не верь тому плохому, что обо мне говорят. Да, у меня был муж, совершенно спившийся грубый человек. Они тоже с друзьями все время рассуждали про Бога, они пили, они жрали, а я им посуду мой, дурочку себе нашли!... А я не дурочка, и ты — не спеши. Не нарушь этого... волшебного. Мы ведь только встретились, и у нас будет впереди очень много этого... волшебного. Я доверилась тебе и я верю, что ты не обманешь меня. О, не обмани меня, не обмани, милый! О, я не выдержу тогда, я наложу на себя руки, и пусть никто ничего никогда не узнает. Так поклянись же перед Богом, перед этими звездами, что любишь меня.

— Вера, ну зачем же я буду клясться, — смущенно сказал Саша, лезя к ней рукой.

— Нет, сначала поклянись, а то — всё, тогда — всё — больше — ничего, — отпихивала она руку.

— Ну, клянусь, — сказал Саша.

— Нет, ты скажи «клянусь Богом», — настаивала она.

— Богом?

— Богом.

— Богом? — пробормотал Саша и вдруг обозлился: — А не пошла бы ты на....!

— Куда? — не поняла девушка.

— В! — уточнил Саша.

Девушка дико посмотрела на любимого и вдруг смачно плюнула ему в харю. Саша, подумав, тоже решил на нее плюнуть и сделал это. Вероника вскочила, заорала, задергалась...

— Так-таки вы и расплевались! — хохотал я.

— Тише ты, тише! Зачем так громко! — цыкнул Саша. Он, крадучись, вышел в коридор, но возвратился очень довольный.

— Вроде бы спит, — сказал он. — Намолилась и спит.

— Она что, и на самом деле верующая? — сильно удивился я. — Немедленно расскажи мне об этом, я хочу обогатить себя дополнительными сведения о жизни.

— Видать, верующая, — потупился Саша.

— Стой, стой, друг, так, может быть, и ты верующий?

Саша подошел к черному окну.

— Не стану врать, — сказал он окну. — Не стану врать, я — верую. Но не в ее дурацком смысле этого слова. Не стану даже врать, что я ее люблю, я этого врать не стану. Вполне возможно, что я ее не люблю, но, но...

Саша круто развернулся.

— Но — ребенок. Понимаешь, жениться, я, конечно, не хотел. Но, понимаешь, я вдруг с пронзительной ясностью ощутил, что ребенок от Веры — это совсем другое, чем сама Вера. Понимаешь, даже если и не Вера, не от Веры, вообще, понимаешь, с ребенком я не один в этом мире, потому что с ребенком я ПРОДОЛЖАЮСЬ! Я, я, и пускай это не звучит для тебя кощунством, я с наслаждением жду ребенка. Я, друг, подозреваю, что это, вот уж это-то — высший кайф. Тебе этого, конечно, не понять. Но, понимаешь, это же — блаженство. Я Морозов А. Э., мне тридцать шесть, и я вдруг оказываюсь еще в одном измерении. Я и сам снова ребенок, и весь мир ребенок, и я никогда не умру. Понимаешь, если у меня будет сын, толстенький, головатенький, щекастый, рот до ушей — да я любому за него глотку пережду, только чтобы моему малому было хорошо. Понимаешь? Ведь ты-то меня понимаешь? Ты ДОЛЖЕН, ДОЛЖЕН меня понять. Я ни за что не поверю, чтоб ты меня не понял. Ты должен меня понять. Ведь есть же и у тебя хоть что-то святое? Есть или нет?

Но я, к сожалению, не успел Саше сказать, что у меня есть святое. Потому что в кухонных стеклянных дверях, в табачной полумгле появилась, наконец, округлая фигура.

— Дашь ты мне когда-нибудь отдохнуть, свинья! — взвизгнула фигура. — Только соберусь заснуть, а они снова — бубубу-бубубу-бубубу...

— Я тебе дам отдохнуть, я тебе дам свинью, — недобро напрягся Саша.

Женщина открыла рот и хотела, по-видимому, заорать, завывать, задержаться, но я, мгновенно среагировав, шустро выбрался из-за стола.

— Тихо, тихо, товарищи, — запел я. — Действительно, время позднее, по домам пора, так что ты, Сашок, тут не прав. Но и вы, Вера, тоже — зря на него. Это я, скорей, виноват, — юлил я. — Уж вы на него не сердитесь, Верочка, мы с ним так давно не виделись... Вы обещаете, что не будете на меня сердиться? Ладно!

Саша сопел, а Вероника тогда улыбнулась сквозь будущие слезы и махнула рукой в знак того, что не будет. Так что не сказал бы я, что визит к другу детства, отрочества и юности оставил в моей душе какой-то неприятный осадок. Напротив, я в значительной мере обогатил себя дополнительными сведениями о жизни, Вера даже приглашала меня приходиться еще, «но только не так поздно».

А что? Она, по-своему, права, эта в общем-то вполне нормальная женщина. И я искренне рад за Сашка. Пожалуй даже, что ему и повезло — далеко не всякому удастся так легко и безболезненно войти в их круг. А это рано или поздно каждому делать приходится, каждому, вы меня слышите, каждому, запомните — каждому...

12. ГОРЫ

Один тихий человек ходил вечером харчиться на угол Засухина и Семенюты в «Шашлычную», которая, право, не заслуживала такого высокого названия, а должна была прямо и честно именоваться «шалман». Ибо вечно там крутились бичи, мелкие торговцы с базара, стилиаги, спившиеся рабочие и другие гнусные личности, которых никак невозможно будет нам взять с собой в то грядущее светлое будущее, которое уже не за горами.

Да и — сам ассортимент, качество пищи в этом мерзком заведении оставляли желать много лучшего. Естественно, что никаких шашлыков здесь и в помине не было, а подавались одни лишь тусклые щи из квашеной капусты

да какой-нибудь очередной «хек», преступно жареный в неизвестном механическом жиру. Отчего дух невыносимого зловония окутывал не только собственно пищевой узел, но и всю примыкающую окрестность, состоящую из деревянных и шлакозасыпных домиков пригорода большого города. Странно, что районная санэпидслужба до сих пор не зачеркнула этот гнусный рассадник крепкими досками крест-накрест! Удивительно, и свидетельствует о наличии определенных упущений и в этой службе.

А наш тихий человек по фамилии Омикин был отнюдь не какой там искатель развлечений, не спекулянт, не алкоголик, а просто — тихий российский человек, оставленный женою за робость, и ленившийся в восьмом часу вечера искать какое-нибудь специфичней подходящее для культурной пищи место. Да тем более (не станем скрывать!), тем более, что и доходы пока не позволяли ему, заняв приличный столик в шикарном ресторанчике, потреблять что-либо сильней калорийное и умеренней вкусное. Доходы... Возможно, еще и по этой материальной причине бросила Омикина красавица-жена.

Случилось всё так. Они ехали с женой из центра в переполненном автобусе на передней площадке, где вдруг начал тихо бесчинствовать средних лет юноша-хулиган, опившийся, по-видимому, водкой или обкурившийся папиросной анашой. Он, небритый и патлатый, сначала как бы и дремал, притиснутый к дверке, а потом очнулся и, обнаружив красавицу Омикину, громко сказал:

— Ах, девушка! Поэзия, звезды, знаете ли вы, что это такое?

Подобное высказывание неприятно поразило тихого Омикина, и он сдержанно обратился к жене, напоминая ей, что завтра настает 19-е число, то есть тот именно день, когда надлежит забрать из прачечной их семейное белье: простыни, трусы, наволочку. Хулиган захохотал нарочитым смехом, а жена Омикина, преисполнившись непонятого гнева, стала как бы отделяться от мужа и отделилась окончательно на остановке, где, когда они вышли, она заявила ему так:

— Я не хочу жить с мужчиной, который не может меня защитить, как женщину, от первого распоясавшегося хулигана.

Омикин муж робко заявил, что хулиган не совсем распоясался и, может быть, это даже был вовсе и не хулиган,

а какой-нибудь молодой непризнанный поэт или изобретатель, на что жена презрительно и длинно расхохоталась.

— Трус! Тряпка! — бросила женщина, отхохотавшись, И вскоре от Омикина совсем ушла. Бесповоротно, как следовало бы понять Омикину. Потому что новый ее муж, бывший вдовец — подтянутый, общительный, бравый — служил в каких-то военных частях, имел дачу и трехкомнатную квартиру, постоянно уезжал в длинные командировки. Да и кто ж это от такого замечательного мужа возвратится к старому, пускай и некогда любимому, к бывшему, который — рохля, живет в деревянном обветшалом домике, что все сносят, сносят и снести никак не могут, богатств не имеет и иметь их никогда не будет, потому как — не суждено, энергия не та! Кто ж возвратится к такому мужу! Ясно, что полная лишь идиотка, а ею Омикина-жена отнюдь не была.

Она и за Омикина-то вышла в свое время с прикидом. Поразила ее на фоне всеобщего безудержного хулиганства и лихости странная его мягкость. Он на все еще случаемые в нашей не совсем совершенной жизни обиды и недоразумения отвечал безоружной улыбкой и мягкостью жестов. А уж когда его особенно припекали, лишь тогда он бормотал:

— Вы знаете, это нехорошо так делать, так нельзя делать, совестно так делать.

И к Омикиной-жене, а тогда невесте с девичьей фамилией Миляева, он не лез грубо и требовательно, а по-старомодному долго за ней ухаживал, водил в планетарий, показывать различные планеты и лишь когда-то уже страшно потом сказал ей, глядя в порог общежития:

— Вы знаете, Люся, мне кажется, что я вас люблю. Не согласитесь ли вы стать моей женой?

Так и сказал: «Я ВАС ЛЮБЛЮ, НЕ СОГЛАСИТЕСЬ ЛИ ВЫ СТАТЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ?»! Чудак! Люся сначала хотела рассмеяться и решительно ему что-либо остроумное сказать, но потом глянула в его взволнованное, как бы затуманенное лицо, и что-то смеяться ей расхотелось. Она вдруг подумала, что есть, конечно, у ней и другие, ярче блестящие кавалеры, есть, да все какие-то они... шибко умные. Этот, по крайней мере, хоть водку литрами жрать не будет, брюки не станет трепать по чужим подъездам. Да и самой обрыдло по общежитиям толкаться. Тем более, что и распределение в вечернем техникуме легкой промышленности на носу...

— Я не настаиваю, конечно, на спешном ответе, — несколько скрипуче продолжал он, услышав ее молчание. — Но ведь мы уже немного знаем друг друга. Люсенька. Так что вы, по-моему, уже в состоянии понять серьезность моих намерений.

Ну, она и согласилась вскоре. Тайно очень надеялась на свой решительный характер. «Это хорошо, что ОН такой, — даже радостно думала она. — Я им буду руководить, он вежливый, я им буду руководить, и мы ИМ покажем!»

Но ничего они никаким ИМ не показали. Да и как киселем руководить? Утекает сквозь пальцы. Омикин по-прежнему ровно служил в экономической лаборатории с окладом 110 рублей, старый дом по-прежнему не сносили, и Люся Миляева-Омикина, дипломированный специалист, стала сильно скучать на досуге. Когда Омикин сидит в мягких тапочках у телевизора и читает какую-нибудь скучную толстую книгу, а она, перемыв посуду от ужина в воде, кипяченой на электроплитке, лениво пялится в тот же телевизор, изредка окликаемая Омикиным:

— Ну что, мышонок, спатиньки хочешь?

— Хочу, — зачем-то грубо отвечала она.

— Ой, а что ж ты мне не скажешь, — пугался Омикин. — Ну ты тогда стели, стели, а я на кухню пойду, еще почи-таю маленько.

Вот. И, помаявшись определенное время, наслушавшись «спатиньки» и «мышонка», Люся вышеописанным образом взбунтовалась и Омикина окончательно бросила.

Что же Омикин? Его это событие, конечно, жутко потрясло. Он даже беспомощно и по-детски заплакал, когда она ему о своем решении сообщила и заставила поверить.

— Но ведь это нехорошо так делать, Люсенька, разве я тебя чем обидел? — всхлипывал он.

— Ах, отстань, я сама всё знаю, — досадовала она, укладывая в громадный серый чемодан искусственной кожи все эти свои различные флаконы, баночки, тюбики, кофты, рубашки.

— Разве я был тебе плохим мужем? — недоумевал он.

— Ах, да оставь ты! Зачем сто раз мусолить, когда всё уже решено, — сдвинув модные, узко выбритые брови, торопилась она.

— Наверное, это я виноват, наверное, я и на самом деле мало уделял тебе внимания, — повторял он.

Ну как с таким говорить? Сказать, что — никто, что

все её подруги так не живут? Купил ты ей хоть раз арабские духи, или колечко золотое, или — в Сочи, в Ялту возил? Денег нет? Так не обязательно воровать, зарабатывай, если воровать не умеешь, вместо того, чтобы книжки бесцельные читать или просто торчать в кресле с глупейшим, следует заметить, выражением лица.

— О чем ты сейчас думаешь? — как-то спросила она.

— А? — очнулся он.

— Я спрашиваю, о чем это ты мечтаешь с блажененькой такой физиономией?

— Я? Да. Ты угадала. Я мечтаю, — улыбаясь сказал он. — Ты знаешь, я думаю о нас с тобой и о том новом светлом времени, которое уже не за горами. И ты знаешь, пускай это вроде бы шаблон, расхожая фраза «не за горами», но мне, знаешь, мне конкретно чудятся эти горы, эти каким-то волшебным чистым мелким лесом покрытые, изумрудные горы, за которыми — тихое светлое будущее, где нет шума, ругани, толкотни, где нет зависти и нет грязи. Где дома крыты красной черепицей, а дорожки посыпаны желтым песком. Где веранды светятся теплым светом, и где мы с тобой будем ходить, взявшись за руки — вечно юные, вечно счастливые, вечно нежные. Будем гладить тихие цветы, слушать красивую музыку и звон кедровых шишек, будем купаться в синем-синем озере.

— Так и что ты делаешь для этого нашего с тобой светлого будущего? — трясась от злобы, спросила она.

— Почему нашего? — удивился он. — Это — для всех. Это — объективный процесс. А я лишь честно нахожусь на своем месте, честно работаю, стараюсь и в быту быть честным.

— И много ты за свою честность получаешь? — уже не владела она собой.

— А нам разве не хватает? — улыбался он. — Сытые, одетые, обутые.

И казалось, совсем не замечал ее гнева. А может, и в самом деле не замечал.

Ну вот она его и бросила. Да кто ж такого дурака не бросит? А? Ответьте женщине, если у вас есть мужество.

Вот она и бросила. А Омикин сначала сильно затосковал. Он даже выпил однажды сто грамм водки, но она ему не понравилась. Он горевал недоуменно, чтение на время забросил, и телевизор у него на время потух. Он теперь сидел

вечерами молчаливый и один, и всё перебирал — чем мог обидеть, чем не угодить.

— Мало, мало внимания уделял, — морщась, говорил он сам себе. — За книгами не разглядел живого человека.

Но как-то постепенно успокоился. Ревности он никогда не испытывал. Незвестный военный был для него фигурой мифической. Он и в мыслях представить не мог, чтобы Люся вот так же раздевалась, всё с себя снимала и ложилась рядом с чужим человеком. Это было бы чудовищно и нелепо. Он не знал этого. И постепенно у него как-то в мыслях сложилось, что все случившееся произошло понарошке, временно. А то как же иначе? С кем тогда будет он там, за горами, гулять по счастливым рощам, встречать восход, провожать закат? И постепенно сгладилась горечь, и постепенно жизнь снова возвратилась в нормальную колею.

По-прежнему мягкий и исполнительный сидел он на работе, раз в месяц ездил на могилку к родителям, похороненным за городом на дальнем кладбище Бадалык. И читал, всё читал и читал свои мудреные книги, которые не может же быть, что именно они и погубили его, низведя до положения тишайшего. Не может быть! Ведь и другие люди книги читают, а вы посмотрите — какие шустрые! На ходу не то, что подметку срежут — пятку оторвут!

И — харчился в «Шашлычной». А вот это он, пожалуй, ошибочно делал. Тут есть его в чем упрекнуть. Надо было или бороться с неправильной «Шашлычной» путем жалоб, либо все-таки преодолеть свою лень и посещать места более приличные, не так уж это и дорого, если не шиковать. И в конце-концов, коли сам варить не умеешь, то брал бы хоть из ресторана на дом, что ли, разом на три дня. Знаете, как это удобно — достал кастрюлю из холодильника, разогрел на плитке и вечно сыт.

А он в «Шашлычную» ходил. Ходил, ходил и доходился вот до какого жуткого случая.

Как всегда была набита вечерняя «Шашлычная» разудалыми алкашами. Омикин просмотрел на стенке меню, увидел все привычное, выбил чек в кассе, аккуратно счел сдачу и вот он уже в поисках свободного места.

А место — где его найдешь, место? Там, под пальмой — частную водку распивают, тут — один мордой спит в столе, эти вон затеяли азартную игру в спичечный коробок: нигде нету свободного места для Омикина.

И вынужден он был поставить свой поднос с пищей на

свободный край столика двух крепко выпивших молодых людей хиппического облика, которые таинственно что-то друг другу сообщали, имея близ ног плоские черные портфели «дипломат», ставшие ныне первым и явным признаком тайного торговца товарами повышенного спроса.

— У вас не занято, молодые люди? — на всякий случай спросил Омикин.

Но они не заметили его вопроса. Они куда-то загадочно сговаривались еще идти, поэтому Омикин, разгрузив пищу, поднос унёс на стол для использованных подносов, а по дороге прихватил заодно в буфете бутылочку минеральной воды «Боржоми». Что сделать стало довольно легко, потому что буфетчица уже продала к тому времени всю свою дневную норму дешевой красной «россыпухи», и на зеркальных полках стоял лишь один французский коньяк, вокруг которого, как мотыльки, кружились обожженные ценой пьяницы.

Омикин выпил стакан вкусной воды и споро принялся за ужин, стараясь посылно не вслушиваться в приватный разговор худых представителей подросткового поколения, потому что разговор они вели отменно гнусный.

Один молодой человек был пошустрее и всё больше склался, а второй, такой на вид слегка туповатый, наоборот, всё больше в беседе хмурился, его надо было уговаривать.

— А вот мы щас как туда зарулим, сынок! — лукаво говорил разбитной молодой человек. — К-а-ак зарулим, да к-а-ак закайфуем!

— Ну, да, замучаешься кайф ловить, — уныло отозвался собеседник. — Пласты не сдали сёдни...

— Дак, а завтра сдадим! В натуре! Чтоб я с Дровяного за «Битлов», «Клуб сержанта «Пэйпера», полтиник не слупил? Плохо ты меня знаешь, парень!

— Знать-то знаю, а капусты нету, дак и чо шевелиться? Я — джентльмен, а не кусочник-побирушка, ёлка!

— Да ты что? — изумился разбитной. — Ты что, Вальку-Щеку не знаешь? Да чтоб Валька мне пузырь, если при капусте, не поставила? Ну, я торччу, я торччу! Щека! Знаешь, как Щека берет? — блудливо озираясь, зашептал молодой человек.

— Гадость какая, — брезгливо подумал Омикин. — Нет, что-то все-таки нужно делать с нашей молодежью. «Пласты», «Капуста» — ведь за этой внешней развинченностью

и содержаньице гнилое кроется, что-то нужно делать, определенно что-то нужно делать.

— Ах, как берет-то! — ликуя, вскричал молодой человек. — Эх, и бабенка, даром, что с сорок второго года!

— А она кто? — спросил тупой молодой человек.

— Да черт её знает, кто. Муж у ней навроде есть, старый такой, навроде пахана. Вечно по командировкам шустрит.

— Подруга есть? — прямо спросил хмурый.

— Господи, гадость какая, — опять подумал Омикин и залпом выпил оставшийся «Боржом».

— Да она там целую борделью развела, — всё более возбуждался молодой человек. — Я их прошлый раз фотал. Хошь, покажу? Называется — одна графическая картина.

И он трясущимися руками полез в «дипломат» и вытащил оттуда черный конверт.

— Во, дают! — изумился его собеседник. — Ну, дают, барухи!

А одна фотография и выпала из конверта. Она упала слева от Омикина, так что он невольно углядел ее краешком глаза.

И — умер! Заснувшая, пьяная, совершенно голая валялась ОНА на растерзанной постели, омерзительно вывернув ноги.

— Господи! — простонал Омикин, потянувшись к фотографии.

Но молодой человек его опередил. Неуловимо ловким движением он выхватил из-под ладони Омикина фотографию и заговорил грубо:

— А ну, отвали, козёл, старая плешь! Тебя тут просят? Отвали, к тебе не лезут и ты сиди, падла, кушай, пережевывай пиццу!

— Врежь ему по кумполу, — посоветовал хмурый молодой человек.

— Люся, это ж Люся, моя жена! — стонал Омикин.

— Или давай я врежу, — сказал хмурый.

Но главный молодой человек остановил рукоприкладство, потому что он опять повеселел.

— Да ты чо болтаешь, отец? Ты что? Ну, на, на — посмотри, если хочца, если уж так хочца, — подмигнул он напарнику.

Омикин трясущимися пальцами взял фотографию. И

точно — мерзкая эта, прежняя картина осталась, мерзкая эта женщина по-прежнему лежала, но это была совсем не Люся.

— Это ж сама Щека и есть! — сияя сказал молодой человек. — Ну, отец, видать, перетрухал, что накрылся твой семейный очаг, с тебя причитается, — обратился он к Омикину.

А тот внезапно ослабел, сел на негнувшихся ногах, набрал побольше воздуха, и вдруг его неудержимо вырвало. То ли «Боржом» свою роль сыграл, то ли качество пищи в «Шашлычной» окончательно свелось к нулю, но его неудержимо хлестнуло: прямо на эти мерзкие тарелки, на этот заплеванный стол.

— Эй, ты чо, ты чо? — попятились молодые люди.

А он икал, его трясло, выворачивало, закружило, он даже испустил от напряжения резкий неприличный звук.

— Выкиньте ж его кто-нибудь отсюда, вонючку! — крикнул какой-то посторонний пьяница.

— Да он вроде непьющий, — сказала буфетчица.

— Пьющий, не пьющий, а чо вонять? — резонно заявил пьяница.

— Да он, может, больной, — заступилась буфетчица.
— Вам плохо, товарищ?

Омикин поднял помутневшие глаза.

— Не надо меня выкидывать, я сам уйду, — забормотал он. — Не надо, я сам.

И поднялся, но вдруг дико вытянулся и закричал:

— Я уйду, а вы оставайтесь, так и так вашу мать!

Пьяницы засмеялись.

— Ну, а ты говорила, что непьющий.

— Да уж и не знаю, — засомневалась буфетчица.

Но Омикин уже ослаб, он шатался, вытирая крупный пот грязненьким платком.

— Извините, я знаю, что это нехорошо так делать, совестно так делать, нельзя так делать, извините...

— Идите, идите отсюда подобру-поздорову, а то милицию вызову, — ласково сказала буфетчица.

Но Омикин уже не слышал её. Он согнулся, присел, качнулся и медленно повалился на правый бок.

И — умер. В этот раз навсегда.

13. ГОЛУБАЯ ФЛЕЙТА

Как-то раз судьба забросила меня на станцию С. Восточно-Сибирской железной дороги по трассе Абакан-Тайшет. Электричка моя уже ушла на Красноярск, и я понял, что мне придется одному коротать эти томительные ночные часы до утреннего автобуса.

Со скуки я огляделся. Станция, как станция. Деревянные жесткие скамейки, пышный фикус, бачок с кипяченой водой, и щербатая кружка на толстой цепи, и жестяная мусорная урна, и — КАРТИНА!!! Я вдруг увидел КАРТИНУ!!! Громаднейших размеров, писанная маслом, она занимала почти всю главную стену зальчика ожидания. Тесня прочую наглядную агитацию, состоящую из цифр, лозунгов, призывов, обещаний и рукописной газеты «Брюшной тиф».

И там, на этой волшебной картине, исполнила вдохновенная рука художника, что где-то там вдали, близ изумрудных гор пасутся веселые пестрые коровы, в лазурном небе пролетает радостный самолет, а на центральной, выходящей прямо на зрителя, чистой поляне нежно расположились среди высоких трав, венки сплетая, ОН и ОНА, возраста Дафниса и Хлои, но одетые.

ОН, имея алую рубашку, мечтательно следит большими глазами за уверенным полетом самолета, а она в красном сарафане играет ему на голубой флейте какую-то неведомую журчащую песнь. Внизу подпись белым — «Приходи, сказка!»

— Да кто ж это написал такую замечательную картину? — невольно воскликнул я.

— А что? Нравится? — раздался встречный вопрос с такой же скамейки напротив, где сидел средних лет человек, одетый во всё черное, в черной кепке и с подвязанной небритой щекой.

— Нравится, — искренне сказал я. — А кто ее нарисовал?

— А ее нарисовал Митя Пырсигов, — сказал этот человек, которого, как потом выяснилось, звали Виктор Парфентьевич, слесарь мехмастерских. — Он дал обет и вот он нарисовал эту картину, а сам уехал на БАМ.

— Обет? — спросил я.

— Обет, — сказал Виктор Парфентьевич.

— А сам уехал на БАМ?

— На БАМ вместе с женой, — подтвердил Виктор Парфентьевич, вновь ухватившись за ноющую щеку.

— Вам, может быть, водочка поможет, — сказал я. — У меня тут есть немного.

— А, давай, может в самом деле утихнет, проклятая, — сразу же согласился Виктор Парфентьевич.

Мы выпили из щербатой кружки, аккуратно занюхали выпитое корочкой, и он начал свой рассказ.

— Вот ж ты, ё-моё, и правда утишился этот проклятый зуб. Надо же — никогда не болело в жизни, а тут началось. И всё оттого, что проклятый зуботехник Сережа Малорубко мне неправильную пломбу поставил, совсем спился проклятый зуботехник Сережа Малорубко, а ведь был неплохой молодой специалист. Ну да водочка с девками кого угодно деквалифицируют, хоть и самого блестящего спеца...

Вот. Ну, а я тебе и говорю, что когда во Дворце Бракосочетаний нашего города К. проходило сочетание известной пары рабочих, то никто тогда еще не знал, чем дело кончится, чем сердце успокоится. И даже наоборот — многие считали, что всё выйдет очень складно, и уж разумеется никто и не подозревал, что Мите придется потом ехать в Ленинград, обет давать и так далее.

Потому что оба они, и Митя Пырников и Маша Хареглазова, были крайне во всех отношениях приятной парочкой для той комсомольской свадьбы. Обоим имели не только высокий рост, румянец и красоту, но обладали также и другими статями — добились высоких производственных показателей, активно участвовали в общественной жизни предприятия.

Наш-то землячок Митя, он еще в ГПТУ сильно выделялся среди остальной прочей буйной ватаги фэзэушников относительной кротостью нрава и прилежанием. О чём его ныне покойной матушке писал сам зам. по воспитательной работе этого ФЗУ. Ну, например, Митя никогда не фигурировал в драках заборными досками с блатными качинскими мужиками, которые эти мужики сильно имели претензии к будущему рабочему классу за гуляния, обжимания и прочие хорошие дела среди прибрежных качинских кустов. С их, мужиков, женами, подростками дочерьми и просто девками. Все остальные участвовали, а Пырников не участвовал, потому что он и в обжиманиях не участвовал, и в гуляниях и прочих делах. Он вечером, вместо раз-

буженной плоти, рисовал что-нибудь красочками на картоне в кружке художественной самодеятельности или сидел тихонько в библиотеке, изучая труды профессора Патона по сварочному делу.

Там в библиотеке и состоялась эта юная встреча Мити Пырсикова и Маши Хареглазовой, тоже читающей девушки роман писателя Дюма «Королева Марго». С пушистыми косами и пятнадцати лет от роду, она тоже тихонько листала страницы до закрытия в десять. После чего и отправлялась домой в дом, который называется «ОБЩЕЖИТИЕ. ЖЕНСКИЙ ВХОД». И там тихонько засыпала в чистенькой постельке, где на стенах фотографии актеров и голуби целуются. Засыпала, ничуть не волнуясь волнениями своих тоже очень лихих подруг. А когда те её напрямик спрашивали: «Ну а ты-то что?», то она прямо и без смущения им улыбалась, открывая пухлые губы, и говорила: «Да я — ничего. Я об таких глупостях не думаю...» Кроме того, она сильно своей фамилии стеснялась.

Ну, у Мити, надо сказать, фамилия тоже не генеральская. Он, когда они познакомились, долгонько ей эту фамилию не мог выговорить, а когда наконец решился, то она ему и преподносит: «Я её давно знаю, мне твоя фамилия нравится».

Провожал. Он ее провожал до дому, и там они долго стояли у «ЖЕНСКОГО ВХОДА», косясь на мимопроходящих — Маша Хареглазова, вся опущенная ночными снежинками, и предупредительный Митя Пырсиков. Стояли, а потом расходились по своим входам. Там, к слову сказать, так было устроено, чтобы РАЗНОПОЛЫЕ, упаси Бог, не оказались вместе. Для чего и существовали «женский вход», «мужской вход». А в двенадцать ночи их тот и другой запирали. Так что, кто если шатался, то потом лез в окно, и то окно было всю дорогу разбитое.

Мимопроходящие, подружки-товарищи, горели от любопытства узнать, что это там шепчет Митя своей Маше. И пытали на этот счет Машу и Митю, не веря их правдивым ответам. А он ей и взаправду ничего такого особенного не говорил. Он ей обычно рассказывал что-нибудь из трудов профессора Патона или какие-нибудь смешные случаи из жизни талантливой руководителя изокружка художника Петра Ильича Салтыкова. Маша слушала и смеялась.

Ну и понятно, что случилось дальше. А дальше, оба они, закончив училище отличниками, были направлены на один

и тот же громадный орденосный завод, славящийся производством важного алюминия для нужд нашей страны и заграничной промышленности. На один и тот же завод, но в разные бригады.

И там оба они, благодаря своему трудолюбию, скоро выдвинулись и были оба назначены бригадирами этих смежных бригад, конкурируя с переменным успехом в социалистическом соревновании.

Много там было полезного и важного. Были, конечно, и деловые контакты, и обмен передовым опытом, и развернутое красное знамя часто делилось между этими бригадами, пока чья-то светлая голова не додумалась до такой умной идеи.

Эта светлая голова вызвала Митю к себе в кабинет и там, покалякав с ним о том — о сем, вдруг напрямик рубанула:

— А что, парень, однако и жениться тебе пора?

— Да я как-то об этом пока не думал, — засмутился Митя. — Рановато, однако. Я еще армию не отслужил.

— А это ничего. Как говорится — не плачь, девчонка, пройдут дожди, — засмеялся высокий товарищ. — Ну а невеста-то есть на примете?

— Да есть, — сглотнул слюну Митя. — Только я не знаю, как она. Мы с ней на эту тему не говорили.

— А ты возьми да поговори. А хочешь, и я ей за тебя словечко замолвлю, сватком, так сказать. А? — всё улыбался и улыбался товарищ.

Ну после чего и поехала телега неуклонно к финальному старту, то есть к комсомольской свадьбе двух передовых бригадиров. Свадьбе с привлеченными корреспондентами и щедрыми подарками, как материальными, так и символическими, состоящими из торжественных обещаний коллективов обеих бригад еще больше повысить производительность труда и добиться других успехов на благо пятилетки. В общем, хороший вышел новый обряд.

И вот уж — всё! Уж отговорены были все речи, и плакал старый ветеран дядя Федос, и духовые оркестры гремели, и танец летка-енька в исполнении красивых рабочих был заснят на кинолентку, после чего молодые Пырсиковы поселились, наконец, в предложенной им заводом прекрасной однокомнатной квартире Дома Нового Быта. Квартире, имеющей комнату 24 кв. м., кухню — 18 кв. м., электропечь, сушильню, алюминиевые шкафчики для посуды,

встроенные стенные шкафы, прихожую-коридор 11,2 кв. м. и это, если не считать глубокой лоджии! Так что сами посудите, что это означает, что означало для двух молодых людей, которые всю свою сознательную жизнь мыкались по общежитиям или снимали всякие там углы на Каче и в Николаевке...

...О, дорогой друг, дорогой ироничный друг-читатель. Прости за отступление, но я так и вижу, что...

— Так, — усмехнешься ты. — Далее всё понятно, голубчик. Далее вы вместе с этим твоим «Виктором Парфентьевичем» угостите меня хлестким фельетоном на тему, как всё это искусственно организованное счастье лопнуло к чертовой бабушке, и высыпались из него слезы, склока, раздел квартиры, о чем мы иногда имеем возможность прочесть в тех разделах газеты «Комсомольская правда», где бичуется формализм, обезличка и бездушные комсомольской работы с живыми душами. Так, да?

— Нет, не так, — отвечу я.

— Ага! — догадаешься ты. — Тогда дело еще кислей. Да неужто ты и в самом деле собрался вернуть мне этот самый бородатый, тупой, мерзопакостный анекдот, что-де вызывает его начальство по жалобе жены и велит, чтоб он МОГ. Да?

— Эх, если бы это, дорогой друг. Тогда всё было бы гораздо проще, — вздохну я. И продолжу печально, потому что тут начинается самое главное...

Потому что на самом деле — что? Потому что и на самом деле — они весело въехали в чудную свою квартиру, и сначала стали очень весело жить, постепенно отходя от шума и литавр свадьбы, привыкая медленно к новоступенчатой обстановке. И не помышляя сначала в суете и работе ни о каких таких глупостях, кроме безвинных поцелуев, трепетных касаний, нежных поглаживаний.

Но всё ж в один прекрасный момент вдруг взяла да и наступила та решительная минута, когда вся подаренная мебель уже была расставлена по нужным местам, и телевизор по случаю ночи уже прекратился, показав хорошую погоду на завтра, и Маша уже прибирала себя на ночь в ванной комнате: расплетала и заплетала тяжелую косу, снимала и надевала всё это свое — нежненькое, тоненькое, розовое. Так что когда она из ванной вышла, то Митю вне-

запно вдруг это так ожгнуло, и он эдак к ней так по-о-тянулся, что она даже отступила, испуганная.

— Ты что, Митя? — спросила она.

— Милая, — проглотил комок Митя.

— Давай спать, — сказала она.

— Давай... скорее, — сказал Митя.

Ну а потом, когда всё кончилось в темноте, и он, ослабленный, гладил ее в темноте и касался шелковой кожи жаркими губами, она вдруг беспокойно завопилась.

— Ты что? — шепнул Митя.

— Я, я сейчас.

Она высвободилась из постели и, уже включая на кухне свет, уже из кухни сказала виноватым голосом:

— Я тебе рубашку забыла погладить.

— Да черт с ней, с рубашкой. Иди сюда, — хрипло сказал счастливый Митя.

— Ну как ты завтра в мятой-то? Нехорошо...

— Да черт с ней, черт с ней, — всё ещё ничего не понимал Митя.

— Нет, ну как же? В мятой нехорошо, — всё упрямылась она.

И уже нагрела уют, и видно было из темной комнаты, как она, низко склонив голову, водит им по белой материи, как бы бессмысленно водит — туда-сюда, туда-сюда.

— Ты что? — крикнул Митя.

— Я ничего, — сказала она.

— Да ты что? — поднялся Митя.

— Я ничего, — отвечала она.

Но когда он, обнаженный, обнял ее сзади почти одетую, то вдруг холодная слезинка льдом прошила его горячую руку.

— Ты что? Ты плачешь? — потерялся Митя.

— Нет, я не плачу, — отвечала она, глотая слезы.

— Так... А почему ты плачешь? — спросил он.

— Да я же совсем не плачу, — отвечала она. Но тело её одеревенело в митиных руках. И он с ужасом понял, что — холодно, холодно ей, и вовсе не жарко, вовсе не сладко, как ему, а ему — о, Боже ты мой! — как ему жарко и как ему сладко было с ней и есть, и как хочется делать это снова и снова, каждую минуту, каждую секунду, триста раз, четыреста раз, каждый миг — с ней, с ней, с ней — никто больше в мире этого дать не может.

Эх, да что тут говорить! Вот и покатались такие их раз-

веселые ноченьки! Сказать, что она его не любила? Да у кого ж на такую глупость язык повернется? Она его любила. Она страшно любила. Она любила варить ему суп и вкусную кашу, ей нравилось стирать его рубашки, она просто обожала покупать ему носки, которые он однажды швырнул в стену, а она заплакала. Она любила.

А он исходил. Он темнел. У него стала дергаться щека. Он как-то раз выпил с одним шибко умным по фамилии Кунимаев, и прощелыга Кунимаев ему и говорит в ответ на его всего лишь намеки, только намеки:

— Да чего там лирику жевать — пошли лучше в женскую общагу на улицу Засухина.

— А и пошли, — сказал пьяненький он.

И они пошли в женскую общагу на улице Засухина, имея с собой три по ноль восемь «Розового» портвейна. Красивые девочки окружали их, и всё там было красивое — и хороший разговор, и пенье хоровое, и последующее уединение, в самый разгар которого он зачем-то пристально всмотрелся в игривую Любу Крюкову и вдруг ей страшно прошипел:

— А ну пошла отсюда, мразь!

— То есть как это я отсюдова пошла, когда я здесь прописанная? — сильно удивилась эта веселая Люба. Но когда взгляделась в его белеющее жуткое лицо, то лишь шептала, ослабнув:

— Да ты что, мужик? Ты что?

А он с ненавистью оттолкнул ее, быстро оделся и побежал, спотыкаясь и оскальзываясь туда, где в тревоге ждала его и не спала, и несколько раз чай подогревала, и прислушивалась к ночным шагам его любимая жена Маша.

— Митя, ты что? — тоже прошептала она, когда он всё с той же странной улыбкой появился перед ней — спутанные волосы липнут ко лбу, глаза съежились, потухли.

— Что? — переспросил он. — А вот что!

И с силой ударил кулаком. «А-ах», — выдохнула Маша. А он бил, бил, бил. Потом высадил раму и вылетел вниз головой с их первого этажа.

Когда она пришла к нему в больницу, то у ней всё уже почти зажило. Круглые синяки под глазами она тщательно запудрила, там, где была ссадина, осталось лишь маленькое розовое пятнышко. И она почему-то явилась такая бодренькая даже, веселенькая.

— А вот смотри, Митенька, что я тебе принесла, — сказала она. И, хлопоча, стала выгружать из хозяйственной сумки всякие эти шанежки, печеньица, вареную курочку.

Неподалеку возвышался санитар. Митя тихо сидел на бетонной скамейке рядом с каким-то лысым стариком, заросшим до глаз седой бородицей.

— Дай пожрать, — внятно выговорил старик, потянувшись к авоське.

Маша струхнула.

— Дай. Это — маршал Жуков, — криво ухмыльнулся Митя.

Маша приободрилась.

— Митька, выкинь это дело из головы, — убежденно сказала она. — Вот подлечат тебе нервы, выпишешься — знаешь, как мы с тобой заживем?

— Да уж знаю, — опять ухмыльнулся Митя.

Он в больнице между прочим тоже как-то отмяк. Вот даже хмыкать стал. А Маша все жужжала, убежденная:

— В конце-концов разве любовь заключается в том, чтобы лишний раз сделать ночью ЭТО? И потом — ты выпишывайся скорее, у меня есть для тебя маленький сюрприз.

— Что еще за сюрприз? — нахмурился он.

— А ты выпишывайся скорее и скорее узнаешь, — улыбалась она.

— И — не совру! — вдруг завопил Виктор Парфентьевич тоненьким голосом. — И пускай я буду подлецом и мерзавцем, коли совру! Пускай я никогда больше не встану с этой желтой скамейки, на которой мне мозолиться до утра, коли совру! Но дальше было вот что. Дальше ИМ ПОМОГ КОЛЛЕКТИВ! НЕ СОВРУ!

— Виктор Парфентьевич! Виктор Парфентьевич! — осторожно сказал я. — Ты что-то, брат, уж совсем... того. Ну, как это так, ты сам подумай, как это «помог коллектив» в таком щекотливом интимном вопросе? Ты что-то уж вроде это совсем... того... Мне даже стыдно за тебя..

— Не совру! — упрявился Виктор Парфентьевич. — Один писал, что воля коллектива — сильнее богов, да ты и сам это прекрасно знаешь. А если принять, что Любовь тоже есть Бог, то вот и смотри, что из этого следует. Не совру. И не перебивай меня больше, потому что скоро моей истории выйдет уже полный конец.

А дело в том, что Митя еще лежал в больнице, когда

Маше понадобилось зайти в контору, в фабрично-заводской комитет по вопросу оплаты его листка нетрудоспособности. Там ей всё быстро оформили, что нужно, но она почему-то замешкалась, и с ней ласково заговорила случайно оказавшаяся там сама Светлана Аристарховна Лизобой.

— Ну что, девонька, плохо дело? — напрямик спросила она.

Маша и расплакалась.

— Ну, ну, чего хныкать-то? Слезами горю не поможешь, — нарочито грубенько сказала Светлана Аристарховна и проводила её в свой кабинет, где она, работая главным бухгалтером, одновременно исполняла еще и общественную обязанность председателя женсовета этого предприятия.

— Ну-те-с, так что у нас там случилось? — опять обратилась она к Маше.

И та, глянув в её участливые глаза, вдруг сама того не ведая, взяла да и рассказала ей буквально всё.

Светлана Аристарховна нервно закурила папиросу «Беломорканал».

— Черт, а ведь так я примерно и думала, — вырвалось у нее. — Мне про тебя уже разное нехорошее шептать стали, но я тебе верила. Эх вы, молодежь, молодежь! Ну что бы вам раньше в коллектив за помощью не прийти?

Маша потупилась.

— Эх вы, молодежь, молодежь! — еще раз повторила Светлана Аристарховна. После чего вынула из письменного стола какую-то официальную бланк-бумажку и сказала, весело поблескивая ставшими вдруг озорными глубокими синими глазами старой работницы-ткачихи:

— Это — направление. Поедете вместе в Ленинград. Там есть один знаменитый профессор. — Она назвала фамилию. — И он вам непременно поможет. Поняла?

— Поняла. Да стыдно-то как! — прошептала Маша, спрятав лицо в ладони.

Но Светлана Аристарховна смущенное её лицо из этих ладоней высвободила, ласково её обняла и, кажется, они даже там и всплакнули обе немножко, Светлана Аристарховна Лизобой и Маша Пырסיкова, в разгар рабочего дня в кабинете главного бухгалтера, исполнявшего одновременно и общественную обязанность председателя женсовета этого предприятия. Важную обязанность!

Вот так они и оказались в этом призрачном городе на

Неве, который, ведя существование от Петра Великого, весь нынче одет в гранит, мрамор и бронзу. По туманным ленинградским улицам пробраться к светиле действительно оказалось не так уж и просто. Но бумажка со множеством печатей и подписей взяла своё, и в назначенное время профессор принял их в своем высоком просторном кабинете «фонарем», где уютно горел сливочный свет, а за зелеными плотными шторами узенько виднелась какая-то ленинградская вода, и плыл маленький пароходик, и маленький матрос, перегнувшись через поручни, ожесточенно плевал в эту воду. Им в кабинете очень понравилось.

А вот профессор им совершенно не понравился. Это был какой-то совершенно стильного вида моложавый человек, волосами редеющий, но длинноволосый, в джинсах-раструбах, красных махровых носках и башмаках на платформе, что совершенно не вязалось с его безукоризненно белым халатом и золотыми круглыми очками.

И он явно скучал, этот лысеющий доктор, он скучал, морщился, курил, положила ногу на ногу, и вот так скучая, морщась, курия он и слушал, все более и более запинаящуюся Машу, искоса поглядывая на совершенно окаменевшего Митю.

— Разденьтесь, — сказал он им наконец.

— Совсем? — дрогнул Машин голос.

— Ага, — равнодушно сказал профессор, качая модным башмаком.

Они и разделись, сгорая от стыда. Сухощавый профессор неожиданно бойко поднялся, осмотрел их и велел одеваться. Сам молчал, углубившись в какие-то бумаги.

— Ну и что? — не выдержала Маша.

Профессор поднял голову и улыбнулся.

— Можете идти, — сказал он.

— Нет, ну а что с нами?

— С вами? — удивился профессор. — А с вами ничего, дорогие мои передовые рабочие. Вам многие граждане могут только позавидовать. Вы — идеальная пара, совершенно нормальные и здоровые люди.

— Так ведь, — сказала Маша. Но профессор перебил её.

— Нет уж, позвольте! Я уже не раз об этом в прессе выступал, а теперь и вам повторю, коли вы подобную прессу не читаете. Вы просто совершенно друг друга не изучили, мои юные друзья. Это — элементарное следствие отвра-

тительного полового воспитания.

— Так а нам-то что делать? — растерялась Маша.

— А я скажу...

И профессор будничным тоном вдруг стал говорить им такие удивительные гадости, что Маша, не веря своим ушам, заалелась, как маков цвет, а Митя молчал-молчал, да вдруг как гаркнет на профессора:

— Да замолчите вы! Постыдились бы такие вещи при девушке говорить!

— Вот уж и не знаю, милостивый товарищ, — профессор иронически развел руками. — Что вам с девушкой важнее: стыд или здоровье?

МИТЯ. Маша, идем отсюда!

МАША. Пстой, Митя! Товарищ профессор...

МИТЯ. ...Да что там профессор! Профессор кислых щей!

ПРОФЕССОР. А ведь век меня благодарить будете и телеграмму пришлете...

— Ага, жас, — сказал Митя. — Прямо, прислали...

— Может, поспорим? — прищурился профессор.

— Ну да, спорить еще, — сказал Митя.

И вот тут-то он, по-видимому, и дал сгоряча обет — рисовать на родине картину и ехать на БАМ.

Но они вышли. Дул свежий ветер с Невы, по которой плыли неизвестно куда Ладожский лёд и обыкновенный мусор. Степенные ленинградцы несли свои модные авоськи. Они стояли на мосту. Дул свежий ветер с Невы. И он растрепал кудрявые митины волосы и плотно наполнил красивую машину юбку. Дул свежий ветер с Невы. И Митя невидяще глядел вдаль, где Петр Великий на коне со змеей прорубал окно в Европу, где бухала пушка бывшего Петропавловского каземата, и золотился купол Исаакиевского собора, свидетеля великих потрясений, и гордо реяли чайки.

Они стояли на мосту.

И вдруг Митя грубо обнял Машу. Маша ойкнула.

МИТЯ. Маша, ну что же делать-то нам? Может, бросимся отсюда вниз головой? Ведь ты любишь меня?

Маша молчала.

МИТЯ. Если действительно любишь, то — давай! За что? Почему? Зачем такая жизнь? Давай бросимся?

— Давай, — шептала Маша, обмирая со страху, видя, что и на помощь-то некого позвать, потому что уж и вечер сгустился, и нет кругом ни одной живой души, не говоря

про санитаря. Да и зачем звать-то? Может, правда лучше так умереть? Так спокойно, так быстро, так красиво...

А он вдруг в беспамятстве обхватил ее, потому что мелькнула где-то в небесах лисья морда профессора, и с хрустом поцеловал, и вдруг резко развернул её, и она мертвой хваткой вцепилась в чугунные перила моста, слушая его прерывистое дыхание.

И вдруг — белый свет сначала померк в её глазах, а потом разгорелся, и — зеленая вспышка, зеленые вспышки в такт его движениям, и сладкий стал свет на воде, будто кто-то шёл по воде и от него стал свет, и свет нарастал от того, кто шёл по воде, а потом — атомный взрыв света. Ослепительный свет взорвался и поглотил всё живое вокруг. Он взрывался больно и блаженно. Он взрывался блаженно-о...

— О-о-о, — сказала она.

— Что? — хрипло спросил он.

— О-о-о, — говорила она.

— Что? — спрашивал он.

Она оглядывалась, она оглядывалась и всё ловила, ловила воздух открытым ртом.

— Что? Что? — всё спрашивал и спрашивал он.

— О-о-о, милый, я люблю тебя, — наконец сказала она.

Вот так, дорогой друг, на такой высокой ноте и закончил Виктор Парфентьевич свое правдивое повествование. После чего, схватившись за щеку и требуя еще водки, стал нести уж и совсем несусветную чепуху. Что он-де и есть этот самый Митя. А когда я ему напомнил, что Митя уехал на БАМ, то он закричал, что он тоже едет на БАМ, что все туда едут, у кого есть совесть, в отличие от меня, который больше не дает ему водки. И тут только я, зачарованный его таинственным рассказом, догадался, что он под шумок выпил всю нашу оставшуюся водку. Я страшно возмущился, обвинил его в нечестности и сказал, что таким, как он, в хорошем месте крепко бьют морду.

Он тогда заплакал, прикрывшись татуированной рукой, и сказал из-под руки примерно следующее:

— Да Бог с ней, с бутылкой, бутылок много на земле. А я дак вот так думаю, сынок. Я думаю, и ты, наверное, не станешь возражать, что — знай: ты не выбираешь себе бабу, как не выбираешь родителей, например. Она у тебя или есть, твоя баба, или ее у тебя уже нет. Как есть или ты уже похоронил своих родителей.

Я к тому времени уже окончательно смирился с потерей водки, и меня эта мысль даже как-то тронула.

— И баба тоже не выбирает тебя. У ней тоже аналогичные условия, — все бубнил и бубнил Виктор Парфентьевич.

И я опять с ним согласился. Он что-то там еще бормотал, но я думал уже совершенно о другом.

А я думал о том, дорогой друг, я думал о том, что вот мы смотрим на мир и мы ныне знаем — что? где? как? Вот, например, вроде бы гнусная эта, вышеприведенная история, что она — циничная обывательщина или наоборот — светла, добра, свята? А, может быть, и действительно всё это вместе? И добро, и зло, и гнусь, и святость, и... и голубая флейта? Может быть, действительно всё это вместе? Может, это и есть вся полнота мира?

Вот о чем думал я, дорогой друг, той томительной ночью, когда судьба забросила меня коротать тягучее ночное время на станцию С. Восточно-Сибирской железной дороги по трассе Абакан-Тайшет.

Все спали кругом. Виктор Парфентьевич заснул, привалившись ко мне острым плечом. Зевая и вглядываясь, прошел неслышный милиционер с круглым мальчишеским лицом и затейливыми усиками. Окна наполнились рассветом. Пастушка играла на дуде.

СТИХИ И ПЕСНИ

РЕБЯТА, НАПИШИТЕ МНЕ ПИСЬМО

Мой первый срок я выдержать не смог.
Мне год добавят, а может быть, четыре.
Ребята, напишите мне письмо,
Как там дела в свободном вашем мире!

Что вы там пьете? Мы почти не пьем.
Здесь только снег при солнечной погоде.
Ребята, напишите обо всем,
А то здесь ничего не происходит!

Мне очень, очень не хватает вас,
Хочу увидеть милые мне рожи!
Как там Надюха? С кем она сейчас?
Одна? — Тогда пускай напишет тоже.

Страшней быть может только Страшный суд!
Письмо мне будет уцелевшей нитью.
Его, быть может, мне не отдадут,
Но все равно, ребята, напишите...



В тот вечер я не пил, не пел,
Я на нее во-всю глядел,
Как смотрят дети, как смотрят дети.
Но тот, кто раньше с нею был,

Сказал мне, чтоб я уходил,
Сказал мне, чтоб я уходил,
Что мне не светит.

И тот, кто раньше с нею был,
Он мне грубил, он мне грозил,
А я все помню, я был не пьяный!
Когда ж я уходить решил,
Она сказала:— Не спеши!
Она сказала: — Не спеши,
Ведь слишком рано!

Но тот, кто раньше с нею был,
Меня, как видно, не забыл,
И как-то в осень, и как-то в осень,
Иду с дружкой, гляжу — стоят,
Они стояли молча в ряд,
Они стояли молча в ряд,
Их было восемь.

Со мною нож. Решил я: — Что ж,
Меня так просто не возьмешь,
Держитесь, гады! Держитесь, гады! —
К чему задаром пропадать?
Ударил первым я тогда,
Ударил первым я тогда,
Так было надо!

Но тот, кто раньше с нею был,
Он эту кашу заварил
Вполне серьезно, вполне серьезно:
Мне кто-то на плечи повис,
Валюха крикнул: — Берегись!
Валюха крикнул: — Берегись! —
Но было поздно!

За восемь бед — один ответ,
В тюрьме есть тоже лазарет,
Я там валялся, я там валялся.
Врач резал вдоль и поперек,
Он мне сказал: — Держись, браток!
Он мне сказал: — Держись, браток! —
И я держался,

Разлука мигом пронеслась...
Она меня не дождалась,
Но я прощаю, ее прощаю.
Ее, конечно, я простил,
Того ж, кто раньше с нею был,
Того ж, кто раньше с нею был,
Не извиняю.
Того ж, кто раньше с нею был,
Того ж, кто раньше с нею был,
Того ж, кто раньше с нею был,
Я повстречаю!

РЫЖАЯ ШАЛАВА

Что же ты, зараза, бровь себе подбрила
Для чего надела, падла, синий свой берет?
И куда ты, стерва, лыжи наострила?
От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет!

Знаешь ты, что я души в тебе не чаю,
Для тебя готов я днем и ночью воровать!
Но в последнее время что-то замечаю,
Что ты стала мне слишком часто изменять!

Если это Колька или даже Славка, —
Супротив товарищев не стану возражать.
Но если это Витька с Первой Перьяславки, —
Я ж те ноги обломаю, в бога душу мать!

Рыжая шалава, от тебя не скрою:
Если ты и дальше будешь свой берет носить,
Я тебя не трону, я в душе зарюю
И прикажу залить цементом, чтобы не разрыть!

А настанет лето — ты еще вернешься!
Ну а я себе такую бабу отхвачу,
Что тогда ты, стервь, от зависти загнешься,
скажешь мне: — Прости!, а я плевать не захочу!

НА БОЛЬШОМ КАРЕТНОМ

Где твои семнадцать лет? —
На Большом Каретном.
А где начало твоих бед? —
На Большом Каретном,
А где твой черный пистолет? —
На Большом Каретном.
А где тебя сегодня нет? —
На Большом Каретном.

Помнишь ли, товарищ, этот дом? —
Нет, не забываешь ты о нем!
Я скажу, что тот полжизни потерял,
Кто в Большом Каретном не бывал,
Еще б! Ведь

Где твои семнадцать лет? —
На Большом Каретном.
А где твои семнадцать бед? —
На Большом Каретном.
А где твой черный пистолет? —
На Большом Каретном.
А где тебя сегодня нет? —
На Большом Каретном.

Переименован он теперь,
Стало все по-новой там, верь — не верь.
И все ж где б я ни был, где ты ни бредешь,
Нет-нет, да по Каретному пройдешь,
Еще б! Ведь

Где твои семнадцать лет? —
На Большом Каретном.
А где начало твоих бед? —
На Большом Каретном.
А где твой черный пистолет? —
На Большом Каретном.
А где тебя сегодня нет?
На Большом Каретном.



Если я богат, как царь морской,
Крикни только мне: — Лови блесну! —
Мир подводный и надводный свой
Не задумываясь, выплесну!

Дом хрустальный на горе для нее!
Сам, как пес бы, так и рос в цепи!..
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!

Если болен я — как пес, один,
И в дому моем шаром кати.
Ведь поможешь ты мне, Господи!
И не дашь мне жизнь скомкати...

Дом хрустальный на горе для нее!
.

Не сравнил бы я любую с тобой,
Хоть казни меня, расстреливай!
Посмотри, как я люблюсь тобой, —
Как Мадонной рафаэлевой!

Дом хрустальный на горе для нее!
Сам, как пес бы, так и рос в цепи!..
Родники мои серебряные,
Золотые мои россыпи!

НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ

На границе с Турцией или с Пакистаном —
Полоса нейтральная. Справа, где кусты —
Наши пограничники с нашим капитаном,
А на левой стороне — ихние посты,
А на нейтральной полосе — цветы
Необычайной красоты.
Капитанова невеста жить решила вместе,
Прикатила, говорит: — Милый! То да се...

Надо ж хоть букет цветов подарить невесте, —
Что за свадьба без цветов? Пьянка, да и все!

А на нейтральной полосе — цветы
Необычайной красоты.

А к ихнему начальнику, точно по повестке,
Тоже баба прикатила — налетела блажь!
И тоже: — Милый! — говорит, — только по-турецки, —
Будет свадьба, — говорит, — свадьба! И — шабаш!

А на нейтральной полосе — цветы
Необычайной красоты.

Наши пограничники — храбрые ребята:
Трое вызвались идти, а с ними — капитан...
Да разве ж знать они могли про то, что азиаты
Порешили в ту же ночь вдарить по цветам?

А на нейтральной полосе — цветы
Необычайной красоты.

Пьян от запаха цветов капитан мертвецки,
Ну а ихний капитан тоже в доску пьян.
Повалился он в цветы, охнув по-турецки,
И, по-русски крикнув «...мать!», рухнул капитан.

А на нейтральной полосе — цветы
Необычайной красоты.

Спит капитан и ему снится,
Что открыли границу, как ворота в Кремле...
Ему и на фиг не нужна была чужая заграница,
Он пройтись захотел по ничейной земле.
Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья!
Ведь она нейтральная!..

А на нейтральной полосе — цветы
Необычайной красоты...

ПАРОДИЯ НА ПЛОХОЙ ДЕТЕКТИВ

Опасаясь контрразведки,
Избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом
«Мистер Джон Ланкастер Пек»,
Вечно в кожаных перчатках, —

Чтоб не делать отпечатков, —
Жил в гостинице «Советской»
Несоветский человек.

Джон Ланкастер в одиночку,
Преимущественно ночью,
Чем-то щелкал, в чем был спрятан
Инфракрасный объектив.
А потом в нормальном свете
Представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим,
Чем гордится коллектив.

Клуб на улице Нагорной
Стал общественной уборной.
Наш родной Центральный рынок
Стал похож на грязный склад,
Искаженный микропленкой
ГУМ стал маленькой избенкой.
И уж вспомнить неприлично,
Чем предстал театр МХАТ.

Но работать без подручных,
Может, грустно, может, скучно.
Враг подумал, — враг был дока, —
Написал фиктивный чек,
И, где-то в дебрях ресторана,
Гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку
Несоветский человек.

Епифан казался жадным,
Хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве
Он не знал и не хотел.
В общем так: подручный Джона
Был находкой для шпиона.
Так случиться может с каждым,
Если пьян и мягкотел.

Вот и первое задание:
— В три-пятнадцать, возле бани,
Может, раньше, может, позже

Остановится такси.
Надо сесть, связать шофера,
Разыграть простого вора,
А потом про этот случай
Раструбят по Би-Би-Си.

И еще: — Оденьтесь свеже
И на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина
С чемоданом. Скажет он:
«Не хотите ли черешни?»
Вы ответите: «Конечно!»,
Он вам даст батон с взрывчаткой,
Принесите мне батон.

— А за это, друг мой пьяный, —
Говорил он Епифану, —
Будут деньги, дом в Чикаго,
Много женщин и машин...
Враг не ведал, дурачина:
Тот, кому все поручил он,
Был чекист, майор разведки
И прекрасный семьянин!

Да, до этих штучек мастер
Этот самый Джон Ланкастер!
Но жестоко просчитался
Пресловутый мистер Пек:
Обезврежен он и даже
Он пострижен и посажен,
А в гостинице «Советской»
Поселился мирный грек.

О СЕНТИМЕНТАЛЬНОМ БОКСЕРЕ

Удар! Удар!! Еще удар!
Опять удар! И вот
Борис Будкеев (Краснодар)
Проводит аперкот.

Вот он прижал меня в углу,
Вот я едва ушел,
Вот аперкот, я на полу,
И мне нехорошо.

И думал Будкеев, мне челюсть круша:
— И жить хорошо, и жизнь хороша!

При счете «семь» я все лежу,
Рыдают землячки.
Встаю, ныряю, ухожу —
И мне идут очки.
Неправда, будто бы к концу
Я силы берегу:
Бить человека по лицу
Я с детства не могу!

Но думал Будкеев, мне ребра круша:
— И жить хорошо, и жизнь хороша!

В трибунах свист, в трибунах вой:
— Агу его! Он трус!
Будкеев лезет в ближний бой,
А я к канатам жмусь.
Но он пролез, он сибиряк, —
Настырные они!
И я сказал ему: — Чудак!
Устал ведь, отдохни!

Но он не услышал. Он думал, дыша:
— И жить хорошо, и жизнь хороша!

А он все бьет... Здоровый черт!
Я вижу — быть беде.
Ведь бокс — не драка, это спорт
Отважный и т. д. ...
Вот он ударил раз, два, три,
И сам лишился сил.
Мне руку поднял рефери,
Которой я не бил.

Лежал он и думал, что жизнь хороша...
Кому — хороша, а кому — ни шиша!

О ДИКОМ ВЕПРЕ

В королевстве, где все тихо и складно,
Где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь,
Появился дикий вепрь огромный —
То ли буйвол, то ли бык, то ли тур.

Сам король страдал желудком и астмой,
Только кашлем сильный страх наводил.
А тем временем зверюга ужасный
Кох ел, а коих в лес волочил.

И король тотчас издал три декрета:
— Зверя надо одолеть, наконец!
Кто отчаётся на это, на это,
Тот принцессу поведет под венец!

А в отчаявшемся том государстве, —
Как войдешь, так прямо, наискосок, —
В бесшабашной жил тоске и гусарстве
Бывший лучший, но опальный стрелок.

На полу лежали люди и шкуры,
Пели песни, пили меды... И тут
Протрубили во дворце трубадуры,
Хватъ стрелка — и во дворец волокут!

И король ему прокашлял: — Не буду
Я читать тебе морали, юнец.
Если завтра победишь чуду-юду,
То принцессу поведешь под венец!

А стрелок: — Да это что за награда?
Мне бы выкатить портвейну бадью!
А принцессу мне и даром не надо,
Чуду-юду я и так победю!

А король: — Возьмешь принцессу — и точка!
А не то тебя раз-два — и в тюрьму!
Это все же королевская дочка!
А стрелок: — Ну хоть убей, не возьму!

И пока король с ним так препирался,
Съев уже почти всех женщин и кур,

Возле самого дворца ошивался
Этот самый то ли бык, то ли тур.

Делать нечего: портвейн он отспорил,
Чуду-юду уложил и убег...
Так принцессу с королем опозорил
Бывший лучший, но опальный стрелок.

ПРО НЕЧИСТЬ

В заповедных и дремучих,
Страшных Муромских лесах
Всяка нечисть бродит тучей
И в проезжих сеет страх.
Воет всем, что твои упокойники,
Если есть там соловьи, то разбойники.
Страшно, аж жуть!

В заколдованных болотах
Там кикиморы живут.
Защекочут до икоты
И на дно уволокнут.
Будь ты пеший, будь ты конный — заграбастают,
А уж лешие — так по лесу и шастают.
Страшно, аж жуть!

А мужик, купец иль воин
Попадал в дремучий лес
Кто — зачем, кто — с перепоею,
А кто — сдуру в чашу лез.
По причине пропадали, без причины ли, —
Только всех их и видали: словно сгинули.
Страшно, аж жуть!

Из заморского, из леса,
Где и вовсе сущий ад,
Где такие злые бесы
Чуть друг друга не едят,

Чтоб творить им совместное зло потом,
Поделиться приехали опытом.
Страшно, аж жуть!

Соловей-Разбойник главный
Им устроил буйный пир,
А от них был Змей Трехглавый
И слуга его, Вампир.
Пили зелье в черепах, ели бульники,
Танцевали на гробах, богохульники.
Страшно, аж жуть!

Змей Горыныч влез на древо,
Ну расакчивать его:
— Выводи, Разбойник, девок,
Пусть покажут кой-чего!
Пусть нам лешие попляшут, попоют,
А не то я, мать вашу, всех сгною! —
Страшно, аж жуть!

Соловей-Разбойник тоже
Был не только лыком шит.
Гикнул, свистнул, крикнул: — Рожа!
Гад! Заморский паразит!
Убирайся без боя! Уматывай!
И Вампира с собой прихватывай! —
Страшно, аж жуть!

Все взревели, как медведи:
«Натерпелись!», «Сколько лет!»,
Ведьмы мы или не ведьмы?»,
«Патриоты или нет?»,
«Налил бельмы, ишь ты, клещ, отоварился!»,
«А еще на наших женщин позарился!»...
Страшно, аж жуть!

А теперь седые люди
Помнят прежние дела:
Билась нечисть груди в груди
И друг друга извела,
Прекратилось навек безобразие,
Ходит в лес человек безбоязненно.
И не страшно ничуть!

ГОЛОЛЕД

Гололед на Земле, гололед!
Целый год напролет гололед!

Гололед на Земле, гололед!
Будто нет ни весны, ни лета,
Чем-то скользким одета планета,
Люди, падая, бьются об лед.

Гололед на Земле, гололед!
Целый год напролет гололед!

Даже если планету в облет,
Не касаясь планеты ногами, —
Не один, так другой упадет, —
Гололед на Земле, гололед! —
И затопчут его сапогами...

Гололед на Земле, гололед!
Целый год напролет гололед!

Будто нет ни весны, ни лета,
Люди, падая, бьются об лед!
Гололед на Земле, гололед!
Целый год напролет гололед!

ЛУКОМОРЬЯ БОЛЬШЕ НЕТ

Лукоморья больше нет,
От дубов простыл и след.
Дуб годится на паркет —
Так ведь нет:
Выходили из избы
Здоровенные жлобы,
Порубили те дубы
На гробы!

Ты уймись, уймись, тоска,

У меня в груди!
Это только притомка,
Сказка впереди!

Распрекрасно жить в домах
На куриных, на ногах,
Но явился всем на страх
Вертопрах!
Добрый молодец он был,
Бабку-ведьму подпоил,
Ратный подвиг совершил:
Дом спалил!

Ты ўймись, ўймись, тоска

Тридцать три богатыря
Порешили, что за-зря
Берегли они царя
И моря.
Каждый взял себе надел,
Кур завел и в нем сидел,
Охраняя свой удел
Не у дел!

Ты ўймись, ўймись, тоска

Ободрав зеленый дуб,
Дядька ихний сделал сруб.
С окружающими туп
Стал и груб.
И ругался день-деньской
Бывший дядька их морской,
Хоть имел участок свой
Под Москвой.

Ты ўймись, ўймись, тоска

Здесь и вправду ходит кот,
Как направо — так поет,
Как налево — так загнет
Анекдот!
Но ученый, сукин сын:

Цепь златую снес в торгсин,
И, на выручку, один —
В магазин!

Ты ўймись, ўймись, тоска

.

Как-то раз за божий дар
Получил он гонорар:
В Лукоморье перегар
На гектар!
Но хватил его удар,
Чтоб избегнуть божьих кар,
Кот диктует про татар
Мемуар!

Ты ўймись, ўймись, тоска

.

И русалка — вот дела! —
Честь недолго берегла.
И однажды, как могла,
Родила.
Тридцать три же мужика
Не желают знать сынка.
Пусть считается пока
Сын полка.

Ты ўймись, ўймись, тоска

.

Как-то раз один колдун,
Врун, болтун и хохотун,
Предложил ей, как знаток
Бабских струн,
Мол: — Русалка, все пойму,
И с дитем тебя возьму! —
И пошла она к нему
Как в тюрьму.

Ты ўймись, ўймись, тоска

.

Бородатый Черномор,
Лукоморский первый вор,
Он давно Людмилу спер —

Ох, хитер!
Ловко пользуется, тать,
Тем, что может он летать:
Зазеваешься — он — хватъ
И тикать!

Ты уймись, уймись, тоска
.....

А коверный самолет
Сдан в музей в запрошлый год,
Любознательный народ
Так и прет! —
Без опаски старый хрыч
Баб ворует — хнычь-не хнычь —
Ох, скорей его разбей
Паралич!

Ты уймись, уймись, тоска
.....

— Нету мочи, нету сил —
Леший как-то не допил,
Лешачиху свою бил
И вопил:
— Дай рубля, прибыю, а то!
Я — добытчик али кто?
А не дашь, — тогда пропью
Долото!

Ты уймись, уймись, тоска
.....

— Я ли ягод не носил?
Снова леший голосил —
А коры по сколько кил
Приносил?
Надрывался издаля,
Все твоей забавы для!
Ты ж жалеешь мне рубля,
Ах, ты тля!

Ты уймись, уймись, тоска
.....

И невиданных зверей,
Дичи всякой, — нету ей:
Понаехало за ней
Егерей!
Так что, значит, не секрет:
Лукоморья больше нет!
Все, о чем писал поэт,
Это бред!

Ты уймись, уймись, тоска,
Душу мне не рань!
Раз уж это присказка —
Значит, сказка — дрянь!



А люди все роптали и роптали,
А люди справедливости хотят:
— Мы в очереди первыми стояли,
А те, кто сзади нас, уже едят!

Им объяснили: — Чтобы не ругаться,
Мы просим вас, уйдите, дорогие!
Те, кто едят, ведь это иностранцы!
А вы, прошу прощенья, кто такие?

Но люди все роптали и роптали,
Но люди справедливости хотят:
— Мы в очереди первыми стояли,
А те, кто сзади нас, уже едят!

Но снова объяснил администратор:
— Я вас прошу, уйдите, дорогие!
Те, кто едят, ведь это делегаты!
А вы, прошу прощенья, кто такие?

А люди все кричали и кричали,
А люди справедливости хотят:
— Мы в очереди первыми стояли,
А те, кто сзади нас, уже едят!

НА СМЕРТЬ ШУКШИНА

Ещё ни холодов, ни льдин,
Земля тепла, красна калина.
А в землю лёг ещё один
На Новодевичьем мужчина.

— Должно быть, он примет не знал, —
Народец праздный суесловит,—
— Смерть тех из нас всех прежде ловит,
Кто понарошку умирает.

Коль так, Макарыч, не спеши,
Спусти колки, ослабь зажимы.
Пересними! Перепиши!
Переиграй! Останься живым.

Но, в слёзы мужиков вгоняя,
Ты пулю в животе понёс,
Припал к земле, как верный пёс,
А рядом куст калины рос,
Калина красная такая!

И был бы Разин в этот год!
Натура где? Онега? Нарочь?
Да! Печки-лавочки, Макарыч,
Такой твой парень не живет!

Ты белые стволы берёз
Ласкал в киношной гүлкой рани,
Но успокоился всерьез,
Решительней, чем на экране.

Смерть самых лучших намечает
И дергает по одному.
Такой наш брат ушёл во тьму!
Не поздоровилось ему!
Не буйствует и не скучает.

Вот после временной заминки
Рок процедил через губу:
— Снять со скуластого «табу»

За то, что он видал в гробу
Все панихиды и поминки!

Того, — с большой душою в теле
И с тяжким грузом на горбу,
Взять утром тёпленьким с постели,
Чтоб не испытывал судьбу.

И после непременной бани,
Чист и улыбчив и тверёз,
Вдруг взял да умер он всерьёз
Спокойнее, чем на экране.

Гроб в грунт разрытый опуская
Средь новодевичьих берёз,
Мы выли, друга отпуская
В загул без времени и края.
А рядом куст сирени рос.
Сирень осенняя — нагая.

ОХОТА НА ВОЛКОВ

Рвусь из сил, из всех сухожилий.
Но сегодня опять, как вчера,
Обложили меня, обложили, —
Гонят весело на номера.

Из-за елей хлопочут двустволки, —
Там охотники прячутся в тень.
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.

Идет охота на волков, идет охота!
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Не на равных играют с волками
Егеря, но не дрогнет рука!

Оградив нам свободу флажками,
Бьют уверенно, наверняка!

Волк не может нарушить традиций:
Видно в детстве слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали «нельзя за флажки!».

Идет охота на волков, идет охота!
На серых хищников, матерых и щенков!

.

Наши ноги и челюсти быстры.
Почему же, вожак, дай ответ,
Мы затравленно мчимся на выстрел
И не пробуем через запрет?

Волк не может, не должен иначе...
Вот кончается время мое:
Тот, которому я предназначен,
Улыбнулся и поднял ружье...

Идет охота на волков, идет охота!
На серых хищников, матерых и щенков!

.

Я из повиновения вышел
За флажки, — жажда жизни сильней!
Только сзади я радостно слышал
Удивленные крики людей.

Рвусь из сил, и из всех сухожилий,
Но сегодня — не так, как вчера!
Обложили меня, обложили,
Но остались ни с чем егеря!

Идет охота на волков, идет охота!
На серых хищников, матерых и щенков!
Кричат загонщики и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

БАНЬКА ПО-БЕЛОМУ

Протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого света отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Протопи ты мне баньку, хозяйюшка,
Раскалю я себя, распалю.
На полоче, у самого краюшка,
Я сомненья в себе истреблю.

Разомлею я до неприличности,
Ковш холодный — и все позади.
И наколка времен культа личности
Засинеет на левой груди.

Протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого света отвык.
Угорю я, и мне угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Сколько веры и лесу повалено!
Сколь изведано горя и трасс!
А на левой груди — профиль Сталина,
А на правой — Маринка анфас.

Эх, за веру мою беззаветную,
Сколько лет отдыхал я в раю!
Променял я на жизнь беспросветную
Несусветную глупость мою.

Протопи ты мне баньку по-белому,
Чтоб я к белому свету привык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Вспоминаю, как утречком раненько
Брату крикнуть успел: — Подсоби!
И меня два красивых охранника
Повезли из Сибири в Сибирь.

А потом, на карьере ли, в топи ли,
Наглотавшись слезы и сырца,

Ближе к сердцу кололи мы профили,
Чтоб Он слышал, как рвутся сердца!

Не топи ты мне баньку по-белому,
Я от белого света отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

Ох, знобит! От рассказа не тошно вам!
Пар мне мысли прогнал от ума.
Из тумана холодного прошлого
Окунаюсь в горячий туман.

Застучали мне мысли под темечком,
Получилось, я зря Им клеймен!
И хлещу я березовым веничком
По наследию мрачных времен.

Протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого света отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.

ГОРИЗОНТ

Чтоб не было следов — повсюду подмели,
Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте.
Мой финиш — горизонт, а лента — край земли,
Я должен первым быть на горизонте.

Условия пари одобрили не все.
И руки разбивали неохотно.
Условье таково, чтоб ехать по шоссе,
И только по шоссе, — бесповоротно.

Наматывая мили на кардан,
Я еду параллельно проводам,
Но то и дело тень перед мотором —
То черный кот, то кто-то в чем-то черном.

Я знаю: мне не раз в колеса палки ткнут,
Догадываюсь, в чем и как меня обманут.
Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут,
И где через дорогу трос натянут.

Но стрелки я топлю. На этих скоростях
Песчинка обретает силу пули.
И я сжимаю руль до судорог в кистях.
Успеть — пока болты не затянули!

Наматывая мили на кардан,
Я еду вертикально к проводам.
Завинчивают гайки — побыстрее!
Не то поднимут трос, как раз, где шея.

И плавится асфальт, протекторы кипят,
Под ложечкой сосет от близости развязки.
Я голой грудью рву натянутый канат.
Я жив, снимите черные повязки!

Кто вынудил меня на жесткое пари, —
Нечистоплотны в споре и расчетах,
Азарт меня пьянит, но, как ни говори,
Я торможу на скользких поворотах.

Наматываю мили на кардан
Назло канатам, тросам, проводам,
Вы только проигравших урезоньте,
Когда я появлюсь на горизонте!

Мой финиш — горизонт — попрежнему далек.
Я ленту не порвал, но я покончил с тросом,
Канат не пересек мой шейный позвонок,
Но из кустов стреляют по колесам.

Меня ведь не рубли на гонку завели.
Меня просили: «Миг не проворонь ты!
Узнай, а есть предел там, на краю земли?
И можно ли раздвинуть горизонты!»

Наматываю мили на кардан
И пулю в скат вlepить себе не дам,
Но тормоза отказывают — кода!
Я горизонт промахиваю с хода.



Он был хирургом, даже нейро-,
Хотя и путал мили с ГА.
На съезде в Рио-де-Жанейро
Пред ним все были мелюзга.

Всех, кому уже жить не светило,
Превращал он в нормальных людей,
Но огромное это светило,
К сожалению, было еврей.

В науке он привык бороться,
И за скачком всегда скачок.
Он одному первопроходцу
Поставил новый мозжечок.

Всех, кому уже жить не светило,
Превращал он в нормальных людей,
Но огромное это светило,
К сожалению, было еврей.

ДИАЛОГ

— Ой, Ваня! Смотри, какие клоуны !
Рот — хоть завязочки пришей.
И до чего же, Ваня, размалеваны!
И голос, как у алкашей.

А тот похож, нет, правда, Вань,
На шурина — такая ж пьянь.
Нет, нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь,
Я правду, Вань!

— Послушай, Зин, не трогай шурина.
Какой ни есть, а он — родня!
Сама намазана, прокурена....
Гляди, дождешься у меня!

А чем болтать, взяла бы, Зин,
Сгоняла б лучше в магазин.

Что? Не пойдешь? Ну, я один.
Подвинься, Зин.

— Ой, Ваня! Гляди, какие карлики!
В джерси одеты, не в шевииот.
На нашей пятой швейной фабрике
Такое вряд ли кто пошьет.

А у тебя, ей-Богу, Вань,
Ну все друзья — такая рвань!
И пьют всегда в такую рань
Такую дрянь!

— Мои друзья, хоть не в болонии,
Зато не тащат из семьи.
А гадость пьют из экономии,
Хоть поутру, да на свои.

А у тебя самой-то, Зин,
Приятель был с завода шин,
Так тот вообще хлебал бензин.
Ты вспомни, Зин!

— Ой, Ваня! Гляди-кось, попугайчики!
Нет, я ей-Богу закричу!
А это кто в короткой маечке?
Я, Вань, такую же хочу.

В конце квартала, правда, Вань,
Ты мне такую же сваргань...
Ну что «отстань»? Опять «отстань»?
Обидно, Вань!

— Уж ты бы лучше помолчала бы:
Накрылась премия в квартал.
Кто мне писал на службу жалобы?
Что «нет», когда я их читал?

К тому же эту майку, Зин,
Тебе напяль — позор один!
Тебе шитья пойдет аршин.
Где деньги, Зин?

— Ой, Ваня! Умру от акробатиков!
Гляди, как вертится, нахал!
Завклубом наш, товарищ Сатиков,
Недавно в цехе так скачал...

А ты придешь домой, Иван,
Поешь — и сразу на диван.
Или орешь, когда не пьян.
Ты что, Иван?

— Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Все, Зин, обидеть норовишь.
Тут за день так накувыркаешься,
Придешь домой — там ты сидишь...
Ну и меня, конечно, Зин,
Сейчас же тянет в магазин,
А там — друзья. Ведь я же, Зин,
Не пью один!

— Ого, однако же, гимнасточка!
Ой, что творит, хотя в летах!
У нас в кафе молочном «Ласточка»
Официантка может так.
А у тебя подруги, Зин,
Все вяжут шапочки для зим.
От ихних скучных образин
Дуреешь, Зин!

— Как, Вань? А Лилька Федосеева,
Кассирша из ЦПКО?
Ты к ней все лез на новоселье...
Она так очень ничего!
А чем ругаться, лучше, Вань,
Поедем в отпуск в Эривань.
Ну что «отстань?» Всегда «отстань!»
Обидно Вань!

СТУПЕНИ

ПОВЕСТЬ

I

Григорий Алексеевич взял с фарфоровой хлебницы кусок хлеба и поднял его, вытянув руку вверх и несколько назад.

— В историческом законе противостояния великих равнин, производящих хлеб, и бесхлебных народов, завоевывающих себе хлеб, Россия всегда была великой хлебной равниной, — сказал он, — древний Рим, Германия и Англия, напротив, всегда себе хлеб добывали... И пойми, Юрий, тут не национальная спесь, но только мы, люди хлебных равнин, особенно широко открыты таким понятиям, как добро, счастье, правосудие, ибо мы не ущербны.

Григорий Алексеевич бросил кусок хлеба назад на хлебницу и допил свою рюмку коньяка.

Юрий Дмитриевич тоже допил свою рюмку и хлебнул из стакана подкрашенную чайной заваркой сладковатую холодную воду. Его начало подташнивать от сладковатой бурды и возникло знакомое посасывание под левым ребром, не сильное, но вызывающее раздражение.

— Мы часто цепляемся за какие-либо цели, — сказал Юрий Дмитриевич, — не из-за сути, а из-за литературного оформления, удачно нами найденного... Впрочем, я устал... Ночью я все время просыпался от грозы... Сверкали молнии... Мне приснился или просто вспомнил, лежа без сна... удивительная вещь... Свой детский бред... В детстве я как-то заболел... Покойная мать подошла, пощупала лоб и спросила, что у меня болит. Я ответил: копьё... Какое копьё? — испуганно спросила мать... И я ответил: которым зверей

колят... Потом я потерял сознание, но эти слова мне врезались глубоко в мозг... Начало бреда... Время от времени я вспоминаю...

Юрий Дмитриевич грузно встал и подошел к окну. Был конец мая. Листва начала уже терять весеннюю свежесть, парило с утра, словно в полдень. Среди булыжной мостовой тяжело полз в гору трамвай. В расположенном неподалеку, но скрытом крышами домов соборе ухали колокола.

— Гриша, я живу у тебя уже полторы недели, — сказал Юрий Дмитриевич, — мне надо подыскать квартиру... Твоя Галя с Шуркой приезжают не раньше середины июня?

— Это неважно, — сказал Григорий Алексеевич, — у нас три комнаты... Ты меня не стесняешь... Дело не в том...

— Но ты меня стесняешь, — сказал Юрий Дмитриевич, — Я тебя люблю... Но мне надо заняться делом, а не вести бесплодные споры... Какая чепуха... Сейчас время студенческих каникул. Надо воспользоваться свободным временем...

— Юра, — сказал Григорий Алексеевич и тоже встал, он был в русской домотканной рубашке, вышитой на груди у ворота, и в шелковых пижамных штанах (в последнее время Григорий Алексеевич отрастил русую бороденку и начал носить русские домотканые рубахи, приобретенные где-то в глухой северной деревушке, куда ездил в экспедицию собирать фольклор). — Юрий Дмитриевич, ты меня извини... Я не понимаю... Вернее, не чувствуешь ли ты, что твой бракоразводный процесс нелеп... И даже юмор... Ах, юмор, юмор... Ты извини, я прошу тебя напрячься и найти рациональное зерно в моей сбивчивой болтовне... Тебе сорок шесть лет, Нине сорок четыре... И это прискорбное происшествие случилось так давно...

— Нет, — крикнул Юрий Дмитриевич, — она изменила мне не двадцать лет назад, она изменила мне сейчас... сегодня... месяц назад... Она изменила мне не в тот момент, когда спала с другим мужчиной, а в тот момент, когда я об этом узнал, — он вдруг обмяк, сел у стола как-то боком и глубоко вздохнул несколько раз. — Я ведь знаком с ней с пятнадцати лет, — сказал он тихо, — это была моя первая девочка, а потом первая девушка и первая женщина... Мне сорок шесть лет, но я не знал других женщин... Она уезжала в экспедиции... Я месяцами, я годами не знал женщин... В меня влюблялись... У меня была ассистентка красавица...

А ночи... Ночной человек не тот, что дневной... Это знает каждый... Дневной свет делает ночное чувство позорным и нелепым... Днем человек может холодно рассуждать, быть ироничным... Но ночь съедает иронию... Когда Нины не было, я воображал ее образ, представлял ее до малейших подробностей и, лежа в постели, целовал предплечья собственных рук...

Высказавшись, Юрий Дмитриевич притих и потупился, словно совершил какой-то стыдный поступок. Григорий Алексеевич тоже молчал, глядя в окно.

— Я, пожалуй, пойду, — сказал Юрий Дмитриевич после нескольких минут молчания, — мне к юристу...

— У тебя болезненный вид, — сказал Григорий Алексеевич. — Ты б зашел к Буху. Это ведь твой коллега по институту...

— Зачем мне Бух, — сказал Юрий Дмитриевич, почему-то криво улыбаясь. — Бух со жмеринским акцентом.... Бенедикт Соломонович... Если я сойду с ума, то начну, пожалуй, петь древнееврейские псалмы... — он думал, что удачно пошутил, но Григорий Алексеевич не улыбнулся в ответ, а посмотрел на него испуганно.

Юрий Дмитриевич надел пиджак, вышел на лестничную площадку, постоял там некоторое время в недоумении, спустился на несколько ступенек, потом быстро вбежал назад, открыл дверь и принялся рыться в отведенных ему ящиках письменного стола.

— Гриша, — позвал он.

— Я в ванной, — глухо отозвался Григорий Алексеевич.

— Ты не подумай, что я Буха хотел оскорбить, — сказал Юрий Дмитриевич, — если я сойду с ума, то воображу себя не равнином, а Дон Кихотом... Впрочем, — уже громче и чувствуя, что ему делается жарко, сказал Юрий Дмитриевич, — впрочем, современные дон-кихоты так же неинтересны, как и современные бюрократы. Единственное преимущество дон-кихотов в том, что, они смешны и непризнаны... В медицине донкихотство именуется *delirium* или делирий... Отражение реального мира приобретает искаженный характер... Страх, восторг, умиление и благодушные сменяют друг друга... Ах, милый Гриша... Главным врагом современных дон-кихотов являются не ветряные мельницы, а препараты купирования возбуждения... Появись Христос сейчас, его б не распяли, а сделали б ему инъекцию

аминезина с ресерпином и с своевременным введением средств, стимулирующих сердечно-сосудистую деятельность. При современном уровне невропатологии великие заблуждения невозможны...

Юрий Дмитриевич напялил тубетейку с кисточкой и вышел по-прежнему сильно возбужденный, но с выражением не растерянным, а скорее сосредоточенным.

Он пошел вверх по улице, она была настолько крута, что тротуар был сделан ступенями. Чем выше он поднимался, тем громче становился звук колоколов, словно в каком-то сне на библейские темы он шел прямо к небу. Юрий Дмитриевич оглянулся назад на преодоленные уже им бесчисленные ступени. Он был совершенно один на раскаленных солнцем асфальтовых ступенях. Заросли колючей акации были по обеим сторонам, прижимаясь с одной стороны к решетке сада, изрезанного оврагами, а с другой скрывая поросший травой склон, спускающийся к булыжной мостовой. Сверху по-прежнему бил колокол, а в промежутке, пока не замирал тяжелый медный звук, торопливо позвякивали колокола помельче. Юрий Дмитриевич поднялся еще на несколько ступеней, и вдруг незнакомое блаженное чувство появилось в нем, словно ему вскрыли грудную клетку и одним вдохом он насытился жизнью до предела так, что жизнь потеряла цену. Он пережил самого себя и посмотрел на себя со стороны с мудрым бесстрашием, не лишенным, однако, некоторой грусти по недоступным теперь человеческим слабостям. Он был не человеком, а человечеством, но все это продолжалось не более мгновения, так что осознать что-либо в подробностях или запомнить нельзя было. Он сел на ступени, они были липкими и едко пахли битумом. Он ощутил такой упадок сил, что не решился искать в карманах носовой платок, чтоб вытереть мокрое от пота и слез лицо. Он сидел в тени куста, и за живой изгородью акации внизу под склоном со скрежетом проносились трамваи. Очевидно, потому и пуста была лестница-тротуар, никто не хотел взбираться пешком на гору в такую жару.

— Я все-таки заболеваю, — сказал Юрий Дмитриевич, — надо зайти к Буху... Как некстати... Впрочем, это даже оригинально. Обычно ненормальные воображают себя великой личностью: Наполеоном или Магометом, а я вообразил себя сразу всем человечеством... Из инстинктов, с которыми рождается человек, самый великий и самый

печальный — это страстная жадность жить... В этом главное противоречие между человеком и человечеством... Для человечества смерть — благо, гарантия вечного обновления.

Колокол сверху умолк, Юрий Дмитриевич поднялся, вынул носовой платок и насухо вытер лицо. Последний лестничный пролет был огражден чугунными перилами. Юрий Дмитриевич шел, считая ступени и постукивая ладонью по горячему чугуну.

Когда после пустынной лестницы Юрий Дмитриевич очутился на многолюдной площади, то в первое мгновение испытал испуг и растерянность, однако очень скоро он привык к людям и вернулся к своим прежним ощущениям, забытым или, вернее, подавленным на пустой лестнице во время боя колокола. Чтоб проверить себя, он подошел к киоску и купил фруктовое мороженое в вафельном стаканчике. Он испытывающе посмотрел на продавщицу в белом халате, который был надет прямо на комбинацию без платья, это было заметно, но продавщицу его взгляд не смутил. Сам же он, очевидно, тоже не произвел на нее никакого впечатления.

«Значит, все в порядке, — подумал Юрий Дмитриевич, — обычный невроз... Душевная травма плюс четыре бессонных ночи... Надо заканчивать дела и ехать на юг».

Он попробовал мороженое, но оно показалось ему кислым и одновременно приторно-сладким.

«Как это может быть?» — в недоумении подумал Юрий Дмитриевич, однако не стал долго размышлять, выкинул мороженое в дымящуюся урну.

Площадь была окружена старыми многоэтажными из серого кирпича домами, а всю левую от Юрия Дмитриевича сторону занимал собор, расположенный в глубине двора, огражденного низким гранитным забором. Собор был белый с многочисленными решетками и портиками на крыше, покрытой оцинкованной жстью, а позолоченные купола его тонули в небесной синеве. В соборном дворе множество старух продавало цветы, было шумно и многолюдно, а сквозь распахнутые двери-ворота что-то поблескивало и слышалось пение. И рядом с пыльными горячими троллейбусами, с ленивыми, скучными от жары лицами пассажиров и прохожих, собор показался Юрию Дмитриевичу единственным местом, где можно было продлить свое необычное сегодняшнее состояние и если не вновь ощутить, то

хотя бы ярко вспомнить свои ощущения на ступенях лестницы, которые манили, как сладострастный ночной грех, чистота которого одним неосторожным движением или взглядом может быть убита и превращена в непристойность.

«Кстати, — подумал Юрий Дмитриевич, — в соборе ведь прекрасные картины Врубеля... Григорий Алексеевич говорил... А я ни разу не был... Стыдно, все-таки образованный человек...»

Юрий Дмитриевич вошел во двор и поднялся на паперть, где стояли нищие. Какой-то нищий в телогрейке, одетой на голое тело, подошел к Юрию Дмитриевичу и протянул руку, крестясь и шепча что-то распухшими губами. Это был парень лет двадцати пяти, но с желтой, морщинистой, как у старика, кожей. Ключицы у него были худые, выпирали, а живот жирный, провисал, и бедра жирные, по-женски круглые.

— Тебе, братец, лечиться надо, — сказал Юрий Дмитриевич. — У тебя нарушена кора надпочечников, и, очевидно, пониженное кровяное давление...

Парень икнул и произнес что-то нечленораздельное. Под глазом у него был синяк, и от него несло сивухой. Юрий Дмитриевич торопливо сунул ему рубль и прошел мимо. Мерцание свечей, блеск парчи и позолоты, прохладный полумрак, в котором откуда-то сверху, из-под купола, доносилось пение, успокоил его и притупил неприятное впечатление от встречи с нищим.

Юрий Дмитриевич поднял голову. Стены были слабо освещены, и библейские фрески едва проступали из сумрака. В одном месте он видел лишь часть человеческой руки и прекрасные, чувственные пальцы. В другом — голову юноши, в которой, однако, было больше осенней беспричинной тоски, как при циклофрении, чем неземного, безгрешного.

«Особенности тоски при циклофрении в том, что больные не могут плакать, — подумал Юрий Дмитриевич, — как это ужасно... Больной часто жалуется, что сердце его превратилось в камень, но эта бесчувственность причиняет ему тяжелые страдания... Иногда даже самоубийство... Да, среди циклофреников особенно высокий процент покушений на свою жизнь...»

— Снимите головной убор, — сказал кто-то, дыхнув коротко, в упор чем-то прокисшим.

Перед Юрием Дмитриевичем стоял остроносый лысый мужчина и смотрел злыми глазами прямо в переносицу.

— Тут татары-половцы были, — сказал мужчина. —

Немцы были, комиссия из Москвы была, и то шапки снимали.

— Ах, простите, — сказал Юрий Дмитриевич, — я задумался, забылся, — и он стащил тубетейку.

За спиной прыснули. Там стояли какие-то мальчишки в спортивных костюмах с цветными спортивными сумками. Они подталкивали друг друга локтями и подмигивали. Мужчина со злыми глазами метнулся к ним и принялся толкать, но мальчишки ловко увертывались и хихикали.

— Не надо, Сидорыч, пусть их, — сказала какая-то старушка.

Юрий Дмитриевич огляделся и увидал, что в соборе много праздного народа, зашедшего сюда просто из любопытства. Народ стоял толпой, но в толпе этой были пустоты, как бы проруби, и, потолкавшись, Юрий Дмитриевич увидал и понял, что в пустотах этих и лежали, скорчившись на каменном полу, верующие. Особенно поразили Юрия Дмитриевича старик и девушка. Седая голова и узловатые руки старика упирались в пол, лицо налилось кровью, как у акробата. На девушку Юрий Дмитриевич едва не наступил, испуганно отшатнулся. Она была в платке и босоножках, в руке цветы и, казалось, не замечала никого, была наедине с собой, не видя столпившихся вокруг и мелькающих у лица ее чужих ног. Юрий Дмитриевич осторожно выбрался из толпы и пошел по затоптанной ковровой дорожке среди мраморной витой лестницы на второй этаж. Навстречу ему спускалась монашка с урной, какие приносят больным во время голосования на дом, но не красного, а черного цвета. На урне было написано: «Пожертвования на содержание храма». Монашка вопросительно посмотрела на Юрия Дмитриевича, он вынул пять рублей и сунул их в отверстие урны, как бюллетень. Монашка перекрестилась и пошла вниз, а Юрий Дмитриевич поднялся на второй этаж, который был выложен хорошо навощенным паркетом. В углу у образов шепотом молилась пожилая женщина в черном платье и пенсне, положив ладони на витое мраморное ограждение. Чуть пониже того места, где женщина держала левую ладонь, Юрий Дмитриевич прочел выцарапанную гвоздем или ножиком надпись с твердым знаком: «Жоржъ + Люся = любовь. 1906 г.» Юрий Дмитриевич невольно улыбнулся и торопливо отошел к противоположному ограждению, откуда толпа внизу и лежавшие в ней верующие напоминали театральные парты.

«Действительно, — подумал с некоторым даже раздражением Юрий Дмитриевич. — Как все-таки много общего с театром... Обычное зрелище...»

Справа от него на балконе расположился хор. Он увидел пиюитры с электрическим освещением, ноты. Седой сухой человек в очках — регент — взмахивал палочкой. Хор состоял из еще нестарых женщин в вязаных кофточках. Один мужчина лет тридцати был в нейлоновой рубашке с красным галстуком. У него были выбритые сытые щеки. Другой мужчина был в вышитой рубашке. В перерыве между молитвами они переговаривались между собой, зевали, перед одной из женщин на блюдечке лежали засахаренные фрукты, а перед регентом стояла откупоренная бутылка нарзана.

Сначала снизу раздавался бас, потом хор на балконе звонко подхватывал. Внизу на подмостках появлялись гриставые молодые люди и старик в парчевой одежде. Обойдя подмости, они скрывались, и задергивался шелковый занавес с крестом.

«Однако, — с досадой подумал Юрий Дмитриевич, — театр... И не Бог ведь какой талантливый... Почему эти валяются на полу... Эта девушка... Не пойму.»

Он вновь пошел вниз. Навстречу ему поднималась другая монашка с черной урной, на которой было написано: «На содержание хора». Когда монашка остановилась перед Юрием Дмитриевичем, он уже был сильно раздражен, потому что монашка, едва посмотрев на него, быстро отошла, крестясь. Пение смолкло и началась проповедь. Старичок в парчевой одежде стоял у края помоста и, скрестив руки на груди, говорил что-то. Юрий Дмитриевич начал прислушиваться.

— Сила затаенных обид очень велика и живуча и лишь в молитве излита может быть полностью. Но все ли умеют молиться? Некоторые даже обижаются: вот я молился, просил у Господа, а он меня не услышал, и молитва не помогла. Молитва должна быть от самой души и если в тот момент молящийся таит в себе хоть каплю корысти или озлобления, Господь не услышит его...

Далее старичок начал повторяться, говорить монотонно, как нудный лектор скучные истины. Юрий Дмитриевич перестал его слушать. Он с удивлением смотрел на девушку, лежавшую ранее на каменном полу. Было ей лет двадцать восемь, одета она была в ситцевую кофточку, из-под

которой на груди виднелся косячок кружевной рубашки. На шее был крестик и дешевые бусы-стекляшки, а в руке цветок, несколько примятый и увядший. Лицо у нее было, пожалуй, на первый взгляд некрасивым, но, приглядевшись, Юрий Дмитриевич почувствовал, что в лице ее, также как и в фигуре, есть что-то пока неразбуженное, но привлекательное и обещающее. Удивляла же его главным образом та детская непосредственность, та сосредоточенность и вера, с которой девушка слушала нудные и маловыразительные слова проповеди, становясь изредка даже на цыпочки и боясь пропустить хоть слово. Это было особенно заметно потому, что вокруг праздная публика зевала, оглядывалась и перешептывалась, некоторые же проталкивались к выходу. После того, как смолкло пение и началась проповедь, толпа заметно поредела.

— Своими молитвами и добрыми делами вы боретесь за мир во всем мире, — говорил проповедник, — и хорошо трудясь на отведенном каждому из вас поприще, вы совершаете богоугодное дело во имя мира на земле, против войны и во славу нашего правительства.

— Молодец батя, — сказал какой-то гражданин в тенниске, — сознательный. Полезное дело совершает...

Потом снова запел хор, и верующие вновь опустили, образовав в толпе провалы. Опустившись, девушка подобрала под себя, прижала к животу колени и стали видны стоптанные подошвы ее босоножек. Хор гремел все громче, трещали свечи, колебались парчевые занавесы, поблескивало золото икон, и девушка молилась все горячее, все неистовее, с просветленным, счастливым лицом. А Юрий Дмитриевич стоял поблекший и потухший, и то, что случилось с ним на ступенях, вызывало теперь лишь злобную иронию и стыд. Но вдруг произошел эпизод крайне неожиданный, о котором позднее многие говорили, и слухи о котором до сего времени ходят в тех местах, приобретая всевозможные фантастические оттенки.

В то самое мгновение, когда на хорах запели, в глубине собора, там, где в полумраке мерцали иконы, возник неясно силуэт обнаженного тела. Силуэт медленно поплыл вдоль стены, правая рука его была поднята, словно он благословлял всех. Страшная тягостная тишина воцарилась в соборе, слышно было лишь, как трещали свечи, да кто-то тяжело, со всхлипом, дышал. Напряженная тишина длилась минуты две, а потом гривастый молодой человек в облаче-

нии, стоявший рядом со старичком, читавшим проповедь, завопил:

— Кондратий! Кондратий, хватай его... В милицию, в милицию звонить...

Кондратий — плечистый молодец в монашеской рясе кинулся к силуэту, который начал плавно скользить в сторону. Завопила какая-то старуха, что-то с хрустом упало, началась толчея и шум.

— Кондратий! — кричал гривастый. — Справа заходи, в нише он.

— Товарищ монах, — кричал гражданин в тенниске, — вон он... Вон выпрыгнул...

Кондратий метнулся, поднял пудовый кулак, но девушка в ситцевой кофточке вдруг кинулась между обнаженным телом и Кондратием и приняла на себя удар, предназначенный голому. Она упала, но сразу же вскочила и вцепилась Кондратию в рясу у горла. Юрий Дмитриевич начал торопливо протискиваться к ней. Лицо ее было залито кровью, бровь рассечена, и глаз заплывал, наливался синевой. Кондратий тщетно пытался оторвать ее пальцы от своего ворота, пыхтел, потом, злобно крякнув, замахнулся локтем, но Юрий Дмитриевич оттолкнул его и принял девушку к себе на грудь. Пальцы ее обмякли и разжались, а голова в сбившемся платочке завалилась. Стеклообразные бусы сползли с порванной нитки и тихо цокали о каменный пол. Кондратий сердито засопел и побежал в другой конец собора, где теперь мелькал обнаженный силуэт. В храм, неловко озираясь, со смущенными лицами вошли два милиционера. Один из милиционеров, помявшись, даже снял фуражку. Вместе с Кондратием они скрылись в соборном полумраке и вскоре показались вновь, ведя голого мужчину. Они вели его, растянув ему руки в стороны, захватив милицейским приемом, один милиционер держал его за левую руку, а второй за правую, и издали это было очень похоже на распятие Христа. Юрий Дмитриевич чувствовал, что девушка на груди у него дрожит, словно в лихорадке, лицо ее побледнело, а висок которым она прижималась к подбородку Юрия Дмитриевича, был холоден и влажен. Когда милиционеры вывели задержанного на свет, он оказался парнем лет восемнадцати, коротко стриженным, хорошо загорелым и в шерстяных белых плавках. Он криво, нетрезво усмехался. Его провели совсем рядом, и Юрий Дмитриевич, увидав наглые веселые глаза, почему-то испытал испуг и

одновременно чувство гадливости, которое испытываешь при виде крокодила или стаи крыс. Из-за икон показался Кондратий, брезгливо, на вытянутой руке неся найденный им трикотажный спортивный костюм.

— Это атеисты, богохульники, нарочно подстроили, — сказал Сидорыч, тот самый лысый, который сделал ранее Юрию Дмитриевичу замечание за неснятую тубетейку, — это они, чтоб над чувствами верующих посмеяться. Нет, верно сказано: с врагами надо бороться сперва крестом, потом кулаком, потом и дубиной.

Сидорыч ходил со списком, выискивал свидетелей. Подошел он и к Юрию Дмитриевичу как непосредственно замешанному в стычке, и Юрий Дмитриевич как-то машинально сказал фамилию и место работы. Потом Юрий Дмитриевич пошел к выходу, держа девушку за плечи и прижимая к ее рассеченной брови свой носовой платок. Девушка покорно шла с ним рядом, она была в полубморочном оцепенении. Они пересекли двор, и Юрий Дмитриевич усадил девушку на гранитный парапет забора ограждения, там, где нависающие ветки деревьев кидали тень. Бровь была рассечена неглубоко, но синяк наливался все сильнее, приобретая фиолетовый с желтизной оттенок.

— Надо бы холодную примочку со свинцовой водой, — сказал Юрий Дмитриевич, — тут, кажется, недалеко аптека.

— Холодно, — шепотом сказала девушка.

Она так дрожала, что каблук ее босоножек постукивали. Юрий Дмитриевич пересадил ее из тени на солнце, но, и сидя на раскаленном граните, она продолжала дрожать.

— Они опять убили его, — сказала девушка.

— Тише, — сказал Юрий Дмитриевич, — вам нужен покой, вам нужно лечь... Где вы живете?

— Вот здесь колет, — сказала девушка. Она взяла руку Юрия Дмитриевича и положила ее себе на грудь у левого соска. Грудь у нее была упругая девичья, и Юрий Дмитриевич невольно отдернул пальцы.

— Это сердечный невроз, — сказал Юрий Дмитриевич, — Вы не волнуйтесь, это просто нервы... Вы не ощущаете боли в руке или лопатке?

— У меня ладони болят, — сказала лихорадочным шепотом девушка, — и ступни... Где ему гвоздями протыкали... — Девушка замолчала и вдруг неожиданно слабо, но

счастливо улыбнулась, — Любовь, любовь, — повторяла она. — Как жаль, что я никогда не увижу свое сердце... Я хотела б его расцеловать за то, что оно так наполнено любовью к Христу...

Пальцы у девушки были холодные, пульс учащен.

«Надо бы вызвать скорую помощь», — подумал Юрий Дмитриевич. Он оглянулся, ища глазами кого-либо из прохожих, чтоб попросить позвонить, и увидел, что к ним торопливо приближается какой-то странный старик. У него были лохматые седые брови, длинные седые волосы и седая длинная борода. На голове — старая фетровая шляпа, глубоко натянутая. Издали Юрию Дмитриевичу показалось что он в рясе, но это оказался просто старый потертый плащ без патки, который старик носил, несмотря на жару. Ноги старика были обуты в спортивные тапочки, а на шее, рядом с крестом, небольшой овальный портрет Льва Толстого.

— Зиночка, — закричал старик, увидав ссадины на лице у девушки, — я говорил, говорил не ходи...

— Папа Исай, — сказала Зина, обняла старика, поцеловала его и заплакала, — они опять распяли его...

— Не распнут, — сказал папа Исай, — а распнут, он снова трижды воскреснет... Я на скамеечке, на скамеечке тебя ждал... Вы тоже в христианство церкви верите? — обратился он к Юрию Дмитриевичу.

— Не знаю, — сказал Юрий Дмитриевич, — не пойму я вас...

— Есть христианство Христа и христианство церкви... Читали Льва Толстого «Разрушение и восстановление ада»? Христос ад разрушил, а церковь ад восстановила.

— Я думал об этом, — сказал Юрий Дмитриевич. — То есть, о Христе и о религии вообще... Впрочем, пока надо бы вызвать скорую помощь... Или, знаете, лучше я возьму такси... Поедем ко мне... Тут недалеко... Ей надо сделать перевязку... И покой... Полежать... Вы постоите около нее, я сейчас...

Юрий Дмитриевич вышел на середину мостовой и остановил такси. Вместе с папой Исаем они усадили Зину на заднее сидение.

— Где это ее обработали? — спросил шофер.

— Упала, — ответил Юрий Дмитриевич и назвал адрес.

Когда они вышли из такси у подъезда, многие прохожие и жильцы дома останавливались и смотрели на них. И действительно, выглядели они довольно необычно. Юрий Дмитриевич был высокий, седеющий блондин с хоть и несколько похуевшим, усталым, но все-таки по-прежнему холеным лицом, в массивных в черепаховой оправе очках, в кремового цвета костюме шелкового полотна и в импортных дорогих сандалетах. Об руку он держал бедно одетую девушку с крестиком на шее, к тому ж с лицом в кровоподтеках, а с другой стороны девушку поддерживал какой-то полусумасшедший старик. Дело усугублялось тем, что в глубине души Юрий Дмитриевич стыдился своих спутников, то есть стыдился помимо своей воли, и это заставляло его еще более напрягаться, так что выскочившей из поворотни с лаем собаке он даже обрадовался, шагнул ей навстречу с таким остервенением, что громадная овчарка вдруг поджала хвост и метнулась в сторону. Юрий Дмитриевич надеялся, что Григория Алексеевича нет, но он был дома и встретил их в передней с удивлением, но сравнительно спокойно. Очевидно, он уже увидал их из окна, и первое впечатление было позади.

— Вот, Григорий, — сказал Юрий Дмитриевич. — С девушкой случилась неприятность... Впрочем, если ты возражаешь, мы поедем в поликлинику...

— Оставь, — сказал Григорий Алексеевич. — Аптечка на кухне, ты ведь знаешь...

Юрий Дмитриевич повел Зину на кухню, усадил на стул, снял пиджак, засучил рукава, быстро и ловко обработал кровоподтеки, наложил пластыри, а к синяку свинцовую примочку.

Зина сидела устало и безразлично, если ранее лицо ее было бледно, то теперь оно покраснело и обильно покрылось каплями пота. Юрий Дмитриевич вытер ей пот куском марли, затем провел в свою комнату и уложил на тахту, подсунув под голову подушку. Папа Исай по-прежнему стоял в передней, не раздеваясь, а против него так же молча стоял Григорий Алексеевич.

— Я, пожалуй, пойду, — сказал папа Исай. — Я внизу на скамеечке посижу, Зиночку подожду...

— Нет, нет, — сказал Юрий Дмитриевич. — Мы ведь с вами не договорили... Вернее, только начали... Я сейчас

говорить хочу... Я думать хочу... Снимите плащ...

Он помог папе Исаю снять плащ. Под плащом была вельветовая толстовка.

— Вы и куртку снимите, ведь жарко, — суетился Юрий Дмитриевич, становясь все более оживленным.

Папа Исай снял и куртку. Под курткой у него была свежая белая рубашка-косоворотка. Портрет Толстого висел на чистенькой муаровой ленточке.

— Я чай поставлю, — сказал Григорий Алексеевич.

— Так о чем, о чем это вы, — сказал Юрий Дмитриевич, когда папа Исай уселся за стол. — Христианство Христа и христианство церкви.

— Не церковь, а вера свела евангельское учение с неба на землю, — сказал папа Исай. — Сделала его применимым на земле.

— А вот это интересно, — подхватил Юрий Дмитриевич, подталкиваемый вовсе не словами папы Исаия, а своими мыслями, — христианство из религии превратилось в форму правления... Материализация идеала... Да, Григорий, ты вот смотришь удивленно, но мы с тобой почти всю жизнь прожили в эпоху, когда раздумья сменялись ясными лозунгами... Я не о лживых лозунгах говорю... Я о тех говорю, в которых истина... Не убивай... Не укради... Человек человеку друг... Идеалы, вместо того, чтобы парить в воздухе, твердо становились на землю, удовлетворяли сегодняшним потребностям... Допускаю, в этом была жестокая необходимость... Но это таило в себе величайшую опасность, ибо нарушало природу мышления... Я к чему это, — смешался он вдруг, приложив ладони к вискам, — ах, я об идеале начал говорить, о том идеале, который в лозунг заключен был и на землю опущен... Смысл и величие всякой мысли в итоге, в идеале, и истина всегда проста... Верно, согласен... Смысл и величие всякой горы в ее вершине, но попробуй сруби с Эвереста вершину и поставь эту вершину в поле... Получится жалкий бугорок... Идеал потому и называется идеалом, что он никогда не может быть достигнут, как кусок мяса или женщина... Материализуясь, он исчезает...

Юрий Дмитриевич обошел вокруг стола. Он чувствовал необычный прилив сил, в глазах был лихорадочный блеск, а лицу было жарко. Папа Исай прихлебывал из блюдечка принесенный Григорием Алексеевичем чай.

— Земля — земля и есть, — сказал он. — Со всячин-

кой, с требухой... Ты спаси вон этакую, а не ту воображаемую кисельную планету, каковой просто нет... Ради этого Иисус на землю сошел...

— А вот тут-то вы и запутались, — как-то радостно, по-детски выкрикнул Юрий Дмитриевич. — Это важный момент... Это очень важный момент... Я хочу с Иисусом спорить... А чтоб поспорить, я должен его признать, хотя бы временно... Я о главном, о главной мысли спорить хочу... Возлюби врага своего... Непротивление злу насилуем... На зло добром ответь... Согласен... Но только на зло утробное еще, не рожденное... Вот какое зло добра требует... Помните, у Достоевского мысль о том, что спасение всего мира не нужно, если оно куплено ценой гибели одного ребенка... В этой мысли высшее проявление человеческого гуманизма... Идеал, без которого жить нельзя... Именно идеал, который, материализуясь, исчезает, либо даже в свою противоположность превращается... Итак, я повторить хочу: главное, в чем я не согласен с Иисусом, это в трактовке им лозунга «непротивление злу насилуем», не как философского понятия, а как руководства к действию... «Возлюби врага своего» не сегодняшний лозунг, а идеал, к которому следует стремиться... Когда и врагов-то не будет... Когда человек человеку друг...

Юрий Дмитриевич замолчал. Он был так возбужден, что, едва усевшись на стул, сразу же вскочил, начал расстегивать ворот рубашки.

— То, что ты говорил, интересно, хоть и спорно, — сказал Григорий Алексеевич, — но ты успокойся, выпей чаю... Ты не спишь ночами, я слышу, как ты ходишь, когда просыпаюсь... Тебе надо бы отдохнуть... Ты обрушился здесь на лозунги, но лозунг есть мысль, оформившаяся в догму... Мысль же всякого человека конечна, имеет рождение и смерть, то есть догму, как всякое живое существо. Не оканчиваются догмой лишь мысли бесплодных мечтателей. Всякий прогресс есть движение от одной догмы к другой... Впрочем, давай пить чай...

Папа Исай между тем вздремнул, разморенный чаем и жарой. Он опустил голову на грудь, и портрет Толстого легонько постукивал о край стола. Юрий Дмитриевич подвинул к себе стакан чаю и зачерпнул варенья из вазочки, однако сразу же вскочил и, уронив варенье на скатерть, торопливо пошел в свою комнату. Зина не спала, сидела, по-детски подобрав под себя ступни, и смотрела на стену.

Лицо ее несколько порозовело.

— Мне домой пора, — сказала Зина, — я неловко себя чувствую перед вами... Вы такой занятый человек... Вы на профессора похожи...

— Нет, я не профессор, — сказал Юрий Дмитриевич, — я врач, доктор... Я обязан был вам помочь...

— Вы верующий? — спросила Зина.

И вдруг Юрий Дмитриевич понял, что сейчас, стоя перед этой наивной девушкой в дешевой кофточке, он должен уяснить для себя какие-то очень важные понятия. Причем наивность этой девушки не давала ему возможности воспользоваться своим опытом, ответить что-либо, солгать или легко сказать одну из кажущихся правд, не порывшись в своем нутре.

— Я верить хочу, — сказала он после нескольких минут молчания, — но Бога ведь нет, девушка... Нет, дорогая ты моя... Потому что веками человек так жаждал его, так мечтал о нем, как можно жаждать и мечтать лишь о том, что никогда не существовало и существовать не может...

Он сказал это с такой страстью, с такой болью, что девушка посмотрела ему в лицо и вдруг поняла его и поверила ему.

— Нету, — сказала она как-то жалобно, по-птичьи вытянув шею, — и не может... Никогда не будет, — слезы лились у нее из глаз, пока она раздумывала, но это не были слезы протеста и вообще не был плач, больше не из-за чего было протестовать и не из-за чего плакать.

— Я пошутил, — испуганно сказал Юрий Дмитриевич, — я верующий... Я в церковь хожу...

Он приблизился к девушке, прикоснулся к ее волосам и в этот момент она словно пришла в себя от шока, оттолкнула Юрия Дмитриевича, вскочила с искаженным ужасом лицом и ударила Юрия Дмитриевича кулачком в плечо, довольно больно по мускулу. Второй рукой она сбила его очки. Юрий Дмитриевич начал прикрывать лицо руками, невольно присел, сморщился, зацепив столик с вазой. Ваза грохнула, осколки заскользили по полу.

Григорий Алексеевич вбежал в комнату и несколько секунд оторопело стоял на пороге. Потом он кинулся к девушке, схватил ее за плечи и оттолкнул.

— Что? — крикнул он удивленно и испуганно. — Что здесь происходит... Что?..

— Это я виноват, — морщась, потирая ушибленное пле-

чо и шаря на полу очки, сказал Юрий Дмитриевич, — я совершил безобразный поступок...

В комнату как-то бочком втиснулся заспанный старичок. Он сладко позевывал и крестил рот.

— Папа Исай, — с плачем сказала Зина и обняла его, — папа Исай, идемте отсюда... Быстрее идемте... Бежим быстрее...

— Да, вам пора, — торопливо говорил Григорий Алексеевич. — Юрий, я на пару слов... Пойдем, пойдем на кухню...

Он взял Юрия Дмитриевича за плечи и повел на кухню.

— Юрий, — сказал Григорий Алексеевич, — звонила Нина...

— Да, — сказал Юрий Дмитриевич, — и что же...

— Она хочет видеть тебя...

— Хорошо, — сказал Юрий Дмитриевич, — как-нибудь позже... Позже увидит... Сейчас я спешу... Надо проводить...

— Они уже ушли, — сказал Григорий Алексеевич, — зачем тебе эти юродивые... Это не просто верующая, это фанатичка... Тебе не кажется, что все это может иметь неприятный резонанс... Ты человек, уважаемый в обществе... Печатаешь статьи в медицинских журналах...

— Ах, оставь, — сказал Юрий Дмитриевич, с беспокойством поглядывая через плечо Григория Алексеевича на дверь, — причем тут медицинский журнал... Ты ведь видишь, я спешу, я занят... у меня гости...

— Юрий, — сказал Григорий Алексеевич, — ты болен... И я обязан... как твой друг... как человек, который любит тебя... и Нину... Я не пущу тебя... и немедленно звоню Буху...

— Я не позволю себя опекать, — крикнул Юрий Дмитриевич так громко, что в груди у него заболело, — я перееду в гостиницу...

— Я не пущу тебя, — сказал Григорий Алексеевич, — хочешь драться со мной... устроить коммунальный скандал...

— Гриша, — сказал Юрий Дмитриевич неожиданно тихо, — пойми, мне надо... пойми... Я спать не буду... Я перед этой девушкой подлость совершил... Может, я и нездоров... Я сам пойду к Буху... Вот закончу дела и — на юг... Отдохнуть надо... Хочешь, вместе поедем...

— Ладно, — сказал Григорий Алексеевич, — что с тобой

делать.. Только умойся... Посмотри, какой дикий вид у тебя...

— Некогда, — сказал Юрий Дмитриевич. — Они уйдут... Исчезнут...

Он торопливо пригладил волосы, выскочил на лестничную площадку и не стал ждать лифта, бегом пустился вниз. Он пробежал три лестничных пролета и на площадке второго этажа столкнулся с Зиной, едва не сбив ее с ног.

— Простите, — оторопело и обрадованно сказал он, — я вас искал... Как хорошо, что я не поехал лифтом... Какая удача...

Зина посмотрела на него, и вдруг наклонилась, прижалась губами к его руке, а затем опустила и поцеловала его ноги, обе пыльные сандалеты...

— Что вы делаете, — растерянно крикнул Юрий Дмитриевич, — ради Бога, встаньте, ради Бога...

Сверху загоготали. Этажом выше свешивались через перила две расплывшиеся физиономии. Юрий Дмитриевич так и не понял, мужские ли, женские ли.

— Эй вы, низкопоклонники, — за руб оближите мне босоножки!

А вторая запела: — Что случилось, что случилось, кто-то чей-то выбил зуб...

— Вы мерзавцы, — крикнул Юрий Дмитриевич.

— Он ругается, — сказала одна физиономия, — он морщится... По-моему, у него начались желудочные беспорядки...

— Не видишь, он вооруженный ненормальный, — сказала вторая физиономия, — он сейчас петушком закричит, он сейчас гармошкой заплачет...

— Более всего страшишь отомщения злодейству людскому, — тихо сказала Зина, — я виновата перед вами и перед этими людьми, и перед всеми... Я усомнилась в Господе... Помрачение нашло... Я вам боль причинила и искупить хочу... Я служить вам буду... Я ноги вам мыть буду и пить воду ту...

— Что вы, — сказал Юрий Дмитриевич, — это я перед вами... Вы простите... Пойдемте вниз, я вас домой отвезу.

У подъезда их ждал папа Исай.

— Ну вот, — сказал папа Исай, — вижу я, лица у вас покойные теперь... Красивые у вас теперь лица...

— Я Зину домой отвезу, — сказал Юрий Дмитриевич.

— Хорошо, — сказал папа Исай. — А я на электричку

пойду. В лес поеду. На травке полежу, птичек послушаю...

Он снял шляпу, поклонился им, пошел вдоль стены и свернул за угол.

— Вам куда? — спросил Юрий Дмитриевич.

— Мне далеко, — сказала Зина, — на самый край города... Вам беспокойство одно... Лучше уж я к вам приду... Если пол помыть надо или постирать...

— Нет, нет, — сказал Юрий Дмитриевич, — я отдаю в прачечную. А насчет беспокойства, не волнуйтесь... Мне это приятно...

Они взяли такси и поехали. Ехали они долго и все время молчали. Лишь изредка Зина объясняла шоферу дорогу. Наконец, они приехали. Это был уже загород. Невдалеке на бугре виднелись остатки какой-то деревеньки с погостом и церквушкой. Окружавшие ее ранее поля ныне были перекопаны траншеями и котлованами, среди которых уже высилось несколько пятиэтажных стандартных коробок. Поля же отступили за речку, болотистый приток большой реки, текущей через город. Слева были полуобвалившиеся стены монастыря, покрытые мхом, а также росшими прямо меж кирпичей и из бойниц веточками. В одной из башен была керосиновая лавка, стояли железные бочки.

— Я здесь живу, — сказала Зина, — раньше я вон там, в деревеньке жила, но нас снесли и переселили в монастырь.

Они обошли вокруг и вышли к массивным, обитым ржавым железом, воротам. Неподалеку среди бурьяна валялся ржавый ствол старинной пушки. В воротах была проделана небольшая калитка из свежеструганных досок, а к калитке кнопками приколоты бумажка, на которой коряво печатными буквами значилось: «Просьба хорткой не хлопать, полегше стучать».

Они протиснулись в калитку на тугой пружине, прошли под гулко отражающей шаги аркой и вышли в булыжный, поросший травой двор. Посреди двора стояла полуразрушенная, серого цвета церковь со следами пожара, прошедшего давно, очевидно, еще в войну. Стрельчатые окна церкви были пусты и из них тоже росли веточки. Застекленными были лишь подвалы, где сейчас располагались склады горторга, стояли ящики с бутылками. Ящики, мешки, проволоки, бочки стояли и во дворе, под громадными, в три обхвата, дубами. Дубы были так стары, что кора на них во многих местах слущилась и на стволе образовались лысины. Под навесом у стены, на которой еще сохранилась

какая-то закопченная фреска, устроили свой склад строители, стояли унитазы, газовые плиты и лежали бумажные мешки с цементом. Поодаль, в глубине двора, было белое оштукатуренное здание в два этажа, очевидно, построенное уже позднее. У входа, задрав стволы стояли две старинные пушки на деревянных лафетах.

— Там раньше музей был, — сказала Зина, — а теперь комбинат инвалидов. Я там надомницей работаю, кофточки вяжу. У нас собрание должно быть, будут ругать за то, что план не выполняем... Я узнать должна — или сегодня вечером, или завтра... А сейчас в цехе глухонемых собрание...

В это время возник какой-то шум и из дверей здания появился всклокоченный человек в разорванной майке. Его вел, скрутив ему единственную руку за спину, приземистый мужчина в темных очках, полувоенном френче и синих брюках.

— Перегудов шумит, — сказала Зина, — каждый день напьется и драться приходит то за расценку, то за вычет по прогулу... Если б он не инвалид, его б давно посадили... Он и жену бьет... А тот, в очках, — Аким Борисыч, член правления... Он мне комнату отдельную выхлопотал, но я его боюсь, — сказала она и вдруг доверчиво прижалась к Юрию Дмитриевичу. У нее было теперь обычное девичье лицо, немного испуганное и беспомощное, глаза голубые, кожа на щеках нежная, с легким пушком, и Юрию Дмитриевичу стало приятно чувствовать своим телом сквозь одежду теплое ее тело.

Следом за Перегудовым и Аким Борисычем высыпало несколько человек, судя по жестам, глухонемых. Они оживленно размахивали руками и улыбались. Вдруг Перегудов рванулся, выскользнул и, подхватив валяющуюся палку, кинулся на Аким Борисыча. Аким Борисыч не стал уклоняться и суетиться, а наоборот, застыл, приподняв голову, вытянув вперед руки и расставив пальцы, как гипнотизер, слегка поворачиваясь корпусом, словно обнюхивая пальцами воздух, затем сделал молниеносное движение, выловил руку Перегудова с палкой из воздуха, зажал ее, и Перегудов беспомощно зашевелил обрубком второй руки, будто плавником, а Аким Борисыч начал хлестать его по лицу своей рукой, и от хорошо развитых чувственных пальцев Аким Борисыча оставались на шее и щеках Перегудова полосы.

Юрий Дмитриевич кинулся к ним и тут же ощутил на

щеке своей удар, причинивший сильную боль, но еще более испугавший, ибо это был не удар человеческой руки, а какого-то тугого лапта.

— Это не он, — крикнула Зина, это не Перегудов... Перегудов убежал...

Перегудов действительно, воспользовавшись суматохой, вырвался и побежал к воротам.

— Чего вы вмешиваетесь, гражданин, — сердито сказал Аким Борисыч. — Я этого хулигана хотел постовому сдать. Хватит прощать. Он в бухгалтерии чернильницу перекинул, пишущую машинку разбил.

Аким Борисыч сердито сплюнул и пошел к дверям кабинета. Глухонемые тоже ушли.

— Глупый сегодня день, — сказал Юрий Дмитриевич, — драки. Бьют нас с вами, Зина.

— Ничего, — сказала Зина. — Это, может быть, к лучшему. Это, может, Господь из нас грехи выбивает.

— Он слепой? — спросил Юрий Дмитриевич, держась за ноющую щеку.

— Он слепорожденный, — сказала Зина. — Какой он инвалид, если с малых лет привыкший... Я сейчас, я только насчет собрания узнаю, — и она пошла к белому зданию.

Юрий Дмитриевич постоял немного во дворе, огляделся, где бы присесть в тени, а затем тоже пошел к белому зданию. От самой двери тянулся длинный коридор, в котором пахло разваренной картошкой. Очевидно, где-то за одной из боковых дверей была столовая или буфет. Юрий Дмитриевич невольно сглотнул слюну и вспомнил, что с утра ничего не ел. Он пошел на запах, но затем остановился, ибо подумал, что может разминуться с Зиной. Он стоял перед дверью, которая была полуоткрытой, очевидно, чтобы проветрить довольно большую комнату, чуть ли не зал, где шло собрание. На скамейках тесно сидело множество мужчин и женщин, а перед ними был стол, за которым сидело несколько человек, наверное, президиум, и стояла трибуна. На стене висел длинный транспарант, на котором аршинными буквами значилось: «Глухонемые в СССР пользуются всеми гражданскими и политическими правами наравне со слышащими». К двери было приколото художественно выполненное завитушками объявление о собрании. Первый пункт был: производственные вопросы. Второй пункт: персональное дело столяра Шмигельского. По всей вероятности, сейчас разбирался пункт второй, а стоя-

щий у трибуны человек и был столяр Шмигельский. Он покаянно прикладывал ладони к сердцу, клятвенно стучал себя кулаком в грудь и часто прикасался пальцем то к концу своего носа, то к мочке уха. Присмотревшись повнимательнее, Юрий Дмитриевич предположил, что прикосновение к носу означает имя горбоносого седого старичка, сидевшего в президиуме. А прикосновение к мочке уха — имя председателя, тщетно пытавшегося установить порядок, ибо глухонемые на скамьях сердито жестикулировали все вместе и, как это ни странно, или это Юрию Дмитриевичу показалось, гул висел в зале, как от множества голосов. В это время подошла Зина. От нее и узнал в подробностях Юрий Дмитриевич историю проступка Шмигельского. Если слышавший Перегудов был старый отъявленный хулиган, то глухонемой Шмигельский до этого вел себя тихо и примерно, и поступок его был для всех неожиданным. Правда, имелись обстоятельства, которые не то что оправдывали, но объясняли этот проступок. Столяр Шмигельский совершил три невыхода на работу из-за болезни жены, бюллетень во время не представил, и бухгалтерия не оплатила ему деньги, как за прогулы. Столяр Шмигельский пришел в бухгалтерию объясняться. Счетовод расчетного отдела Хаим Матвейч, тот самый горбоносый старичок, не был глухонемым, но довольно хорошо усвоил их речь, умел с ними разговаривать жестами, и глухонемые его любили и уважали. Однако в этот раз Шмигельский слишком горячился, размахивал в беспорядке руками, и Хаим Матвейч за пятнадцать лет работы с глухонемыми впервые ничего не мог понять, что в свою очередь начало его раздражать. Между Шмигельским и Хаимом Матвейчем возникла некая беспорядочная перепалка, в результате которой, находясь в сильном возбуждении, Шмигельский захватил пальцами свой нос и начал раскачивать его из стороны в сторону. Поскольку среди местных глухонемых этот жест носил антисемитский характер и при этом присутствовал подошедший председатель профкома, делу был дан законный ход. Такова была предыстория бурного собрания, очевидно, приближавшегося к концу, так как после нескольких жестов председателя глухонемые единогласно проголосовали поднятием руки, а раскаявшийся Шмигельский долго обнимал Хаима Матвейча. Хаим Матвейч согнул свою правую руку в локте, большой и указательный пальцы соединил концами, образовав колечко, а тремя другими пальцами быстро пошеве-

лил. Это вызвало аплодисменты и ликование глухонемых. Собрание кончилось. Гремя скамьями, глухонемые вставали и выходили, продолжая обмениваться впечатлениями. Юрий Дмитриевич и Зина тоже вышли на улицу.

— Пойдемте ко мне, — сказала Зина. — Вы, наверно, голодны... Я вас покормлю...

Зина жила в одноэтажном, с толстыми стенами строении. Комната ее была небольшой кельей с овальным, забраным решеткой окошком. Стены были оклеены обоями, сквозь которые проступали сырые пятна. В комнате было довольно чисто и уютно. Стоял диван старого образца, но не потрепанный, со свежей клеенкой. На полках, вмонтированных в верхнюю часть спинки дивана, располагались всякие безделушки: целлулоидные уточки, фарфоровые слоники, две одинаковые фарфоровые узбечки в тюбетейках и шароварах, сидящих, поджав ноги. Причем одна узбечка была цветная, а вторая некрашенная — очевидно, брак или второй сорт. В углу под иконой лежали на специальной подставке мотки шерсти, спицы и кофточка с недовязанным рукавом. На стене висела репродукция картины «Явление Христа народу». Стол был импортный, финский, полированный, белый с черной полосой по краям. В противоположном от икон углу за ширмой располагалось некое подобие кухни. Там стоял кухонный столик, прикрытое дощечкой эмалированное ведро с водой, висели на вбитых в стены гвоздях кастрюли.

Юрий Дмитриевич уселся на диван, вытянув ноги, похрустывая суставами, и с наслаждением вдохнул запах жареного лука из-за ширмы, где Зина возилась с керогазом.

В дверь постучали два раза, потом через промежуток еще три раза. Зина торопливо пошла к дверям, вытирая о передник мокрые руки. Юрия Дмитриевича поразила происшедшая с ее лицом перемена. Оно было испуганным, растерянным, и маленькие уши стали пунцовыми. На пороге стоял Аким Борисыч, свежестриженный, надушенный, с букетиком цветов.

— Заходите, Аким Борисыч, ужинать будем, — суетилась Зина.

Аким Борисыч сунул ей букетик прямо в лицо и потрепал ладонью по щеке, правда, первоначально он чуть-чуть ошибся и пальцы его скользнули по затылку, потом быстро нащупали щеку. Аким Борисыч улыбнулся, но сразу же улыбка погасла, он тревожно, неестественно твердо и четко

для живого человека выпрямился, как тогда перед Перегудовым, и черные очки его, словно окуляры какого-то кибернетического механизма, начали ощупывать комнату, пока не застыли на Юрии Дмитриевиче. Юрий Дмитриевич почувствовал, как по спине пополз от поясицы к лопаткам легкий ночной холодок.

— Это Юрий Дмитриевич, — торопливо сказала Зина, — мой знакомый...

Лицо Аким Борисыча, словно повинувшись новому сигналу изнутри, мгновенно утратило механическую твердость, расплылось в улыбку.

— Я вас нечаянно ударил, вы простите, — сказал он и, шагнув точно по направлению к Юрию Дмитриевичу, протянул руку.

Юрий Дмитриевич растерянно посмотрел на свою ладонь, а затем с отчаянием выбросил ее вперед, точно просовывал ее в шкив машины. Пожатие Аким Борисыча было мягким, эластичным, слишком мягким и нежным для живого человека, просто машина работала в другом режиме, и это еще более испугало Юрия Дмитриевича.

— Вы тоже религиозный? — спросил Аким Борисыч.

— Я, собственно, врач, доктор...

— Понятно, понятно, — сказал Аким Борисыч. — Это хорошо, что у Зины появляются такие знакомые... А то ее окружают какие-то церковники... Надо бы вырвать ее из религиозных пут...

— Аким Борисыч, — сказала Зина. — Я ведь план выполняю... Вера моя работе не мешает.

— Да я не о работе, — сказал Аким Борисыч. — Религия тебе жить мешает. Тебе надо встретить хорошего человека, семью иметь... Я ей комнatenку выхлопотал, хоть промкомбинат и недавно организовали... Глухонемых, слепых и прочих инвалидов соединили вместе... Правильное мероприятие... Управленческий аппарат сокращает...

Он присел к столу, вынул из плетеной корзиночки, которую держал, бутылку водки и банку маринованных помидор. Зина поставила большое блюдо со свежими нарезанными огурцами и луком, политыми подсолнечным маслом, блюдо вареной молодой картошки, пересыпанной шпипящими шкварками, и нарезанное толстыми слоями светлокоричневое копченое сало. Они выпили по первой за Зину. Юрий Дмитриевич закусывал всем вперемежку: пожевал кусочек сала, пару ломтиков огурцов, две картофелины. Он быстро

охмелел, а после второй рюмки уже запросто подвинулся к Аким Борисычу и спросил:

— Вы слепорожденный?

— Да, — сказал Аким Борисыч, движения которого потеряли четкость, — я часто думал про вас, — он презрительно усмехнулся, — про зрячих... Несчастливые вы... Я ваши книги читаю... Специально чтеца нанимаю... Все несчастья ваши оттого, что вы видите... Глаза — это орган порабощения человека внешним пространством... Вот, например, такое понятие — красота... Недоступна она вам... Вы ей принадлежите, а не вам она... Красоту взять только наощупь можно...

— А зачем ее брать, слепорожденный, — сказал Юрий Дмитриевич, начавший испытывать почему-то сильное сердцебиение, как при оскорблении национальной чести, — может, потому она и красота, что недоступна... И как только доступна станет — испарится... Вы когда-нибудь видели... Вернее, вы когда-нибудь представляли себе звезды... Не в январе, когда они маленькие и неприятные, а в августе, когда они густо кишат, — он понимал, что задавать подобный вопрос жестоко и все-таки задал его, потому что слепорожденный его сильно раздражал. Однако слепорожденный в ответ только весело рассмеялся.

— Я знаю из учебника астрономии, — сказал он, — звезды это тоже жара или холод... Внешний вид обман... Реальность — это прикосновение... Иногда я вижу сны и мне снятся только прикосновения... Мне снится твердое или мягкое, жаркое или холодное, мокрое или сухое...

— А форма, — спросил Юрий Дмитриевич, испытывший уже совсем новое чувство, вернее, предчувствие чего-то неизведанного, хоть и находящегося рядом, — вы ведь ощущаете линию плоскости...

— Вы путаете меня с ослепшим, — сказал Аким Борисыч. — Это совершенно жалкие люди... Хуже зрячих... Они тоскуют по своему рабству... Меня воспитала мать, которая тоже была слепорожденной... А отец мой был ослепший... Это был жалкий человек... Просыпаясь утром, он ругался и плакал... Он кричал, что ненавидит темноту, а напившись, пьяным пугал меня вечной темнотой... Глупец... Единственное, что я не могу себе представить даже приблизительно, это темноту... Форму же я представляю себе, линию, выпуклость, но всегда она должна быть либо теплой, либо острой, либо мокрой... Однажды я тяжело заболел и представил в

бреду три линии, пересекающиеся между собой концами, и эти линии лишены были ощущений... Мне показалось, что они с трех сторон сдавили мне голову... И мне показалось, что я либо умер, либо разом понял нечто великое...

— Это треугольник, геометрическая фигура... — сказал Юрий Дмитриевич. — Вы увидели его в бреду, как зрячий... — и вдруг он подумал, что перед ним сидит не человек, а какое-то другое мыслящее существо, просто приспособившееся к жизни среди людей и перенявшее их привычки. Минуту-две Юрий Дмитриевич смотрел на Аким Борисыча с напряженным вниманием, пока тот не протянул руку и не зачерпнул салат, правда, неловко, рассыпав по скатерти, он был в некотором волнении.

— Со мной тоже такое бывало, — тихо сказал Юрий Дмитриевич, — сегодня утром на ступенях... Знаете эту крутую улицу, которая упирается прямо в небо... Тротуар там сделан асфальтовыми ступенями... А сверху гремит соборный колокол...

Аким Борисыч зачерпнул новую порцию салата, уже подтверже, видно, он справился со своим волнением, а рассказ Юрия Дмитриевича об асфальтовых ступенях не тронул его.

— Тут в деревне в церквушку один слепой ходит, — сказала молчавшая до этого Зина, — святой человек... Истощил себя, молитвой да хлебом живет...

— Это ослепший, — сердито сказал Аким Борисыч, — я уверен, это ослепший, а не слепорожденный... Слепорожденный весь внутри себя живет... На что ему Бог... Бога зрячие выдумали, чтоб оправдать порабощение свое... Пройдут тысячелетия или миллионы лет, и человек слепым рождаться будет...

— Возможно, — сказал Юрий Дмитриевич, — только глазницы останутся, как копчиковые позвонки от хвоста. Но это будет не человек, а какое-то другое мыслящее существо... Целиком погруженное не во внешний мир, а в свой мозг... И каждому ребенку среди этих существ будут понятны такие глубины, какие недоступны и Эйнштейну. Но внешний вид треугольника они увидят мозгом в результате тысячелетних усилий лучших умов и может быть это и будет пределом развития их цивилизации... Ибо они будут двигаться в противоположном от человеческой цивилизации направлении... От познания к разглядыванию... И может быть это и есть антимир и античеловек...

Кончив говорить, Юрий Дмитриевич вдруг с удивлением заметил, что не сидит, а лежит, упираясь лбом в острый край стола, и на лбу у него образовался щемящий пролежень. Аким Борисыч же не слушает его, он давно рассеялся и шепчется с Зиной.

— Я провожу Аким Борисыча, — сказала Зина, правда, с каким-то беспокойством, точно нехотя, — вы водой лицо сбрызните, совсем раскисли...

Аким Борисыч встал, вежливо кивнул и пошел к дверям немного нетвердо, так что зацепился даже плечом о косяк. Зина накинула платок и вышла следом.

III

Юрий Дмитриевич сидел, испытывая легкое головокружение, которое, как казалось ему, было вызвано беседой со слепорожденным. Под окном зашумели, завозились, раздалось даже нечто похожее на слабый вскрик. Юрий Дмитриевич посмотрел туда с тревогой, но быстро забылся, снова погрузившись в мысли. Он взял маринованный помидор и сидел так, посасывая прохладный, приятно горчащий помидорный сок. Вошла Зина. Платье на груди ее было разорвано.

— Совсем осатанел, — сердито сказала Зина. — Страх бы имел Божий, слепой ведь... Выходи, говорит, за меня... Брось кофточки вязать... У меня дом свой, сад... Не пойдешь, я тебя как паразитический элемент... Милиция к тебе давно присматривается, ты молодежь в секты втягиваешь... А разве я сектантка?.. Я в церковь хожу, — Зина присела к столу и заплакала.

— Ничего, — сказал Юрий Дмитриевич, обойдя вокруг стола и присаживаясь рядом, — мы с ним справимся... Не бойся.. Я позвоню завтра же... Я поставлю в известность... Он скрыл происхождение... Это античеловек... Это существо другой цивилизации...

Юрий Дмитриевич осторожно погладил Зину по волосам, волосы у нее были мягкие каштановые, они приятно щекотали шею и подбородок Юрия Дмитриевича.

— Котеночек ты мой маленький, — сказал Юрий Дмитриевич, — дай я потрогаю твои ушки, дай я поглажу твой хвостик... — он говорил долго и произнес много глупостей, но, странно, ему было приятно чувствовать себя глупым и

восторженным, как влюбленный дурак — десятиклассник.

— Ты старый уже, — сказала Зина, — седой совсем... Но ты мне нравишься... Ты добрый... И лицо у тебя красивое... — она поцеловала его в щеку и выскользнула из-под руки, мгновенно как-то из богомолки превратившись в озорную девушку.

— Я тебе сейчас погадаю, — сказала Зина весело, от прежнего страха не осталось и следа, — сейчас узнаем судьбу...

Она нашла в углу старое одеяло и завесила окно, достала из комода коробочку, в которой была чистая просеянная зола пепельно-серого цвета, насыпала эту золу в неглубокую фарфоровую тарелку ровным слоем, налила чистой воды в стакан и поставила стакан этот посреди тарелки на золу, а вокруг тарелки укрепила три свечи. Потом она взяла толстое червонного золота кольцо и бросила его в стакан.

— Сиди тихо, — шепотом сказала она. — Не оглядывайся, смотри на свечи.

Юрий Дмитриевич, чтобы доставить ей удовольствие, сидел тихо, внутренне скептически улыбаясь, хмель прошел, голова была ясная и пустая, словно после сна, но постепенно Юрием Дмитриевичем вновь начала овладевать дремота, свечи трещали, пахло угаром и над головой вдруг зазвенели тоненько колокольчики, раздался мощный удар, затем второй, но не удар уже, а легкое царапанье, точно языком колокола лишь провели по меди и сразу все заглохло.

— Смотри, — шепотом сказала Зина.

Юрий Дмитриевич наклонился и без особого теперь удивления, как само собой разумеющееся, увидел в кольце домик. Домик стоял на бугорке, в нем было два окошка и переднее окошко светилось.

— Домик на горке, — сказала шепотом Зина, — видишь... И переднее окошко светится...

— Вижу, — ответил тоже шепотом Юрий Дмитриевич, — и мне приятно... А это колокол бил... Странно...

— Это старые часы на крыше, — сказала Зина, — они сломаны, но иногда начинают бить... Иногда я просыпаюсь ночью от их звона... — она быстро задула свечи и в темноте Юрий Дмитриевич обнял ее.

— Я хочу с тобой встретиться завтра, — сказал он, — я женат, однако развожусь с женой... Она изменила мне двадцать лет назад, это теперь достоверно установлено.

— Приходи, — ответила Зина, — днем я дома бываю... Я в деревенскую церковь с утра хожу, в собор я редко езжу... Ты Аким Борисыча берегись, он про тебя спрашивал.

— Ничего, — сказал Юрий Дмитриевич и поцеловал Зину куда-то мимо губ, в подбородок.

Когда он вышел на улицу, была уже глубокая ночь, очень теплая и лунная. Он чувствовал себя сильным, помолодевшим и шел, упруго отталкиваясь от земли. Легкий ветерок, имевший свободный доступ со стороны реки сквозь кусок рухнувшей стены, приятно освежал лицо и шелестел ветвями дубов. В глубине двора виднелась худая фигура глухонемого столяра Шмигельского. Шмигельский стоял среди мешков с цементом и унитафов, подняв обе руки к голове, и с наслаждением натирал свой нос, раскачивал его из стороны в сторону. Запрокинутое лицо Шмигельского было освещено луной, глаза закатились, рот был полуоткрыт, лишь короткие мучительные и сладострастные вздохи вырывались время от времени из груди его.

Некоторое время Юрий Дмитриевич пребывал в состоянии неясном для себя, затем вспомнил что-то, прикоснулся пальцем к концу своего носа.

— Рукоблудие, — сказал он. — Манутация... Искусственное раздражение с целью удовлетворить чувство... Антисемитизм, приносящий половое наслаждение... Половой расизм... Это для патолога-физиолога... Патология вскрывает суть...

Юрий Дмитриевич понимал, что Шмигельский глух, и все-таки он говорил, протянув к нему ладони, освещенные луной. С протянутыми же ладонями остановился он на перекрестке, это было уже в другом мире, маленький палисадник был окружен забором из кирпичных тумб, меж которыми закреплены были металлические трубы. В палисаднике сильно пахло влажной землей и цветами. Юрий Дмитриевич лег на траву, опираясь на локти, чтоб не помять цветы, сунул голову в клумбу и закрыл глаза, испытывая наслаждение не только от запаха, но и от прикосновения лепестков и листьев к своей коже. Потом он шел по пустым улицам, в домах освещены были только подъезды, изредка его обгоняло такси, одно даже остановилось, выглянул шофер, но, очевидно, приняв Юрия Дмитриевича за пьяного, поехал дальше. Уже начало светать, когда Юрий Дмитриевич вышел к центру, к улицам, на которых он бывал ежеднев-

но. Он постоял перед библиотекой республиканской Академии наук со старинными фонарями перед входом. Здесь он часто работал, писал диссертацию. Теперь же он просто остановился и вздохнул, сам не поняв о чем. На улицах начали появляться первые прохожие, дворники шуршали метлами, прополз трамвай, но было всего половина шестого, и Юрий Дмитриевич решил еще немного погулять, чтоб не будить так рано Григория Алексеевича. Он пошел к дому, когда не только крыши, но и верхние этажи уже были освещены солнцем. Он позвонил, и за дверью сразу же послышались шаги, не шаги, а топот, словно кто-то бежал. Дверь стремительно распахнулась, и Нина кинулась ему на шею, обняла и заплакала.

— Зачем, — крикнул Юрий Дмитриевич подходящему из глубины коридора Григорию Алексеевичу, — что здесь происходит? — ему приходилось запрокидывать голову, чтобы отстраняться от поцелуев жены. — Мне неприятна эта женщина... А теперь вообще... Я, кажется, люблю другую... Боже мой, когда я кому-нибудь неприятен, я стараюсь обходить его десятой дорогой...

— Хорошо, — всхлипывая, говорила Нина, — я уйду... Но ты разденься, ложись... Я так беспокоилась... Григорий Алексеевич мне позвонил... Мы всю ночь на ногах... Мы звонили, ездили...

— Григорий, — сказал Юрий Дмитриевич, — ты ведь умный человек... Я так замечательно провел день... Ночь... Я так много нового повидал... О многом думал... Я расскажу тебе...

— Потом, — сказал Григорий Алексеевич — Сейчас ты примешь ванну и в постель... А потом мы поговорим...

Теплые струи воды из-под душа освежили Юрия Дмитриевича.

— Я сегодня много думал о христианстве, — сказал он, — о религии... Религия есть начальная стадия познания... Ибо придание формы человеческому незнанию есть первый шаг познания... Но она слишком рано застыла в догму...

Он слышал, как всхлипывает Нина, и ему стало стыдно, что он голый говорит какие-то серьезные слова. С этим чувством стыда он и заснул, и может потому ему снились кошмары. Сначала в окна, хоть жил он на седьмом этаже, заглядывали какие-то подростки, а потом один кинул сквозь стекло, не разбив его однако, какой-то предмет, напо-

минающий футбольную камеру, но только продолговатую. Потом началось вовсе нечто путаное. Ходили призраки и сквозь тела их просвечивали красные позвоночники. Большой товарищ, кто именно — осталось непонятным — исчез, и в кровати у него оказалось два толстых веселых повара.

— Повара, — крикнул Юрий Дмитриевич, — любите друг друга. — И в ответ повара весело расхохотались.

Возможно, смех этот и разбудил Юрия Дмитриевича. Был уже вечер. Нина и Григорий Алексеевич сидели поодаль у стола, а у кровати сидел Бух, маленький, чистый, в свежей рубашке с перламутровыми запонками, и дышал в лицо мятными лепешками.

— Здравствуйте, коллега, — сказал Бух.

— Здравствуйте, Бенедикт Соломонович, — сказал Юрий Дмитриевич и привстал на локте. — Что, *delirium*¹⁾?.. Или уже *amentia*²⁾.

— Юрий Дмитриевич, — сказал Бух, — я глубоко уважаю вас, как талантливого патолога-анатома, как умного и интересного собеседника... Однако сейчас я прошу вас быть благоразумным... Вы переутомлены, и если вы не пройдете курс лечения, то можете заболеть тяжело и серьезно.

— Ну и что же, — сказал Юрий Дмитриевич. — Допустим, я заболею... Или уже заболел... Но ведь я постиг вещи, недоступные вам... Что мы знаем о человеке? Наши познания о человеке на уровне представления философов прошлого о земле, как о плоском предмете... Например, можете ли вы себе представить мои ощущения на асфальтовых ступенях, когда я шел к небу и гремел колокол... Или кольцо... Я сам видел, как в кольце, опущенном в стакан с водой, возник домик на холме, и переднее окошко светилось...

В комнату вошла медсестра, очевидно, ранее она сидела в кабинете Григория Алексеевича. Сестра вынула ампулу и вставила в шприц иглу, о чем-то тихо разговаривая с Бухом. Потом медсестра взяла Юрия Дмитриевича за руку, приподняла рукав рубашки, Юрий Дмитриевич почувствовал запах проспиртованной ваты, почувствовал, как игла мягко вошла в тело и покорно опустился на подушку.

Ночь он проспал спокойно. Лишь перед самым пробуждением ему приснилось, что Бух не ушел, по-прежнему сидит, правда, не на стуле, а прямо на кровати поверх одея-

¹⁾ *delirium* — безумие (лат.).

²⁾ *amentia* — бессмыслие (лат.).

ла, в пижаме и белых кальсонах. Это развеселило Юрия Дмитриевича и, проснувшись, он долго лежал и улыбался. Несмотря на слабость и голокружение, чувствовал он себя хорошо. Завтракал Юрий Дмитриевич, сидя на постели в пижаме. Нина подала ему чашку жирного бульона, в котором плавала куриная печенка и, поскольку из-за слабости Юрию Дмитриевичу трудно было удержать чашку на весу, Нина поддерживала пальцами донышко. В одиннадцать пришла медсестра делать укол. У медсестры были мягкие нежные пальцы, и Юрий Дмитриевич спросил ее почему-то:

— Вы замужем?

— У меня уже дочка замужем, — сказала медсестра, — студентка... Вам экзамен сдавала...

— Это интересно, — сказал Юрий Дмитриевич, — наверно, красивая девушка... Знаете, я подумал, все-таки человек должен часто влюбляться... Любить он может одну, но влюбляться часто... Это ведь такое очищение, такое обновление... А как же мораль? спросите вы. Но в конце-то концов бром оказывает нам неоценимую услугу... Микстура Бехтерева и так далее... Несмотря на то, что бром — яд и ведет к удушью, ожогу легких при неумелом обращении...

— Лежите спокойно, — сказала медсестра, — я сломаю иглу...

Пришел Бух.

— Ну, молодцом, — повторял Бух, осматривая его. — Ну, молодцом.

Бух торопился на какое-то заседание и был, несмотря на жару, в черном костюме с белым платком, выглядывающим из кармана. В угол Бух поставил свой тяжелый портфель с чемоданными замками. Юрий Дмитриевич вспомнил, как Бух сидел на постели в белых кальсонах, и расхохотался. Бух вытер руки платком, не белым — декоративным, а клетчатым, который он достал из бокового кармана, отошел и начал что-то тихо говорить Нине.

Обедали, сидя у стола. Юрий Дмитриевич отказался обедать в постели, встал и даже натянул поверх пижамных штанов серые брюки. На обед был очень вкусный овощной суп, отварная телятина, свежие парниковые помидоры и клубника.

Григорий Алексеевич сегодня побывал с комиссией где-то за городом, где разваливалась старинная церквушка XII века, приспособленная под склад. Он начал было делиться впечатлениями, возмущаться, но Нина мигнула ему и он

перевел разговор на какие-то пустяки. Перед концом обеда позвонил телефон. Григорий Алексеевич снял трубку и сказал:

— Да. Но он болен... Он не может...

— Это меня, — крикнул Юрий Дмитриевич и кинулся к телефону, опрокинув блюдо с клубникой, — это Зина...

— Это не Зина, — сказал Григорий Алексеевич.

Но Юрий Дмитриевич вырвал у него трубку и крикнул:

— Зина, я думал о тебе... Я мечтал о тебе... Ты хорошая девушка, но у тебя тело не разбужено... И ты неправ... Ты ошибаешься... Угасание человеческой жизни должно быть физиологическим... Человек должен изжить себя, по ступеням приближаясь к чему-то высшему, то, что ты именуешь Богом, а я отказываюсь как-либо конкретно именовать, ибо не в наименовании суть... Человек должен пройти грех, искушение, страсть, боль, не минуя ни одной ступени... Легче всего быть праведником, либо злодеем...

Нина пыталась вырвать у него трубку, однако он отталкивал ее и замолк, лишь услышав на другом конце провода какие-то тревожные голоса... Видно, там положили трубку, но не на рычажок, а, очевидно, на стол. Потом в трубке щелкнуло и женский голос сказал:

— Юрий Дмитриевич, это говорит Екатерина Васильевна, секретарь зам. директора. Здравствуйте.

— Здравствуйте, — ответил Юрий Дмитриевич.

— Вы извините, мы вас потревожили... Вы нездоровы...

— Нет, ничего, говорите, — сказал Юрий Дмитриевич.

— Николай Павлович просит вас зайти, но я доложу, что вы нездоровы...

— Нет, я зайду, — ответил Юрий Дмитриевич. — Легкое недомогание... Завтра зайду...

Он повесил трубку и сел, прикрыв лицо ладонями...

— Странная все-таки со мной произошла история, — сказал он. — Григорий, тебе никогда не приходила мысль, что слепорожденный в любой момент может коснуться рукой Большой Медведицы или Кассиопеи... Собственно говоря, что такое для слепорожденного звезда... Это раскаленное газообразное вещество, которое можно получить в любой лаборатории... И одев специальное предохранительное приспособление... Но это уже технические подробности... Слепорожденный не может жить по нашим законам, ибо наш идеал для него быт, а наш быт для него идеал... Он хитрый. Он приспособился... Это лазутчик... И если через

тысячу лет они овладеют землей, то проявят по отношению к нам меньшую терпимость... Они нам будут попросту выкалывать глаза... Григорий, наша цивилизация слишком беспечна... Человек — это зрячее существо, и он должен бороться за свои глаза...

Сильная боль возникла вдруг в глубине черепа и ослепила Юрия Дмитриевича. Нина опустилась на колени и, глотая слезы, расстегнула, стащила с Юрия Дмитриевича брюки. Вдвоем с Григорием Алексеевичем они перенесли Юрия Дмитриевича на постель. Григорий Алексеевич позволил Буху. Бух приехал через пятнадцать минут, он вернулся с заседания буквально перед самым звонком, не успел даже пообедать, и Нина сделала ему несколько бутербродов с семгой и колбасой.

— Приступ вызван внешним раздражителем, — сказал Бух, щупая пульс, — главное — покой. Окно должно быть затянато плотной шторой. Ночью свет луны не должен падать на постель.

Бух дал еще несколько советов и ушел. Григорий Алексеевич постелил себе в кабинете на диване, а Нина в одежде прилегла на раскладушке у постели Юрия Дмитриевича. Проснулся Юрий Дмитриевич от шума. Над потолком что-то гудело, будто самолет, но звук не удалялся, изредка он обрывался сразу, потом вновь возникал с той же силой в том же месте, точно самолет подобно большому жуку зацепился за крышу и мучился там, теряя силы. Юрий Дмитриевич привстал и тотчас же поднялась Нина. Лицо у нее было усталое, помятое от бессонницы.

— Что? — спросила она тихо, — хочешь выйти?

— Там самолет, — сказал Юрий Дмитриевич, — зацепился за крышу и мучается... Надо отцепить... Ведь там экипаж, люди...

— Это ветер, — сказала Нина, — ветер гудит...

Из соседней комнаты пришел Григорий Алексеевич и зажег свет. Григорий Алексеевич босой, в пижамных штанах, майке и с русой бородкой напоминал оперного бродягу.

— Григорий, — сказал Юрий Дмитриевич, — зачем меня обманывать... Я болен, но к чему этот обман... Я не могу, когда мучаются... Я не переношу физическую боль, не потому, что боюсь ее, а потому, что она меня унижает. Физическая боль — удел животных. Человек же рожден для преодоления более высокой нравственной боли.

— Дай ему порошок, — сказал Григорий Алексеевич Нине.

Нина налила в стакан воды и высыпала порошок в ложку. Юрий Дмитриевич покорно выпил, вытер ладонью рот и сказал:

— Сдайте меня в клинику... Я не имею права вас мучить...

Он посмотрел в окно. Оно было плотно затянуто шторой, но за шторой была глухая глубокая тишина, которая бывает в разгаре ночи.

— Хотя бы скорее день, — с тоской сказал Юрий Дмитриевич, — помните библейское проклятие... И ночью ты скажешь: скорей бы пришел день. А днем ты скажешь: скорей бы пришла ночь...

Он задумался и сидел так минут пять, пока лицо его несколько прояснилось. Вместо тоски на нем была лишь задумчивая грусть и даже появилась легкая улыбка, очевидно, началось действие порошка. Юрий Дмитриевич подтянулся, лег и закрыл глаза. Вторично он проснулся перед рассветом, потому что за окном слышалось шарканье метлы дворника. Нина спала, прикрыв глаза рукой, согнутой в локте. Она была в юбке, но кофточку сняла и в темноте белели ее полные плечи, перетянутые шелковыми шлейками комбинации.

«Она и в сорок четыре года еще привлекательна, — подумал Юрий Дмитриевич, — а какой же она была двадцать лет назад... Когда я уезжал в командировки, то лучшими книгами для меня были железнодорожные справочники, аэровоздушные справочники... Я изучал маршруты к ней...»

Он встал неслышно, чтобы не разбудить Нину, пошел, ступая с носка на пятку и отодвинул край шторы. Солнце еще не взошло, но на улице уже было светло и сквозь отворенную форточку сильно пахло молодым летом. Сердце Юрия Дмитриевича забило с тревожной радостью то ли от этого запаха, то ли от того, что после душной бредовой ночи он встал бодрым, свежим и, как ему показалось — абсолютно здоровым. Он собрал в охапку свою одежду, чтоб не шуметь, одеваясь, и не разбудить Нину, на цыпочках пошел в коридор. Проходя мимо кабинета Григория Алексеевича, он прислушался. Оттуда доносился легкий храп и посвистывание. Много хитрости и смекалки проявил Юрий Дмитриевич, открывая замок. Вначале он пошел на

кухню, оделся, сунул сандалеты в карман, затем взял бутылку оливкового масла, густо полил замок во все щели так, что замок начал блестеть и лосниться, после этого он принялся тянуть рукоять, обернув ее ватой, найденной в аптечке, так что задвижка отошла плавно, без щелчка. По лестнице он тоже пошел в носках, правда, где-то на лестничной площадке второго этажа понял, что это уже излишняя осторожность, сел и обулся. Дворник поливал подметенный сухой тротуар, изредка поднимая шланг и направляя струю на листву деревьев. Юрий Дмитриевич подумал: надо бы передать записку Нине и Григорию. Он сел на тумбу ограждения у палисадника, вырвал лист блокнота и написал: «Чувствую себя хорошо. Пошел гулять». В действительности же на бумажке им были изображены линии и точки: схема развития малярийного плазмодия в теле комара и человека.

— Послушайте, уважаемый, — сказал Юрий Дмитриевич дворнику, — передайте в сорок седьмую квартиру...

Дворник взял записку и сунул ее в карман передника, а Юрий Дмитриевич успокоенный пошел вдоль улицы.

Юрий Дмитриевич решил: поеду в зоопарк. И не то, чтобы он заранее планировал, а как-то сразу подумалось и после этого Юрию Дмитриевичу показалось, что без этой мысли не стоило и на улицу выходить. Он ехал полчаса в раскаленном троллейбусе, а потом еще часа два сидел на солнцепеке, ожидая, пока зоопарк откроют.

От жары зоопарковый пруд зацвел, лебедей, уток и прочую водоплавающую птицу согнали на небольшой участок, оградив сетью, а в грязном котловане возились рабочие в резиновых сапогах. В бетонированном углублении, где изнывали заползшие в тень тюлени, валялось почему-то два разбитых торшера, очевидно, из инвентаря административного здания, расположенного поблизости. Возле клеток хищников сильно воняло. Вокруг клеток с человекообразными обезьянами собралась гогочущая толпа. Обезьяна держала на весу окровавленную лапу, и служитель с ветеринаром смазывали ей пальцы йодом. Время от времени служитель совал обезьяне в губы папиросу, она затягивалась, как заправский курильщик, пускала дым ноздрями. В соседней клетке сидела вторая обезьяна, сгорбившись и прикрыв морду лапами.

— Тоскует, — сказал служитель. — Укусила подружку и теперь переживает... Совесть мучает...

Юрий Дмитриевич подошел к киоску, купил шоколад-

ных конфет и кинул их тоскующей обезьяне. Обезьяна подобрала одну конфету, аккуратно развернула бумажку, конфету положила в пасть, а бумажку скомкала и довольно метко швырнула Юрию Дмитриевичу в лицо. Раздался дружный гогот толпы.

Юрий Дмитриевич пошел в другой конец зоопарка, где располагался змеинный террарий. Кормили удава. Живой кролик, упираясь изо всех сил, полз сам к удаву.

— Это удав его гипнотизирует.

— А закрыл бы глаза и в сторону сиганул бы, — сказал какой-то белобрысый парень.

— Ему невыгодно, — сказал Юрий Дмитриевич, — у кролика и удава общая идеология, и это ведет к телесному слиянию... Кролику даже лестно иметь общую идеологию с удавом. Кролик перестает быть кроликом и превращается в удава... За исключением, разумеется, физиологических отходов...

— Уже с утра пьян, — сказал служитель, посмотрев на Юрия Дмитриевича, — тут третьего дня один пьяный к белому медведю прыгнул... Следи за вами...

У загородки, в которой ходили пони, зебры и ослики, Юрий Дмитриевич немного отдохнул душой. И если одна зебра и пыталась его укусить, то лишь потому, что, не обратив внимания на предупредительную надпись, он пытался ее погладить.

Юрий Дмитриевич вспомнил о вчерашнем звонке, посмотрел на часы, вышел из зоопарка, взял такси и поехал к институту. В институтском здании, непривычно пустом и тихом, пахло известью и краской. По коридорам ходили маляры, грязный паркетный пол был устлан газетами. Юрий Дмитриевич поднялся на второй этаж и толкнул обитую кожей дверь. Здесь было чисто, поблескивал навощенный паркет, ветерок настольного вентилятора колебал опущенные шелковые шторы. Незнакомый молодой человек в хлопчатобумажной куртке, очевидно, прораб строителей, диктовал машинистке Люсе какую-то склочную бумажку, все время делая ударение на слове «якобы».

«Утверждение генподрядчика, что якобы покраска нижнего этажа... — диктовал молодой прораб, — якобы покраска не соответствует установленным стандартам...»

Когда Юрий Дмитриевич вошел, Люся и Екатерина Васильевна одновременно посмотрели, и лица их стали одинаковыми: удивленными и испуганными.

— Здравствуйте, — сказал Юрий Дмитриевич.

— Здравствуйте, — неуверенно ответила Екатерина Васильевна, — я, собственно, доложила, что вы больны... Мы повестку собирались вам домой переслать...

— Какую повестку? — спросил Юрий Дмитриевич.

— Вам прибыла повестка из милиции.

— Давайте.

— Она у Николая Павловича.

Юрий Дмитриевич услышал, как за спиной Люся шепталась с прорабом, и прораб закричал, искусственно зевнул, чтоб подавить смешок.

Юрий Дмитриевич шагнул к боковой двери, но Екатерина Васильевна с неожиданной для ее грузного тела ловкостью вскочила, поспешно сказала: — Минутку, я доложу... — и протиснулась в дверь, захлопнув ее перед Юрием Дмитриевичем, а возможно даже прижав изнутри задом.

— Входите, — сказала она, выйдя несколько погодя и тревожно посмотрев в лицо Юрию Дмитриевичу.

Вся стена в кабинете была уставлена книжными шкафами светлой полировки, где тесно стояли книги с золотистыми корешками. В углу стоял скелет. Сам Николай Павлович, цветущий, очень волосатый мужчина, сидел не за столом, а в кресле рядом, очевидно, приняв эту позу из демократических соображений. Он был в нейлоновой японской рубашке, расстегнутой на груди, седеющие волосы густо подпирали его под самое горло. Николай Павлович во время войны был замполит крупного госпиталя. Позднее работал в Министерстве здравоохранения, а с 52-го — зам. директора мединститута.

— Как вы себя чувствуете? — поднимаясь навстречу и улыбаясь, спросил Николай Павлович.

— Ничего, — ответил Юрий Дмитриевич. — Мне прибыла повестка?... Это интересно.

— Да, — ответил Николай Павлович. — Кстати, выглядите вы неплохо... Я так и предполагал... Бух, как всегда, преувеличивает... В таких случаях я предпочитал бы не Буха, а Соловцева... Несмотря на опыт, Бух все-таки излишне... — Николай Павлович задумался, подыскивая слова, — излишне специфичен...

— Что вы имеете против Буха? — спросил Юрий Дмитриевич, разглядывая волосатую грудь Николая Павловича, волосы вились колечками, как у барашка, — письмо в Министерство о вас сочинил я, я был инициатором.

— Люблю откровенных мужиков, — сухо сказал Николай Павлович, — русский человек, даже если он идет на поводу, сохраняет пусть помимо своей воли, какие-то благородные качества.

Он обошел вокруг стола и сел, прочно поставив локти.

— Садитесь, — коротко кивнул он.

Юрий Дмитриевич сел.

— Ваш коллективный пасквиль, — сказал Николай Павлович, наклонив голову, точно собираясь боднуть, — ваш пасквиль у меня... Его переслали Георгию Ивановичу, но, поскольку Георгий Иванович болен...

— Значит, попало не по назначению, — сказал Юрий Дмитриевич мягко, точно терпеливо разъяснял непонятный вопрос студенту, — напишем опять... Или я просто поеду... Нельзя вам, Николай Павлович, быть замдиректора мединститута. Николай Павлович, если в начале века человечество умирало, главным образом, от туберкулеза и заболеваний кишечника, то теперь оно умирает от заболеваний сердца, рака и болезней нервной системы... Это болезни движения... Человечество изнемогает от собственных темпов... Рак убивает миллионы беззащитных... Каждый медик, просыпаясь утром, прежде всего должен испытывать чувство стыда...

Николай Павлович осторожно позвонил. Дверь скрипнула, но Екатерина Васильевна не вошла, очевидно, просто заглянула.

— Продолжайте, — сказал Николай Павлович. — Я вас слушаю. Кстати говоря, какое магическое исцеление... Еще вчера бред по телефону, а сегодня вы говорите, как умелый карьерист, пытающийся с помощью склоки занять чужую должность...

— Я не претендую на должность, — сказал Юрий Дмитриевич, — но ее должен занимать опытный специалист, особенно учитывая преклонный возраст и болезни Георгия Ивановича... Он, собственно, числится директором номинально...

— Ну, конечно, — выкрикнул Николай Павлович. — Значит, Бух...

— Бух опытный специалист, — сказал Юрий Дмитриевич.

— Минутку, — сказал Николай Павлович, всем телом подавшись вперед, — а в 52-м, когда Буха разоблачили...

Вернее, когда возникли всякого рода сомнения... Вы ведь тоже подписали письмо...

— Да, — сказал Юрий Дмитриевич, он сидел, прижавшись головой к высокой спинке кресла, чувствуя, как в венах около уха гудит кровь, — я сейчас был в зоопарке, там кролик сливается с удавом... Я подписал в 52-м на Буха, а в 51-м Бух подписал на Сокольского... А Сокольский, перед тем как повеситься, оставил записку. Ни слова к жене, к детям. Одни лозунги... История знает немало палачей и жертв, но никогда еще жертва и палач не были так едины, никогда еще не было, чтоб жертва столь сильно любила своего палача...

— Я, конечно, не обладаю такими тонкими способностями в установлении диагноза, как Бух, — усмехнувшись, сказал Николай Павлович, — но симулянта я всегда определял с первого взгляда... Когда я был ротным фельдшером, симулянты все находились в строю... Они стояли по ранжиру, — крикнул вдруг Николай Павлович, покраснев, — нам известно, что вы связаны с церковниками... Мы не можем доверить воспитание студенчества человеку, враждебной нам идеологии... Вы пытаетесь очернить советскую медицину своими высказываниями... И теперь, когда вы разоблачены... когда милиция вызывает вас в качестве свидетеля по явно спровоцированному делу во время церковных празднеств в храме, вы с помощью Буха пытаетесь симулировать душевную болезнь... Вы затеяли бракоразводный процесс с женой, уважаемой женщиной, потому что связались с церковницей... И мы, как воинствующие атеисты, не позволим... Каждое ваше слово застенографировано Екатериной Васильевной и будет направлено в соответствующие инстанции... Возьмите вашу повестку, — он метнул бумажку, видно, совсем потеряв самообладание.

Бумажка, подобно бумажному голубю, описала дугу и упала на ковер. Юрий Дмитриевич наклонился и поднял повестку, читая почему-то по складам. Потом Юрий Дмитриевич посмотрел на Николая Павловича и понял, что сейчас ударит его наотмашь, но он еще не решил, куда именно бить. Все было привлекательно: и лобная кость, довольно развитая и бугристая, и остренький, сосцевидный отросток височной кости, и верхнечелюстная кость, несколько вдавленная, на которую кулак лег бы очень удобно, перекрывая заодно и странно вдруг запрыгавшие губы. Эти губы несколько отвлекли Юрия Дмитриевича от его размышлений,

они начали опускаться все ниже и вскоре оказались на уровне стола.

— Позвольте, — сказал Юрий Дмитриевич, он боялся утратить собеседника, ибо собеседник нужен был ему, чтобы высказать какую-то важную, но ускользающую мысль, — позвольте... Минутку.

Юрий Дмитриевич протянул руку и восстановил Николая Павловича в прежнем положении.

— Знаете, чем вы опасны, Николай Павлович? Тем, что до сих пор существуете, как проблема... И вы заслоняете собой от человечества подлинные проблемы... Жгучие... Вернее, нет... Я точнее скажу... Вот лестница... знаете улицу, где ступени уходят к небу... Цивилизация... Каждая ступень проблема... Не кажется ли вам человечество безумцем, который по лестнице забирается все выше в неведомое, одновременно разбирая ее за собой... Оставляя позади бездну... Не пора ли строить ступени не только вверх к космосу, но и вниз к земле...

Юрий Дмитриевич глянул и не увидел Николая Павловича. Юрию Дмитриевичу хотелось еще говорить, но без собеседника он не мог и поэтому начал искать Николая Павловича. Он нашел Николая Павловича за книжным шкафом. Николай Павлович сидел там очень удобно, подобрав колени. Юрий Дмитриевич поднял Николая Павловича, просунув ему руки под мышки, Николай Павлович покорился, однако, это была хитрость, потому что, едва оказавшись на открытом пространстве, он сделал обманное движение вправо, потом нырнул и побежал к дверям, куда заглядывали неясные лица, шевелящиеся, как муравьи в разрытом муравейнике. Юрий Дмитриевич легко поймал Николая Павловича и прокричал ему в нестриженный затылок:

— Пока зрячие заняты распрями, слепорожденные не дремлют...

Муравьиная куча в дверях выплонула из себя какое-то лицо, которое, подбежав, вцепилось в Николая Павловича с другой стороны. Началась веселая возня. Юрий Дмитриевич тянул Николая Павловича к себе, а лицо к себе. Сам же Николай Павлович сохранял нейтралитет, совершенно обессилев от страха. Вначале Юрий Дмитриевич перетягивал, но потом к лицу присоединилось еще несколько туманных очертаний. Тогда Юрий Дмитриевич отпустил, и они все сразу пропали из виду. Юрий Дмитриевич вышел из кабинета. В приемной было много народу, что-то случилось.

Маляры вытягивали шеи, машинистка Люся пригнулась. Кто-то стоял в дверях, однако Юрий Дмитриевич его устранил и пошел вниз по лестнице. Он шел торопливо и на улице поспешно свернул за угол, не имея, однако, определенной мысли скрыться, а повинувшись своим напрягшимся мускулам ног и своему участвующемуся дыханию. Почти задыхаясь, с перекошенным ртом, судорожно вздымающимися ребрами и взмокшей спиной он упал на скамейку. Это было в тихом тенистом переулке, среди одноэтажных домиков, одном из тех окраинных переулков, которые иногда попадают в самом центре, всего в нескольких шагах от шумных центральных магистралей и лишь в начале своем пораженных этим шумом.

Юрий Дмитриевич поднял руку и вытер холодный пот со лба и висков. Сердце сильно колотилось и болело. Он взял себя за запястье и сосчитал пульс, глядя на часы. Было сто тридцать ударов в минуту, вместо нормальных семидесяти. Юрий Дмитриевич сидел в небольшом палисаднике, метрах в пяти на травянистом газоне из трубы плескал, тек ручеек воды. Возле ручейка суетились воробьи. Переулок был пуст, и Юрий Дмитриевич ждал минут десять, пока на посыпанной песком аллее появился мальчишка на детском двухколесном велосипеде. Юрий Дмитриевич вынул носовой платок, жестом подозвал мальчишку и неожиданно каким-то незнакомым, хриплым басом сказал:

— Намочи... Принеси...

Мальчишка взял платок, поставил велосипед и хорошо намочил платок, так что текли струи. Юрий Дмитриевич схватил платок и плеснул себе в лицо. Мальчишка стоял, смотрел с любопытством и не уходил. — А теперь иди, спасибо, — сказал Юрий Дмитриевич.

Едва мальчишка отъехал, Юрий Дмитриевич жадно припал к платку губами, начал сосать его. Стало легче, сердце уже стучало потише, а налетевший ветерок приятно освещал. Наконец Юрий Дмитриевич встал, сам подошел к трубе и напился до отвалу. Затем он намочил платок и, вернувшись на скамью, приложил платок к затылку.

IV

Юрий Дмитриевич вынул из кармана скомканную повестку, прочел, вышел к трамвайной остановке и ехал

минут пятнадцать по длинной горбатой улице. От припад-ка осталась лишь легкая слабость в пояснице и металлический вкус во рту.

Отделение милиции помещалось в многоэтажном доме, перед которым был тоже палисадник. На скамейках сидело несколько богомольных старушек, Кондратий в монашеской рясе и Сидорыч в парусиновом картузе.

Юрий Дмитриевич сел поодаль и тотчас к нему подошел широкоплечий загорелый мужчина в куртке необычного фасона с короткими рукавами.

— Простите, — сказал он. — Я смотрел список свидетелей. Вы преподаватель мединститута?

— Да, — сказал Юрий Дмитриевич.

— Рад познакомиться, — сказал мужчина и протянул руку. — Мастер спорта Хлыстов.

— Приятно, приятно, — пожимая руку, ответил Юрий Дмитриевич.

— Я также доцент, — сказал Хлыстов, — кафедры футбола... Выделен в качестве общественного бека... — Хлыстов улыбнулся. — Однако, думаю превратиться в общественного форварда...

— Я не болельщик, — сказал Юрий Дмитриевич, — я не понимаю терминов...

— Очень жаль, — сказал Хлыстов, — ну, в общем, значит, я общественный защитник... Если только эти церковные крысы доведут дело до суда, этот суд будет не над Кешей, а над церковниками... Я и со следователем говорил... В конце концов, парень выражал свой инстинктивный протест против векового мракобесия... Против аутодафе... Против, понимаешь, сожжения Галилея...

— Галилея не сожгли, — сказал Юрий Дмитриевич.

— Как же не сожгли, — возмущился Хлыстов, — если я сам фильм про это видал.

— Кеша ваш сукин сын, — сказал Юрий Дмитриевич.

— Допустим, — сказал Хлыстов, — парень совершил проступок. Он взял на себя самолично функции государства... То есть я имею в виду функции борьбы с религией... Мы его за это накажем, мы его деквалифицируем на две игры... Выпил, возможно... Пospорил с ребятами... Он же на спор это сделал... Но церковники эти... Вы ведь читаете атеистическую литературу... Ведь у них-то делишки... Вот кто уголовники. Они чем берут народ? Зрелищем... И в этом смысле наш советский футбол играет атеистическую роль,

привлекая к себе массы... Так можно ли позволить, чтоб в наше время церковники судили атеиста... При советской власти...

— Я вот про что подумал, — сказал Юрий Дмитриевич, — про тех, кто защищает устои власти только потому, что механически при этой власти родился и живет... Родись он при другой власти, он так же рьяно играл бы не в советский футбол, а в какой-нибудь другой общественно-политический футбол... Кстати, говоря об атеизме... Что это — вера или безверие?

— Я не понимаю, о чем вы, — удивленно сказал Хлыстов. — Что же касается ваших намеков...

— Да я не намекаю, — сказал Юрий Дмитриевич, — я вовсе и не вас спрашиваю, товарищ футболист... Я себя спрашиваю... Религия есть вера в то, что Бог есть... Атеизм — вера в то, что бога нет... Вера в то, чего нет... Странный каламбур получается... Если религия придает форму человеческому незнанию, то атеизм требует конкретных ответов на такие вопросы, которые человечество еще не скоро поймет... Религия говорит: человек существует по велению Божию... Атеизм говорит: человек существует для того, чтобы понять, для чего он существует... Здесь круг... Да... Подлинный атеизм не имеет ничего общего с журнальчиками, высмеивающими блудливых попикив...

— Вы меня извините, — сказал Хлыстов. — Я тоже доцент... Даже странно... Вы тоже доцент, а у вас в голове идеологическая каша...

— Возможно, — сказал Юрий Дмитриевич, — но у человека есть только три возможности: либо религия, либо атеизм, либо игра в футбол... То есть либо ступени, либо лужайка... Вы с блудливыми попиками бегаєте по лужайке... Зина и папа Исай счастливы тем, что зрячие и, стоя на нижней ступени, видят небо... А я, атеист, ползу по ступеням вверх, обрывая себе в кровь ладони и колени, чтоб коснуться неба... звезды... И возможно, я встречу где-либо на полдороге со слепорожденным атеистом, который ползет по ступеням вниз, ибо он не способен быть счастлив оттого, что может коснуться звезды... Он хочет ее увидеть... Это противоположная нашей цивилизации...

В палисаднике появилось еще двое, доцент футбола торопливо отошел к ним, о чем-то тихо говоря. Юрий Дмитриевич начал прислушиваться. Один из новых был стрижен под бобрик, второй лыс, с большим родимым пятном

на щеке, поросшим светлыми волосиками.

— Я смотрю, что-то не то, — говорил доцент футбола, — я ему насчет общественного долга, значит... Чтоб нашего парня выручить из лап церковников... А он мне в ответ такую антисоветчину понес, что, знаете, нормального человека надо за такие слова под статью подводить...

— Дурак ты, — крикнул Юрий Дмитриевич, — у советской власти нет в настоящее время более опасного, более смертельного врага, чем ее собственный отечественный дурак... Это опаснее глобальных ракет...

— Не надо его раздражать, — сказал доценту футбола лысый с родимым пятном, — он и так возбужден... Нам из института позвонили, он их там пораскидал... А я говорю, не поеду... Объявляйте мне выговор... Они его, понимаешь, там душевно травмировали... Вызывайте наряд милиции... За мою ничтожную зарплату, чтоб мне зубы выбивали...

— Давай попробуем, милиция ж рядом, — сказал стриженный бобриком.

Он приблизился к Юрию Дмитриевичу и сказал:

— Здравствуйте, покажите, пожалуйста, вашу повестку.

Юрий Дмитриевич молча протянул повестку.

— Это к нам, — сказал бобрик, — поедem к нам, отдохнете, — он кивнул на автомашину с красным крестом и прочно взял Юрия Дмитриевича за локоть. Лысый приблизился и взял Юрия Дмитриевича за другой локоть. Они подняли Юрия Дмитриевича и повели к машине.

Юрий Дмитриевич чувствовал себя таким усталым, измученным своими словами, что ему было решительно все равно, куда его ведут. Но в этот момент его окликнули и он увидел Зину, выходящую из дверей милиции.

— Зина, — крикнул он, — я думал о тебе... Милая, сколько лиц было передо мной сегодня... Сколько ненужных лиц... Я хочу быть с тобой, но меня уводят...

Зина, плача, побежала следом.

— Куда тебя? — спрашивала Зина, — почему нас мучают... Нам не дают любить... Меня спрашивали про того голого... И про Господа... И про веру... Это был не Христос, это был голый богохульник... Мне папа Исая объяснил...

— Подождите, — сказал Юрий Дмитриевич санитарам, — я должен с ней поговорить... Видите, в каком она состоянии.

Но санитары еще прочнее схватили его и повели быстрее. Тогда Юрий Дмитриевич рванулся и толкнул лысого

на забор так, что тот расшиб себе локоть.

— Помогите, — крикнул Хлыстову санитар, стриженный бобриком.

— Чтоб псих мне куртку порвал, — отходя подальше, сказал доцент футбола.

Зина между тем кинулась к «бобрику» и вцепилась ему в запястье зубами. «Бобрик» охнул и отпустил руку Юрия Дмитриевича. Юрий Дмитриевич прыгнул через забор, поймал на лету свои очки, оттолкнув грудью какого-то дружинника-энтузиаста, и побежал в переулок. Зина бежала рядом. За спиной у них залились милицейские свистки. Юрий Дмитриевич увлек Зину в узкий проход между домами. Спотыкаясь о битый кирпич, перепрыгивая через невысохшие в сырой тени под сырой стеной, папахивающие лужи, Юрий Дмитриевич и Зина достигли ржавой пожарной лестницы и полезли. Зина впереди, Юрий Дмитриевич несколько поотстав, глядя на удаляющуюся землю, чтоб не смотреть вверх на стройные ноги Зины. Чердак был пыльным и большим, пахло здесь кошачьим пометом и обожженной глиной. Юрий Дмитриевич заметил, что к каблuku его прилипла, очевидно на свалке между домами, лента мухомора, усеянная мертвыми мухами. Он хотел отлепить, но в это время послышался с улицы шум. Юрий Дмитриевич и Зина приблизились к слуховому окну и увидели, как мимо промчался милицейский мотоцикл, а за ним санитарная машина.

— Поехали, — сказал Юрий Дмитриевич и злобно засмеялся.

Потом он отлепил ленту мухомора и уселся на деревянные стропила. Зина села рядом и уткнулась лицом в его грудь. Было жарко, и они слышали, как от жары потрескивает над головой жесть.

— Я женюсь на тебе, — сказал Юрий Дмитриевич. — Мы уедем в Закарпатье... В здраводеле мне обещали должность главврача больницы. Впрочем, нет, я еще не поднимал вопроса... Но я обязательно подниму и мне не откажут...

В углу за печными трубами виднелась куча какой-то ветоши. Юрий Дмитриевич поднял Зину, совсем не чувствуя ее веса, понес и положил на ветошь. Он начал расстегивать пиджак, но пуговицы были тугими, не лезли в петли, он отрывал их и складывал в карман. Вдруг он потерял Зину в чердачном полумраке и чтоб обнаружить, стал на колени. Зина рванулась к нему снизу, обвила руками шею, он упал, и лицо его оказалось не на Зинином лице, а на лосня-

щейся от сажи ветоши, которую он чувствовал губами и в которую он тяжело дышал. Зина напряглась всем телом, вскрикнула и после сразу обмякла. И он тоже обмяк, поднял с ветоши свою голову, перенес ее на Зинино лицо, припал к ее губам. Потом они долго сидели с Зиной обнявшись.

— Это пройдет, — говорил Юрий Дмитриевич, глядя ее шею и волосы, — все хорошо... Ты мне расскажи, как жила... Ты мне про себя расскажи...

— Мать моя померла, когда мне восемь лет было, — сказала Зина, — мы в другом городе жили... Такая длинная улица, а на углу банк... Начала она помирать, тетка и бабка крик подняли... Я испугалась, говорю: мама, скажи им, пусть они не кричат, мне страшно... Я к ней обращалась, точно она теперь хозяйкой всего была и всем распоряжалась... Она услышала, рукой махнула: не кричите мол... А потом я не выдержала, убежала... Побежала к самому концу улицы, где банк, крики сюда едва долетают... Народ идет вокруг, внимания не обращает, мало ли чего где кричат. А я стою и одна знаю, почему кричат вдали... — Она выпрямилась, очевидно, увлеченная какой-то новой мыслью, внезапно пробудившейся, и Юрий Дмитриевич заметил, как в темноте блеснули ее глаза.

— Скажи, — спросила она. — Когда Христу пробивали ладони, многие, наверное, слышали крики, но не знали, почему кричат.

— Есть специальная отрасль медицины, изучающая болезни древних людей, — сказал Юрий Дмитриевич. — Палеопатология... Наука, связывающая медицину с историей... Рентгенологи исследуют кости неандертальцев, хозар, половцев, скифов и обнаруживают рак, болезни суставов, туберкулез, проказу... Мне кажется, для невропатолога Евангелие есть история болезни древнего иудея из Назарета. Невропатолог, внимательно прочитав Евангелие, обнаружит все симптомы и установит довольно точный диагноз гебефренической шизофрении... Шизофрения в переводе с греческого — расщепление души... Расщепление души выделяет энергию, при соответствующих условиях очень высокую... Вся европейская цивилизация, древняя и средних веков, построена на энергии, выделившейся при расщеплении души одного древнего иудея, родившегося в хлеву... Построена на питании этой энергии, либо на борьбе с ней... Давайте обратимся к предыстории, к периоду предшествовавшему болезни... Это очень важно для врача... Вначале

это мальчик, запуганный и хилый, безвинно познавший недетский позор и унижение, ибо внебрачный ребенок считается в древней Иудее тягчайшим позором... Потом юноша, которого сторонятся девушки из-за нищеты и позорного его происхождения. Худой южный юноша, распираемый зноем и темпераментом... Семенная жидкость тиранизирует его, придает особый смысл жизненным впечатлениям... Желчь приобретает густой зеленый оттенок и под воздействием психической травмы застывает в желчном пузыре, что приводит к образованию желчных камней... К страданиям духовным, усиливая их, присоединяются страдания физические... Резкие боли в правом предребье с отдачей в правую лопатку, рвота, озноб... В этот период Иисусу необходима была диета: лимоны, яблочное пюре, компоты, виноград без косточек и кожуры... Хороши также боржоми и эссендуки... Однако возможности соблюдать диету нет в семье бедного плотника Иосифа, антибиотики и новокаин отсутствуют... К тридцати годам болезнь обычно становится хронической... Я прошу обратить внимание на возраст, — сказал Юрий Дмитриевич, протянул руку к печной трубе, — именно этот возраст отмечен в Евангелии, как начало появления Иисуса в качестве посланца бога... Тирания семенной жидкости достигает максимума, разъедает мозг и преломляется в нем явлениями странными и призрачными, но настоянными на подлинном страдании и боли, ставшей уже привычной и необходимой, закрепленной условными рефлексам и приносящей наслаждение. Здесь нет и тени лжи либо притворства, все правдиво, все выстрадано. Изменение в психике привело к изменению личности...

Юрий Дмитриевич прошелся по чердаку, спотыкаясь о какие-то ржавые обломки и черепки. Косой луч солнца, в котором плясали пылинки, проникал сквозь слуховое окно, он несколько переместился влево и освещал теперь возлюбленную, лежавшую на куче грязной ветоши...

— Слово Мария, — сказал Юрий Дмитриевич дрогнувшим голосом, — слово Мария, отдавшаяся в хлеву иудейскому пастуху... Отцу Иисуса... Беззаботному, может быть, человеку, живущему мгновением... Как надо любить, как надо уметь отдаться любви, чтоб переступить беспощадный обычай, сухие законы Иеговы... Евангелистское непорочное зачатие — мелкое цирковое чудо по сравнению с подлинной судьбой этой женщины... — Юрий Дмитриевич при-

коснулся к своему раскаленному лбу, — Маша, — сказал он. Если у нас родится сын... То есть, я путаюсь... Вернее, вернемся к сыну... Оставим отца и вернемся к сыну и святому духу... Ибо я вовсе не хочу опровергнуть святости происшедшего... Даже ложные движения человеческого духа, если они основаны на благородстве и силе... сначала им увлекаются, потом вступают в борьбу... Европейская цивилизация построена на христианстве и на борьбе с ним... Христианство, как идея, существовало и до Иисуса. Иисус был одним из верующих христиан, но он так сильно поверил в Христа, что слился с ним и на первых порах, пока ум человеческий коснел в невежестве, это сделало идею Христа более доступной и ощутимой... Однако, со временем подобная материализация Христа начала давать обратный результат... Но об этом после... Об этом еще думать надо... Да... — Он начал говорить сбивчиво, теряя фразы. — Сначала учению нужны титаны, потом оно нуждается в посредственностях, которые довели бы его до абсурда, то есть до естественной смерти, ибо учения смертны и сменяют друг друга как человеческие поколения... Но вернемся к истории болезни... Итак, больной удаляется в пустыню... Это раннее течение болезни... Появляется замкнутость, изменяются интересы и эмоциональное реагирование... Он утрачивает интерес к своим прежним занятиям и, наоборот, начинает проявлять интерес к тому, к чему ранее он не испытывал влечения... К философии, к религии... Возможно, теперь он увлекся бы математикой, конструированием или коллекционированием... Он становится то вялым, то, наоборот, суетливым, о чем-то думает, куда-то все время ходит один... Потом он собирает несколько таких же психически неустойчивых человек и начинает проповедывать... Это уже следующая параноидная форма шизофрении... Больному кажется, что он приобрел какой-то смысл и все им интересуются... Появляются галлюцинации, идеи воздействия... Современному больному, например, кажется, что диктор радио говорит о нем, в газетах о нем, объявления на столбах и даже вывески о нем... Затем новый, депрессивно-параноидный период... Больному кажется, что у него появились враги, они хотят его подвести под пытки, предать, оклеветать... Один из вас предаст меня, а другой отречется ранее, чем прокричат третьи петухи... Современный больной нередко утверждает, что на него воздействуют электричеством, радиоволнами, магнетизмом, атомной энергией... Испытывает ревность к жене,

проверяет ее белье... — Юрий Дмитриевич, пошатываясь, вошел в освещенные лучом пылинки, схватившись руками за ворот пиджака...

— Ты как святой, — шепотом сказала Зина. — Ты говорил... я не понимала... Но ты как святой... У тебя сияние...

— Нет, — засмеялся Юрий Дмитриевич, — в древней Иудее не было невропатологов, но были палачи... Впрочем, в тридцать три года Иисус уже страдал гебефренической формой... Он был неизлечим. Больные в этой стадии перестают есть, говорят, что у них сгнили все внутренности, что они уже трупы... Они стремятся к самоубийству, к смерти... — Юрий Дмитриевич внезапно смолк. Большой рыжий кот с ободранным боком смотрел на него из слухового окна.

— Кыш, — крикнула Зина.

Кот фыркнул и исчез.

— Таких юношей, как Иисус, было немало и позднее в черте оседлости, — сказал Юрий Дмитриевич, — в грязных местечках... Худые чахоточные мечтатели... Горе родителей... Позор семьи... Иисус мог бы быть одним из героев Шолом-Алейхема, родился он позднее. Но он родился в момент того душевного порыва, когда его народ, сам того не сознавая, приносил себя в жертву, обрек себя на распятие во имя рождения христианской цивилизации... Тут парадокс... Гибель Иудейского храма была предвестником гибели языческого Рима... Да... Христос — великий литературный образ древне-еврейской литературы, литературы, которая может возникнуть лишь в моменты сильных душевных сдвигов... Впрочем, я потерял нить, — беспомощно прикоснувшись к вискам ладонями, сказал Юрий Дмитриевич и почему-то виновато улыбнулся.

— Иди ко мне, — сказала Зина и протянула навстречу ему руки.

— Странно как, — сказал Юрий Дмитриевич, — этот чердак, эти трубы, этот кот... Я ведь болен, знаешь... Я пережил страшную ночь... Мне казалось, что мучаются самолеты...

— Иди ко мне, — повторила Зина.

Лицо Зины порозовело, это было лицо любящей счастливой женщины.

— Да, — сказал Юрий Дмитриевич. — К тебе и только к тебе... Ибо ты сейчас так чужда непристойности... Ты на этой ветоши...

Юрий Дмитриевич лег на ветошь рядом с Зиной и, обняв

ее, приблизив губы к ее губам, принялся вдыхать ее дыхание, наслаждаясь ароматом и чистой выдыхаемого ею воздуха. Они пролежали так до вечера. Солнечный луч из слухового окна добрался к противоположному углу чердака, затем вовсе погас, и по крыше защелкало.

— Это дождь, — сказала Зина, — ты спал, а я смотрела на тебя... Во сне у тебя лицо изменилось... Как у младенца у тебя лицо.

Юрий Дмитриевич встал, потянулся, ударился головой о стропила.

— Полезли вниз, — сказал он.

Пожарная лестница была скользкой от дождя, они осторожно принялись спускаться, каждую секунду ожидая крика. К счастью, вокруг было тихо, в грязный закоулок между домами, очевидно, редко кто заглядывал, особенно в дождь. Они пошли по блестящему асфальту, не прячась, теплый дождь освежил их и смыл с их одежды чердачную пыль. В открытых окнах орала радиолы. Мимо, хохоча, пробежала стайка девочек-подростков, шлепая босиком по лужам и держа в руках свои модные туфельки...

— По древне-индийской медицине в человеческом теле сочетается три начала — воздушное, слизь и желчь, — сказал Юрий Дмитриевич, — ныне утверждают, что практика индийской медицины давала хорошие результаты, а теория построена на фантастических предположениях... Но ведь это прекрасно... И это правдиво... Воздушное это любовь, слизь это прозябание, желчь — плотское наслаждение... Как просто, как умно...

Потоки воды текли вниз по горбатым улицам, образуя завихрения на булыжных мостовых журча в желобах... Вдали слабо вспыхивали бесшумные молнии. Возле монастыря, куда Юрий Дмитриевич и Зина приехали на автобусе, дождь еще только начинался. Туча шла от центра города, но над речкой и заречными полями небо еще было звездным. Подгоняемые сильным ветром, Юрий Дмитриевич и Зина протиснулись в тугую калитку и торопливо прошли монастырский двор, прислушиваясь к тревожно гудящим листвою дубам. В комнате у Зины горел свет.

— Это папа Исай, — обрадованно сказала Зина... — Вернулся. Как хорошо...

Папа Исай сидел за столом и ел хлеб с солью и горчицей. Он был босой, в растегнутой рубашке, и портрет Толстого висел прямо на голой груди.

— Папа Исай, — сказала Зина, целуя его. — Я вас сейчас покормлю...

— Я по церквам ходил, — сердито сказал папа Исай, — двести лет по всей Руси под видом ремонта церквей шло разрушение древне-церковного стиля. Вместо семиярусных иконостасов, стали устраивать низкие ширмы на западный манер... И образа не русской, а французской школы...

— Вам с моим товарищем поговорить надо, — сказал Юрий Дмитриевич. — Он тоже славянофил.

— А духовенство, — выкрикнул папа Исай, не обращая внимания на замечание Юрия Дмитриевича, — выдыхается духовенство неудержимо, как жидкость в открытом сосуде... Если священнику вверены души, то тем более могут быть вверены и церковные средства... Вот как они говорят... Запросы и нужды, с которыми стоит перед нами православная церковь, как перед своими духовными детьми, они по-своему истолковывают...

Зина поставила перед ним тарелку гречневой каши, разогретой на керогазе, бросила кусок масла, и папа Исай начал жадно есть, сердито посапывая.

— Давайте вернемся к нашему диспуту о христианских догматах, — сказал Юрий Дмитриевич, усаживаясь на диван, но тотчас же вскочив. — Тут проблема ежедневного добра, либо добра-идеала... Давайте обратимся к личности Иисуса, то есть к истории его болезни... По моей гипотезе, анализируя его поступки, можно заключить, что он страдал желчно-каменной болезнью... Желчно-каменные болезни обычно раздражительны и недобры... Особенно в сочетании с воздействием семенной жидкости... Однако, с другой стороны, утверждения последователей Иисуса о кротости его и доброте... Тут противоречие... Вернее, скорей путаница... Если проанализировать внимательно даже Евангелие, то можно обнаружить, что многие каждодневные поступки Иисуса не так уж добры... Впрочем, достаточно, одного, главного, то есть распятия... В нем все. Об этом, кажется, какой-то крамольный богослов писал... Впрочем, не помню... Разве не блекнет жестокость палача перед жестокостью самого Иисуса, всемогущего Бога, который совершил распятие свое на глазах своей земной страдающей матери... Тут легенда, но в ней отголоски подлинного... Распятие было совершено во имя спасения людей, во имя добра, но как поступок именно того дня, когда оно совершилось распя-

тие был поступок Иисуса жестокий и недобрый... И вот тут-то нам на помощь палеопатология приходит... Тут медицина помогает истории и философии... Желчные больные редко бывают добры, но ощущение добра, как чего-то недоступного, но манящего и прекрасного, стремление к добру у них бывает развито необычайно... Пусть подспудно, подчас несознательно... Добро как идеал они чувствуют часто гораздо сильнее, чем так называемые добрые люди, которым добро каждый день доступно и в быту утонуло... Я о чем хочу... — Юрий Дмитриевич замолк на несколько секунд, как бы смешавшись. — Ах, вот о чем... Конечно, в Евангелии много историй, и тут по-разному можно... Но все же главное-то распятие... По ней и судить надо об основном постулате христианства... О непротивлении злу... Впрочем, я уже говорил об этом... Просто физиология подтверждает и уточняет философию... Непротивление злу как идеал — прекрасно... Как каждодневное правило — нелепо...

Папа Исай съел гречневую кашу и теперь доедал разогретые капустные котлеты, политые кислым молоком... Оконные стекла подрагивали от порыва ветра, шел уже сильный дождь. Вспышка молнии на мгновение осветила темноту за окном, блеснули мокрые стены, мокрые, растрепанные ветром ветви деревьев и, прежде чем молния погасла, Юрий Дмитриевич увидел прижатое к стеклу чье-то мокрое лицо.

— Слепорожденный, — прошептал он, поежившись от внезапного озноба, — в окно заглядывает...

Папа Исай тоже испуганно попятился к ширме, крестясь, а Зина побледнела, затем кинулась и опустила штору.

— Он часто так, — сказала шепотом Зина, — стоит и смотрит, вернее, слушает...

В дверь застучали.

— Зина, — крикнул слепорожденный, — открывай, я говорить с тобой хочу.

— Аким Борисыч, — сказала Зина, — поздно уже, я уже сплю.

— Врешь, — крикнул Аким Борисыч, — у тебя свет горит, ты любовника принимаешь, — он вновь сильно ударил в дверь.

— Не открывай, — крикнул папа Исай, — пьяный он... Фу, дьявол...

— Открой, — сказал Юрий Дмитриевич, испуг прошел, он был вновь спокойное, и лицо у него было решительное.

Юрий Дмитриевич подошел к двери и откинул крючок.

Слепорожденный ворвался в комнату. Он был страшен... Вода текла с него ручьями. Китель, брюки, волосы, даже черные очки были испачканы глиной, ботинки разбухли. В левой руке у него был помятый, истерзанный букет цветов. Дышал он тяжело, со всхлипом и из теплого гнилого зева его прямо в лицо Юрию Дмитриевичу бил острый спиртной запах.

— Доктор, — сказал слепорожденный, — я узнал тебя, доктор... И этот проклятый церковник тоже здесь...

Папа Исая присел за ширмой, Зина забилась в дальний угол, один Юрий Дмитриевич стоял неподвижно, лишь когда он поправил очки, видно было, что рука его слегка дрожит.

— Как вы узнали, что свет горит, слепорожденный? — спросил Юрий Дмитриевич.

— Стекла теплые, — ответил слепорожденный, сбитый с толку спокойным вопросом Юрия Дмитриевича.

— Аким Борисыч, — крикнула Зина из своего угла, — вы не ходите ко мне... Я другого люблю... А вас я боюсь... Я в милицию пожалуюсь...

— В какую милицию, — сказал Аким Борисыч, — церковница... Ты советское учреждение позоришь, ты коллектив наш позоришь...

— Лазутчик, — крикнул Юрий Дмитриевич, — приспособился к нашим словам, к нашим лозунгам... Пойдем туда, где нет лозунгов, только дождь, только природа...

— Не ходи, — крикнула Зина, — он пьян... Это страшный человек... Он покалечит, он изувечит тебя...

— Это не человек, — сказал Юрий Дмитриевич, — это другое мыслящее существо... Если они захватят землю, то не станут уважать наши идеалы... Идеалы зрячих... Они нам будут попросту выкалывать глаза... Человек должен бороться за свои глаза...

Юрий Дмитриевич обнял Зину и пошел к двери. Аким Борисыч постоял несколько мгновений, очевидно озадаченный, затем метнул мокрый букет к ногам Зины и вышел следом. Дождь хлестал с такой силой, что Юрий Дмитриевич почувствовал себя, словно погружившимся в воду, он мгновенно промок насквозь, в сандалетах чавкало. Слепорожденный молча шел впереди, ни разу не споткнувшись, в то время, как Юрий Дмитриевич скользил по мокрой глине, попадал в лужи, ударялся о камни и даже упал, больно содрав колени.

В монастырской стене была ажурная дверка, они вошли в нее и пошли среди молодых деревьев, росших между внешней и внутренней стеной. Они пошли по этому коридору шириной метра в три. Потом слепорожденный нырнул в какое-то отверстие. Юрий Дмитриевич полз следом, ощупывая сырые стены, но вскоре остановился.

— Здесь темно, — сказал он, — ты ползешь по ступеням вниз, а я вверх... Вот и встреча... Но ты выбрал это место хитро... Ты хочешь лишить меня моего преимущества, сохранив свое...

— Не ходи к Зине, — сказал из темноты слепорожденный, — ты себе много найдешь, а я без нее жить не могу...

— Я тоже, — сказал Юрий Дмитриевич, — но я удивлен... Разве ты можешь тосковать и страдать по женщине... Впрочем, тоскуешь ты не по ней, а по своим прикосновениям к ней...

Слепорожденный был уже совсем близко, подошел он бесшумно, и Юрий Дмитриевич ощутил его лишь по спиртному запаху. Юрий Дмитриевич успел шагнуть назад, пальцы слепорожденного едва не сбили очки. Юрий Дмитриевич медленно отступал к свету, а слепорожденный упорно нащупывал его глаза, очевидно, глаза были самым ненавистным для слепорожденного в Юрии Дмитриевиче. Проход стал шире, в нем уже мелькал отблеск уличного фонаря и в свете этого фонаря Юрий Дмитриевич увидел лицо слепорожденного, которое показалось Юрию Дмитриевичу похожим на физиономию из кошмара, словно с него снята была маска, придававшая ему хоть внешнее подобие человека. Потом Юрий Дмитриевич понял: исчезли темные очки и видны были розовые мягкие глазницы, особенно страшные тем, что выглядели они не как увечье, а наоборот, внешний вид их достиг такого совершенства, что на мгновение Юрий Дмитриевич ощутил свои глаза как увечье. Это было так омерзительно, что Юрий Дмитриевич вскрикнул и побежал. Слепорожденный бежал следом, дыхание его было уже рядом, но когда они выбежали из подземелья на дождь, слепорожденный начал отставать, затем раздался его крик и топот оборвался. Юрий Дмитриевич оглянулся. Слепорожденного не было, он исчез, словно разом испарился. Молния ударила прямо в купол разрушенной церкви, осветила ящики горторга, гнущиеся от ветра и дождя деревья, а гром потряс Юрия Дмитриевича, отдался в груди и висках... Юрий Дмитриевич услышал какие-то идущие из

под земли звуки, подошел и увидел слепорожденного, барахтающегося в наполненной водой яме, очевидно, выкопанной строителями. Слепорожденный тщетно пытался выбраться, скользил по размокшему глинистому брустверу.

— Дайте руку, — сказал Юрий Дмитриевич, лег у края ямы, стараясь не смотреть на заросшие мясом глазницы, и опустил свои руки вниз. Слепорожденный поднял голову, лицо его исказилось, он подпрыгнул и вдруг вцепился зубами в левую ладонь Юрия Дмитриевича с таким остервенением, что Юрий Дмитриевич вначале испытал даже не боль, а удивление, успышав хруст собственной кожи. Он выдернул ладонь и, держа ее на весу, правой рукой схватил слепорожденного за шиворот, потянул его вверх, изнемогая от тяжести, и тянул до тех пор, пока голова слепорожденного не показалась у края ямы. После этого слепорожденный уж сам схватился за мокрую траву, выполз и встал, сделал несколько шагов, но тотчас же споткнулся. Движения его потеряли четкость и уверенность и он стал похож не на слепорожденного, а на обыкновенного ослепшего человека, не привыкшего еще к своей слепоте, и потому особенно беспомощного. Юрий Дмитриевич тяжело поднялся с земли, держа на весу окровавленную руку. Слепорожденный выглядел совсем обессиленным, видно, на рывок из ямы ушел последний остаток силы. Он тщетно пытался нащупать выход, ударяясь о стены, кружась на месте.

Юрий Дмитриевич подошел, взял его за локоть и повел к выходу. Слепорожденный покорно шел рядом. Ноги слепорожденного цеплялись за камни, попадали в лужи, хоть Юрий Дмитриевич и старался вести его аккуратно. Они вышли за ворота монастыря. Дождь утих, но ветер дул с еще большей силой, и луна бешено неслась по небу, появляясь в проемах изорванных туч. Вскоре Юрий Дмитриевич и Аким Борисович приноровились друг к другу и шли, как давно друг друга знавшие поводырь и слепец.

— Мутит меня, — сказал Аким Борисыч, — я бутылку самогонки выпил... Тоска измучила... Ревность... А теперь я и сам понимаю, куда мне... Ей глазастого надо... Я на слепой девушке женюсь... У нас в обществе слепых есть одна... Я ей нравлюсь...

— Про странное я сейчас думаю, — сказал Юрий Дмитриевич. — Вот было, пусть опасное, но таинственное и непохожее на нас мыслящее существо, которое боролось с нами и заставляло нас бороться... Жестокость и сила наша оказа-

лись бесполезны и ненадежны против него... Тогда мы обратились к более мощному и более хитрому оружию, которое использует человек в своих завоеваниях... Мы обратились к нашему благородству и нашей доброте... Мы приручили его и превратили в беспомощного слепца...

Кто-то подошел к ним, посветил фонарем. Выскочили две маленьких злых собачки и залаяли. Это был ночной сторож в брезентовом плаще с капюшоном.

— Аким Борисыч, — узнал он слепого, — вам звонили из общества слепых... Завтра в пять заседание правления...

— Коновалов, — сказал Аким Борисыч, — скажи жене, пусть меня домой отведет, я теперь не дойду сам...

— Заболели? — участливо спросил Коновалов.

— Я ослепил его, — сказал Юрий Дмитриевич, — я преступление совершил... Я человек... Человек, который с самого начала чувствовал себя завоевателем... Жестокостью и добром завоевал он планету... Убивал и приручал... Вот собаки... Жалкие шавки, ждущие, когда им бросят кость... Сейчас много пишут про дельфинов... Умные, таинственные существа... Пока человек охотился на них, они были в безопасности, как личности... Но сейчас человек собирается вынуть свое страшное, неотразимое оружие... Добро... И дельфинам грозит превратиться в глупых морских коров... В утепленных бассейнах... Мы не умеем сотрудничать на равных, мы умеем приручать... Кто знает, как далеко шагнула бы цивилизация, если б с самого начала человек не приручал, а сотрудничал бы с животными...

— Эге, — сказал Коновалов, поглядев на окровавленную ладонь Юрия Дмитриевича, — да тебя, братец, давно ищут...

Он цепко и больно схватил Юрия Дмитриевича за локоть и крикнул:

— Надя, пойди скажи, псих, которого ищут, здесь...

Далее возникли какие-то обрывки, Аким Борисыч исчез. Появился Григорий, Нина, Бух и еще несколько лиц. Юрия Дмитриевича усадили в машину и прямо в машине начали переодевать во все сухое. Затем Юрий Дмитриевич оказался в своей квартире, где не был уже почти месяц. Было очень душно, очевидно, весь месяц комнату не проветривали.

— Надо проветрить, — сказал Юрий Дмитриевич, — жарко.

— Здесь болит? — спрашивали Юрия Дмитриевича и больно жали ребра, — а здесь...

— У меня копые болит, — сказал Юрий Дмитриевич, — которым зверей колят... Не знаю, может, благороднее убить, чем приручить... Пока человечество не поймет этого, оно не будет иметь нормального права выйти в космос и встретиться с иными мыслящими существами...

Юрий Дмитриевич сел, схватившись рукой за коврик и второй рукой отталкивая Нину, пытавшуюся его уложить.

— Один метафизик заявил: жизнь есть форма болезни материи... Материя активно противоположна жизни... Ну и что же, отвечаю я ему... Вас пугает слово болезнь... Но разве брюшной тиф не есть жизнь брюшной палочки длиной в два микрона, для которой вселенной является кишечник человека... Давайте подумаем, что такое здоровье... Здоровье кишечника есть смерть палочки брюшного тифа... Здоровье — смерть... Болезнь и лечение есть разновидность дарвинской борьбы за существование... Хочется только верить, что если человек и болезнь вселенной, то это ее длительная, неизлечимая болезнь... Ощущая боль, природа познает себя...

Далее начался бессвязный бред. Юрию Дмитриевичу ввели успокаивающее средство. Днем вместе с Бухом приехал профессор Пароцкий и врач-терапевт. Помимо тяжелого расстройства сознания у Юрия Дмитриевича установили крупозную пневмонию, двустороннее воспаление легких.

V

В ноябре Юрий Дмитриевич вернулся с юга. Болезнь резко изменила его характер, он стал замкнут, молчалив, ему было стыдно того, что произошло с ним, и в каждом он подозревал насмешника. Однако Бух успокаивал Нину, говорил, что это обычные рецидивы, которые постепенно исчезнут. И действительно, в Крыму Юрий Дмитриевич рассеялся, повеселел. Если ранее, до болезни, он не обращал особого внимания на еду, на свою внешность, то теперь он полюбил вкусные, необычные кушанья, полюбил красивую одежду. На туалетном столике у него теперь стояли флаконы дорогого одеколона, мази, придававшие свежий оттенок коже, мази, предохранявшие от морщин, лежали щипчики, щетки, напильнички для ногтей.

Вначале Юрий Дмитриевич и Нина жили в Алуште,

потом переехали в Евпаторию. В Евпатории они подружались с пожилой четой. Это были добрые, но скучные и неумные люди, однако, Нине каждый вечер приходилось гулять с ними по набережной, так как Юрий Дмитриевич, надутый, с подкрашенными бровями, в прекрасном костюме и в галстуке, со вкусом подобранном, уходил, как он говорил, «в одиночестве наслаждаться морем». Нина знала, что у Юрия Дмитриевича был роман с какой-то актрисой, а когда актриса уехала, он завел роман с официанткой чебуречной. Лежа на тахте в гостинице, Нина плакала и ругала себя за это, называла эгоисткой, так как уверила себя, что такая жизнь укрепляет здоровье Юрия Дмитриевича.

Однажды Юрий Дмитриевич пришел перед рассветом, сел рядом, обнял Нину, которая, не раздевшись, пролежала без сна на тахте, и сказал, улыбаясь:

— Ах, Нина... Как мы часто забываем... Вернее, не умеем ценить собственное тело... Это единственное, что нам принадлежит на этом свете... Наша духовная жизнь принадлежит не нам, а чему-то всеобщему... Чему-то еще недостаточно ясному... Все душевные болезни — это мечь нашего тела, которое в отместку за невнимание к себе лишает человека своей опоры, передав его целиком духу...

От Юрия Дмитриевича пахло вином, мясом, пряностями, и когда он уверенными движениями начал расстегивать кофточку у Нины на груди, она испытала страх, точно Юрий Дмитриевич исчез, а к ней в номер ворвался пьяный насильник. К тому ж между ними давно не было близости, Нина отвыкла от него, она села и, прикрыв свою грудь локтями, сказала:

— Потом... Не сейчас... Ради Бога...

Но Юрий Дмитриевич, распаленный вином и ее сопротивлением, сильными, умелыми движениями запрокинул ей голову и повалил. Спать он остался вместе с ней, а не ушел, как всегда, к себе на диван, и Нина лежала рядом без сна, чувствуя себя в сорок четыре года обесчещенной девушкой. Заснула она уже утром, когда с улицы слышались смех и шаги идущих к пляжу курортников, а, проснувшись, увидела Юрия Дмитриевича, бодрого, веселого, который в тапочках и нейлоновых купальных трусах делал гимнастику с гантелями. Ей стало стыдно своих ночных чувств, а на душе молодо и радостно, как после первой брачной ночи. Она встала, накинула халат, поцеловала Юрия Дмитриевича в затылок и ушла готовить завтрак. Питались они дома, так

как ресторанная еда казалась Юрию Дмитриевичу недостаточно вкусной, и за плату одна из работниц гостиницы, жившая на первом этаже и имевшая свою кухню, разрешала Нине там готовить и даже закупала продукты.

К завтраку Нина приготовила бутерброды на поджаренном хлебе. На каждом кусочке белого жареного хлеба лежал ломтик сваренного вкрутую яйца, в центре ломтика высилась горка паюсной икры, а по краям ломтика был ободок из сливочного масла. Кроме бутербродов, был язык под белым соусом с изюмом и лимонным соком, омлет с яблоками и взбитые сливки с сахарной пудрой.

Посоветовавшись с Юрием Дмитриевичем, Нина пригласила к завтраку чету. Супруга звали Осип Леонидыч. У него с собой была трость, на которую он, однако, не опирался, а носил под мышкой, набалдашником вперед. Сев за стол, он начал массировать пальцами переносицу и спросил Нину:

— Вас не шокирует, что я массирую переносицу?

Из кармана его пиджака торчала пачка свежих центральных газет, а пуговицы на его белых полотняных брюках всегда были расстегнуты, так что виднелись кальсоны, и Нина боялась, что Осип Леонидыч, либо его супруга обратят внимание на эту небрежность, смутятся и приятная атмосфера завтрака испортится.

Супругу звали Клавдия Андреевна. Она была очень толстой, старой, старше Осипа Леонидыча. У нее росли усики и татарская жидкая борода. От супруга своего она переняла многие привычки и повадки, даже говорила, как и он, несколько нараспев. Об администраторе гостиницы она сказала:

— Я его предупредила, в следующий раз я ему устрою такой бенефис, что он после этого собственную маму примет за собственного папу.

Юрию Дмитриевичу старики нравились. Он жадно ел, смеялся, тоже пробовал говорить нараспев и спорил с Осипом Леонидычем о политике.

Вечером того же дня Юрий Дмитриевич и Нина уехали.

Ноябрь был наредкость теплый, настоящее бабье лето. Днем солнце грело так, что можно было ходить без пиджака. Первую неделю Юрий Дмитриевич занят был переоформлением на новое место работы, куда он устраивался в порядке перевода, чтоб не потерять стаж. Новое место был довольно солидный медико-биологический журнал. Платили там

лучше, и оставалось много свободного времени для работы над диссертацией.

Диссертация была уже почти закончена еще зимой прошлого года, однако весной — это был период, когда ощущались первые симптомы душевного расстройства и Юрий Дмитриевич перестал спать по ночам, — весной диссертация показалась Юрию Дмитриевичу мелкой, неталантливой, обсасывающей частную проблему. Диссертацию Юрий Дмитриевич нашел в дальнем ящике письменного стола. Многие листы ее были скомканы, помяты, а некоторые разорваны. Роясь в ящике, он нашел папку с бумагами, на которой аккуратным почерком было написано: «История болезни Иисуса Христа и анатомическое исследование тела Иисуса, выяснение точного положения тела на кресте и причина, по которой Иисус, умирая, склонил голову к правому плечу».

Юрий Дмитриевич достал папку и, держа ее на отлете, точно змею, с колотящимся сердцем пошел на кухню. Ему вдруг стало страшно, точно эта папка из серого картона может отнять у него, поглотить этот тихий, золотой от желтой листвы день, квартиру, запах вкусной еды, которую готовила на кухне Нина. Он достал в кладовой мешок, кинул туда папку, одел старую бархатную куртку и взял спички.

— Ты куда? — спросила Нина, поглядев тревожно. — Ты себя плохо чувствуешь... Ты бледен.

— Нет, ничего, — сказал Юрий Дмитриевич. — Я к истопнику. Кое-какую ветошь ему отдам, старье...

В подвале, куда Юрий Дмитриевич спустился, было сыро и дышалось трудно из-за запаха мазута и копоти. Юрий Дмитриевич остановился в узком коридорчике, вытряхнул папку из мешка и принялся рвать ее, ломая ногти о твердый плотный картон. Лишь когда перед ним лежала куча изорванной бумаги, Юрий Дмитриевич несколько успокоился. Он поджег бумагу, испытывая наслаждение от того, как она корчится на цементном полу. Потом он растоптал, разворошил пепел, вышел во двор, где стучали в козла, где слышалась музыка из окон, где мальчишки гоняли в футбол. Юрий Дмитриевич посмотрел на все это и, точно проснувшись после кошмара, радостно глубоко вздохнул.

Обедал он с аппетитом. Нина приготовила грибной пудинг из мелко изрубленных белых грибов, запеченных в кастрюле вместе с жареным луком, тертым белым хлебом и ореховым маслом. Кроме того, была уха из окуней, приправлен-

ная растертой в ступке паюсной икрой, и фаршированный кролик с соусом из чеснока.

Вечером к Юрию Дмитриевичу приехал новый сослуживец Алесковкин, которого все звали просто Кононович. Они должны были отправиться на какой-то товарищеский ужин, и Кононович заехал, поскольку Юрий Дмитриевич не знал адреса и вообще ехал в эту компанию впервые. Вместе с Кононовичем была полная молодая женщина, крашеная блондинка в черном платье, которое распирал высокий бюст, и с большими, красными, видно, обмороженными руками. На крупной левой кисти ее были крошечные золотые часики. Крашеную блондинку звали Рита. Пока Нина переодевалась в спальне, а Рита разглядывала в столовой журналы мод, Кононович шепотом рассказывал о ней, подмигивая. Раньше Рита работала на стройке, где обморозила руки. Звали ее тогда Глафирой. Потом она поступила в домработницы к профессору, старому холостяку, сошлась с ним и вышла за него замуж.

— Страшная женщина, — говорил Кононович, — вампир... Глогает мужчин... Советую не пренебрегать...

В квартире, куда они приехали, было шумно и тесно. Первый, кого Юрий Дмитриевич увидал, был Николай Павлович. Юрий Дмитриевич смутился, но Николай Павлович спокойно подошел и пожал ему руку.

— Вы прекрасно выглядите, — сказал ему Николай Павлович, — рад, очень рад...

Николай Павлович работал теперь не зам. директора института, а зав. эпидемстанцией. Вид у него был по-прежнему руководящий. Юрий Дмитриевич услышал, как он говорил кому-то в пенсне:

— Прежде всего я принял меры к укреплению финансовой дисциплины, поскольку финансовый контроль есть мерило... Именно мерило в отличие...

Юрий Дмитриевич рассеялся и, выпив после провозглашения тоста за здоровье какого-то Крошюка Антон Антоныча, начал прислушиваться к другим разговорам. Разговор в той части стола, где сидел Юрий Дмитриевич, вертелся вокруг расового вопроса.

— Раса существует, — говорил мужчина с оттопыренными ушами, — и существует различие, на которое не следует закрывать глаза... Особенно медику... Наоборот, как только мы закрываем глаза на трудности, на различия, которые необходимо преодолеть, как это сразу используют кан-

нибалы, расисты всех мастей...

— Чуть, — выкрикивал его оппонент, совсем молодой с румянцем на щеках и в дешевом ширпотребовском костюме, — раса есть внешние биологические признаки. Границы человеческого тела: кожа, нос, глаза и так далее... Раса — границы между биологией и психологией... Глубинная биология, которая собственно составляет суть человека, связана с нервной системой и мозгом и составляет фундамент человеческого индивида, по отношению к которому раса является внешним признаком, лишь способствующим формированию вследствие психологического воздействия... Иными словами, раса есть психология, облеченная во внешне биологическую форму...

— А генетика, — кричал мужчина с оттопыренными ушами, — наследственность тоже внешняя форма?

— Наследственные признаки передают главным образом качество индивида, а не расы в целом, — отвечал молодой, — индивида... В колонии кораллов каждая особь лишь часть целого, человек же представляет собой биологически независимое от других себе подобных существо... Вы путаете биологию с психологией... И не говорите, что это неразрывно связано, перепутано и так далее. Эти термины всегда употребляют, чтоб уйти от конкретного, от ясности к общим разговорчикам... Существует глубинная биология, связанная с внутренними органами человека, и существует внешняя биология, связанная с географией, с климатом...

— А напрасно, — сказал Кононович, сидевший рядом с Юрием Дмитриевичем. Щеки Кононовича побелели от выпитой водки, и косточки маслин он выплевывал на скатерть. — Напрасно... Именно различие существует... И графу в анкете, понимаешь, еще никто не отменил... Не было такого приказа... Я лично, встречая человека, всегда думаю: а какая у тебя, браток, национальность в кармане... Меня не интересует национальность только женщины, и то в тот момент, когда она особенно женщина... Когда ж этот момент проходит, женщина превращается в клейменную своей нацией выдру...

Кононович поднял голову, прислушался к звукам включенной радиолы и сказал:

— Юрий, разреши твою жену... на танец...

— Да, конечно, — сказал Юрий Дмитриевич.

Кононович был Нине отвратителен, от него воняло почему-то мочой, но Нина боялась рассердить Юрия Дмит-

риевича отказом. Едва они вышли и задвигались в ритме танца, как Кононович увлек ее подальше в угол и начал нащупывать сзади у нее между лопаток через платье застежки ее бюстгальтера. Нина плечом сбросила его руку и сказала, глядя с ненавистью на лисью блондинистую физиономию:

— От кого-то из нас воняет скипидаром...

— Разве? — сказал Кононович. — Только не от меня, если я никуда не вступил...

К Юрию Дмитриевичу под села Рита. Сев, она так высоко подтянула подол платья, что стали видны ее серебристые английские подвязки на полных мясистых ногах.

— Мне надо, чтоб мужчина был, — сказала Рита, — а нация меня не интересует...

Руки у нее были влажные, и от прикосновения к ним оставались белые пятна, медленно заплывающие краснотой. Вскоре Рита с Юрием Дмитриевичем оказались в передней среди одежды, и Рита, глядя бешеными жадными глазами, начала молча хватать Юрия Дмитриевича.

— Правда, что ты психом был? — спросила она после нескольких минут молчаливого хватанья и дыханья, — я еще психов не пробовала...

— Я был болен, — сказал Юрий Дмитриевич, — человек состоит из воздуха, желчи и слизи... Меня наполнял воздух... Он носил меня над землей... Теперь я хочу жить желчью... Желчь образуется из крови, освободившейся от лимфатических частей... Она перегружена маслянистыми веществами... Если нет выхода семенной жидкости, она вступает с ней во взаимодействие и разъедает мозг... Но я дам выход семенной жидкости и направлю желчь в иное русло... Ты напиши мне телефон... Мы встретимся...

В комнате послышался шум. Что-то разбилось. Юрий Дмитриевич поспешил туда, поправляя на ходу одежду, истерзанную Ритой, и застегиваясь. Нина сидела на диване, и биолог в ширпотребовском костюме поил ее холодным морсом. Волосы ее были растрепаны, а платье на груди испачкано каким-то соусом.

— Нине Ивановне стало нехорошо, — сказал Кононович, — здесь действительно душно и накурено.

— Юра, — тоскливо сказала Нина, подняв на Юрия Дмитриевича глаза. — Что ты делаешь со мной и с собой...

— А что, — сказал Юрий Дмитриевич, у которого в голове шумело от водки и от сильных мужских объятий

Риты, — в конце-то концов наши отношения не вечны... Да... Я сожалею, что не довел до конца... Ибо ты была виной душевной травмы моей...

Николай Павлович, стоящий поблизости и услышавший в голосе Юрия Дмитриевича знакомые нотки, поспешно отошел. Но ссора окончилась благополучно. Кононович вызвал такси, и Юрий Дмитриевич с Ниной уехали.

Все осталось прежним. Нина моталась по магазинам и базарам, закупая продукты, и рылась в поварских книгах, готовя майонез из дичи, грибной борщ с черносливом, блинчатые пироги и другую, как говорил Юрий Дмитриевич, «вкуснятину». Юрий Дмитриевич ходил на службу или в республиканскую библиотеку Академии наук работать над диссертацией. Вечерами он уходил под разными предлогами то на заседание, то на юбилей. Раз он даже сказал, что идет в морг посмотреть интересный, привезенный туда экспонат. Возвращался Юрий Дмитриевич глубокой ночью. Нина притворялась спящей и видела, как он возбужденно ходит в темноте. А утром она замечала на его теле синеватые следы щипков и царапины. Однажды Нина слышала, как Юрий Дмитриевич, разговаривая по телефону с Кононовичем, сказал:

— В этой женщине есть что-то от самки паука, поедающей самца... Не знаю, стоит ли жалеть самца... Это скорее буддизм, чем христианство... В основе буддизма также лежит легенда приношения себя в жертву, но, пожалуй, более благородная, чем христианское распятие... Будда, встретив голодную больную тигрицу, предложил ей себя съесть... Именно тигрице, самке... Тут тонкость... Тут не добро в основе, а наслаждение... Конечно, не каждодневное наслаждение, а наслаждение-идеал... Тут взаимная любовь приводит к слиянию в единый организм... Впрочем в Евангелии от Иоанна Христос также предлагает есть его плоть и пить его кровь людям... Однако это не основа христианства, а одно из чудес Христа...

Нина слышала, как в трубке потрескивало от хохота Кононовича, и к женской обиде примешивалась досада на Юрия Дмитриевича, который доверяет какие-то свои размышления дураку.

Юрий Дмитриевич опять стал хуже спать, и ему казалось, проснувшись, что что-то давит на живот и, если он просто так закричит, станет легче. И лежа в темноте с горячими ногами и холодным лбом, он заранее пугался той

секунды, когда раздастся его крик и вся налаженная, как ему казалось, жизнь после этого крика сразу сломается...

Однако это случалось не часто и только ночью, причем в одно и то же время — часа в два-три... Днем же Юрий Дмитриевич чувствовал себя хорошо, ел с аппетитом, следил за своей внешностью, даже пополнил, и лицо его приобрело здоровый оттенок. Нина ездила советоваться с Бухом.

— Рецидивы возможны, — сказал Бух, — но будем надеяться, что это попросту остаточные явления... Повышенная инстинктивная жизнь: аппетит, половое влечение часто бывает выше нормы даже после полного выздоровления... Надо проявлять терпимость и понимание... Кстати, это выходит уже за рамки медицины... Тут больше зависит от вас, чем от меня... Вы ведь супруга, женщина... И в этой борьбе... Вернее, соперничестве с животным... Да, да, как это ужасно... Я вам глубоко сочувствую...

Но проходил день за днем, и ничего не менялось, пока не наступило второе декабря. Встав утром, Юрий Дмитриевич сразу почувствовал, что это не число, а дата, и сегодня что-то должно произойти. Впрочем, возможно в этом он уверил себя уже позднее, когда события произошли. Прежде всего, Юрий Дмитриевич увидел комнату необычно освещенной, она словно стала чище, но чистота была стерильной, тревожной, как в больничной палате. Он выглянул в окно и увидел белые крыши. Это был первый снег. Снег шел, очевидно, всю ночь, и дворники скребли его с тротуаров, сметая в сугробы. Позавтракав наскоро и без обычного удовольствия, впрочем, это, может, тоже казалось уже впоследствии, Юрий Дмитриевич одел пахнущее нафталином зимнее пальто с каракулевым воротником, ушанку из пыжика, взял скрипящий портфель с хромированными чемоданными замками и пошел в библиотеку. Шел он пешком, чтоб получить удовольствие от первого морозца и развеяться перед работой. В библиотеке было три зала: для студентов, для специалистов с высшим образованием и для научных работников. В студенческой зале всегда было тесно и шумно, места там были не пронумерованы, и сидели вплотную по несколько человек за столом. Зал для научных работников был маленький и чаще всего полупустой. Масивные пальмы в кадках и мягкие кресла мешали сосредоточиться. Юрий Дмитриевич предпочитал работать в зале для специалистов. Зал был громадный, словно открытый

стадион, высотой метров десять. Потолок в нем был из толстого матового стекла, скрепленного алюминиевыми рамами. Юрий Дмитриевич заполнил бланк заказа, получил книги, сел на свое место, согласно выданному жетончику, и углубился в работу. Однако минут через десять он почувствовал: что-то мешает ему сосредоточиться. Он отложил таблицу, из которой выписывал цифры, встал и подошел к окну, также очень высокому, размером с витрину. За окном медленно ползли троллейбусы с заснеженными крышами. Мороз упал, начало таять, мостовая была покрыта коричневой кашцей.

«Оттепель, — подумал Юрий Дмитриевич, — очевидно, это и мешает сосредоточиться... Вот оно, влияние погоды на поступки людей... В Лондоне ветер и туман в октябре увеличивают число самоубийств».

Юрий Дмитриевич вновь уселся, раскрыл таблицу, взял остроотточенный красный карандаш и вдруг глянул на читателя, сидящего напротив. Собственно, он и раньше на него смотрел, но как бы безразлично, теперь же он посмотрел пристально и почему-то подумал, что именно этот читатель мешает ему сосредоточиться. Это был мужчина лет сорока, рыжеватый, с рыжими ресницами, а в общем, ничем не примечательный, в черном пиджаке, сером вязаном жилете и сером галстуке. Пальцы у него были тонкие с аккуратными, точно полированными ногтями. На одном из пальцев было обручальное кольцо. Юрий Дмитриевич подумал, что мужчина этот любит свое отражение в зеркале, несмотря на рыжеватость, к которой привык и не замечает. А может, даже любит и рыжеватость. В то же время в лице этом было что-то неуловимо пугающее, что-то отличало его от других лиц вокруг, может, легкое подрагивание века, которое становилось заметным, если приглядеться, а может припудренный небольшой шрам полумесяцем у правой брови. Мужчина между тем заметил, что его разглядывают. Вначале он досадливо морщился, не переставая что-то быстро писать в блокнот, перелистывая левой рукой страницы увесистого тома. Потом он начал ерзать, потом сердито посмотрел в упор на Юрия Дмитриевича и, наконец, не выдержав, захлопнул книгу, отложил блокнот, достал из-под груды листов пачку сигарет, вытряхнул одну, зажал ее между губ, встряхнув спичечный коробок, встал и пошел по проходу, очевидно, в курительную комнату. Как только мужчина ушел, Юрий Дмитриевич почувствовал себя

спокойней, он раскрыл таблицу и некоторое время работал сосредоточенно.

Вдруг раздался сильный удар, особенно громко прозвучавший в тиши библиотеки, послышался звон стекла, треск ломающегося дерева и крики, топот ног. Юрий Дмитриевич поднял глаза. Первое, что он увидел, был расколотый абажур настольной лампы. Кресло, на котором сидел рыжеватый мужчина, было разбито, в спинку глубоко врезался алюминиевый стержень. Острые куски стекла, рубчатого, сантиметровой толщины, с запаянной внутрь проволочной сеткой, глубоко пропоролли сидение кресла. Стол также был завален стеклом, бумаги и книги на нем порезаны и изорваны острыми осколками и кусками алюминия. Сидевшая слева женщина лет пятидесяти держалась за порезанную кисть, впрочем, порез был неглубоким, просто царапина. Юрий Дмитриевич глянул вверх и увидел в потолке зияющее отверстие, сквозь которое видны были стропила. Целая рама сорвалась и, пролетев десять метров, ударила по столу и креслу рыжеватого мужчины. Читатели повскакали со своих мест, по ковровой дорожке через зал трусила рысью дежурная.

— А где же товарищ? — спросила она запыхавшись.

— Покурить вышел, — ответил Юрий Дмитриевич.

— Это б череп разнесло в два счета, — сказал кто-то, — вот и пойдя предугадай, где тебя ждет.

В зал вошел рыжеватый мужчина. Вид у него был отдохнувший, возможно, он не только покурил, но и выпил в буфете чашечку кофе. Он шел по проходу, вытирая платком с губ крошки печенья. Заметив толпящихся читателей, он удивленно поднял брови. Лицо его, помимо благодушия, приобрело оттенок любопытства. Он пошел быстрее, вытянув шею и стараясь заглянуть через спины.

— Товарищ, — увидев его, выкрикнула дежурная. — Это тот товарищ... С этого места... Видите, какой вы счастливый, товарищ...

Перед мужчиной расступились. Он увидел искаленное кресло, стол, заваленный острыми осколками стекла и алюминия. На мгновение тело его затряслось, словно в ознобе, а лицо исказилось. Но лишь на мгновение. В следующее мгновение лицо его приобрело задумчивое, даже сонное выражение, какое бывает у людей, предавшихся философским размышлениям. Так стоял он минут-две в полной тишине, склонив голову несколько набок. Потом он

мягко, осторожно, словно не желая запачкать костюм и выбирая место почище, опустился на пол. Щеки его побелели.

— Обморок, — крикнула дежурная, — воды... Медсестру... Позвоните...

Юрий Дмитриевич принялся собирать свои книги и бумаги. Он видел, как мужчину усадили, медсестра давала ему нюхать флакончик, мужчина вскидывал головой, и расстегнутая рубашка его была мокрой от воды.

— Все ясно, — бормотал Юрий Дмитриевич. — Все ясно...

Юрий Дмитриевич сдал книги, спрятал бумаги в портфель, оделся и пошел, вдыхая сырой воздух. Утренние суробы выглядели теперь маленькими грязными кучками. В зимнем пальто и ушанке было жарко.

Встретив Юрия Дмитриевича в передней, Нина спросила шепотом, глянув ему в лицо:

— Ты уже знаешь? Тебе звонили!.. Ах, боже мой... Но в общем волноваться не надо... Все можно решить... Главное, здоровье... Любой суд будет на твоей стороне...

— Какой суд? — снимая пальто спросил Юрий Дмитриевич, — что я знаю?.. Вечно у тебя какие-то новости... Ты шпионишь за мной, как иезуит.

— Юрий, — сморщившись, словно собираясь заплакать, сказала Нина, — Юрий, сейчас не время для пререканий... Надо решить серьезные вещи... Ты ведь знаешь... я сразу поняла это по выражению, с которым ты вошел...

— Ах, оставь со своей телепатией... Какое выражение, в чем дело?

— У нас Григорий, — сказала Нина, — он хочет говорить с тобой... Но ты должен помнить о себе... И о своем здоровье... О своей семье...

— Григорий? — спросил Юрий Дмитриевич в некоторой растерянности.

В последнее время отношения с Григорием и вообще со старыми друзьями у Юрия Дмитриевича разладились. Они перестали бывать друг у друга. Григория Юрий Дмитриевич встретил случайно недели две назад на улице. Они поздоровались, перекинулись двумя-тремя словами и разошлись. Григорий Алексеевич сидел в кабинете у Юрия Дмитриевича и листал женский календарь за прошлый год.

— Однако сюрприз, — стараясь придать своему лицу

бесшабашное выражение, сказал Юрий Дмитриевич. — Глазам не верю...

— Здравствуй, — сказал Григорий Алексеевич. — Я к тебе, собственно, по делу... Вернее, тебе письмо...

— Григорий, — сказала Нина, — Юрий перенес тяжелую болезнь. Я прошу тебя, я требую, наконец...

— Ах, оставь! — крикнул Юрий Дмитриевич, чувствуя усиливающееся сердцебиение, — в чем дело, от кого письмо? Что я знаю... Что вообще происходит?

— Сядь, — сказал Григорий Алексеевич. — Я состою в обществе охраны памятников старины... которые подвергаются варварским разрушениям в результате невежества... Например, памятник русского зодчества... Двенадцатый век... В нем склады, горторга... Строители... Унитазы валяются...

— Ах, ты хочешь, чтобы я тоже вступил в общество, — облегченно вздохнул Юрий Дмитриевич.

— Нет, — сказал Григорий Алексеевич, — то есть в общество ты можешь, конечно, вступить... Это долг каждого культурного человека. Защитить историю... Предков... Да... Но я сейчас, собственно, о другом... Я с комиссией был в монастыре.. В общем, в том самом... Я встретил девушку... Женщину.. Богомолку... Она меня узнала... Зина... Она беременна..

Высказавшись, Григорий Алексеевич глубоко вздохнул, перевел дыхание, точно поднявшись на гору. Юрий Дмитриевич слышал, как за спиной заплакала Нина.

— Да, конечно, — тихо сказал Юрий Дмитриевич. — Но что же делать... Вернее, я не совета у тебя прошу, а просто думаю вслух.

— Ты был болен, — крикнула Нина, — ты не несешь ответственности за свои поступки... Я советовалась с Бухом... При болезни инстинктивная жизнь, половые влечения повышены... Да... Известны случаи, когда больные легкомысленно вступают в брак со случайными лицами... И, кроме того, — со злобой крикнула Нина, — эти религиозные святоши развратны... В сектах они вступают в связь с проповедниками... С монахами... Она пытается воспользоваться... Это не твой ребенок...

— Она не сектантка, — тихо, думая о чем-то и оберегая эти мысли от окружающих, сказал Юрий Дмитриевич.

— Тебе письмо, — сказал Григорий Алексеевич и протянул замусоленный конверт.

В нём лежал листок блокнотной бумаги, на которой значилось сверху: «Делегату VI съезда республиканского общества по распространению политических и научных знаний».

— Это я вырвал ей лист из своего блокнота, — сказал Григорий Алексеевич.

Листок был исписан с корявой аккуратностью, как обычно пишут малограмотные:

«Милый мой муж Юрий, — писала Зина, — с приветом к тебе твоя жена Зина. Мы хоть и не венчанные, но я так пишу потому что перед Богом мы муж и жена, и я за тебя молюсь, как за мужа своего в дальней дороге. А когда ты вернешься, мы повенчаемся и для людей тоже будем мужем и женой. В первых строках своего письма спешу тебе, мой любимый муж, сообщить большую радость. У нас будет сын. Я взяла из артели отпуск и вместе с папой Исаем, который тоже тебя любит, еду сейчас в Почаев, в святую Лавру, чтоб молиться за сына и за нашу любовь. Твоего адреса я не знаю, но когда вернусь, то напишу твоему другу, а он тебе передаст. Твоя верная любящая жена Зина.»

— Григорий, — сказала Нина, нервно похрустывая пальцами. — Что нам делать, — лицо у нее было молящее и даже заискивающее, точно она не просила, а вымаливала у Григория Алексеевича советы и точно его совет все мог уладить.

— Не знаю, — сказал Григорий. — Попробуйте объяснить... Может, она согласится избавиться от ребенка... Я говорю бред, я говорю первое, что приходит в голову, но я не знаю... Это так сложно... Или, в конце концов, алименты... Впрочем, при отсутствии законного брака...

— Какое это имеет значение, — обрадованно вскричала Нина. — Ты умница, Григорий. Ты настоящий товарищ... Ты нашел блестящий выход... Конечно, если она не захочет сделать аборт, мы будем платить... Мы будем любить ребенка... Правда, Юрий... Это твой сын, и я буду любить его как собственного... Мы будем покупать ему подарки, мы будем ходить в гости... — Она припала к плечу Григория Алексеевича и разрыдалась...

— Тише, — говорил Юрий Дмитриевич, поглаживая ее по волосам, по шее, — не надо... Ну, я прошу тебя...

Лицо его стало кротким и задумчивым.

Когда Григорий Алексеевич ушел, они пообедили. Дви-

гались они и говорили так, точно оберегали друг друга от своих неосторожных слов и движений. Но к вечеру в настроении Юрия Дмитриевича произошло новое изменение. Он помрачнел, замкнулся и уселся в кресло, грызя карандаш и глядя в темное окно, в которое ветер швырял хлопья мокрого снега.

— Ложись, — сказал он Нине, — у меня бессонница... Я посижу, поработаю...

— Тебе вредно, — сказала Нина, — я советовалась с Бухом... Он категорически возражает против ночной работы... Прими таблетку...

— Прекрати меня опекать, — крикнул Юрий Дмитриевич так громко, что в горле запершило, — вместе с Бухом... Да, да, оставь...

Он вскочил, ушел к себе в кабинет, заперся, потушил свет и лег на диван, заложив руки за голову. Так пролежал он до утра, изредка меняя положение тела, вместо правой руки закладывая за голову левую. Утром он припудрил набрякшие под глазами синяки и пошел на работу.

VI

Минуло две недели. Были уже настоящие декабрьские морозы. Как всегда, в конце года накопилось много дел, и Юрий Дмитриевич не успевал теперь ездить домой обедать. Обедал он в ресторане неподалеку от места работы. Это было второразрядное заведение, в котором официантов было больше, чем посетителей, однако, сидеть и ждать, пока обслужат, приходилось долго. Официанты были в основном мальчишки, похожие на провинциальных стилияг, в галстуках-ошейниках со стеклянными кнопками под горлом, в грязных рубашках, узких брючках и стоптанных узконосых туфлях. Они скапливались кучками в глубине зала и читали «Советский спорт». Были и опытные пожилые официантки, которые, как носильщики на вокзалах, выходили в вестибюль встречать выгодных посетителей и провожать их к своим столикам. За выгодных посетителей они ссорились. Юрию Дмитриевичу это было неприятно, он перестал давать им на чай, и они перестали замечать его. Однако теперь приходилось долго ждать, пока подойдет какой-либо мальчишка.

Как-то, когда Юрий Дмитриевич сидел, нервничая,

поглядывая на часы и вертя солонку, кто-то окликнул его. За соседним столиком сидел Кононович, и возле него суетилась толстая официантка в крахмальной кружевной наколке.

— Садись, пообедаем вместе, — сказал Кононович.

Юрий Дмитриевич подумал и пересел.

— Вот ты меня избегать начал, — сказал Кононович, кто-то, видно, шепнул... В наше время клеветников хватает... и Риту тоже забыл... А между тем, мы твои друзья... И к Нине начал грубо относиться, она мне жаловалась... Совсем женщина на себя не стала похожа... Ее лихорадит, она заболевает, по-моему...

— Постой, постой, — сказал Юрий Дмитриевич. — Ты не торопись... Не пойму я... Ты где Нину видел?

— Видел, — сказал Кононович. — Не бойся, не ревнуй, не в этом сейчас дело. Допустим, она у Риты была... Ты не удивляйся, между нами, твоими друзьями, могут быть разногласия, но мы все тебя любим и озабочены твоей судьбой... Ты попал в плохую историю, на тебя донос написан...

— Донос! — торопливо спросил Юрий Дмитриевич. — Кем написан донос?..

— Каким-то слепым, — сказал Кононович, — членом правления артели. Ты соблазнил девушку и бросил ее беременную... Слепой в газету написал, а газета переслала старику, мужу Риты... Знаешь, история принимает крайне неприятный оборот... Ведь эта девушка умерла...

— То есть как умерла? — довольно спокойно спросил Юрий Дмитриевич, — она ведь поехала в Почаев...

— Ну и что ж, — спросил Кононович, — как будто если человек едет в Почаев, он становится бессмертным... Приехала и умерла от аборта... У какой-то бабки делала... Необразованность, даже грешить не умеют...

Юрий Дмитриевич встал и пошел, лавируя меж тесно стоящих столиков. Груда посуды высилась на столиках, грозя упасть и расколоться на множество осколков, так как пол был выложен керамической плиткой. Большое количество людей сидело и стояло в самых неудобных позах, вытянув ноги, подставив костлявые локти или просто преградив дорогу телами. В вестибюле у вешалки висел телефон, но по этому телефону разговаривал какой-то полковник. К счастью, рядом с рестораном тоже была телефонная будка. Юрий Дмитриевич вышел из ресторана, но и эта будка

была занята. Тогда он пошел к будке в конце улицы. Прохожие смотрели на него, он был без пальто и шапки и пиджак его покрылся снегом. Будка в конце улицы была свободна. Юрий Дмитриевич набрал номер.

— Григорий, — сказал он, — Зина умерла, это правда?

— Да, — сказал Григорий Алексеевич. — Я не знал, как это тебе сообщить... Я колебался... Нина ей написала письмо... Это было пять дней назад... Я читал это письмо. Нина писала все, о чем мы говорили... Она предлагала помощь в воспитании ребенка... Я тоже пробовал уговаривать... Ты слышишь меня, Юрий?.. Ты не должен обвинять Нину... Конечно, это печально, это ужасно... Но эти религиозные фанатички, изуверы... Ты слышишь меня... Ты откуда говоришь?..

— Слышу, — сказал Юрий Дмитриевич и повесил трубку.

Он вернулся в ресторан, оделся и поехал домой. Под пальто было мокро, талый снег пропитал пиджак и рубашку, влажное тело чесалось. На лестничной площадке перед своими дверьми он не выдержал, снял пальто, пиджак и принялся чесать зудящее тело меж лопаток, под мышками и даже под коленями. Потом он открыл дверь своим ключом. В столовой слышались голоса, звяканье посуды. Он вошел и увидел Нину и Риту, сидящих за столом. Стол был уставлен вазочками с вареньем, стояло блюдо с конфетами, печеньем и горкой лежали апельсины.

Рита была в пушистой вязаной кофточке, туго обтягивающей ее широкие мужские плечи и высокий бюст. Когда Юрий Дмитриевич вошел, обе повернули к нему головы, желая что-то сказать.

— Молчать! — крикнул Юрий Дмитриевич, — раз вы поняли друг друга... То есть подружились... Зина умерла... Да... Я потерял человеческий облик... Но ты, Нина, ты с этим животным... С этой самкой паука...

— Ну, знаете ли! — крикнула Рита и вскочила. — Я по доброте своей согласилась, а теперь мне плевать... Ну и семейка... Жена сама любовницу зовет, чтоб развлечь мужа... Знай, дурачок, она мне предлагала развлечь тебя... Чтобы ты не переживал из-за той крали... Той, которой ты ребенка заделал и которая от аборта померла... Это ведь анекдот... Жена предлагает... — Рита захохотала, кончив хохотать, она вновь крикнула: — Хватит... тебя еще к суду привлекут... Я на вас обоих покажу... Посмотрим, кто паук...

На тебя письмо есть, ему будет дан ход...

Пока она кричала, Юрий Дмитриевич смотрел на ее десны, меж крепких белых зубов ее возникали маленькие пузырьки слюны. Ладонями она сильно схватилась за спинку стула; и красные, обмороженные руки ее побелели возле суставов, на сгибах пальцев. Рита ушла в переднюю. Слышно было, как она одевается, потом хлопнула дверь.

Юрий Дмитриевич подошел к Нине и сел рядом.

— Я обезумела, — сказала Нина. — Я потеряла рассудок... Я надеялась... Я хваталась за все... Я не знаю... Жить теперь нельзя...

— Тише, — сказал Юрий Дмитриевич, — давай помолчим... Если есть человек, перед которым я виноват более, чем перед покойной, так это ты... А теперь я поеду туда...

— Я боюсь за тебя, — сказала Нина, — я поеду с тобой...

— Нет, — сказал Юрий Дмитриевич, — ты умница, ты знаешь, что тебе туда нельзя, ты хорошая, ты милая... Ты выпей чаю, полежи, почитай журнальчик... Я скоро вернусь... — так уговаривая ее, как маленькую, он одевался.

Когда он был уже на улице, то увидел, как Нина, видно, опомнившись, выбежала следом. Но он стоял за газетным киоском и она не заметила его, пошла торопливо вдоль улицы, оглядываясь по сторонам.

Юрий Дмитриевич взял такси и поехал к монастырю. За городом было очень тихо и чисто. Монастырские стены и двор были густо засыпаны снегом и даже обгорелая церковь, где помещались склады горторга, выглядела теперь чисто и нарядно. Дверь в квартире Зины была незаперта. За столом сидел какой-то небритый человек и составлял опись имущества. Икона лежала на диване, среди кастюль, керогаза, мешочков с продуктами. Ящики комода были выдвинуты, и поверх комода лежало горкой чистое, пахнущее нафталином белье, стеклянные бусы, коробка с дешевыми, но не ношенными еще туфлями, юбка, два платья, несколько клубков шерсти и недовязанная кофточка. Лежало также толстое кольцо, в глубине которого когда-то Юрий Дмитриевич увидел домик на горке.

— Вам чего? — спросил человек Юрия Дмитриевича.

— Я насчет покойной, насчет похорон.

— Вы родственник?

— Нет... я знакомый...

— Понятно, — разочарованно сказал мужчина, — а то тут в ведомости расписаться надо...

— Ее в церковь понесли, — сказала пожилая женщина, очевидно, понятая.

Женщина сортировала посуду, поновой в одну кучку, а старую, выщербленную кидала в ржавый таз, где было уже много черепков. — Отпевать будут, — добавила женщина. — Это тут в деревне, мимо стройки идти надо.

— Спасибо, — сказал Юрий Дмитриевич и вышел.

Церковь была в глубине старого парка среди красиво заснеженных аллей. У церкви стоял автобус и грузовик. Ходили люди с траурными повязками. В автобусе видны были музыканты и свернутое знамя с траурными лентами. На пороге церкви стояла сухая высокая старуха в черном платке, а перед ней приземистый мужчина в каракулевой ушанке, коротком полушубке, галифе и фетровых, обшитых кожей сапогах-валенках.

— Пойми, мать, — говорил мужчина. — Одумайся, пока не поздно... Ты ж идеологию, за которую твой сын всю жизнь воевал, подрываешь этим актом... У него ведь правительственная награда, он ведь партийный.

— Это на этом свете он был партийный, — сказала старуха, — а на том свете все одинаковые... Не дам хоронить без отпевания... Я его родила, а он всю жизнь ваш был... И не видала я его, как ушел из дому в семнадцать лет. — Старуха всхлипнула, — все некогда... Все спешил... Все на денек... Все только переночевать... А теперь уж я на него посмотрюсь... Теперь уж он мой, а не ваш...

— Вот и неправильно, мать, — сказал мужчина, тоже украдкой вытирая глаза, — мы все Петра помним и помнить будем... Весь коллектив... Как хорошего общественника, понимаешь... Как умелого руководителя и чуткого товарища... Но ведь нельзя, мать, нельзя... Мы ведь вашу идеологию не притесняем, у нас свобода вероисповедания... Зачем же вы притесняете антирелигиозную идеологию всем нам дорогого покойника... — Мужчина помолчал, глядя на старуху, потом вздохнул и махнул рукой, — снимет с меня райком стружку, — сказал мужчина и пошел к автобусу.

По старым, отполированным подошвами ступеням Юрий Дмитриевич поднялся и, сняв шапку, вошел в сени, довольно просторную комнату с батареями парового отопления и скамейками. У стены стояли крышки двух гробов, одного богатого, обтянутого красной материей с черной полосой, а второго — простого, свежеструганного. На скамейке в передней какая-то молодая женщина пеленала

плачущего грудного ребенка. Рядом сидела девушка в черных рубчатых чулках с крашеным рыжим начесом и мальчишка лет семнадцати. Пробор у мальчишки был прямо среди головы, и волосы поблескивали от бриолина. Мальчишка и девушка прислушивались к церковному пению, подмигивали и улыбались.

— Подпеваает, Богу молится, — сказал мальчишка и кивнул на плачущего ребенка.

Церковь была разделена на две половины. Левая, более близкая к двери половина, была пуста, лишь горели лампадки перед иконами, да поблескивала позолота. В правой половине, отделенной частично стеной, частично колоннами шла служба. Народу было немного, в основном старухи в платках. Хор, находящийся где-то впереди за колоннами, пел негромко и нестройно. Время от времени молящиеся опускались на колени и крестились. Позади молящихся, поближе к дверям стояли на специальных подставках два гроба, приготовленных к отправке. Один из гробов был обтянут красным кумачом, и мужчина, лежащий в нем, утопал в цветах. Он был в черном костюме и рубашке с галстуком, лоб его был чем-то заклеен. Рядом, в свежеструганном гробу лежала Зина. Голова ее была повязана белым платочком, тело под самое горло укрыто белой простыней. На груди ее лежал какой-то предмет, назначение которого Юрий Дмитриевич не знал, похожий на квадратный кусочек кожи или плотного картона, покрытого блестками. Лица у мужчины и Зины были удивительно одинаковыми, словно они были в родстве, восково-белые, заостренные. Возле мужчины толпилось много народу и какая-то женщина, очевидно, жена, стояла вся в черном, с землистым, вспухшим от слез лицом, все время вздрагивая, точно просыпаясь. Возле Зины стояли только папа Исай и слепорожденный. Юрия Дмитриевича папа Исай, вероятно, не узнал, а слепорожденный не почувствовал, как бывало ранее. Слепорожденный был теперь сгорбившийся, ходил он, постукивая палочкой, к нему подошел церковный служака, что-то говоря, и он прошел рядом со служкой несколько шагов, спотыкаясь и едва не опрокинув лампадку. По щекам его из-под темных очков текли слезы. Папа Исай же стоял с лицом отрешенным и спокойным, бормоча невнятно, потряхивая головой и крестясь. Юрий Дмитриевич протиснулся ближе.

— Воля же пославшего меня Отца, — бормотал папа

Исай, — есть та, чтоб из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день...

Вокруг гробов стояли медные подставки со свечами. В каждой подставке было несколько тонких восковых свечей. Стояло также вокруг несколько кафедр, устланных черной материей с белой каймой. На кафедре, расположенной в изголовье гроба, лежала кучка не обожженных еще восковых свечей и листок с отпечатанной типографским способом молитвой.

— Возроптали на него иудеи, — бормотал папа Исай, — за то, что он сказал: я есмь хлеб, сошедший с небес. И говорили: не Иисус ли это сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем. Как же он говорит: я сошел с небес?

Юрий Дмитриевич прошел в левую, пустую половину церкви. На одной стене была картина: «Христос в храме». На противоположной — «Христос исцеляет младенца». Стена прямо расположенная была вся в позолоченных рамах, сверху до низу увешанная ликами святых. В верхнем ряду, в центре, в более крупной по размеру раме изображен был бородатый Бог. На коленях у него сидело его собственное бородатое изображение, только маленькое. По левую и правую сторону от Бога располагались праотцы, по четыре праотца с каждой стороны. Слева висел праотец Иаков, справа — праотец Авраам. В следующем ряду пониже висели пророки: пророк Моисей, пророк царь Давид и так далее. Всего восемь пророков. Еще ниже висели архангелы. К Юрию Дмитриевичу подошел и стал рядом, запрокинув голову, семнадцатилетний мальчишка.

— Это чей портрет, — спросил он, — не разберу надпись...

— Праотец Исай, — ответил Юрий Дмитриевич.

— А тут разных наций, — сказал мальчишка. — И евреи, и грузины...

От мальчишки веяло чистой, непорочной глупостью, как от веселого щенка.

— Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй, — неслось из другой половины церкви. А из передней слышался плач ребенка.

Юрий Дмитриевич вышел из церкви. У заснеженной скамейки стоял мужчина в фетровых сапогах-валенках и говорил кому-то в меховом картузе и очках:

— Я договорился... Двести рублей... Прощальный ужин в заводской столовой... Завком тоже доплатит...

Юрий Дмитриевич пошел вниз по крутой сельской улице. Одна сторона ее была в старых бревенчатых избах, а на второй высились выстроенные недавно многоэтажные дома. В конце улицы был дощатый ларек.

— Давай на трюх, — предложил кто-то в бушлате.

— Нет, — сказал Юрий Дмитриевич. Он подошел к ларьку, купил бутылку водки и, обогнув забор, выпил ее сам до половины, прямо из горлышке. Потом он шел неизвестно куда и был неизвестно с кем, но к вечеру, когда небо очистилось от туч и звезды густо повисли над головой, он оказался именно там, где хотел: у подножья асфальтовых ступеней, ведущих прямо к небу. Юрий Дмитриевич плохо видел, потому что очки исчезли, а правый глаз заплыл, вообще вся половина лица была разбита, и Юрий Дмитриевич чувствовал скулу свою и углы губ, точно в них защиты были твердые посторонние предметы.

Юрий Дмитриевич пошел по оледеневшим заснеженным ступеням к небу, падая, больно ударяясь локтями, коленями и ребрами. Иногда, когда Юрий Дмитриевич уставал идти, он полз, и снег у лица его слегка притаивал от тяжелого дыхания. На середине лестницы Юрий Дмитриевич остановился передохнуть, вытащил из кармана бутылку, допил и закусил оледеневшими веточками кустов, росших по сторонам ступеней. Преодоленные ступени исчезли в темноте, словно позади был обрыв и до покинутой земли было так же далеко, как и до звездного неба. Юрий Дмитриевич полежал молча, обессиленный, затем полез дальше. Он выполз на тихую заснеженную площадь. Дома уже были темными, ночными, лишь кое-где светились окна. Юрий Дмитриевич стоял на четвереньках, не имея сил подняться в полный рост и, запрокинув голову, разглядывал громадный ночной собор, купола которого упирались в звезды. Чугунные литые ворота собора были покрыты серебристой изморозью, и сверху, с карнизов доносилось покряхтыванье сонных голубей.

— Мне с четверенок встать надо, — бормотал Юрий Дмитриевич, — а чтоб с четверенок встать, надо взять в лапы камень... Я слаб, но не самый сильный, а самый слабый пращур первым взял в лапы камень, дабы с сильным сравняться... Не сила, а слабость родила человека... Слабость порождает силу, а сила слабость.

Юрий Дмитриевич уткнулся в сугроб, прижался распухшей щекой к снегу. Площадь была по-прежнему тихой

и пустой, лишь один человек шел к нему, поскрипывая сапогами.

— Человек, — с надеждой и радостью сказал Юрий Дмитриевич. — Человек, научи... Я твой меньший брат... Я на четвереньках... Просвети, человек... Похить огонь... Освети дорогу... Поведи меня, человек...

Человек наклонился, просунул руку за спину Юрию Дмитриевичу, захватил умелым приемом и твердо, больно упираясь своим предплечьем в лопатку Юрия Дмитриевича, повел...



Очнувшись, Юрий Дмитриевич увидел Буха. Бух сидел и вновь дышал мятными лепешками, шупал маленькими пальцами тело.

— Бенедикт Соломонович, — сказал Юрий Дмитриевич, — Бенедикт Соломонович, какое беспокойство... Вы приехали ночью... Сейчас ведь ночь, я чувствую это по тишине.

— Лежите спокойней, — сказал Бух.

— Бенедикт Соломонович, — сказал Юрий Дмитриевич, — вы слушали курс нервных болезней у профессора Пароцкого Ивана Ивановича... Помните, он всегда приводил один и тот же пример.. Больной Н. пошел на охоту... Как в арифметике... Из пункта А в пункт Б вышло два пешехода... — Юрий Дмитриевич сел, натянув одеяло на плечи. — Итак, больной Н. пошел на охоту и там у него возникло опасение, что своим выстрелом он убил мальчика, собиравшего грибы. Это опасение возникло у него, несмотря на уверенность, что никакого мальчика в лесу не было, что сезон не подходит для сбора грибов... Тем не менее, он обследовал тщательно весь лес в пределах максимальной возможности поражения выстрелом из ружья... А, может, он прав, этот больной Н. Он прав, потому что обеспокоен. Он обеспокоен мыслью, достаточно ли бережно он живет в мире, где человека убить проще и доступнее, чем убить воробья...

Юрий Дмитриевич говорил торопливо, потому что знал: сейчас появится медсестра со шприцем. И она действительно появилась, но с опозданием, так что Юрий Дмитриевич успел высказаться. Он сам протянул ей руку и услышал, как игла с легким скрежетом проколола кожу...

Юрий Дмитриевич десять дней провел в крайне тяже-

лом состоянии. Иногда он поднимался, цепляясь за настенный коврик, и начинал говорить, захлебываясь, с блестящими глазами о разном, обрывками, наблюдалась так называемая «скачка идей».

— Знаешь, что лежит в основе нашего сознания, — говорил он, — наш рост, наши размеры... Рост Эйнштейна, примерно... метр семьдесят... Рост Эвклида также в этих пределах... Дело не в сантиметрах, а в порядке величины... Сантиметры, а не микроны... В микромире, который безусловно существует, наша секунда равна вечности... В макромире — наша вечность, это их секунда... И, может, вся наша история и все наши страдания, и все наши пророки, и все наши тираны, и вся сложнейшая философия наша существует для того, чтоб удержать человека в его секунде... Человек может дышать только в пределах своей секунды, которую сам же и создал, как в пределах атмосферы... Своя секунда — вот самое великое творение человека, созданное им по своему образу и подобию, то есть по своим размерам. Животные и даже растения тоже чувствуют время, но не способны создать его конкретный образ... Идея времени, это идея Бога... Но если Альберт Эйнштейн разрушил идею вечной секунды, если представление об едином мгновении по всей вселенной бессодержательно, то не бессодержательна ли идея единого Бога... Не с радостью я это говорю, а с болью, ибо он мне сейчас так нужен, что за секунду веры я жизнь может быть отдать готов... Я мальчика убил, грибы собиравшего... Молиться времени нелепо, ибо оно бесстрастно... Даже свое, созданное человеком время безразлично к человеческой судьбе... Из всех, созданных людьми богов, самым близким ко времени был иудейский бог Иегова, и теперь мне понятно, почему так торопливо, почему так лихорадочно именно древние иудеи создали Христа... Они, как никто, ощутили потребность в доброте и, ощутив, осознали добро как силу, помогающую утвердить себя в мире, точно так же, как древние греки ощутили потребность в красоте и, ощутив, осознали красоту как силу... Поскольку Христос был создан торопливо, он был создан с серьезными ошибками... Дело не в хронологической и тавтологической путанице, которыми полно Евангелие... Прочтите Евангелие... Суть христианства можно изложить на половине странички. Все же остальное — это притчи и чудеса, ставящие своей задачей дискуссии с фарисеями, с неверующими, с сомневающимися в истинности проис-

хождения Иисуса, как посланца Бога... Но не фарисеи и книжники являются главным противником Христа. Главным противником Христа является Иисус, сын Марии, пасынок плотника Иосифа. С момента возникновения христианства между ними ведется жестокая незримая война. Это противоречия между плотью и бесплотьем... Каждая притча и каждое чудо Евангелия есть странное сочетание догматического устава с поэмой... Иисус — реальность, Христос — мечта... Иисус требует действия, Христос требует идеи... Иисус пожертвовал собой, дав себя распять. То есть дал совершить над собой то, что совершалось до него над тысячами людей и совершалось после него над тысячами, и для этих тысяч было не подвигом, а просто мучительной казнью... Жертва Христа не в телесном страдании, не в распятии, а наоборот, в воскресении... Именно светлое христово воскресение и есть в христианстве высшая жертва и в этом суть Христа, как спасителя... Однако об этом после... Я устал и об этом после...

Подобные взрывы происходили чаще всего ночью, внезапно, причем с вечера больной был спокоен, ужинал с аппетитом и быстро засыпал. Первоначально Нина пыталась его успокоить, однако, впоследствии поняла, что вмешательство ее еще более травмирует Юрия Дмитриевича, она даже привыкла не плакать при нем, не выражать отчаяния, а просто держала его за плечи и голову, чтоб он, жестикулируя, не поранил себя, ударившись о край кровати или стену. Случалось, после приступа наступало состояние, напоминающее коматозное: изменение глубины ритма дыхания, слабый пульс, охлаждение конечностей. Нина звонила медсестре, вызывала Буха. Однако постепенно здоровье больного начало улучшаться. Приступы прекратились, сон стал более спокоен. Юрий Дмитриевич начал вставать, ходить по комнате. Первоначально он был так слаб, что пройдя от кровати до кресла, ощущал сердцебиение, словно пробежал несколько километров. Он как-то сразу сильно постарел, сгорбился, говорил он теперь мало, должно быть, от слабости, и когда Нина обращалась к нему, он смотрел на нее и виновато улыбался. Все ж к весне он несколько оправился, пополнил, ожил. Когда наступили первые теплые дни и Нина, сорвав полосы пожелтевшей бумаги, раскрыла оконные рамы, Юрий Дмитриевич подвинул кресло к окну и подолгу сидел молча, смотрел, поставив

локти на подоконник и подперев по-детски подбородок ладонями.

— Впечатления, — сказал Бух. — Перемена впечатлений — вот что ему теперь надо... Лучше всего маленький городок...

В апреле Нина и Юрий Дмитриевич выехали жить в маленький городок на Юго-Западе. Квартиру свою они обменяли, и теперь у них были две небольшие комнатки и кухонька, до половины занятая русской печью. Дом был старый, двухэтажный, в нем жили в основном работники местного горкомхоза. Потолок в квартире был лепной, довольно аляповатый — птички и фрукты, ранее, очевидно, позолоченные, позолота еще и теперь проглядывала сквозь слой белил. В углу стояла очень красивая с изразцами кафельная печь. Однако служила она лишь для украшения, так как топили не ее, а другую печь, выстроенную уже позднее, к которой были подведены газовые трубы.

В общем с ними коридоре за стеной жила в крошечной комнатке Лиза — тридцатилетняя женщина с трехлетней девочкой Дашуткой. Лиза работала уборщицей в бане.

— В бане работаю и в бане живу, — говорила она. — Тут при старом хозяине ванная была...

Дашутка была рыженькой, маленькой, как клопик. В три года она выглядела полторагодовалой. Нина сразу привязалась к ней, и Лиза часто оставляла Дашутку на целый день, так как работала через сутки, с утра до вечера и раньше ей приходилось тащить Дашутку к своей матери, жившей на окраине. В ясли же она отдавать Дашутку отказывалась, так как несколько лет назад в местных яслях был несчастный случай — какой-то мальчик проглотил иголку.

Юрий Дмитриевич Дашутке почему-то очень понравился, и она за ним ходила, как тень. Когда Юрий Дмитриевич садился пить молоко, Дашутка забиралась на стол, смотрела на него и спрашивала:

— Ты питеньки хочешь?

Когда он шел в туалет, она стояла тут же, запрокинув голову, и серьезно спрашивала:

— Ты писаньки хочешь?

Юрию Дмитриевичу Дашутка тоже нравилась. Он гладил ее по голове и спрашивал:

— Кого ты больше любишь — петушка или курочку?

Однако часто Юрий Дмитриевич хотел посидеть в оди-

ночестве, подумать, а Дашутка мешала. Юрий Дмитриевич прятался от нее в спальне, но все равно не мог сосредоточиться, так как с тревогой прислушивался к топоту ее ножек. Дашутка искала его. Потом она находила, заглядывала в дверь. Юрий Дмитриевич не знал, как поступить, он пробовал грозить Дашутке пальцем, строить страшные гримасы, надеясь, что она испугается, однако Дашутка только весело смеялась, входила, залезала на постель, на стул, на колени к Юрию Дмитриевичу, часто в руке у нее был кусок черного хлеба и соленый огурец. Она очень любила черный хлеб и огурцы.

— А почему ты не идешь на работу? — спрашивала Дашутка у Юрия Дмитриевича.

— В сентябре, — раздраженно говорил Юрий Дмитриевич и злился на Лизу, на Нину, — в сентябре я начну преподавать анатомию в местном акушерско-фельдшерском училище... Понимаешь?

— А чего это? — спрашивала Дашутка.

— Это наука, — говорил Юрий Дмитриевич, — про человечков. Какие они внутри, под кожей.

— Нарисуй, — говорила Дашутка. — Нарисуй человека.

Сама Дашутка тоже любила рисовать. У нее были краски, кисточки, она водила ими по бумаге и говорила — это морковка, это редиска, это луна...

Постепенно Юрий Дмитриевич переставал злиться и радовался Дашутке, щекотал ей тонкую шейку. Однако стоило Дашутке выйти, и он вновь плотно запирали двери, с тревогой прислушивался к ее шагам и грозил пальцем, когда она заглядывала. Нравилось также Дашутке мыть раковину и посуду. Она ставила табурет, забиралась наверх, сама закатывала рукавички и, открыв кран, деловито, очевидно, подражая матери, возила тряпкой по раковине, по крышкам кастрюль, которые давала ей Нина. В эти минуты Юрий Дмитриевич по-настоящему любил ее за то, что она так смешно возится, работает и не мешает ему думать.

Однажды на дне чемодана Юрий Дмитриевич нашел свои старые черновики, чудом сохранившиеся, так как после уничтожения в котельной папки с историей болезни Иисуса, он тщательно искал все, что записывал, будучи больным, и уничтожал. Черновики были испещрены иероглифами, черточками, он с трудом узнавал свой почерк. Здесь были выписки из биологических журналов, из Энгель-

са, из Вейсмана, из Достоевского, из Эйнштейна, из Евангелия.

«С точки зрения физиолога, — читал он, — эмоции представляют специальный нервный аппарат, сформировавшийся на протяжении миллионов лет эволюции органического мира... Назначение этого аппарата — срочная компенсация недостатка сведений, необходимых для целенаправленного поведения. Благодаря эмоциям живая система продолжает действовать, когда вероятность достижения цели кажется очень небольшой. Эмоции активизируют все отделы мозга и органы чувств, извлекая дополнительные сведения из произвольной памяти, обеспечивают те особые виды поиска, решения которых мы связываем с понятием интуиции и озарения. Живая природа умудрилась использовать не только знания, но и незнание, сделав их пусковым механизмом эмоциональной реакции».

«Да, это верно, — думал Юрий Дмитриевич. — Это верно не только для человека, но и для человечества. Эмоции — это религия ранее, это искусство, которое ныне занимает место исчерпавшей себя религии... Христианство слишком рано превратилось из названия в знание, в форму правления, а Христос в государственное лицо, и фундамент этого превращения был заложен первыми христианами, страдавшими за веру, жившими в подземелье, в катакомбах, ибо гонения не воспитывают благородство ни у гонителей, ни у гонимых. Умеренность, постепенность и своевременность — вот три временных кита, без соблюдения которых любое, даже самое полезное, самое справедливое дело может стать страшным бичом человечества, пострашнее эпидемии чумы. Ведь даже свет — источник жизни — может превратиться в смертельный яд для растений, помещенных на длительное время во тьму... Человек не раб Божий, но и не царь природы — обе формулировки одинаково нелепы...»

Юрий Дмитриевич полистал несколько страниц и прочел выписку из Энгельса:

«Не будем обольщаться своими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет первоначально те последствия, на которые мы рассчитываем, но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, которые часто уничтожают значение первых».

Далее он прочел выписку из Евангелия.

«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по

безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришед находит его незанятым, вымытым и убранным. Тогда идет он и берет с собой семь других духов, злейше себя и влезши живет там и бывает для человека, когда последнее хуже первого».

«Что есть злое и доброе, — думал Юрий Дмитриевич, — диавол и Бог. Может нет ни злого, ни доброго, ни диавола, ни Бога, все одно... Свет для листьев злое или доброе?.. Злое — есть доброе, не во время случившееся и меру не соблюдающее... Человек не может освободиться от злого, когда вокруг безводная пустыня...»

Юрий Дмитриевич полистал еще несколько страниц, но в это время позвонили, послышались голоса Нины, Лизы, затопали ножки Дашутки. Дверь снова захлопнулась, видно, Лиза ушла, оставив дочурку. Приведи Лиза Дашутку на час позже, Юрий Дмитриевич обрадовался бы, ибо он начал уставать и ему приятно бы было поиграть с Дашуткой, расслабиться, отдохнуть. Но сейчас перед Юрием Дмитриевичем лежала еще пачка неразобранной бумаги, и мысль его была пущена, работала четко, обостренно. Юрий Дмитриевич знал, как редко это бывает, и стоит ему прерваться, это состояние будет утрачено надолго, а мысль, возможно, навсегда. Поэтому он со злобой прислушивался к веселым голосам Нины и Дашутки.

— Гляди-ко, какой у меня атаминчик, — говорила Дашутка, — мама говорит — лимончик, это атаминчик... — Потом послышался плеск воды.

«Слава богу, — подумал Юрий Дмитриевич, — она там моет раковину, значит, не придет...»

Но сосредоточиться Юрий Дмитриевич уже не мог, прислушивался все время, не идет ли Дашутка. Плеск воды прекратился, ножки Дашутки затопотали у двери спальни, и она заглянула. На ней были позвякивающие кораллы Нины, в одной руке соленый огурец, в другой — кусок черного хлеба. Юрий Дмитриевич начал грозить ей пальцем и строить злые гримасы, но Дашутка засмеялась и залезла к Юрию Дмитриевичу на колени.

— Я волка встретил, — с безнадежным отчаянием сказал Юрий Дмитриевич.

— Где? — оживленно спросила Дашутка.

— В овощном магазине, — сказал Юрий Дмитриевич, пытаясь читать бумаги, заглядывая через голову Дашутки.

Дашутка засмеялась. Потом она затеяла странную игру.

Она откусывала кусочек хлеба, а остаток клала на край бумаги Юрия Дмитриевича, пережевав, она вновь откусывала и остаток клала опять, но дальше, и когда доедала кусок, то на противоположном конце бумаги лежал крошечный кусочек, который она подхватила ротиком, едва дотянувшись и выдавив на бумагу из огурца изрядную порцию огуречного рассола.

— Пойди к тете Нине, — сказал Юрий Дмитриевич, — пойди раковину помой... Я занят... Ты потом приходи...

Юрий Дмитриевич поднял Дашутку, поставил ее в коридор и закрыл дверь. Дашутка ушла, но вскоре вернулась. Он слышал, как она хихикает под дверью, пробовал читать, зажав уши руками, и вдруг ощутил прилив дикой, совсем инстинктивной злобы, какая случается во сне, когда человек утрачивает контроль за разумом своим и живет лишь прямыми потребностями данной секунды, например, хочет пить, а ему не дают пить, хочет чесаться и не может по каким-либо причинам чесаться. Дашутка приоткрыла дверь, и Юрий Дмитриевич с ненавистью посмотрел на измазанную вареньем хитрую мордашку.

— Атаминчик, — сказала Дашутка, все шире раскрывая дверь, — атаминчик...

Но вдруг она неловко шагнула, оступилась, дверь дернулась, захлопнулась и прищемила ей ручку. Дашутка закричала. Юрий Дмитриевич, словно пробудившись, тоже кричал, но как-то беззвучно, раскрывая лишь рот, судорожно зевая, рванул дверь и упал перед Дашуткой на колени, подхватил ее.

— Это я, — наконец закричал он, — я захлопнул дверь... Я ей ручку сломал...

Нина в переднике, вымазанном мукой, металась между Юрием Дмитриевичем и Дашуткой, пытаясь их успокоить. К счастью дверь лишь содрала кожицу на двух пальчиках Дашутки. Нина достала пузырек зеленки, залила и перебинтовала.

— Больнечко, — всхлипывая, говорила Дашутка.

— Это я, — повторил Юрий Дмитриевич, — меня надо изолировать... Нина, я опасен... Я врач и прекрасно понимаю это...

— Ты ошибаешься, Юрий, — сказала Нина, одной рукой обнимая Дашутку, а второй глядя Юрия Дмитриевича по голове. — Это не ты... Я видала... Просто случайно ребенок неудачно толкнул дверь.

— Нет, это я, — весь в испарине повторял Юрий Дмитриевич. — Я пожелал этого от всей души... Как Иисус, испепеливший желанием смоковницу...

— Это не ты, — повторяла Нина, — ты просто устал, зачем ты все думаешь, пишешь, тебе надо отдохнуть... Дашутка, пожалей Юрия Дмитриевича, ему тоже больно...

Дашутка протянула вторую, здоровую ручку и погладила Юрия Дмитриевича по щеке. И тут Юрий Дмитриевич вскочил и начал целовать Дашутку в шейку, в обе ручки, в спинку, в попку... Нина гладила обоих, и по щекам ее текли слезы. Затем Нина умыла Дашутку. От трения, смоченная, намыленная кожа ручки издавала скрипящие звуки.

— Ручка плачет, — сказала Дашутка и улыбнулась.

Вечером Юрий Дмитриевич и Нина пошли гулять. По главной улице от самого вокзала к центру тянулись бульвары. Скамейки на этих бульварах, изготовленные местной артелью, были длинные — человек на десять, не располагавшие к интимности, и потому сидели на них в основном не влюбленные, а пенсионеры. Городок был чистенький, зеленый, весь центр асфальтирован. Было очень тепло, и хоть солнце давно зашло, раскаленные за день стены домов оставались по-прежнему горячими. Одна сторона улицы была густо запружена толпой, в основном молодежью. Гуляющие шли мимо кинотеатра, прокуратуры, дома спорта, гастронома, местной церкви, горсовета к городскому саду. В городском саду по центральной аллее толпа двигалась двумя потоками: к танцплощадке и навстречу от танцплощадки к кинотеатру. Это называлось «отметиться». Так и отмечались в течение вечера: то у кинотеатра, то у танцплощадки. Все лица в этом потоке были друг другу знакомы, друг другу надоели и в то же время нужны были друг другу, потому что делали жизнь хоть и скучной, зато твердой и уверенной: увидав знакомые лица, спокойно прогуливающиеся, каждый, пусть подсознательно, понимал, что жизни его ничего не угрожает и завтра, как и сегодня, будут также спокойно гореть фонари, будут сеансы в кино, дома будет ужин. Все будет налажено, все будет хорошо.

Юрий Дмитриевич подошел к стене и начал читать объявления.

— Вот, — сказал он, — меняют квартиру... Давай запишем адрес и пойдем к этому дому... Просто так, чтоб прогулка наша имела какой-нибудь смысл. Иначе станет скучно.

Дом этот помещался где-то у реки. Они вышли к город-

скому пляжу. Здесь было немного прохладнее, но вода была теплой и слышно было, как фыркают и плещутся купающиеся. Было темно, лишь вдаль, у пешеходного моста горела цепочка фонарей, да одинокий фонарь покачивало ветерком у лодочной станции. Фонарь этот освещал скульптуру однорукого атлета с веслом. Юрий Дмитриевич подошел к фонарю и прочитал адрес.

— Где-то здесь, — сказал он.

— Странный ты, — улыбнулась Нина. — Зачем тебе этот дом... Давай просто подышим воздухом... Как хорошо... Слышишь, на том берегу в камышах утки крикают...

Они пошли вдоль берега. В прибрежных садах мелькали огоньки. Хозяева окуривали деревья от расплодившегося в горячие дни гнуса. Стоя на камнях и причаленных лодках, женщины полоскали белье. Коровы и козы бродили, позвякивая цепью, щипали траву, пили воду. Если центр городка был асфальтирован и освещен лампами дневного света, то прибрежные улицы имели совсем сельский вид, небольшие домики взбирались по косогору, некоторые даже были крыты соломой, с выбеленными стенами и низкими плетнями.

— Вот он, — сказал вдруг Юрий Дмитриевич сдавленным, прерывающимся от волнения шепотом и сильно схватил Нину за руку. — Вот этот домик.

— Тебе нездоровится? — тревожно спросила Нина. — Вернемся домой... Ты устал сегодня, ляжем пораньше...

— Вот этот домик, — сказал Юрий Дмитриевич. — Я узнал его... Два окна... И в переднем окошке горит свет...

Домик, на который указывал Юрий Дмитриевич, стоял несколько в стороне, на бугре. Крыт он был оцинкованной жестью и окружен крепким высоким забором. Подойдя ближе, Нина действительно прочла адрес, указанный в бумажке.

— Давай поменяемся, — сказал Юрий Дмитриевич, — переждем сюда.

— Что ты, — сказала Нина, — здесь нет ни газа, ни водопровода...

— Зачем тебе газ, — сказал Юрий Дмитриевич. — Домик в кольце... В глубине стакана, стоящего на пепле... Домик на бугре... Как нагадала покойница... Завтра же придем смотреть.

— Хорошо, — сказала Нина, — а сейчас пойдем домой, становится прохладно, я продрогла в сарафане.

Отойдя несколько, Юрий Дмитриевич оглянулся, но домик уже был не в два окна, а в три, все окна были освещены и впереди была пристроена какая-то стеклянная терраса, так что вид его изменился совершенно. Впрочем, возможно, это был и не тот домик, так как отходя они свернули на другую тропинку, левее, и тот домик теперь мог быть заслонен бугром, либо соседними домами.

— Я хочу рассказать тебе две притчи, — сказал Юрий Дмитриевич, — странные и не к месту... Вернее, не притчи, а истории, но я их почему-то воспринимаю как притчи, хоть и не улавливаю смысла. Одна притча веселая, а другая грустная... Итак, веселая. Когда мне было три года, или самое большое четыре года, покойная мать взяла меня с собой в баню. Это было в таком месте и в такие годы, что отдельных номеров, конечно, не было и приходилось идти в общую... Удивительно, как отлично я все это помню... Баня бревенчатая, прокопченная. Деревянные крышки закрывают люки на полу... И вот какая-то женщина, пожилая уже, толстая туша с громадным, распаренным телом начала ругаться с матерью. Она кричала: какое право вы имеете брать с собой мальчика в женское отделение... Или что-то в этом роде... Мать говорит: ему только четыре года. А туша кричит: нет, это уже большой мальчик... Она ушла и привела администраторшу... Они долго ругались, а потом туша ушла, прикрывшись от меня, четырехлетнего ребенка, тазиком... И вот тогда я впервые с интересом посмотрел на этот тазик... Вернее, не на тазик... В общем, ты меня понимаешь...

Нина засмеялась и взяла Юрия Дмитриевича об руку. Они шли по дороге, усыпанной жужелицей. Справа, в заречной деревеньке Бродок лаяли собаки, а слева от центра долетали звуки джазоркестра местного дома культуры, игравшего по четвергам и воскресеньям в городском саду.

— Вторая притча грустная, — сказал Юрий Дмитриевич, — это уже случилось спустя много лет, в армии на ученье... Была зима, очень глубокий снег. Мы наблюдали за выброской парашютного десанта, и у одного из парашютистов в воздухе отказал парашют. Мы видели, как этот человек летел камнем, и слышали, как он кричал... Потом он упал, вскочил мгновенно, начал отряхивать снег с комбинезона и свалился окончательно... Когда его вскрыли, то обнаружили, что у него сразу при падении были оторваны легкие и сердце... С оборванным сердцем он отряхивал

комбинезон от снега... Понимаешь, тут действительно притча, но смысла ее я не могу уловить... Последние запасы крови в сосудах, последние доли мгновений жизни мозга тратятся на то, чтоб отряхнуть снег с комбинезона...

Нина чувствовала плечом своим дрожащее словно в ознобе плечо Юрия Дмитриевича.

— Опять начинается, — сказал Юрий Дмитриевич, — Нина, я неизлечим и опасен для окружающих... Странная ты женщина... Тебе давно советовали и Бух и Нароцкий... И я советую поместить меня в клинику... Впрочем, я-то, конечно, нет, мне-то, конечно, от одной мысли делается тоскливо... Но что же делать... Может, это действительно выход... Даже путь к выздоровлению... К тому ж вследствие общего возбуждения больные такого рода делаются неустойчивыми ко всякого рода инфекциям...

Они поднялись по деревянным скрипучим ступеням. В общем коридорчике горел свет, и Лиза чистила картошку. Увидав Нину и Юрия Дмитриевича, она сердито поджала губы и отвернулась. Дашутка сидела тут же на кухонном столе и баюкала куклу.

— Я куклу покачаю, — сказала она Нине, — а то кукла проголодается.

— Ну-ка молчи, — прикрикнула на Дашутку Лиза. — Что я тебе сказала, ты ведь обещала мне... Если ты будешь говорить, я посажу тебя в темную комнату...

Юрий Дмитриевич и Нина вошли к себе и зажгли свет. Рядом с балконом горел на столбе фонарь, опутанный паутиной. Вокруг фонаря тучей носилась мошкара, движения ее были так быстры и хаотичны, что мошкара сливалась в блестящие пересекающиеся линии. Паутина была густо покрыта погибшей мошкарой.

— Чепуха какая, — сказал Юрий Дмитриевич, — надо разбить этот фонарь, он меня раздражает... Знаешь, как это легко сделать... брызнуть из детской клизмы на раскаленную лампочку холодной водой...

— Что ты, Юрий, — сказала Нина, — Лиза и так обещала пожаловаться на нас в домоуправление.

Она подошла и обняла Юрия Дмитриевича.

— Напрасно мы переехали, — сказала она. — Это Бух посоветовал...

— Бух не виноват, — сказал Юрий Дмитриевич. — Смена впечатлений действительно помогает в определен-

ных случаях... И я чувствовал себя лучше... А теперь мне опять хуже... Немного...

Он сел на стул и хотел расстегнуть ворот рубашки, но рука его скользнула мимо ворота и прижалась к левому боку, к ребрам. Нина выбежала в коридорчик и начала стучать к Лизе.

— Лиза, — крикнула она. — Юрий Дмитриевич нездоров... Я хочу вызвать скорую помощь... Я пойду звонить, а вы поглядите за ним...

— У меня ребенок... Вы мне покалечили ребенка, — сердито ответила из-за двери Лиза. — Я буду жаловаться на вас в домоуправление...

— Ничего, Нина, — позвал ее из комнаты Юрий Дмитриевич, — мне уже лучше... Иди сюда, посидим, поговорим...

Юрий Дмитриевич действительно несколько оправился.

— Иди сюда, — сказал он. — Сядь рядом со мной, жена моя... Я хочу почитать тебе Евангелие... Все Евангелие... это только одна страничка, вернее, главная суть Евангелия... Это первая страничка от Матфея... Лишь она принадлежит полностью Христу. Все же остальное в значительной части принадлежит Иисусу, сыну плотника Иосифа. Все остальное сильно перемешано с историей душевной болезни древнего иудея. К тому ж эта страничка, — лучшая из поэм, которые я когда-либо читал.

Юрий Дмитриевич раскрыл Евангелие и прочел: Аврам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамары. Фарес родил Эсрома, Эсром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наасон родил Саломона. Саломон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Овида от Руфи, Овид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею. Соломон родил Равоама, Равоам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манасию. Манасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Исхонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Исхония родил Салафиля, Салафиль родил Заровавеля. Заровавель родил Авиуду, Авиуда родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуду, Елиуд родил Елеазара. Елеазар родил Матфана. Матфан родил Иакова, Иаков

родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христом...»

Юрий Дмитриевич отложил Евангелие, встал, подошел к балконной двери, глядя на мечущуюся вокруг фонаря мошкарю...

— В этом длинном монотонном перечислении, — сказал он, — и страх перед концом, и жажда увидеть конец... У человека со своей смертью сложные взаимоотношения, гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд... Не менее сложны и взаимоотношения со своей смертью у человечества... Солнце прожило уже половину своей жизни, это определили астрономы, рано или поздно, и оно умрет, превратится в «белого карлика». У Энгельса хорошо написано: «смерть как существенный момент жизни. — Жить — значит умирать...» Смерть это биологическая необходимость... Возрастные сдвиги человечества так же фатальны и неустранимы, как возрастные сдвиги человека. Практическая медицина призвана смягчать болезненные явления, даже когда она далека от понимания их сущности... Бог и был для человечества этой практической медициной продолжительное время... Был, потому что теперь его нет... Это факт, независящий от радости одних по этому поводу и печалей других... Человечество пережило идею Бога, но идея Христа не исчезла, этот осиротевший после смерти отца своего сын приобретает теперь особый, главный и, может быть, единственный смысл... Если легенда об Адаме это легенда о первом грешном, а значит живом человеке, то легенда о Христе — это легенда о последнем идеальном человеке... И жертва Христа не в распятии вовсе, а в том, что он воскрес, чтобы быть последним... Христос спаситель потому, что воплощает в себе всю гармонию человека с вселенной, к которой человек стремится и, служа недоступным идеалам, он в то же время берет на себя весь «плач и зубовой скрежет», как написано в Евангелии о последнем дне, ибо гармония означает конец идеи существа, именуемого человеком... Но если гибель древнегреческих богов, языческих богов, не уничтожила Аполлона, Венеру, Геркулеса, то есть не уничтожила идеал телесной красоты и силы, ими порожденной, то почему же гибель современного Бога должна уничтожить идеал красоты духовной, каковым является лишенный плоти, отделенный от желчного душевно-больного Иисуса поэтический образ Христа-спасителя, может быть, самый великий и живой образ, созданный литературой...

Нам никогда не приходилось слышать атеистическую лекцию «существовала ли Венера», а вот «существовал ли Христос» читают так же часто, как «есть ли жизнь на Марсе», и так же туманно... Страшась смерти, человечество стремится к ней всей жизнью своей с момента рождения, но умрет лишь один Христос, сын человеческий, ибо каждый возникает вновь в детях своих. Христос же умрет бездетным, ибо сам он зачат бесплотно, не телом, а сердцем... И еще об одном важном моменте сказать хочу... Это уже несколько об ином... Вернее, нет, все о том же... О противоречии между человеком и человечеством... Может, Бог-то и возник, чтобы это противоречие сгладить... Помнишь, у Достоевского Иван мир Божий не принимает и гармонию всемирную в конце, если они куплены ценой страдания одного лишь ребенка... Достоевский, конечно, мощный разум, но сто лет, которые после него прошли, многое прояснили... То есть прояснили, чтоб еще больше затуманить, ибо чем более человек познает, тем менее у него право диктовать природе свое о ней представление, то есть он утрачивает те привилегии, которые представило ему на этот счет невежество, дававшее воображению его неограниченные возможности... То, что имел право не знать и путать Аристотель тысячелетия назад, то, что имел право путать Достоевский сто лет назад, навсегда утрачено современным человеком, познавшим теорию относительности и стоящим на пороге космических открытий. Достоевский путает человека с человечеством и стремление человека с стремлением человечества. Конечная цель отдельного человека, наверно, счастье. Конечная цель человечества — познание... Вернее, нет, я уточнить хочу... Конечная цель каждого человека тоже познание, для того он и создан природой, но человек самовольно, вопреки матери своей, природе, проявил строптивость и изменил свою конечную цель... Счастье и было то райское яблоко... За него и мучения терпит человек... Но мир не нелепость вовсе, как говорит Иван, и гармония, конечно, не нелепость, ибо Достоевский прямо от человека к миру переходит, а между миром и человеком человечество существует. Человечество же конечную цель свою изменить не может, как бы ни старалось, тут уж природа хитро придумала, ибо человечество бесплотно и лишь понятие есть философское, как и Христос, а человеческое счастье нелепо без человеческой плоти... Тут еще яблоко такое не придумано, чтоб человечество в целом соблаз-

нить... Или Толстой... Толстой кончает «Воскресение» заповедями из Евангелия, также требуя их практического применения, и считая, что они изменят мир немедленно, стоит лишь применить их каждому в качестве каждодневного правила, — Юрий Дмитриевич порывлся в шкафу, достал томик Толстого, открыл на одной из закладок и прочитал: «Не только само собой уничтожилось все то насилие, которое так возмущало Нехлюдова, но достигалось высшее доступное человечеству благо — царство Божие на земле». — Юрий Дмитриевич отложил томик. — Это еще один яркий пример подчинения факта идее. Мир земной принадлежит не человеку, а человечеству. Жизнь человека измеряется десятилетиями, жизнь человечества измеряется миллионами лет... Нельзя отождествлять два столь разных организма, созерцание которых происходит по столь разным временным амплитудам... Толстой не знал еще теории относительности, не знал, что у человека и человечества секунды несоизмеримо разной величины... Человечество — подросток, для которого истины Евангелия еще недоступны... Доступность этих истин приходит где-то к концу жизни, а до естественной смерти человечеству миллионы лет... Моисеево «око за око» не так уж нелепо... Оно спасает подростка от насильственной смерти... Это не призыв к жестокости — это воздействие инстинкта при несозревшем еще разуме... Да... очень печальное зрелище — подросток в гробу... Когда умирают мальчики и девочки, только, только пробуждающиеся к жизни... Чехов понимал это несоответствие времени человека и человечества, оно ощущается в его творчестве, может, потому, что он жил несколько позже Толстого... То есть умер он раньше, но творчество его связано с более поздними и более зрелыми представлениями о мире... В евангельской притче о виноградарях, которые были посланы в сад работать хозяином, но вообразили себя хозяевами и наслаждались в силу, убивая всех, кто напоминал им о хозяине и об их обязанностях к нему, Толстой на последней странице «Воскресения» слишком односторонне и безоговорочно осудил виноградарей... Однако не следует думать, что я требую национализации виноградника... Виноградарь есть человек, хозяин есть Бог или природа, это уж как назвать — неважно... Хозяин получит свое, когда виноградник созреет, но жизнь человека так ничтожно коротка, что он не может дожидаться зрелого винограда. И осудив гордыню виноградаря, Толстой вместе с тем не заметил то

духовное напряжение, с помощью которого виноградарь получает наслаждение от незрелого винограда, наслаждение, требующее человеческого таланта, недоступного всемогущему хозяину... И главные силы душевные тратятся вовсе не на то, чтобы вообразить себя хозяином виноградаря, а чтоб почувствовать наслаждение от кислых ягод, такое же, какое хозяин ощутит лишь в конце, через миллионы лет от ягод зрелых...

Ночь Юрий Дмитриевич проспал беспокойно, он часто вскакивал, садился на постели, у Юрия Дмитриевича разболелся живот, и Нина готовила грелки, кипятила чай, чистила лимоны. Заснули они лишь под утро, но не надолго, так как часов в десять раздался стук в дверь. Вошел участковый с целлулоидной планшеткой, управдом в парусиновой куртке, врач и два санитаря. Участковый и врач отозвали Нину в сторону и начали ее в чем-то убеждать. Нина сердито потряхивала головой и говорила:

— Вы не имеете права... Я буду жаловаться...

В дверь заглянула Лиза с Дашуткой на руках.

— Если их не уберут, — крикнула Лиза, — я буду писать в Верховный Совет... Я уборщица, я трудящийся человек... Он мне ребенка покалечил... И всю ночь бегают, шумят...

— Вас не спрашивают, — крикнула Нина, — вы врите все, никто не калечил вашего ребенка... Вы мерзавка...

— Нина, — сказал Юрий Дмитриевич, морщась, — зачем... Все идет как надо... Когда Иисуса пришли забирать, Петр отсек ухо у раба... А раба звали Малх... Это ведь так нелепо... То есть не то нелепо, что раба звали Малх... Я путаюсь...

— Зачем мы переехали в эту берлогу, — всхлипнув, сказала Нина. — Мы уедем... Я созвонюсь... Это все Бух...

— Бенедикт Соломонович ошибся, — сказал Юрий Дмитриевич, — и я ошибся... И эта бедная женщина с ребенком... Мы ей действительно мешаем... Впрочем, видишь, как ты меня сбила... Я сказать что-то хотел... Продолжить... Сейчас меня заберут в клинику... Мы будем редко видеться... И ты хочешь, чтобы я уподобился тому парашютисту... Чтоб последними моими живыми движениями было отряхивание снега с комбинезона... Жена... Я о том продолжить хотел... О современном звучании Христа. Живое не может быть символом, это нелепо... Помнишь в послании к евреям сказано: «бойся Бога живого...» Для того,

чтоб сменяющиеся поколения не были разорваны, должны быть какие-то сквозные символы... Живое — это сочетание многого, символ — это хранитель чего-то одного, доведенного до крайности... Так же как Венера, хранительница вечной красоты, так же, как Моисей, хранитель вечной мудрости, Христос — хранитель вечной доброты... Когда наступит последний день человечества, красота исчезнет вместе с телом, мудрость сольется с всемирной мудростью — как, не знаю, может, с помощью кибернетики... Но вечное добро останется на земле, ибо кибернетика тут не властвует... Вечное добро будет последним деянием человека на земле, его последним вздохом, его последней мыслью, которая переживет тело... Что же это такое — добро и что есть вечное добро... Тут противоречие... Вечное, идеальное добро, это то, что давно уже известно людям, но понадобится лишь в конце... Каждодневное же добро это то, что требуется сегодня, ежечасно, ежесекундно, но оно неизвестно, и в поисках его люди и мечутся, страдают... Идеальное большое добро, это общий ответ: «возлюби врага своего». Как в арифметике... Достаточно заглянуть на последнюю страницу, но в задачке ответ этот раздроблен по десяткам вопросов, по миллионам вопросов... -- Юрий Дмитриевич смешался и замолчал.

Участковый, сидя на стуле, незаметно переложил планшетку из правой руки в левую, на случай, если псих кинется на него. Управдом, опасливо озираясь, отошел к дверям. Лиза с Дашуткой исчезли.

— Ну вот, — сказал Нине врач, врач был молод, во рту у него поблескивал золотой зуб, — вот видите... Состояние крайне опасно... Тут требуется специальный надзор и уход, который может осуществить лишь подготовленный персонал... У больных такого рода попытки к убийству окружающих, к самоубийству обычно тщательно подготовлены...

— Молодой человек, — сказал Юрий Дмитриевич, — не слушали ли вы лекций по нервным болезням у профессора Нароцкого? Там приводится любопытная притча о больном Н., охотящемся в лесу, и мальчике, собирающем грибы... Впрочем, судя по вашим глазам, вы эту лекцию пропустили...

— Юрий, — сдерживая слезы, говорила Нина, — здесь носки... Видишь, я кладу их тебе в чемодан отдельно... А здесь носовые платки...

— Иди сюда, — сказал Юрий Дмитриевич, — оставь

платки... Посиди со мной, жена моя...

— Ваша жена во многом виновата, — сказал врач Юрию Дмитриевичу, — из эгоистических побуждений она мешала применить клинические методы лечения...

— Ничего, — сказал Юрий Дмитриевич, — прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит...

Юрий Дмитриевич оделся, взял чемодан. Два санитары стали по обеим сторонам его. Впереди шел участковый, а сзади врач. Соседи на улице выглядывали из окон и дверей, показывали пальцами, перешептывались.

Было очень жарко, изредка возникавший ветерок вместо прохлады приносил вихри колючей сухой пыли. По улице бродили куры, ища прохладного местечка. Разомлевший пес лениво лаял на санитаров. Перед тем, как сесть в машину, Юрий Дмитриевич обнял Нину. Она плакала, прижавшись щекой к его груди.

— Я созвонюсь с Бухом, — говорила она, всхлипывая, — тебя переведут в столичную клинику... Я тоже перееду... Пока остановлюсь у Григория...

Когда машина уехала, Нина вернулась в опустевшую квартиру, чтоб собрать и упаковать вещи. На пороге стояла Лиза с Дашуткой, Нина и Лиза посмотрели друг на друга со злобой, а Дашутка улыбнулась и протянула Нине кусочек изжеванного соленого огурца.

Нина долго бродила по комнате, начиная то складывать книги, то застегивать ремни чемодана. Устав ходить, она садилась на стул передохнуть, а затем вновь ходила, собирала чашки, ложки и вдруг подумала: хорошо б все это бросить, уйти на станцию и уехать побыстрее. На столе она нашла четвертинку бумаги. Юрий Дмитриевич испил ее неровно, торопливо, очевидно перед тем, как уйти с санитарями.

«Может ли слепой водить слепого, — прочла Нина. — Не оба ли упадут в яму. Евангелие от Луки». Далее строчки напозлали друг на друга, а буквы были такими мелкими, что приходилось до боли напрягать глаза.

Вскоре, однако, Нина успокоилась и начала вновь хлопотать, собирать разбросанные вещи, готовясь к отъезду. Устав, она уселась передохнуть на подоконник. Улица потускнела, со стороны заречных сел ползла низкая дождевая туча, парило, как в предбаннике, было трудно дышать.

Среди булыжной мостовой стояла Дашутка, босая, в

одной рубашонке, в руке у нее был кусок черного хлеба, помазанного творогом, и она ела его, запрокинув голову, глядя на тучу. Вид одинокого незащищенного ребенка заставил Нину вскочить, она выбежала на улицу, взяла Дашутку на руки и отнесла в дом. Лиза стояла над лоханью с бельем. Рядом с ней высилась уже куча выстиранных чужих рубашек и простыней. Увидав Нину с Дашуткой, она стряхнула пену с рук, взяла Дашутку, посадила ее в угол и дала ей очищенную молодую редиску, которую Дашутка с удовольствием начала грызть, заедая хлебом с творогом. На улице стало вовсе темно, пошел обильный дождь, все усиливающийся, с градом, и минут через пять уже не дождь, а лавина воды неслась с темных небес, заливая землю, словно во время потопа. Мутный глинистый поток наполнил весь двор, обтекая сараи, наполняя, выгребные ямы, волоча ветви, сбитую листву, газеты, бутылочные осколки, сливаясь с другими потоками и устремляясь вниз по булыжной мостовой.

— Боже мой, — крикнула вдруг Нина, задохнувшись от рыданий, — зачем мне знать вечное большое добро, которое мне никогда не понадобится, если я не знаю каждодневного добра, без которого не могу жить... Мой муж оставил мне в наследство записку... Я хочу ее вам прочесть, Лиза... Хотя это и нелепо... Особенно при наших взаимоотношениях... — Она вынула записку и прочла:

«Вечное добро сольется с каждодневным лишь тогда, и миллионы вопросов сольются в один ответ: „возлюби врага своего” лишь тогда, когда человек перестанет быть блудным сыном своей матери-природы и вернется к ее первоначальному замыслу... Когда конечной целью своей человек признает не счастье, а познание... Тогда лишь исчезнет страдание... Но человек никогда на это не согласится, и природа никогда не простит ему этой его строптивости и этого бунта... И так будет до последнего дня... Лишь с человеческим телом исчезнет человеческое счастье и человеческие мучения... И наступит вечное добро, которое уж никому не понадобится...»

Лиза подняла на Нину глаза, разогнула уставшую спину, стоя так некоторое время, отдыхая, а затем снова молча склонилась над лоханью, погрузила руки в грязную пенистую воду.

СТИХИ



В день Владимира, под воскресенье,
Я зашла в эту церковь случайно,
И опять сквозь невнятное пенье
Проступила вседневная тайна.

И во храм за святою водицей
Молодая пришла богомолка, —
Выпирают из кофты ключицы,
Под платочек упрятана челка,

Лоб свободен, но несколько узок,
Как тропа в переулке зимою,
Ну а взгляд — он свободен, как узник,
Навсегда примиренный с тюрьмою.

Богомолка встает на колени,
Край иконы целует: Помилуй!
И мелькают грядущего тени
Так, как будто грядущее было...



Про огонь и дерево,
Про зерно и путь
Говорим затейливо,
А не как-нибудь.

Дерзкие от робости, —
Призракам кадим,
В зримые подробности
Призраки рядим.

Муза-бесприданница,
Как мне дальше быть? —
Мне без камня на сердце
Часу не прожить!

Сделать бы усилие,
Попытать судьбу —
В руки взять, как лилию,
Медную трубу, —

Музыку болотную
Выдуть из груди
И нащупать плотную
Почву впереди!



Я и время — мы так похожи!
Мы похожи, как близнецы.
Как ты нас различаешь, Боже?
Ну скажи, не одно и то же
Конвоиры и беглецы?

Ярко-розовые ладони,
Каждый светится капилляр, —
Я в бегах, а оно в погоне,
У обоих мир двусторонний,
Там — наш пепел, а здесь — пожар!

Я и время. Мы так похожи! —
Врозь косые глаза глядят.
Как ты нас различаешь, Боже?
Ну скажи, не одно и то же
Взгляд вперед или взгляд назад?!

Преимущества никакого
Ни ему не дано, ни мне, —
Лишены очага и крова,
Мы бежим, как за словом слово
В обезумевшей тишине.



Над санаторным отделеньем,
Над населеньем городка
Лежали в небе предвесеннем
Пузырчатые облака.

И ежедневно перед обедом
На табуретке у крыльца
Больной антисемитским бредом
Писал Иуду без конца.

Его Иуда был курчавый,
Змеобразный, без ребра,
Одна рука была кровавой,
Другая — в пятнах серебра.

Помешивал художник краски
В помятой банке жестяной,
И на него не без опаски
Поглядывал другой больной.

Так в марте в городке больничном
Сходила медленно с ума
И жалась к корпусам кирпичным
Изнеможденная зима...

В ГЕГАРДЕ

Правду мою и неправду —
Всё за собою влачу.

В камне — во храме Гегарда —
Я зажигаю свечу.

Медленно пред образами,
Словно свеча я горю:
Боже, чужими словами
Даже с Тобой говорю!

В мире весенняя слякоть,
Туч и деревьев слои...
Плачу. Но стыдно мне плакать,
Слезы и те — не мои.

СЛЕПОЙ

В нашем городе каспийском,
Незамеченный толпой,
Для себя с немалым риском
Жил и действовал слепой.

Перед ним была бумага,
А в руке была игла,
И смертельная отвага
У него в груди была.

Был концлагерь на Востоке,
А на Западе война.
Перещупывал он строки
Возле темного окна.

Мир земной и мир надземный
Вновь осмысливал старик,
Поэтапно, потюремно
Вел он тайный временник.

Но однажды на рассвете
И слепого увели,
И сожгли страницы эти,
Но потомки их прочли,

Потому что было Слово,
И в воздушную тетрадь
Он иголкой еловой
Приспособился писать.

СТИХИ

ФАНТАСТИКА

Я тоже научился вздор молоть,
Как нынешние рифмачи, и эти
Подробности тускнеют в ровном свете
Потребностей, насущностей, желаний.
Но, верьте, я ходил по той планете,
Где ангелы — единственная плоть
Двуногая, где на густой поляне
Беседовали меркнувшие лани
С двухмерным очертанием коня,
Где легких красок яркая возня
То отнимала зрячесть у меня,
То внутренним усиливала зреньем, —
Но, может быть, то было озареньем?

Я начинал блаженно понимать,
Что птица и гнездо, волна и гладь,
И отблеск бабочки, едва приметный,
И клинопись в обличии растенья —
Не признаки, не знаки, не виденья:
Они вещественны, они предметны!
Умершие по воле Провиденья,
По той же воле ожили опять,
Но жизнью неземною, необычной,
В которой нет ни страсти, ни хотенья,
Которую нельзя и счесть вторичной, —
Иль высшей надобно ее признать?

И ангелы, прекрасные, как звери,
Бытующие в логовищах книг

Иль в откровенных мифов и поверий,
Не двигались сквозь них иль мимо них,
А разговаривали с каждым бликом,
С живым иероглифом вещества,
Уверенные: это существа
С неповторимым образом и ликом.

Не думал я, что скоро так расстанусь
Со всем, что здесь увидел, — потому-то
Увидел мало. Я заметил странность
У ангелов, Мне показалось, будто
Они боялись, — так же, как в Гоморре,
Где кеперс рассыпался, цвел миндаль,
По улицам разгуливала шваль,
Кузнечик тяжелел и тяжелело
Запретное желанье в женском взоре —
Да и в мужском... В томленье и тревоге
Они крылами покрывали ноги
И ждали сладостно и неумело
Диавола. Давно случилось дело,
Откуда же теперешний испуг?

Ни грешников, ни бесов нет вокруг,
Тиха, красива этих мест особенность,
Сияние в сияньи растворилось,
Откуда же у ангелов их робость
И эта безнадежная унылость?
Иль поняли, что бесы не вовне,
Что бесы в них самих растут, томятся
Бездействием, к движению стремятся, —
Тогда-то гаснет разум на войне,
И кровью агнца алтари дымятся.
Как жить при пожирающем огне?

Не останавливался взгляд на мне:
Им, брошенным в сей странный мир Всевышним,
Им, обалделым, я, наверно, лишним
Казался, а меня меж тем влекло
Безвольное всевластье светотени,
Какое-то волшебное стекло, —
Осколки позабытых наблюдений.

Здесь было то, что видел я когда-то:
Нет, не тела и даже не дела,

А, скажем, смех австрийского солдата,
В плену не унывавшего хорвата,
Иль дворниковы бляхи и метла.
Мне кванты света память принесла,
И друга юности я вижу снова,
Беспаспортного, умного, дурного,
Чья хата — полуночные вагоны
Да пригородный холод заоконный,
Вокзалы развороченной Москвы
Да лагерь, вбитый в оболонь мордвы,
Где он узнал впервые речь травы,
Которая сложней стихов и шахмат,
И то, как люди чахнут, люди пахнут,
Потом самим себе копают рвы.
Со мной всегда и русость головы,
И беглая, надменная усмешка.
Так усмехался и другой поэт,
Гневливый мот, печальный сладкоежка...

Еще блистает из наземных лет
Мне вывеска: «Гофре, плиссе, меретка».
А вышивальщик не терпел зеленых,
Ни белых, ни петлюровцев, ни конных,
И ни матросов пьяных, ни пехоту.
Был недоволен новизной кустарь:
«Грабеж! Они хватают на работу!
Чтоб стало хорошо, нам нужен царь!»

Вы тоже здесь? Вы здесь, мосье Дегтяр?
Ах, впрочем, вас убили, Там, на бойне.
Вы думали, что немцев ждать спокойней —
С пятью-шестью соседями — на даче:
От моря далеко, и недостачи
В продуктах не предвидится, горячий
Степной песок, чебрец, полынь и мак,
А немец — он культурный, не босяк.

Ну, будет гетто. Чем же хуже гетто,
Чем это? Боже мести и завета,
И там, как здесь, тогда кончалось лето,
И так же было тихо, но иной
Была Земля объята тишиной.
Все то, что было чем-то, становилось

Ничём, — трава, песок, улыбка, вздох.
Казалось, город онемел, оглох
И время навсегда остановилось
Для нескольких семейств. Но так казалось.
День незаметно убывал, как жалость.
А что же каждый говорил на даче
Себе, друг другу в долготе ночей?
Что сделали бы жертвы при удаче?
Могли ли превратиться в палачей?

Их даже и не выдали, к участку
направились, как будто их влекло
Заклятие иль рабье ремесло —
Обожествлять приказ, указ, указку.
Они пошли, — сперва Преображенской,
А после, повернув, Херсонским спуском.
Прелестный город стал чужим, нерусским.
Пахнуло далью полудеревенской,
Лиманами... Они не взяли маму
К себе на дачу, — мол, не хватит места,
К тому же мама из другого теста,
И без нее, расстрелянные, в яму
Они легли. Теперь и мама с ними —
Бесплотными, иными, неземными.

Акация ли с нашего двора,
Седа, и большеглаза, и добра,
Иль мама вдруг со мной заговорила:
«Сынок, проверь: я нашу дверь закрыла?
Не то, не то... А как моя могила
На Востряковском? Все не то, не то...
Не надо думать, будто мир — Ничто:
Мы — все, и мы — во всем, и все есть в нас.
Ты полюбил, сынок? Ну в добрый час:
Уже не молодой, а в первый раз.
Как долго продолжалась к ней дорога!
Она похожа на меня немного?
Вот потому ты с ней не разминулся!»

И я рукой седых цветков коснулся:
«Любовь есть Бог. А разве можно Бога
В последний раз иль в первый раз любить?»

Я вспомнил то, что сам хотел забыть.
Я не прицел к любви, — я к ней вернулся».

1974

ХАИМ

Там, где мчалась дружина Гэсэра,
А недавно — жандармский полковник,
Где и ныне в избе старовера
Мы найдем пожелтевший часовник,
Где буддийские книги бурята
Разбрелись по аймакам глухим, —
Серебристо-светла, таровата,
Есть река по названью Хаим.

Будем верить преданьям не слишком:
То ль, тропой возвращаясь таежной,
Да притом, говорят, с золотишком,
Был он голью зарезан острожной,
То ль трактир содержал он на тракте,
Беглых каторжников укрывал,
И за свой поплатился характер...
Есть река и Хаим перевал.

Вечный дух пребывает в кумире,
В древнем свитке и в крестике малом.
Хорошо ль тебе, Хаим, в Сибири
Течь рекой и стоять перевалом?
Что мне светит в серебряных всплесках?
Иль в тайге улыбается тот,
Кто смутил мудрецов бенаресских
И в пустыне хранил свой народ?

1973

В ПУСТЫНЕ

Как странники в возвышенном смиренье,
Мы движемся в четвертом измеренье,
В пустыне лет, в кружении песков.
То марево блеснет, то вихрь взметнется,
То померещится журавль колодца
Среди загрязивших веков.

Идем туда, где мы когда-то были,
Чтоб наши праотеческие были
Преображали правнуки в мечты,
Нам кажется, что мы на месте бродим,
Однако, земли новые находим,
Не думая достичь меты.

Всегда забудется первопроходец.
Так что же радует в пути? Колодец.
Он здесь, в пустыне, где песок, жара.
Вдруг ощущаешь время, как свободу,
Как будто эту гнилостную воду
Пьешь из предвечного ведра.

1974

КРИК ЧАЕК

Семейство разъяевшихся чаек
Шумит на морском берегу.
От выкриков тех попрошаек
Прийти я в себя не могу.

Мне вспомнилось: мы хоронили
Жену сослуживца. Когда
Ее закопали в могиле,
Был вечер. А мы и беда

Вступили в автобус последний.
И тут, как зараза, возник

Из воплей, проклятий, и сплетни,
И ругани смешанный крик.

То стая кладбищенских нищих,
Хмельных стариков и старух,
Кривых, одноногих, изгнувших,
Блудила и думала вслух...

Земля, человечья стоянка,
Открыла ты нам, какова
Бессмысленной жизни изнанка,
Где слово сменили слова.

Итог обнажился конечный,
И мы ощутили, какой
Вращается двигатель вечный,
А движет им вечный покой.

1976



Когда в слова я буквы складывал
И смыслу помогал родиться,
Уже я смутно предугадывал,
Как мной судьба распорядится.

Как я не дорасту до форточки,
А тело мне сожмут поводья,
Как сохраню до смерти черточки
Пугливого простонародья.

Век сумасшедший мне сопутствовал,
Подняв свирепое дреколье,
И в детстве я уже предчувствовал
Свое мятежное безволие.

Но жизнь моя была таинственна,
И жил я, странно понимая,

Что в мире существует истина
Зиждительная, неземная,

И если приходил в отчаянье
От всепобедного развала,
Я радость находил в раскаянье,
И силу слабость мне давала.

1976



ПРОЩАЛЬНЫЕ ДЕНЬКИ

(из книги «Воспоминания о реальности»)

ПОСЛЕДНИЙ МЕДВЕДЬ

«8 апреля 1944 года Герой Советского Союза лейтенант Лапшин со своим стрелковым взводом внезапным ударом с двух сторон взял мост в зоопарке, уничтожив 30 и взяв в плен 195 гитлеровцев. Это решило исход боя за зоопарк.»

**Надпись на памятнике
в Калининградском зоопарке.**

Я живу неведомо где. Иногда возвращаюсь домой. Дочка говорит, краснея, издалека: «Папа, а ты помнишь, в прошлый раз, когда ты приезжал, то сказал, что мы с тобой куда-то пойдём?» Вот — какие слова она выговаривает громко, какие тихо — в этом весь смысл. Мне тут же становится нехорошо от этого ее знания, от этого ее уже опыта, что опять не пойдём. А «куда-то...» (что шопотом), я помню, значит: в о Д в о р е ц. Дворец вообще.

И я, с тем погибшим достоинством человека, знавшего успех и потерявшего его, вдруг решительно встаю, говорю: «Идем». И едва ли это не более унижительно, чем снова сказать: «Потом»... Говорю я «идем», ненавидя себя, но она — верит. Впрочем, она много больше знает, чем принято допускать (для удобства взрослых) в отношении, так сказать, детей, так сказать, ее возраста. И это ей не ужас, мне — ужас; довольствуется моим согласием по-видимому ровно в том значении, какое и есть, — без «алых парусов».

Мы идем. Мы выходим, и тут обнаруживается денек.

Такой внезапный, со вкусом другой, минующей тебя жизни, с раскаянием и недопустимостью вчерашнего, уже бывшего с тобою дня... С узкого нашего двора сняли крышку, мы улыбаемся небу, улыбаемся в себя, как мертвецы. Даже злые дворовые старухи, как политые цветочки за вымытыми окошками. Кто-то, забыв об осторожности, внезапно здоровается со мною, обрекая нас обоих необходимости здороваться и впредь.

Впрочем, пора уже миновать двор и приступить к делу.

Так выхожу я, застенчиво щурясь, с потной, покорной ладошкой в руке, неуверенный в том, что это я выхожу, что это мои шаги и дочь моя, а не заснят я заранее на всю ту кинолентку, что просмотрена мною еще за бесконечное время школьных уроков... Надо же день за днем познавать мир, чтобы дожить до такой нереальности! Погодка потягивается вокруг меня — только она и есть реальность — денек такой. Оставим индивидуальность пасмурным дням. «Разве бы я пил, если бы за трешку можно было заказать солнышко на полчаса», — как сказал однажды Эдик К., вечная память...

«Такая хорошая погода, — коварно говорю я, — давай мы во дворец в другой раз пойдем». Это уже не отчаяние, не обида, как дочка соглашается со мной, а смирение, знание жизни: все равно не пойдем. Она еще не дожила до погодки.

Мы идем не во дворец и не в цирк. Мы приходим в зоосад.

Сатана — в бороду, бес в ребро. После вытравленных площадок до и после турникета, солдаты и школьники — 10 копеек, фанерной феерии касс, щитов с планами и правилами, тележек мороженщиков и передвижных лабораторных установок ломоносовской эпохи для производства газированной воды, естественно ожидать фанерных же зверьков с белым кружочком для попадания, где правый профиль дается рисовальщику труднее левого... Поэтому так неожидан первый зверь.

Допустим, слон. Но в него еще не веришь. Впрочем, в него вообще трудно поверить... Но — так. Слон и слон. Смотришь больше на прислужника, что сидит тут же: то ли следит, чтобы слону не давали совсем уж несъедобную дрянь, то ли просто для сравнения. Созерцать слоньего служителя поучительно: он видит меж ног своего большого друга те самые башенные часы, стрелки которых неумо-

лимо, но слишком медленно приближаются к маленькой...

Слон все понял, чтобы не сойти с ума — слон служит так же, как и служитель. Вы проходите дальше, не вполне уместив его в своем сознании.

Вы попадаете в копытно-рогатое отделение: бесцветно-свалявшиеся неправдоподобия коров... Тут и северные олени, клетку которых вы минуете особенно быстро: почему-то именно этот олень — для вас не новость. Потом немножко гну и какая-нибудь лама. Так и не вылезший из темноты своей комнаты, скажем, зубр. Вы быстро оставите этот унылый хлев, почти не отметив в мозгу неожиданную неимпозантность оленей и косуль, так и не передвинув свое сознание в саванны и сельвы.

Тут будет лужа с чем-то жалким, приснившимся, но неужасным — гиппопотамий бок. Будет плавать расплывшаяся булка — вы так и не дождетесь от него жизни.

Удивитесь тапиру, гладенькому, новенькому — синтетическому. Девочка скажет: «Сразу видно, американский...» Обыватель прочтет табличку беременной жене: «Промыслового значения не имеет»... Ага, значит, только показательное...» Жена посмотрит невидящими, крутыми, как яйца, глазами — увидит свой живот, еще одно доказательство шарообразности земли. Что это за манера такая — непременно водить беременных жен в зоопарк? Не замечали?

Птиц слишком много, чтобы в них разобраться. Они какие-то черненькие, и, по виду, все питаются падалью. На самом верху грифельное чучело. В этой связи вы внимательно рассмотрите воробья. Это безусловно потрясающая птичка. — Она — на свободе.

Воробей — царь зверей...

Обезьяны закрыты на ремонт... Отдельно показан шимпанзе. Он печален: ему предстоит человечество... Своим торжеством он, в который раз, поражает нас, что он — человек. Поковыряет — посмотрит, почешет — посмотрит. Удивляется рукам: ничего-то в них, оказывается, нет. Пусто. Отсутствие.

Вы сделаетесь безотчетно печальны, скучны. Фальшивое желание оживиться с помощью своего ребенка, взглянуть на все глазами картинок — останется тоже бесплодным. Они просто внимательны, дети. У них глаза на границе испуга. Причем, испуга не перед страшностью зверя: какой же он, бедняга, страшный? в клетке? — а перед самую жизнью. Они, дети — до, вы — после. Вы не сможете

те разделить трапезу их зрения. Затрапезность?..

Тут, опять надо прибавить, — солнце. Город так отвык от него, так давно обесцветился. Цвета в Ленинграде обозначаются только при сером свете. Как кожа слепого... Ничего не освещено: солнечный объем — сам по себе, втиснут между предметами, их не касаясь, не задевая, не приликая к ним. Так и звери — без цвета или цвета хаки, земли и весны. Мусор фанеры, заборов и шкур. Свет застиг все врасплох, ничто не успело окраситься, растерялось, освещенное и ослепленное, и прикрыться нечем. Голубой купол над свалкой.

Пока не попадете к хищникам. Только хищники имеют цвет. Только они, собственно, и звери. Во всяком случае, по зрительскому успеху — это именно так. Тут уже толпа, живость, разговор — непосредственность. Именно чрезвычайная непосредственность видна на лицах обывателей, как от несчастного случая или чужих похорон.

Пора от «вы» перейти к «я».

МЕДВЕДЬ было написано на клетке. Значит, именно медведь это и был. Я встретил его взгляд.

И сразу будто все виденные мною здесь звери посмотрели на меня — это было достаточно странно: одно и то же существо может по-разному взглянуть на вас, но представить себе, что одним и тем же взглядом на вас, в разное время, посмотрят существа, столь многочисленные и отличные друг от друга, может означать лишь одно: либо вы безумны, либо все они. Оловянное безумие полуденно стояло в глазах медведя. Не ужас и не ярость, не страх и не свирепость, не тоска — сумасшедшесть. Это был с ума сошедший медведь, и он ел и ел конфеты, прямо так, не разворачивая бумажек, равнодушный и к зрителям, и к себе, и к самим конфетам. Он скучно и безотказно ловил конфету, если она удобно подлетала к пасти, если же неудобно — не ловил. Тогда конфета стучалась об него, как об неживого, и падала... И так он сидел в кругу из конфет, и конфет было столько, что он давно уже сидел, не переступая.

Это ровное, без каких бы то ни было мерцаний, безумие, стоявшее в его глазах, могло бы показаться просто слепотой, если бы он не успевал во-время отворять пасть конфете, то есть, оно слепотой не было. Можно было бы предположить образ некой вековой зубной боли, боли от рождения, боли как единственно известного состояния

мира, боли непереносимой, если бы хоть раз, хоть одну минуту за всю жизнь ее бы не было, и переносимой оттого, что она была всегда; боли, такого постоянства и интенсивности, что на нее, в самое дупло ее, равнодушно кладется конфета за конфетой, как веточка в костер. Если не слепой, то немой мог бы быть этот медведь. И тогда взгляд его был бы воем немого; но, в этом случае, он не ловил бы конфет, он понимал бы боль, если бы выл... то есть, оно (безумие) немотой не было тоже.

Но все эти предположения, имеющие лишь тот приблизительный смысл, чтобы хоть как-то определить, ограничить кругом сравнений (пока еще слишком большого и непостоянного радиуса) новое для меня понятие безумия, причем именно этого безумия, — все эти предположения сходств раздражающе неточны. В центре этого корявого и слишком большого круга сравнений — его взгляд, по-прежнему, горит тускло и ровно, не имея отношения к моим попыткам определить его.

Так вот, сначала медведь, а потом и все те звери, мимо которых я пробежал небрежно, разом взглянули на меня тем же невидящим, безумным взглядом. (Разве один какой-то козел посмотрел на меня с тем живым лукавством шизофреника, который все понял про мир и продолжал понимать, глядя на вас, то есть, он, единственный, был знаком мне по роду сумасшествия.) И можно было бы, по загодя заготовленному руслу, подумать, что они сошли с ума от несвободы, от жизни в зоопарке, от тюрьмы — но нет. Если это и было, то что-то тут было еще. И это ЕЩЕ было главное, страшнее и новее для человека.

С какой же внезапностью и тоской вдруг осознал я, что медведя этого передо мной уже нет, больше, чем нет — его НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Если современный человек не приписывал бы себе, не присваивал до такой степени все, что даже суждение, высказанное о каком-либо предмете внешнего мира, характеризует нам уже ни в коем случае не этот предмет, а говорящего об этом предмете человека, то знаменитый анекдот об еврее, увидевшем бегемота и сказавшем: «Не может быть!» — был бы, наконец, не об еврее, а о бегемоте.

Бегемота уж точно, не может быть.

Нет, я не жалел зверя в клетке, а чуть ли не благословлял зоопарк, что в нем еще есть этот медведь, которого уже нет: иначе, как бы я узнал об этом? Это был чудом уцелев-

ший медведь, последний медведь, как последними были и все остальные звери; казалось, он и сам не верил, что он еще есть. Я опять описываю круг приближений к центру его безумия и не становлюсь ближе. Однако, я убежден, что во взгляде его было именно это безумие — оставшегося последним. Дело, может быть, было уже в том, что медведь сдался жить дальше; причем, сдался не этот именно (персонально) медведь — в нем сдался медведь, сдался медведь вообще, в нем не осталось жизненной энергии быть медведем. И действительно, если среди звериных инстинктов, не разошедшихся еще, по сравнению с человеком, с логикой Творения и Творца, не потерялось точное чувство наступающей смерти, когда зверь прячется, уползает и т. д., то почему ему не ощущать смерть и более глобально: вида, рода, самой жизни? Звери Ноева ковчега имели больше шансов выжить среди ужаса стихий, чем это — в абсолютной безопасности зоосада, какая существует у смертников от приговора до исполнения. Тут уже не осталось чистых и нечистых — все они последние, голубые, в дымке прощания.

Захотелось побежать назад, к слону, чтобы успеть посмотреть на всех этими вот, вдруг открывшимися глазами, заглянуть им в их последние родные глаза, ощущая виноватость и братство, братство всего живого на земле перед лицом гибели. И почему бы действительно не обнять ту же гну, как сестру, не сказать: я нашелся, твой без вести пропавший в прогрессе брат! вот он я, еще живой и тебя не забывший...

Если кто-нибудь скажет, что я забыл в этом рассказе про дочь, то нет — я поднимал ее перед каждой клеткой, где ей было плохо видно. Она переживала все сильно, то есть молча, и не мешала мне пережить то, что я сейчас, такое немое, попытался как-то передать. Но — вот еще, в чем дело — она пережила другое, а что — наверняка не могу сказать. Во всяком случае, эти же звери, которые для меня, в силу вдруг открывшейся мне печати их последней, становились, среди фанеры, лотков, заборов и клеток, чем-то, сливающимся по своей условности, как жестяные, неровные их собратья из тира, — то для нее (дочки) эти же звери, если и были неправдоподобны, то как раз своей реальностью и жизнью. И когда я, увидев неподалеку от карусели жалкого вытертого пони, которого уж совсем было не отличить от карусельной лошадки из папье-

маше, сказал дочке с сомнением, как бы извиняясь за пони, что он такой: «Хочешь на пони?» — она вдруг так глубоко и старательно кивнула, так покраснела от страсти, что я понял, что живой мир еще существует всерьез.

Не странно ли, что мы все больше производим книжек со сказками и картинками про зайцев, волков и лисиц, все больше надуваем рыбок, оленей и медвежат из резины, пластика и ваты — и все меньше понимаем, зачем мы это делаем... Между тем, дети наши уже живут в мире, где зверей-игрушек в тысячи раз больше, чем зверей-зверей. Они уже не предмет первого знакомства и познания того, с чем проводить жизнь, они — предмет мифологии. И не далек тот день, когда сказочность басенного зверя — зайчика, волка, медведя — перерастет аллереорию и приобретет масштабность небывальщины: драконов и грифов. И это так. Объективно говоря, зайчика ничуть не проще сделать, чем грифона, если его уже нет, зайчика... И жутковата мысль, что все наши игрушки и сказки — лишь пережиток другой, ушедшей от нас эпохи, когда добрые старые девы воспитания полагали, что, через такие вот игры и забавы, происходит в детской душе первый посев христианской любви к ближнему.

ГЛУХАЯ УЛИЦА

Одним из признаков, характерных для многих самовоспроизводящихся систем, которые мы называем живыми организмами, следует считать конечность жизни отдельной особи. Эта «естественная смерть» живых единиц, которые в течение определенного времени служат звеньями непрерывной цепи, идущей от истоков жизни, для большинства видов не имеет большого значения, так как место погибших особей быстро занимают другие.

**Бернард Стрелер,
«Время, клетки и старение».**

М у ж и к

Я иду в магазин, на почту и просто так... Не забыть купить масло, стиральный порошок, не забыть позвонить в го-

род редактору, а если его нет, то... забыть купить шоколадку дочке и забыть опустить в ящик тещино письмо (я все еще потрагиваю его в кармане, чтобы не забыть, но потом выну руку из кармана); не забыть бы обдумать по дороге за маслом статью, чрезвычайно насущную, о состоянии современной критики, чтобы, вернувшись, сразу сесть за нее и завтра отослать в Москву, где ее (нет у них других дел жизни!) страстно почему-то ждут (я не отправлю ее и сейчас, через месяц, за что буду очень ругать себя, вместо того, чтобы похвалить и поддержать в себе еще не до конца вымершую точность и принадлежность жизни).

Так я иду и что запомню, а что забуду из действительно подступивших ко мне дел. Я не забуду и забуду про масло, гвозди, молоко, стиральный порошок, керосин, про один звонок по телефону, два визита и три прощания... но я наверняка забуду о том, что вокруг меня происходит жизнь с погодой, прохожими и облаками, что сам я мчусь в этом потоке, подсвеченном солнцем во имя моих глаз, что мне будет «когда-нибудь мучительно больно за бесцельно прожитую» именно эту секунду, — потому что, забуду или не забуду я ту или иную завитушку своего долга (кем предъявленного?), я все равно занят не з а б ы в а н и е м, а не настоящим мгновением, которое, тем временем, неотвратимо прошло мимо, и это уже не восстановишь — навсегда.

Мозг мой — насыщенный раствор. Яды и соли памяти проточили в нем ноздреватые ходы, туда с легкой видимостью уходит трепетная влага жизни, поверхность коры — дырчата и суха. Но я еще жив. У меня еще шевелится хоть пальчик на ноге, свободный от некроза и на нем еще болит мозоль. И, раз я еще жив, я не могу пройти совсем уж мимо жизни. Нет, нет! Она коснется меня. Пусть не прильнет, не обнимет; но так, в своей живой задумчивости, где нет еще язвы, сформулированной мысли, она, не заметив меня, как девушка, направляющаяся на свидание не со мной, а с другим, счастливым, красивым и прочным, в автобусном проходе заденет тебя краем своего облака здоровья и отмытой молодости. И хотя я уже не прямой родственник жизни, и я попадаю иногда, безымянный, на ее именины, и мне находится приставное местечко с периферийной закуской. Так что, не всегда прохожу я мимо жизни, неся в руках неудобный, в постыдно рвущейся газетной обертке пакет из каких-то поручений, похожих на невыкинутые крышки из-под майонеза, и долгов, напоминающих

нестиранные носки и неопубликованные рукописи, и хотя я не выкидываю этот пакетик с двумя фото на паспорт, несколькими пуговицами, пробирками и дореформенными копейками, и множеством мотков бумажной бечевки, там еще и гвоздик один есть... там еще, сверху, телефончик, забыл чей, записан... но газета треплется и рвется, а мне тридцать три без недели года не доехать до дому и не забыть его никак, не потерять ни дом, ни пакет,.. что-то все больше сыплется из него. И вот, когда просыпется еще разок, я вдруг испытаю, за ужасом потери, — расслабление свободы; и тогда вижу уголок рта, край воды, клочок неба; а там сразу цветущее поле, и никто не заметил, что ты туда (не туда) пошел, не окликнул, не окликнет... вот тогда, на свободное место в пакетике, на место всего лишь гвоздика, кривого и ржавого, или высушенной пробки — вот на это место — лес, утес, птица... Все-таки нельзя пройти мимо жизни, поднять на нее ненароком глаза и не забыть сразу хоть что-нибудь! Да будет благословенно все то, чего я не совершил, пропустил, обронил, потерял, отпустил, простил и простился. Да будет благословенна моя лень. Да будет проклята жадность, что ничего не выбросил, не отшвырнул, а все ждал этой милости случая потерять что-либо.

Так и вваливаюсь я в это повествование, раскрасневшийся, потный, в руках сверток, я его прижимаю к животу, в шею мне втыкается проволока от шампанской пробки (почему-то именно она проделала верхнюю дырочку), к штанинам пристали фантики и чуждое конфети, счастливые трамвайные и лотерейные билеты, беспроигрышные магазинные чеки по 2.87 каждый для ровного счета, а вот билет на американскую «Порги и Бесс», что давали на пятнадцать лет назад новый Новый год, и гардеробный номерок в часовом кармане, без стрелок точно показывающий не то день, не то год, не то час, когда все это было... В руке держу несколько экзаменационных билетов по ботанике, конституции и взрывному делу; лифт не работает, ноги горят, сердце бухает в пакет; еще умудряюсь достать из заднего кармана ржавую связку ключей от давно исчезнувших замков, чтобы открыть ими окно в летящем с моста автобусе... Вот в таком виде встречаю я любовь мою, и, как назло, не на что положить пакет, чтобы броситься к ней на шею, к тому же, положить его нельзя, даже если бы было на что, потому что я еле удерживаю его и он сразу развернется у любимой на глазах, что стало бы уж сов-

сем не красиво. Да и как бросишься на шею, если перед тем аккуратно отложить в сторону сверток? Нечестно. Я бросаюсь на колени — передо мной сверток, свежая царапина от шампанского кровоточит на шее, и я бью земные поклоны помойному ведру... А хотел я сказать то, что если жизнь и заходит по недоразумению в мою клетку, то это значит, что я обеспамятел еще на какой-то отрезок прошлой жизни, ибо, как в насыщенном растворе, добавление соли, даже при постоянном помешивании, ведет к выпадению в осадок такого же количества соли, тут же выкристаллизовавшейся.

И вот такое нереальное существо бредет, как призрак, среди реальных кустов и трав, где щебечут реальные птички и ползают реальные букашки, чтобы купить в сельпо масло и стиральный порошок, но оно, собственно, не делает и этого, не только потому, что скрепки и кнопки поручений не дают ему возможности поозираться и оказаться во внезапной для него, но всегда продолжающейся без него, реальности, но и потому, что и масло и, что там?... мыло — тоже не являются реальностью для него: наоборот, это что-то чужое и грубое, отторгаемое его душой и тоже неосознаваемое как реальность. В таком разрыве реальности, в самом разрыве, где справа и слева окажутся края его: ворсинки и лохматые ниточки, — в этой мертвой зоне бредет тень моего существа, переходит гнилой ручеек, чуть подымается в гору и оказывается в таком светлом коридоре из заборчиков и берез, в конце которого, уже меж соснами, голубеет провал... мыло и масло выскользывают из головы его, и я вдруг ощущаю острую боль счастья: небо опрокидывается на меня, редкой голубизны и светлости — давно не было такого денька! — зашелестели листья, закричал ребенок, ласточка чиркнула под ногами и на палец села божья коровка...

Божья коровка улетела в небо, с неба упало три яблока: мне, тебе и рассказчику... То-есть, тут же, едва успев совпасть с жизнью, в ту же секунду меня посетило озарение (его я забыл), но зато некая служба нереальности тотчас, вдогонку, послала обольстительный новый замысел, от которого суждено мне было, наряду с другими неисполнимыми, страдать годы по сей день... Вместо зеленого, свежего, кудрявого и живого, как веточка, озарения, которое и мыслью-то не было, а лишь контактом и слиянием с миром, — к концу этого светлого коридора, в котором едва каких-

то сто метров-то, уже готов был замысел новой книги, веточка была обстругана, и мысль стройная, как шпицруттен, опустилась мне на голову.

Это была некая совершенно новая «Автобиография», как бы единственно честная и искренняя, единственно подлинная, вовсе не о том, что считается обществом свершениями и событиями жизни; не отчет об исполнении некоего каждому выданного на жизнь социального наряд-заказа; не воспоминания о детстве, школе, университете, женитьбе и тех исторических событиях, которым был свидетелем; не о том, что ты жил с людьми и не о людях — истинно о себе. Ведь отличается же чем-то «Автобиография» от биографии, биография от мемуаров... Ведь не просто же вариантом, хотя бы и единственным, отличается твоя жизнь от прочих, а неповторимостью твоей, тем, что именно ты — один жил на этой земле. И только это может иметь общее значение.

Такими косвенными, неблизкими словами сказал я потом себе о том чистом, правильном и точном, что пронеслось во мне в одну секунду, в момент касания... Голубой провал отворился меж двух бесконечных сосен — там было озеро. Меня выплеснуло из этого узкого и напряженного коридора сознания, и я расплылся на берегу. Расслабленный, припоминал я потускневшие слова: вынутые по случайности, по одиночке, они ничего уже не значили, они высохали и серели, как камушки из моря... да и как уловить эту тоненькую рвущуюся ниточку поэтического кайфа и не унизить предмет, который, надо сказать, прекрасно обходится и без тебя?

Я сидел на берегу своего озера. Это было именно мое озеро, не лучше других, виданных и невиданных мною, потому что именно оно возникает всегда перед моим мысленным взором при слове «озеро», озеро вообще. С лодками, черными, полузатонувшими, и легкими, цветными, чуть качавшимися передо мной, как поплавки удочек. С песчаным обрывом справа, над которым, пришивая его к лесу, мелькал меж сосен, стежком, железнодорожный состав, и болотным ковром слева; с еловым мысом, который обычно уподобляют медведю на водопое, и холмами, там, вдали, на том берегу, где на самом верху, на небесном уже фоне, стоит, не отличимая и слитная в деревьях роцца, похожая на разрушенный замок. Впереди плавал островок, с редкими кривыми сосенками, к нему вплотную подходил тот болот-

ный ковер, и на нем, все более сливаясь вдаль в сплошной белый цвет, светились декадентскими фонариками какие-то особые болотные цветки-коробочки. Солнце падало в болото, все более пунцовая, и вода, серенькая у ног, чуть впереди уже вспыхивала перламутром, потом лиловела, потом золотела, алела и синела, а там, совсем вдаль, у противоположного берега (где «замок»), вдруг — чернела. Взгляду было не на чем остановиться — это была невесомость взгляда — он устанавливал такую прямую и ненапряженную связь, что — где ты, где озеро, где, тем более, дом, где вообще в с е, чего здесь нет, не было.

Где бы мне и смотреть на него и не быть собою и быть этим озером хотя бы столько, сколько позволял закат? Но отчаяние перед ускользающим замыслом (словно показали и отняли, а я вцепился и тяну к себе, но очень плохо, жалко за какую-то нищую складочку лишь уцепился, и силы в пальцах нет...) заставило меня, слегка стыдясь и прикрываясь рукой, хотя никого на берегу не было, записать на папиросной коробке (для памяти), как бы лишь для того, чтобы в ту секунду, сейчас, не насиловать и отпустить, но с тем, в то же время, чтобы потом, вдруг, натолкнувшись, все воскресить, когда я буду более готов: однажды... вот и коробка передо мной, я сейчас перепишу вот что:

АВТОБИОГРАФИЯ (Апология реальности)

(Заглавие расположилось крупно и щедро, а потом строки стали укладываться все мельче и теснее, как бы под «могучим давлением» верхних и, наконец, не выдержав, выдавились как из тюбика вверх, окружив заглавие испарением замысла, масштаб которого был заранее определен площадью коробка. Для даты однако нашлось место: «май, 1976».)

Без дат. Только то, что было. Тогда получится очень коротко. Только реальные моменты бытия. Даже к воспоминаниям детства следует отнести таким образом, чтобы отсеять восстановленные с чей-то помощью (как бы свои). И даже свои, но понятые позже следует излагать не тогда, когда они были, а когда осознаны. Т.о. многое из детства перейдет в сейчас. Нереальность дается лишь в моменты ее осознания, т. е. в реальные моменты — в той постепенности и последовательности, с какой эта нереальность осознается (биография в биографии). Т. е. написать наконец, что же было реального в этой жизни, написать, даже не вспоминая, срисовы-

вая картинки. Испробовать метод, и тем измерить отклонение истинной картины от принятых к употреблению норм, т. е. всех тех наведенных представлений о реальности, которые существуют в обществе».

Поди сейчас знай, что я имел тогда в виду?
Перепетуум-замысел.

Меньше всего вспоминал я об этой биографии, обдумывая эти вот, объединенные разве что солнцем, «Деньки», что пишу сейчас — и вот, на тебе, вдруг обнаруживаю, что проба пера проба...

Надо же столько гнаться и преследовать замысел, чтобы он тебя догнал?..

Вот что, наверно, думал я на берегу:

«Я никогда не думал о смерти (не боялся?), но не есть ли это ежесекундное страдание от желания и неспособности слиться с реальностью, существующей лишь в настоящем времени — мое активное (врожденное?) желание небытия?? Я бы мог быть счастлив (не знать) и в своей нереальности, гамаке между прошлым и будущим, если бы принял эту нереальность, как свою. В конце концов, я всегда был такой и никогда не пребывал сознательно в своем «программно-желанно-реальном» смысле — так, на кой мне окружающий мир? Но если любовь и счастье — это, в опыте, только те мгновения, когда меня не бывало: не было — младенчества, не было — не помню, не было — акт, не было — смерть, — то, значит, прежде всего, именно желание исчезнуть владело мною всю мою „сознательную“ жизнь».

Тридцать три года

А где же мужик? Мужик где?

Все это время он идет ко мне по берегу озера.

Он идет ко мне уже очень давно, и вот сегодня проснулся, похмелился и потом выпил, поскольку праздник сегодня, День Победы, а он воевал-воевал, до Берлина дошел (до Берлина — это отклонение, конечно, от маршрута, но — строго продуманное, чтобы успеть именно сегодня, в тот момент, когда я буду сидеть у озера и подумаю о том, что...)

И тут уже можно поставить точную дату: проходит, вот прошла помянутая неделя, и мне исполнится, вот и стукнуло... тридцать три года. Гвозди ноют в новеньких набойках, и, в этот памятный для Христа день, я занят прибли-

зительным вознесением из кудрявого и цветущего Дилижана к моему озеру, навстречу мужичку-апостолу, в мой студенистый край... Я переносу себя, упирающегося и нарочито-тяжелого, на тот берег и вдавливаю новенькие набойки в плотный сырой песок. Ясно вижу себя со стороны; растерянного и трусливого, стоящим на берегу, в краю непуганных тем и ухмыляюсь злорадно. Но — поздно. Будто в копченом и мятом котелке (в данном случае, соответствующем утренней форме головы), на чадающем фитильке, начинает разогреваться некая вчерашняя смесь из выдохшегося пива, кофейной гущи, растаявших окурков, любит-не-любит лепестков, и восходящий ток выбрасывает на поверхность то окурков, то плевков — и опять на дно, по кругу... Творческое кипение. Иди же сюда, мужичок... я тебя здесь вы... пишу.

Он приближается ко мне справа. Выходит из не то кочегарки, не то насосной станции, что у железной дороги, щурится на свет, уверенно покачивается в добросовестном, положительном опьянении, видит меня... А я, стало быть, сочиняю автобиографию три года назад. Как же уловить мне тоненькую, рвущуюся ниточку поэтического кайфа, и без того придавленного осмыслением и формулой, огрубленную пьянством судорожного бытия?

Ну да, это он. Он клал мне печку прошлой осенью. Такую же старательную, кривоватую и честную. Ничего, горит... Я ему тогда вдруг понравился ни с того, ни с сего. То ли, от нежелания писать (сегодняшнего), слишком охотно приготавливал раствор и подавал кирпичи, что от меня совсем не требовалось, то ли разговор у нас получился: о том, как можно и выпить, но надо знать сколько, и вот он никогда, чтобы с ним что-нибудь такое, хотя конечно бывает, но все в свою очередь и меру, или о том, что кормим зря арабов, или о том, что надо было тогда, в сорок пятом, не останавливаться в Берлине, а дойти до Америки, и теперь бы у нас никаких таких конфликтов, как теперь, никак бы не было, или о евреях — осторожный, с ощупью разговор... Так или иначе, но туповатое лукавство, лукавствующая тупость — весь этот мужицкий прищур много раз обманутого человека однажды исчез, и с пятерки, данной ему на водку сверх договора, сдал он мне два рубля: на поллитра возьму, больше не возьму. С тех пор, нужен я ему бывал для разговору, когда выходил он со своего двора, вставал посреди Глухой нашей улицы и так стоял, уверенно пока-

чиваясь, как на палубе, но всегда сохраняя равновесие и никак не оступаясь, и смотрел в вечеряющую улицу, где уже в сумрак сплеталась коса тропинок. Так стоял он терпеливо ожидая, с извечной тоской общения в глазах... а прохожих никого не было. Ты мне вот что скажи, Андрей, по батюшке, кажется, Егорович, правильно? вот что ты мне, Андрей Григорьевич, скажи... Я улыбаюсь, тоскуя от собственной неискренности, склоняю как бы ласково голову к плечу, выслушиваю. Отвечаю старательно, подбираю слова, и тогда: ты вот учился, институт кончал, вот мне не пришлось... — выслушает, пожует, вдруг — точно — именно обида зальет ему глаза, крикнет он, оторвет в раскачку каждую ногу в отдельности от земли и пойдет, не оглядываясь: «обидел ты меня, Андреич, почему отказался, у меня еще полмаленькой стоит», — пойдет допить, а там поди крикнет и еще раз два махнет рукой с досады...

Вот он идет ко мне и опять надрывает меня по линии отрыва, как листик с календаря... Только что шел я за мылом, погруженный в суетливый список небытия, вдруг озарение снизошло, слился с миром и настоящим временем на секунду, тут же вырвало меня из жизни снова в небытие, но как бы во вдохновенное, поэтическое, и опять на тебе... какого черта идет ко мне этот мужик?!

Девятое мая сегодня, День Победы, вот что он говорит, а я до самого Берлина, трижды ранен и контужен, двадцать лет прошло, почему не выпить, нельзя не выпить, про него никто ничего, безусловно не скажет, чтобы он или что-нибудь такое... Он шел ко мне стало быть от Рейхстага уже двадцать-ать лет и ровно так подгадал, чтобы я сидел вот здесь у озера и думал в эту секунду, что...

Я окончательно об этом забуду, когда он подойдет. Соседи пластинку заведут, звуки вращения, сматывая пейзаж в серый, сумеречный клубок...

— Ты чего тут... — скажет он мне ласково. — Стоишь...

— Думаю, — скажу я грубо, и с тех пор уже ни одна одинокая мысль не посетит мою голову, и такое примечательное чувство разойдется во мне горячими волнами стыда — я заизвиняюсь тут же, завру. — Понимаешь... шел... закат... подумал... озеро... жаль... земля... небо... птицы... куда там...

И так, примазываясь к честности его опьянения, не глядя в глаза, выражающие радугу вина, перламутровый закат разума в глади вечеряющих глаз: расплывчатость и прис-

тальность, лукавство и виноватость, преданность и хамоватость, самодовольство и желание угодить, уважительность и сильное сомнение в моих, своих, твоих, в их словах... подбирал я в себе народные мысли, чтобы навсегда в них усомниться и уценить...

— Нет, ничего уже нет! — восклицал я, чуть не плача от неискренности, погрязая в апофеозе и пафосе. — Как медведь взглянул мне в глаза!.. Пощадили бы хоть видимость...

Мужик уперся в меня взглядом и подналег.

Как бы так... Пьяный катил по дороге тележное колесо, чтобы не пропадало; такая полезная, почти цельная вещь, которая всегда при случае мало ли что бывает вдруг обязательно пригодится, на память о лошади, которой не может быть. Колесо имело неправильную форму круга и неправильно катило за собою пьяненького, рывком дергая его вперед и удирая от него; переваливаясь, раскачивало его ровно в противоположные стороны; ему налево — мне направо, — подло приостанавливалось боднуть и резко упрыгивало снова вперед — ах! — опять валилось набок. Тут уж чувство, владевшее, начинало перерастать: это же черт знает что! — когда такая удачная мысль, выгодная и благородная, чтобы заодно и польза была: и выпил, и колесо, — вдруг так обернулась! — Ну, так я тебя! — подумал он, перегоняя колесо и с трудом притормаживая как раз для того, чтобы оно, в этот раз, ни с того, ни с сего встрепенувшись, на него наехало. — Однако и ты... — сказал он, расчетливо расставляя ноги, приседая и надежно ухватываясь. — Р-раз! — Но оно оказалось подозрительно легким, как детский обруч, или, может быть, сильным, как пружина: может, это не он его, а оно его так ловко через себя перекинуло... — Однако, врешь! — (Выразительно подкрадываясь с другого боку.) — Дудки, я протрезвею или тебя брошу! — на этот раз имея в виду жену, на которую натолкнется искренность его намерений, когда колесо со вздохом выкатится наконец во двор, толкнувшись в крыльцо, а она не оценит, дав захлебнуться всей той сердечности и ласке, что задохнулась в его груди... Он, она и оно — графический образ переваливающегося колеса. Оноаоно — наивное племя, пережившее цивилизацию. Ритуальный танец колеса усилий, живота смерти, слова с человеком... И пока шествие в непристойной пляске удалялось по дороге, ничего не стыдясь, кружа и меняясь местами, гоня перед собой свой общий взаимный образ...

... Мужик, взглядывая на меня буграми лба, нагибался внутри себя, на дно живота своего, уцеплялся за запасенное впрок, дождавшееся случая тяжелое одно слово, приподнимал его за край, с упреком взглянув на засохшее в канаве колесо...

— Что точно, — сказал он. Если человек переведет всего зверя, то ведь без зверя он все равно не сможет. Он ведь так от природы создан, вместе со зверем: чтобы зверь был и человек... То придется ему, раз зверя уже не будет, достать его из себя. Чтобы опять поровну было.

— Да, да! — восторженно подтвердил я. Мир еще был прекрасен, он еще был, если припасал мне, неблагодарному и изменившему, опять подарок! Кто это прервал мои мысли? какие к черту мысли! Из них состоял сам воздух, вода и лес — они нас, по случайности выбирали...

Мы стояли на берегу, сросшись головами, как телята, двуголовое семя радиации и профсоюза, и его хмель перетекал мне в голову, моя мысль перетекала ему; мы покачивались на бережку, на стебельке иссохшей пуповины, по которой вдруг побежал слабенький сок земли.

— Спасибо тебе, Господи! — вознес я. — Каждый из нас двоих еще не один на земле!

— Так ты и в Бога веришь? — сомневаясь и лстя, сказал мне мужик.

— Как же в Него не верить, когда вот... — сказал я, обводя рукой щедрость оставшегося нам мира, как бы погладив предмет нашей общей мысли, нашего ребеночка, родившего нас...

— Я вряд ли верю, — сказал он. — Я в природу верю. Если бы Он над ней был — как бы допустил ее гибель? Ни один хозяин такого себе не позволит.

И он прав — и отказаться нельзя... Говорю:

— Вера не есть единомыслие с Богом, вера есть несомнение в Нем, никогда в любом случае...

— Тогда, значит, уже Страшный Суд идет, так, по твоему?

— Ну да! — подхватил я, обрадовавшись логике. — Дожили.

— А мне своего сынишку жаль, — сказал он. — Это ты как рассудишь? Если я его люблю и мне его жаль, тогда вот как? Тоже, я тебе скажу, не получается... Ты вот, да я, может, и заслужили, а мальчонка — чем виноват? Опять неровно...

— Вот ты про зверя правильно сказал, — говорил я, выпутываясь, — так же и дети... Мы ж детей в них убьем, себя в них вырастим.

— Ага, — сказал он. — А пока он такой, махонький, как быть?

— Пока он такой, еще конца быть не может, — заявил я ему уверенно.

— Тогда правильно, — подтвердил он.

— Вот, как ты сказал, — все более приближительно говорил я, довольствуясь его согласием, — когда зверя не будет, то человек его из себя, чтобы поровну, извлечет. Так, значит, его-то человека, сразу станет вдвое меньше. А потом, когда дети подрастут, совсем мало останется. Так, постепенно, на нет и сойдем.

— Тогда правильно, — согласно кивал мужик моею головою, — если сначала вдвое меньше, потом вчетверо...

Так мы стояли, обнявшись, на последнем берегу, способные к арифметике и удовлетворенные этой своей способностью.

— Человек — всегда меньшинство, — глубоко сказал он, достав последнее словечко с самого дна. — Нас — вдвое, пошли ко мне в кочегарку...

Кочегарок был маленьким человечком...

Вот, в чем вопрос

Мы сидели в кочегарке, которая была скорее насосной станцией. Она стояла на берегу озера, под насыпью, над нами проходили поезда. Здесь было уютно. Помещение было настолько глухим и изолированным, что надо было бы помнить, где оно помещено: под насыпью, между озером и густым зеленым водоемом, вроде воронки от бомбы, из которого, впрочем, трудно было бы предположить, что берут воду... Когда проходил поезд и чуть превышал ровное техническое гудение и дрожь помещения, можно было предположить за стеной море, себя — на берегу, оттого еще, пожалуй, что здесь было очень тепло. Я забывал, где я, и когда вспоминал, то проходил какую-то стадию предвоспоминания, что будто бы я ночью посреди большой воды на барже или что-то в этом роде, изолированное и безвольное, как маленькая волна или воздушный шар.

Вокруг помещалась именно та техника, которую в отличие от лайнеров, реакторов и лазеров-мазеров, именно и

можно обозначить словом «техника», по-детски. Мохнатились в углах толстые трубы: кудрявились, большие, как штурвалы, вентили; приземистые, зеленые, как лягушки, чавкали два насоса и, в центре, очень большая, громоздко сливаясь с темнотой углов, сидела некая прабабушка современной ракеты с двумя недействующими манометрами, как в подвязанных ниточками очках, и тихо посапывала, открыв опустевший рот топки.

Мужик хорошо за ней ухаживал: она вся маслилась надежной старостью и поблескивала редкой надраенной медью. Ей было здесь хорошо, здесь вообще было хорошо: тепло, чисто и темновато от экономной лампочки. Пахло... Господи, как тут пахло! — ветошью, углем, маслом, мелом, остывшим теплом, темнотой утренней смены и синим цветом металлической стружки... В пустом ведре стоял веник, на полочке над раковиной — кружечка, на мохнатом колене трубы — полмаленькой... Все знало свое место, всякий шесток.

Я ему все здесь похвалил, и он терпеливо выслушал.

— А как же... Пролетариат... — непонятно сказал он, и мы выпили. — Ты вот образованный, пишешь книжки, ты мне вот что скажи. Почему плохие книжки издают, а хорошие не печатают?

«Не может быть! — радостно думал я. — Найти вдруг во всем близкого человека. Ни с того, ни с сего, неблагодарный!...»

— А все потому же, — заявил я.

— Вот, например, «Кавалер золотой звезды» кто написал?

— Бабаевский...

— Правильно, — сказал он. — Знаешь. Вот почему ее не издают?

— Так ее ж издавали!.. — удивился я. — Даже сталинскую премию давали, первой степени! — Я ухмыльнулся жестко и хотел добавить, что, может, единственно, что и правильно, хоть и хорошего не издают, так хоть и ее не издают...

— Ну да, издавали... — усомнился он. — Я ее от руки читал.

— От руки?

— Ну, переписанную. Очень правильная книга. Там ведь про х о з я и н а написано. Про землю. Вот ты объясни, почему про землю да про хозяина нельзя печатать?

Я уж и не знал, что ответить. Апокриф «Золотой звезды»! Это ж надо... Стоимость Солженицына...

— Там ведь про кулака написано. Ты вот мне еще объясни, почему к кулаку так несправедливо отнеслись? Ведь всей вины у него, что работал, не разгибаясь, неба не видел... Пролетариат тот, что... Отработал смену, делать нечего, прочел роман, голова стала — во! — Он показал шире плеч. — ... и — пошел!..

Это было выразительно. Мы выпили еще полмаленькой.

— Ну как голландка? — сказал он. — Греет?

Значит, это был именно он, кто мне ее клал...

— Греет-греет! — закивал я. — Только кирпичи вываливаются.

— Не дымит?

— Не дымит.

— Значит, ничего. Еще немножко повываливается — позови.

— Да ты не беспокойся! — говорю. — Греет.

— А жучок не беспокоит?

— Жучок? — не понял я.

— Помню, беспокоил вас жучок...

— Да нет, не беспокоил... Какой жучок?

— Древесный. Дерево ест. Меня очень беспокоит.

— Такой маленький, темненький, тверденький?

— Да ты видел ли жучка?! — всполошился он.

— У родителей видел. Он у них ножки стульев ел...

— Да ты не того жучка видел! — вдохновился он. — Ты мебельного видел! Ты настоящего жучка не видел! Я тебе покажу!.. — Он вскочил и скрылся в случайной дверце.

Появился вскоре.

— У меня тут несколько еще осталось... — (Бережно раздвигая такой маленький в его слесарных руках коробок.) — Две-три особи. — Он так и сказал «особи», — Две... — сказал он разочарованно. И, совсем уж непонятно как, бережно не раздавив «особь» своими плоскогубцами большого и указательного (так в киножурналах «Наука и техника» поражали нас в свое время зрелищем механической коленчато-уэллсовской руки, ловко разливавшей из хрупкой колбочки по пробиркам некую жидкость, служившую символом Радиации), торжественно протянул мне...

Действительно, совсем не то я себе представлял. Это было довольно мерзкое, мягкое, рыжее существо, среднее между мухой и тараканчиком. Больше всего меня порази-

ло, что мягкое. Для того, чтобы грызть дерево, жучок мог представиться черненьким, как антрацит, чем-то вроде маленькой врубовой машины, созданной самой природой...

— Мягкий!.. — сказал я.

— Мя-ягкий... — ядовито пропел мужик. — Ска-ажешь...

Мокрый!

Глаза его заблестели вдохновением, лицо зажглось, речь полилась плавно и пьяняще, как у фарисея, легко вытеснив затруднительную речь апостола... Это была ритмизованная проза о том, как он (жучок) сначала с крылышками, вылетает, налетает, кладет яйца, теряет крылышки; потом все показалось мне наоборот: сначала кладет, потом вылетает, — у самцов специальный хитиновый ключик со сложной бороздкой, у самочки — скважина: все, как в сейфе, дудки, чужим ключиком залезешь... но, главное, то ли, когда он кладет, то ли когда вылетает, он особенно быстро пожирает дома, причем пожирает, прежде всего самка, а самец безвреден, хотя, может быть, и наоборот... но пожирает прежде всего, его (мужика) дом... Мужик прикрыл глаза, и речь его приобрела, переросла в иной напев, сказово-былинный, и сага была о том, как против тьмы тьмущей вышел он, мужик, сам-один, бросил вызов и кинулся в бой; как он рубил им головы дустом, хлорофосом, керосином, дезинсекталем, а они отрастали; как он залепливал дырочки-норы воском, заливал смолой, замазывал дегтем; как он менял венцы своей избы и погибал в неравной борьбе — жучки питались дустом, размножались с особенной быстротой в дезинсектале и губительную закаленность и силу приобретали от керосина... Он писал письма в газеты «Сельскую звезду», «Красную жизнь», «Медицинскую правду», «Вчерашку» и многие другие, выписывал несколько специальных журналов, испробовал сорок советов, но — не сдался... Он начал выжигать их каленым железом (буквально — гвоздем) — сгорело крыльцо... И апокалиптические тучи сгущались над его рассказом, снова обретая неистовую силу апокрифа... Саранча брэнчала сталью крыл, имея в себе потайное и живое, мокрое жирненькое тело.

Если бы несчастье, о котором он поведывал, не было столь натурально и велико, я бы залюбовался сейчас его фигурой, вдруг выросшей и монументально разгоревшейся, выразившей такую страсть и гибель борца, что ей позавидовал бы Вучетич. Но тут сверкающая и драгоценная сущность его очей снова сужилась и замаслилась...

— Но сейчас я понял, — сладострастно шепнул он, с ними можно бороться только по одиночке!..

Легкая дрожь пробежала по моему телу.

— Не веришь?

Он мягко и требовательно взял меня за руку, я нагнулся пройти под мохнатой трубой, показавшейся мне живой и насекомой, как брюхо шмеля, и, так уменьшившись, мелким мушиным шагком, прошли мы в случайную дверцу, и это была такая же прогрызенная дырочка в твердом, как и у жука, только человеком и для человека...

Я стоял в маленькой лаборатории, где, в средневековой тесноте, обусловленной, по просторности тех веков, лишь характером самого дела, — бился, терзался и подвижничал истовый от чистоты логического долженствования огромный пульсирующий лоб в непосильном труде материализации идеи; где, уравнивая тяжесть мира с собою одним лишь напряжением мысли, даже без архимедовых ухищрений рычага, готов был он преодолеть ее и каждый раз бывал сражен внезапностью обморока, предательской комой, как раз у врат, на пороге, коснувшись рукою цели... где, однако, приходил он в себя сквозь вечность обморока, не заметив приключившегося безумия, и приступал к счастливому и разрозненному легковесному изяществу самоцельного изобретения предметов, когда-то служивших Идеи, — и так, обретая через изошренность линз, точеных бронзовых втулок, гнущей тонкости реторт, навык к продаже самого оборудования Идеи, то-есть, от невыносимости напрягать более дух, — на полпути сворачивал к техническому прогрессу, и далее, с легким прискоком, тиканьем, позваниванием соломенных, водяных, хрустальных микро- и макроцефальных часиков, подвигал время к производству, где уже кулибинско-ползуновская предприимчивость самородка, изобразив собой народную пытливость ума, скрутила время в пружину, давшую толчок производительным силам вплоть до кремлевских курантов...

И где наивный жид изобретает сейчас интегральное исчисление в сладостном состоянии гения для усмешки профессиональных творцов бесконечно-малого — там стоял мой жлобина, недавно изобретший часы, приводимые в действие проходящими, над кочегаркой поездами; там же сейчас, сквозь эпоху, вдруг очутился я, и — что часы! — мужик держал в руках шприц и, прицелившись, как хирург, на узенький фонтанчик, втыкал иглу в дырочку-нору жука-

точильщика... несколько чурбаков, напильных из бревен замененного о прошлый год венца, были аккуратно составлены в углу для опытов...

— Сейчас я пока впрыскиваю хлороформ, но скоро уже у меня будет изобретен мой собственный новый состав... — И он лукаво подмигнул мне на месте слов «и тогда».

Я глянул на прозрачный ряд пробирок на верстаке, на громоздкий ряд толстых банок с ядами на длинной полке, на висящую под стеклом вырезку из «Вечерки» (читатель И-ов, житель станции Т-во, спрашивает... и «И-ов» — подчеркнуто красным карандашом...), на бронзовые стройности опрыскивателей, на застывший, сверкающий кончик вертикально поднятой шприцевой иглы, раскаленной точечкой обозначившей средоточие (средостение) мгновения и выразившей весь окружающий объем... пауза затянулась, молчание нависло, длинный и тонкий звон протянулся от уха к уху.

Я взглянул на уколотый чурбак — мириады дырочек, сфокусировавшись, отчетливые, представили собой черные созвездия дня, закручивающиеся спирали галактик, миры и патетические антимиры, где плотность и материя оставшегося дерева была лишь созвездием космической пустоты, где дерево, каким-то образом, висело в дырье... миры, дыры, дыры-миры...

— И так в каждую дырочку? — робко, дыханием, спросил я.

— Конечно, — вдруг очень нормально и естественно прозвучал его голос.

Над головой прошел поезд, пробирки нежно звякнули в «стройно-зыблемом» ряду, тишина порвалась, головокружение покинуло меня, и, как тот анекдотический селянин, что спросил заезжего лектора, как кладется повидло в конфеты-подушечки, обретая норму в тупости и привычности, теряя страшный мир, обретая нестрашную обстановку... я спросил:

— Слушай, а как же ты бревна из-под дома вытаскиваешь? Ведь он же на них стоит?..

Он взглянул на меня сначала остолбенело и, зримо, пешком возвращаясь из бездонных далей сознания, увидел вдали меня...

— Эх, ты! — сказал он с ласковым превосходством. — Дом подымаю. Голова садовая... Ученые люди... — усмешливо сокрушался он. — Да не весь целиком! а сначала один

край, потом другой... Ну и чудак! — Он рассмеялся истинно весело. — Пойдем лучше выпьем. У меня там еще пол-маленькой осталось...

— Так мы же выпили!..

— Ничего ты не понимаешь. У меня там всегда пол-маленькой стоит...



...Я вышел в ночную ночь. Она была большая и темная, как медведь. Луна просвечивала безумным бельмом. Мир закрыл свой светлый глаз. Бельмо стояло как раз над трубой дома хозяйки коровы, у которой мы берем молоко и где, вот уже пятнадцать лет, снимает летом дачу одна старая женщина, которая переводит со старофранцузского, и она про меня знает, а я про нее нет (хоть она и сдвигает эпохи в правильном направлении к сегодняшнему дню, не думаю, что она переведет это для прочтения вчера); этот дом был еще темнее неба в своем упорстве быть хозяйством с целью проживания за счет собственных трупов, кормя себя и свою землю, устроив подобие круговорота на площади в десять соток, где мирный сок коровы просачивался сейчас порами земли к недремлющим картофельным клубням, а в подполье стыло снятое молоко, а сливки варились в спящих выше людях, — но корова была в этой еще большей темноте участка, и ее сон и дыхание более осуществляли сейчас мир, чем бессмертные расположения физических объемов и тел. Она подышала вокруг меня, я окунулся в теплую лужицу воздуха, застоявшуюся между двумя стогами, и мне понравилось бы так, чтобы в этой ночи было больше коровы, чем медведя. Здесь было неравенство, но не было растраты уравнения...

Нельзя сказать, чтобы я вспоминал того самого вышеупомянутого медведя. Но все было одно и то же. И мужик, и жучок, и луна. «Не забыть рассказать дома, чем отличается мужик от хама...» — так сообразительно нес я фразу вместе с кринкой молока, прихваченной с крыльца. Кринка была полна, нога не узнавала микрорельефа бывших луж, подошва ботинка потеряла чувствительность, молоко бежало по пальцам и в рукав, обозначая, мне в утешение, что коровы сейчас — все-таки хотя бы чуть больше...

И был я, пожалуй, пьян.

Не забыть сказать о симпатии к кулаку-мироеду... Риф-

мованный пафос перерастал меня. Изъеденный жуком мужик, он бесконечно не изжит, и вот корова еще дышит (пишет?), хотя ее никто не слышит, прикинь ухом к злобе дня, оглохнешь жизнь свою кляня, благодаря всему на свете, поймешь однажды связи эти, тебя, Господь, благодарю за равенство календарю... календарю, календарю... календарю тебя, Господь.

Бабка еще в детстве была — тетя Поля, Пелагея Павловна, кулачка, старушка добрая, как котлета, — похоронили, похоронили уже, не заметил, что умерла, не помню, когда... Рассказывала, как сейчас помню, как лошадь на пахоте понесла, а молодая Пелагея поводев не выпустила, не могла отпустить, боялась за коня, боялась мужа, сильнее боли, сильнее крови была земля, земля была еще кровью; «камни растут», — говорила она, и — какое может быть в том сомнение?! И рассказ этот, столь литературный, что, кажется, исходил из черной тарелки репродуктора, под которым она резала лук, был, оказывается, правдой, надышанной сегодня коровой в ночи...

Молоко текло по моим пальцам в ночи сумасшедшего медведя, не забыть сказать... Кому? что? не забыть...

Что?

Вот, что оказывается, не забыть. Вот что, оказывается, думал я тогда на берегу, когда подходил ко мне и рвал мою ниточку мужик.

Забыть или помнить? — вот в чем вопрос.

Именно, именно! Вот я не живу, потому что помню вчера и не живу сейчас, намереваясь жить по памяти в будущем... Значит, надо забыть, чтобы быть живым, реальным, сейчас. Но мир погиб из-за того, что забыли. Значит, помнить? Помнить, чтобы не погибло совсем уж все, как хозяйка коровы, противная баба, помнит же о своей корове! как тащила коня бабка Пелагея — так помнить!

Но помня — не живу, погибаю во всем, со всем; забывая, уходит из мира последний, кто помнит. Забывая — погибаю совсем, для всего. Не помнить, чтобы жить, не замечая гибели, или помнить, чтобы бояться умереть и не жить вообще? Уйти из мира, забыв его, чтобы жить самому, или остаться в нем, чтобы не быть в нем никогда, не быть в нем сейчас?

Так катил я домой пьяное колесо с дороги. В кармане таял леденец — гостинец от полочки.

Забыть или помнить? Гамлет — мямлет...

Каждую весну, переезжая на дачу, я вставал в курс событий нашей улицы за зиму...

Это странная улица. У нее нет начала, ни конца: она вдруг раздается вширь из тропки в болоте, затем тянется оправданно и солидно, в домах, садах и соседях — и вдруг обрывается светлым, стремительно сужившимся тупичком. Там зияет пустота, голубая дырка меж деревьев... И кто здесь не живет и впервые окажется, никак сразу не догадается, что же это там, куда улица делась? А там обрывчик, спуск и — речушка, луг, пойма. Но для этого надо подойти вплотную, до последнего шага вглядываясь в расширяющуюся пустоту конца улицы — и только тогда поймешь... Может, потому и Глухая, что без конца и начала. И там, в этом зеленеющем сквозняке, приснившемся в легком, после непоправимого горя, сне, вижу я написанным, снова смытым и снова написанным слово судьба. То-есть, при слове «судьба», перед моим мысленным взором, рыбкой блеснет именно этот уголок... И я даже не замечу...

Там стоит домик, которого, очевидно, уже не может быть в этой жизни. Там живут люди, так и не сумевшие стать плохими... Это они захватили полулицы, создав свой тупичок и пролив, потому что участка как такового у них не было, а им надо было жить вокруг дома. Да и дом! — какой дом! — чья-то бесхозная баня, в которой поселился, никто не заметил когда, один пришлый никому незнакомый человек, да всех и пережил, так и оставшись незнакомым и пришлым. И хотя вокруг все живут люди, позже него появившиеся, даже позже меня, даже просто вчера — но они так упорно строятся, вырастают, пускают толстые и тупые, как морковки и пальцы, корни, что, конечно же, это они тут живут: он с такой-то, она с таким-то, — не он. Он вытеснен на край улицы, как спихнут. Весь его неравномерный участок сполз к ней, как лоскутное одеяло, окунув краешек в речку... Банька кое-как, по мере надобности, обросла клетушками и сараюшками, потому что время идет, семья растет — и никто не уходит, захватив полулицы и уголок падающего берега; они обнесли свое хозяйство, свой лужок, волнистым, прозрачным из жердей заборчиком — и их жизнь сквозит у всех на глазах, теневая и

неузнаваемая: висит гамак, брошен таз, единственная грядка, маленькая, как могилка, так, для порядку, чтобы «отметиться» в этом мире за население, грядочка со всем на свете: две морковки, три укропа и один подсолнух, — на правах клумбы: ее надо полить, как дать котенку молока или щенку, что осталось, — есть с нее нечего и, главное, незачем — никакого производства.

Там ничего не слышно: не спорят, не ссорятся, не кричат, не выясняют... кто-нибудь покачается в гамаке, забудет книжку, кто-нибудь выйдет босой на лужок, посмотрит в таз... и всё. Дудки, вы дознаетесь, кто это был. И всему остальному, полнокровному и напряженному, утверждающемуся вокруг бытию пришлось исключить этот уголок из своего сознания, из сферы своих посягательств как невидимую часть спектра, как неслышимую часть диапазона — как несуществующую. Этот случайно обнажившийся кусок одновременности другой жизни, идущей (трудно поверить в такое счастье...) внутри застывших и неудобных твердостей утвердившихся и насадивших себя форм... как травинка в бесплодной каменистой расщелине... так страшно — вдруг встрепетается от резкого звука, спохватится, что раскрылась — и снова закроется, завернется. Но нет, слава Богу, пока еще они — среди нас, в нас, бесплотные. Смотрят сквозь нас, мы — сквозь них. И это единственное место на Земле, где что-то случается.

Именно его и переехало ночью, пьяного, поездом, что я и узнал той весной или этой, и так проживу лето, что его нет. Но ничего не изменилось, даже что-то утвердилось в домике на краю. Я встречаю его живого, осенью, без ноги, и удивляюсь, что не замечал раньше, что он безногий... но это два разных рассказа и неизвестно, который сначала: сначала ли он был без ноги, а потом его переехало, ну, а совсем вчера — я встретил его целехонького и живого, или, наоборот, время идет в обратном направлении у них на участке, нам навстречу или вспять от нас, — у нас-то оно не идет; их время проходит сквозь нас и скоро у внука наконец появится дедушка. Там, у них, иногда прибавляется народу, словно кто-то решится и перебежит, чур я тут! и смотрит счастливо поверх заборчика, что удрал, удрал наконец от нас. Там все любят — какое кому дело! — пролитое мимо молоко...

Но и они тверды, не для нас — для себя; а в их твердости, как они в нас, что живет? Не там ли то облако, отку-

да приходят договориться с нами во сне, что мы будем иногда встречаться, только ты никому не говори, а ты и не успеваешь, лопаясь от немоты любви, сказать, что хотел — «до завтра», и палец к губам — ни-ни! наша с тобой тайна... Чтобы утром, плеснув воды в лицо, заметить утро и — что же такое было? что же было?.. Вдруг вспомнишь, что нельзя вспоминать — и улыбнешься: твоя с ними тайна. Не там ли все это живет, удерживаясь на краю без всякой судороги и цепляния, безразличное к непрочности, слабому трению и тоненьким веревочкам! И там, в их твердости, в том, где они — выявленная и закосневшая форма, эти любовные и живые люди «не мы», так вот там, для них (в тяжелой, плотности их для нас бесплотия), до сих пор живет единственная девушка, повесившаяся, застрелившаяся, которую я убил, которую он убил, под именем которой кто-то продолжает жить снаружи глубины, выставленный за дверь, неуклюже подражая бывшим ее жестам и словам, убийца под ее именем, в ее платье, с безнадежной циничностью загримировавшись под убитую: ах, видно, что оттуда торчит не та? так я ведь для того дурно и загримировалась, чтобы было все для всех видно, мы ведь так живем, у нас — так...

Это вот так все страшно, если быть среди них, в любви, там, за прозрачным условным заборчиком, и оттуда, из собственной подлинности выглянуть на собственную улицу, собственное жилье, на себя самого, на того страшного вампира, который надел на себя одежду высосанного им мальчика и имячко его к кармашку приколот, чтобы не запмятствовать. Там мы все, Господи благослови! оттого так тесно в том домишке, что уйти оттуда страшно и нельзя и он один на всех, да и дедушка, когда-то уголок этот нашедший, все еще жив из-под поезда, отрезав паровозу два колеса... Он у меня сегодня на маленькую попросил, а вчера отдал, хороший человек, хоть зачем уж меня так обижать, хоть я и переряженный в убитого мною мальчика, я бы ему с радостью рубль-то забыл, но не хочет он ничего со мною общего, отнимает у следующей маленький рубль, отдает мне. Грустно. Что бы им такого приятного сделать? Ничего, никогда. Поджечь, разве?..

У них и пожар, у них и убийство, у них и тюрьма, у них и дети один за другим, у них и коровы нет, и огорода, — у них это есть, чего у нас нет. У них — все, даже отсутствие того, что у всех, у тебя — ничего. Можно к вам? не слы-

шат. Калитка всегда нараспашку — никогда не перейдешь туда. Совесть не позволит. Вот то, что не позволит попроситься к ним — это еще, значит, совесть...

Тут еще новая весна — мальчик, сынок, красивый такой, что прошлой весной женился, девушка такая славная (именно она прибавилась тогда за оградой в озере их сползающей к речке пустоты)... мальчик, сыночка, вчера нынче ночью зарезали пулею ножом в висок; он с бандой связался, а потом развязался, завязал, как женился; то ли это, то ли еще как... нашли послезавтра его, милого, в кустиках зарезанного, у Финляндского вокзала.

Так, так! Все не со мной! Никогда, ни почему, по природе — не со мной. Самоубийство в запасе. Судьба в отставке. Душа на пенсии. Совесть на приколе. Тело в ремонте. Ум в кладовке. Ищу дверь в поле.

Семейная черта, соучастники, съели в тиши ребеночка; его потом нашла в огороде бабушка, теперь поет ему колыбельные; идет чета к речке; муж корзину несет, полную белья, снятого с убитых ими людей, подошедших по размеру и качеству для убийства. Вот — как в их зрачках отражаются перевернутые колышки в заборе — и лужок опустел, провожая их взглядом брошенного таза. Как все кинулись в свою баньку со страху — таз забыли.

В доме том — судьба. Она происходит с теми, кто не смог стать нами, даже если хотел, а так и остался, присев на краешек наших глиножелезных форм, поместив себя так же ненарочно в этой жизни, как кому-то мама, чья-то бабушка или просто дальняя тетя...

Это и есть понятие народ — и уж не песенки, не березки — народ, то-есть Божья судьба, которая с кем то еще на Земле происходит. Среди них все те, кто был, кого нет, кого и не было. Все, что я любил, все, что люблю еще по своей остаточности, все, что у меня было и все, что у меня осталось — очень мало — но это теперь уж все, что я люблю. Судьба — народ, народ — судьба; я, отлученный, сбоку. Пока не выйдет вся зависть, пока не помещу оставшуюся от меня щедрую крошку на загребущую ладонь — до тех пор, никогда, не пройду туда, где все как на ладони, куда калитка всегда настезь...

ПОХОРОНЫ ДОКТОРА

Памяти Е. Ральбе

Солнечный день напоминает похороны. Не каждый, конечно, а тот, который мы и называем — солнечным — первый, внезапный, наконец-то. Он еще прозрачен. Может, солнце и не при чем, а именно прозрачность. На похоро-нах, прежде всего, бывает погода.

... Умирала моя неродная тетя, жена моего родного дяди.

Она была «такой ж и в о й человек» (слова мамы), что в это трудно было поверить. Живой она действительно была, и поверить действительно было трудно, но, на самом деле, она давно готовилась, пусть втайне от себя.

Сначала она попробовала ногу. Нога вдруг разболелась, распухла и не лезла в обувь. Тетка однако не сдавалась, привязала к этой «слонихе» (ее слова) довоенный тапок и так выходила к нам на кухню мыть посуду, а потом приезжал Александр Николаевич, шофер, и она ехала в свой Институт (экспертизы трудоспособности), потом на заседание правления Общества (терапевтического), потом в какую-то инициативную группу выпускниц (она была бестужевка), потом на некий консилиум к какому-нибудь титулованному бандиту, потом сворачивала к своим еврейским родственникам, которые, по молчаливому, уже сорокалетнему, сговору, не бывали у нас дома, потом возвращалась на секунду домой, кормила мужа и тяжело решала, ехать ли ей на банкет по поводу защиты диссертации ассистентом Тбилисского филиала института Нектором Бериташвили: она очень устала (и это было больше, чем так) и не хочет ехать (а это было не совсем так). Втайне от себя она хотела ехать (повторив это «втайне от себя», я начинаю понимать, что сохранить до старости подобную эмоциональную возможность способны только люди, очень... живые? чистые? добрые? хорошие? — я проборматываю это невнятное, несуществующее уже слово — в тайне от себя самого... И она ехала, потому что принимала за чистую монету и любила все человеческие собрания, питала страсть к знакам внимания, ко всему этому газету почета и уважения, и даже, опережая возможную иронию, обучила наше кичливое семейство еврейскому словечку «ковод», которое означает

уважение, вовсе не обязательно идущее от души и сердца, а уважение по форме, по штату, уважение как проявление, как таковое. (У русских нет такого понятия и слова такого нет, и тут, с ласковой улыбкой тайного от самого себя анти-семита, можно сказать, что евреи — другой народ. Нет в нашем языке этого неискренного слова, но в жизни оно завелось, и, к тому же, почему все так убеждены в искренности хамства?..) «Понимаешь, Дима, — говорила она мужу, — он ведь сын Вахтанга, ты помнишь Вахтанга?» — и, сокрушенно вздохнув, она — уехала. Желания ее все еще были сильнее усталости. Мы теперь не поймем этого — раньше были другие люди.

Наконец она возвращалась, задерживалась она недолго, исключительно на торжественную часть, которую во всем очень трогательно любила, наполняя любую мишуру и фальш своим щедрым смыслом и верой. (Интересно, что они искренне считали себя материалистами эти люди, которыми мы не будем; надо обладать исключительной... /то же невнятное слово.../, чтобы исполнить этот парадокс.) Итак, она быстро возвращалась, потому что, плюс к ноге, страдала диабетом и не могла себе на банкете ничего позволить, но возвращалась она навеселе: речи торжественной части действовали на нее, как шампанское, — помолодевшая, раздумянившаяся, бодро и счастливо рассказывала мужу, как все было хорошо, тепло... Постепенно прояснялось, что лучше всех сказала она сама... И если в это время смотреть ей в лицо, трудно было поверить, что ей вот-вот восемьдесят, что у нее — нога, но нога — была: она была привязана к тапку, стоило опустить глаза. И, отщебетав, напоив мужа чаем, когда он ложился, она наполняла таз горячей водой и долго сидела, опустив туда ногу, вдруг потухнув и оплыв, «как куча» (по ее же выражению). Долго так сидела, как куча, и смотрела на свою мертвую уже ногу.

Она была большой доктор.

Теперь таких докторов НЕ БЫВАЕТ. Я легко ловлю себя на том, что употребляю готовую формулу, с детства казавшуюся мне смешной: мол (с «трезвой» ухмылкой), всегда всё было — так же, одинаково, не лучше... Я себя легко ловлю и легко отпускаю: с высоты сегодняшнего опыта формула «теперь не бывает» кажется мне и справедливой и правильной — выражающей. Значит, не бывает... Не то, чтобы тетка всех вылечивала... Как раз насчет медицины заблуждений у нее было меньше всего. Не столько

она считала, что всем можно помочь, сколько — что всем н у ж н о. Она хорошо знала, не в словах, не наукой, а вот тем самым..., что помочь не чем, а тогда, если уж есть хоть немножко чем помочь, то вы могли быть уверены, что она сделает все. Вот эта неспособность сделать хотя бы и чуть-чуть НЕ ВСЕ, и эта потребность сделать именно СОВСЕМ ВСЕ, что возможно, — этот императив — и был сутью «старых докторов, каких теперь не бывает», и каким она, последняя, была. И было это вызывающе просто. Например, если ты простужен, она спросит, хорошо ли ты спишь; ты удивишься: при чем тут сон? — она скажет: кто плохо спит — тот зябнет, кто зябнет — тот простужается. Она даст тебе снотворное от простуды (аллергия — все еще была выдумкой капиталистического мира), а тебе вдруг так ласково и счастливо станет от этого забытого темпа русской речи и русских слов: зя-бнет... что — все правильно, все в том порядке, все впереди... померещится небывалое утро с серым небом и белым снегом, температурное счастье, кто-то под окном на лошадке проехал, кудрявится из трубы дым... Скажешь: нервы шалят, что-нибудь, тетя, от нервов бы... Она глянет ледяно и проговорит: возьми себя в руки, ничего от нервов нет. А однажды, ты и не попросишь ничего, сунет в руки справку об освобождении: видела, ты вчера вечером курил на кухне — отдохнуть тебе надо.

И если бы некий наблюдательный интеллектual сформулировал бы, хотя бы вот так, ей ее же — она не поймет: о чем это ты? — пожмет плечами. Она не знает механизмов опыта! Как она входит к больному!.. никаким самообладанием не совершишь над собой такой перемены! она — просто меняется и все. Ничего, кроме легкости и ровности — ни восьмидесяти лет, ни молодого красавца-мужа, ни тысяч сопливых, синих, потных, жалких, дышащих в лицо больных — никакого опыта, ни профессионального, ни личного, ни тени налета ее самой, со своей жизнью, охотной жизнью. Как она дает больному пожаловаться! как утвердительно спросит: очень болит! Именно — ОЧЕНЬ. Никаких «ничего» или «пройдет» она не скажет. В этот миг только двое во всем мире знают, как болит: больной и она. Они — избранные боли. Чуть ли не гордится больной после ее ухода своею посвященностью. Никогда в жизни не видать мне больше такой способности к участию. Зачета по участию не сдают в медвузе. Тетка про-

являла участие мгновенно, в ту же секунду отрешаясь навсегда от своей старости и боли: стоило ей обернуться и увидеть твое лицо, если ты и впрямь был болен — со скоростью света на тебя проливалось ее участие, то есть полное отсутствие участвующего и полное чувство, как тебе, каково. Эта изумительная способность, лишенная чего бы то ни было, кроме самой себя, со-чувствие в чистом виде — стало для меня Суть доктора. Имя врача. И никакой фальши, ничего наигранного, никаких мхатовских «батенок» и «голубчиков» (хотя она свято верила во МХАТ и, когда его «давали» по телевизору, усаживалась в кресло с готовым выражением удовлетворения, которое, не правда ли, Димочка, ничто современное уже не может принести... ах, Качалов-Мачалов! Тарасова — идеал красоты... при слове «Анна» поправляется дрожащей рукой пышная прическа...)

С прически я начинаю ее видеть. До конца дней носила она ту же прическу, что когда-то больше всех ей шла. Как застрял у девушки чей-то комплимент: волосы, мол, у нее прекрасные, — так и хватило ей убежденности в этом на полвека и на весь век, так и взбивалась каждое утро седоватая, чуть стрептоцидная волна и втыкался — руки у нее сильно дрожали — втыкался в три приема: туда-сюда, выше-ниже и наконец точно в середину, всегда в одно и то же место, — черепаховый гребень. Очень у нее были ловкими ее неверные руки, и эта артиллерийская пристрелка тремора: недолет-перелет (узкая вилка) — попал, — тоже у меня перед глазами. То есть перед глазами у меня еще и ее руки, ходящие ходуном, но всегда попадающие в цель, всегда что-то делающие... (Это сейчас не машинка у меня бренчит — а тетка моет посуду, это ее характерное позвякивание чашек о кран; если она била чашку, что случилось, а чашки у нее были дорогие, то ей, конечно, было очень жаль чашки, но — с какой непередаваемой женственностью, остановившейся тоже во времена первой прически, — она тотчас объявляла о случившемся всем кухонным свидетелям как о вечной своей милой оплошности: мол, опять... — даже фигура менялась у нее, когда она сбрасывала осколки в мусорное ведро, даже изгиб талии (какая уж там талия...) и наклон головы были снова девичьими... потому что самым запретным поведением свидетелей в таком случае могла быть лишь жалость — замечать за ней возраст было нельзя.)

Мне и сейчас хочется поцеловать тетку (чего я никогда

не делал, хотя и любил ее больше многих, кого целовал)... вот при этом позвякивании чашек о кран.

Она сбрасывала 50 или 100 рублей в ведро жестом очень богатого человека, опережая наш фальшивый хор сочувствия,.. а дальше было самое для нее трудное, но она была человек решительный — не мешкала, не откладывала: на мгновение замирала она перед своей дверью с разностью чашек в руках — становилась еще стройнее, даже круглая спина ее становилась прямой, трудно было не поверить в этот оптический обман... и тут же распахивала дверь и впархивала чуть ли не с летним щебетом серовского утра десятых годов той же своей юности: сытый солнечный свет сквозь мытую листву испещрил натертый паркет, букет расцветной сирени замер в капельках, чуть ли не пенюар и этуод Скрябина... будто репродукция на стене и не репродукция, а зеркало: «Дима! такая жалость, я свою любимую китайскую чашку разбила!..»

Ах, нет! мы всю жизнь помним, как нас любили...

Дима же, мой родной разлюбимый дядя, остается у меня в этих воспоминаниях за дверью, в тени, нога на ногу, рядом с букетом, род букета — барабанит музыкальными пальцами хирурга по скатерти, ждет чаю, улыбается внимательно и мягко, как хороший человек, которому нечего сказать.

Значит, сначала я вижу ее прическу (вернее, гребень), затем — руки (сейчас она помешивает варенье: медный начищенный старинный (до катастрофы) таз, как солнце, в нем алый слой отборной самой дорогой базарной клубники, а сверху по-голубому сверкают грубые и точные осколки большого старинного сахара (голова), — все это драгоценно: корона, скипетр, держава — все вместе (у нас в семействе любят сказать, что тетка величественна, как Екатерина), — и над всей этой империей властвует рука с золотой ложкой — ловит собственное дрожание и делает вид, что ровно такие движения и собиралась делать, какие получились (все это очень живописно: управление случайностью как художественный метод...).

Я вижу гребень, прическу, руки... и вдруг отчетливо сразу — всю тетку: будто я тер-тер старательно переводную картинку и, наконец, задержав дыхание, муча собственную руку плавностью и медленностью, отклеил, и вдруг — получилось! нигде пленочка не порвалась: проявились яркие крупные цветы ее малиновой китайской кофты (шелковой,

стеганой), круглая спина с букетом между лопаток, и — нога с прибинтованным тапком. Цветы на спине — пышные, кудрявые, китайский род хризантем; такие любит она получать к непреходящему своему юбилею (каждый день нам приносят корзину от благодарных, и комната тети всегда, как у актрисы после бенефиса; каждый день выставляется взамен на лестницу очередная завядшая корзина...). Цветы на спине — такие же в гробу.

В нашем обширном, сообща живущем семействе, был ряд узаконенных формул восхищения теткой, не знаю только вот, в виде какого коэффициента вводились в них анкетные данные — возраст, пол, семейное положение и национальность. Конечно, наше семейство было слишком интеллигентно, чтобы опускаться до уровня отдела кадров. О таких вещах никогда не говорилось, но стопроцентное молчание всегда говорит за себя: молчание говорило, что об этих вещах не говорилось, а — зналось. Она была на пятнадцать лет старше дядьки, у них не было детей, и она была еврейка. Для меня, ребенка, подростка, юноши, у нее не было ни пола, ни возраста, ни национальности; в то время, как у всех других родственников эти вещи были. Каким-то образом здесь не наблюдалось противоречия.

Мы все играли в эту игру: безусловно принимать все заявленные ею условности, — наша снисходительность поощрялась слишком щедро, а наша неуклюжая сцена имела благодарного зрителя. Неизвестно кто кого переигрывал в благородстве, но переигрывали — все. Думаю, что все-таки она могла видеть кое-что сверху, — не мы. Не были ли ее, вперед выдвинутые, условности высокой реакцией на нашу безусловность?.. Не оттого ли единственным человеком, которого она боялась и задабривала сверх всякой меры, — была — Павловна, наша кухарка: она могла и не играть в нашу игру и уж она-то знала и то, что еврейка, и то, что старуха, и то, что муж... и то, что детей... что — смерть близка. Павловна умела это свое знание, нехитрое, но беспощадно-точное, с подчеркнутым подбострастием обнаруживать, так и не доходя до словесного выражения, и за это свое молчание, с суетливой благодарностью, брала сколько угодно и чем попало, хоть теми же чашками.

Мы и впрямь любили тетку, но любовь эта еще и декларировалась. Тетка была — Человек! Это звучит горько: как часто мы произносим с большой буквы, чтобы покрыть именно анкетные данные; автоматизм нашей собственной

принадлежности к роду человеческому — расов. Чрезмерное восхищение чьими-либо достоинствами всегда пахнет. Либо подхалимством, либо апартеидом. Она была человеком... большой, широкий, страстный, очень живой, щедрый и очень заслуженный. (ЗДН — Заслуженный деятель науки; у нее было и это звание). В общем, теперь я думаю, что все сорок лет своего замужества она работала у нас тетей со всеми своими замечательными качествами и стала как родная. (Еще и потому у них с Павловой могло возникать особое взаимопонимание; та ведь тоже была — человек...) Думаю, что еврейкой для моих родных она все-таки была, хотя бы потому, что я об этом не знал, что и слова-то такого никто ни разу не произнес (слова «еврей»).

Мы имели все основания возвеличивать ее и боготворить: столько, сколько она для всех сделала, не сделал никто из нас даже для себя: она спасла от смерти меня, брата и трижды дядьку (своего мужа). А сколько она помогала так, просто (без угрозы для жизни), — не перечислить. Этот список рос и канонизировался с годами, по отступающим пунктам списка. Об этом однако полагалось напоминать, а не помнить, так что это вырвалось у меня сейчас правильно: как родная... И еще, что я узнал, значительно позже, после ее смерти, она была как жена. Оказывается, все эти сорок лет они не были зарегистрированы. Эта старая новость сразу приобрела легендарный шик независимости истинно порядочных людей от формальных и несодержательных форм. Остальные однако были зарегистрированы.

Сошло время — илистое дно. Ржаво торчат конструкции драмы. Это, оказывается, не жизнь, а — сюжет. Он — неживой от пересказа: годы спустя в нашем семействе прорастает информация, в форме надгробия.

А я из него теперь сооружаю постамент...

Она была большой доктор, и мне никак не отделаться от недоумения: что же она сама знала о своей болезни?.. То кажется: не могла же не знать!.. то — ничего не знала.

Она попробовала ногу, а потом попробовала инфаркт.

От инфаркта у нее чуть не прошла нога. Так или эдак, но из инфаркта она себя вытянула. И от сознания, что на этот раз проскочила (это, в данном случае, она как врач могла сказать себе с уверенностью), — так приободрилась и помолодела, и даже ногу обратно уместила в туфлю —

что мы все не нарадовались. Снова пошли заседания, правления, защиты, консилиумы (вылечи убийцу! — безусловно святой принцип Врача... но нельзя же лечить их старательней и ответственной, чем потенциальных их жертв?.. однако можно: закон жив там, где живы его парадоксы — как в Англии...)... и вот я вижу ее снова на кухне, повелевающую сверкающим солнцем-тазом.

Однако таз этот взошел ненадолго.

Тетка умирала. Это уже не было ни для кого... кроме нее самой. Но и она так обессилела, что, устав, забывшись, каждый день делала произвольный шагок к смерти. Но потом спохватывалась и снова не умирала. У нее совсем почернела нога, и она решительно настаивала на ампутации, хотя всем, кроме нее... что операция ей уже не по силам. Нога, инфаркт, нога, инсульт... И тут она вцепилась в жизнь с новой силой, которых, из всех нас, только у нее и было столько.

Кровать! Она потребовала другую кровать. Почему-то она особенно рассчитывала на мою физическую помощь. Она вызывала меня для инструкций, я плохо понимал ее мычание, но со всем соглашался, не видя большой сложности в задании. «Повтори», — вдруг ясно произнесла она. И — ах!! — с какой досадой отвернулась она от моего парализованного лепета.

Мы внесли кровать. Это была специальная кровать, из больницы. Она была тем неуклюжим образом осложнена, каким только могут осложнить вещь люди, далекие от техники. Конечно, ни одно из этих приспособлений, меняющих положение тела, не могло действовать. Многократно перекрашенная тюремной масляной краской, она утратила не только форму, но и контур, — стала в буквальном смысле нескладной. Мы внесли этого монстра в зеркально-хрустально-коврово-полированный теткин уют, и я не узнал комнату. Словно бы все вещи шарахнулись от кровати, забились по углам, сжались в предчувствии социальной перемены: на самом деле, просто кровати было наспех подготовлено место. Я помню это нелепо-юное ощущение мышц и силы, преувеличенное, несоответствовавшее задаче грузчика: мускулы подчеркнута, напоказ жили для старого парализованного умирающего человека, — оттого особая неловкость преследовала меня: я цеплял за углы, спотыкался, бился костяшкой, и словно кровать уподобляла меня себе.

Тетка сидела посреди комнаты и руководила вносом.

Это я так запомнил — она не могла сидеть посредине, она не могла сидеть, и середина была как раз очищена для кровати... Взор ее пылал каким-то угольным светом, у нее никогда не было таких глубоких глаз. Она страстно хотела перебраться со своего сорокалетнего ложа, она была уже в той кровати, которую мы еще только вносили, — так я ее и запомнил посредине. Мы не должны были повредить «аппарат», поскольку ничего в нем не смыслили, мы должны были «его» чуть раздвинуть и еще придвинуть и выше-ниже-выше установить его намертво-неподвижные плоскости, и все у нас получалось не так, нельзя было быть такой бестолочью, видно, ей придется самой... У меня и это впечатление осталось, что она сама наконец поднялась, расставила все как надо — видите, нехитрое дело, надо только взяться с умом — и установив, легла назад, в свой паралич, представив нам переброску подушек, перин и матрацев, более доступную нашему развитию, хотя и тут мы совершали вопиющие оплошности. Господи! за тридцать лет она не изменилась ни капли. Когда мы, в блокадную зиму, пилили с ней в паре дрова на той же кухне, она, пятидесятилетняя, точно так сердилась на меня, пятилетнего, как сейчас. Она обижалась на меня до слез в споре, кому в какую сторону тянуть, пила наша гнулась и стонала, пока мы спасали пальцы друг друга. «Ольга! — кричала она наконец моей матери. — Уйми своего хулигана! Он меня сознательно изводит. Он нарочно не в ту сторону пилит...» Я тоже на нее сильно обижался, даже не на окрик, а на то, что меня заподозрили в «нарочном», а я был совсем без задней мысли, никогда бы ничего не сделал назло или нарочно... я был тогда ничего, неплохой, мне теперь кажется, мальчик. Рыдая, мы бросали пилу в наполовину допиленном бревне. Минут через десять, веселая, приходила она со мной мириться, неся «последнее», что-то мышинное: не то корочку, не то крошку. Вот так, изменился, выходит, один я, а она все еще не могла свыкнуться с единственной предстоящей ей за жизнь переменой: в Тот мир она, конечно, не верила (нет! так я и не постигну их поколение; уверенные, что Бога нет, они выше меня несли христианские заповеди...).

Мы перенесли ее; она долго устраивалась с заведомым удовлетворением, никогда больше не глядя на покинутое супружеское ложе. Мне почудился сейчас великий вздох облегчения, когда мы отрывали ее от него: из всего, что она продолжала, несмотря на свой медицинский опыт, не пони-

мать, вот это, видимо, она поняла необратимо: никогда больше она в ту кровать не вернется... Мы не понимали, мы, как идиоты, ничего не понимали из того, что она прекрасно, лучше всех знала: что такое больной, каково ему, и что на самом деле, ему нужно, — теперь она сама нуждалась, но никто не мог ей этого долга возвратить. И тогда, устроившись, она с глубоким первым смыслом сказала нам: «спасибо», будто мы и впрямь что-то сделали для нее, будто мы понимали... «Очень было тяжело?» — участливо спросила она меня. «Да нет, что ты, тетя!.. Легко.» Я не так должен был ответить.

Кровать эта ей все-таки тоже не подошла: она была объективно неудобна. И тогда мы внесли последнюю, бабушкину, на которой мы все умирали... И вот, уже на ней, в последний раз подправив подушку, разгладив дрожащей рукой ровненький отворот простыни на одеяле, прикрыв глаза, она с облегчением вздохнула: «Наконец-то мне удобно». Кровать стояла в центре комнаты, как гроб, и лицо ее было покойно.

Именно в этот день внезапно скончалась та, другая женщина, тот самый сюжет...

Тетка ее пережила. «Наконец-то мне удобно...»

Кровать стояла посреди странно опустевшей комнаты, где вещи покидают хозяина чуть поспешнее, на мгновение раньше, чем хозяин покидает их. У них дешевые выражения лиц; эти с детства драгоценные грани и поверхности оказались просто старыми вещами. Они чураются этого железного в середине, они красные, они карельские... Тетке удобно.

Она их не возьмет с собою...

Но она их взяла.

В середине кургана стоит кровать с никелированными шишечками, повытертыми до медной изнанки: в ней удобно полусидит, прикрыв веки и подвязав челюсть, тетка в своей любимой китайской кофте с солнечным тазом, полным клубничного варенья на коленях, в одной руке у нее стетоскоп, в другой — американский термометр, напоминающий часовой механизм для бомбы; аппарат для измерения кровяного давления — в ногах... не забыты и оставшиеся в целых чашки, диссертация, данная на отзыв, желтая Венера Милосская, с которой она (по рассказам) пришла к нам в дом... дядька, за ним шофер скромно стоят рядом, уже полусасыпанные летящей сверху землю... к ним бес-

шумно съезжает автомобиль со сверкающим оленем на капоте (она его регулярно пересаживает с модели на модель, игнорируя, что тот вышел из моды...), значит, и олень здесь... да и вся наша квартира уже здесь, под осыпающимся сверху рыхлым временем, прихватывающим и все мое прошлое с осколками блокадного льда, все то, кому я чем обязан, — погружается в курган; осыпается время с его живой человечностью и дарвиновским гуманизмом, с принципами и порядочностью, со всем тем, чего не снесли их носители, со всем, что сделало из меня то жалкое существо, которое называют, по общим признакам, сходства, человеком, то есть со мною... но сам я успеваю, бросив последнюю лопату, мохнато обернуться в черновато-мерцающую теплоту честной животности...

Ибо с тех пор, как их не стало: сначала моей бабушки, которая была еще лучше, еще чище моей тетки, а затем тетки, эстафетно занявшей место моей бабушки, а теперь это место пустует для... я им этого не прощу. Ибо с тех пор, как не стало этих последних людей, мир лучше не стал, а я стал хуже.

Господи! после смерти не будет памяти о Тебе! Я уже заглядывал в Твой лик... Если человек сидит в глубоком колодце, отчего бы ему не покажется, что он выглядывает ИЗ мира, а не В мир? А вдруг там, если из колодца-то выбраться, — на все четыре стороны ровно-ровно, пусто-пусто, ничего нет? Кроме дырки колодца, из которого ты вылез? Надеюсь, что у Тебя слегка пересеченная местность...

За что посажен, пусть малоспособный, но старательный ученик на дно этого бездонного карцера и позабыто о нем? Чтобы я всю жизнь наблюдал эту одну звезду, пусть и более далекую, чем видно невооруженному колодцем глазу!? Я ее уже усвоил.

Господи! дядя! тетя! мама! плачу...

Бывают такие уголки в родном городе, в которых никогда не бывал. Особенно по соседству с достопримечательностью, подавившей собою окрестность. Смольный (с флагом и Ильичем), слева колокольня Смольного монастыря, — всегда знаешь, что они там, что приезжего приведут именно сюда, и отношение к ним уже не более как к открытке. Но вот приходится однажды разыскивать адрес (оказывается, там есть еще и дома, и улицы, там живут...), и — левее Колокольни, левее Обкома комсомола, левее келей-

ных сот... — кривая улица (редкость в Ленинграде), столетние деревья, теткин Институт (бывший Инвалидный дом, оттого такой красивый; не так уж много настроено медицинских учреждений — всегда наткнешься на старое здание...), и — так вдруг хорошо, что и глухой забор покажется красотой. Все здесь будто уцелело, в тени достопримечательности... Ну, проходная вместо сторожевой будки, забор вместо ликвидированной решетки... зато ворота еще целы, и старый инвалид-вахтер на месте у ворот Инвалидного дома (из своих, наверно). Кудрявые барочные створки предупредительно распахнуты, я наконец прочитываю на доске, как точно именуется теткино учреждение (Минздрав, Облесполком... очень много слов заменило два — Инвалидный дом), мне приходится посторониться и пропустить черную «Волгу», в глубине которой сверкнул эполет; вскакивает на свою культю инвалид, отдает честь; приседая, с сытым шорохом по кирпичной дорожке удаляется генерал в шубе из черноволги; я протягиваюсь следом, на «территорию». «Вы на похороны?» — спрашивает инвалид, не из строгости, а из посвященности. «Да».

Красный кирпич дорожки, в тон кленовому листу, который сметает набок тщательный даун; он похож на самосшитую ватную игрушку, нищего военного образца; другой, посмышленнее, гордящийся доверенным ему оружием, охотится на окурки и бумажки с острой; с кирпичной мордой калека, уверенно встав на деревянную ногу с черной резиновой присоской на конце, толчет тяжким инструментом, напоминающим его же перевернутую деревянную ногу, кирпич для той же дорожки; серые стиранные старушки витают там и сям по парку, как те же осенние паутинки, — выжившие Офелии с букетиками роскошных листьев... Трудотерапия на воздухе, солнечный денек. Воздух опустел, и солнечный свет распространился ровно и беспрепятственно, словно он и есть воздух; тени нет, она освещена изнутри излучением разгоревшихся листьев; и уже преждевременный дымок (не давайте детям играть со спичками!) собрал вокруг сосредоточенно-дебильную группу... Старинный запах прелого листа, возрождающий — сжигаемого; осенняя приборка; все разбросано, но сквозь хаос намечается скорый порядок: убрано пространство, проветрен воздух, вот и дорожка наново раскраснелась; утренние, недопроснувшиеся дебилы, ранние (спозаранку, раны...) калеки, осенние старушки — выступили в большом согласии с осе-

ню. «Вам туда», — с уважением сказал крайний олигофрен. Куда я шел?.. Я стоял в конце аллеи, упершись в больничный двор. Пришлось отступить за обочину, в кучу листьев, приятно провалившихся под ногами, — олигофрен интеллигентно сошел на другую сторону: между нами проехали «Волги», сразу две. Ага, вон куда. Вон, куда я иду. Тетка уже здесь.

В морге была заминка, мы ее не узнали. Не хватало прически. Рука у нас не поднималась взбить ей привычную прядь. И у нее тоже... Нектор Бериташвили — вот кто оказался близкий ей человек. Он привел парикмахера, чуть ли не в кандалах. «Никто денег не хочет!..» — возмущался он. «Сколько?» — поинтересовались мы. «А... — отмахнулся он, — Сто». Краткое это слово звучало, как одна бумажка: тетка не поспешила.

Теперь тетка выглядела хорошо. Лицо ее было в должной степени значительно, покойно и красиво, но как бы чуть настороженно. Она явно прислушивалась к тому, что говорилось, и не была вполне удовлетворена. Вяло перечислялись заслуги, громоздились трупы эпитетов — ни одного живого слова. «Светлый облик... никогда... вечно в сердцах...» Первый генерал, сказавший первым (хороший генерал, полный, три звезды, озабоченно мертвый...), уехал: сквозь отворенные в осень двери конференц-зала был слышен непочтительно-быстрый удаляющийся треск его «Волги». «Спи спокойно...» — еще говорил он, потупляясь над гробом, и уже хлопал дверцей: «В Смольный!» — успевал на заседание. Он успел остановиться, главным образом, на ее военных заслугах: никогда не забудем!.. — уже забыли. И войну, и блокаду, и живых, и мертвых. Тетку уже некогда было помнить: я понял, что она была списана задолго до смерти; изменившиеся исторические обстоятельства позволили им явиться на панихиду — и то славно: другие пошли времена, где старикам поспеть... и уж если, запыхавшись, еще поспевал генерал дотянуться до следующей звезды, то при одном условии — не отлучаться ни на миг с ковровой беговой дорожки... После генерала робели говорить, будто он укатил, оставив свое седоволосое ухо с золотым отблеском погона... И следующий оратор бубнил в точь, и потом... никак им было не разгореться. Близкие покойной, раздвоенные гробом, как струи носом корабля, смотрелись бедными родственниками ораторов. Налево толпились мы, направо — еврейские родственники; не знал, что их так мно-

го. Ни одного знакомого лица; одного, кажется, видел мельком в передней... Он поймал мой взгляд и кивнул. Серые внимательно-растерянные, как близорукие, глаза. Отчего же я их никого... никогда... Я еще не понимал, но стало мне неловко, нехорошо — в общем, стыдно. Но я-то полагал, что мне не понравились ораторы, а не мы, не я сам. «Были по заслугам оценены... медалью...» Тетка была человек... ей невозможно по заслугам... Смерть есть смерть: я что-то все-таки начинал понимать, культовский румянец сходил с ланит... Сталин умирал вторично, еще через пятнадцать лет. Потому что во всем том времени мне уже нечего вспомнить, кроме тетки, кристально-честной представительницы, оказывается все-таки. сталинской эпохи...

Тетку все сильнее не удовлетворяло зауспокойное бубнение ораторов. Поначалу она еще отнеслась неплохо: пришли все-таки, и академики, и профессура, и генералы... — но потом окончательно умерла с тоски. В какой-то момент мне отчетливо показалось, что она готова встать и сказать речь сама. Уж она бы нашла слова! Она умела произносить от сердца... Соблазн порадовать человека бывал для нее всегда силен, и она умудрялась произносить от души хвалу людям, которые и градуса ее теплоты не стоили. Это никакое не преувеличение, не образ: тетка была живее всех на собственной панихиде. Но и тут, точно так, как не могла она придти себе на помощь умирая, а никто другой так и не шел, хотя все тогда толпились у кровати, — так теперь у гроба... и тут ей ничего не оставалось, как отвернуться в досаде. Тетка легла обратно в гроб, и мы вынесли ее вместе с кроватью, окончательно неудовлетворенную панихидой, на осеннее солнце больничного двора. И конечно, я опять подставлял свое упругое... бок-о-бок с тем внимательно-сероглазым, опять мне кинувшим. «Что ты, тетя! Легко...»

Двор стал неузнаваем. Он был густо населен. Поближе к дверям рыдали сестры и санитарки, рыдали с необыкновенным уважением к заслугам покойной, выразившихся в тех, кто пришли... Сумрачные, непохмелившиеся санитары вперемешку с калеками, следующей шеренгой как бы оттесняли общим своим синим плечом толпу дебилов, оттеснивших в свою очередь старух, скромно выстаивавших за невидимой чертой. Ровным светом робкого восторга были освещены их лица. Свет этот проливался и на нас. Мы приосанились. Родственники на похоронах — тоже начальство. Кисти гроба, позументы, крышка, подушечка с медалью,

рыдающие руководящие сестры... генерал!!.. (был еще один, который не так спешил)... автомобили с шоферами, распахнутыми дверцу... осеннее золото духового оркестра, одышливое солнце баса и тарелок... еще бы! Они простаивали скромно-восторженно, ни в коем случае не срывая дисциплины, в заплатках, но чистенькие, опершись на грабли и лопаты, — эта антивосставшая группа. Генерал уселся в машину и засверкал внутри, будто увозили трубу-бас... они провожали его единым взглядом, не сморгнув. Гроб плыл, как корабль, раздвигая носом человеческую волну на два человечества: неполноценные обтекали справа, более чем нормальные, успешные и заслуженные — слева. За гробом вода не смыкалась, разделенная молом пограничных санитаров. Мы — из них! — вот, какую гордость прочел я на общем, неоформленном лице идиота. Они с восторгом смотрели на то, чем бы они стали, рискни они выйти в люди, как мы. Они — это было, откуда мы все вышли, чтобы сейчас, в конце трудового пути, посверкивать благородной сединой и позвякивать орденами. Они из нас, мы из них. Они не рискнули, убоившись санитаров; мы его подкупили, а затем подчинили. Труден и славен был наш путь в доктора и профессора, академики и генералы! многие из нас обладали незаурядными талантами и жизненными силами, и все эти силы и таланты ушли на продвижение, чтобы брякнула медаль и услужливо хлопнула дверца престижного гроба на колесах...

Но если они полчеловека, то мы — тоже... Они — не взяли, мы — потеряли. Но утратили мы как раз ту половину, что у них цела. Разобраться бы на пары, как в детсадишке, взяться за ручки, выдать себя за целое... только так страшно предстать перед Ним... Никогда, никогда бы не забыть, какими бы мы были, не пойдя мы на все это... вот мы стоим серой, почтительной чередой, с большими и крошечными, как цветки, головами, микро — и макро-цефалы, с пограничными санитарями и гробом последнего живого человека между!.. вот мы бредем, отдавшие все до капли, чтобы стать теми, кем вы заслуженно восторгаетесь; мертвые хороним живого, слепим своим блеском живых!.. Ведь они живы, дебилы!.. — вот, что осенним холодком пробежало у меня между лопаток, между молодо-напряженных мышц. Живы и безгрешны! ибо какой еще у них за душой грех, кроме как в кулачке, в кармане... да и карман им предусмотрительно зашили. А вот и мы, с гробами заслуг и

опыта на плечах... И если вот так заглянуть сначала в душу идиота, увидеть близкое голубое донышко в его глазах, а потом, резко, взглянуть бы в душу того же генерала, да и любого из нас, то — Боже! лучше бы не смотреть, чего мы стоим. А стоим мы дорого, столько, сколько за это уплатили. А уплатили мы всем. И я далек, ох, как далек заглядывать в затхлые предательские тупички нашего жизненного пути, неизбежную перистальтику карьеры. Я заведомо считаю всю нашу процессию кристально-чистыми, трудолюбивыми, талантливыми, отдавшими себя делу (хоть с большой буквы!..) людьми. И вот в такую только незаподозренную нашу душу и предлагаю заглянуть... и отворачиваюсь, испугавшись. То-то и они к нам не перебегают, замершие не только ведь от восторга, но и от ужаса! Не только полуголовые, но и мы ведь с трудом отделим ужас от восторга, восторг от ужаса, да и не отделим, так и не разобравшись. Куда дебилу... он с самого начала, мудрец, испугался, он еще тогда, в колыбели, или еще раньше — в брюхе, не пошел сюда, к нам... там он и стоит, в колыбели, с игрушечными грабельками и лопатой и не плачет по своему доктору: доктор-то живой, вы — мертвые. Никто из нас и впрямь не мог заглянуть в глаза Смерти и не потому, что страшно, а потому, что уж е. Души неродившиеся в Раю, души умершие в Аду; тетка протекает между нами, как Стикс.

Мы прошли неживой чередой по кровавой дорожке парка; он был уже окончательно прибран (когда успели?..); непущенные санитарями, остались в конце дорожки дебилы, выстроившись серой стенкой, и вот — слились с забором, исчезли. Последний мой взгляд воспринял лишь окончательно опустевший мир: за остывшим, нарисованным парком возвышался могильный курган, куда по одному уходили пациенты к своему доктору.

Кто из нас двоих див? Сам ли я, мое ли представление о себе?

Она была большой доктор, но я и сейчас не отделался всеми этими страницами от все того же банального недоумения: что же она как врач знала о своей болезни и смерти? То есть знать-то она, судя по написанным страницам, все-таки знала... а вот как обошлась с отношением к этому своему знанию?.. Я так и не ответил себе на вопрос, меня по-прежнему продолжает занимать, какими способами обходится профессионал со своим знанием в том случае, когда

может их обратить к самому себе? Как писатель пишет письма любимой? как гинеколог ложится с женою? как прокурор берет взятку? на какой замок запирается вор? как лакожится повар? как строитель живет в собственном доме? как сладострастник обходится в одиночестве?.. как Господь видит конец своего Творения?.. Когда я обо всем этом думаю, то, естественно, прихожу к выводу, что и большие специалисты — тоже люди. Ибо те узкие и тайные ходы, которыми движется в столь острых случаях их сознание, обходя собственное мастерство, разум и опыт — есть такая победа человеческого над человеком, всегда и в любом случае!.. что можно лишь снова обратить свое вытянувшееся лицо к Нему, для пощады нашей состоящему из голубизны, звезд и облак, и спросить: Господи! сколько же в Тебе веры, если Ты и это предусмотрел?!..

1970-1971

ТРИ ПЕСНИ

ЛЕСБИЙСКАЯ

Пусть на вахте обещут нас начисто,
а в барак надзиратель пришел,
мы под песню гармошки наплачемся
и накроем наш свадебный стол.

Женишок мой — бабеночка видная,
Наливает мне в кружку «тройной»,
вместо красной икры булку ситную
он намажет помадой губной.

Сам помадой губною не мажется,
и походкой мужскою идет,
он совсем мне мужчиною кажется,
только вот борода не растет.

Девки бацают с дробью «цыганочку»,
бабы старые «горько» кричат,
и рыдает одна лесбияночка
на руках незамужних девчат.

Эх, закурим махорочку бийскую,
девки заново выпить не прочь,
да за горькую, да за лесбийскую,
да за первую брачную ночь.

В зоне сладостно мне и немаятно,
мужу вольному писем не шлю,
никогда, никогда не узнает он,
что Маруську Белову люблю.

ОКУРОЧЕК

Из Колымского белого ада
шли мы в зону в морозном дыму.
Я увидел окурочек с красной помадой
и рванулся из строя к нему.

«Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный.
Злобный пес разодрал мой бушлат.
«Дорогие начальнички, будьте спокойны,
я уже возвращаюсь назад».

Баб не видел я года четыре,
только мне наконец повезло.
Ах, окурочек, может быть, с ТУ-104
диким ветром тебя занесло.

И жену удавивший Копалин,
и активный один педераст
всю дорогу до зоны шагали, вздыхали,
не сводили с окурочка глаз.

С кем ты, сука, любовь свою крутишь,
с кем дымишь сигареткой одной?..
Ты во Внукове спьяну билета не купишь,
чтоб хотя пролететь надо мной.

В честь твою зажигал я попойки,
всех французским поил коньяком.
Сам пьянел от того, как курила ты «Тройку»
с золотым на конце ободком.

Проиграл тот окурочек в карты я,
хоть дороже был тыщи рублей.
Даже здесь не видать мне счастливого фарту
из-за грусти по даме червей.

Проиграл я и шмотки и сменку,
сахарок за два года вперед.
Вот сижу я на нарах, обнявши коленки,
мне ведь не в чем идти на развод.

Пропадал я за этот окурочек,
никого не кляня, не виня,

Господа из влиятельных лагерных урок
за размах уважали меня.

Шел я к вахте босыми ногами,
как Христос, и спокоен, и тих.
Десять суток кровавыми красил губами
я концы самокруток своих.

«Негодяй, ты на воле растратил
миллион на блистательных дам».
«Это да, — говорю, — гражданин надзиратель,
только зря, — говорю, — гражданин надзиратель,
рукавичкой вы мне по губам».

ЛИЧНОЕ СВИДАНИЕ

Я отбывал в Сибири наказание,
считался работающим мужиком
и заработал личное свидание
с женой любимой собственным горбом.

Я написал: «Явись, жена, соскучился,
здесь в трех верстах от лагеря вокзал».
Я ждал жену, ждать перестал, измучился
да без конца на крышу залезал.

Заныло сердце, как увидел бедную,
согнулась до земли от рюкзака.
Но на нее, на бабу неприметную,
с барачной крыши зарились зека.

Торчал я перед вахтою взволнованный,
там надзиратель делал бабе шмон,
но было мною в письмах растолковано,
как под подол притырить самогон.

Вот заперли нас в комнате свидания,
дуреха ни жива и ни мертва,
а я, как на судебном заседании,
краснел и перепутывал слова.

Она присела, милая на лавочку,
а я прилег на старенький матрац,
вчера здесь спал с женой растратчик Лавочкин,
позавчера — карманник Мона Кац.

Обоев серый цвет изрядно вылинял,
в двери железной кругленький глазок,
в углу портрет товарища Калинина
молчит, как в нашей хате образок.

Потолковали, выпил самогона я
и самосаду закурил... Эх, жисть!
Стели, жена, стели постель казенную,
да, как бывало, рядышком ложись.

Дежурные в глазок бросают шуточки,
орут зека тоскливо за окном:
«Отдай, Степан, супругу на минуточку,
на всех ее пожиже разведем».

Ах, люди, люди, люди вы несерьезные,
вам нехватает нервных докторов,
ведь здесь жена, а не быки колхозные
огуливают вашенских коров.

И зло берет, и чтой-то жалко каждого,
да с каждым не поделишься женой...
... на зорьке, как по сердцу, бился тяжкою
по рельсу железякою конвой.

Налей, жена, полкружки на прощание,
садись одна в зелененький вагон,
не унывай, зимой дадут свидание,
не забывай, да не меня, вот глупая,
не забывай, как прятать самогон.

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

ЩИПОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК

Андрею Тарковскому

Блатные москворецкие дворы,
не ведали вы, наши Вифлеемы,
что выбивали женщины ковры
плетеной олимпийской эмблемой.

Не только за кепарь благодарю
московскую дворовую закваску,
что, вырезав на тополе «люблю»,
мне кожу полоснула безопаской.

Благодарю за сказочный словарь
не Оксфорда, не Массачусетса —
когда при лунном ужасе главарь
на танцы шел со вшитой жемчужиной.

Наломано, Андрей, вселенских дров,
но мы придем — коль свистнут за подмогой...
Давно заасфальтировали двор
и первое свиданье за помойкой.

ДОЖДЬ ПРОШЕЛ

Словно ввели в христианство тебя,
роцца, омытая словно язычница.
Как звонко эхо после дождя!
Как после слез твое сердце отзывчиво!

ГЕКЗАМЕТР

Не унижайтесь до слов
против брани недопустимой.
Вдруг набегут филистимляне?
Не обижайте ослов.

ЕСЕНИН

Виснут шнурами вечными
лампочки под потолком.
И только поэт подвешен
на белом нерве спинном.

МАТЬМАТЬМАТЬ
МАТЬМАТЬМАТЬ

ДЕРЖАВИН

Над темной молчаливою державой
Какое одиночество парить!
Завидую тебе, орел двуглавый,
Ты можешь сам с собой поговорить.

ПОСЛЕ

- Вот квартирка поэта. Вот перо на амфирном бюро...
- А что такое «перо»?
- Им водили рукою Державин, Матвей и Лука...
- А что такое «рука»?
- Это род рычага,
превращавший идею в создание, высекающий на века:
«Человек — это смысл мирозданья»
«Человек будет славен вовек».
- Как вы выразились? — «человек»?

МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА

Лучшим идиллическим временем наших взаимоотношений с Маратом я считаю тот ранний период, когда он работал фотографом на прибрежном бульваре напротив театра. Там красовался небольшой стенд с образцами его продукции, а сам он сидел на парапете, ограждающем берег, или похаживал поблизости, издали окидывая орлиным взором или тем, что должно было означать орлиный взор, встречающих женщин или женщин, остановившихся у стенда, чтобы поглазеть на его работы.

Нередко он кидал орлиный взор и вслед удаляющимся женщинам, и я всегда удивлялся их телепатической тупости, потому что не почувствовать его взгляд и не обернуться мне казалось невозможным, настолько этот взгляд был выразительным.

В те времена я ему нравился как хороший слушатель его любовных приключений. Этим приключениям не было ни конца ни края, а моему терпению слушателя не было границ.

Многие к его рассказам относились иронически, я же проявлял только внимание и удивление, и этого было достаточно, чтобы он мне доверял свои многочисленные сердечные тайны.

Впрочем, будем точны, свои сердечные тайны он доверял всем, но не все соглашались способствовать условиям их свободного излияния. Я же этим условиям способствовал, думаю, больше других.

Марат был человеком маленького роста, крепкого сложения, с густыми сросшимися бровями, которыми он владел, как лошадь своим хвостом. То есть он их то грозно сдвигал, то удивленно приподымал обе или саркастически

одну из них, что, по-видимому, производило на женщин немалое впечатление в совокупности с остальными чертами лица, среди которых надо отметить, разумеется, сделать это надо достаточно деликатно, довольно крупный с горбинкой нос. Кроме всего, общее выражение романтической энергии, свойственное его лицу, способствовало в моих глазах правдоподобию его рассказов.

Иногда, чаще всего возвращаясь с рыбалки, я проходил мимо его владений и, если он в это время не был занят клиентами, я останавливался, мы садились на скамейку или на парапет, и он мне рассказывал очередную историю.

Рассказывая, он не спускал глаз с женщин, проходивших по бульвару, одновременно прихватывая и тех, что проходили по прибрежной улице. Иногда, чтобы лучше разглядеть последних, ему приходилось нагибать голову или слегка оттопыриваться в сторону, чтобы найти проём в зарослях олеандра, сквозь которые он смотрел на улицу.

Если, когда я проходил, он был занят клиентами, то, глядя в мою сторону, он вопросительно приподымал голову, что означало: нет ли у меня времени подождать, пока он отщёлкает этих людей?

Иногда, увидев меня и будучи занят клиентами, он иронически отмахивался рукой, дескать, новых впечатлений масса, но сейчас не время и не место о них говорить.

Сами рассказы его сопровождалась схематическим изображением некоторых деталей любовной близости. Этот показ многообразных позиций любви меня нередко смущал, тем более, что он отводил мне роль манекена партнерши. Я чаще всего отстранялся от этих его попыток, стараясь ввести его рассказ в русло чистой словесности, в которой он и так достигал немалой выразительности.

В его рассказах поражало даже само многообразие мест свиданий: парки, ночные пляжи, окрестные рощи, каюты теплоходов, фотолаборатории, номера турецкой бани, далеко в море в камере машины, глубоко в земле в лабиринте сталактитовых пещер и, наконец, высоко над землей в кабине портального крана, где у него было несколько головокружительных встреч с крановщицей.

Рассказы об успешных свиданиях всегда кончались одной и той же сакраментальной фразой:

— Ну, что тебе сказать... Она была так довольна, так довольна...

Иногда, подчеркивая, что ему удалось ускользнуть от

угроз насильственной женитьбы, он так оканчивал свой рассказ:

— Ну, что тебе сказать... Паспорт остался чистым...

Иногда он ошарашивал меня неожиданным вопросом. Так, однажды он у меня спросил:

— Ты когда-нибудь пил гранатовый сок из груди любимой?

— Что, что?! — опешил я.

— Гранатовый сок из груди любимой, — повторил он и для наглядности, слегка откинувшись, выпятил собственную грудь, словно пытаюсь напомнить мне общепринятую позу поения возлюбленного гранатовым соком.

— Нет, конечно, — отвечал я ему, голосом показывая, что не только не знаком с таким способом удовлетворения жажды, но и сомневаюсь в самой его технологической возможности. Поняв это без слов, он без слов объяснил мне, как это делается.

— Очень просто, — сказал он и, продолжая топырить грудь, свел возле нее свои ладони, словно закрыл створки плотины.

Кто не пил гранатовый сок из груди любимой, — назидательно заметил он, — тот не знает, что такое настоящий кейф... Это даже лучше, чем тянуть коньяк из пупка любимой...

— Перестань трепаться, — сказал я ему на это, — много ли туда вместится коньяка?

— Дело не в количестве... пьяница, — перебил он меня, — дело в кейфе...

Иногда он приносил в редакцию «Красных субтропиков», где я работал, свои снимки. Они изображали живописные уголки нашего края, эстрадных певиц или сцены гастрольных спектаклей.

Порой, когда я рассматривал его фотографию живописного уголка нашего края, он показывал на какую-нибудь точку на этом снимке и говорил: — Вот здесь мы сначала с ней сидели... А потом спустились вот сюда, в рощицу... Ну, что тебе сказать... Она была так довольна, так довольна...

Снимки, которые он приносил, как правило, сопровождались более или менее расширенными подписями, которые тоже, как правило приходилось начисто переписывать. Но я это делал ради его рассказов и наших дружеских отношений. Вернее, как только я начинал поварчивать, он вытас-

кивал одну из своих бесконечных историй, и я поневоле превращался в слушателя.

Подписи к снимкам, которые он давал мне, были не только не умелы, но и поражали своей чудовищной неряшливостью. Иногда они были начаты карандашом, во всяком случае кусочком грифеля, а закончены чернилами. Иногда наоборот. Почерк был такой, что казалось, он составляет эти подписи в машине, мчащейся со скоростью ста километров в час.

Снимки, надо сказать, были выполнены всегда на самом высоком уровне, и если многие из них не проходили в газету, то только потому, что снимая служительниц театральных подмостков, он довольно часто находил такой ракурс, словно отщелкивал их, предварительно спрыгнув в оркестровую яму.

Кстати, насчет снимков. Однажды Марат после поездки в Москву, кроме рассказов о своих победах над доверчивыми москвичками, привез оригинальное фото. В вагоне метро он случайно наткнулся и тут же заснял такую картину: с одной стороны вагона сидят пассажиры и все до одного читают книги и журналы, а с другой стороны, напротив них, все пассажиры дремлют или спят.

Это был действительно редкий снимок и выполнен очень четко, даже чувствовался подземный ветер метро. Во всяком случае, было видно, как одна девушка, читающая книгу (конечно, она оказалась на переднем плане), очень милым жестом, не глядя, рукой приглаживает расрепанные волосы.

В редакции снимок всем очень понравился, и его уже хотели давать в номер, как вдруг на летучке один из наших сотрудников сказал, что снимок могут неправильно понять. Его могут понять так, как будто у нас в стране половина людей спит, а вторая половина бодрствует и учится. Несмотря на абсурдность такого истолкования этой юмористической сценки, наш редактор Автандил Автандилович решил фотоснимок попридержать.

— Да, — сказал он, поглядывая на него, — получается, что половина населения у нас неграмотна, а другая половина грамотна, что не соответствует положению вещей... но момент схвачен интересный...

Марат несколько раз спрашивал насчет своего снимка, но ему каждый раз обещали, что он будет использован в свое время, но время это никак не приходило. Кстати,

Автандил Автандилович повесил эту забавную фотографию у себя в кабинете.

В конце концов, однажды на летучке один из наших сотрудников предложил разрезать снимок на две части и напечатать их рядом с такой подписью: «У нас в метро и у них». Идея эта Автандилу Автандиловичу очень понравилась, и он уже благосклонно кивнул головой, но тут выступил все тот же скептик, который, кстати, в отличие от нас был в Париже. Он сказал, что конструкция вагонов парижского метро сильно отличается от нашей и нас могут уличить в обмане. И хотя кто-то пытался спасти положение, сказав, что метро есть не только в Париже, но и в других капиталистических странах, Автандил Автандилович согласился с замечанием скептика, и публикация снимка была опять отложена на неопределенное время.

Уже по судьбе этого снимка можно было догадаться, что рок заносит над Маратом свою неумолимую руку, но тогда никто так далеко не смотрел, да и сам Марат был мало озабочен судьбой своего фото.

Однажды вечером, когда мы с Маратом прогуливались по набережной, кстати, он всегда был модно одет, он издали кивнул мне на одну из старушек, торговавшую недалеко от порта семечками.

— Внимательно взглядишь в нее, — сказал он.

Когда мы поравнялись, я посмотрел на старушку и ничего особенного в ней не заметил. Правда, лицо ее мне показалось довольно благообразным.

— Ну, как? — спросил Марат.

— Старушенция как старушенция, — говорю.

— Пятнадцать лет назад, — сказал он, — она еще была дамой в соку. Из-за нее один таксист другого пырнул ножом. А у меня, тогда еще зеленого юнца, был с ней роман. Да, она работала официанткой в ресторане аэровокзала. После каждого свидания я находил у себя в кармане сотнягу, старыми, конечно. И вот однажды прихожу в ресторан, и она мне говорит:

— Сегодня у нас последнее свидание.

— Почему? — говорю.

— Выхожу замуж за летуна, — говорит.

— А как же я? — говорю.

— Ну, ты еще молоденький, — говорит, — у тебя будет много таких... Давай я тебе принесу бифштекс, а то на шашлык сегодня идет несвежее мясо...

— Ладно, принеси, — говорю, а сам горю от обиды.

Съел я этот бифштекс и ушел. У нас было излюбленное месточко в старом парке. Я пришел в этот парк, нашел заросли крапивы, осторожно вырвал один стебель, обернул его газетой, чтоб не жегся, и сунул его в кусты самшита возле места нашего свидания.

Прибегает, запыхавшись. Миловались, целовались, прощались, а потом я, как достал этот стебель крапивы да как стал лупцевать ее поперек голого зада.

— Вот тебе твой летун! Вот тебе твой летун!

— Но ведь ты не собирался на ней жениться? — перебил я его.

— Нет, конечно... Но молодой был, горячий...

Я хотел у него спросить, нащупал ли он в тот вечер у себя в кармане сотнягу, и если нащупал, то как с нею распорядился. Но все-таки не спросил. Да и что спрашивать. Марат он такой и есть, и надо его или отвергать или принимать таким, какой он есть.

Мы дошли до конца набережной и пошли обратно. Когда мы проходили мимо этой старушеницы, я украдкой посмотрел на Марата, а потом на нее.

Марат, проходя мимо нее, как-то важно приосанился, подобрался, как бы сурово предупреждая ее попытку восстановить знакомство. Старушеница на нас даже не посмотрела.

Странное чувство испытал я, глядя на нее и вспоминая рассказ Марата. Резались шоферы такси, бежала, запыхавшись, на свидание к юному любовнику, была бита крапивой, а вот теперь такая мирная старушка, продает семечки. Куда делся ее летун, бог его знает. Да, странное чувство я тогда испытал, словно заглянул в жестокий и бездонный колодец жизни и увидел на дне его свое собственное постаревшее лицо. Марат шел рядом со мной, как ни в чем ни бывало.

— Ты бессмертен, Марат, — сказал я ему.

— Не надо мне мозги лечить, — ответил Марат и, властно озираясь, добавил: — лучше пойдем по кофе выпьем.

Точно так же однажды на базаре он издали кивнул мне на одну дородную матрону, которая стояла за прилавком, грудью прикасаясь к целому стогу зелени: петрушки, кинзы, укропа, цицмата, тархуна, зеленого лука.

— Забавное приключение было у меня с ней лет десять

назад, — сказал он, когда мы прошли ряд, где она торговала.

— ... Возвращался я с охоты и проходил через деревню Атара-армянская. И тут меня застигла гроза такая, что за три шага ничего не видно. Я вбежал в первый попавшийся двор и вхожу на веранду дома. Дождь пополам с градом лупит такой, что хоть кричи — ничего не услышишь. Все-таки слышу, какой-то стон доносится из дому.

Дай, думаю, посмотрю, что там такое, и открываю дверь. Смотрю, лежит женщина в постели и зубами стучит. Говорю, так, мол, и так, с охоты возвращался, застала гроза, разрешите переждать.

Стонет, ничего не отвечает, а только черными глазами смотрит на меня. Только глазища и торчат из-под одеяла. Да еще слышу — зубами стучит.

— Что с вами? — говорю, и как-то странно мне делается: град стучит о крышу, женщина лежит под одеялом, а кругом никого.

— Лихорадка, — говорит, — возьми с той постели одеяло и накрой меня...

Приказывает прямо... Я беру с другой постели одеяло и набрасываю на нее. А она лежит, глазищами сверкает и, слышу, продолжает стучать зубами. А мне так странно, кругом гроза, а здесь одна женщина в доме лежит под одеялом и зыркает своими глазищами.

— Ну, как, — говорю, согрелись?

— Нет, — говорит и стучит зубами, — в другой комнате на кровати одеяло, принеси и накрой меня...

Я уже сам начинаю дрожать. Вхожу в другую комнату, стягиваю одеяло с постели, беру и накрываю ее.

А она все глазами зыркает и продолжает стучать зубами. А мне так странно — чужое село, чужой дом и женщина одна в доме лежит под одеялом, — глазища так и зыркают, а кругом гроза и ни живой души. Думаю, может, ведьма какая. А сам дрожу не знаю отчего, волнуюсь.

— Ну, как, — говорю, — согрелись?

— Нет, — отвечает мне резко и стучит зубами, — в той комнате на вешалке пальто висит, принеси и укрой меня...

Вхожу в другую комнату. В самом деле на вешалке висит пальто. Снимаю его дрожащими руками, несу и накрываю ее. А кругом гроза, крыша трещит, а в доме женщина стучит зубами и зыркает из-под одеяла.

— Ну, как, — говорю, а у самого голос осекается, — согрелись, наконец?

— Нет, — говорит, — принеси еще чего-нибудь.

А сама глазами так и зыркает из-под всего, что я набросал на нее. А кругом гроза, крыша гремит, а в доме я и эта женщина. Страшно.

— Хозяйка, — говорю, а у самого голос вибрирует, — больше, вроде, нечего нести...

— Ну, тогда, — грозно так произносит, — сам ложись сверху!

А у самой глазищи так и зыркают, а зубы так стучат, что сквозь грозу слышно. Не женщина, а ведьма. Другой на моем месте от мандража растерялся бы. Но я, хоть и мандражу, вперед иду. На всякий случай прислоняю ружье к изголовью кровати и, была не была, ныряю в постель. Одним словом, что говорить, солдат свое дело знает. Через полчаса она откидывает все, что на нее навалено:

— Жа-а-арка... Принеси мне из кухни воды...

Я иду в кухню, нахожу воду и, черпанув кружкой, приношу. Пьет. Смотрю, опять своими глазищами на меня уставилась и хоть зубами не стучит, а все равно начинаю волноваться.

— Хозяюшка, напилась? — спрашиваю у нее.

— Нет, — говорит и дает мне кружку, — там на кухне в кувшине айран — принеси мне!

Ну нет, думаю, надо рвать когти, пока армяне меня не застучали в этом доме. Беру кружку, потихоньку прихватываю ружье и как будто на кухню, а сам даю драпака. Слава богу, гроза кончилась, градины на земле так и сверкают, а я радуюсь жизни и иду.

Вот как иногда бывает. Лежит под одеялом, зыркает глазами, а зубы так и стучат. Попробуй, пойми, чего ей надо. Я-то быстро ее раскусил, но другой на моем месте чикался бы, укрывая ее чем попало, или подавая напитки, а тут бы подоспевшие армяне прихлопнули его на месте. Шутка ли — кругом чужое село, град стучит о крышу, а тут женщина зыркает из-под одеяла, а у самой зуб на зуб не попадает...



Пока рок не занес над человеком свою карающую руку, человек может выйти невредимым из самых опасных приключений.

Вот несколько случаев из жизни Марата, подтверждающих эту древнюю аксиому. Первый случай произошел по воле самого Марата.

После окончания школы Марат поехал в Москву с твердой уверенностью, что он поступит в институт кинематографии на операторский факультет. Он уже тогда увлекался фотографированием, а для поступления на этот факультет надо было представить образцы своих снимков.

Марат был уверен, что его примут, хотя бы для того, чтобы его снимки остались в институте. Настолько он был уверен в успехе своих фотографий. Но, увы, он не прошел по конкурсу и ему с оскорбительным равнодушием вернули снимки вместе с документами.

Что было делать? Набранных баллов хватало для поступления в какой-то совершенно не интересовавший Марата, кажется, мясомолочный институт. По инерции Марат туда поступил, но сильно страдал не только от профиля института, но и от самого его названия. Девушки улыбались, когда он называл свой институт, и легко прерывали очередной сеанс романтического гипноза, которым он обволакивал их сознание.

Через два года учебы в этом институте Марату пришла в голову простая и гениальная мысль. Он решил обратиться к товарищу Берия, как к земляку (Берия в самом деле был наш земляк) и попросить перевести Марата из мясомолочного института в институт кинематографии. Марат правильно рассчитал, что у Берия на это хватит сил и авторитета.

Как человек действия, Марат не стал долго мусолить свою мечту. Он был уверен в успехе своего мероприятия, если конечно, ему удастся увидеться с Берия. Встречу с всесильным министром он приурочил к очередному сбору земляков в ресторане «Арагви». Чтобы не выглядеть в глазах Берия полным эгоистом, он решил не только попросить перевести его в институт кинематографии, но и пригласить его на дружеский ужин земляков.

Марату не раз показывали на особняк Берия возле Садового кольца. Туда он и ринулся. Ему повезло. Еще за полквартила он заметил, что Лаврентий Павлович прогуливается возле своего особняка, а два полковника с обеих сторон тротуара ограждают маршрут его прогулок.

Марат бесстрашно устремился к месту прогулки Берия.
— Вам что? — спросил полковник, останавливая Мара-

та, когда тот подошел к охраняемому тротуару.

— У меня просьба к товарищу Берия, — сказал Марат и сам себя поправил, — вернее, две просьбы, как к земляку...

— Какие просьбы? — спросил полковник.

Марат видел, что Берия приближается к ним, но ждать было неудобно.

— Я земляк Лаврентия Павловича, — сказал Марат, — учусь в мясо-молочном институте и хотел бы попросить, чтобы меня перевели в институт кинематографии.

Кстати, снимки, которые он представлял в институт, лежали у него в кармане наготове. А вдруг товарищ Берия заинтересуется...

— Товарищ Берия такими пустяками не занимается, — отвечал полковник, холодно, но не враждебно.

К этому времени к ним подошел Лаврентий Павлович.

— В чем дело? — спросил он.

Теперь Марату стало неудобно за свою первую просьбу и он, не повторяя ее, приступил ко второй.

— Лаврентий Павлович, — сказал Марат, — мы, ваши земляки, закавказские студенты, хотим вас пригласить на дружеский ужин в «Арагви», который состоится завтра в восемь часов вечера.

Лаврентий Павлович и полковник переглянулись.

— Хорошо, — сказал Лаврентий Павлович, — я приеду, если охрана мне разрешит.

Окрыленный встречей и простотой обращения, Марат ушел в общежитие. Он решил, что завтра во время встречи в «Арагви» он найдет минутку и попросит Берия относительно перевода в институт кинематографии.

К сожалению, охрана не разрешила Берия приехать на следующий день в ресторан «Арагви», и Марату пришлось, оставив мясо-молочный институт, уехать к себе в Мухус.

Второй раз обращаться к Берия со своей просьбой он не решился, тем более, что все, кому он рассказывал об этой встрече, говорили, что он должен благодарить бога, что встреча эта так благополучно для него кончилась.

...Марат уже работал на прибрежном бульваре, когда в один прекрасный осенний день заметил очаровательную молодую женщину, прогуливающуюся по набережной.

Марат был поражен, что никто из местных пижонов ее еще не подцепил или не пытается подцепить. Выбрав удобное мгновение, когда молодая женщина приблизилась к

стенду, он, издали показав на него рукой, пригласил ее фотографироваться.

Она улыбнулась, и, к его великому удивлению, подошла. Марат попросил попозировать ему и сделал с нее несколько снимков. Судя по всему, он произвел на нее впечатление, и она сказала, что придет за снимками, но чтобы он, если увидит ее с другими людьми, не обращал на нее внимания и не пытался с ней заговорить.

В следующие два дня Марат видел ее в обществе, как он говорил, двух высоких голубоглазых блондинов и честно никак не показывал, что он знаком с этой женщиной. Потом она неожиданно пришла сама, и Марат вручил ей снимки, которые ей очень понравились.

Он сделал с нее еще несколько снимков и стал просить ее позировать ему на пляже. Она сказала, что это совершенно невозможно, потому что здесь у нее высокий покровитель и он ничего не должен знать об этих даже невинных встречах.

Марат сказал, что не боится высокого покровителя, лишь бы он, Марат, ей понравился. Она сказала, что Марат очень храбрый человек, но она не хочет им рисковать.

— Мадам, — сказал Марат, стараясь чаще показывать ей свой энергичный профиль, — в любви я Наполеон!

— О! — сказала очаровательная незнакомка и многозначительно улыбнулась.

Через несколько дней Марат уговорил ее покататься с ним на лодке. Она с большим трудом согласилась, но сказала, чтобы он один садился в лодку на причале, а потом в условленном месте подошел к берегу и забрал ее. Марат так и сделал.

Далеко в море она ожила и под нежно-могучим натиском Марата позволила ему гораздо больше, чем он ожидал. Но главное было впереди. Она сказала, что высокий покровитель вскоре должен уехать в Сочи, и тогда у Марата будет с ней достаточно долгое свидание. Она дала ему адрес, взяв с него слово, что он без ее знака не попытается с ней встретиться. Она сказала, что покровитель редко ее посещает, но окружил ее шпионами, которые ничего не должны звать об их встречах.

Марат, сам человек романтический, считал ее слова некоторым преувеличением. Он верил в существование высокого покровителя и думал, что это один из местных подпольных миллионеров. Марат знал, что это достаточно опас-

ные люди и, при всех преувеличениях, считал, что осторожность здесь не излишня.

Наконец наступил долгожданный день. Освободившись на несколько минут от своих высоких голубоглазых блондинов, молодая женщина подбежала к месту работы Марата и шепнула ему, чтобы он приходил к ней домой в десять часов вечера.

Весь день Марат не находил себе места. Ему казалось, что все городские часы остановились, чтобы он корчился в адских муках. Он сходил в ботанический сад и через знакомого агронома, работавшего там, достал великолепный букет из красных, пурпурных, желтых и белых роз, которые он отнес домой и поставил в ведро с водой.

На одной из старинных улиц в верхней части города в тот вечер Марат нашел особнячек, где жила эта женщина. Просунув руку сквозь железные прутья калитки, он открыл засов, вошел в маленький дворик и поднялся по лестнице, перила которой тонули в зарослях глициний. Еще одно усилие, и он с открытой веранды стучит в дверь.

Ему отворяет дверь его очаровательная незнакомка, и он вручает ей букет, в который она сейчас же окунает свою хорошенькую головку. Марат видит за ее спиной со вкусом накрытый стол с ужином на двоих, он чувствует необычайной силы любовный порыв и начинает обнимать и целовать свою таинственную незнакомку.

Она едва его уговорила взять себя в руки, напомнив, что впереди у них целая ночь. Марат кое-как успокоился, букет был разделен на две части, одна из них украшала стол для ужина, а другая была поставлена в другой комнате возле кровати, достаточно просторной для самых изысканных любовных фантазий.

Дружеский ужин с «Хванчарой» был в разгаре, когда вдруг лицо его прекрасной незнакомки побледнело, и она проговорила:

— Тише! Кажется, машина остановилась...

Тут они оба услышали скрип железной калитки.

— В ту комнату, и не выходи оттуда, — шепнула ему хозяйка и решительно вытолкнула его в спальню.

Марат слышал, как кто-то постучал в дверь.

— Кто там? — спросила молодая хозяйка.

Ей что-то ответили, но Марат не расслышал ответа.

— Передайте ему, что я больна, — сказала молодая женщина.

Опять ей что-то ответили, но Марат не расслышал ответа. Ему страшно было интересно — что это за люди. Он подозревал, что в дверь стучится человек одного из подпольных миллионеров, но от кого именно — он не знал.

— Нет, доктора не надо, — отвечала хозяйка и, как бы слегка стесняясь, добавила, — это обыкновенная болезнь, которая бывает у каждой женщины.

Марат больше не слушал. Он увидел дверь в другую комнату и, открыв ее, вошел туда. Оттуда он увидел еще одну дверь, открыл ее и вышел в конец веранды, которая имела здесь еще одну лестницу, ведущую в зеленый дворик.

Марат спустился вниз и стал под верандой, пол которой сейчас нависал над ним. Вдруг он услышал мужские шаги, топающие по веранде. Шаги остановились. Потом снова пошли. Снова остановились. Марат догадался, что человек останавливается, чтобы заглянуть в окна спальни, которая была освещена. Марат с волнением подумал, что его легко могли обнаружить, останься он в спальне, куда его толкнула молодая хозяйка.

Любопытство так и жгло Марата, и он под верандой обогнул дом и выглянул из-за зарослей глициний, буйно разросшейся возле главного входа.

Марат увидел легковую машину «Зис» и в жидковатом свете уличного фонаря разглядел энергичный, гораздо более энергичный, чем у него, профиль человека в пенсне, сидящего на переднем сиденье машины. Не узнать его Марат не мог, даже если бы не виделся с ним два года тому назад.

В это время над головой Марата раздались шаги человека, разговаривавшего с хозяйкой. Он спустился по лестнице, открыл калитку и, не забыв ее запереть на задвижку, подошел к машине и, на миг заслонив Берия, по-видимому, что-то ему рассказывал. Через минуту он сел в машину и она тихо скользнула мимо дома.

Через заднюю лестницу, едва живой от сковавшего его страха, Марат поднялся в дом. Вся эта история ему очень сильно не понравилась. Когда он вошел в комнату, где они ужинали с прекрасной незнакомкой, та бросилась ему на грудь и, давясь от беззвучного хохота, пыталась что-то ему сказать, но Марат не понимал причины ее смеха и не разделял ее веселого настроения.

— Когда он пошел вдоль веранды, — наконец сказала она, — я решила, что все пропало... А потом захожу в ту

комнату — тебя нет. Захожу в другую — тебя нет... Я уже решила, что он испепелил тебя своим взглядом, а тут являешься ты с кислой физиономией.

Но Марат был слишком напуган случившимся. Соперничать с местными подпольными миллионерами он еще кое-как мог себе позволить, но соперничать с самим Берия, — это было страшно. Попытка продолжить ужин ни к чему не привела, но, что еще хуже, попытка приступить к любовным утехам кончилась еще более плачевно. Какая-то вялая меланхолия омертвила тело Марата. Профиль первого чекиста страны так и стоял перед его глазами.

Он пытался вернуть себе то настроение, с каким целовал ее в лодке, но у него ничего не получалось. Энергичный профиль человека в пенсне так и всплывал перед его глазами. Прекрасная незнакомка приготовила турецкий кофе, говоря, что он обязательно приведет его в норму, но Марат, и выпив две чашки кофе, никак не приходил в себя. Блуждающая рассеянная улыбка не сходила с его лица, и его вялые искусственные порывы ни к чему не приводили.

— А еще говорил, что в любви Наполеон, — наконец упрекнула его прекрасная незнакомка.

— Мадам, — тихо ответил ей Марат, улыбаясь блуждающей улыбкой, — у всякого Наполеона есть свой Ватерлоу...

Поздно ночью, покинув дом любовницы Берия (бывшей незнакомки), Марат не стал выходить в калитку, а перелез через забор в самом глухом уголке сада и оказался на другой улице.

Марат сильно надвинул кепи на глаза и завернул на улицу, с которой он входил в калитку. Не глядя по сторонам, он прошел мимо ее дома в сторону центра города. Насколько мог заметить его косящий взгляд, на той стороне улицы стоял какой-то подозрительный человек, смахивающий на ее дневных провожатых. Хорошо, что я не вышел из калитки, подумал Марат, благодаря бога за собственную осторожность.

Через два дня незнакомка снова прогуливалась по набережной со своими высокими голубоглазыми блондинами. Потом она гуляла одна и, проходя мимо места работы Марата, бросила в его сторону взгляд, но, как сказал поэт, они не узнали друг друга.

Этот случай, по словам Марата, еще долго мешал ему в любви. В самые решительные часы чувственного восторга

перед его глазами всплывал профиль человека в пенсне, и Марат впадал в вялую меланхолию, хотя иногда почему-то не впадал.

Он заметил такую закономерность. Чем более комфортабельным было место свидания, тем сильнее мешало ему видение страшного профиля человека в пенсне. И, наоборот, чем проще, грубее и неудобнее для любви была окружающая обстановка, тем свободней и независимей от профиля он чувствовал себя.

У меня брезжит смутная догадка, что его головокружительные свидания с крановщицей ночью в кабине портального крана или дневные свидания в глубине сталактитовой пещеры или другие не менее рискованные встречи с возлюбленными, не объясняются ли они, может быть, неосознанной попыткой вытеснить видение проклятого профиля? Сам Марат мне этого никогда не говорил, и я не пытался у него об этом спрашивать. Правда, у меня есть косвенное подтверждение этой догадки. И что особенно ценно — сам Марат подтвердил ее. Он сказал, что видение зловещего профиля почти совсем перестало его посещать после его романа со знаменитой укротительницей удавов, призежавшей к нам вместе с цирком Шапито.

Это произошло через два года после его неудачного и вместе с тем счастливого (остался жив) свидания с любовницей Берия.

Роман этот, выражаясь современным языком, возник на фрейдистской почве, хотя мы можем воспользоваться и древнерусской пословицей, ничуть не уступающей Фрейдю, а именно: клин клином вышибают.

Я думаю, сам того не подозревая, Марат потянулся к укротительнице, чтобы зримым видом живого удава вытеснить из сознания профиль метафизического удава. Так мне кажется, хотя сам Марат этого мне никогда не говорил.

Он сказал, что когда увидел, как юную полуголую женщину под знаменитую в то время мелодию Дьюка Элингтона «Караван» опоясывает своими смертельными витками удав, он почувствовал к ней неостановимое влечение.

Со свойственной ему энергией и прямоотой он решил покорить эту женщину. На следующий день он пришел в цирк с букетом роз, которые, по-видимому, для него старательно выращивали работники ботанического сада. После окончания номера, когда весь цвет мухусчан рукоплескал отважной женщине, он выскочил на авансцену и, храбро

пройдя мимо корзины, куда был водворен удав, подошел к укротительнице и вручил ей букет.

В тот же вечер, провожая ее в гостиницу, он втаскивал в машину и вытаскивал из нее тяжелый чемодан с удавом. По словам Марата, прекрасная Зейнаб, так звали укротительницу, быстро ответила любовью на его любовь. Потом уже, после близости, она сама ему объяснила, что мужчины, увлекавшиеся ею и знавшие о ее работе, все-таки не выдерживали и давали задний ход, узнав, что она живет с удавом в одном гостиничном номере.

Обычно удав располагался в углу комнаты, где была поставлена на пол и круглосуточно горела настольная лампа с сильной лампочкой. Это давало удаву дополнительное тепло, хотя в номере, по словам Марата, и без того всегда было душновато.

Иногда Зейнаб покрывала своего удава большой персидской шалью и, если он приподымал под нею голову, то становился похожим на злобную старуху из восточных сказок.

Во время любовной близости Марат, по его словам, старался смотреть в сторону удава, который, лежа возле настольной лампы, приподняв голову, тоже нередко смотрел в его сторону.

В первое время Марат из естественной бдительности следил за удавом, не зная, как тот будет реагировать на его, Марата, отношения с хозяйкой Султана. Так звали удава.

И только потом он заметил, что когда он глядит на удава, видение профиля страшного палача не возникает. Это открытие каждый раз так радовало Марата, что он каждый раз находил в себе силы для дополнительных любовных неистовств.

Марат был рад восстановлению своих былых сил, рад был славе, которая распространялась среди мұхұсчан, и дни его были счастливы. Во всяком случае в первое время.

Но постепенно жизнь его осложнилась. Дней через десять Марат почувствовал, что удав его ненавидит. Если Марат проходил слишком близко от места, где возлегал Султан, он слышал злобное шипение. Даже когда Марат подымал чемодан с удавом, он изнутри слышал злобное шипение, показывающее, что Султан чувствует кто держит чемодан. Несколько раз удав, шипя, дергался головой в его сторону, словно хотел его укусьить.

Напрасно бедняжка Зейнаб пыталась их примирить.

Они ненавидели друг друга и даже ревновали ее друг к другу. Марат, разумеется, не называл этого слова (надо полагать, что удав тоже), но когда Марат видел, что утро начинается с того, что Зейнаб протирает вымоченным в теплой воде полотенцем длинное тело удава, он чувствовал глухое раздражение.

Заходя в номер, где находился удав, по словам Марата, никогда нельзя было знать, где его застанешь. То он обвинял торшер и, положив голову возле лампы, дремал, то он забирался на вешалку, и стоило щелкнуть выключателем, как можно было увидеть возле своей головы его брезгливо вытянутую морду. То он забирался на диван, то на их кровать, что было особенно противно, иногда он оказывался в шкафу с бельем, иногда обвинялся вокруг трюмо и, свесив голову, неподвижно следил за изображением своего двойника. Иногда он залезал в ванну, иногда в раковину умывальника, и тогда, разумеется, Марату подойти и вымыть руки было невозможно.

Каждые два-три дня Зейнаб мыла удава в теплой ванной. Однажды она попросила Марата наполнить ванну водой, и Марат, по его словам, случайно напустил туда слишком горячую воду. Когда Зейнаб вывалила своего удава в ванну, тот одним прыжком взвился и выпрыгнул из нее.

Именно после этого удав, по наблюдениям Марата, его возненавидел, хотя как он узнал, что ванну наполнял именно Марат, до сих пор для него остается тайной. Чувствуя, что удав его ненавидит, Марат на всякий случай принес из дому кинжал, подарок его знаменитых лыхнинских родственников. Он повесил его над диваном, якобы для украшения номера. Другая гораздо более скромная мера по собственной защите заключалась в том, что Марат, ложась спать с Зейнаб, теперь всегда устраивался у стенки.

Кстати, я как-то спросил у Марата, чем Зейнаб кормила своего удава и, если кроликами, то где она их брала.

— Насчет кроликов не знаю, — отвечал Марат, — но пару раз, когда я заходил днем, она выметала из комнаты какие-то перья... Так что скорее всего она его кормила живыми курицами...

В первое время мухусчане, радуясь успехам Марата, спрашивали у него:

— Марат, это правда, что ты живешь с укротительницей удава?

— А что тут такого, — отвечал Марат, — конечно, правда.

— Как только ты не боишься, Марат?! — восторженно удивлялись мухусчане.

— А чего бояться, — пожимал плечами Марат, — он в своем углу спит, мы в своем.

Но так длилось недолго и долго длиться не могло, ибо черная зависть сгущается за спиной незаурядного человека и пытается оболгать его. Вскоре среди мухусчан поползли слухи, что возлюбленная Марата изменяет ему со своим удавом. Говорили, ссылаясь на достоверные источники, что бывший муж Зейнаб, который и научил ее работать с удавом, был задушен последним на почве ревности.

Другие договаривались до того, что в сущности Зейнаб по-настоящему живет с удавом, а Марата держит при себе просто так, для блезира.

Слухи дошли до Марата. Марат был поражен глупостью и бессмысленностью этих слухов. Он только разводил руками и презрительно подымал брови. Он надеялся, что люди сами поймут нелепость этих слухов и сами от них отмахнутся. Но слухи упорно держались.

— Кому-то это интересно было, — говаривал Марат с многозначительным намеком, кивая головой куда-то вверх и в сторону.

У Марата появился, выражаясь псевдонаучным языком, оправдательный комплекс. Теперь, встречаясь с ребятами на набережной и в кофейнях, он заводил разговор о своей жизни с Зейнаб, обращая внимание слушателей на роскошь и многообразие их любовных утех и одновременно мимоходом сообщая о жалком прозябании удава в углу комнаты под настольной лампой.

— Да-а? — говаривали некоторые, выслушав его рассказ с недоверчивой миной, — а нам рассказывали совсем по-другому.

Негодяи! Кому ж лучше Марата было знать, кто с кем живет! Но таков закон черни, людям хочется, чтобы другие люди, способные возвызиться над общим уровнем, обязательно для равновесия имели бы унижающие их пороки.

В конце концов Марат почувствовал, что он часто испытывает порывы злости не только к удаву, но и к ни в чем не повинной Зейнаб.

Что касается удава, то его Марат возненавидел вдвойне. Однажды в кофейне до его слуха случайно долетел обры-

вок разговора об этом фантастическом любовном треугольнике, в котором, якобы, очутился Марат. Причем на этот раз рассказчик сплетни роль Марата свел до позорного минимума.

— Кто-то же должен был ей таскать чемодан с удавом, а тут Марат и подвернулся, — заключил рассказчик свой гнусный рассказ.

В тот день Марат крепко выпил и пришел в гостиницу. Зейнаб в номере не оказалось, но у него был свой ключ, и он вошел. Увидев Марата да еще без Зейнаб, удав злобно зашипел в его сторону. Марат этого больше не мог вынести.

— Кто на кого должен шипеть! — воскликнул Марат и, сняв туфель, запустил его в удава. Туфель попал прямо в середину огромного лоснящегося мотка. Удав дернулся головой в сторону Марата и зашипел еще злобней. Тогда Марат снял второй туфель и кинул его в эту мерзкую лоснящуюся кучу. Удав еще более решительно дернулся головой и зашипел.

Марат сел на диван и, облокотившись рукой о стол, горестно задумался над своей нелегкой судьбой. То, что было предметом его гордости, становилось предметом его позора. Просидев так некоторое время, он опустил голову на стол и заснул.

Проснулся он от какой-то невероятной тяжести, которая давила ему на грудь. Он открыл глаза и с ужасом убедился, что удав обвился вокруг него и душит его. Марат попытался одной рукой (другая была прижата к туловищу) сдернуть с себя чудовищные витки удава, но сделать это было невозможно. Он почувствовал рукой, как дышат и переливаются внутри удава его невероятные мышцы.

Чувствуя, что еще мгновение и он потеряет сознание от сдавливающей силы удава, Марат вспомнил о своем кинжале и попытался до него дотянуться. Но дотянуться оказалось невозможным, надо было для этого встать на диван. К счастью, правая рука Марата была свободной. Марат с трудом перевалился на диван и, став на колени, уже теряя силы, выпрямился, но все равно не смог дотянуться до кинжала.

Марат собрал всю свою волю. Удав, как бы пульсируя своими мышцами, то страшно сдавливал его, то чуть-чуть отпускал, и Марат, пользуясь этими мгновениями, успевал вдохнуть воздух. Все-таки ему удалось встать трясущимися ногами на зыбкую поверхность дивана и достать свободной

рукой до кинжала. Проклятье! Новое препятствие встало на его пути: кинжал никак не выходил из ножен. Необходимо была вторая рука. Тогда Марат несколько раз изо всех сил тряхнул кинжал, держа его за рукоятку и, наконец, ножны со свистом соскочили и обнажили лезвие. Собрав последние силы, Марат сунул кинжал в звонко треснувшее, напряженное тело удава. Мгновенно объятия чудовища ослабели, а Марат резал и кромсал уже дрябло провисшие, опадающие кольца.

Бедняга Зейнаб, придя с базара, застала картину ужасного конца ее Султана. Она молча опустила на колени и, поглаживая мертвое, искромсанное тело удава, проплакала до самого вечера.

Она плакала, повторяя:

— Бедный Султан, где мой кусок хлеба? Бедный Султан, где мой кусок хлеба?

По словам Марата, он чуть с ума не сошел от этих ее однообразных причитаний. Марат надел свои туфли, погасил ненужную настольную лампу, которая все еще светила в опустевшем углу, и стал утешать Зейнаб.

Он отдал ей весь запас своих денег, примерно на полгода скромной жизни, пока она освоится с новым удавом, если будет продолжать заниматься этим делом позже. Марат окончательно утешил ее, смастерив из оставшихся кусков шкуры удава несколько прелестных сумочек. Не помню, говорил ли я, что у Марата были золотые руки. Кроме всего этого Марат помог бедняжке Зейнаб оформить фиктивный нут справку о том, что удав умер от простуды.

Интересно, что подлые завистники Марата сам этот его античный подвиг попытались объяснить в духе своей старой сплетни о связи Зейнаб с удавом.

Они говорили, что Марат, якобы неожиданно придя в номер, застал Зейнаб возлежающей на диване в объятиях удава. Увидев такое, Марат, якобы, вскочил на диван и, выхватив свой кинжал из ножен, стал полосовать разнеженного, совершенно неподготовленного к борьбе удава.



Одно время, длилось это года два, Марат перестал работать на прибрежном бульваре, а устроился в научно-исследовательский институт, где получил фотолабораторию и даже был засекречен. Я уж не знаю, что он там за снимки

делал, кажется, что-то связанное с плазмой или с чем-то еще не менее загадочным.

Но факт остается фактом, его оттуда выперли. Вернее, он сам все сделал, чтобы его оттуда выперли. Судя по его словам, он там соблазнил одну женщину, которой показывал серию фотографий, переснятых из одного заграничного журнала.

Эти снимки, изображающие голых женщин, он выдал за плоды собственноручного труда. То есть он ей довольно прозрачно намекнул, что все эти женщины сами ему позировали и она, если захочет, найдет среди них достойное место. По его словам, это ее сломило.

Хотя многие мужчины в наш век стали болтливей женщин, женщины в целом все еще остаются достаточно болтливыми существами. Одним словом, эта женщина проболталась какой-то из своих подруг о коллекции Марата, та проболталась еще кому-то, и через некоторое время кто-то донес начальству, что Марат, вместо того, чтобы фотографировать, скажем внутриатомные процессы, черт знает чем занимается у себя в фотолаборатории.

Внезапная профсоюзная ревизия обнаружила эти снимки и разразился грандиозный скандал. Перед самым общественным собранием, где решался его персональный вопрос, Марат зашел ко мне в редакцию и показал журнал:

— Вот смотри...

— Ну, конечно, — сказал я ему, перелистывая журнал, — ты им его покажи и дело с концом.

— В том-то и дело, что не могу, — отвечал он.

— Почему?

— Какими глазами после этого я на нее посмотрю?

— Она сама виновата, — говорю, — нечего было твои секреты выбалтывать.

— Нет, — отвечал он, подумав, — черт с ними, пусть выгоняют...

И он действительно ни слова не сказал про журнал, он только утверждал, что снимки были сделаны не в институтской лаборатории. В конце концов дело было передано в суд, но он и тут не признался, что фотографии были пересняты из иностранного журнала, хотя над ним висело довольно грозное обвинение.

Институт добивался от суда признания фотографий порнографическими, и в этом случае Марат мог получить срок. Но суд не признал их таковыми, хотя усомнился в

их художественной ценности, на которую напирал Марат.

По словам Марата, пачка его фотографий, покамест ходила по рукам, начиная от институтского профкома и кончая судом, сильно уменьшилась. Он был уверен, что все, вплоть до народных заседателей, поживились за счет его снимков.

Я думаю, что во всей этой истории рыцарские соображения, по которым Марат не открывал источник своей фотоколлекции, сильно преувеличены. Эти соображения безусловно имели место, но они сильно преувеличены. Я думаю, во всей этой истории он сознательно шел на скандал, чтобы еще больше раздуть свою славу.

Правда, тут еще один момент имел место. А именно — этот злосчастный журнал был привезен из заграничной командировки одним из сотрудников института, и Марат, по его словам, отчасти боясь, что кто-нибудь узнает, каким образом ему в руки попал этот журнал, скрывал происхождение знаменитых фотографий. Все это, видимо, так, но все-таки главным было соображение престижа покорителя сердец.

Тем более, что именно в это время среди мухусчан кто-то стал распространять зловредные слухи о том, что знаменитый роман Марата с лилипуткой Люсей Кинжаловой плод его болезненной фантазии.

Тут я должен решительно вступить за Марата. Я сам неоднократно видел его в обществе Люси Кинжаловой. Он прогуливался с ней по набережной, бывал в ресторанах, а однажды причалил к лодочной пристани, и в лодке была Люся.

Грозно сомкнув брови и подняв Люсю на руки, он с видом Стеньки Разина, кидающего в Волгу персидскую княжну, взмахнул своей драгоценной ношей, при этом у драгоценной ноши юбка отваялась от ног, обнажив лягстые бедра перекормленного ребенка. Затем он благополучно ссадил ее на пристань и улыбкой подчеркнул шутливость своего жеста, абсурдность самого предположения, что вот так ни с того, ни с сего он может бросить за борт ни в чем неповинную женщину.

Единственным козырем в руках людей, отрицавших роман Марата с Люсей, было правильное наблюдение, что Марат перестал с ней встречаться задолго до того, как ансамбль лилипотов, в который входила Люся, уехал в другой город.

Что верно, то верно. Тем не менее роман был, он был коротким, но бурным. Впервые Марат с нею познакомился в ресторане. Около дюжины лилипутов сидели за двумя сдвинутыми столиками и ужинали, попивая вино и болтая ногами.

Марат послал им две бутылки вина, издали выпил за их здоровье, лилипуты выпили за его здоровье, а потом, посоветовавшись, между собой, прислали ему через официантку бутылку вина. Марат снова издали выпил за их здоровье, они тоже издали выпили за его здоровье, после чего Марат, подозревая свою официантку, послал им еще две бутылки вина и несколько плиток шоколада, по числу женщин.

Тут лилипуты, склонившись к столу, долго совещались и, наконец, подозревая официантку, через нее пригласили Марата к своему столу. Они решили, что так он им дешевле обойдется, но здорово просчитались. Марат подсел к ним и за разговором дал знать, что, кроме своей прямой профессии, он еще числится внештатным корреспондентом местной газеты «Красные субтропики» и ряда других столичных газет. (Ряд других газет, вероятно, до сих пор не подозревает о существовании своего внештатного корреспондента в Мухусе.)

Именно во время этого застолья Марат обратил внимание на Люсю Кинжалову, совершенно не подозревая, что рядом с ней сидит ее жених. Возможно, что он вообще не подозревал, что лилипуты могут иметь своих женихов и невест. Во всяком случае он стал оказывать Люсе знаки внимания, и она охотно, и даже чересчур охотно, стала принимать их, не считаясь со своим женихом, который, оказывается, в это время сильно страдал.

Узнав, что Марат имеет отношение к прессе, лилипуты пришли в сильное возбуждение и, посоветовавшись между собой, пожаловались ему на своего администратора, который, оказывается, очень плохо с ними обращался. Оказывается, администратор, чтобы сэкономить командировочные деньги, холостых лилипутов загонял по пять человек в одиночный номер. Он заставлял их укладываться поперек кровати, что было и неудобно и унижительно, тем более, что женатые лилипуты получали полноценные номера. Администратор таким образом сэкономил командировочные деньги, доставал фиктивные гостиничные счета, а разницу в деньгах клал к себе в карман.

Марат был в высшей степени возмущен таким бесчеловечным обращением с лилипутами, и они в тот же вечер пригласили его в гостиницу, чтобы он сам во всем убедился на месте.

В гостинице Марат предложил, не осложняя вопрос участием прессы, просто-напросто набить морду администратору. К счастью для администратора, а может и для Марата (я имею в виду последствия), того не оказалось в номере.

Марат зашел вместе с лилипутами в один из номеров, и они еще долго там застольничали и разговаривали о жизни. Многие лилипуты сильно опьянели, и Марат их разносил по номерам, а Люся, вопреки страданиям жениха, показывала, кого куда нести.

В конце концов Марат собственноручно уложил пятерку лилипутов в их номер и со всей очевидностью убедился в обоснованности их жалоб. Кстати, оказывается в эту пятерку входил и жених Люси Кинжаловой, о чем Марат не знал.

А между тем жених не стал лежать в постели, как предполагала Люся, но, откинув одеяло, слез с нее и попытался повеситься на перилах гостиничного балкона. К счастью, его вовремя заметили и задыхающегося вытащили из петли.

Но к этому времени, по словам Марата, Люся Кинжалова по уши в него втрескалась. По словам Марата, можно было понять, что у них, у лилипутов, инкубационный период влюбленности вообще гораздо короче. Марат обещал сделать с нее несколько снимков, и она на следующий день подошла к месту его работы на бульваре.

Так они стали встречаться, и жених смирился с Маратом. Опять же, рассказывая об этом, Марат придал своим словам такой оттенок, что у лилипутов период любовных страданий тоже укороченный.

Не успел Марат насладиться новизной необычного любовного приключения, как из деревни Лыхны к нему в дом приехала делегация родственников и выразила резкий протест по поводу, якобы будущей женитьбы Марата на карлице, как они говорили.

Отец Марата, погибший во время войны, был по происхождению русским, но мать его была абхазкой и родом из Лыхны. Родственники Марата по материнской линии, оказывается, все время держали его в поле своего зрения и, как только поведение его, как им казалось, начинало порочить их славный род, они каким-то образом оказывались рядом и с неслыханным упреком заставляли его

следовать представлениям о приличии, выработанным их славным древним родом.

Они прямо объявили ему, что если он сам не прекратит встреч с этой карлицей, они, выражаясь их языком, силой выволокут ее из-под него. Особенность абхазского языка состоит в том, что это действие, выраженное по-русски четырьмя словами, по-абхазски передается одним словом и потому выразительность его в переводе несколько тускнеет.

Одним словом, они дали ему знать, что никогда не согласятся на то, чтобы он ввел в дом своей матери карлицу неизвестного племени. Кстати, они обещали ему полноценную абхазскую невесту, если он связался с карлицей из соображений собственного маленького роста. Марат был маленького роста, но, разумеется, не настолько, чтобы такого рода соображения приходили ему в голову.

— Бедный Марат, — изредка говорили они, подчеркивая, что вырос он без отца. Но чаще всего эти слова имели совершенно противоположный смысл.

— Бедный Марат, — говорили они, имея в виду, что он и не подозревает, какие беды обрушатся на его голову, если он будет упорствовать в своих заблуждениях.

Когда родственники вмешались в его роман с Люсей, Марат сначала пытался им объяснить, что он не собирается ее вводить в дом. Тогда тем более, отвечали они ему, незачем позорить их род, появляясь с карлицей в людных местах.

Марат попытался послать их к черту, но из этого ничего не вышло. Родственники уехали в деревню, прикрепив к месту работы Марата двух дубиноподобных молодых людей, которые дежурили там. Глядя на этих верзил, поочередно патрулирующих на приморской улице, Марат не на шутку разнервничался.

Конечно, с Люсей Кинжаловой он продолжал встречаться, но это было сопряжено с немалыми трудностями, и нервы Марата стали пошаливать. Надо знать упрямство его лыхнинских родственников, а с другой стороны, самолюбивость Марата. Марат терялся в догадках, стараясь узнать степень полномочий этих двух деревенских верзил. То ли они должны просто препятствовать их встречам, то ли, увидев Марата с Люсей, они должны молча сунуть ее в мешок, увезти куда-нибудь в горы и выпустить ее там, как кошку, от которой хотят избавиться.

Именно находясь в состоянии этих мрачных раздумий, он, во время одного из вечерних застолий с лилипутами, задал в сущности невинный, но показавшийся всем бестактным вопрос:

— Слушайте, — спросил Марат, — а лилипуты голодают?

Многие до сих пор не могут понять, с чего вдруг Марату пришла в голову эта мысль. Лично я думаю, что он в раздумьях о собственном бесправном положении, вызванном исключительной патриархальностью его деревенских родственников, случайно, не подумав о последствиях, перескочил на окружающих его лилипутов.

Лилипуты сильно обиделись на его вопрос и стали громко удивляться невежеству Марата, потому что, по их словам, всякий нормальный человек знает, что лилипуты такие же полноценные граждане страны, как и все остальные.

— Ты лучше посмотри на свой нос, — оказывается, сказала ему Люся.

— А что мой нос? — тревожно справился Марат.

— Очень он у тебя большой, — отвечала Люся, — вот ты его и съешь, куда тебя не просят.

— С точки зрения лилипутской нос у меня, может, и большой, — отвечал Марат, сдерживая гнев, — но с точки зрения интеллигентных женщины Москвы и Ленинграда у меня, к твоему сведению, римский нос.

Надо сказать, что Марат был весьма нетерпим ко всякого рода критике по отношению к его внешности. Сам он мог подшутить и над своим носом и над своим небольшим ростом. Так, относительно женщины, не в меру привязавшейся к нему, он говорил: «Она решила, что я высокий голубоглазый блондин»... Такого рода шуточки и намеки он вполне допускал, но только когда они исходили от него самого.

Одним словом, застолье начинало сильно портиться, и лилипуты, учитывая, что всех угощал Марат, стали его уговаривать, чтобы он не обижался на Люсю. В конце концов, сама Люся Кинжалова признала грубость своего замечания и в доказательство полной сдачи своих позиций поцеловала Марата в нос. И хотя лилипутам удалось спасти застолье, раздражение Марата не проходило, и он, время от времени вспоминая замечание Люси, бормотал: — Ха, мой нос, видите ли слишком большой...

После этого вечера отношения Марата с Люсей, может

быть, не сразу, но достаточно быстро охладели. Во всяком случае, дубиноподобные верзилы, командированные из деревни, через неделю сняли патруль и уехали к себе в Лыхны.

Между прочим, через год снова явилась в Мухус делегация лыхнинских родственников, исполненная мягкой, но неотразимой настойчивости. Дело в том, что Марат в это время завел себе парик, чтобы прикрыть сравнительно небольшую лысину на голове. Он давно и болезненно переживал начало своего облысения, и тем не менее парик в условиях Мухуса достаточно смелое нововведение. Но Марат всегда отличался смелостью и независимостью взглядов.

Парик так удачно сидел на голове Марата, что люди, не очень близко его знавшие, даже не понимали, что на голове Марата собственный несколько истощенный волосяной покров прикрыт париком. Тем не менее, могу поклясться, что парик этот украшал его голову не более двадцати, двадцати пяти дней.

Лыхнинские родственники предложили ему не позорить их перед другими (по-видимому, злорадствующими) родами своей волосяной шапкой, а скромно пользоваться своими волосами. Они указали ему, что лысина не позорит мужчину, что она позорит только женщину. Великий Ленин, напомнили они ему, никогда не стыдился своей огромной лысины. Неужто, по-твоему, вразумляли они его, если б дело обстояло иначе, для него не могли бы найти подходящей волосяной шапки?

Несколько дней Марат боролся за независимость покрова своей головы, потом не выдержал и сдался, не дожидаясь, пока родственники его выставят дежурить какого-нибудь верзилу с граблями в руках, чтобы тот стаскивал с него парик.

Сейчас я передам слово Марату, чтобы он сам рассказал один довольно забавный случай из своей жизни. Случай этот, кроме того, что сам по себе забавен, как я надеюсь, интересен еще тем, что в нем довольно явно чувствуется вмешательство роковых сил в жизнь Марата, и только слепота наша, погруженность в суету повседневности не дала нам во-время разглядеть их.

— Ну и в историйку я недавно влип, доложу тебе, — начал он в тот раз, отщелкав своих клиентов и садясь рядом со мной на прибрежном парапете. Я возвращался с рыбал-

ки, и он, прежде чем продолжать, иронически оглядел мой кукан с небогатым уловом. Потом продолжал:

— Отдыхал тут один мой приятель, кеп из Мурманска. Он каждый год здесь отдыхает. Приезжает на месяц, бабули, денег, значит, куры не клюют, ну, я ему помогаю развлекаться и сам про себя не забываю. Одним словом, хороший парень, я тебя с ним познакомлю, когда он снова приедет.

Вот он мне однажды говорит:

— Слушай, — говорит, — поехали за город в один хороший дом. Пасху будем справлять. Там должно быть несколько очаровательных женщин. Я буду со своей приятельницей, а ты пускайся в открытое море приключений.

— Ладно, — говорю, — попытка не пытка, дома дети не плачут.

— В крайнем случае, — говорит, — будет хороший стол с поросенком, да и сама хозяйка — дай бог, женщина.

Берем мы в гастрономе торт, несколько коньяков, ловим такси и подъезжаем к Ботаническому. Я достаю там хороший букет розочек и едем. В Синопе он останавливает такси и входит в дом, где жила его приятельница. Я, значит, сижу в такси и жду. Смотрю — вошел один, выходит четверо. Он со своей приятельницей и еще какой-то мужчина с женщиной. Я как только ее увидел, сразу стойку делаю: красуля — ни пером описать, ни языком рассказать.

Ну, думаю, конечно, она с этим хахалем, разве такая красульечка нам когда-нибудь перепадет! Только я это подумал, смотрю, мужчина куда-то умотал, а эти втроем идут к нашей машине! Я от радости чуть головой крышу не вышиб! Открываю дверцу, пропускаю красульечку, а она мне во весь рот улыбается. Я сажусь, рядом со мной кеп, а приятельницу его вперед усаживаем. Чувствую, в воздухе пахнет жареным. Я этот запах всегда за версту слышу и никогда не теряюсь.

Анекдоты сами из меня сыпятся один за другим. Красульечка от хохота закатывается, приятельница кепа тоже мне в рот смотрит. Одним словом — фурор. Я окончательно смелею и потихоньку, вроде случайно забывшись, кладу руку на коленку красульечки. Она потихоньку убирает мою руку, значит, все в порядке, клеится. Потому что не сердится, а просто так, для приличия убирает.

Ну, я пуляю еще несколько анекдотов, она умирает от смеха, я снова незаметно кладу руку на ее коленку, она

снова незаметно убирает. Значит, клеится, потому что не сердится, а, наоборот, продолжает смеяться.

Между прочим, случайно оглядываюсь, у меня в машине такая привычка, и вижу: одна и та же «Волга» за нами идет.

— Слушайте, — говорю, — нас кто-то преследует...

Тут красулька оборачивается и еще больше смеется. Приятельница кепа тоже смеется и сам кеп хохочет.

— В чем дело? — говорю.

— Это же ее муж, — отвечает кеп, — разве ты не видел его?

— Какой муж, — говорю, — откуда муж?

И тут кеп мне все объясняет. Оказывается, человек, которого я принял за ее хахалю, на самом деле ее муж был. Оказывается он не отвалил, как я думал, а пошел к своей машине, которая немного в стороне стояла. Оказывается, красулька просто выразила желание ехать со мной в одной машине, потому что подружка ее, приятельница кепа, успела ей рассказать про мою веселость.

Но тут-то я как раз и потерял свою веселость. Видно, когда я узнал про мужа, моя физия так скисла, что красулька еще больше стала смеяться и пальчиком на меня показывать. Я в самом деле здорово приуныл, потому что мысленно уже привык к ней, а теперь приходится перестраиваться.

Тут красулька сама потрогала меня за коленку бархатной лапкой и подмигнула: мол, не унывай, все еще впереди. Во всяком случае я ее так понял. Ну, у меня, вроде, отлегло. Ладно, думаю, хоть я и не любитель разбивать там всякие чужие жизни, но если красулька сама хочет, тогда почему же, тогда можно и поухаживать.

Подъезжаем к особнячку, а он у самого моря стоит. Кеп расплачивается с таксистом, вытаскивает из машины коньяки и торт, и мы подходим к калитке. Муж красульки тоже выходит из своей машины. Кеп нас знакомит. Я выбираю минутку, пока звонят в калитку, отвожу его в сторону и прошу:

— Объясни ситуацию.

— Муж тебе не помеха, — отвечает кеп, — но тут есть одна тонкость... потом сам поймешь.

Он немножко замял разговор, потому что из-за калитки раздался голос хозяйки. Мы входим во двор, меня знакомят с хозяйкой. Я смотрю на нее: меня пот прошибает

— хоть стой, хоть падай. Такая яростная блондинка, в черном спортивном костюме и в резиновых сапогах. Одним словом, что тебе сказать? Под шерстью спортивного костюма чувствуется Тело с большой буквы, которое живет само и другим жить дает.

Минут на десять она меня так оглушила, что я совсем забыл про красульчку. При этом хозяйка с удовольствием нюхает мои розы и говорит, мол, ваши снимки, ваши снимки я их видела в Салоне в прошлом году. В самом деле в прошлогодней выставке я принимал участие, и у меня там несколько потрясных снимков было.

Входим в дом. Ну, дом, я тебе скажу — закачаешься. Ковры и книги, книги и ковры. Никак не могу понять, зачем одной женщине столько книг. Правда, она раньше была замужем за профессором, но потом они разошлись. Да что профессор, она сама научный работник. Но я об этом тогда не думал. Я думал — посмотрим, что еще за кадры будут! Главное, всей шкурой чувствую — в воздухе пахнет жареным, я этот запах за километр узнаю.

Входим в залу. Стол стоит такой, что трогать ничего не хочется — красота. Бутылки с экспортной водярой, как алмазы сверкают. Нам даже стало стыдно за наши жалкие приношения. Нет, розочки мои стол здорово украсили, но коньяки и торт хозяйка как сунула куда-то там в угол комнаты, так они там до утра и простояли.

Но главное не это. В зале еще две женщины и один мужчина. Обе женщины одна другой лучше, обе мировой стандарт и обе в моем вкусе. Одна фиксатая, другая грустенькая. Ну, ничего, думаю, за таким столом долго не погрузишь, сестричка!

А, между прочим, как только я увидел мужчину, я сразу вспомнил слова кепа насчет тонкости. Вот она, эта тонкость, думаю, вот ее настоящий хахаль. А он в это время любезничает с мужем красульчки. Ах ты, сукин сын, думаю, сам с мужем любезничаешь, а сам с красульчкой шашни заводишь.

Ну, думаю, там видно будет, кто кого. В застолье, сам знаешь, я любому сто очей вперед дам. В крайнем случае, думаю, с красульчкой не получится, так здесь еще три прекрасных женщины, не считая приятельницы кепа.

Покамест мы болтаем о том о сем, хозяйка успела переодеться, и вся такая смачная снова приходит к столу, и мы рассаживаемся.

Начали выбирать тамаду. Ну, кеп, конечно, назвал меня. Я для приличия сначала поломался, а потом беру стол в свои руки. Я веду стол, слежу, чтобы всё выпивали и пытаюсь идти на сближение с кем-нибудь из дамочек. Но вижу — что-то все время осечку дает. Удары мимо проходят. Нет, на остроты мои отвечают дружным смехом, чокаются со мной, стараясь друг друга опередить, веселятся, но дальше — ни-ни.

Правда, за той, что грустная сидела, я не пытался приударять, думаю, пусть немножко растеплится, но остальные, чувствую, культурно так, без хамства, дают от ворот поворот.

Между прочим, помогая хозяйке, я несколько раз выходил с ней на кухню, а потом мы раз даже в подвал спустились, там у нее грибы в банках стояли. В этом самом подвальчике, думаю, была ни была, брякаюсь на пол и, обхватив ее ноги, говорю:

— Мадам, уже падают листья...

— Знаю, — говорит она так ласково, — мы еще увидимся... Но сегодня я хозяйка и прошу вас поуваживать за кем-нибудь из моих подруг...

При этом она так легко, легко пальцами провела по моей голове, что я чуть с ума не сошел от радости. Но что делать — приходится подчиняться.

— Я ваш раб, — говорю, — мадам... Будет сделано, как вы говорите...

Отряхиваю, значит, брюки, и мы снова поднимаемся наверх. Ну, раз она так говорит, от хозяйки я отваливаю и снова пытаюсь выйти на связь с одной из ее подруг. Но вижу, ничего не получается. Время идет, красулю оставил этому серому волку, а он почему-то только с ее мужем ля-ля-ля, ля-ля-ля, а на нее ноль внимания.

Что же это такое, думаю. Где слыхано, чтобы Марат в застолье один оказался. Дом полон женщин, а ухаживать не за кем. Ну, выбрал я удобный момент и отзываю кепу.

— Что такое, — говорю, — никак не могу выйти на связь?

— Да, — соглашается кеп, — тут большая тонкость есть.

— Что за тонкость, — говорю, — этот тип — хахаль красулечки?

— В том-то и дело, — говорит, — что нет...

— Так в чем дело, — говорю, — значит, мужа любит?

— Да нет, — говорит, — совсем не в этом дело.

— Тогда в чем?

— Видишь, как этот мужик любезничает с мужем этой красули?

— Ну?

— Так вот, — говорит, — у них любовь.

— Как, — не верю я своим ушам, — в прямом смысле?!

— Да, — говорит, — в самом прямом.

Я сначала удивился, а потом обрадовался. Я забыл сказать, что одна из этих дамочек, а именно фиксатая, была женой второго мужчины. Но я сам не сразу узнал об этом, до того они в разные стороны глядели.

— Если так, — говорю, — выходит, что жена этого типа и красуля свободны?

— В том-то и дело, — говорит, — что не совсем...

— Как, — говорю, — они верны своим мужьям, зная про такое?

— Да не в этом дело, — говорит, — они сами влюблены. Тут у меня голова пошла кругом.

— Да в кого, — говорю, — они влюблены, в тебя, что ли?!

— Нет, — говорит, — гораздо хуже.

— Так в кого же?!

— Они, — говорит, — только, ради бога, не выдавай меня, влюблены в хозяйку дома.

Я с ума схожу.

— Как так, — говорю, — в прямом смысле?

— В самом прямом, — отвечает.

— Ну, а хозяйка, — говорю, — что?

— В том-то и трагедия, что хозяйка их не любит.

— Какая же это трагедия, — говорю, — молодец! Настоящая баба!

— Нет, — говорит, — трагедия, потому что они в нее влюблены, а она их не любит.

Я с ума схожу. Но что делать? Сажусь на свое место, потому что тамада должен стол вести. Но куда вести? И главное — кого вести? Ничего не понимаю. Ну, налил я себе полбокала водяры, чтобы очухаться немного от этой симфонии. Немножко прихожу в себя и соображаю. Значит, думаю так: что мы имеем на сегодняшний день? Красуля отпадает, эта женщина отпадает, остаются грустящая мадам и хозяйка дома.

Но хозяйка не позволила за собой ухаживать, а, наобо-

рот, предложила ухаживать за одной из своих подруг. Но две подруги из трех отпадают по независимой от меня причине, значит, остается грустная мадам. Не так много, но и не так мало, если умело взяться... Я постепенно перекантываюсь на нее, а когда начинаются танцы-шманцы, приглашаю ее. Хорошая женщина, но почему-то грустит все время. Во время танца слегка ее так прижимаю, чтобы она меня хоть немного почувствовала, но вижу, чувствовать меня не хочет. Как только начинаю зажимать, твердеет, как доска.

— Отчего вы такая грустная, мадам? — говорю.

— Ах, — говорит, — не спрашивайте! У меня такое горе было, такое горе...

— Какое горе, мадам, — говорю я ей, — помогать в горе — это моя вторая профессия.

— Нет, — говорит, — никто не может мне помочь... У меня любимый муж умер...

— Когда, — говорю, — это несчастье вас постигло?

— В прошлом году, — говорит.

— Мадам, — говорю, — в наше время приятно видеть женщину, которая так убивается по своему покойному мужу... Таких женщин, во всяком случае в ближайшем окружении, нет... Но вы еще молоды, еще красивы, не надо замыкаться в горе... Чуть-чуть расслабьтесь и вам легче будет...

— Если б вы знали, — говорит, — какой это был человек.

И, оживляясь, начинает рассказывать про своего мужа. Оказывается, он был самый справедливый прокурор, самый честный человек и самый хороший семьянин.

Наверно, так оно и было. Но зачем мне все это рассказывать? У меня совсем другие мысли в голове. Я сам мужчина, слава богу, с достоинствами, и у меня свое самолюбие есть. Нет, думаю, надо попробовать снова перекантываться на хозяйку, здесь номер не проходит. А между прочим, как только она заговорила про своего мужа, лицо ее оживилось, глазки заиграли, так что даже со стороны все заметили.

— Ваш друг — просто чудо, — говорит хозяйка кепу и как-то странно смотрит на меня, — наконец ему удалось развлечь мою милую соседку...

Эта женщина, оказывается, жила рядом с нашей хозяйкой. И хозяйка, танцуя с кепом, заметила, что моя парт-

нерша здорово оживилась. Но то, что она оживилась, вспоминая своего умершего мужа, этого она не знала.

А я думаю: чего это она на меня так странно посмотрела. Может, клеится? Снова садимся, снова беру в руки застолье. Кушаем, пьем, шутим, и вижу, хозяйка на меня как-то странно поглядывает и, когда я начинаю шутить, первая смеется. А прокурорша опять погрузилась. Видно, некому рассказывать про своего прокурора. Ну, думаю, на меня тоже больше не рассчитывай.

Снова танцы-шманцы. Я беру хозяйку. Муж красули берет фиксатую, этот тип берет красулю, хотя видно, что им обоим до смерти хочется танцевать друг с другом.

Я, значит, танцую с хозяйкой, а она льнет ко мне, ну как тебе сказать, просто обтекает меня, как теплый душ. Все, думаю, отступить дальше некуда, стою на смерть, как Мамаев курган.

— Ну, как вам понравилась моя соседка? — спрашивает меня хозяйка.

— Да что ж, — говорю, — женщина хорошая, но все время про мужа рассказывает. Конечно, верность памяти мужа хорошее дело, но тогда зачем приходится развлекаться в компанию.

— Это я ее уговорила, — отвечает хозяйка и снова прижимается ко мне, а я уже от страсти полумертвый, вроде того прокурора.

— Я ваш раб, — шепчу хозяйке, — вот моя жизнь, делайте со мной, что хотите.

— Если б я могла выбирать, — говорит она и смотрит мне в глаза, — я никого, кроме вас, не выбрала бы...

— Но почему, — взревел я шепотом, — вы свободная женщина, а если кто проходу вам не дает, предоставьте это мне, и он забудет не только ваш прекрасный облик, но и собственное имя.

— Ах, — говорит она, — если б дело было в нем.

— Тогда в ком? — спрашиваю.

— Дело во мне, — вздыхает она, — я, к несчастью, влюблена...

— В кого, мадам, — говорю я, — назовите этого счастлильца...

— Я вам, — говорит, — назову, потому что вы мне нравитесь, но вы мне помогите...

Ты же знаешь — я рыцарь, то есть человек, способный делать хорошее, даже когда это ему невыгодно.

— Всё, что в моих силах, — говорю.

— Я влюблена в прокуроршу, — шепчет она мне и глазами показывает на нее.

Я закачался, как боксер после хорошего крюка. Господи, думаю, есть здесь хоть одна натуралка?!

— Как, и вы тоже, мадам? — спрашиваю, еле-еле ворочая языком.

— Уже два месяца, — говорит, — я по ней сохну. С тех пор, как она выбралась жить сюда.

Ага, кумекаю я про себя, она влюбилась в прокуроршу, а этим дала отставку.

— А что прокурорша? — спрашиваю.

— Она невинная, — говорит, — она ничего не понимает... Все про своего прокурора рассказывает.

— Так чем же я вам могу помочь, мадам? — спрашиваю.

— Говорите ей обо мне что-нибудь хорошее... Я еще вам тоже когда-нибудь пригожусь...

— Постараюсь, — говорю, — но вы сами понимаете, как мне трудно уступить вас да еще ей.

Снова садимся к столу, и я снова обязан его вести, как тамада. Но куда вести, кого вести — все чокнутые. Одна прокурорша еще кое-как держится и ту я вынужден уступить хозяйке. Но ты же знаешь меня, раз я дал слово — железно держу его. Подымаю тост. Даже не знаю, откуда слова берутся. Тост, конечно, за хозяйку, за ее гостеприимный дом, за ее сердце, сказал я, вобравшее в себя ум всех этих книг и нежность всех этих ковров. Без дураков, здорово сказал, хотя про себя думаю: на хрен мне все эти книги и эти ковры, раз мое дело горит.

Снова заводят радиолу, и я опять танцую с прокуроршей. Осторожно выясняю, что она думает про хозяйку дома.

— Это такая чудная женщина, — говорит, — с тех пор, как я переехала сюда, она окружила меня таким вниманием... Она так смягчает мне горе по моему покойному мужу...

— Мадам, — говорю я ей, — вам повезло... Эта женщина единственный человек, который может вам заменить вашего покойного прокурора.

— Да, — говорит, — я ей бесконечно благодарна за ее заботу обо мне, потому что потерять такого мужа, которого потеряла я — это потерять все... Вы даже не представляете, до чего он был честным... Директор гастронома, против

которого он вел дело, однажды приносит ему чемоданчик денег. Но он, конечно, отказался. Тогда директор гастронома показывает на свой чемоданчик и говорит: «С этим чемоданчиком я найду себе подходящего прокурора, вот ты себе попробуй найди такого щедрого обвиняемого». И что же, через некоторое время дело передали другому прокурору, а директору гастронома дали другого гастроном, еще лучший. А я в это время сдаю курортникам одну из двух наших комнат, чтобы свести концы с концами. Видали вы такого дурака? Так вот таким был мой покойный муж...

Я понял, что прошибить эту прокуроршу невозможно. Одним словом, вечер этот кончился для меня, как пустой номер, кислородский воздух. Прокурорша ушла к себе домой, а все остальные остались ночевать у хозяйки. Как они там разместились, ничего не знаю и знать не хочу. Хозяйка принесла мне спальный мешок и говорит:

— Если это вас может утешить, я люблю в нем спать.

Что делать? Разделся, залез в этот спальный мешок, понюхал его с горя, но он почему-то козлятиной пахнул, и я, высунув из него голову, уснул.

На следующее утро мы гуляли по берегу с ружьем. В доме нашлось и ружье. Я думаю, в этом доме все можно было найти, кроме нормальной бабы. Между прочим, кеп подстрелил утку, которая упала в море. Я тут, недолго думая, раздеваюсь и в одних трусах — в море. Ну, ты сам знаешь, в раздетом виде я смотрюсь, как бог, со своей грудной клеткой и бицепсами. Женщины с ума сходят, вода ледяная, а я плыву за уткой, беру ее для смеха в зубы и возвращаюсь на берег.

— Если б не моя любовь, — шепчет мне хозяйка, подавая мохнатое полотенце. Покамест я плыл, она успела добежать до дому и принести полотенце. Что говорить, женщина была мировая, и я ей понравился. Недавно встречаю ее в Мухусе.

— Ну, как, — говорю, — сумела совратить прокуроршу?

— Нет, — вздохнула она, — не удалось... Я с горя замуж вышла...

Другой мужик, зная, что я с этой прокуроршей никогда не встречусь, обязательно сказал бы: конечно, удалось... мы с ней так время провели. А эта честно ответила, но мне с ней не повезло. Сначала мы с ней слишком рано встретились, она была влюблена в прокуроршу, а потом слишком поздно, она с горя выскочила замуж.

А про кепу, который туда меня привел, что я могу сказать? Во-первых, никакой он не кеп, я узнал это от одного человека с их пароходства. Никакой он не кеп, а старпом. Подумаешь, два раза ходил на Кубу. А я тебе так скажу, если ты с товарищем идешь в дом, ты ему сначала ситуацию расскажи, а он сам потом решит, ходить ему в этот дом или нет. А я ему еще, как бобик, утку из воды ташил. Такому кепу не то, что корабль — шлюпку нельзя доверить — угробит. Как пить дать — угробит.



Осенью того же года по Мухусу пробежал слух, что Марат женился. Я его давно не видел, потому что после ухода из научно-исследовательского института он стал работать не на бульваре, там его место занял другой человек, а на краю города возле базара.

Учитывая все его рассказы, я жаждал увидеть женщину, которую он сам добровольно ввел в дом и при этом не вызвал никаких нареканий со стороны лыхнинских родственников.

Однажды вечером, когда я сидел на скамейке прибрежного бульвара, передо мной возник Марат со своей женой. Кажется, они сошли с прогулочного катера.

— Прошу любить и жаловать, мой маленький оруженосец! — сказал Марат и представил свою жену.

Я опешил, но, ничем не выдавая своих чувств, протянул ей руку и представился. Это была приземистая тумбочка с головой совенка. Покамест Марат плел свой романтический, а в сущности, милый вздор относительно того, что несокрушимая твердыня, то есть его холостяцкие убеждения, так вот эта несокрушимая твердыня пала перед неотразимыми чарами этого неземного существа, я украдкой рассматривал ее. Да, это была тумба с головой совенка, и я жалел, что лыхнинские родственники на этот раз проморгали Марата.

Я заметил, что пока Марат все это выбалтывал, воодушевленный собственным красноречием, эта тумба с головой совенка наливалась ненавистью к Марату. Это была знакомая мещанская ненависть ко всякого рода чудачествам, отклонениям от нормы, преувеличениям.

Конечно, сказать, что я это заметил и принял к сведению, было бы неточно. Я в самом деле это заметил, но тогда

подумал, что, может быть, это мне показалось. И только последующие события подтвердили, что я не ошибался.

— А как твои лыхнинские родственники? — спросил я тогда у Марата, имея в виду его женитьбу.

— Я у них никогда ни о чем не спрашивал и спрашивать не собираюсь, — самолюбиво ответил Марат.

Помнится, в конце этой встречи Марат сказал, что не успеет его возлюбленная разрешиться законным наследником, как к её ногам будет брошена медвежья шкура, истинно мужской подарок молодой жене.

Марат давно увлекался охотой и мечтал убить медведя или воспитать медвежонка. Почему-то у него две эти мечты легко уживались, но ни одна из них пока не могла осуществиться.

Однажды он и меня увлек своим охотничьим азартом. Он сказал, что знает способ и место раздобыть медвежью шкуру. Он присобачил к стволам наших ружей электрические фонарики, чтобы, если во время ночной засады появится медведь, мы могли бы сначала ослепить его светом наших фонариков, а потом убить.

Мы приехали в одну горную деревушку, где у него оказался знакомый крестьянин, кажется, один из представителей его славного рода по материнской линии. И вот, поужинав у этого крестьянина и немного попив чачи, мы отправились на кукурузное поле, которое, по словам хозяина, время от времени посещал медведь.

Никаких признаков, что наши с медведем посещения кукурузного поля совпадут, не было, и я преспокойно вместе с Маратом отправился ночью подстергать медведя. Мы дошли до края поля, упирающегося в лес, и Марат, притронувшись пальцем к губам, указал мне на необходимость полного молчания, а сам стал, низко нагнувшись, искать медвежьи следы.

После долгих поисков он опять же, прикрыв пальцем рот и указав мне этим, чтоб я от волнения не издал какого-нибудь восклицания, показал мне на нечто, что должно было означать наличие этих следов. Несколько раз присветив фонариком кусок вспаханного грунта, он показывал мне на что-то, что я обязан был принять за медвежьи следы. И хотя я ничего не видел, кроме куска вспаханного поля, я не мог ему возразить, потому что при малейшей моей попытке издать звук, он страшно озирался и прикладывал палец к губам.

Наконец он знаками показал мне, что один из нас, а именно он, залезет на дерево, а другой из нас, а именно я, должен дожидаться медведя внизу. Мне это распределение ролей сильно не понравилось, но я не стал возражать, потому что мне все-таки казалось слишком невероятным, что медведь придет именно в эту ночь.

Марат залез на молодой бук, я сел у его подножья, прислонившись спиной к стволу. Сначала все было тихо, но потом наверху раздался какой-то шум и треск ветвей. Я уже не знал, что и подумать и шепотом спросил у него, не напала ли на него рысь.

Он мне объяснил, что сова пыталась спикировать на его белую шапочку, но теперь все будет хорошо, потому что он снял шапку и спрятал ее в карман. Теперь-то я понимаю, что это было чудовищным предзнаменованием его женитьбы, но тогда об этом никто и помыслить не мог.

Снова установилась космическая тишина ночи, которую время от времени нарушал плач шакалов и лай далеких деревенских собак. Я сидел, прислонившись к стволу, прислушиваясь к тревожным шорохам леса, и все думал, как он со мной несправедливо поступил, оставив меня внизу, а сам взобравшись на дерево. Я, конечно, почти не верил в возможность появления медведя, но он ведь был в этом уверен и распорядился моей жизнью, как менее полноценной.

Почему-то всегда бывает обидно, когда твоей жизнью распоряжаются, как менее полноценной. Тут я вспомнил, что у меня хранится фляга с коньяком. Мы ее привезли из города, чтобы во время ночного бдения бороться при помощи этой бодрящей жидкости с прохладой и дремотой. Я снял флягу с ремня и сделал несколько хороших глотков.

Коньяк прогнал дремоту, и я с новой силой почувствовал, до чего некрасиво поступил со мной Марат, укравшись в кроне молодого бука и оставив меня внизу один на один с голодным медведем. Ведь засаду мы устроили с таким расчетом, чтобы перехватить медведя, когда он захочет влезть на кукурузное поле. Если бы засада была устроена в таком месте, где медведь, уже нажравшись кукурузы, более благодушно настроенный покидает кукурузное поле, было бы гораздо спокойней. Но на это уже поздно было рассчитывать.

Я несколько раз вскидывал ружье и зажигал фонарь, чтобы на всякий случай прорепетировать последователь-

ность предстоящей операции. Я почему-то боялся, что, услышав подозрительный шум, я сначала спущу курок, а потом включу фонарик.

Несколько раз бодро вскидывая ружье и включая фонарик, я старался привыкать к этой последовательности, как вдруг вспомнил, что курок моего ружья стоит на предохранителе и если я впопыхах забуду об этом, то сколько бы я ни нажимал спусковой крючок, выстрела не произойдет. Я отчетливо представил себе такую картину: медведь, слегка ослепленный светом моего фонаря, некоторое время крутит головой, а потом, встав на дыбы, идет на меня, а я, как дурак, жму на спусковой крючок и не могу понять, почему мое ружье не стреляет.

Сначала спустить предохранитель, потом зажечь фонарь, а потом уже нажимать курок, зубрил я про себя эту как будто бы простую последовательность действий, но в условиях этой дикой ночи можно было все перепутать.

Кстати, свет от фонарика оказался настолько слабым, что он не то, что медведя, а и летучую мышь навряд ли мог ослепить. Стараясь быть готовым в любое мгновение зажечь фонарь, то есть спустить предохранитель, я для бодрости и ясности головы несколько раз прикладывался к фляжке.

Я около десяти раз проделал все эти операции, разумеется, кроме выстрела, и, довольный собой, уже оставил было винтовку, как вдруг почувствовал, что забыл, в каком положении должна находиться пластинка предохранителя, когда она предохраняет ружье от случайного выстрела. Я никак не мог припомнить, в каком положении она предохраняет от выстрела, эта проклятая пластинка: когда она сдвинута вниз или оттянута наверх.

Сначала я старался припомнить, как было до того, как я стал тренироваться. Но я ничего не мог припомнить. Тогда я решил логически или даже филологически дойти до истины. Говорят, рассуждал я про себя, спустить курок. Но означает ли это, что и предохранитель надо спустить, то есть сдвинуть пластинку вперед? Но с другой стороны, не означает ли спустить курок — это оттянуть мешающий курку предохранитель и, значит, сдвинуть пластинку на себя?

Я чувствовал, что мне не хватает какого-то одного шага, одного усилия ума, чтобы решить эту кошмарную логическую задачу, и я несколько раз, чтобы прояснить свой мозг, прикладывался к фляжке и вдруг обнаружил, что она пуста.

Я решил больше не заниматься этой растреклятой логической задачей, осторожно отставил от себя ружье на такое расстояние, что я ни ногой, ни рукой не смогу его задеть, даже если усну под сенью молодого бука. На самый крайний случай, если вдруг Марат загремит с дерева и упадет именно на ружье, на этот крайний случай я его повернул стволом в сторону леса. Обезопасив себя таким образом, я несколько успокоился. Я решил, что если медведь и в самом деле появится, я все сделаю, как отрепетировал, и если не послышится выстрел, надо сдвинуть пластинку предохранителя в другое положение.

Тут я вспомнил про коньяк и мне стало стыдно, что я один, без Марата, выпил весь коньяк. Но потом, после зрелых раздумий, я решил, что я правильно сделал. Делиться коньяком с человеком, который собирается всю ночь провести на дереве, прежде всего опасно для его собственной жизни.

Именно это я ему сказал, когда он рано утром спустился с дерева и попросил сделать пару глотков. Марат на меня сильно обиделся и, не говоря ни слова, ушел под сень грецкого ореха искать орехи. Через некоторое время, вскинув голову на дерево он закричал: — Белка! — и выстрелил.

Белка висела несколько мгновений на кончике качающейся ветки. Марат промазал. Я вскинул ружье, зачем-то включил фонарь, хотя было совсем светло, и выстрелил. Тут я только вспомнил про предохранитель, значит, все-таки мое ружье не стояло на предохранителе. Ай да молодец! — подумал я про себя.

Шумя листьями, белка полетела с дерева. Я подбежал и поднял ее легкое, теплое еще тело. Марат даже не взглянул в мою сторону. Нагнувшись, он искал под деревом грецкие орехи, уже начинавшие вылущиваться из кожуры и падать с дерева.

Вот какое охотничье приключение было у нас с Маратом, если не считать встречу с геологами на обратном пути. Мы остановились на несколько часов в их лагере, и Марат попытался ухаживать за пожилой геологиней, которая сначала никак не могла понять, что от нее хочет Марат, а потом, поняв, выгнала его из своей палатки, куда он забрался во время всеобщего послеобеденного сна. Позже Марат свой неуспех у геологини объяснил тем, что был в плохой форме после бессонной ночи и действовал чересчур прямолинейно.

Но я отвлекся. Марат женился и решил бросить медвежью шкуру к ногам молодой жены в качестве награды за рождение славного наследника рода.

Чтобы действовать наверняка, он начал с того, что поехал на Урал покупать чистокровную сибирскую лайку. Он привез эту лайку и носился с ней, как хороший отец с первенцем. Жена его с первых же дней возненавидела это благородное животное. Насколько я знаю, лайка ей отвечала тем же.

Сведения о его семейной жизни этого периода очень скудны. Одно ясно, что в его доме не было большого благополучия. Тем не менее, его жена родила дочку, и они так или иначе продолжали жить вместе.

Несколько позже, когда Марат неожиданно стал писать стихи и песни, у него появилось довольно известное в местных кругах стихотворение «Я ждал наследника». Стихотворение это можно рассматривать, как грустный упрек в адрес судьбы, который, кстати говоря, легко переадресовать и на его жену.

Дочку свою он, конечно, любил, и я несколько раз видел его на бульваре, прогуливающего ее всю разодетую в полупрозрачный нейлон, и каждый раз эта сцена (гордо возвышающийся Марат и маленькая толстенькая девочка с телом, розовеющим сквозь нейлон) пародийно напоминала лучшие времена Марата, когда он по набережной прогуливался с Люсей Кинжаловой.

Кстати, сколько я ему ни говорил бросить эти пустые занятия, я имею в виду стихи, или, в крайнем случае, хотя бы бегло познакомиться с историей поэзии, или, в самом крайнем случае, хотя бы прочитать самых известных современных поэтов, Марат отмахивался от моих советов и продолжал писать с упорством, генетический код которого безусловно заложен в нем материнской линией.

И вот, что всего удивительней для человека, который ни разу в жизни не раскрыл ни одного стихотворного сборника, он добился немалых успехов. Он стал печататься в нашей местной газете, а две его песни вышли и на всесоюзную арену, во всяком случае их несколько раз передавали по радио. Никак не умаляя заслуг Марата, я все-таки должен отметить, что успех его песен — безусловное следствие очень низкого профессионального уровня этого жанра.

Тут я приступаю к самому щекотливому месту своего рассказа. Видно, писание стихов после приобретения сибир-

ской лайки окончательно добило его жену. Во всяком случае, целомудрие ее пошатнулось. Во время одного из охотничьих походов Марата жена его изменила ему с монтером, приходившим починять электричество. Может, она это сделала, пользуясь отсутствием лайки, может, она и ненавидела лайку, как потенциального свидетеля ее вероломных замыслов. Теперь это трудно установить.

Оказывается, этот пьяница-монтер сам же первый и рассказал о своей победе над женой Марата. Между прочим, несмотря на то, что рассказывал он это в среде таких же полудюмпенов-пьяниц, они упрекнули его за то, что он посмел обесчестить нашего Марата.

— Да она сама первая, — говорят, оправдывался электрик, — да она мне даже стремянку не дала сложить...

Почему-то именно это последнее обстоятельство больше всего поразило воображение мухусчан.

— Даже стремянку не дала сложить, — говорили они, как о бесстыжем признаке окончательной порчи нравов. Получалось, что стремянка, во всяком случае в развернутом виде, как бы приравнивается к живому существу, и грехопадение в присутствии раздвинутой стремянки превращается в акт особого цинизма.

Между прочим, она продолжала встречаться с этим электриком уже вне связи с починкой электричества и, само собой разумеется, без всякой стремянки.

Примерно через полгода она ушла от Марата к этому монтеру, чем несколько сгладила свой грех, но никак не сгладила боль и обиду Марата. Лично мне он показывал тот самый кинжал, которым он когда-то искромсал удава, а теперь собирался резать ее и его. Мне стоило многих слов заставить его отказаться от этой страшной и, главное, никчемной мести. Разумеется, я был не один из тех, которые уговаривали его не делать этого, хотя бы ради его собственной матери и его собственного ребенка.

Так как Марат достаточно широко извещал о своем намерении, я ждал, что лыхнинские родственники не замедлят явиться и каким-то образом укротят его гневную мечту, но они почему-то притихли и в город не приезжали. Можно догадываться, что по их таинственному кодексу морали в намерении Марата не было ничего плохого. Точно так же они не препятствовали Марату, когда он сблизился с укротительницей удава. Не только в убийстве удава, но и в самой связи с укротительницей они, по-видимому, ничего

плохого не видели, кроме молодечества или, выражаясь их языком, проявления мужчинства.

После ухода жены нервы у Марата стали сильно пошаливать. Всякие ночные звуки не давали ему спать и выводили из себя. Собственный будильник он на ночь заворачивал в одеяло и уносил в ванную. Жужжание мухи или писк комара превращали ночь в адское испытание.

А тут еще, как назло, была весна, и в пруду недалеко от дома Марата всю ночь квакали лягушки. Они настолько ему мешали жить, что он каждый день стал охотиться на них с мелкокалиберной винтовкой, решив известить всех лягушек этого пруда.

С неделю он стрелял лягушек, но потом этот, можно сказать, сизифов труд был прерван делегацией лыхнинских родственников, которые подошли прямо к пруду, и старейший из них вежливо, но твердо взял из рук Марата его мелкокалиберку.

Настоящий мужчина, было сказано при этом Марату, охотится на оленя, на волка, на медведя и на другую дичь. В крайнем случае, если из-под него кто-то выволакивает жену (выражаясь их языком), он может стрелять в этого человека, но никак не в лягушек, что позорно для их рода и просто так по-человечески смешотворно.

Больше Марат этого не мог выдержать. Он собрал свои пожитки и, покинув наш край, уехал работать в Сибирь на родину своей лайки. Я сознательно (лыхнинские старцы) не даю более точного адреса.

Что касается его бывшей жены, она благополучно живет со своим монтером, насколько благополучно можно жить с человеком, который в пьяном виде поколачивает ее, не без основания утверждая, что она в свое время изменяла мужу. Во всяком случае, можно отдать голову на отсечение, что он ее не называет своим маленьким оруженосцем.

— Меня Марат содержал, как куколку, — жалуется она соседкам после очередных побоев своего монтера.

— Ах, тебя, эфиопка, Марат содержал, как куколку, — рассуждают между собой возмущенные мухусчанки, — а чем ты его отблагодарила? Тем, что отдалась монтеру, даже не дав ему сложить стремянку?!

Перед самым своим отъездом из Мухуса Марат показал мне ответ на письмо, которое он отправлял в Москву на всесоюзный конкурс фотографий, который проводил

ТАСС. Он им посылал свой знаменитый снимок, сделанный когда-то в московском метро. Его кровоточащему самолюбию сейчас, как никогда, нужно было признание.

Я прочел ответ конкурсной комиссии. В нем говорилось что присланный снимок очень интересен, но он не подходит по условиям конкурса, потому что их интересуют **ОРИГИНАЛЬНЫЕ** фотоснимки, а не фотомонтаж, хотя и остроумно задуманный.

Они ему не поверили. Что я мог сказать Марату? Что рок никогда не останавливается на полпути, а всегда до конца доводит свой безжалостный замысел?!

И все-таки я верю, что Марат еще возродится во всем своем блеске. Но сейчас я хочу спросить у богов Олимпа во главе с громовержцем Зевсом, я хочу спросить у хитроумного Одиссея, у бесстрашного Ахиллеса, у шлемоблещущего Гектора, у всех у них, умудренных опытом естественной борьбы за обладание нежной лепокудрой Еленой. Пусть они мне ответят: как? как? как?! эта приземистая тумба с головой совенка могла сломать нашего великого друга, чьи неисчислимы победы совершались почти на наших глазах. Или тайна сия нераскрытой пребудет в веках, и нам ничего не остается, как суеверно воскликнуть: — Прочь, богомерзкая тварь! Изydi, сатана!



ВОЗМЕЗДИЕ

Чик стоял рядом с дядей Алиханом, продававшим сласти у входа на базар, когда с базара вышел Керопчик с тремя друзьями. Чик сразу почувствовал, что Керопчик и его друзья очень весело настроены и что это не к добру.

Они выпили на базаре чачи, и желание повеселиться настигло их у выхода с базара. Чик это сразу почувствовал.

— Хош (настроение) имею пошухарить, — сказал Керопчик и остановился вместе с друзьями.

Слева от входа под навесом лавки стоял Алихан со своим лотком, набитым козинаками и леденцами, а справа от входа расположился чистильщик обуви Пити-Урия.

Только что прошел дождь, переживая его, Чик остановился под навесом возле Алихана, но уже сверкало солнце, и Чик собирался уходить домой, когда появился Керопчик со своими друзьями.

Небольшого роста, коренастый Керопчик посмотрел вокруг себя своими прозрачными глазами безумной козы. Сначала он посмотрел на Пити-Урия, который барабанил щетками по дощатому помосту, куда клиенты ставят ногу, но под взглядом Керопчика перестал стучать.

Керопчик перевел взгляд на Алихана и, решив, что с Алиханом он интереснее повеселится, подошел к нему.

Чик почувствовал тревогу, но Алихан почему-то ничего не почувствовал. Высокий, сутуловатый, он стоял над своим лотком, уютно скрестив руки на животе.

— Салам-Алейкум, Алихан, — сказал Керопчик, еле сдерживая подпирившее его веселье. Чик понял, что Керопчик уже что-то задумал. Друзья его тоже подошли к Алихану, весело глядя на него в предчувствии удовольствия. Алихан и тут не обратил внимания на настроение друзей Керопчика.

— Алейкум-Салам, — отвечал Алихан на приветствие, голосом показывая неограниченность своей доброжелательности.

— Ты почему здесь торгуешь, Алихан?! — спросил Керопчик, словно только что заметил его лоток.

— Разрешениям имеем, Кероп-Джан, — удивляясь его удивлению отвечал Алихан.

— Кто разрешил, Алихан?! — еще больше удивился Керопчик, подмигивая друзьям, уже корчившимся от распивавшего их веселья. Алихан и на подмигиванье его не обратил внимания.

— Милициям, Кероп-Джан, — отвечал Алихан, слегка улыбаясь чудаческой наивности Керопчика, — начальник базарам, Кероп-Джан.

— У меня надо разрешение спрашивать, Алихан, — назидательно сказал Керопчик и легким толчком ноги опрокинул лоток. Стеклянная витрина лотка лопнула и часть сладостей высыпалась на мокрую булыжную мостовую.

Керопчик и его друзья повернулись и пошли к центру города. Они шли, подталкивая Керопчика плечами и показывая ему, как это он здорово все проделал.

Алихан молча смотрел им вслед. Губы его безропотно шевелились, а в глазах тлела тысячелетняя персидская

скорбь, самая безысходная в мире скорбь, ибо она никогда не переходит в ярость.

Сердце Чика разрывалось от жалости и возмущения подлостью Керопчика и его друзей. О, если бы у Чика был автомат! Он уложил бы всех четверых одной очередью! Он строчил бы и строчил по ним, уже упавшим на землю и корчившимся от боли, пока не опустел бы диск!

Но не было у Чика никакого автомата. Он держал в руке базарную сумку и молча смотрел вслед удаляющимся хулиганам.

Алихан постоял, постоял и вдруг, опираясь спиной о стенку лавки, возле которой он стоял, сполз на землю и, бжев на нее, стал плакать, прикрыв лицо руками и вздрагивая тощими, сутулыми плечами.

Лавочник высунулся из-за прилавка и удивленно посмотрел вниз, словно стараясь разглядеть дно колодца, на которое опустился Алихан.

— Дядя Алихан, не надо, — сказал Чик и, нагнувшись, стал подбирать леденцы и липкие от меда козинаки, сдвывая и выковыривая из них соринки. Чик подумал, что, если их вымыть под краном, то еще вполне можно продать. Он собрал все, что высыпалось, и вложил обратно в лоток через пролом разбитого стекла. Он отряхнул руки, как бы очищая их от медовой липкости, а на самом деле показывая окружающим, что ничего не взял из того, что высыпалось из лотка. Он это сделал бессознательно, как-то так уж само собой получилось.

Вокруг Алихана сейчас столпились лавочники из ближайших лавок, знакомые и просто случайные люди.

— Он сказал: — Хош имею пошухарить, — рассказывал Пити-Урия вновь подходившим, — я думал, ко мне подойдет, а он прямо подошел к Алихану...

И вдруг Чик почувствовал, что по толпе прошел испуганный и одновременно благоговейный шелест. Некоторые стали незаметно уходить, но некоторые остались, шепча вполголоса:

— Мотя идет... Тише... Мотя...

По тротуару, ведущему ко входу на базар, шел Мотя Пилипенко. Это был рослый, здоровый парень в сапогах и матросском костюме со звездой Героя Советского Союза на бушлате.

Год тому назад он появился в Мухусе и сразу же настолько возвысился над местной блатной и приблатной

мелкотой, что никому и в голову не приходило соперничать с ним. Считалось, что его пуля не берет, и потому он имел прозвище Мотя Деревянный.

О его неслыханной дерзости рассказывали с ужасом и восхищением. Простейший способ добычи денег у него был такой. Говорят, он входил в магазин со своим знаменитым саквояжем, вызывал заведующего и, показывая на саквояж, тихо говорил:

— Дефицит... Закрой двери...

Заведующий выпускал покупателей, приказывал продавцу закрыть дверь и подходил к прилавку, куда Мотя ставил свой саквояж. Мотя осторожно открывал саквояж, заведующий заглядывал в него и немел от страха: на дне саквояжа лежало два пистолета.

Заведующий подымал глаза на Мотю и тот, успокаивая его, окончательно добивал:

— Эти незаряженные, — кивал он на пистолеты, лежавшие в саквояже, — заряженный в кармане.

После этого заведующий более или менее послушно вытаскивал ящик из кассы и вытряхивал его в гостеприимно распахнутый Мотей саквояж. Мотя закрывал саквояж и, уходя, предупреждал:

— Полчаса не открывать...

Так, говорили, он действовал в самом Мухусе и в окрестных городках.

Чик не только слышал о Моте, но и довольно часто видел его. Дело в том, что недалеко от улицы, на которой жил Чик, был довольно глухой переулочек, и в конце этого переулка находилась спортплощадка с баскетбольным и волейбольным полем. Между ними пролегал травянистый лужайка, на которой росла шелковица.

Мотя почему-то любил приходить сюда отдыхать. Он или спал на траве под деревом, или, опершись на подбородок рукой, лениво следил за игрой, и его яркие синие глаза выражали всегда одно и то же — спокойный, брезгливый холод.

Даже в самую жаркую погоду, как заметил Чик, в глазах его стоял этот ледяной холод. Иногда он был благодушно настроен, перешучивался с ребятами, игравшими в баскетбол, но в глазах всегда стоял этот брезгливый ледяной холод.

И глаза Моти (что скрывать!) были источником тайно-

го восторга Чика. Чик знал, что именно такие глаза были у любимых героев Джека Лондона.

Ни у одного из знакомых Чика не было таких глаз. Чик иногда украдкой всматривался в зеркало, чтобы поймать в глубине своих глаз хотя бы отдаленное сходство с этим выражением ледяного холода, и с грустью вынужден был признать, что ничего похожего в его глазах нет.

Может быть, дело в том, что глаза у Чика были темные? Кто его знает. Но до чего же любил Чик эти стальные глаза, выражающие ледяной холод или презрение к смерти. Иногда Чик думал: согласился бы он потерять один глаз, чтобы второй глаз стал таким? Чик не мог точно ответить себе на этот вопрос. С одной стороны, ему все-таки было бы неприятно становиться одноглазым, а с другой стороны, он не был уверен, что одинокий, хотя и источающий ледяной холод глаз может производить то впечатление, которое производили глаза Моти.

Мотя, конечно, не мог не заметить восхищенных взоров Чика, когда тот издали на спортплощадке любовался им, но, разумеется, Чик с ним никогда не разговаривал, тем более на эту тему. Однажды на спортплощадке Мотя хотел Чика послать за папиросами, но Чик не успел подойти, как один из мальчиков постарше Чика выхватил у него деньги и побежал сам.

И вот сейчас Мотя, сверкая своей Звездой Героя Советского Союза, приближался к ним. Говорили, что он эту Звезду получил не на фронте, а каким-то темным путем. Чик этому почему-то не хотел верить, хотя одновременно и восхищался дерзостью, с которой Мотя носил эту Звезду, если она незаслужена...

...Мотя подходил тяжелыми шагами усталого хозяина. Поравнявшись с толпой и не понимая в чем дело, он остановился и сумрачно оглядел толпу. Толпа раздвинулась, и Мотя увидел Алихана, сидящего на земле и плачущего рядом со своим разбитым лотком.

— Кто? — спросил Мотя, с брезгливым холодком оглядывая толпу. Взгляд его говорил: то, что вы неспособны кого-нибудь защитить, это я и так знаю, но сделайте то, что вы можете сделать — назовите виновника.

Толпа несколько секунд смущенно молчала: все жалели Алихана, но никому не хотелось осложнять себе жизнь.

— Керопчик! — первым крикнул Пити-Урия и сразу же все закивали, показывая, что это правда...

— Говорит: хош имею пошухарить, — продолжал Пити-Урия, — подошел и ногой перевернул...

— Багавать на стариков, — сказал Мотя задумчиво и, уже двинувшись, добавил, — он у меня получит...

Так сказал Мотя и, скользнув холодными глазами по Чику (Чик одновременно почувствовал страх и восхищение), Мотя тяжелыми шагами хозяина прошел на базар.

— Мотя, сапоги почистить?! — крикнул ему вслед Пити-Урия, но тот ничего не ответил.

— Он у меня всегда чистит, — добавил Пити-Урия, оглядывая редеющую толпу, — все знают...

— Дай бог мне столько здоровья, — сказал лавочник, снова высовываясь из лавки и оглядывая сверху Алихана, словно удивляясь, что тот все еще не поднялся, — сколько крови потеряет Керопчик...

Чик шел домой, взволнованный всем случившимся и воодушевленный предстоящим возмездием, ожидающим Керопчика. Чик давно ненавидел Керопчика. Он ненавидел его еще с довоенных времен, о чем Керопчик, конечно, не подозревал.

В тот день Чик сидел на верхней трибуне стадиона и смотрел футбольный матч. Недалеко от него на верхней же трибуне сидел его старший брат. И вдруг он услышал, что хулиганы дразнят его старшего брата.

— Мусульманин?! Ислам-бек! Мусульманин?! Ислам-бек! — выпевали они гнуснейшими голосами.

Как настрадался тогда Чик в обиде за брата! И как гнусна была сама омерзительная бессмысленность этой дразнилки. Ну, предположим, то, что они мусульмане, это более или менее верно... Но при чем тут Ислам-бек?! В роду у Чика и его брата не было никакого Ислам-бека, и этот подлец об этом хорошо знал.

— Мусульманин? — выпевали они, как бы нарочно спрашивая у него и тут же сами с уверенной гнусностью подтверждали, — Ислам-бек!

Понимать эту дразнилку еще можно было и так: мол, он, то есть брат Чика, до того мусульманин, что зови его Ислам-беком и не ошибешься!

С каким горьким презрением поглядывал Чик на брата, особенно раздражала его стрижка «под бокс», которую самое время было оправдать. «Поймай и избежь их! — думал Чик, — ты же сильнее их, я же знаю». Но брат сидел и молчал или изредка поворачивался к ним и бросал им какие-

нибудь бесплодные угрозы, которые еще больше подхлестывали их.

— Мусульманин?! Ислам-бек!

Все удовольствие от футбольного матча было тогда для Чика испорчено. И хотя с тех пор прошло уже много лет, а брат Чика уже давно был в армии, но как только Чик вспоминал тот день, настроение у него портилось.

Чик сам не мог понять до конца, почему это так. Может быть, дело в том, что дразнили его старшего брата. Если бы дразнили самого Чика, было бы не так обидно. Он это знал.

Но главное, все-таки, заключалось в самой бессмысленности этой дразнилки, в уверенном торжестве этой бессмысленности, которая была написана на вздетом вверх на трибуны лице Керопчика, в сиянии его прозрачных козьих глаз. Он как бы говорил всем своим обликом брату Чика: вот тебе кажется, что ты давным-давно забыл о своем мусульманстве, вот тебе кажется, что Ислам-бек не имеет к тебе никакого отношения, но именно поэтому мы тебя будем так дразнить и тебе от этого будет очень обидно.

И вот сегодня этот самый Керопчик так подло обидел дядю Алихана и вдруг появился сам Мотя и при всех сказал, что Керопчик свое получит.

Возмездие, возмездие! Ну, теперь, Керопчик, держись! Чик по-разному представлял месть Моти. Иногда ему представлялось, что тот избивает Керопчика до полного нокаута. Иногда ему представлялось, что он ставит Керопчика на колени перед самым лотком Алихана и, велев ему так стоять весь день до самого закрытия базара, сам уходит по каким-то своим делам. Чик даже представлял, что Алихан, глядя на Керопчика своими круглыми персидскими глазами, делает ему знаки, чтобы тот стал на ноги и немного поразмялся, но Керопчик продолжает стоять в униженной позе, потому что так приказал сам Мотя по прозвищу Деревянный, потому что его не берет ни одна пуля. Чик даже представлял все того же лавочника, возле которого стоял Алихан, он представлял, как этот лавочник высовывается из-за прилавка и смотрит вниз на Керопчика, как бы удивляясь непомерной глубине его падения.

В течение ближайших дней Чик лихорадочно искал на улицах города, на базаре и в парках встречи с Мотей или Керопчиком.

Несколько раз он мельком видел Керопчика, но по лицу

его никак нельзя было понять, что возмездие совершилось. Мотю он тоже дважды за это время встречал на спортплощадке и несколько раз бросал на него жгучие, тоскующие по возмездию взгляды. Но понимал ли его Мотя, Чик не мог сказать, а сам напомнить ему об обещанном возмездии не решался.

Примерно через неделю после случая с Алиханом Чик пришел в парк кататься на «гигантских шагах» и вдруг увидел здесь Керопчика. Тот сидел со своими друзьями под огромной сосной и играл в «очко».

Увидев Керопчика, Чик почувствовал приступ тоски по возмездию. Он не стал дожидаться своей очереди, чтобы покататься, а тихонько вышел из парка, решив во что бы то ни стало найти Мотю.

В таком удобном виде, как сейчас, за это время он Керопчика нигде не встречал. До этого он его встречал мельком, а сейчас Керопчик сидел под сосной и играл в карты, и Чик знал, что это надолго.

Чик был так возбужден, что решил: будь, что будет, но если он найдет Мотю, то обязательно напомнит ему об обещанной мести.

Первым делом Чик отправился на спортплощадку, где любил отдыхать Мотя. Спортплощадка была расположена совсем близко от парка, в двух кварталах от него. И надо же, чтобы Чик, наконец, так повезло! Только он подошел к ней, как увидел человека, спящего под шелковицей. Это был он, Чик был в этом уверен. Да там и не осмелился бы никто отдыхать, зная, что это место облюбовал сам Мотя.

Сердце у Чика бешено заколотилось. Он пошел в ворота спортплощадки. Он пошел по лужайке к шелковице, стараясь шуметь травой, чтобы Мотя его услышал.

Услышав его шаги, Мотя приподнял голову, спросонья зевнул и посмотрел на Чика. Чик поздоровался с ним и, ничего не говоря, бросил на него взгляд, полный такого тоскливого напоминания, что, кажется, Мотя догадался. Во всяком случае, он еще раз зевнул и вдруг сам спросил у Чика:

— Керопчика не видел?

— Видел, — ответил Чик, едва сдерживая прихлынувший восторг, — в детском парке в карты играет.

Чик невольно, но отчасти и сознательно придал своему голосу такую интонацию: ему ли, после обещанного Мотей возмездия, спокойно играть в карты?!

— Приведи его сюда, — сказал Мотя и, лениво вынув из кармана папиросы «Рица», закурил.

— Сейчас, — сказал Чик и, выбравшись на улицу, изо всех сил помчался к парку. У входа в парк он остановился и отдышался. Он боялся, что Керопчик что-нибудь заподозрит и сбежит. Нельзя испугивать дичь раньше времени! Он спокойно подошел к играющим в карты.

— Керопчик, — сказал Чик, — тебя Мотя зовет...

— А где он? — спросил Керопчик, не вынимая изо рта папиросы и подымая над картами свои сейчас прищуренные от дыма прозрачные козы глаза.

— На спортплощадке, — сказал Чик.

— А что он хочет? — спросил Керопчик.

Чик окончательно уверился, что Керопчик ничего не знает о ждущем его возмездии.

— Не знаю, — сказал Чик, — он спросил меня: «Керопчика не видел?» Я сказал: «Видел». Тогда он сказал: «Приведи его сюда».

Теперь все игравшие в карты бросили играть и прислушивались к тому, что говорит Чик.

— Ты с ним дело не имел? — спросил один из игравших.

— Никогда, — сказал Керопчик и пожал плечами.

— Ну пойди, — сказал тот, что держал колоду, — раз Мотя зовет, значит, что-то хочет узнать.

— Я сейчас прикандехаю, — сказал Керопчик и, сунув во внутренний карман пиджака кучу мятых денег, лежавших возле него, встал. Он отряхнулся и, плотнее заложив в брюки сбившуюся рубашку, затянул пояс.

Чик и Керопчик вышли из парка и пошли в сторону спортплощадки. Чик заметил, что Керопчик, пока они выходили из парка, шел бодро, но потом походка его приуныла.

— А вид у него какой? — спросил Керопчик.

— Обыкновенный, — сказал Чик.

Они свернули в глухой переулок, в конце которого была спортплощадка.

— Братуха пишет? — вдруг спросил Керопчик.

— Да, — сказал Чик и почувствовал, как что-то в нем кольнуло. Он вспомнил, что брат его и после того футбольного матча много раз мирно встречался и разговаривал с Керопчиком. Это Чик помнил обиду, но сейчас она ему показалась не очень важной.

— Хороший парень был, — сказал Керопчик про брата.

Чик промолчал.

— Не жадный, — добавил Керопчик после некоторой паузы. Они уже были совсем рядом со спортплощадкой.

Они вошли в нее. Мотя, сверкая Звездой Героя, сидел на траве и ожидал их.

— Привет, Мотя! — бодро сказал Керопчик, когда они подошли. Мотя ничего не ответил и продолжал сидеть. Он даже не поднял головы. Во рту у него дымилась папироса.

— Ты меня звал? — спросил Керопчик.

Мотя опять ничего не ответил, а тяжело поднявшись и не вынимая папиросы изо рта, сказал:

— Раздевайся...

— За что, Мотя?! — удивился Керопчик.

— За хрен и за яйца, — спокойно ответил Мотя и лениво наотмашь ударил Керопчика по лицу. Голова Керопчика мотнулась назад.

— За что, Мотя?! — снова спросил он.

— За хрен и за яйца, — спокойно повторил Мотя, — раздевайся...

Чик у стало ужасно неприятно. Но почему он ему не говорит за что, подумал Чик, и главное, почему он его раздевает?!

Керопчик молча снял пиджак и протянул его Моте. Чик вспомнил, как он небрежно впихивал деньги в карман пиджака.

— Держи, — кивнул Мотя Чик. Чик у стало совсем неприятно, но возразить он не посмел. До сих пор он был свидетелем возмездия, о котором он так мечтал, а теперь стал как бы его соучастником. Чик держал пиджак на полусогнутой руке, стараясь как можно меньше притрагиваться к нему.

— Раздевайся, — снова сказал Мотя и отплюнул окурок.

— За что?! За что, Мотя?! — отчаянно спросил Керопчик.

— Я же сказал: за хрен и за яйца, — повторил Мотя и снова тяжело и лениво ударил Керопчика по лицу.

Голова Керопчика опять отмотнулась. Он расстегнул рубашку и стянул ее с себя, обнажив голую грудь, на которой был наколот орел, уносящий девушку. Наколка эта сейчас показалась Чик у жалкой.

Керопчик положил рубашку на пиджак.

— Корочки, — приказал Мотя.

Керопчик поспешно снял свои туфли и, не зная, как их вручить Чику, замешкался.

— Свяжи шнурками, мудила, — посоветовал Мотя, и Керопчик стал поспешно связывать шнурки туфель неслушающимися пальцами. Наконец, он их связал и перекинул связанные туфли через полусогнутую руку Чика.

Чем больше тяжелела рука Чика, тем сильнее он чувствовал свое участие в том, что делал Мотя, и ему это было ужасно неприятно. Кроме этого, он еще боялся, что кто-нибудь из редких прохожих на этой улице окажется знакомым и донесет тетушке, что он принимал участие в грабеже.

Но редкие прохожие переулка не обращали внимание на то, что происходит здесь.

В конце спортплощадки стоял домик, выходивший окнами на спортплощадку, там жил один нервный азербайджанец, ненавидевший эту спортплощадку, потому что мяч иногда попадал в окна его домика. Это случалось очень редко, потому что домик стоял достаточно далеко, но азербайджанец все равно был очень нервным и, бывало, часами следил из окна в ожидании, когда мяч перелетит в его дворик или попадет в окно.

— Клянусь Багировым, — иногда кричал он, — жаловаться буду!

Всем было смешно, что он, живя в Грузии, которая имеет более великих и грозных вождей, клянется далеким азербайджанским Багировым.

Сейчас он стоял у окна, и даже издали было видно, что он таращит белки глаз и как бы рвется выпрыгнуть в окно. Жена, стоя за ним, удерживала его. Чик понимал, что его не столько удерживает жена, сколько собственный страх.

Неужели он его и брюки заставит снять, с ужасом подумал Чик, когда Керопчик повесил ему на руку свои перевязанные шнурками туфли.

— Шкары, — приказал Мотя, словно отвечая Чику.

— Хоть скажи за что?! — снова отчаянно попросил Керопчик. Лицо у него побледнело, и только на щеке, куда его дважды ударил Мотя, горело красное пятно.

— Я же тебе сказал, — спокойно отвечал Мотя, — повторить?

Керопчик расстегнул пояс и стал дрожащими руками снимать брюки и долго не мог вытащить ногу из одной

штанины и наконец, вывернув ее, снял брюки и положил их на уже немевшую руку Чика.

Теперь Керопчик стоял в носках и сатиновых трусиках, и орел, уносящий девушку, наколотый на его груди, казался еще более нелепым.

Чикю стало его страшно жалко. Ему стало стыдно, что все это случилось благодаря его стараниям. Чтобы уменьшить этот стыд, он старался припомнить, как Керопчик дразнил его старшего брата, как тогда ему было больно и тяжело слышать его гнусное пение, он старался вспомнить, как Керопчик нагло опрокинул лоток Алихана, но все это сейчас почему-то казалось не таким уж важным по сравнению с унижением, которому подвергал его Мотя.

Неужели он его в таком виде заставит пройти по городу и неужели я должен буду идти рядом и нести его одежды, с тоскливым отчаяньем думал он.

Когда Керопчик положил, вернее, даже повесил брюки на согнутую руку Чика, азербайджанец схватился за голову, а потом решительным движением высунулся из окна, словно хотел прыгнуть, но жена его опять удержала. Из другого окна выглядывали трое черноглазых детишек азербайджанца и с большим любопытством следили за происходящим на спортплощадке.

— Ну, теперь трусы, — сказал Мотя, — а носки можешь оставить.

— Трусы я не сниму, — вдруг сказал Керопчик и еще сильнее побледнел. В его прозрачных глазах появилось выражение смертельного упорства загнанной козы. Он приподнял голову и прямо смотрел на Мотю, ожидая удара.

Мотя не стал его ударять, а спокойно вынул из бокового кармана финский нож. Страх и ужас сковали Чика. Неужели он его будет убивать, мелькнуло у него в голове, как же это может быть?

— Сымай, — сказал Мотя и посмотрел в глаза Керопчика своим холодным брезгливым взглядом.

— Не сниму, — сказал Керопчик тихо и еще больше побледнел.

Мотя взял свой финский нож за лезвие и, оставив острие свободным пальца на три, наклонился и всадил нож в голое волосатое бедро Керопчика.

Приступ тошноты подкатил к горлу Чика. Керопчик неподвижно стоял и только слегка дернулся, когда нож вошел ему в ногу. Мотя разогнулся и посмотрел на Кероп-

чика своими холодными брезгливыми глазами, и вдруг Чик у показалось, что он понял смысл выражения его глаз: человеческое тело незащищено против ножа и пули и потому сам человек достоин презрения.

Густая пунцовая капля крови появилась на том месте, куда Мотя всадил нож. И только Чик удивился, что оттуда не идет кровь, как Керопчик переступил с ноги на ногу и из раны полилась тоненькая, быстрая струйка крови. Она прошла вдоль ноги и затекла за носок.

— Сымай, — повторил Мотя.

— Не сниму, — ответил Керопчик, глядя на Мотю, и глаза его теперь были похожи на две ненавидящие раны.

Мотя наглядно перехватил лезвие финки, так что теперь он освободил его от острия, примерно, на четыре пальца и, наклонившись, всадил лезвие в другую ногу Керопчика. Керопчик вздрогнул, но опять не сошел с места, и только Чик услышал, как у него скрипнули зубы.

И опять Чик, как сквозь сон, удивился, что из ноги не идет кровь и опять Керопчик переступил с ноги на ногу и струйка крови, еще более обильная, полилась вдоль ноги, извиваясь и выбирая русло между густыми курчавящимися волосками.

— Негодяй, что ты делаешь! — вдруг с улицы раздался чей-то зычный голос и через секунду в воротах спортплощадки появился высокий человек в военной форме. Бесстрашно глядя на Мотю, он быстро приближался к ним. Чик успел заметить, что Мотя, посмотрел на него никак не изменившись в лице, его глаза по-прежнему светились спокойным брезгливым холодом. В то же время он заметил, что Керопчик не только не обрадовался этой неожиданной помощи, а с явным раздражением смотрит в его сторону.

Не успел военный пройти и половину расстояния от ворот до того места, где они стояли, как из окна в самом деле выпрыгнул азербайджанец и с криком помчался в их сторону.

— Энкэвэдэ! — кричал он дурным, бляющим голосом, — я все видел! Я — свидетель! Энкэвэдэ!

Военный и азербайджанец, сверкая безумными глазами, почти одновременно подступили к Моте. Военный что-то возмущенно говорил Моте, показывая рукой на его Звезду Героя, но голос его полностью заглушался голосом азербайджанца.

— Чакалка! Гитлер! — кричал он, — идем Энкэвэдэ!
Я — свидетель.

Мотя в это время спокойно всовывал нож в боковой карман бұшлата.

— Пирячет! Пирячет! — с торжествующим злорадством закричал азербайджанец, — а кировь, куда пирятать будешь?

И он показал на окровавленные ноги Керопчика.

Вдруг Мотя выхватил из кармана, куда он прятал нож, пистолет и с криком: — Ложись! — выстрелил два раза.

В первое мгновение Чикну показалось, что он убил азербайджанца и военного, потому что оба они упали, как подкошенные, и только через секунду Чик понял, что Мотя стрелял в землю.

Почти сразу после выстрелов раздался истошный голос жены азербайджанца, и Чик увидел, что она бежит к ним, рвя на себе волосы и крича, как по покойнику. Чик не понял, выпрыгнула она в окно или вошла через вторые ворота, которые были расположены возле их домика.

Услышав крики жены, азербайджанец приподнял голову, издали показывая, что он вполне жив-здоров и только удивляется ее странному поведению.

Увидев, что муж ее жив, жена азербайджанца бросилась в ноги Моти и стала целовать его сапоги, приговаривая: — Мамочка — не убивай! Его не жалко — дети жалко! Мамочка — не убивай.

Тут Чикну показалось, что Мотя немного растерялся.

— Ладно, ладно, — сказал он, слегка отстраняясь от нее и, обращаясь к военному, приказал: — Встать!

Рука его, до этого свободно державшая пистолет, отвердела.

Азербайджанец, лежавший рядом с военным, сейчас посматривал на него, как бы удивляясь, откуда здесь могло появиться это чужеродное существо.

Военный молча встал.

— Кругом, шагом марш! — приказал Мотя, и высокий, сильный на вид военный, посмотрев на Мотю ненавидящими глазами, молча повернулся и, опустив голову, ушел.

Но ведь у него нет оружия, подумал Чик, стыдясь за военного и жалея его, а Мотя может сделать все, что захочет.

— Вставай ты тоже, — обратился Мотя к азербайджанцу и, пряча пистолет, брезгливо передразнил: — Энкэвэдэ...

Азербайджанец вскочил на ноги и слегка отряхнулся

не столько от пыли, сколько показывая, что с недоразумением покончено и вообще оно было незначительным.

— Какой Энкэвэдэ!? — отвечал он Моте. — И где Энкэвэдэ?! Зайдем мой дом, гостем будешь, да? Гудаутское вино выпьем, да?

— Пошли, — вдруг сказал Мотя, охватывая всех глазами.

— Спасибо, мамочка! — снова запрочитала жена азербайджанца.

— Цыц! — прикрикнул на нее муж и погрозил пальцем, — иди что-нибудь приготовь!

Жена азербайджанца быстрыми шагами, переходящими в побегу, пошла вперед, а следом двинулись все четверо. Впереди Мотя с хозяином, а чуть позади Керопчик в сатиновых трусиках и в носках, со струйками полусохшей крови на волосатых коротких ногах, а рядом с ним Чик, оглушенный всем случившимся, с одеждой Керопчика, висящей на онемевшей руке.

И пока они переходили спортплощадку, и пока, выйдя на улицу, входили в дом азербайджанца, у ворот домов, расположенных напротив, стояли люди и молча следили за ними. Чик знал, что все они появились, как только раздались выстрелы, во всяком случае никак не позже. Он также знал, что никто из них не пожалуется в милицию и не расскажет об увиденном.

Чик запомнил выражение лица хозяина, когда он, гостеприимно распахнув дверь, пропускал туда всех и одновременно поглядывая на улицу, как бы говоря ближайшим соседям: — Хочу — зову Энкэвэдэ, хочу — приглашаю в гости — это мое дело.

Гости прошли по довольно темному коридору, хозяин открыл дверь перед собой, и они вышли на светлую застекленную веранду, где стояло несколько больших бочек, как понял Чик, пустых. На одной из бочек стоял небольшой бочонок и по влажной втулке было видно, что в нем есть вино.

Хозяин достал висевший на стене резиновый шланг, поставил рядом с маленькой бочкой пятилитровую банку, открыл бочонок, сунул туда конец шланга, второй конец взял в рот и, втягивая щеки, стал высасывать оттуда вино. Вытянув вино, он быстро вынул изо рта конец шланга и сунул его в банку, куда мягко стала стекать розовая изабелла. На веранде запахло виноградом. Все это он проделывал с

лихорадочной быстротой, то и дело поглядывая на Мотю, словно стараясь убедиться в правильности своих действий. Когда вино стало стекать в банку, он торжествующе посмотрел на Мотю. Теперь он сам был убежден в правильности того, что он делал.

Мотя взглянул на Чика и, кивнув на одну из бочек, сказал:

— Положь...

Чик сбросил одежду Керопчика и освободил онемевшую руку. Он посмотрел на Керопчика, Керопчик посмотрел на Мотю, может быть, ожидая, что тот предложит ему одеться, но Мотя промолчал.

Чик обратил внимание, что на противоположной стене веранды, над уютной тахтой висел портрет Ломоносова. Точно такой же портрет висел у них в школе, и Чик никак не мог понять, откуда взялся портрет отца русской науки в этом доме.

— Красивый мужчина, да, — сказал хозяин, обратив внимание на то, что Чик смотрит на портрет Ломоносова, и как бы объясняя причину появления здесь этого портрета.

Вот уж не сказал бы, подумал Чик. Круглое бабье лицо Ломоносова под париком никогда не казалось Чики красивым.

Хозяйка внесла большую миску с нарезанными помидорами и огурцами и поставила ее рядом с вином и вышла.

— Сейчас один-два стаканчика, пока курица будет, — сказал хозяин, разливая вино.

Пили почему-то из поллитровых банок.

Хозяин произнес тост за Мотю. Он говорил, все время повышая голос и, как догадывался Чик, все больше и больше пьянел от радости, сознавая миновавшую опасность. В конце концов, он сказал, что город не так дрожит, когда пролетает «юнкерс», как дрожит, когда проходит по улице Мотя. Держа банку в руке, Мотя слушал его с выражением угрюмой благосклонности.

Чик все время думал, как бы ему уйти отсюда, но не знал, как это сделать. Он боялся, что когда они напьются и уйдут отсюда, ему придется по всему городу нести одежду Керопчика, если Мотя не сменит гнев на милость.

Когда хозяин дошел до «юнкерса», Мотя попытался его остановить.

— Ладно, — сказал он, приподняв банку и показывая, что тост затянулся, а ему хочется выпить.

— Цыц! — прикрикнул вдруг на него хозяин, — когда за тебя пью, ты должен слушать и молчать.

И Мотя в самом деле промолчал.

— Аллаверди нашему Керопчику! — сказал хозяин, выпив свою банку до конца и перевернув ее, показал, как от души до последней капли он выпил.

И Керопчик произнес тост за Мотю, стоя в своих сатиновых трусах с кровавыми ручейками спекшейся крови на волосатых мускулистых ногах. Он говорил, всем своим видом показывая, что стоит выше личной обиды, может быть, по ошибке нанесенной ему Мотей.

Выпив свою банку, он сделал несколько шагов к бочке, поставил банку и взял из миски ломоть помидора. Когда он шагнул, Чик заметил, что от его ног остаются грязно-красные следы. Мотя тоже это заметил.

Чик молча пригубил банку. Хозяин хотел заставить его выпить, но Мотя знаком показал, что Чик у пить необязательно.

Выпив свою банку с вином, Мотя тоже взял из миски большой ломоть помидора и огурца, отправил их в рот и, жуя, мотнул головой на ноги Керопчика:

— Поди вымай...

— В бочке вода! — охотно отозвался хозяин, словно мытье ног Керопчика входило в его планы, только он ждал удобного случая. Хозяин распахнул дверь веранды и кивнул на бочку, стоявшую под водосточной трубой.

— Можно, папиросу возьму, — сказал вдруг Керопчик, показывая Моте на пиджак. Последовало долгое молчание. Мотя смотрел на Керопчика, словно пытаясь его узнать. Потом он медленно полез в карман и вынул оттуда пачку папирос «Рица». Он закурил сам и дал закурить Керопчику. С дымящейся папиросой в зубах Керопчик уверенно прошел во дворик.

— Чик, попроси у хозяйки кружку, — крикнул он оттуда.

Чик прошел в темный коридор и оттуда вошел в кухню, где хозяйка ошпаривала курицу в кипятке, чтобы ошипать ее. Чик с тоскою подумал, как это долго все будет продолжаться. Он еще обратил внимание на то, что детей нигде не видно. Наверное, хозяйка их куда-то услала или спрятала в другой комнате. Хозяйка дала ему кружку и большую чистую тряпку, чтобы Керопчик мог вытереть ноги. Вид у

нее был очень подавленный. Перед Чиком ей нечего было изображать гостеприимную хозяйку.

Когда Чик вышел из кухни и проходил по веранде, хозяин и Мотя пили по второй банке. Чик подошел к водосточной трубе, где рядом с бочкой стоял Керопчик. Он уже снял свои носки и, сделав несколько глубоких затяжек, докурил папиросу и выбросил ее.

Чик поливал ему из бочки, а Керопчик сначала вымыл носки, повесил их на край бочки и стал мыть ноги. Он с лихорадочной быстротой соскребал с ног кусочки запекшейся крови. Он очень тщательно мыл ноги. Он их так мыл, словно надеялся, что все, что было, сейчас смоем и все забудется, а Мотя вернет ему одежду. Самые ранки, куда ударял его Мотя, покрылись засохшей корочкой крови и он не стал их трогать, чтобы они не кровоточили. То ли от воды, то ли от волнения, Керопчика колотил озноб. Он надел свои влажные чистые носки, и они с Чиком поднялись на веранду.

Хозяин разливал по третьей банке. Мотя курил. В столбах дыма, озаренных закатными лучами солнца, едва сдерживая космический восторг, плыл Ломоносов.

Чик прошел с кружкой на кухню. Он поставил кружку на стол. Хозяйка его даже не заметила. Он тихо вышел в коридор, но повернул не на веранду, а прямо к выходу на улицу. Он распахнул дверь и, не веря своему освобождению, вышел на улицу. Он сделал несколько шагов в сторону дома, а потом не выдержал и побежал. Он бежал до самого дома, словно выныривая и выныривая и выныривая, просыпаясь и просыпаясь от ужасного сна.

Дома никто ничего не знал о случившемся, люди ничего не знали о том, что происходит у них под носом. А может вообще ничего не было? Во всяком случае Чик перестал ходить на спортплощадку, где любил отдыхать Мотя. Зимой Мотю арестовали и, по слухам, он получил громадный срок и больше никогда в их городе не появлялся, даже если ему и удалось выйти из тюрьмы.

С того самого дня Чик потерял интерес к людям с холодными стальными глазами. Он даже впал в обратную крайность, то есть, увидев человека с такими глазами, он начал подозревать его в преступных склонностях, хотя обладатели таких глаз иногда бывали людьми даже слишком благопристойными.

Что касается Керопчика, то его тоже пару раз аресто-

вывали по мелочи и он, в конце концов, образумился и стал сапожником по модельной дамской обуви. Он работает на том же базаре, и будочка его изнутри украшена снимками кинозвезд и звезд мирового футбола.

Кроме того, после критики культа Сталина он одним из первых повесил у себя в будке подпольный монтажный портрет Сталина с сыном Василием. В портрете звучал тоскливый намек на права законного наследника.

Одним это казалось последним всплеском былой дерзости Керопчика, другим — чисто коммерческим ходом: среди любителей модельной обуви обнаружилось немалое количество тайных и не очень тайных приверженцев разоблаченного кумира. Впрочем, власти за это никого не преследуют, и Керопчик, как сказал один человек, умеренно процветает в рамках существующей законности.

ДУБЛЕНКА

Все мы вышли из гоголевской «Шинели».

Изречение

Глава I

«Пойдемте в театр?»

Дело было давно, лет через десять после того, как первый человек высадился на Луне, большинство людей забыло, в каком это случилось именно году, с тех пор многое изменилось, хотя, конечно, ничто, разумеется, строго говоря, не изменилось — сейчас, к счастью, все изменяется, не изменяясь, и все-таки, пожалуй, кое-что в некотором смысле изменяется.

Например, если встать сейчас в этом городе за колоннами дворца в стиле Карла Ивановича Росси, дворца, над которым победно развевается свежее красное знамя, и приглядеться к людям, идущим во дворец на работу, то заметно, что одеты они разнообразно, чего во времена высадки на Луне еще не наблюдалось. Кто в отечественном пальто, кто в импортном плаще с погончиками, кто в чем-то из кожи, но не времен гражданской войны, а синтетической. И головы переменились, на одной берет, на другой шляпа, на иных даже кепки с претензией, а некоторые — правда, очень некоторые — ничем не прикрыты, кроме волос. Изменение, конечно, налицо, но и нет изменения, потому что сейчас, как и тогда, сразу видно, кто важнее, видно не только среди тех, кто из машины вылез один, а и среди тех, кто из машины вылез с двумя-тремя себе не совсем, но

подобными, и даже среди тех, кто прибыл в автобусах и на троллейбусах или высадился за углом из трамвая. Походка разная, здороваются по-разному, головы на плечах сидят по-разному — нет, это не по естественным причинам природного разнообразия, генетика тут ни при чем, это от служебного места внутри дворца. Более важный кивнул — и спешит к цели, не торопясь, а менее важный здоровается обстоятельно, идет к цели скромно, не мешкая, но и не обгоняя. Чем важнее, тем внутренне неподвижнее, а внешне увереннее, и наоборот.

В этом изменений не было. И быть не могло. И не будет. Не будет!

Вон один идет — в клетчатом пальто, без головного убора! Не было раньше таких пальто и таких головных уборов не было, чтобы без. Вот это изменение! Однако и нет никакого изменения, просто надел человек клетчатое пальто, а на голову ничего не надел. Какие тут изменения? Вот если бы он сейчас догнал того, в серой шляпе, который из машины один выгрузился, хлопнул бы по плечу и сказал: «Привет, Володя! Как спалось?» — это было бы изменение. Но не было и нет. И не будет!

Или этот идет — среднего роста, сильно за пятьдесят, незаметный, но хорошо сохранившийся, в ботинках из ремонта, в пальто из химчистки, на висках ни одного седого волоса; сказал бы этот, можно выразиться, с виду нержавеющей, вон тому, внутренне неподвижному, что прошел и ответно кивнул: «Что это глаза у тебя с утра такие тусклые? Перепил, что ли, вчера? Смотри друг, береги здоровье — стареешь очень!» — вот это была бы перемена! Не будет! И не надейтесь!

В это утро нержавеющей человек и думать о таком, разумеется, не думал, а вошел во дворец, как всегда. В гардеробе он столкнулся нос к носу с новым наивысшим начальством, которое тут же почему-то демократично раздалось, наверно, подумал нержавеющей, такой будет порядок. Только он все это успел подумать, как наивысшее начальство протянуло ему руку и сказала без выражения:

— Говорят, у тебя трудности в семье?

Месяц назад от нержавеющей ушла жена, ушла без объяснений: собрала вещи и уехала в родную деревню на реке Белой. Оставленный муж тоже был родом из деревни, но другой деревни, смоленской. Объясняя свое необычное

имя, он сказал, почему-то волнуясь, вчера молодой поэтессе, пришедшей к нему на прием:

— На заре голого энтузиазма отец мой, выйдя из бедняков и подняв мысль до понимания грамотного мировоззрения, прочитал слово филармония с большой буквы и погрузился в любовь, приняв за лицо и даже полагая женой наркома просвещения, поскольку нарком по ее поводу беспокоился, и потом отец назвал меня, как есть.

Так это и было на заре. Отец нынешнего инструктора целый день смотрел испытующе на свою жену Анну, а потом спросил:

— Если сын — как назовем?

— Если дочка — Анною, — упрямо ответила жена, поправляя на голове красную косынку.

— Нет, — сказал Иван Онушкин, — если сын, назовем Филармоном.

И повесил на стенку фотографическую киноактрису, державшую в руке наган.

— Ваня, кто это? — спросила жена, беременная инструктором.

— Филармония, — сказал Ваня. — Бесстрашный пролетарий, друг безземельных, жена наркома нашей грамоты, которую испортили белобандиты в Тамбове.

— Убери, — сказала жена. — Не то скину.

— Нельзя, — сказал отец будущего инструктора.

— Как это мне нельзя из моего живота выкинуть? — удивилась жена.

— Я про нее думал, — сказал отец инструктора.

— Думай, но со стены убери, — сказала жена.

Красавицу с наганом отец, посоветовавшись мысленно с наркомом, сложил и спрятал на груди, а сына назвал в ее честь...

— Боже, какие были глупые люди, — радостно сказала вчера поэтесса Лиза.

Филармон Иванович нахмурился. Елизавета Петровна принесла ему вчера рукопись стихотворений в прозе, отвергнутую местным журналом, принесла на арбитраж. Конечно, Филармон Иванович ни за что на свете к такой рукописи не притронулся бы, но ему велело непосредственное начальство, торопившееся в отпуск, а непосредственное начальство уговорил хотя бы прочесть и высказать мнение лечащий врач подружки, страдавшей чем-то таким, по просьбе однокашника — главного инженера обувной фабрики, а

кто уговорил главного инженера, оставалось долгое время неизвестным и выяснилось гораздо позднее, в ходе следствия, точнее, не кто уговорил выяснилось, а кто мог уговорить, кто был знаком с этим злосчастным инженером, с которого все и началось, изменения начались, хотя, в конечном счете, ничего и не изменилось, ох, уж этот пока неизвестный, знакомый инженеру... Вообще-то, строго говоря, с рукописи началось — не было бы рукописи, не пришлось бы Филармону Ивановичу ее читать, не попал бы он во всю эту историю... А еще строже говоря, с поэтессы Лизы, рукопись сочинившей...

Филармон Иванович не за рукописи отвечал, а за театры и за их репертуар. Вернее, не он отвечал, а его непосредственное начальство, он только помогал отвечать, но и помогать было всегда очень трудно, мешал ему один недостаток, врожденный изъян: Филармону Ивановичу все спектакли, которые он смотрел, всегда нравились до остолбенения, до восторга, граничащего с обмороком, с гибелью. Ему было все равно, бодро или вяло играют актеры, умна или глупа пьеса, талантливо или бездарно поставил ее режиссер — Филармон Иванович самозабвенно восхищался всем, готовый полноценно жить и умирать вместе с актерами, чувствовать себя и принцем датским, и автостроителем, и Анной Карениной, и Марьей Антоновной, и негритянским подпольщиком, и тремя мушкетерами...

Трудно, даже мучительно трудно было ему скрывать, как он влюблен в каждую реплику актеров, в каждое их движение, и даже в декорации, и даже в музыку, и даже в освещение. Он сидел в первых рядах, не шелохнувшись и окоченев, неохотно выходил в антракте, не слушал, что ему говорят гостеприимные режиссеры, директора, завлиты, ведущие артисты, секретари театральных бюро, критики, родители будущих гениев. Он ходил по фойе или сидел в кабинетах с таким же неподвижным лицом и неподвижным телом, как и в зале, недоступный для сплетен, влияний, и после первого звонка шел на свое место. После нескольких посещений спектакля он выучивал пьесу наизусть, мысленно подсказывал актерам их реплики, замирая, ждал знакомых слов и выражений, заходилась до сердечной судороги счастья, когда актеры меняли текст, импровизируя. Однако восхищался внутренне, не внешне.

Но слишком часто ходить в театры он не мог — подумали бы, что ему спектакль очень уж понравился или, хуже

того, актриса какая-нибудь тут того... И за кулисами он старался не бывать, разве что сопровождал высокого гостя, строго в соответствии с протоколом. Ни лицом, ни жестом, ни глазами Филармон Иванович никогда себя не выдал. Рад бы он и на репетициях посидеть, и с актерами счастлив бы встречаться, но — нельзя... Когда же после премьеры или приема его спрашивали, понравился ли ему спектакль, он говорил:

— Что это вы так вдруг... Подумать надо, а вы — понравился, не понравился...

И улыбался вдруг, разрушая свою неподвижность, а потом снова становясь недоступным.

Начальству он докладывал, если оно само не смотрело спектакль:

— Как сказать... Сложно... Надо посмотреть и подумать...

Каждый раз начальство тревожилось и говорило, если не смотрело:

— Что это они в простоте слова не скажут, а мы за них решай! Придется поехать и посмотреть! А?

— Надо поглядеть, — кивал Филармон Иванович. — Я бы тоже еще раз посмотрел, подумал...

И клевало, всегда клевало начальство! Знал Филармон Иванович, что на сомнение обязательно клюнет и поедет проверить! Второй раз сидел он на спектакле, смотрел, наслаждался, а в антракте не обращал внимания на встревоженные лица режиссера, директора, секретаря бюро. После спектакля начальство говорило:

— Вроде бы нормально, а?

— Вроде нормально, — соглашался Филармон Иванович.

— Ну, пусть идет. Разрешим А?

— Пусть, — кивал Филармон Иванович, невидимо ликуя. — Только я еще раз посмотрю, если не возражаете. Мало ли чего...

— Посмотри, — одобряло начальство.

В третий раз смотрел спектакль Филармон Иванович, укрепляя репутацию работника трудолюбивого и строгого. Другие по вечерам к семье, к застолью, к телевизору, а он — в театр. Работать. Смотреть и наслаждаться.

— Ну, как? — спрашивало начальство.

— Пусть идет, — говорил Филармон Иванович.

— А не скучно? А?

— Как может быть скучно, если идейно правильно? — говорил Филармон Иванович и улыбался своей неожиданной улыбкой, и начальство улыбалось, понимало — шутит.

Непосредственное начальство Филармона Ивановича менялось часто — кто уходил вверх, кто в сторону, кто и вовсе выпадал из колоды, покидал номенклатуру... Предыдущее начальство такое отмочило, что и не придумаешь: влюбилось в большеногую и большерукую красавицу, члена сельской делегации одной братской страны, женилось на ней, положив партбилет, когда до этого дошло, и уехало в эту братскую страну, где поселилось в деревне и стало разводить землянику, поскольку там временно коллективизации все еще тогда не было. Видели это бывшее начальство Филармона Ивановича наши там туристы на базаре, начальство бойко торговало на братском языке, к землякам интереса не проявило, бесплатно земляникой не угостило, на вопросы отвечало скупо, даже выпить отказалось. Понять такие события с предыдущим бывшим начальством Филармон Иванович никак не мог, а если все-таки силился — начиналось головокружение и даже останавливалось сердце, отчего он поскорее бросал думать о начальстве, базаре и землянике, и сердце снова начинало стучать нормально.

Зато начальство, которое было перед предыдущим, уехало учиться в столицу, по слухам — преуспевало, сумело, говорили, понравиться одному из.

Начальство менялось часто, и потому мог Филармон Иванович с каменным лицом смотреть театральные представления, напоминая вулкан, который еще никогда не извергался и потому неизвестно — это вулкан или только гора, а может, просто выпуклость на ровном месте.

И вот пришлось ему не спектакль смотреть, а рукопись читать, да еще стихи в прозе, да еще под названием «Ихтиандр». Стихи и прозу Филармон Иванович не любил, имя Ихтиандра встречал, вроде бы, в научной фантастике, но зачем оно тут — недоумевал, поэтому на автора смотрел вчера неодобрительно. А она, этот автор, мало того, что названием смущала, так еще не постеснялась, идя, можно сказать, в храм, наполненный светом, надеть брючный костюм ярко-зеленого цвета, пояс из золотой цепи и колье из грецких орехов, отца и мать его назвала, почти прямо, глупыми, а могла бы и понять их чувства, искренние и прямодушные, правда, не публично назвала, а с глазу на глаз, достоверно, но все-таки внутри, где не только осуществляет-

ся власть и не только осуществляется преемственно, от зари до зари и дальше, но и скромно вокруг, никаких излишеств, разве что поставили недавно всюду сифоны с самогазирующей водой, зачем это надо было — стеклянные емкости в металлических сетках-переплетках, с графинами жилось привычнее, без роскоши и шипения, несвоевременная это была реформа, да и вообще зачем это надо — реформы, все они были, есть и будут всегда и навеки несвоевременные, об этом им недавно наивысшее начальство опять напоминало, хотя они и сами это давно прочно знали.

— Где можно попить? — спросила поэтесса Лиза.

— Там, — неодобрительно покачал головой Филармон Иванович, подписал ей, беспартийной, пропуск, встал и смотрел неодобрительно на нее сзади, как она шла в угол, наклонялась, нажимала, шипела громко сифоном и пила, закинув прическу, а брючный костюм трепетал на ней, то прикасаясь и подчеркивая, то свободно и скрывая.

— Я приду завтра, — сказала поэтесса Лиза, беря пропуск.

Знает, подумал Филармон Иванович, что непосредственное начальство, уезжая, поручило ему разобраться за день и не тянуть ни в коем случае. Он попробовал вчера отвертеться и начал привычно:

— Подумать бы надо...

— Вот и подумай, — велело начальство, торопясь. — И завтра чтобы все было готово.

— А ваше мнение? — спросил Филармон Иванович.

— Не читал, — сказала начальство, — как решишь, так и будет. Вопросы есть?

Вопросы у Филармона Ивановича были, но найти он их не мог.

— Что стоишь? — спросило начальство, — они в простоте слова не напишут, а мы за них решай... Действуй!

И начальство сказала жене, уезжая в отпуск, телефон Онушкина, жена позвонила подруге, та лечащему врачу, тот главному инженеру, а тот еще кому-то, остававшемуся в тени, и поэтесса Лиза позвонила Филармону Ивановичу, принесла «Ихтиандра», а Филармон Иванович читал весь вечер, немного поспал и читал все утро, хотя в рукописи было всего тридцать страниц, но сплошь — головоломки.

Об этих головоломках и думал Филармон Иванович, когда наивысшее начальство ему сказала:

— Говорят, у тебя трудности в семье?

Это был особый, неслыханный знак внимания, и Филармон Иванович ответил, и как полагалось и как от него и ожидалось, бодро и приподнято:

— Преодолеем, Сергей Никодимович, преодолеем!

Тут бы и остановиться, но инструктор, утративший полное самообладание из-за Ихтиандра, вспомнил об отце и неожиданно для себя сказал:

— Вот отца в больницу никак не берут...

Отец его, овдовев и выйдя на пенсию, жил отдельно, кряхтел от радикулита, класть его в больницу с каждым годом труднее становилось, вот и в этом году вроде и не отказывали, но мест все не было, а отец к этой больнице привык, пообжился, боли там отпускали, пенсия накапливалась. И об этом подумал Филармон Иванович, читая стихи в прозе, вот и брякнул, минуя инстанции, не по правилам, посреди гардероба о своих бытовых потребностях. Брякнул и затих. Только успел подумать, что пропал, как наивысшее начальство, уже переключившее знак демократического внимания на кого-то другого, расслышало его заявление, снова кивнуло и сказала:

— Должны взять.

Это получался не просто знак, это получалось указание, и не на этот только год, а на все годы, пока наивысшее начальство будет здесь наивысшим, даже если Филармон Иванович уйдет на пенсию, до которой ему пустяк оставался, годика полтора. Теперь между отцом и койкой в больнице были одни формальности, было только тьфу, раз плюнуть.

Вот это да, думал Филармон Иванович, забыв даже об Ихтиандре. Это не то, что бывший хозяин, к которому месяцами не могли пробиться, с делами не могли, не то что с личными просьбами, да и не он не мог — завотделы, а новый за полсекунды решил, без всяких.

Внимание к человеку теперь, наверно, требуется, подумал Филармон Иванович, к каждому. И тут вспомнил он опять о Елизавете Петровне, назначил он ей на десять утра и оставалось до десяти всего две минуты.

Уже вечером, прочитав рукопись первый раз, он понял, что местный журнал отверг ее обоснованно. Плохая вещь, говорил он мысленно Сергею Никодимовичу, идя в свой сектор, темная, двусмысленная, от первого до последнего слова непонятная, а понятные фразы, несомненно, на что-то намекали, хотя на что именно — никак не удавалось уста-

новить, поскольку было непонятно целое. Вроде бы речь шла о любви героини к кому-то, живущему вне нашего мира, в глубине не то водного, не то воздушного океана и носящему временно псевдоним Ихтиандр, но, может быть, и не о любви и не к кому-то. Много раз прочитал Филармон Иванович рукопись. И кое-что ему удалось выделить для конкретной доброжелательной беседы. Например, такое:

«Из пенного пива осколком Селены навстречу тебе, и идти, прижимаясь янтарным плечом, по облачным волнам, не глядя вниз, где лишённые любви в сытости псовой растворяются в прахе...»

Доброжелательно Филармон Иванович намеревался сказать о горьковской традиции буревестника в стиле, однако, слишком туманно, индивидуалистично и на что-то намекает.

Или, например, такое:

«Сиденье автобуса было разодрано, из треугольной дырки в спину мне лезли застрявшие там чужие хлопоты, спина чесалась, контролерша разоблачала безбилетного мальчика, крича оскорбления, а тебя рядом не было, чтобы хоть спину почесать».

Здесь Филармон Иванович приготовился сказать, что можно бы о контролерше и не так, много еще безбилетных, убытки транспорту большие, люди пятак берегут, а в других странах, между прочим, на пятак далеко не уедешь. Почему-то неожиданно он представил себе ярко, как Ихтиандр почесывает Лизе спину, а той приятно, она лежит у Ихтиандра на плече, но этого написано не было, Филармон Иванович заметил, что пальцы его шевелятся, и в ужасе мотнул головой.

Или, например, такое:

— В подвал, где принимали пустые бутылки и банки и где висело красное объявление, что инвалиды Великой Отечественной обслуживаются вне очереди, вошли десять человек и потребовали принять их по двенадцать копеек за штуку, потому что они совсем пустые, нет в них давно ни капли алкоголя, а им не хватает рубль двадцать и чем они не посуда из-под вина, а черноглазый приемщик сказал, что откуда он знает, может, они от молока пустые, а он молочные не берет, а они возмутились, а у меня были именно из-под молока, и я спросила, как это не берет, а он посмотрел на меня и сказал, что я совсем другое дело, а они закричали, где же справедливость, а я сказала, что он не на

своем месте, а он сказал очень даже на своем, куда я хочу, в «Кавказский» или «Метрополь», а они сказали, если ты, сволочь, не примешь нас в долг по двенадцать копеек, мы сожжем все ящики, которые ты запас на ночную приемку слева, а я сказала, что сегодня не могу, к сожалению» — и так далее, тому подобная бестолковщина с дурным душком, и по ее поводу Филармон Иванович собирался повторить слова, которые, по слухам, произнес недавно наивысший, что в каждой области — свой БАМ и в каждом районе тоже БАМ, туда бы и поехала к героям современности, а не пускалась бы в подвал жизни.

Две минуты истекли, и вот она вошла к нему в кабинет.

Опять этот костюм, за сутки он стал еще зеленее, никакого уважения, надо же! Только вместо грецких орехов болтается на груди, нахально приоткрытый вырезом, блестящий крестик на блестящей цепочке! Глазам своим не поверил Филармон Иванович, однако всматриваться не решился — слишком много груди виднелось под крестиком, слишком белая она была, невозможно всматриваться в такое.

Хмурясь, он сообщил ей свое мнение, подкрепляя примерами, сообщил доброжелательно и закончил просто:

— Нельзя.

И убедительно замолчал, бесповоротно сокрушаясь головой.

Поэтесса Лиза начала было записывать его слова, что ему не понравилось, но почти сразу прекратила, склонила голову на плечо и стала смотреть на него своими большими серыми глазами.

— Нельзя, — повторил после молчания Филармон Иванович.

И спросил, стараясь закончить по-хорошему с этой зеленой птицей попугаем, прибывшей сюда ради доброжелательных объяснений о ее стихах в прозе, не подходящих, к сожалению, для существования, спросил, награждая своей неожиданной улыбкой:

— Значит, договорились?

— О чем? — спросила поэтесса Лиза. И добавила певуче: — Филармон Иванович?

— О перемене вашей поэтической позиции и курса жизненного творчества, — хотел ответить Филармон Иванович, но вместо этого вдруг ему сказало совсем другое:

— О замене, в частности, вашего костюма в руководя-

щем месте обыкновенной одеждой советского человека!

— Совместно будем заменять или как? — спросила эта птица. — А насчет белья какие будут указания, Филармон Иванович?

Это можно было только не расслышать, ничего другого тут было нельзя. Филармон Иванович опустил голову, огорченный тем, что эта представительница творческой молодежи так нечестно использует преимущества своей беспартийности.

Посидели молча.

— Боже мой — сказала поэтесса Лиза.

Она неожиданно протянула руку через стол и погладила его по голове, повторив:

— Боже мой...

И тут в третий раз за это злополучное утро вырвались из инструктора слова без его воли, сами собой, словно не он, а кто-то другой сказал их его ртом, причем сказал хриплым басом, он даже и услышал этот бас как бы со стороны:

— Пойдемте сегодня в театр?

Глава II

«Кто тут главный?»

Сказал такое среди белого рабочего дня, сказал посетителю, которая лет на тридцать пять моложе, не зная, не замужем ли она, какие у нее связи с начальством, за нее без нажима, но хлопотавшим. Голова закружилась, сердце приостановилось, волосы на голове шевельнулись, и тут она ответила:

— Сегодня, к сожалению, нет, Филармон Иванович. Позвоните мне завтра.

И на листке бумаги написала ему телефон.

Пальцы у нее были на вид очень ломкие.

Когда после рабочего дня инструктор покупал продукты, он чувствовал под ложечкой зеленоватую неприятность и, натываясь на нее, постигал без труда, что причина — несознательная поэтесса, повернувшая его чистую жизнь к родимым пятнам прошлого.

— Родимый ты мой, — услышал за спиной инструктор, но не решился оглянуться и посмотреть, кто это, кому и почему сказал.

В магазине насыпали ему в сетку картошку гнилого качества, он вспомнил, что газета писала о недостатках на этом фронте, однако, в именно данном магазине сдвига к лучшему не наблюдалось. Надо бы указание, но это не по его линии, по другой, где каждый год возникают сложности с уборкой, перевозкой, хранением и погодой. В другой магазин он, однако, не пошел.

Зато морковь была ничего. И мясо тоже ничего, так что можно было идти и думать о хорошем. Да и в портфеле лежали кое-какие качественные продукты, купленные еще внутри.

С тяжелой сеткой в одной руке, с толстым портфелем в другой, спешил Филармон Иванович к дому. Осень шла к концу, холодная и дождливая. Вот и сейчас моросил мелкий дождь, освежая его старое пальто и шляпу. Тут он увидел впереди что-то зеленое и скривился, как от боли. Впрочем, именно боль он и ощутил в приостановившемся сердце, но боль не страшную, а какую-то забытую, неясного свойства. Рядом с зеленым плащом-накидкой, застегнутым под подбородком золотой пряжкой, маячил некто в бежевом, с белым воротником. Хмуро, стараясь не замедлять шаг и не обращать внимания ни на нее, ни на сердце, Филармон Иванович шел вперед, а зеленое издали приветливо помахало ему ручкой, село с бежевым в черную машину и уехало, оборачиваясь и несомненно его обсуждая.

До сорока восьми лет Филармон Иванович прожил холостым и вдруг женился на молоденькой официантке-башкирке из дома отдыха, куда случайно попал в отпуск. Его жена быстро располнела, лицом стала похожа на басмача, молчаливая вообще, она почти прекратила с ним разговаривать, о чем думала, раскосо глядя на него, — неизвестно.

По вечерам она не мешала ему — любил Филармон Иванович, если не было спектакля, конспектировать книги по марксистско-ленинской эстетике, а их, к его удовольствию, выходило немало. В толстых тетрадях обязательно с обложками разного цвета, чертил он поля, нумеровал страницы, на тетрадь наклеивал белый квадратик с цифрой — номером тетради, число уже перевалило за сотню, аккуратно и крупно писал название книги, обстоятельно ее конспектировал, а в конце тетради оставлял один-два листа под перечисление того, что в тетради законспектировано. Писал он с удовольствием, длинными фразами, стараясь поменьше пользоваться своими словами, ставя кавычки,

если ничего не менял, а в скобках отмечая страницы книги, с которых выписал цитаты. Особенно важное он подчеркивал, например, такое: «Если без содержания нет формы, то и без формы нет содержания — бесформенное содержание перестает быть содержанием, однако, бессодержательная форма может некоторое время сохраняться, не являясь, строго говоря, формой, потому что содержание всегда предшествует возникновению или развитию формы». Или такое: «Диалектика художественного развития такова, что на разных этапах советского искусства нравственная проблематика ставилась и выявлялась с разных сторон, однако всегда была неразрывно слита с его идеологической направленностью»... За этим занятием Филармон Иванович засиживался допоздна, ложиться не спешил. К жене он утратил интимный интерес, пользуясь ее телом редко, большей частью по утрам, и никакого отклика с ее стороны не чувствую.

Детей у них не было и быть не могло. Сразу после загса молчаливая жена в постели вдруг рассказала ему, неожиданно горячо и волнуясь:

— Послушай, все послушай, ты муж — знать должен, мне только тринадцать было, первые месяцы, как женское началось, а он штурманом на реке плавал, в отпуск в деревню заехал, Измаил, татарин, напились все, он поил, рукой по спине провел, подвернулась я, околдовал, а мать заметила, тоже пьяная была, он ей самой нравился, отец-то наш помер, зазвала меня в сарай, и так била, так била, так била, бросила, ушла, совсем опоилась. Я лежу, плачу, а тут он, приехал, пожалел, я и не поняла ничего, девочка была, околдовал. Через восемь месяцев мертвого родила, маленького такого. С тех пор ни с кем не была, ты мне верь, ты меня прости, я тебе хорошая жена буду, я тебя любить буду, я за пожилого и хотела, ты только прости — не пожалейшь...

До помертвения органов испугался Филармон Иванович. Все, что он услышал, было неправильно, дико, являлось исключением. Вот-вот, нашел он слово, именно исключением, не характерно, из ряда вон. Сам он, если и пил, то в редких случаях, когда с ним пило начальство и не пить было бы дерзостью, но и выпив, никогда по спине никого не гладил, руки держал при себе, а язык за зубами. Чтобы мать из ревности избивала дочь — и вообразить не мог, тем более, чтобы пьяный овладел ребенком с согласия послед-

него. Вот это согласие больше всего и ужаснуло Филармона Ивановича, опустошило его душу, хотя сказал он в ответ после долгого молчания о другом:

— А Измаила что — засудили?

И жена ответила, тоже помолчав:

— Он сказал: «Ребенок будет — женюсь». Уехал сразу, писал письма. Да что он нам... Ты меня прости.

— Нет вопроса, — сказал Филармон Иванович, — поскольку несовершеннолетняя. Но как это — околдовал?

— Прости, — шептала жена, а он лежал омертвелый.

Ребенка, как сказали врачи, у нее быть больше не могло.

Десять лет жили, таких разговоров больше не вели.

И вдруг она уехала.

Придя с сеткой и портфелем домой, Филармон Иванович первым делом покормил своего кота по имени Персик, оставленного женой. Кот выбежал ему навстречу к двери, терся у ног, мелко тряс выгнутым хвостом, ждал нетерпеливо, пока хозяин нарезал мясо в блюдечко. Глядя, как ест кот, Филармон Иванович почему-то вспомнил рассказ жены, представил черную руку татарина Измаила у нее на тонкой башкирской спине, и неожиданно непонятная сила оторвала его от кормления кота и бросила к телефону.

Он опомнился только тогда, когда раздалось лениво-певучее «Я слушаю», и тихо положил трубку на рычаг. Испуганный Персик не ел и смотрел на него. Филармон Иванович заметил, что пальто до сих пор не снял, домашние туфли не надел, на полу наследил. «Боже, какое у меня никуда не годное пальто», — подумал он, но мысли его прервал телефонный звонок.

— Филармон Иванович? — услышал он. — Не вы мне только что звонили, а телефон вдруг разъединили?

— Я позвоню вам завтра, — сказал Филармон Иванович. — Как договорились.

— Часа в четыре, — сказала Лиза.

— Хорошо, — сказал Филармон Иванович, бросая трубку на рычаг, но телефон тут же взорвался звонком.

— Двести семьдесят восемь девяносто девяносто? — спросил резкий женский голос. — Клиент, с вашего аппарата только что хулиганили — звонили и вешали трубку. Телефон служит для связи, а не для хулиганства. В случае повторения вам его выключим. Ясно?

Филармон Иванович решительно не понимал, каким образом телефонная станция так быстро его разоблачила.

Забыв поужинать, он стал ходить по комнате, заметно думая. Иногда он мельком поглядывал на приготовленную книгу, тетрадь и шариковые ручки, но за конспект не садился. Часа в три ночи он, наконец, лег и заснул. И тут впервые в жизни увидел какой-то совершенно беспартийный сон.

За деревней его сорокалетнего прошлого на правом берегу реки имелся лес, в который вела дорога — через мост и по насыпи, и было в этом лесу много комаров, ландышей, лужаек с хорошей травой, чтобы пасти коров, и даже пруд. Филармон Иванович совсем не предчувствовал, что увидит во сне вдруг именно этот мост, эту дорогу по насыпи и этот насквозь знакомый лес, на каждой ветке которого висел звон коровьих колокольцев, крики соек и запах ландышей. Однако вот надо же — увидел, только совершенно все было во сне в ином свете и положении: лес поредел, остались мелкие и случайные деревья, насыпь расширилась, растеклась земляной рекой, по которой плыли выкорчеванные пни, рытвины, кучи веток. Пахло соляркой, мост отскочил в сторону, припал к воде, которой было под ним немного, и вся земля, растительность и небо изменились до почти неузнавания. Было неприятно на это смотреть, и Филармон Иванович, морщась от запаха солярки и перемены чуть ли не климата, распорядился:

— Вернуть, как было.

Но его никто не услышал, потому что он был совсем один, только издали доносилась трескотня бензопилы. Филармон Иванович пошел к пиле и спросил человека, яростно, как забойщик, вцепившегося в ручки:

— Кто тут главный, товарищ?

Человек обернулся, не выключая пилу, мотнул головой в сторону, и снова сосредоточился на пилении.

Филармон Иванович настойчиво пошел по указанному направлению и вышел к бараку, на котором висели плакаты и белесые лозунги.

Из барака кто-то высунулся, спрятался, и барак вдруг развернулся и встал к Филармону Ивановичу задом без окон и дверей.

Он пошел в обход, но никак не мог перебраться через завалы хвороста и какие-то кучи мусора, устал, выбрался совсем в стороне от барака и сел отдохнуть на бревно. Из барака выбежал мужчина в бежевой выворотке с белым воротником, помахал ему рукой и стал развешивать на

веревках белье. И тут Филармона Ивановича осенило: вот это чьи штучки! Сердце его забилося гневом, он в три решительных шага достиг двери в барак, оказался внутри и сразу полностью поверил своим глазам, точно ждал именно такого зрелища, вполне естественного в общей взаимосвязи происходящего.

За деревянным столом сидели, ели картошку и улыбались друг другу совершенно голые его жена и поэтесса Лиза, и в углу у печки копошилась скрюченная старушонка в зеленом брючном костюме, подпоясанная золотой цепью.

— Так, — сказал Филармон Иванович. — Вот, значит, как.

Жена на него не смотрела, а поэтесса Лиза сказала мягко и примирительно:

— Все течет, все изменяется, Филармон Иванович.

И он вдруг потеплел от ее миролюбия, успокоился и, глядя ей прямо в серые глаза, спросил:

— Значит, договорились?

Не было вокруг него больше никакого барака, никаких подробностей он уже не видел, только белое лицо поэтессы Лизы и ее серые мягкие глаза, и медленно проснулся, вынося из сна все приснившееся бережно, все как было, даже запах солярки, но бережнее всего это лицо.

Он проснулся, не понимая, откуда взялся этот сон, но чувство было такое, словно он вернулся с важного заседания, к которому ему пришлось готовить резолюцию, и резолюцию приняли без поправок, и эту резолюцию он куда-то дел, не может найти, а вспомнить никак не удается.

— Все течет, все изменяется, — мысленно повторил Филармон Иванович, закрыл глаза и снова увидел насыпь с сучковатыми пнями, поредевший лес и изменившуюся реку с чужим мостом, и понял, что все изменилось бесповоротно и назад уже не изменится. Да, колесо истории не повернуть вспять, подумал Филармон Иванович, вот оно — это бесповоротное колесо, которое не только огромно включает важнейшие вопросы, но и катится по мелочам, вроде леса его детства и внешнего вида земли, ни разу не повторившегося и не восстановившегося с самого доисторического времени, со времен динозавров и первобытного коммунизма.

Он вздрогнул, увидев ясно лес своего детства рядом с первобытным коммунизмом. У пещеры сидела в шкуре пер-

вобытная женщина и была камнем по камню, другая женщина кормила грудью волосатого младенца, а вдали первобытные мужчины колами и валунами добивали в яме свирепого динозавра. Так Филармон Иванович лежал и дремал, как вдруг кто-то сказал в комнате басом:

— Страшная сказка без счастливого конца!

Он очнулся сразу и так же сразу понял, что это сказал именно он сам и сказал не про себя, а громко. Он вскочил, подбежал к зеркалу, пристально всмотрелся. Нет, не череп глядел на него оттуда, не оборотень и не какой-нибудь тщеславный незнакомец, а он сам, привычный и известный. Он вернулся к постели, сел на нее, положил машинально руку на Персика, несколько раз погладил кота, потом порывисто прижал его к груди и заплакал.

Глава III

Дон Бизаре Бицепсе.

Он сидел, плакал и думал, что в четыре часа позвонит Елизавете Петровне и откажется идти с ней в театр, сославшись на нездоровье, потому что в свете наступившего ясного дня было очевидно, что невозможно ему идти с ней ни в какой театр, ему, участвующему в идейном руководстве всеми театрами города, к тому же с такой молодой, и вообще, ее, наверно, тоже многие знают, а от него ушла жена. Надо отказаться обязательно, только не на свою болезнь сослаться, а на отцовскую, надо, дескать, того в больницу уложить. Впрочем, она и сама никуда с ним не пойдет! А может, она хочет на него повлиять, через него рукописи в журнал пристраивать? Так ведь такие рукописи, как «Ихтиандр», даже наивысшее начальство не могло бы пристроить, это она должна понимать. А если пойдет, то что наденет? Попадались ему в театрах на женщинах такие наряды — ну, просто от папуасов. Вдруг у нее будет и спина голая, и плечи, и крестик на полуголой груди? Тогда что?

Но шел день, Филармон Иванович устроил отца в больницу, написал справочку наверх о работе с молодыми актерами, перекусил в буфете.

И чем темнее становился день, тем возможнее казалась встреча...

Поэтесса Лиза пришла в театр, обтянутая, как чулком, джинсами и свитером и, конечно, с крестом на груди, который так и прыгнул на Филармона Ивановича, когда с поэтессы Лизы в гардеробе снял пальто сопровождающий ее субъект — тот самый в бежевом, знакомый Филармону Ивановичу и по встрече наяву, и по встрече во сне.

Субъект протянул руку, знакомясь, и представился:

— Эрнст Зосимович Бицепс.

Филармон Иванович молча пожал узкую руку субъекта, стараясь понять, кто это такой, но тут в гардероб выкатился кубарем главный режиссер театра, лицо его было прожектором обаяния, он кинулся к ним. Филармон Иванович чуть было не сделал движение ему навстречу, но вовремя заметил, что прожектор целит не в него, а в спутника Елизаветы Петровны, весьма, со всех точек зрения невзрачного человека.

— Эрнст Зосимович, — взволнованно и глуховато сказал режиссер, — вечер добрый. Первый состав сегодня, Эрнст Зосимович.

Бицепс чуть улыбнулся тонкими губами и сказал небрежно и негромко, чтобы вслушивались:

— Дела, дорогой, посижу чуть-чуть — и уеду, а к концу спектакля вернусь.

— И ко мне, и ко мне! — еще взволнованнее и еще глуше сказал режиссер. — Здравствуйте, Филармон Иванович, — заметил он, наконец, инструктора и мельком пожал ему руку.

Все, казалось бы, получилось как нельзя лучше — субъект был вовсе не субъектом, а могущественным лицом, неизвестным Филармону Ивановичу, но хорошо известным многим — с ним здоровались почтительно и первыми, а он отвечал приветливо, но отнюдь не панибратски; этот influentialный, хотя внешне совсем бесцветный товарищ сам вел Елизавету Петровну под руку, беря на себя всю ответственность и за ее обтянутую фигуру, и за крест, он же с ней рядом и сел в директорской ложе, а инструктор с главным режиссером поместились за ними во втором ряду; все, казалось бы, хорошо устроилось, тем более, что товарищ Бицепс удалился вместе с режиссером, едва погас свет; но Филармон Иванович не мог следить за спектаклем, несмотря на первый состав, потому что был страшно расстроен.

Расстройство началось с первой секунды встречи. Его пальто оказалось невозможным рядом с верхней одеждой

Эрнста Зосимовича и Елизаветы Петровны. Костюм Филармона Ивановича был еще свежий, выходной — жена, называла его почему-то кобеднешним, — вполне достойный, как и выходные еще не стоптанные черные ботинки с добротными шнурками, как и рубашка с галстуком, но вот пальто имелось у него одно, недавно из химчистки, вполне еще вроде бы и живое пальто, но, увы, рядом с бежевой вывороткой высокопоставленного Бицепса и длиннополым тулупчиком Елизаветы Петровны, расшитым сверху донизу яркими узорами из цветной тесьмы, его пальто было совершенно постыдным, нищенским, оно громко кричало о бедности своего носителя. Убогое пальто! А он-то думал, что перелицевал, почистил — и все в порядке! Нет, идти в таком пальто по улице рядом с ней нельзя себе было даже и вообразить, лучше голым идти, не так стыдно!

— Нет, лучше голым! — хриплым басом вдруг сказал Филармон Иванович и, потрясенный тем, что впервые в жизни не усидел безмолвно в театре, вытаращил глаза... Поэтесса Лиза отнесла его выкрик к происходящему на сцене и засмеялась.

В то время, то есть, повторим, лет через десять после того как нога человека впервые ступила на Луну, на Земле прочное место занимала в моде верхняя одежда под названием дубленка, тулупчик, выворотка, полущубок. Как все разнообразие людей произошло — еще недавно в это очень крепко верили — от обезьяны, так и все эти черные, коричневые, шоколадные, бежевые, серые, белые из кожи искусственной и настоящей, с мехом подлинным или поддельным, то расшитые цветами, то украшенные живописными заплатами, то в талию, то дудочкой, то короткие, то до пят, то грубые, то тонкие, то с аппликациями, — так и все эти наряды официально стоившие сравнительно недорого, а продававшиеся на «черном рынке» за сотни рублей, а то так и за тысячу, а то и за полторы — да, да, рассказывали о женщине, уплатившей за дубленку тысячу девятьсот рублей, Филармон Иванович сам слышал этот рассказ в столовой для рядовых — так вот, как людское разнообразие, многим хотелось бы верить, родилось от обезьяны, так и все это многоцветье нарядов произошло от обыкновенного кожуха, от старинного овчинного тулупа, от одежды примитивной, надежной и теплой, доступной прежде любому сторожу или младшему лейтенанту. Но в процессе эволюции и прогресса тулуп достиг таких высот, что Филар-

мон Иванович не мог о нем и мечтать. Денег он бы наскреб, несмотря на то, что помогал и отцу, и сбежавшей жене, рублей сто двадцать выкроить смог бы, но где достанешь эту самую дубленку? В какую кассу внесешь свои деньги, чтобы обменять их на дубленку? Пронеслись было слухи, что своих обеспечат, но не подтвердились. Филармон Иванович так захотел иметь дубленку, что даже уловил ее противный бараний запах, еще в гардеробе ошеломивший его. Он понюхал воздух, пахли волосы поэтессы Лизы, сидевшей перед ним, пахли терпкими духами, и Филармон Иванович почувствовал, что если он сейчас же, сию же минуту не станет владельцем дубленки, то либо умрет, либо делает такое, что будет вроде как бы и смерть.

Зажегся свет, поэтесса Лиза повернула к нему лицо, точь-в-точь то самое лицо, из сна, белое лицо с серыми глазами, и Филармон Иванович тихо и доверчиво сказал в это большеглазое и мягкое лицо:

— Я хочу дубленку.

Лицо посмотрело на него внимательно целую, по крайней мере вечность, и наконец поэтесса Лиза сказала:

— Хорошо.

В антракте она вела Филармона Ивановича под руку и говорила не умолкая:

— У меня есть друг, старший друг, вообще у меня много друзей, подруг почти нет, а друзей много, есть, конечно, и подруги, но этот друг самый близкий, он почти не пьет, редко рюмку, я не знаю, какая у него профессия, он о ней не говорит, но он столько знает, столько читал, столько выучил языков, что неважно, какая у него профессия, он говорит, что его специальность — понимать, я его вчера видела, он любит, когда я прихожу, поэтому вчера я и не смогла с вами встретиться, он мне рассказывал о коллапсирующих системах, он старался понять, почему такие системы все-таки, несмотря ни на что, вопреки всей логике наших представлений, неизбежно переходят с орбиты, более близкой к смерти, на орбиту, менее к ней близкую...

Филармон Иванович хотел было спросить, что это все такое, хотел сказать, что он ничего не понимает, что это отдает чуждым душком, отдает не почему-либо — физика и математика, а может быть, в данном случае, и астрономия в рамках теории имеют право отражать разные орбиты, если верно... — хотел, словом, во-время отреагировать,

мало ли что, да и ей не к чему повторять, но вместо этого неожиданно басом произнес:

— Не орбита важна, а ядро.

— Вот и он сказал вчера, — посмотрела поэтесса Лиза на Филармона Ивановича углом глаза, — что для коллапсирующих систем есть ядро смерти, оно внутри их орбит, а есть ядро жизни, оно обнимает их орбиты. Он сказал, что есть орбиты вне ядра, а есть внутри ядра, и это дает нам надежду. Вы бы хотели с ним встретиться?

— Нет, — сказал Филармон Иванович решительно.

— Ну, и зря, — сказала поэтесса Лиза. — А с Эрнстом Зосимовичем?

— Он кто?

— Он очень любит театр, — сказала поэтесса Лиза, — мечтал стать актером, но пришлось идти куда-то, не знаю куда, но он занят, за ним приезжают и везут на заводы, на совещания, на аэродромы, еще куда-то. Я с ним всего неделю знакома. Через него к вам и стихи мои попали, ему самому неудобно было звонить, так он через кого-то...

Может быть, подумал Филармон Иванович, товарищ Бицепс из тех неприметных выше, что охраняют нашу секретность? Может, он генерал? Почему же ни разу не заметил он такую вот звезду среди светил и средоточий власти, не заметил и следов ее силы притяжения в космических порядках областного управления? Молод для генерала... Но так знаком в театре, даже билетерше знаком, а ему, представленному к театру для руководства, незнаком начисто... Дотянуть бы до пенсии...

И тут, гуляя по фойе с поэтессой Лизой, понял Филармон Иванович, понял с несомненностью, что не дотянет до пенсии, что не соберутся на десять минут товарищи по работе, чтобы проводить его на заслуженный отдых, не скажет старший из них короткую речь, безразличную, если не к тебе она обращена, не твоей жизни итог подводит, но ждет ее с волнением уходящий, каждое слово ловит своего итога, взвешивает, сопоставляет, просыпаясь потом по ночам и вспоминая, а почему сказал: «любил труд», а не сказал «трудолюбивый? почему помолчал перед словами «позвольте обращаться к вам за советом»? Нет, не услышит он такой речи, не подарят ему ни часы именные, ни даже трехтомник Чернышевского с надписью, ни даже бюстик бессмертно прищурившегося вождя; не будет получать он поздравительные открытки ни к октябрю, ни к маю, ни даже ко Дню

победы, самому, если честно, памятному для воевавшего дню; и помешает ему заслуженно помирать, в одиночестве читая и перечитывая дорогие свои конспекты, лишит его такой честно заработанной участи эта вот случайная птица, неведомо зачем залетевшая в его принципиальную жизнь, вполне на волос было, чтобы никогда им не встретиться, ни вероятности не имелось, ни случайности, ни закономерности, как в чем-то рассказе метеорит голову человеку насмерть пробил; ни за что, ни про что — лишайся привычных перспектив, вылезай посреди маршрута из рейсового автобуса и топай в неведомое, где не ступала еще, может быть, нога человека, где нет коллектива, чтобы на пенсию проводить или хоть в почетном карауле у гроба постоять...

Пока он это понимал и думал, он прозевал начало стихов, которые ему читала поэтесса Лиза, и поймал только последние строчки:

Тени страхов называла мыслями,
Похоронив, вздохнула: удержала...
По руке, бессильно повисшей,
Последним грузом слеза сбежала...

— Это кто? — спросил Филармон Иванович.

— Это я, — ответила поэтесса Лиза. — К вышедшей замуж подруге.

Филармон Иванович почувствовал головокружение, фойе, по которому они гуляли, лишилось стен, превратилось в базар, запахло рыбой, он увидел себя, продающего темных угрей, зеркальных карпов, устриц и огромных крабов. Он остановился, судорожно схватившись за плечо поэтессы Лизы, стены вернулись на место. Вздохнув, Филармон Иванович сказал виновато:

— Душно здесь.

Под утро ему приснился сон.

Сначала почувствовал он запах рыбы, потом увидел себя и поэтессу Лизу в лодке, однако гребли не они, а молодой человек в дубленке, стоявший на корме и ловко управлявшийся с веслом. Филармон Иванович подумал было, что они плывут по реке, но увидел вместо берегов стены домов разного цвета и высоты, с балконами, увитыми хмелем, украшенными дикими розами; увидел дворцы с башнями, с колоннадами из белого и розового мрамора; к воде спускались кое-где ступени, покрытые темнозеленым бархатом мхов,

посыпанные капельками воды; над водой изогнулись горбатые каменные мосты и мостики; откуда-то доносилось пение — ни музыки, ни слов на неизвестном ему языке, Филармон Иванович прежде никогда в жизни не слышал, прекрасные голоса четко выговаривали каждый слог, они пели: «Хостипс от прэцэс, тиби доминэ», и он, хотя и не знал языка, но тотчас понял, что это означает: «Как прекрасна жизнь, о, дорогой мой», и Лиза пропела: «О каро мио, ля бэлла вита», и это он понял тоже без запинки, и сообразил, что они в Венеции, где же еще, и плывут на очередное Бьенале, где он будет продавать устриц, купленных у греческих контрабандистов за бесценок, а Лиза будет читать стихи о коллапсирующих системах.

— Дон Бизаре Бицепсе, — сказал он гребцу, — чермен-те престо.

И бросил ему золотую монету. Молодой человек понимающе кивнул и приналег на весло. Лодка понеслась по каналу, над которым зажглись желтые, синие, зеленые и лиловые фонари...

Но до этого сна был поздний вечер. На черной машине молчаливый шофер вез режиссера, поэтессу Лизу, Филармона Ивановича и товарища Бицепса. Эрнст Зосимович сам пригласил Филармона Ивановича в машину, а режиссер сказал, что очень рад, разумеется, если товарищу Онушкину не поздно, а так, конечно, он очень рад видеть у себя неожиданного гостя, и вот они приехали и вошли в квартиру режиссера, где уже была прорва народу, где удивленно поздоровался с Филармоном Ивановичем известный ему директор самого большого в городе секретного предприятия, мелькнули еще знакомые и полужнакомые лица. Со стены грозно смотрел огромный Бог Саваоф ручной работы, с потолка свисали колокола и колокольчики, звонившие на разный лад, когда на них натыкались головами, а над кухонным окном висел настоящий штурвал, поблескивая надренной медной отделкой. Потом Филармон Иванович оказался за длиннющим овальным столом рядом со старой актрисой, которую он знал хорошо, а она его не знала совсем, ему удалось почти ничего не пить и совсем ничего не говорить, да от него и не требовали, желающих пить и провозглашать тосты было навалом, режиссер стал озабоченным, куда-то выходил и выносил бутылки, но их опустошали сразу, не успевал он сесть, и тогда к нему подошел товарищ Бицепс, что-то спросил и пробрался к телефону, стоявше-

му за спиной Филармона Ивановича, так что последний невольно слышал, что говорил этот щуплый, но могущественный человек.

— Бицепс говорит. Би-цепс. Кто сегодня дежурит? Дайте ему трубочку. Анатолий, съездишь к Елене Ивановне, возьмешь ящик армянского, обязательно лимонов, остальное сами сообразите. Пусть запишут... И сюда. Да, у актеров. Двадцать минут тебе даю, ни секунды больше.

Филармон Иванович знал, конечно, что в интересах общего строительства приходится иногда простительно нарушать моральный кодекс отдельных строителей, но чтобы вот так глубокой ночью, через Елену Ивановну, ведающую резиденцией для особых гостей, своих и зарубежных, вот так среди всех, включая беспартийных и случайных, заказывать выпить и закусить, когда и в помине нет простительной причины и даже хоть какого-нибудь повода нет, а просто отдыхают частным образом люди, каждую ночь можно так отдыхать, чтобы такое было как бы и запросто, раз плюнуть — такого могущества и вообразить прежде Филармон Иванович не мог бы. И когда ровно через двадцать минут режиссер стал метать на стол бутылки коньяку, называя их ампулами, — Филармон Иванович начал пить рюмку за рюмкой, чувствуя с удовольствием, что хоть в какой-то мере спасает таким образом народное добро от бессмысленного расхищения.

Седая актриса говорила ему, хохоча, как ребенок, что товарищ Бицепс, имея, прямо скажем, не совсем понятную профессию, человек, однако, вполне душевный, отзывчивый, ничем таким не занимается, чтобы, знаете ли, телефоны подслушивать, это не по его части, анекдоты любит и сам иногда такое рассказывает! Я, говорила, хохоча, седая актриса, спросила, ну, чем же вы все-таки занимаетесь, ну, скажите мне, ну, откуда у вас такие связи и возможности, и он ответил мне под большим секретом, что должен же кто-то оберегать кое-что от того, что может кое-где случиться, понимаете? Вот он кто, а лишнее сказать он и сам иногда непрочь, только вот пить он много не любит, так, чуть-чуть, чисто символически. Однако выпить может сколько угодно — и ни в одном глазу, не смотрите, что такой худенький, в чем и душа держится. Наверно, их этому специально учат, как вы думаете? Вас, например, учили этому или вы самоучка? И он такой добрый, скольким актерам квартиры дал, а моего сына, — сказала седая актриса, пла-

ча, — он даже от армии освободил, никто не мог помочь, а он куда-то съездил — и сын остался дома, как его отблагодарить, ума не приложу, посоветуйте, чем таких, как он, благодарят?

Тут подошла поэтесса Лиза, взяла Филармона Ивановича за руку и подвела к товарищу Бицепсу, который устало записывал что-то в черную книжечку с золотым обрезаем, а директор секретного предприятия стоял над ним и настаивал:

— Эрик, мне эта марка стали позарез, никак без нее, фонды выбрали, до конца года еще больше двух месяцев, пойми, Эрик...

— Это я записал, — сказал Бицепс. — Еще что?

— Не отпускают ко мне Нянгизаева...

— Другая республика, другой совмин, — сказал Бицепс, думая. — Ладно, завтра часов в двенадцать я выйду, пройду, у памятника пусть машина меня ждет... Ровно в двенадцать!

— Сам подскочу! — обрадовался директор.

— Все у тебя, Рэм?

— Завтра поговорим, мелочи остались.

— Ну, отдыхай, Рэм, танцуй, а то поправляешься...

О Нянгизаеве Филармон Иванович слышал, очень высокое начальство давно уже хлопотало его получить себе, в центре отказывали, а товарищ Бицепс...

— Что у вас, Елизавета Петровна? — спросил товарищ Бицепс.

— Нужна дубленка, — сказала поэтесса Лиза, садясь на ручку его кресла и кивнув на Филармона Ивановича.

— Зачем она вам? — ласково спросил его Бицепс.

— Это правда, что вас учили пить и не пьянеть? — брякнул басом Филармон Иванович.

— Сказки, дорогой Филармон Иванович, — ответил Бицепс. — Страшные сказки без счастливого конца. Садитесь, вот же стул.

Поэтесса Лиза деликатно ушла.

— Не хочу, — сказал Филармон Иванович.

— Дубленка не проблема, — сказал Бицепс. — Половина театра ходит в дубленках, которые я им достал. У режиссера их уже три. Но не помогает это ему, Филармон Иванович, ни как художнику, ни как человеку. Не помогает... Да сядьте вы!

— Не хочу, — сказал Филармон Иванович и сел.

— Больше всего на свете люблю театр, — меланхолически сказал Бицепс. — И все мы в нем актеры... А вы?

— Да, — сказал Филармон Иванович и захохотал, закинув голову. Бицепс посмотрел на него, улыбнулся тонкогубо, покачал головой не то укоризненно, не то удовлетворенно и сказал бесцветным голосом:

— Вот он Гоголя будет ставить. А спросите, что он понимает в Гоголе? Спрашивали?

— Нет.

— Хотите, я спрошу?

И Бицепс спросил, и режиссер ответил длинно, но что именно — Филармон Иванович не мог понять ни тогда, ни вспомнить после.

— Видели? — риторически спросил Бицепс, когда режиссер удалился. Поэтесса Лиза подкатила им столик на колесиках с коньяком и лимонами и исчезла, помавав ручкой. — «Ревизора» он будет ставит... Три дубленки... Все через меня... А понятия не имеет ни о чистой силе, ни о нечистой... В театре Гоголя ни одно ружье не стреляет, никогда! Да что там ружье... Хотите, достану вам ружье? Именное? Многие хотят... Выпьем, Филармон Иванович, за Гоголя, умнейший был в России человек, в Италию сбежал, говорят, от родных сосуществователей... Только в Италии какой же «Ревизор»? Там, дорогой Филармон Иванович, венецианский мавр, Гольдони и вообще Дук его простил... Выпьем, дорогой, чем мы хуже великих артистов! Извините, опять подкрадываются, Дук их прости... Нет, нет, сидите, прошу вас!

На этот раз у Бицепса попросили гараж и место под него, он написал записочку кому-то. Потом выпили за театр с Филармоном Ивановичем, авторитет которого рос на глазах от близости с таким человеком, потом записал просьбу выхлопотать машину «Жигули» обязательно цвета черного кофе с перламутром, опять выпил за театр, обеспечил место чьей-то жене в правительственном санатории под Сочи, опять выпил за театр, записал размеры заграничной оправы кому-то для очков, опять выпил, опять обеспечил кого-то оцинкованным железом и котлом для дачи, опять выпил за театр — и все чокаясь с Филармоном Ивановичем. Потом Филармон Иванович слышал, как все кричали ура в честь Бицепса и пели «К нам приехал наш родимый Эрнст Зосимович дорогой», потом Бицепс передавал его в руки молчаливому шоферу и сказал на прощание, чтобы

без пяти двенадцать принес к памятнику семьдесят три рубля и записку, какой ему размер и рост, а также адрес, и чтобы вечером с семи был дома, ему доставят, и дома Филармон Иванович заснул и увидел Венецию, что же еще...

Филармон Иванович погладил Персика, от кота пахло терпкими духами, у Филармона Ивановича испуганно приостановилось сердце, пока он не понял, что за эту руку его вела к Бицепсу поэтесса Лиза. Он набрал ее номер, никто не снял трубку, хотя он звонил минут десять. После этого он взял деньги, завернул их в конверт, надписал размер, рост и адрес и выбежал. Шел дождь пополам со снегом, что вызвало в нем прилив буйной радости. Из автомата он позвонил секретарше их сектора и сказал ей басом, что простудились и едет прямо в дом культуры, будет после двенадцати. Но вошел не в дом культуры, а в жилой, лифтом не воспользовался, вдруг застрянет, влез на десятый этаж пешком и позвонил в музыкально отозвавшийся звонок. Звонил он долго и настойчиво. Наконец за дверью послышались шаги.

— Кто там? — спросил голос поэтессы Лизы.

— Откройте, — сказал Филармон Иванович.

В прихожей ее квартиры он посмотрел сначала на нее, обтянутую джинсами и свитером, как чулком, потом на бежевую выворотку с белым воротником, висевшую на вешалке, оглянулся на грязные следы его, Филармона Ивановича, ног у дверей и сказал дрогнувшими губами:

— Дайте, пожалуйста, Елизавета Петровна, чем писать.

Получив карандаш, он вынул мятый конверт, дописал под адресом три слова: «черную, вообще темную» и протянул конверт все время молчавшей поэтессе Лизе.

— Попросите, Елизавета Петровна, чтобы не приходите мне без пяти двенадцать, сегодня, Елизавета Петровна, я никак не могу почти...

На работе он бродил, заглядывал в разные кабинеты, даже спускался раз десять в вестибюль к милиционеру, проверявшему входящих и выходящих, а без пяти двенадцать остановился у своего окна, откуда был хорошо виден памятник. У памятника уже стояла черная машина, около нее шагал взад-вперед директор секретного предприятия. Ровно в двенадцать появился Бицепс, они с директором обнялись, сели в машину и укатили.

Долго стоял у окна Филармон Иванович, заметно думая.

— А вреда от него никому никакого нет! — вдруг сказал басом Филармон Иванович, оглушительно захохотал, но тут же смолк и оглянулся, вытаращив глаза.

В кабинет заглянула секретарша сектора, с прической типа «хала» на предпенсионной голове, хранившая за невозмутимостью лица личные и общественные тайны. Она посмотрела пристально на испуганного Филармона Ивановича и спросила:

— Вы один?

— Кашель, — сокрушенно сказал инструктор.

— Вам никто не звонил, — и секретарша хлопнула дверью.

Но ему тут же позвонили.

— Пожалуйста, — сказала поэтесса Лиза, — заезжайте вечером за мной, поедem в гости, ну, пожалуйста...

— После семи... — начал было он.

— Хоть в час ночи! Очень вас прошу, ну, пожалуйста, я буду читать стихи!

— Постараюсь, — сказал он.

— Значит договорились?

— Ага, — подтвердил он и, еще не вешая трубку, снова почему-то захохотал, смолк поскорее и стал прислушиваться, но секретарша продолжала стучать на машинке и больше к нему не вошла. Инструктор, конечно, ощутил неладное, но не сосредоточился...

К вечеру стало совсем холодно, пошел чистый снег. Филармон Иванович, которому днем мерещилось потепление, яркое солнце, ясное небо и прочее такое, что в городе случалось редко, пришел в возбуждение, буйная радость к нему вернулась, от нее ожидание стало совсем нестерпимым, без двадцати семь он уже просто ходил по коридорчику своей квартиры у входной двери — от нее и к ней, к ней и от нее. Ровно в семь раздался звонок, Филармон Иванович в этот момент был у двери и открыл ее, когда звонок еще звенел.

— Товарищ Онушкин? — спросил молодой молчаливый человек. — Получите.

И протянул ему большой сверток, обвязанный обыкновенным шпагатом.

— Расписаться? За доставку сколько с меня? — забормотал Филармон Иванович, беря сверток.

«Фамилия, имя, отчество?»

Но молодой человек уже убежал, не ответив ему ни пол-слова.

— Спасибо, — тихо сказал Филармон Иванович, прислушиваясь. Хлопнула дверь в парадном, взревел мощный мотор. Филармон Иванович пошел в комнату, не задвинув запор, положил сверток на стол, разрезал шпагат.

На столе разлеглась, раскинув рукава, словно готовясь принять его в свои объятия, новенькая дубленка, темно-шоколадная со светлым мехом, с круглыми черными пуговицами. Филармон Иванович надел ее, нигде не жало. Он посмотрел в зеркало, расправив плечи и высоко подняв голову. Конечно, он не слышал, как открылась и закрылась входная дверь, как кто-то вошел в комнату за его спиной. Только когда что-то мелькнуло в зеркале, он повернулся всем телом, как герой в ковбойском фильме, но перед ним стоял не вор, не грабитель и вообще не враг, а поэтесса Лиза в шубке необыкновенной привлекательности из серого меха, а также в беличьей шапке и в высоких сапожках.

— Я на такси, — сказала она.

— Я уже оделся, — сказал он.

Некоторые сомнения у него были только насчет своей шапки, довольно-таки старой, на затылке протертой до кожи, что было, впрочем, вполне незаметно, зато подходившей коричневым верхом, но раз на так и, то шапку можно было и в руке поносить.

Дубленок на улице оказалось мало, гораздо больше было пальто, похожих на его старое, теперь уже навсегда отжившее, поскорее бы выбросить. Красота поэтессы Лизы меньше всего привлекала его внимание, которое рассеивалось. Он одновременно наблюдал, как одеты люди, и думал о том, что его ждет впереди. Мелькнула было привычная мысль, что люди одеты гораздо лучше, чем после войны или десять лет назад, но тут же эта мысль, так и не укрепившись словами и цифрами, как-то виновато усмехнулась и пропала, он только моргнул досадливо ей вслед. Еще он подумал с тревогой, во что то она одета под шубкой и как там будут одеты все остальные, а, главное, как они себя будут вести? До него доходили слухи о современной молодежи, что иногда смотрит подпольные порнографические фильмы и слу-

чается стриптиз. Коллеги со знанием дела обличали в соответствующей обстановке и такие фильмы, и стриптиз, но позволяли себе, обличая, иногда подмигнуть. И вот перед Филармоном Ивановичем стали проноситься картины, одна интереснее другой. Так, он увидел не то табачный дым, не то пар, современную молодежь, очень недоодетую, обезьяноподобный молодой человек в красных плавках все выше и выше качал на качелях полногрудую девушку с закрытыми глазами, из одного угла гремела отвратительная музыка без слов, а из других раздавались враждебные голоса; толстая девица в очках вышла на четвереньках из соседней комнаты, на ней верхом ехала неимоверно тощая, хлопала ее по заду театральной программой и кричала, что страна не может привести человечество к счастью, если в ней все в дефиците, даже пипифакс. Филармон Иванович зажмурился, помотал головой и сказал поэтессе Лизе:

— Называйте меня сегодня просто на вы.

— Имя неотделимо от человека, — возразила поэтесса Лиза.

— Только на сегодня, — сказал он, открывая глаза.

Такси остановилось на перекрестке, и Филармон Иванович отшатнулся: чуть не вплотную было перед ним лицо начальства, не наивысшего, но все-таки очень высокого, которое, заметив красоту поэтессы Лизы, перестало сидеть развалясь, а выглянуло на нее из окна своей машины, даже открыв стекло, несмотря на холод. Затем оно перевело взор на его дубленку, примеривая себя к его месту рядом с такой красотой, и вдруг осознало, кто же это в дубленке. Начальство не сумело скрыть изумления, хотя по достигнутому рангу полагалось бы таких чувств наружно не выказывать. Филармон Иванович не успел почтительно поздороваться, как надлежало по рангу ему, пусть после того, как его узнали, а не сразу, что единственно правильно, но не успел, потому что дали зеленый и высокое начальство унеслось вперед с вывернутой шеей и изумлением на лице.

— А он, по-моему, в пальто, — нашелся Филармон Иванович, и поэтесса Лиза все оценила углом глаза.

Под шубкой поэтесса Лиза оказалась в длинном и вполне строгом платье с цветами, только с правого бока разрезанном от пола до пояса, но в разрезе не все и не всегда было видно. Голых не было, вообще были только хозяин с женой, совсем молодые, даже водка отсутствовала, одно сухое вино.

Поэтесса Лиза читала стихи тем же голосом, что и говорила — певуче, с хрипловатой ленью:

В человеческих играх есть грань —
На ней умирает игра.
И становится тихо.
Как в тире,
Когда там меняют мишени.
И становится плохо,
Как в мире,
Когда принимают решение.
Как в море,
Упав за борт, смотреть кораблю вослед
И знать, что напрасно звать.
Как в морге
В знакомых чертах искать и не узнавать.
Как в мороке
Пьяного сна замысел потерять.
В человеческих играх есть грань —
На ней умирает игра.

— «Это о ком же?» — подумал Филармон Иванович.

А она еще читала:

Строчка письма, горсточка букв —
Проще простого такую черкнуть.
Дверь. И каждый в нее звонок,
Как на расстреле с осечкой курка щелчок.
И снова ждать. Ломкие пальцы рук.
Строчку письма, горсточку букв.

Это точно, очень у нее ломкие пальцы, думал Филармон Иванович, и его начало слегка трясти, как трясет от стужи или перепоя.

Потом говорили, и Филармон Иванович чувствовал себя уверенно, потому что все время вспоминал о своей дубленке, висящей в прихожей, и потому уверенно высказал свою точку зрения о стихах:

— У многих судьба отдельно, а стихи отдельно, несмотря на талант. У вас тоже. Незрелость это.

Глаза у поэтессы Лизы стали узкими и она сказала:

— Не вы ли мне «Ихтиандра» вернули?

— Было, — сказал Филармон Иванович. — Так и у

вас, Елизавета Петровна, судьба отдельно...

— Отдельно от чего?

— От всего, Елизавета Петровна, от вас, например, тоже...

— А у Эрнста Зосимовича? — спросила поэтесса Лиза.

— О товарище Бицепсе не будем, Елизавета Петровна, — сказал Филармон Иванович, неожиданно окончательно прозревая. — Не будем...

Сердце стучало у него в висках, щекам было жарко изнутри, он говорил быстро и охотно. Сказала, например, хозяйка о неизвестных ему людях:

— Он не может жить с ней, а она не может жить с ним, однако, живут почему-то...

А он разъяснил:

— В жизни мужа и жены не потому никто посторонний не может разобраться, что отношения мужа и жены посторонним недостаточно подробно известны, а потому, что самим мужу и жене их отношения не до конца понятны, а если им не распутаться, то где уж посторонним?

— А если они еще не муж и не жена? — спросил хозяин.

— А как же распутаться? — спросила поэтесса Лиза.

— Молодые люди, а не знаете, — сказал Филармон Иванович, вспоминая о дубленке, — что распутать может только любовь.

— Вас крестили? — спросила поэтесса Лиза.

— Отец дежурил с ружьем у моей колыбели, — ответил он, — чтобы не допустить совершения надо мной гнусного обряда. Но утратил бдительность, теща его напоила, украла меня и осквернила, как он объяснял. А какое имя нарекли — не знаю...

— Боже мой, — сказала поэтесса Лиза. — Какие были смешные люди...

И Филармон Иванович не обиделся, а улыбнулся сам себе обезоруживающей улыбкой, потому что вспомнил, как отец повторял:

— Я всегда сохранял нестигаемый оптимизм, даже перед дулом ружья на расстреле, а расстреливали меня часто.

— Почему вы иногда говорите басом? — спросила поэтесса Лиза.

— С горлом что-то, — ответил Филармон Иванович, вспоминая о дубленке.

— Позвоните мне, — сказала поэтесса Лиза, когда они прощались.

Он стоял в дверях с шапкой в руке, расправив плечи под дубленкой, и ничего опять не видел, кроме распахнутого лица поэтессы Лизы. К этому лицу бросило его лицо, закрывая глаза, он к нему прижался и секунду чувствовал ее бровь, скулу, нос, угол ее губ — бровью бровь, носом скулу, скулой нос, углом губ угол губ, потом отвернулся и пошел прочь.

— Мне так отраднo было с вами, — произнес он уже на улице, надевая обеими руками шапку.

Под утро ему приснился сон.

За рекой его сорокалетнего прошлого около леса имелся пруд, и вот после заката он стоял на берегу пруда и смотрел на его темную поверхность, по которой плавали белые лилии, те самые, которые, как он узнал недавно из печати, занесены в красную книгу всемирно вымирающих растений и животных. Он смотрел и думал, как жалко, что они вымирают, что надо бы распорядиться, чтобы не вымирали, вообще давно пора принять какое-то решение насчет изменений, а лилии становились все белее, вода под ними светлела, делалась прозрачнее, вот уже и весь пруд стал прозрачным, и тогда он разглядел, что лилии вовсе не лилии, и не плавают они в воде, а сидят на берегу, имеют светлые головы и руки, что это дети, причем некоторые ему как бы и знакомы. Пионерских галстуков на них не было, вожатый или учитель, вообще взрослые отсутствовали, как сюда попали дети в белых рубашках — он решительно не понимал.

Тут из пруда вышла его жена и сказала сквозь слезы, уходя мимо него к лесу:

— Все ты забыл, это же дети, которых не успели крестить, никогда это тебе не отпустится, а моего и здесь нет.

У леса она села в черную машину к Бицепсу, который сказал ей:

— Сколько ждать можно, Дук тебя прости.

И они укатили, а один мальчик подошел к Филармону Ивановичу и сказал:

— Возьми меня с собой, очень тебя прошу. Я хочу у тебя пожить.

— А остальные? — спросил Филармон Иванович.

— А они к тебе не хотят, — сказал мальчик.

Филармон Иванович нес его, согревая на груди под полами дубленки, а мальчик говорил:

— Через год принеси меня сюда, и мы простимся. Я буду у тебя жить, только смотри, чтобы никто меня не видел, этого нельзя, придумай, где меня поселишь.

Дом у Филармона Ивановича оказался для этого очень подходящий, с большой русской печью, с маленькими окнами — такой был в детстве, но во сне жил он в нем совсем один. Он поселил мальчика на печи, задернул занавеску, ночью выпускал погулять, кормил его, читал ему книжки, рассказывал сказки. Все было бы хорошо, только вот Персик от мальчика шархался, почти совсем из дому пропал, забегал иногда исхудалый, жадно наедался, шипел на печь, выгнув спину и вздыбив шерсть, мальчик выглядывал, звал его поиграть, но Персик пытался к двери и удирал.

Однажды собрались у Филармона Ивановича все его родственники, среди которых была и Лиза, по случаю какого-то праздника; не то Нового Года, не то Рождества, не то Пасхи — это во сне не было ему ясно. Сидели за общим столом, много ели, пили, говорили. Жена и Лиза спели на два голоса очень красиво:

Не забывай, что после вьюги
В поля опять приходит май.
Не забывай своей подруги,
Своей судьбы, своей любви — не забывай.

Словом, хорошо посидели, расходиться стали за полночь, тут Онушкин-старший, почему-то тоже пришедший на праздник, хотя как помнил Филармон Иванович, в данный момент лечился от радикулита в больнице, и говорит:

— Хорошо, что все мы хоть раз в жизни собрались вместе. Все пришли!

Тут раздался смех, и Филармон Иванович, похолодев, ждал разоблачения того, что у него на печи живет мальчик.

— Кто это смеется? — спросил отец.

— Показалось тебе. — сказал Филармон Иванович.

— Так что я говорил? — продолжал отец. — Хорошо, говорил я, что все мы без исключения собрались сегодня...

И опять мальчик не удержался и рассмеялся.

— Кто-то смеется, — сказал Онушкин-старший.

— Это ветер в трубе, — сказал Филармон Иванович.

Прошел год, он прощался с мальчиком у пруда, на темной поверхности которого плавали белые лилии, и спросил:

— Чему ты смеялся, когда отец сказал, что мы все собрались?

— Он не знал, — сказал мальчик, радостно улыбаясь, — что скоро придет домой, а его сын висит, удавившись.

Филармон Иванович подумал, вспомнил, что у его отца один сын, и сказал:

— Хорошо мы с тобой год прожили, я с тобой расстаться не хочу, а ты чему же это радуешься?

— Вот и я не хочу с тобой расставаться, — сказал мальчик, крепко обнимая его.

— Совсем не собираюсь я руки на себя накладывать, — сказал Филармон Иванович.

— Как знаешь, — сказал мальчик, погрузнев.

Филармон Иванович вернулся в избу, обошел ее — не висит ли он где-нибудь, сел у окна, стал смотреть на лес, в тени которого скрывался пруд. Почему-то на печи резко зазвонил телефон, и ему пришлось проснуться с тревогой в душе.

Было восемь часов утра.

— Не дождетесь, — сказал Филармон Иванович неизвестно кому, и смутно припомнил, что в его родне кто-то повесился, очень давно, кажется, от несчастной любви, было такое, но кто именно — он вспомнить не успел, потому что тревожно зазвонил телефон — тем же в точности звоном, что на печи во сне.

Была одна минута девятого.

С первых слов понял Филармон Иванович, что дело плохо. Звонили из того сектора, который помещался за дверью прочной, как у сейфа, который и сам был таким вот сейфом. Там работали самые молчаливые из всех молчаливых, самые невыразительные из невыразительных, самые засекреченные из засекреченных. Если они кому-нибудь звонили, то это почти всегда было началом беды, а если домой, да еще за два часа до начала рабочего дня, да еще если накануне секретарша хлопнула дверью, да если еще и совесть не кристально чиста...

— А в чем все-таки дело? — попытался спросить Филармон Иванович, хотя и знал, что бесполезно, не объяснят никогда, сердца твоего не пощадят, возраста не уважат, ни на жалость тут не возьмешь, ни на хитрость, потому что безразличен ты им вообще с твоим сердцем, возрастом, хитростью, почками, мыслями, чувствами и прочими потрохами; знал, а все-таки спросил, так, наверно, не удерживается и

спрашивает, в чем дело, птенец, вытщенный змеей из гнезда и проваливающийся в ее холодное нутро; спросил, и ему, конечно, не ответили ничего и не объяснили, а только пуще напугали отсутствием даже намеков.

И вот он через два часа сидит перед следователем, и тот спрашивает:

— Фамилия, имя, отчество?

— Филармон Иванович Онушкин, — ответил он.

— Знаете ли вы Эрнста Зосимовича Бицепса?

— Да...

После работы, где все пока было, как всегда, только секретарша сектора с ним и не поздоровалась, он вернулся домой и крепко подумав, вспомнил, что есть у него покровитель и, может быть, даже защитник.

Несколько лет назад был прием в Доме дружбы в честь делегации братской страны — тот самый, между прочим, на котором начало свой путь от номенклатуры к продаже земляники предыдущее начальство Филармона Ивановича, начальство видное, кудрявое, с открытым лицом. Был на приеме и Филармон Иванович с женой, почти не ели, хотя и велено было во время этого а ля фуршета столбами не стоять, а общаться свободно и оживленно, в духе того времени; но стоять в сторонке, что бы сверху ни говорили, всегда безопаснее, ошибки не совершишь, в худшем случае в личной беседе упреknут, а вот за неправильное общение — ой-ой-ой. Тут подошел к ним свой, соотечественник, худой товарищ, лет шестидесяти, и заговорил. Наружность он имел запоминающуюся — длинный кривой нос почти соприкасался с подбородком, вытянутым, как острый носок дамской туфли, а между носом и подбородком выпирала нижняя губа, в то время как верхней губы не было начисто; седая челка падала на высокий лоб с провалившимися висками, щеки над скулами провалились тоже; глаза горели вечным огнем, в огне полыхали доброта, сочувствие и тягостный опыт жизни — неподвижно напряглись от усталости нижние веки и не расслаблялись ни на миг.

— Если что, — сказал соотечественник после разговора, кто, да где работает, да воевал ли и прочее такое, — и огонь в глазах его залила на секунду пелена любви и дружбы, — если что, вдруг, мало ли, в жизни бывает, позвони прямо домой, не стесняйся, запиши телефон... Мало ли что, всякое в жизни, мне ли не знать...

Не сразу поверил тогда Филармон Иванович неожидан-

ному покровителю, с полгода ждал, не кроется ли что за этим, но ничего не крылось, и тогда бережно спрятал он бумажку, на которой записан был домашний телефон товарища Таганрога. Спрятал и носил, как талисман, как охранную грамоту, в которой так нуждается каждый, буквально каждый, и грела эта бумажка его сердце, и вспоминал он влажные от доброты глаза многоопытного друга и номер его телефона.

— Слушаю, — ответила трубка. — Кто беспокоит? А, товарищ Онушкин. Как забыть, дорогой мой человек, и вечер помню, и вас, и жену вашу, родом, помнится, с Иртыша. С Белой? Дела? Конечно, дела, без дел кто же мне, хе-хе, позвонит, да ничего, дорогой мой человек, не смущайтесь, для дела-то я вам и телефон оставил, верно? Вас понял, выезжаю немедленно, диктуйте адрес.

И вот товарищ Таганрог собственной персоной ходит по квартире Филармона Ивановича и говорит:

— Котик у вас славный! Персик? Оригинальное имя, редко встречал среди котов. Но встречал! А есть ли, спросите, на свете такое, чего бы я не встречал? Рассказать мою жизнь на бумаге, — Нобелевскую премию можно получить. Можно, можно, поверьте, Филармон Иванович, запросто можно! Ей-Богу! Вы в Бога верите? Нет, конечно, а я и не знаю, честно говоря, скорее всего, нет его все-таки, а? Да, так, как здоровьице, как сердчишко, не шалит? Иван Иванович как? В больнице? Надо же... Ну, ничего, может, там подлечат, хотя честно говоря, полы-то там паркетные, а врачи анкетные, а? Хе-хе, боитесь. Не бойтесь, мне-то можно все сказать, можно и должно, Филармон Иванович. А жена родных поехала проведать? Хорошее дело, но пора бы и вернуться, а? Детей у вас нет — может, доктора вам по этой части посоветовать, а? Я больше народной медицине верю, бабушкам-прабабушкам, жаль, прижимают их, а? Но и то сказать, дорогой мой человек, денег они гребут — тысячи, десятки тысяч, куда же это годится?

Филармон Иванович поставил на стол водку из холодильника, положил закуску, усадил дорогого гостя, налил. От негромкого голоса товарища Таганрога исходили сила и спокойствие. Пить он, однако, отказался, сказал, что сначала дело, достал блокнот и ручку, велел все подробно рассказать, а сам мелко-мелко записывал.

Все рассказал ему Филармон Иванович — и про Бицепса, и про его странности, и про дубленку, которую тут же

гостю показал, и про семьдесят три рубля, и про вчерашний поход в гости, и про настойчивость следователя. И просил совета. Таганрог все записал, подробности перепроверил, помолчал и спросил:

— Все рассказали?

— Все, — сказал Филармон Иванович, вспоминая. Умолчал он только о снах, а остальное рассказал, вроде бы, все.

— Значит, так, — сказал Таганрог. — Дубленку завтра утром отвезти следователю и сдать под расписку. На работе подать немедленно заявление об уходе по личным обстоятельствам. Обо всем подробно написать и передать через меня или лично, куда следует. Ни одного имени не забыть, где имени не знаете — там опишите внешний вид. И свою им оценку, особенно режиссеру. Еще не все потеряно, дорогой мой человек!

— Не хочу, — сказал басом Филармон Иванович.

— Что это вы не своим голосом-то, а? — прищурился товарищ Таганрог.

— С горлом что-то, — сказал испуганно Филармон Иванович. — Знаете, меняется вдруг голос...

— Да, все течет, все изменяется, — меланхолически сказал Таганрог. — Захотите! Нет у вас другого выхода, захотите!

— Надо бы найти другой, товарищ Таганрог, — попросил Филармон Иванович. — Мы выпьем, а вы подумайте...

— О чем? Наивысшее начальство лично решило, а вы думать хотите?

— Наивысшее?

— Не верите? — Таганрог стал суровым и отчужденным. — Я, товарищ Онушкин, хоть и без пяти минут на пенсии, но есть у меня еще друзья, есть! Пить мне некогда. Ведь не захотите вы писать — придется мне.

Помолчали. Филармон Иванович тупо смотрел в пол. Таганрог встал и решительно спрятал блокнот и ручку.

— Товарищ Таганрог, — с трудом выговорил Филармон Иванович.

— Я совет дал? — сурово сказал тот. — Дал. Правильный совет? Правильный. Вы не хотите им воспользоваться? Дело ваше, товарищ Онушкин.

Филармон Иванович тоже встал и все-таки не удержался и посмотрел товарищу Таганрогу в глаза. Изменились глаза, не было в них ничего такого, что горело раньше, толь-

ко нижние веки остались, как и были, в напряженном состоянии, а над ними ничего — пустые глазницы, дырки, как у черепа.

И в эти смелые отверстия, где только что светились понимание и благорасположение, а теперь чернела пустота, совсем непредвиденно для себя, словно мальчишка в деревне, вдруг Филармон Иванович плюнул, сжигая корабли и погружаясь в Рубикон без всякого теперь талисмана...

Время, которое и без того идет быстро, понеслось теперь со второй космической скоростью.

И вот стоит понуро Филармон Иванович перед непосредственным начальством, отозванным из сладкого отпуска, и слушает упреки, смешанные со стонами от жалости — не к Филармону Ивановичу, что его жалеть, а к себе, невинно страдающему, потерпевшему из-за этого инструктора:

— Из-за вас, из-за вас вообще чуть было не того! Где этот проклятый «Ихтиандр», о нем-то зачем надо было сторонним, кто за язык тянул? Хорошо — не читал я, свидетели есть — не читал! Нет, от меня лично ничего не ждите! Там дотерпеть не могли, пока ваш благодетель на пенсию согласится уйти, три дня праздновали, когда у него заявление вырвали, а тут вы! Ну, Бицепса не вам было раскусить, но у этого-то, между нами, конечно, на лице все крупными буквами написано!

— Товарищ Бицепс... — начал Филармон Иванович, но начальство еще глубже погрузилось в личное горе и слушать нижестоящих не могло:

— Товарищ! Вид напустил, что товарищ! Прямо гипноз какой-то — беспартийный эмбрион, образование ниже среднего, а стал всем знаком, всем друг, товарищ, чуть ли не брат, с какими людьми контакты имел — гипноз, да и только! Без пропуска на секретные заводы въезжал, в финской бане столичных генералов принимал! Товарищ! Два года разоблачить не могли, случай помог... И тоже мне, пижон, — себе ничего не брал, все для других, мерзавец, да для других! Вы понимаете, что меня снять могли, меня?! Нет, идите, идите...

А потом стоял Филармон Иванович перед следователем, на столе у того лежал большой сверток, обвязанный обыкновенным шпагатом, и следователь написал расписку, что Ф. И. Онушкин возвратил государству дублинку, приобретенную незаконным путем, и на улице было холодно, и странно выглядел в толпе и трамвае человек среднего рос-

та, отлично сохранившийся, можно сказать, нержавеющей, одетый в костюм, коричневую шапку с опущенными ушами, обмотавшийся шарфом до подбородка включительно.

А потом был Филармон Иванович в зале, где в левом углу беломраморный бюст с бородой, в правом углу — другой, но тоже беломраморный и тоже с бородой, на стене между углами огромный портрет Ленина во время шага вперед, под портретом за длинным-длинным столом, у его торца возвышалось, как на троне, наивысшее начальство, а по обеим сторонам стола сидело остальное начальство, чем дальше от наивысшего, тем ниже рангом, однако и не без обоснованных исключений; не у стола, а просто на стульях вдоль стен располагались прочие, которые руки не поднимают при вопросе «кто за». Только что в этом зале стал бывшим директор секретного предприятия, хотя сталь нужной марки Бицепс добыть ему все-таки успел, но сталь взяли, а директора сняли, более того, исключили из рядов за утрату бдительности, связь с проходимцем и сто других аморальностей; только что разоблачили свои ошибки другие товарищи, включая режиссера и начальника телефонов, разоблачили, кто потеряв, однако, и должность, и членство, кто только должность, а кто и временно уцелел; и вот настала та минута, которая была отведена в этом хорошо подготовленном заседании на инструктора сектора культуры Онушкина Филармона Ивановича, год рождения 1919, члена партии с 1945 года, и все такое прочее. Он встал, когда услышал свое имя, но сначала был спрошен товарищ, отвечавший за торговлю, потому что наивысшее начальство проявило человеческое внимание к проблеме верхней одежды для рядового начальства и брезгливо напомнило, стукнув кулаком по столу, что еще в августе распорядилось завезти на склад дубленки из расчета на всех, вплоть до инструкторов, но отвечавший за торговлю объяснил, что еще в августе завезли и в августе же в основном распределили по устным указаниям тех, кто был более ответственный, чем он, отвечавший всего лишь за торговлю. И наивысшее начальство нахмурилось и посмотрело на более ответственных, и более ответственные в свою очередь нахмурились и посмотрели на многих, а многие посмотрели на остальных, и остальные тоже нахмурились, и все посмотрели на стоявшего столбом Филармона Ивановича. Тут наивысшее начальство, стукнув кулаком, брезгливо велело снова завезти и распределять только по его, наивысшего начальства, пись-

менным указаниям, не иначе, и после этого велело говорить Филармону Ивановичу. И тот начал:

— Все началось с «Ихтиандра»...

— С кого? — переспросило наивысшее начальство.

— Это стихи в прозе, — пояснил Филармон Иванович.

— Что ты мелешь? — стукнуло кулаком наивысшее начальство и посмотрело вокруг, ища кого-нибудь потолковее.

Непосредственное начальство Филармона Ивановича вскочило, едва взгляд наивысшего начальства прикоснулся к нему, и быстро сказала, что вопрос ясен, поведение — дальше некуда, падение — ниже некуда, есть предложение — гнать метлой, очищая. Не успело оно сесть, как встало начальство, отвечающее за, в том числе, следственные органы, и сказала, что мало того, еще и всучил, прикинувшись простачком, следователю старое пальто, получив обманом расписку за дубленку; но по ордеру, с соблюдением законности, сейчас вот в гардеробе на его номер повесили старое пальто, а дубленку конфисковали, так что точно, что дальше некуда, можно и судить.

Вот тут и произошло такое, чего, наверно, в подобных местах не происходит, а если происходит, то редко и не должно. Филармон Иванович начал снимать пиджак, развязывать галстук, словом, стал раздеваться, но так решительно и неторопливо, что надо бы сказать — стал разоблачаться, как священник после службы, говорил же при этом быстро и бестолково:

— Пиджак возьмите... И пальто с того же склада... И пиджак оттуда... Все берите... если бы в августе, тоже бы семьдесят три рубля... в августе не дали, а я о ней и не думал в августе... и галстук берите... Шнурки уже мои, а ботинки тоже со склада... Берите все, носите, не жалко... Сорок лет работы, тридцать четыре стажа, война, рубашка тоже со склада, а мне не надо...

— Убрать, — брезгливо сказала наивысшее начальство. — Снять и исключить. Принято единогласно.

И добавило помощнику через левое плечо:

— До пенсии трудоустроить.

Филармона Ивановича вывели, одели и выпроводили из дворца в стиле Карла Ивановича Росси и навсегда.

Дома Филармон Иванович напоил Персика молоком, потом взял его на руки и глядя сказал:

— Почему ты Персик? Хоть бы один рыжий волос имел...

— Так назвали, — ответил Персик.

— Назвали! А ты бы переименовался!

— Бессловесная тварь переименоваться не может, — возразил Персик.

— Какая же ты бессловесная, если со мной разговариваешь?

— Так то с вами, — уклончиво ответил Персик.

— Говори мне ты, — приказал Филармон Иванович. — Если тебе говорят ты, ты обязан тоже говорить ты! Всегда и везде!

— Ты-то не везде, — послушно перешел на ты Персик.

— Не тебе в это вникать!

— Спусти меня, пожалуйста, на пол, — попросил Персик.

— Все вы, кошки, предатели: третесь у ног, пока есть хотите, а насытитесь — и наплевать на хозяев, — с горечью сказал Филармон Иванович, ставя кота на диван.

— Это не совсем так, — уклончиво заметил Персик.

А потом Филармон Иванович давал показания на суде по делу Бицепса и слышал его последнее слово. Эрнст Зосимович говорил, как всегда, невыразительным голосом, но заботился, чтобы его слышали.

— Почему так легко поверили умные, казалось бы, люди, — примерно так говорил Бицепс, — что я облечен огромной властью, хотя ее не было вовсе? Не знаю, гражданин судья, спросите у них, Дук их прости. По-моему, каждому что-нибудь надо, и дружба, даже знакомство с начальством всегда в дефиците. А мне-то зачем было надо всех оделять по потребности? Тут гражданин прокурор на меня насчитал и бензин, и труд водителей, что возили меня и друзей, и даже амортизацию машин, но ведь это надо для срока, а себе-то я и рубля не взял! Так зачем? Я, гражданин судья, мечтал стать актером, сыграть и Гамлета, и Хлестакова, и Тарелкина, все лучшие роли сыграть. Не получилось, не стал. Вот и подумал, а почему бы не посмотреть, как в реальной жизни примут Ивана Александровича Хлестакова? Приняли прекрасно! Что ж, за триумф в течение двух лет я готов платить...

— Вы осквернили самое святое в советском человеке — чувство доверия к ближнему! — перебил его прокурор.

— О, доверчивый лай бессмертных борзых, — грустно

сказал Бицепс, — Дук их прости. Больше не стану, гражданин прокурор, об Иване Александровиче. Не забудьте все же, вынося приговор, что я не грабитель, не шпион, политической не занимаюсь, так что правильнее всего меня оправдать или дать пару лет условно...

Бицепса приговорили за хищение в личных целях государственного имущества (бензин, труд водителей, амортизация автомобилей) на сумму свыше десяти тысяч рублей, за мошенничество и хулиганство к тридцати годам. После суда на улице Филармону Ивановичу вроде бы померещилась поэтесса Лиза, ему даже показалось, что она к нему направилась, и он поскорее пошел прочь, спрятав голову в плечи. Он бы поднял воротник и спрятался бы в него, если бы у этого пальто был такой воротник, который можно было бы поднять, чтобы спрятаться.

Глава V.

Последний факт.

Руководствуясь общими догадками, можно предположить, что роль заключенного не для товарища Бицепса, и потому должен он выйти вновь на сцену жизни. Скорее всего, окажется он при делах, например, внешней торговли, и прославится успехами, опираясь на дружбу с царствующими особами, греческими судовладельцами и сенатором Эдвардом Кеннеди. По-видимому, пропасть он может лишь случайно, но случайно пропасть всякий может, так что это не считается.

На следующий день после приговора в квартире Филармона Ивановича раздался телефонный звонок. Он последнее время очень боялся одного звонка, которого ждал, не представляя, что будет говорить, зачем, так легче, однако очень ждал. Поколебавшись, он все-таки снял трубку. Звонила лечащий доктор его отца, она сказала категорически, что завтра того выписывают, в девять пусть заберет.

— Как же? — спросил Филармон Иванович, — курс не кончился.

— Решил главврач, — сказала доктор. — Ваш отец ничем, кроме старости, не болен, а у нас больница, а не дом для престарелых!

— Вылечить бы хоть немного, — сказал Филармон Иванович, на что доктор, понизив голос, возразила сердечно:

— О чем вы? Кого здесь можно вылечить?

Очевидно, кто-то там вышел оттуда, откуда она звонила, но другой кто-то, тоже очевидно, сразу же туда вошел, потому что она громко сказала:

— Значит, ровно в десять.

И повесила трубку.

Однако все вышло не так, как распорядился главврач. Отец узнал о том, что случилось с сыном, потому что был ходячим больным, а в лечебницу привезли лежачего больного товарища Таганрога, который сразу же позвал Онушкина-старшего и по-секрету рассказал ему все, добавив, чтобы тот писал наверх, а он, Таганрог, поправившись, посодествует, поскольку собирался было на пенсию, но больше не собирается, после чего в изнеможении уснул. Отец немедленно сел писать, возбужденно писал весь день, а утром все не просыпался, что никого не беспокоило, вплоть до прихода Филармона Ивановича, который стал его будить. Отец очнулся не сразу посмотрел на сына и узнал его. Пока ходили за доктором, сидевшей на утренней пятиминутке, отец в течение получаса смотрел на сына с узнаванием, ничего не говоря. Наконец он глотнул, провел языком по губам и сказал:

— А ты прости меня. А ты все-таки прости.

После чего коротко кашлянул, неудобно уронил голову и затих. Подросла доктор, Филармона Ивановича выставили в коридор, откуда его медсестра позвала в палату, где его ждал, по ее словам, друг. Товарищ Таганрог с трудом приподнялся на локте и спросил сочувственно:

— Что отец твой? Помер?

По Филармону Ивановичу прошла судорога от волос на макушке, вставших дыбом, до пальцев на ногах, которые скрючило, и он совершил нечто самое для себя неожиданное из всего неожиданного, что он говорил и делал в эти роковые дни, а именно он двумя перстами перекрестил Таганрога, после чего судорога прошла.

— Видел, видел и такое, — сказал Таганрог, откидываясь на подушку. — Это никому не помогало, не поможет и тебе.

Когда Филармон Иванович уходил, гардеробщица вышла за барьер и с необыкновенным уважением подала ему пальто, потому что слух о посетителе, который крестит-

ся в этой больнице, уже разнесся среди младших служащих.

Перекрещенный товарищ Таганрог не успел, к своему сожалению, оказать Филармону Ивановичу дальнейшую помощь — к вечеру он умер, что не удивительно, поскольку в его изнуренном испытаниями теле сожрала чуть ли не все, что было можно, та болезнь, даже имени которой люди боятся, как дети темноты.

Письмо Онушкина-старшего наверх было, как оказалось, адресовано вождю, давно уже покойному, так что врачи, посоветовавшись, передали его не по адресу.

Дальше тоже ничего такого особенного не было. Отца Филармон Иванович хоронил один, если не считать шофера машины и могильщиков. Потом он несколько дней провёл дома, где, если не спал и не дремал, лежа, то сидел за столом, читая свои конспекты. Читал так, словно что-то искал и никак не мог найти, откладывал прочитанные тетради, снова брал их и листал наудачу, так что быстро нарушил их разноцветный порядок. Иногда словно что-то находил. Так, в голубой тетради под номером восемьдесят четыре он несколько раз перечитал, заметно вдумываясь, слова: «Как утверждает идеалист Мариенбергер, без этики нет эстетики», но, видимо, это было не то, что он искал, потому что тетрадь номер восемьдесят четыре он вообще бросил на пол. Потом он опять-таки долго думал над словами в оранжевой тетради за номером девятнадцать: «решительно отменяя мистический туман, соединяющий этику и онтологию в эстетике», но и эту тетрадь отложил. Так и не найдя того, что искал, он связал тетради в пачки, штук по десять в каждой, и куда-то унес. Никто этих тетрадей больше не видел, так что, возможно, он их где-то просто закопал.

Неизвестно, что было после этого с Филармоном Ивановичем. Там, где посильно описаны жизненные пути очень многих, тоже нет на его счет ясности. Одни сообщения говорят, что он, поработав сторожем на складе верхней одежды, стал изготавливать для цыган фальшивые оренбургские платки из придуманной ими пряжи, секрет которой они никому не выдают, но, скорее всего, из ваты, стеклянного волокна и еще чего-то непонятного; что цыгане его полюбили за придурковатость и высокую выработку и что он разбогател невероятно, так что записался через цыган в очередь на машину и поменял городскую квартиру на пригородный домик с гаражом. Поменять точно поменял, потому что в его квартире раздался-таки телефонный звонок, и

из квартиры ответили звонившей женщине грубо, несмотря на то, что говорила она певуче и приятно, что такой тут не проживает, а куда съехал — не знают.

Согласно другим сообщениям, Филармон Иванович уехал к жене в деревню, где они живут почти натуральным хозяйством, гонят самогон из государственного сахара с помощью государственной воды и государственного электричества, жена даже родила от него сына, которого назвали не то русско-башкирским, не то русско-татарским именем Руслан.

Третьи сообщения утверждают, что он выучил необыкновенные карточные фокусы, ездит с ними в составе концертной бригады, имеет сумасшедший успех и сошелся с руководительницей бригады.

Все эти донесения неправдоподобны и их отказываются признать документами, вследствие чего на них на всех в левом верхнем углу поставлен красным карандашом вопросительный знак.

Приятно, что кот Персик, это точно, оказался у поэтессы Лизы, живет в роскоши и даже полностью удовлетворяется обнаруженная им страсть к шоколадным конфетам, страсть в котах очень и очень редкая, хотя коты подвержены страстям самым порой невероятным. Впрочем, это может быть и другой кот, просто тезка.

Огорчает, что наивысшее начальство Филармона Ивановича, гуманно велевшее его трудоустроить, чем он почему-то не воспользовался, внезапно и без объявления причин было назначено послом в Новую Зеландию, куда вскоре приехал на гастроли некий наш ансамбль, и бывшее наивысшее начальство проявило нездоровый интерес к певице-соотечественнице с высокой грудью и длинными ногами, даже ездило с ней вдвоем и без шофера в дикие новозеландские горы, в чем певица по возвращении отчиталась, а посла отозвали, сняли, из рядов исключили и превратили в заместителя начальника какого-то училища, готовящегося профессиональных техников, так что теперь высокая грудь и длинные ноги, кому бы они ни принадлежали, вызывают в демократичном от природы человеке брезгливую улыбку. Воистину, все течет, все изменяется, хотя Филармон Иванович в этих-то переменах уж никак не виноват, и хотя новое наивысшее начальство нашли и поставили немедленно, так что ничто вроде бы и не изменилось, вот только завезенные на склад дубленки для рядового начальства, включая и

инструкторов, опять куда-то делись, концов не сыскать.

Неожиданно, что поэтесса Лиза ничьего покровительства больше не ищет, хотя ей и предлагают, а пишет поэму о битве на поле Куликовом к шестисотлетию этого события, поэма называется «Пересветы» и есть в ней две такие строки:

Как в зеркала смотрелись друг другу в щиты
И вместо врага каждый видел свои черты.

Ее старший друг сказал ей, что едва ли щиты того времени могли служить зеркалами и что лучше бы она писала прозу, и поэтесса Лиза с ним впервые в жизни поссорилась навсегда.

Однако в сообщениях не отражен до сих пор тот факт, что Филармона Ивановича видят на спектаклях в разных театрах. Он сидит теперь в задних рядах, ему, как и прежде, до самозабвения нравится все, что представляют, но в отличие от прежнего, он смеется, плачет, переживает, шепчет реплики, подсказывая их актерам, хлопает изо всех сил, однако, как проникает в театры, как исчезает незаметно после спектакля, никто никогда не видел, что и не удивительно, потому что кому он нужен?

ИЗ КНИГИ «ГОЛОСА»

ГОЛОС

Вон там убили человека,
Вон там убили человека,
Вон там убили человека.
Внизу — убили человека.

Пойдем, посмотрим на него.
Пойдем, посмотрим на него.
Пойдем, посмотрим на него.
Пойдем, посмотрим на него.

Мертвец — и вид как есть мертвецкий.
Да он же спит, он пьян мертвецки!
Да, не мертвец, а вид мертвецкий...
Какой мертвец — он пьян мертвецки —

В блевотине валяется...
В блевотине валяется...
В блевотине валяется...

.

Берись за руки и за ноги,
Берись за руки и за ноги,
Берись за руки и за ноги,
Берись за руки и за ноги,

И выноси его во двор.
Вытаскивай его на двор.
Вытряхивай его на двор!
Вышвыривай его на двор!

И затворяй входные двери.
Плотнее закрывайте двери!
Живее замыкайте двери!
На все замки заприте двери!

Что он — кричит или молчит?
Что он — кричит или молчит?
Что он — кричит или молчит?
Что он — кричит или молчит?..

РАДИОБРЕД

Лежа, стонет.
Никого нет.
Лишь на стенке черный рупор.
В нем гремит народный хор.
Дотянулся, дернул шнур!
Вилка тут, розетка там.
Не верит своим ушам:
Шум,
Треск,
Лязг металла.
Радио забормотало:
«Последние известия.
Экстренное сообщение!
...На месте
Преступления.
...Большинство голосов.
...Градусов
Мороза.
...Угроза
Атомного нападения
Эпидемия...
Война...
Норма перевыполнена!»
Снова хор. На фоне хора
Соло авиадвигателя.
Рев
Реактивной авиации.

Взрыв Оваций!
Больной глядит остекленело,
Рука
Судорожно сжала одеяло.
Из дверей — издалека
Показался некто.
— Доктор!
Надо
У меня проверить гайки!
Диктор:
«Лунная соната
Исполняется на балалайке».

ОБЕЗЬЯН

«На что жалуетесь, гражданка?»
Была она баба бойкая, а тут
будто язык отнялся. Стоит, плачет,
ничего сказать не может.

«Дать ей новую квартиру и де-
сять тысяч от моего имени».

(Из народного фольклора).

Вышла замуж.
Муж, как муж.
Ночью баба
Разглядела его, по совести сказать, слабо.
Утром смотрит: весь в шерсти.
Муж-то, господи, прости,
Настоящий обезьян.
А прикинулся брюнетом, чтобы значит,
Скрыть изьян.
Обезьян кричит и скачет,
Кривоног и волосат.
Молодая чуть не плачет,
Обратилась в суд.
Говорят: нет повода...
Случай атавизма...
Лучше примиритесь...

Не дают развода!
Дивные дела! —
Двух мартышек родила.
Отец монтажник верхолаз
На колокольню Ивана Великого
от радости залез

И там на высоте
На золотом кресте
Трое суток продержался вися на своем хвосте.
Дали ему премию —
Приз:
Чайный сервиз.
Жена чего не пожелает, выполняется
любой ее каприз!
Что ж, был бы муж как муж хорош,
И с обезьяной проживешь.

ИЗ КНИГИ «СОНЕТЫ НА РУБАШКАХ»

Сонет 3

Не по любви, а с отвращением
Чужое тело обнимала...
Не рада новым ощущениям
На спинке стула задремала.

Вина и водки нахлесталась
Подмышки серые от пота
Морщины страшная усталость...
Но предстояла мне работа

Меня вращали в барабане
Пытали в щелочном тумане
Под утюгом мне было тяжело!

И вот обняв чужую шею
Я снова девственно белею
И пахну свежестью — р у б а ш к а !

РУКОПИСЬ

Раскрыл меня ты насмех — наугад
На двести девятнадцатой странице
Оплыли свечи. Все кругом молчат
И дождь потоком по стеклу струится

Дорогой кони скачут и храпят
В кустах — огни! Предательство! Назад!
Мария спит сомкнув свои ресницы
И в лунном свете замок серебрится

Начало: «Граф дает сегодня бал»
Конец: «Убит бароном наповал!»
Я — пыльный том седого графомана

Но лишь открой картонный переплет
Предутренней прохладой пахнет
И колокол услышишь из тумана

ПОДМОСКОВНЫЙ ПЕЙЗАЖ С КУКЛОЙ

Вся в ряске течет полудохлая Клязьма
В осоке видна утонувшая кукла
К осени — дождь... но и солнышко дразнит
Окраина вся менструально набухла

На том берегу — магазины и праздник
Здесь кто-то крикнул а там кто-то гукнул
Там пьяный бежит. А другой безобразник
Чернеет в траве словно жук или буква

Что все это? — кукла плакаты бараки?
Наверно какие-то тайные знаки —
И всюду рассыпанные человечки
И желтый закат за поселком — и даже

Лошадь белеющая у речки
В нечеловеческом этом пейзаже

ДИАГРАММА ЖИЗНИ

Улыбчивые старцы-мудрецы
Разглядывают диаграмму жизни
— Поэтом будет... при социализме...
— Судьба печальная — заметил Ляо-Цзы

И вот родился я в своей отчизне...
Была война... давили подлецы...
На грядках кошка ела огурцы...
Скучища хоть на лампочке повисни!

Вдруг выигрыш — поездка в Сингапур
И тут где жизнь как сладкий перекур
Я фреску увидел в китайском храме

Там на стене где ивы и дворцы
Улыбчивые старцы-мудрецы
Беседуя склонились к диаграмме

ЛЮБОВЬ

Надежде Януариевне Рыковой

Пообещала — значит выйдет скоро
Одну бытулку подобрал в подвале
Другие две строители мне дали
Купил трески и пачку «Беломора»

В окно стучал — играл как на рояле
«Май дарлинг» вызывал для разговора
Шипел мяукал. Приняли за вора
Ушел в подъезд — опять меня прогнали

Что бормочу — лишь ей одной понятно
Вот за стеклом и нос ее и пятна
И вертикальный с золотом зрачок!

Отец ее и враг из дома вышел
Зачем сказал он то что я услышал?
«Влюбленный в нашу кошку дурачок»

РАЗНОЕ

ИЗ КАТУЛЛА

С яблоком голубем розами ждал я вчера Афродиту
Пьяная Нинка и чех с польской водкой пришли.

ТРЕТИЙ РИМ

Вокруг Москвы белеют корпуса —
Инопланетные становища
И бродит в парке ЦДСА

Зеленомордое чудовище
Стоит киоск у Сретенских ворот
Толкует возле выпивший народ
Интеллигентных несколько бород
И подняла головку саламандра
В углу, где подозрительные пятна
Как этот город вся невероятна

На Выставку приезжий из Рязани
Глядит осоловелыми глазами
Широкотазы полновесногруды
Чиновные экстазы и причуды
Колонны завитки порталы шпили —
Быка с мудями тоже вылепили!

За окружной сверкают чудеса —
Инопланетные становища
И воев в парке ЦДСА
Широкоротое чудовище

О СМЕРТИ

Оса искала следы какао — ползет — по липким доскам дачного стола — детсад — отклеивая лапки — разглядываю близко-близко — на жопке ядовитожелтые полосы — ужасно хочется потрогать.

И больше ничего не помню кроме большого страха в тесном доме — когда проснулся ночью весь в слезах — и понял — это Я — и все что происходит — в самом деле — со мной — в трусах и майке — трет разинка — Я — а не другой умру — Меня не станет — МЕНЯ на самом деле — а не того о ком я думал — это я — Все дети спят — а ночь гудит от ветра — пахнет слежавшимся матрасом — маленькое сердце: мама! мама! — и дерево наполненное бурей огромное ночное за окном

Мать умерла от рака — сначала не обращала внимания — но клетки уже переродились одичали — рука была тверда и горяча — чужое мясо

Как мучилась! —

говорила все о каких-то пустяках — кажется она не замечала — «открой окно» — что

все на самом деле — «дай апельсинового сока» — с ней — ни с кем иным — лепетала как младенец

Как мучилась!

Я уходя в свое первоначало — в свое спасение от боли — просила передвинуть телевизор к ногам постели — потом уж не она кричала — другая женщина — родные оперировать хотели — которая желала чтоб кончилось все это поскорей

Сегодня выйдя из метро — троллейбус липы ресторан СОФИЯ — улицу я знаю наизусть — впервые ощутил — (продажа мужских носков

— отмеченные солнцем лица — скучающая продавщица) — что это ЕСТЬ — и только ЭТО — реальность из которой хода нет
Улица устало клонилась к западу — недоуменье оставило — поток машин вливался в солнце что стояло над шпилем Белорусского вокзала — сияла каждая пылинка — и было счастье! — к вечеру слышнее пахли липы — сознание что вижу и дышу — на самом деле — и что умру я — а никто другой.

И ВСЕ РАНЬШЕ И РАНЬШЕ ОПУСКАЮТСЯ СИНИЕ СУМЕРКИ

Это казалось невероятным. Это казалось черт знает чем. Сначала возникли слухи, будто он за Ингой ухаживает. Затем кто-то сказал, что Инга выходит за него замуж, и он переезжает к ней с вещами.

Однако вскоре все оказались перед фактом: Инга, действительно, вышла за него замуж... И как бы к этому ни относились, но вышла замуж Инга за коня.

— Нас либо разыгрывают, либо издеваются, — раздраженно сказала Римма, пробежав глазами открытку, в которой черным по белому было написано, что Инга вышла замуж за коня, и что Римма с Реджинальдом приглашены по такому поводу к Инге в субботу.

— Однако, — произнес Реджинальд, отхлебнув из стакана глоток клюквенного киселя, — факт... остается фактом...

— Но, может быть, это всего лишь прозвище? — с надеждой произнесла Римма. — Ну, например, его зовут Никоном, а она его ласково называет Конем... Коняшкой?.. Или, может быть, у него фамилия — Конский?

— Все может быть, — сказал Реджинальд, допивая клюквенный кисель, — но их вдвоем видели в парке... Это никакой не Никон, и не Конский... Это самый настоящий конь.

— Она всегда была экстравагантна, — сказала Римма, — но чтобы до такой степени?!..

— Тебе лучше знать, — она же твоя ближайшая подруга.

— Именно поэтому я не знаю, как быть с приглашением, — растерянно сказала Римма. — Она, действительно,

моя лучшая подруга... Как никак, а мы с ней вместе учились и в школе, и в институте... Она всегда была неудачницей... И уж, наверное, не от хорошей жизни решила на такой шаг...

— Но ты представь меня и себя в его обществе, — со смехом сказал Реджинальд. — О чем, интересно, мне с ним говорить?.. И каким образом?!... Да, и вообще, что между нами может быть общего?.. Ты, если тебе интересно, можешь идти, но я...

Решению этой проблемы были посвящены еще два дня, и, наконец, в субботу утром Реджинальд согласился. Все-таки демократичность взяла свое.

— Ну, хорошо, — сказал он, — но ведь неудобно же идти с пустыми руками...

— Подберем какой-нибудь красивый букет, — предложила Римма.

— Он может понять это как намек на то, что мы принесли ему клоч сена...

— Лошади едят овес, — сказала Римма.

— Представь себе, прекрасно могут жрать цветы и, черт их знает, что...

— Может быть, сервиз? — неуверенно произнесла Римма.

— Это ей сервиз? А ему зачем сервиз? Ему тогда надо купить ведро!

— Не утрируй!.. Подарим им нашу подкову на счастье. Хотя нет... Что я говорю?..

После долгих споров сошлись на том, что надо подарить что-то индифферентное и остановились на музыке... Известно, что лошади — народ музыкальный... В середине дня были куплены проигрыватель «Концертный» и пластинка. На одной стороне «Полька-бабочка», а на другой стороне — «Два марша»... Черт их знает, какую они любят музыку, а в маршах все-таки есть что-то кавалерийское...

И вот июньским вечером, тяжелым и знойным, Римма и Реджинальд звонили в квартиру Инги, ощущая при этом какое-то неприятное волнение. За дверью слышались сначала глухая возня, будто кто-то спешно надевал на себя что-то, а затем звуки, напоминающие не то шаги, не то цоканье. Реджинальд несколько отступил назад. Римма убрала сползшую с ключицы белую лямочку и водворила ее на место.

Дверь открыл он сам.

— Ну, наконец-то, — сказал он, — наконец-то, наконец-то... А то уж мы заждались, заждались мы вас, заждались.

Римма и Реджинальд робко, боком прошли в переднюю.

— Здравствуйте, — тихо выдавила из себя Римма.

— Здравствуйте, — прокашлял Реджинальд.

— Ну, конечно!.. Конечно же! Конечно! — обрадованно сказал он.

Из комнаты выпорхнула загоревшая Инга и с криком бросилась к Римме:

— Римуля! Милая! Я так рада, что вы пришли! Так рада! Так рада!

Они поцеловались.

— Поздравляю тебя, — заговорила Римма. — Я так счастлива, так счастлива! Так счастлива, что просто не нахожу слов, как я счастлива! Мы так с Реджинальдом за тебя счастливы!

— Мы рады за тебя с Риммой и счастливы, — сказал Реджинальд, протягивая руку Инге.

— Мог бы и поцеловать по такому случаю, — подтолкнула Римма Реджинальда.

— Мы тебя поздравляем, — поцеловал Реджинальд Ингу. Инга тоже поцеловала Реджинальда.

— А это мой муж. Познакомьтесь, — сказала она.

Он протянул Римме мускулистую грубоватую правую руку:

— Тулумбаш! Тулумбаш я... От Башлыка и Тулянки..

— Очень приятно... Римма, — выдохнула она. — Поздравляю вас. Вам так повезло. Ингуля такая чудесная женщина. Это просто клад!..

Он протянул руку Реджинальду:

— Тулумбаш!..

— Очень приятно, — поклонился Реджинальд. — Реджинальд.

— Как? — спросил он. — Как вы сказали? Как?

— Реджинальд, — повторил Реджинальд.

— Очень красивое имя! — сказал он. — Очень... Просто очень красивое имя...

Реджинальд протянул ему коробку с проигрывателем и пластинкой:

— Это вам с Ингой от нас с Риммой... Поздравляю вас и завидую... Инга — чудесная женщина. Она — настоящий клад, как заметила моя супруга...

— Ишь-ты, подишь-ты, — закокетничала Инга, — ну уж прямо... По-моему, Башик должен завидовать вам!.. Ты знаешь, Башик, Римма такая чудесная женщина! Это она клад, а не я!..

— И ты клад, и она клад, — улыбнулся Тулумбаш. — Два клада: она — клад, и ты клад.

Римма уже более смело смотрела на него. У него было обыкновенное, может быть, чуть более продолговатое лицо, большие очки в роскошной, видимо, заграничной оправе. Улыбка обнажала крупные, крепкие, слегка желтоватые зубы.

И все прошли в комнату и расселись за великолепно сервированным столом.

Римма насчитала двадцать три вида всевозможнейших и пикатнейших закусок и двенадцать видов вин и более крепких напитков. Кроме того, каждому полагалось по три ножа: большому, поменьше и с зубчиками; и по три вилки: большой, поменьше и с двумя тонкими зубцами...

— Какая прелесть! — неподдельно восхищенно сказала Римма.

— Прямо, как на обеде у мадагаскарского консула по поводу третьей годовщины со дня возникновения республики, — сказал Реджинальд.

— А вам приходилось там бывать? — спросил Тулумбаш.

— Да уж, — небрежно ответил Реджинальд. — При первой же возможности побывайте.

— Очень завидно... Очень... Просто очень даже завидно, — сказал Тулумбаш. — А я был в тридцати четырех странах, а у мадагаскарского консула не был, не был у мадагаскарского консула... Не был...

— В тридцати четырех?! — захлебнулась Рима и подумала о том, как же все-таки повезло этой дурочке — Инге...

— Не знаю, — размеренно произнес Реджинальд. — Я лично был на обеде у мадагаскарского консула по поводу третьей годовщины со дня возникновения республики и ни на что это не променяю... Ну, а интересно, в качестве кого же вы ездили в тридцать четыре страны?

— В качестве рысака ездил, — сказал Тулумбаш. — Ездил в качестве рысака...

— Не знаю, — Реджинальд положил в тарелку две ложки салата, три шпротины и два ломтика ростбифа. — Не знаю... Я лично предпочитаю, — положил туда же два поми-

дора, лососину и потянулся за сыром, — я лично предпочитаю ездить сам, нежели, — положил туда же квашеной капусты, сациви и залил все получившееся майонезом, — нежели, когда на тебе ездят.

— Есть еще много тарелок, — сказала Инга.

— А зачем зря посуду переводить, — ответил Реджинальд и начал есть.

— Это старый спор, — улыбнулся Тулумбаш, — старый это спор... Вам кажется, что вы ездите на нас, что вы на нас ездите, а нам кажется, что, наоборот, мы вас возим... Возим мы вас... Возим...

— Ну и прекрасно, — захохотал Реджинальд, — вы нас возите, а мы будем на вас ездить!..

— А вы в Италии тоже были? — осторожно спросила Римма. Римма мечтала побывать в Италии. Такая уж у нее была слабость.

— Был, — сказал Тулумбаш. — Был. Один раз был. На международном аукционе в Турине... Продавали меня. Продавали. Но, слава богу, не продали. Не продали. А брата моего продали. Брата по отцовской линии продали. Иноходец он. Иноходец.

— Ешьте и пейте, сколько угодно, — сказала Инга. — А на Башика не обращайтесь никакого внимания. В смысле мяса он вегетарианец, да к тому же завтра у нас ответственные соревнования. Так что нам надо быть в форме. Верно, милый?

— Большой летний приз, — гордо произнес Тулумбаш. — Десять тысяч баллов! Десять тысяч!..

— Это сколько ж в переводе на наши деньги? — изумленно спросила Римма.

— Не знаю, — сказал Тулумбаш, — даже не знаю. Это интересует наездников, а для меня самое главное — не проиграть. Не проиграть — самое главное. Не проиграть!..

— На ипподроме все — жулики, — твердо отчеканил Реджинальд.

— Ну, уж не все. Не все жулики... Не все уж... И потом жулики могут быть где угодно. Где угодно могут быть жулики. Где угодно.

— А вы, я вижу, склонны к обобщениям, — настороженно спросил Реджинальд.

Римма поспешила вмешаться, так как она видела, что муж уже довольно прилично выпил и способен на оскорбления.

— Ты не совсем прав, — сказала она. — Это ты обобщаешь, говоря, что на ипподроме все — жулики...

— Обойдемся без адвокатов, — оборвал Реджинальд. — Что значит, жулики могут быть где угодно? Значит там, где я работаю, тоже могут быть жулики?.. Да за такие намеки я, будь на то моя воля, ваше заведение разогнал да в кавалерию... Или в конную полицию... Все польза была бы!..

Тулумбаш то и дело поправлял очки и улыбался.

— Он шутит! Тулумбаш! — мягко сказала Римма. — Он просто очень любит свою работу.

— Давайте немного посидим на балконе, — попробовала переменить разговор Инга. — А то очень душно... Башик почитает свои стихи...

На балконе было легко и, пожалуй, даже свежо, во-первых, потому что вечер уже почти наступил и, во-вторых, потому что за крышами домов справа небо почернело, и время от времени доносилось оттуда порывистое прохладное дыхание. Ворча и подмигивая приближалась гроза.

Тулумбаш принес из комнаты накидку из мягкого лоснящегося коротенького меха и набросил ее на плечи Инги.

— Действительно, зябковато, — поежился Реджинальд. — Принеси-ка мне пиджак, Римма!

Римма, только что уютно устроившаяся на маленьком стуле, встала и принесла Реджинальду пиджак.

— Ну, ну! Давайте, давайте! — сказал он.

— Я иногда пишу стихи, — виновато сказал Тулумбаш. — Иногда. Пишу иногда. Инга их переводит.

— Слишком громко сказано, — смугилась Инга.

— И-и... — начал Тулумбаш, — и все раньше и раньше опускаются синие сумерки, и дорожка становится тяжелой и мокрой, и в лица наездников летят комья грязи, и это значит, что кончается летний сезон, и начинается сезон зимний, и скоро предстоит перековка, и тот, кто скорее перекуется, тот и будет опять занимать призовые места...

— Без рифм? — спросил Реджинальд.

— Утрачены в переводе, — грустно сказал Тулумбаш, — в переводе утрачены. Утрачены...

Он свесил через перила свою голову и уставился вниз. Его темно-рыжая аккуратно подстриженная шевелюра при-

ходила в легкое движение при каждом порыве ветра.

— Вот та-ак, — протянул Реджинальд, — а я стихов не люблю. Я люблю песни...

— Мы вам подарили проигрыватель «Концертный» и пластинку с маршами, — перебила Реджинальда Римма, опасаясь, что он сейчас запоет...

— А я не люблю марши, — тихо произнес Тулумбаш, по-прежнему глядя вниз, — не люблю. Мы под них выезжаем на круг... Выезжаем... Я люблю Гайдна. Гайдна люблю.

— Башик и меня научил любить Гайдна! — похвасталась Инга.

— А кто не любит Гайдна? — сказал Реджинальд. — Все любят Гайдна.

— Уж конечно, — зло фыркнула Римма.

В эту минуту она поймала себя на том, что завидует Инге. Завидует ингиной беспринципности. Была бы она тоже беспринципна, — тоже была бы счастлива. Также могла бы устроить свою личную жизнь. В конце концов внешне она много симпатичнее Инги... Но нет, нет! Это несовместимо. Если от него не пахнет, то вообще-то от них пахнет... За границу часто ездят...

— И долго вы еще будете ездить? — спросила она. Римма имела в виду «заграницу», но Тулумбаш не понял ее.

— Пока резвость не потеряю, — ответил он, — или ногу не сломаю. В этом случае, меня, очевидно, лишат жизни...

— То есть как?! — ахнула Римма.

— Очень просто. Просто. Наше содержание обходится очень дорого. Дорого обходится. Дорого... Раз уж мы не можем ездить...

— Вы не представляете, как дорого обходится их содержание! — поддержала Инга.

— Но ведь это бесчеловечно! — возмутилась Римма.

— Вряд ли здесь уместно это слово, — сказал Реджинальд. — Это логично и по-хозяйски... Верно?

И Реджинальд дружески хлопнул Тулумбаша.

— Верно! — засмеялся Тулумбаш и тоже дружески хлопнул Реджинальда. — По-хозяйски!.. Верно!..

— А если вы потеряете эту... скорость? — настаивала Римма.

— Резвость, — поправил Тулумбаш, — резвость, а не скорость. Если я потеряю резвость, если потеряю, то меня могут направить на конзавод производителем... На конзавод...

— Интересно, как на это посмотрит ваша супруга? — сказала Римма.

— Риммуля, но ведь это работа, — обиделась Инга.

— Любая работа почетна, — сказал Реджинальд. — Тем более на заводе.

— Не знаю, — не сдавалась Римма. — Я бы лично не позволила...

— Прекрасно позволила бы, — сказал Реджинальд. — Не всем же работать на таком месте, как я. Понадобились бы деньги, — прекрасно бы позволила...

Вечер, наконец-то, разродился грозой. Хлынул ливень. Все убежали в комнату и стали пить чай.

— Вы и чай не пьете, — удивился Реджинальд.

— Мне нельзя много жидкости, — сказал Тулумбаш.

— Нельзя. Особенно на ночь. Особенно.

— Почки? — доверительно спросил Реджинальд.

— Нет. Что вы!.. Режим... Что вы!..

— Не представляю, как мы доберемся домой, — забеспокоилась Римма.

— Я вас довезу. Довезу я вас. Довезу, — с улыбкой сказал Тулумбаш.

— Он вас довезет, — подтвердила Инга.

Он вышел и вернулся через минуту в непромокаемой широкой-широкой шляпе, из-под которой торчали уши, и протянул Реджинальду хлыст.

— Я не знаю, где вы живете, — сказал он, — не знаю. Поэтому вам придется мною править... Править придется... Вы берете в руки вожжи и правите мной... Правите... Если надо вправо, вы натягиваете правую вожжу, правую... Мне становится больно... Больно становится... Понимаете? И я, чтобы ослабить боль... Чтобы боль ослабить, поворачиваю направо... Точно также налево...

— Действительно, просто, — обрадовался Реджинальд.

— А если надо быстрее, — добавил Тулумбаш, — вы меня хлестните вот этим хлыстом...

— Не задерживайся, Башик, — сказала Инга. — Тебе в шесть утра надо быть на месте.

Инга поцеловала сначала Римму, потом Реджинальда, потом Тулумбаша.

«Как она может?» — подумала Римма и опять позавидовала Инге.

Когда спустились во двор, Тулумбаш натянул на небольшую двуколку брезентовый верх. Римма и Реджинальд

забрались под брезент и тронулись...

Они мчались по мокрому асфальту. Реджинальд дергал вожжи то вправо, то влево, время от времени подхлестывая Тулумбаша. Встречный озонированный ветер выдувал постепенно весь хмель.

— Давай! — кричал Реджинальд. — Давай!

Римме было очень приятно, но она боялась только одного, как бы Реджинальд не загнал ингиного мужа до такой степени, чтобы он уже не мог остановиться. Ведь читала же она про такой случай не то у Флобера, не то у Мопассана. И в кино видела.

Глупо было бы не использовать представившуюся возможность и не покататься. Сначала они махнули на Приморский бульвар, потом по метромосту спустились на проспект Фергюсона, выехали на Космическое кольцо. От Кольца прокатились к старой телебашне и помчались на Лунную набережную. Домой.

— Ух, как далеко вы живете, — сказал Тулумбаш, когда они, наконец, остановились. — Ух, как далеко... Я очень сожалею, что не могу повозить вас немного по городу... Не могу... Не имею времени... Времени не имею...

— Не расстраивайтесь, — успокоил его Реджинальд. — В другой раз...

— Непременно, непременно, — закивал Тулумбаш. — Ждем вас в гости... Ждем...

Они вошли в подъезд, а он развернулся, мотнул головой и потрусил обратно.

— Он очень мил и интеллигентен, несмотря ни на что, — зевнув, произнесла Римма, когда они поднимались в лифте.

— Да... в общем-то да, — согласился Реджинальд.

— И по-моему симпатичен,.. как ты считаешь?

— Да... В какой-то степени, — согласился Реджинальд.

— И все-таки надо их как-нибудь пригласить к нам, — неуверенно предложила Римма.

Реджинальд поднял брови:

— Пригласить к нам?! Его к нам?!.. Только этого мне и не хватало!!.

И Реджинальд дико заржал.

И СНИТСЯ МНЕ КАРНАВАЛ

Мы все идем, идем, идем...

Свежий, желтовато-белый, только что построенный дощатый настил на моих глазах все сереет, сереет, сереет... И вот он уже совсем старый. И прогибается под каждым нашим медленно-торжественным шагом. Все дома распахнули свои окна, и в каждом окне люди. И в глазах у них напряженное любопытство ожидания. А дома, которые далеко, начинают расти, приподнимаются на цыпочках, взбираются на табуретки и на плечи других домов. Наиболее проворные из них залезают на деревья. Все хотят видеть. Все хотят слышать.

А я ничего не хочу видеть. Я ничего не хочу слышать. Но я все вижу и все слышу. Я различаю каждого, но ни на ком стараюсь не задерживать своего взгляда. Приоткрытые в расслабленном ожидании рты тех, которые ничего не понимают. Тучные непробиваемые лица тех, которые ничего не хотят понимать. Подернутые злой полуусмешкой губы тех, которые все понимают и как бы спрашивают: «А как-то ты теперь запоешь?». Молчаливо-сочувствующие глаза тех, которые вынужденно оторваны от своих собственных забот нашим шествием. Это самое страшное — молчаливые взгляды тех, кто сочувствует вам, вынужденно оторвавшись от своих собственных забот.

А вот лицо, на котором я задерживаюсь... Словно слегка растянутые невидимыми резиночками глаза. Несколько веснушек на носу. Заколка для волос, зажатая губами. А руки на затылке напрасно стараются сделать пучок из таких коротких волос.

Это моя жена, которая с того самого момента не моя жена. А рядом с ней в окне мышцы, плечевой пояс и превосходный пробор с левой стороны.

И какая зверская интуиция у людей в окнах! Все, как один перехватили мой задержавшийся взгляд и проследили его до самых веснушек и до самого пробора. И снова, как по команде, на меня. И снова на них. Пахнет жареным! Сейчас что-то будет! Иначе незачем было в такую рань высо-

вываться из окон. И я вижу, что люди знают все: что она была моей женой, что пробор теперь живет с ней, что я это знаю...

И только один пробор не в курсе дела.

— Эй, ты, пробор! — кричу я. — Уходя из дома, выключай прибор!

Дикий хохот сотрясает весь город. Наконец-то! Состоялось! «Ну, дает!.. Ну дает смехач шороху!» — слышу я отовсюду.

— Это глупо! — кричит жена.

— А что делать? — говорю я тихо. — А что делать?..

Я и сам знаю, что это глупо...

— Эй, пробор! — опять кричу я. — Она больше любит по утрам! Не теряй времени!

У людей развязываются пупки.

— Не ваше дело! — кричит мне пробор. — Ваше дело идти на казнь! Понятно?

— Будь выше, — говорит ему жена. — Я тебе потом все объясню.

— Ну, смехач дает! Ну, песочит! — слышу я из одних окон.

— Бесстыдство это! У них никогда ничего святого не было!

Люди получили первый завтрак и начинают тщательно пережевывать его.

А мы все идем, идем, идем... Меня все ведут, ведут, ведут... Все, что я вижу перед собой, — это затылок первого из четырех. Он знает, что смехачей надо казнить. Но когда-то он больше всех других смеялся над всем, что слышал от меня. Поэтому ему неудобно смотреть мне в глаза, и я вижу только его затылок. Сзади идет второй из четырех. Я считал его своим другом, но именно он указал дом, в котором я жил. Мне противно смотреть на него. Поэтому я иду, не оглядываясь.

Справа и слева меня сопровождают два другие из четырех. Они не знают, надо казнить смехача, или не надо. Казнить — это их честный труд. И у меня нет к ним никаких внутренних претензий. В конце концов, должен же кто-то работать казначеем. Вот они и работают. И смотрят только вперед. Поэтому справа и слева от себя я вижу только по одному профилю.

И вот мы идем, идем, идем...

Я вижу на одном из балконов мать и отца.

Их уже давно нет. Отец поливает матиолы из зелененькой детской лейки. Я слышу, как шуршит вода. Я вижу, как просочившись через деревянный ящик, падают с шестого этажа капли на сухой асфальт нашего двора.

— Да, оставь ты свои цветы! — раздраженно говорит мать отцу и протягивает руку в моем направлении.

Люди в окнах снова превратились в любопытство. Они знают, что это мои родители. Они знают, что их давно нет. Они все знают. Опять что-то будет... Все глаза, как по команде, на меня. Потом на родителей. Потом на меня...

— Почему ты столько у нас не был? — спрашивает мать. — Мы с папой соскучились...

— Скоро увидимся, — говорю я и показываю на небо.

Вздых удовлетворения прокатывается по городу. Сопровождающие меня улыбаются.

— Как твоя нога? — спрашивает мать.

— Ничего, — говорю я, — глазник сказал, что уже лучше.

— Почему глазник? — недоумевает отец.

— Нога болит — глаза на лоб лезут! — кричу я.

Дошло! Люди заливаются в окнах:

— Ну, выдал смехач!.. Ну, потешил!.. Умора, ей-богу!..

Идущий передо мной затылок начинает содрогаться.

Два профиля смеются, глядя вперед. То, что делается с задними, меня не интересует. Отец грозит мне пальцем.

— Что ты сегодня ел на завтрак? — спрашивает мать.

— Бутерброд с хлебом!

— Смотри! Доведешь себя!

— Не волнуйся, мать! — кричу я. — Они меня доведут!

— Не больно-то умничай! — строго говорит затылок.

— Надень панаму! — мать бросает мне белую пионерскую панамку. — Солнце-то какое!

— Моя голова будет храниться в сухом прохладном месте! — отвечаю я и надеваю белую панамку.

Ропот неодобрения. Свист. Крики «не смешно!».. Два профиля недовольно морщатся.

— Халтура! — кричат с какой-то крыши.

— Скорее приходи! — кричит мать уже вслед. — Я сделала твою любимую манную кашу без комков!..

Я набираю воздух в легкие и ору почти не своим голосом:

— Каша манная — ночь туманная!

Хохот буквально раскалывает все вокруг. Аплодисменты становятся скандированными.

«Ка-ша ман-на-я! Ночь ту-ман-на-я!»

Сопровождающие остановились и не могут перевести дух от смеха. Я делаю комплименты во все стороны...

И снова мы идем, идем, идем...

И дождь сыплется такой мелкий, будто его распылили из пульверизатора.

Несмотря на это вдоль дороги и на зеленых, матовых от тумана холмах очень много плащей, плащей, плащей, зонтов, зонтов, зонтов...

Мои сопровождающие устали. Затылок ушел в плечи. Два профиля угрюмо и мрачно смотрят вперед. Задний... Да, чтоб он совсем увяз! Мне до него нет дела.

Зонты и плащи жмутся друг к другу, переминаясь с ноги на ногу. Им холодно. Но они стоят. И мы двигаемся между ними.

«Смехача ведут!.. Смехача ведут! — слышится вдоль стен этого живого коридора. — Досмеялся!.. Так ему и надо!.. Смехача ведут!..»

Молчание и шепотки затягиваются, и я обращаюсь к своему эскорту:

— Чего приуныли?

Молчат. Только от зонтика к плащу, от плаща к зонту шепотом передается мой вопрос.

— А мне вас жалко!..

«Жалеет!.. Он их жалеет!.. — Шуршат зонты и плащи. — Они его казнить ведут, а он их жалеет... Во, дела!..»

— А ты нас не жалеешь! — мрачно хрипит затылок. — Ты себя жалеешь!

— Ну, как же, — отвечаю я. — Погодка-то!.. Мне ведь только туда, а вам еще обратно возвращаться!

Молчат. Зонты и плащи начинают неодобрительно гудеть:

— Старо!.. Зачем над людьми издеваешься!.. Его бы на их место!..

Где-то высоко-высоко за облаками бесконечно-одиночно звучит труба Майлса Девиса.

От живого коридора отделяется плащ. Я узнаю его. Это начальник отдела, в котором я работаю.

— Как же так? — говорит он. — Вы уходите от нас, можно сказать, навсегда и оставляете нашу стенгазету без юмора? Может, придумаете что-нибудь на ходу?

И он протягивает мне стенную газету нашего предприятия.

«Вот уж много лет подряд наш директор бюрократ», — пишу я ему в уголке для юмора.

— Вот здорово! — кричит он, размахивая стенгазетой. — Ну пригвоздил!

Поднимается невообразимый галдеж. У всех в руках появляются стенгазеты.

— И нам тоже!.. И нам тоже напиши! — несется со всех сторон.

— Я не знаю, что кому надо! — пытаюсь отбиться я.

— То же самое!.. То же самое!..

Все наперебой протягивают мне стенгазеты. Глаза горят...

И я всем пишу: «Вот уж много лет подряд наш директор бюрократ!»

И все довольны. И всем подошло... Я никогда раньше не знал, что каждый человек — редактор стенной газеты...

— И мне напиши, — не оборачиваясь, протягивает мне стенгазету затылок. — Я тоже редактор... У нас тоже много лет подряд...

Его стенгазета называется «С плеч долой!»

Я пишу ему то же самое. И он тоже остается доволен. Я это вижу по затылку.

Где-то высоко-высоко за облаками бесконечно-одиноко звучит труба Майлса Девиса. Только это не труба. Это пионерский горн...

«Вставай, вставай, дружок, с постели на горшок!» — поет пионерский горн...

На перроне очень много детей и еще больше родителей.

Я стою среди четырех вожатых. Затылок, два профиля. А на четвертого не хочу смотреть.

Суконные штанишки на бретельках больно врезаются мне в пах.

А вот моя мать и мой отец. Их уже давно-давно нет.

— Он очень нервный мальчик, — говорит мать затылку и добавляет шепотом: — У него случается ночное недержание...

Но все всё слышат, и весь перрон покатывается от смеха, указывает на меня пальцами...

— Возьми на дорожку, — сует мне отец кулек со сливочным печеньем и целует меня.

— Бывают в жизни огорченья! Вместо хлеба ешь пече-

нье! — кричу я на весь перрон.

Все умирают от смеху.

— Умница! — говорит затылок. — Будешь у нас в самодеятельности...

«Бери ложку, бери хлеб и садися за обед», — поет пионерский горн.

А мы все идем, идем, идем...

Все босиком, в одних трусах... Пахнет соснами... Мы играли в казаки-разбойники, и меня поймали...

Четверо казаков ведут меня на допрос. Затылок, два профиля... А задний — предатель. За порцию компота он сказал им, где я прячусь. Вокруг ребягня. «Разбойника поймали!.. Разбойника поймали!..»

— А ваша вожатая, — говорю я, — физкультурником зажатая!

— А твоя вожатая — завхозом зажатая, — говорит затылок.

— А угадай, что сегодня на ужин? — спрашиваю я.

— Манная каша, — отвечает затылок.

— Каша манная — ночь туманная! — выкрикиваю я довольный тем, что подловил его.

Ребята закатываются. Один от смеха падает с дерева.

— Досмеешься! — зло шепелявит затылок.

«Спать, спать по палатам», — протяжно поет пионерский горн. Только это не горн. Это высоко-высоко за облаками бесконечно-одиноким звучит труба Майлса Девиса...

За несколько шагов до третьей колонны Оперного театра, где меня ждет моя будущая жена, а теперь, после того момента, моя бывшая жена, я поправляю галстук и застегиваю пиджак.

Она только что вернулась с пляжа и от нее еще пахнет водой. Она — это несколько веснушек на носу и растянутые невидимыми резиночками глаза...

— Ты меня любишь? — совсем тихо спрашивает она.

Я хочу так же тихо ответить «да, конечно», но нас почему-то обступает огромное количество любопытных.

Они сбегаются со всех близлежащих улиц и площадей.

Они выдавливаются из магазинов. Они даже бросили смотреть «Лебединое озеро» в Оперном театре и валом валют из его дверей...

«Смехач в любви объясняется!» — таинственно сообщают они друг другу.

Откуда им все известно? Ведь мы с ней говорим так тихо.

— Так ты меня любишь? — совсем шепотом спрашивает она.

Все застыли. Сейчас что-то будет...

— Любовь не картошка! Не выкинешь в окошко! — кричу я.

Смех перемешивается с возгласами: «Сила-а!.. Любовь осмеивает!.. Да они ради красного словца не пожалеют и отца!.. Ну, дает!..»

— Ты меня любишь? — беззвучно шевелит она губами.

— Любовь, — что струя из водопроводного крана! Течет, пока не перекроешь! — ору я раздраженно.

От хохота содрогается Оперный театр. И опять возгласы:

«Насмехается!.. И чего она в нем нашла?.. Да, плюнь ты на него, девушка!.. А здорово он ей, а?..»

— Ты меня любишь? — одними глазами спрашивает она.

— Да... Конечно... — говорю я чуть не плача.

Гулом разочарования встречает толпа мои слова. Им уже не интересно. Они снова заполняют близлежащие улицы. Они снова хотят смотреть «Лебединое озеро»...

А мы все идем, идем, идем...

И скоро, видимо, придем к концу. И я, кажется, весь высмеялся, и все просмеял.

Не понимаю только, то ли меня ведут на казнь, потому что я всё просмеял. То ли я всё просмеял, потому что меня ведут на казнь.

Мы подходим к громадному цирку под названием «Финита ля комедия». Окошечко кассы закрывает табличка: «На сегодняшнюю казнь все билеты проданы!»

Я вытаскиваю контрамарки, которые положены мне по указу, и раздаю их направо и налево первым попавшимся счастливым.

И вот мы входим в цирк. Все пятеро в черных фраках и в цилиндрах. А мои сопровождающие, кроме того, в белых перчатках.

Цирк забит до отказа. Даже в проходах нет ни одного местечка, где можно было бы пристроиться. Люди едят мороженое в вафельных стаканчиках, трюфели и кашляют... Взгляды всех скрещиваются в центре ослепительно освещенной арены, где установлены разноцветная плаха и похо-

жий на молодого жеребца тонконогий и черный венский электрический стул.

Я не могу оторвать глаз от плахи. Она вся заклеена приветствиями. «Добро пожаловать, смехач!»... «Одна голова хорошо, а две лучше!»... «В здоровом теле здоровый дух вон!..»

Меня подводят к тонконогому и черному венскому электрическому стулу. Барабанная дробь горохом рассыпается по всему цирку. Оркестр ставит жирную точку продолжительным мажорным аккордом...

Внезапно наступает тишина. Такая тишина, что начинает колоть в ушах. И в этой тишине откуда-то из-под купола звучит голос по радио:

— Садитесь, пожалуйста!

— Спасибо большое. Я постою, — говорю я вежливо и прикладываю правую руку к сердцу. При этом я элегантно кланяюсь. Кажется, я угадал. Цирк отвечает мне мощным взрывом хохота и одобрительными выкриками. Стул исчезает где-то под куполом, и на арену выкатываются клоуны, чтобы заполнить неожиданно возникшую паузу.

— Желание смехача — закон для казначая! — звучит из-под купола все тот же холодный голос по радио, и меня подталкивают к плахе.

— Ты можешь в последний раз что-нибудь спросить, — говорит затылок.

Снова колющая тишина.

— Скажите, пожалуйста, — спрашиваю я, — какой сегодня день?

— Понедельник, — отвечает затылок.

— Ничего себе начинается неделка, — говорю я и кланяюсь на все четыре стороны.

Оглушительный свист заполняет цирк. «Старо!» — несется со всех сторон. — «Непонятно!.. Бородатый анекдот!»

Мои четверо недовольно морщатся.

Не попал! Капельки пота проступают на лбу, и силы оставляют меня. Я опускаюсь на колени перед плахой. Ее поверхность напоминает мне поверхность тех здоровенных пней, на которых мясники разделявают туши.

— Нельзя попросить подушечку? — дрожащим голосом говорю я. — А то здесь очень жестко.

«Подушку просит!.. Подушку просит!» — разносится по цирку. — «Не может потерпеть минуточку!..»

Один из профилей кладет на плаху мою самую любимую в детстве подушечку с вышитым медвежонком.

Другой профиль набрасывает мне на плечи белую простыню и ловко, как в парикмахерской, засовывает ее концы за ворот рубахи.

Мой бывший друг укладывает мою голову правым ухом на подушечку и рекомендует закрыть глаза.

Оркестр ударяется в веселый галоп. Но даже в этом галопе я все же улавливаю левым ухом, как где-то высоко-высоко под куполом бесконечно одиноко звучит труба Майлса Девиса.

— Одну минуточку! — Я приподнимаю голову. — Извините, но я не привык засыпать на правом боку...

Ропот недовольства расплзается по цирку. Сопровождающие недоуменно пожимают плечами.

Я ложусь на подушечку левым ухом. Теперь, кажется, все...

Вот сейчас затылок начнет заносить над головой невероятных размеров топор, с тем чтобы опустить его с криканьем в том месте, где у меня сейчас стоит ком, мешающий мне дышать. Я с трудом проглатываю слюну...

— Одну минуточку, — хриплю я. — Можно мне сказать последнее слово?

— Какие будут предложения по этому вопросу? — спрашивает мой бывший друг у всего цирка. — Дать или не дать?

«Да-ать!» — орет цирк.

Я с трудом поднимаюсь на ноги. Меня шатает из стороны в сторону. Кровь бухает в висках в такт с большим оркестровым барабаном. И набрав в легкие воздуха, я выкрикиваю из последних сил:

— Эх, каша манная — ночь туманная!

Я с трудом соображаю, что произошло. Восторженный рев валит с ног моих сопровождающих. Топор падает из рук затылка. Все четверо катаются по арене, зажав животы руками... Это длится долго. Это длится очень долго. Потом они встают с арены и, словно пьяные, поддерживают друг друга, стараясь удержать равновесие. От смеха глаза у них вылезли из орбит, и, не в силах произнести слова, они оторопело смотрят друг на друга. Цирк ревет и стонет в восторженных конвульсиях. Затылок поворачивается в мою сторону, мгновенно смотрит на меня, потом произносит, давась от смеха:

— Каша...

Он икает, и все четверо в новом припадке валятся на арену. Это опять длится долго. Это опять длится очень долго.

И глядя на них, потных, растерзанных, икающих, я понимаю, что у них не осталось никаких физических сил, чтобы казнить меня сегодня...

Меня препровождают домой. Я остаюсь один в своей комнате. В моем распоряжении только одна короткая ночь. В шесть часов утра эти четверо снова придут за мной. И мы снова будем идти, идти, идти... Той же дорогой. Среди тех же любопытных людей. К месту моей казни. А в моем распоряжении только одна короткая ночь. Поэтому я хватаю карандаш и бумагу и начинаю лихорадочно придумывать «репертуар» для завтрашнего шествия.

Мне жизненно необходимо завтра опять всех смешить. Иначе завтра меня казнят...

И это продолжается уже несколько лет подряд...

Давай, голова, вари «кашу манную — ночь туманную»!

ОСЕННЯЯ ХРОНИКА

Город, так начал я, по моему
мнению, рождается тогда, когда
каждый из нас сам для себя
бывает недостаточен и имеет
нужду во многих.

Платон

0.

Не я к нему, а он ко мне привязан.
Я волен жить, я двигаюсь, как знаю.
Но что бы я ни выдумал, а все же
я чувствую, как медленная тяжесть
за мной перемещается по следу.
И каждый шаг становится работой.
Ступни скользят. А грудь сечет петля
жесточкого бурлацкого натяга...

1.

В огромной омерзительной больнице,
питающейся стонами и вонью,
ощупываю теплые приборы
и в синьке затаившиеся схемы
беспомощно пытаюсь разгадать.
Мне душно. Мне сейчас не до приборов.
Сейчас, потом, вчера, сегодня, завтра...
А впрочем, завтра — это не сегодня.
Сегодня я не кто иной, как я,
а завтра буду некто инородный,
иновременный, иноощутимый.
И вот я говорю: «Приеду завтра»

(пусть он расхлебывает эту кашу),
поспешно собираю инструменты
под вьедливыми взглядами сестер,
беру за хвост дымящийся паяльник
и выхожу во двор. И острый воздух
меня укалывает прямо в сердце.
И так стою, вдыхая эту боль.

Больничный двор, зверинец тополиный,
прочесывают белые халаты,
они плывут над брюками доцентов,
несущих убедительные папки,
над сапогами крепких санитаров,
бестрепетно глядящих исподлобья,
над голыми коленками студенток,
ласкающих свои фонендоскопы
игрушечными робкими руками
с лукавыми вкраплениями ногтей...

А возле морга — трупы разгружают.
И кажутся нелепыми до жути
наморщенные желтые бинты.
(О этот упорительный порядок!
Расчетливое племя человечье
все взвесило и все предусмотрело.
Ничем его теперь не удивишь!)

Больничный двор насыщен до предела.
Паноптикум. Судьба в миниатюре.
От мелкого задавленного взгляда —
до хватки волосатых истуканов.
От нежных губ — до сумрачной работы,
когда несут свисающее нечто,
которое мгновение назад...

Все объясняет тонкая наука.
Чем тоньше — тем точнее объясняет.
Уж так тонка — в очки не разглядишь.

2.

В заборе лаз — и я в Нескучном парке.
В веселом парке, в парке развлечений,
качелей, каруселей и колес.

Еще не поздно, но уже не рано.
Осеннее отчетливое утро
впечатано кленовыми листьями
в асфальтовую плоскость мостовых.
Чуть моросит. Не вертятся колеса.
Задраены ларьки и рестораны.
Пустые лодки дремлют на воде.
И только репродукторы на мачтах,
бессовестные, шумные жестянки,
живут нелепой выдуманной жизнью,
растрачивают кукольные страсти,
тревожатся о всякой чепухе.
Лишь изредка смолкает перебранка,
и за руки на мокрые дорожки
выводят дребезжащего Шопена,
одетого в рабочие штаны...

Холодный парк изысканно красив,
как пасмурный инопланетный город,
как прошлое, покинутое нами.

Как прошлое, где каждая минута
существенна не меньше предыдущей.
Как прошлое, где всякая печаль
пронзительна до боли и желанна.
Как прошлое, в котором мы живем
томительной потусторонней жизнью.

3.

Мы начинали в этом самом парке,
осенним утром по опавшим листьям
с трудом шагая, как по чешуе.

Мы начинали с дальнего прицела,
с широкого и полного осмотра
пустующих площадок и аллей.

Нам надо было обойти полцарства,
чтоб выбрать ту, другую половину.
Никто не мог ускорить этот путь.

Он сам кончался где-то за домами,
за липами Покровского бульвара,
за стенами подвальных этажей.

В запутанных, угрюмых лабиринтах,
в каких-то прокопченных катакомбах,
в объятиях кухонной духоты.

Путь обрывался в тесной комнатушке,
во вдовьей келье тетушки-полячки —
портрет ее висел над головой...

4.

Конец пути. Я выхожу из парка.
Бездомная, простуженная площадь.
Поникший мост. Холодная река...

Ах, мне бы только чуточку свободы,
чтобы пройти веселыми шагами
по правой — нет! — по левой стороне!

Вот шаг один — и пролетают мимо
троллейбусы, киоски, светофоры.
Шнурки ботинок вьются на ветру.

Вот шаг другой — мельканье лиц и окон.
Без остановки, дальше, дальше, дальше,
куда-нибудь, куда-нибудь еще...

Ползу. Мой шаг и суетлив и жалок.
Больное сердце отстает от тела
и тяжело бьется где-то позади.

И, как слепца, подводят тротуары
меня к дверям коллегий и присутствий,
которых мне никак не миновать.

5.

Конечно же, случались промежутки.
Ну, например, хождение в кино.
Кошмарный сон. Когда включают свет.
И ты стоишь, запахивая шарф.
И что сказать? И держишь эту сумку.
И смотришь в незнакомое лицо
угодливо, потерянно и лживо.
Простится ли когда-нибудь тебе,

что фильм плохой, что скука беспредельна,
на улице мороз, пора прощаться,
что завтра снова — каждый за себя?

«А на работе есть такие парни!..»

6.

Таскаюсь по редакциям журналов,
свою любовь за деньги предлагаю,
за очень мало, за почти что даром.
Никто ее задаром не берет.
Ах, ласковые, милые болтушки!
Вы все добропорядочны, как дети.
Вас не прельстишь свободною любовью.
Законный брак! Законен только брак.
Все остальное — противозаконно.

Что для меня редакции журналов?
Вот женщина, доступная для многих,
бессовестно и нагло выгибаясь,
стоит в дверях — никак не обойти.
Она стоит — а ты проходишь мимо,
скосив глаза, груди почти касаясь,
почти глотая влажное дыханье,
почти обняв, почти заговорив.
Но если повторится все сначала,
то все сначала строго повторится.
Как ни крути, тут есть закономерность:
такие развлечения не для нас...

7.

А также были вечера и танцы,
куда я шел, как агнец на закланье,
как на экзамен — двоешник и лгун.
Мы приходили к самому разгару.
Сначала я шумел и торопился,
потом сдавался и уже без слов
снял пальто в холодной раздевалке,
куда великий праздник высылал
случайные свои отображенья:
прически, юбки, сумки, зеркала,
чулки со швом и сигареты с фильтром...
Снял пальто — и в ледяную воду.

Всегда один — она была из тех...
Всегда один — она была своя
среди этих лиц, внимательно-веселых,
и на гору ползущих разговоров,
и музыки с господского стола.

Что предъявить мне этому собранью?
Чем доказать свою благонадежность,
помимо слов, царапающих небо,
помимо рук, не находящихся места,
помимо обнаженного лица,
сжигаемого едким освещением?
И вот я говорю себе: Опомнись!
Иди домой, верни ей номерок —
дырявое пластмассовое счастье,
возьми пальто, не надо объяснений,
по синему бульвару, по морозцу,
иди домой, не бойся ничего.
Все будет хорошо. Она вернется,
чтобы кружить в ином водовороте,
где ты есть ты, какой ты ни на есть...

Так тонко, рассудительно и мудро,
метафорами речь перемежая,
я говорю — теперь, себе — тому.
Тогда же я смотрел поверх голов,
кривя лицо, вытягивая шею,
и, как подарка, ожидал поступка,
дурного ли, хорошего — любого,
заранее готовый преклониться,
покаяться, поверить и простить...

8.

В издательстве, где вежливые парни
ведут свои беспройгрышные игры;
где сходятся враждующие классы,
чтоб утонуть в сиянии улыбок;
где комнаты наполнены успехом,
как воздухом, и благосостоянье
свисает на пол гроздьями со стен —
в издательстве, в качающемся холле,
в травоподобном шелестящем ворсе
гнездится мой заляпанный портфель.

Я тут же рядом, тут же по соседству,
придавлен креслом, выломан зигзагом,
разноголосым охмурен дурманом,
болван болваном, лысый и больной.
Курил бы хоть — так было б оправданье.
Кто верит некурящему? И все же,
мне кажется, я ловко притворяюсь
таким же добряком, как эти люди,
ловцом удачи, служащим искусства,
приятелем кутил и пустомель.
Чего я жду, какого разговора?

9.

Но вот и праздник. Редкая удача.
Отец, полубезумный алкоголик,
отправлен на ночь к тетке или к бабке,
и мы одни, и дом сегодня — наш.
Пресветлый лик! — и платье голубое.
Дымок завивки — голубое платье.
Чулки со швом на трогательных икрах
и в черных туфлях узкие ступни.
Я послан за покупками. Я счастлив.
Мой взгляд скользит вдоль улиц, отражаясь
и преломляясь в лаке и стекле.
Москва, как пожилая потаскуха,
любительница грубых украшений,
стоит в огнях дешевых ожерелий,
браслетов, амулетов и значков.
Она навеселе. Не так, чтоб очень,
но бабьего не чуждая притворства,
подыгрывает общему настрою,
а что в уме — не приведи Господь...
И как кому — а мне не до сомнений.
Тревожная, игольчатая радость
в моем покорном теле разлита.
И нет сторон, когда я возвращаюсь,
нет ни стены, ни потолка, ни пола,
а есть лицо: чуть высветлены губы
и к платью в тон подобраны глаза...
Сначала одинокая подруга
(представленная в нашем расписаньи)
садится в кресло, ноги подбрав,
и голыми руками поправляет

резной подол гофрированной юбки,
и ежится, и мелет чепуху.
Я вслушиваюсь в символы и знаки,
вставляю незначительные слоги
и думаю, что если бы, то все же...
и сам пугаюсь страшных этих мыслей,
и радуюсь, что так они страшны...
Мы пьем вино. Подруга исчезает.
И снова мир сужается до боли,
до острия, до кончика иглы.
Шероховато голубое платье,
и гладкая заключена в нем кожа,
и детский запах слабеньких духов
все наперед окутывает дымкой.
Ах, мне бы только верного безумья!
Я пью вино, потом вино и водку
и, провалившись вдруг в тартарары,
опоминаюсь где-то на Колхозной
в реальности простейших ощущений:
холодный холод, мокрая вода...
Седая ночь распахивает ворот
и дует мне в лицо. Пустует память.
Вдруг кажется, что я здесь много дней
так и живу, ругаясь и качаясь,
хожу блевать вот в эту подворотню
и жду такси у этого столба...

Сто лет спустя, в бездонном коридоре
я двигаюсь домой, сшибая ведра
и паутину пальцами лоя.
Ах, вот и дверь, к которой ключ подходит.
За нею цель, достойная стремленья:
там тело сна, домашнего, ручного,
потеющее, дышащее вонью,
ворочается тяжело с боку на бок
и чмокает губами и сопит.
Пальто на гвоздь, ботинки — под диван.
Все кончено. Ничто не начиналось.

10.

Пора домой. Пройдусь по магазинам.
На пару книг копеек пожалею.
Куплю себе одну (когда б не дети!) —

дурацкую, неведомо зачем.
Куплю котлет машинной дозировки,
и колбасы, и пачку маргарина,
вобью в портфель, где дремлют инструменты,
а там метро — нырнул и будь здоров!
Чуть отдышусь и огляжусь с опаской:
не видно ли сияющих коленей,
и чистых губ, и выветренных глаз?
Все, слава Богу, тихо и спокойно.
Сидят напротив женщины что надо:
изрубленные пористые лица,
фигуры бесфигурные и руки,
авоськами притянутые к полу.
Мне не до них, а им не до меня.

Беру журнал, вздыхаю с облегченьем.
Завистливая, черная тоска
на этот раз души не потревожит...

1970

ЭЛЕГИЯ

О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!

Тютчев

1.

Все к одному. Докучливые песни,
мои интеллигентские болезни,
а также пролетарские обиды —
зачтутся мне по первое число.
Уже ползет буравящая сырость,
и если не чумой, то черной оспой
отравлен воздух на сто лет вокруг.
Рябь на воде, на лицах, на обложках,
рябая власть мне пожимает руку,
рябой мясник мусолит карандаш.

— Два двадцать две! — колдун и математик
швыряет кость и туго пеленает
и ловит чек — и вот она моя.
И шаткий дом — пожизненный троллейбус
везет меня, хотя и не уверен,
хотя и стар, хотя и трусоват.
Рябой водитель мне откроет двери,
и грязно-серый сумеречный снег,
весь в оспинах, уже переболевший,
забывший чистоту происхождения,
как грязный, пресмыкающийся выкрест,
замедлит бег — и плюнет мне в лицо...

2.

Куда мне деться? В Бога я не верю.
Боюсь, боюсь, а все-таки не верю.
Не верю вовсе. А уж как боюсь!
(Легко ли ощутить духовность мира,
когда, как гусь, ты густо наштигован
плебейским духом материализма,
безрадостным еврейским чесноком!)
Угрюмые пророки Иеговы
не зря жевали хлеб и знали силу
распахнутой, незавершенной строчки,
поставленной с разбегу на-попа.
Великий клан, безумная семья,
но все до одного — головорезы!
От этих прочь. А что до Иисуса —
я рад ему. Но ведь и он не Бог...

Так и живу. И вместо благодати —
чеснок и перец материализма,
бессонный, нерастраченный вопрос,
да вечная ухмылка демократа,
рискующего преклонить колени
пред кем угодно, кто велик, но равен,
пред тем, кто славен, — но не вознесен.

3.

Так и живу я — без благословенья,
со страхом в сердце — без предназначенья,
но также и без осужденья свыше,
сам по себе — невесело живу.

4.

Еще мальчишкой в черных шароварах,
с резинкой, заползающей под ребра,
мечтая о пятерке и кино,
на ярко освещенных тротуарах
я постигал прекрасные миры.
О благородство жаждущих напиться,
о запахи сиятельной жратвы!
Дыханье фантастической пещеры,
где по ночам на золоченых шпагах
готовят мясо диких кабанов...
Вот эти двое выпили и съели
все, что доставил ласковый сенатор,
отец родной, желающий добра.
Теперь их ждет учтивая прогулка,
расслабленный, негромкий разговор,
где каждое обученное слово,
не хуже дрессированной собачки,
цепляется за нужную ступеньку,
все выше, выше, все смелей, смелей,
и вот уже уверенная лапка
толкает дверь в кружащуюся спальню,
над мебелью, одетой в пеньюары,
витают смесь духов и нафталина,
и сдавленный, колеблющийся шепот
гнездится в складках матовых портьер...

И если б сумасшедшие газеты
(умеющие, впрочем, делать дело
расчетливо, как тысяча чертей)
и если бы мне задали в те годы
обычную дурацкую загадку,
я б к черту не послал, в глаза не плюнул,
не стал бы заслоняться анекдотом,
а рассказал бы то, что рассказал.

5.

О Господи, ну что мы потеряли,
какая радость в юношеских бреднях
и что содержит, кроме страха смерти,
вселенский плач о прожитых годах?!

Вот песенки, которые мы пели,

изделия халтурного завода,
две-три строфы кустарного литья.
Знак символа, тень знака, символ тени,
все варианты словосочетаний,
ничто не означает ничего.
Теперь же мы разумны и свободны,
все домыслы нам заменяет опыт,
не повода мы ищем, а подарка,
все вне себя, и ничего — в себе.
Но прошлое, куда я так стремлюсь,
всегда при мне. Я, как скупой отшельник,
владею всем, не тратя ни гроша.
Ничья обида не прошла бесследно,
Ничья усмешка не пропала даром,
все к одному и все в один котел.
Отныне, как рачительный хозяин,
я обхожу, кружа, свои владенья
и нахожу лишь там, где потерял.
К осыпавшейся пухлой штукатурке,
к давно снесенной лестнице подвала,
к пустой, несуществующей скамье —
я прихожу бессонными ночами,
чтоб ощутить, поцеловав святыню,
сладчайший вкус потери на губах...

6.

Переезжаем. Масляная краска.
Я лишний человек. Раскрыты окна.
И к радости примешана печаль,
как запах яблок к запаху олифы.
Богатый отчим закупил мешок
антоновских, литых, крупноголовых,
а в комнатах ремонт, раскрыты окна,
«грызи», мне говорят, и я грызу
зеленовато-кислую олифу.

Я выхожу во двор. Играют дети.
И робкий взгляд жидовского отродья,
ежеминутно ждущего подвоха,
я направляю мимо их голов.
Все обойдется... Я еще не знаю,
в какой тоске мне суждено метаться
между колодцем масляной окраски

и дружески обхарканным двором.
И что за цену заплатить придется
за хлеб и кров, за гречневую кашу,
за чай без счета, пахнувший лекарством,
за пару брюк и прочее довольство,
за вонь клопообильного дивана,
за пыль неистребимого ковра...

Скережещет лед у водяной колонки,
Уборная воняет керосином,
шатаются перила. Наверху
семь рыхлых девок — замуж не выходят,
семь ражих баб — беснуются и воют,
и судят мир, и водят хоровод.
И так поют — до смерти не забудешь:
еврейский вопль и русская безмерность,
и вяжущая нежность-полукровка,
на голоса разложенная боль.
Вот так и жить. Вдыхать уютный воздух,
где с потом перемешаны флюиды
прикосновений, вздохов и намеков,
и слез и необузданных любвей.
Вот так и петь. Хлебать по вечерам
свекольник из веснушчатой тарелки
и на диване, опершись на локоть,
с девицами тягаться в дурака.
Так и не знать того, другого дома,
в котором полумрак и неподвижность,
где царствует умеренная сырость
и лживая тугая тишина.
(И лучше так, и только б не прорвалась,
боишься тронуть, Боже упаси!)

Два этих слова: «масляная краска»
еще должны проплыть по коридору,
в пути теряя желтизну и гладкость
и холод ученической стены.
Им надо разогреться и сгуститься,
и пропотеть, и сладко так запахнуть,
и выплеснуть себя, разгорячившись,
и расползтись ребристыми плевками,

и чудо из чудес, вовеки чудо! —
мозаика ложбинок и бугров,
так счастливо совпавшая с рисунком!

А живописец был крестьянский парень,
всеподданнейший пестун академий,
еще живой, еще не приобщенный,
еще не получивший — по труду.
По праздникам он выходил на площадь,
на перекресток черных коридоров.
Аккордеон — душою нараспашку,
весь излучая пьяное сиянье,
лежал в обнимку на его груди.
И шепелявый маленький еврей,
Бог весть откуда взявшийся приятель,
пел всеми обожаемые песни,
где не было ни музыки, ни слов,
но лишь желанье музыки и слова.

А может быть, в них было все, что надо?
Мне не судить. Послушать их теперь —
как будто в гости к женщине придти,
пятнадцать лет назад окаменевшей.
Придти к живой. Поцеловать ей руку
(прожилки, кольца, сломанные ногти),
беспечно исчерпать житье-бытье —
и вдруг споткнуться беспокойным взглядом,
и что-то там в душе переменить,
перемешать, чтоб не было соблазна
мурыжить ускользящую нить.
Чтоб не было желанья гладить плечи,
и отвечать впопад, и скалить зубы,
и с каменным бесспорным изваяньем
пытаться эту тень соединить...

Салатово-лимонные пейзажи,
съедобно-абрикосовые лица,
лилово-голубые небеса...
Холсты висели ровными рядами,
и валенки снимая перед сном,
глухой старик, отец его, жестянщик,
глядел в упор и мог, коли хотел,

узнать свою родимую деревню,
а не хотел — так мог не узнавать.

7.

Мой город расплзается все шире
и как пятно чернил на промокашке,
в лиловый цвет людского копошенья
окрашивает белые поля.

И те часы, что я живу на свете,
окрашены лиловыми тонами:
каленный шарик, пахнущая паста,
да вскользь еще лиловая решетка
на записных негнущихся листах.
Те два часа, что я живу, как барин,
(там за стеной ворочаются дети,
им видятся воинственные сны,
густые, как рисованные фильмы.)
я пью чай, жую неторопливо,
и думаю, и можете поверить,
ни за кого себя не выдаю,
Потом, когда не требует поэта
Великая Дневная Толчея,
я отсылаю всем без исключенья
свое лицо с оплаченным ответом
и за ночь отсыревшие мозги
сушу на проводах под напряженьем.

8.

Баллоны ламп, мои спинозьи стекла,
вишневые тугие волдыри!
Транзисторы, трехлапые букашки,
впечатанные в сети пауки,
мой сладкий мозг сосущие с любовью!
Еще я открываю рот для крика,
еще рывком заглатываю воздух,
еще хриплю — но слов не разобрать.

9.

Когда-нибудь я выйду, как обычно,
в полурассвет троллейбусного утра,
в широкое морозное дыхание
январского неначатого дня.
И удивлюсь: откуда эта легкость?

А это разожмет свои суставы
бессменная ватага инструментов,
кочующая армия Махно.
В моем портфеле будут только книги,
писанья болтунов и недоучек,
да кое-что — едва из-под машинки,
да что-нибудь — в пустых еще листах.
И я спущусь в метро, согрею руки,
и потрясенный изобильем женщин,
устрою конкурс, строго отбирая
по цвету глаз и стройности фигур.
И никуда не буду торопиться.

А в это время Алтернейтинг каррент,
Светлейший ток — сквозь вакуум прорвется
и, торжествуя, выйдет в потолок.
И сразу, как бездонная подземка,
там наверху, по белому проспекту,
шуршащий зов: «Ищите инженера!» —
пиратский клич мучителей моих.
И голову втянув поглубже в плечи,
я повторю: «Ищите инженера» —
и книжкой легкомысленного свойства
от ласковых убийц отгороджусь.

10.

Мизантропия — та же энтропия.
Всеобщий хаос, логарифм несчастья,
та мера одиночества, которой
мы меряем последние шаги.
Неужто тяжесть века в том повинна?
Неужто даже мы под этим гнетом
теряем форму, вязнем и течем?
Завистники, ревнивцы, честолюбцы,
давайте соберемся, как обычно,
слетимся все на наш последний шабаш,
В ладоши хлопнем, скажем заклинанье,
и обернемся лучшими друзьями,
а наши парниковые улыбки
так жарко разогреют атмосферу,
что впору выключать теплоцентральный.
Давайте поиграем в доброту.
Я вам, вы мне. Хорошенькое дело.

Пока еще летает этот мячик,
все ничего. Но если он сорвется —
тогда хана. О Господи, неужто
никто ни перед кем не виноват?!

11.

Серебряный декоративный день,
накрытый глазированной крышкой,
звенит-гремит, как город в табакерке,
сам по себе, и я тут ни при чем.
Вот радужные лыжницы толпятся,
выпячивая бодрые зады,
имея сто одежек без застежек,
отточенные тыча оперенья
в ребристую троллейбусную дверь.
Вот пьяный мой сосед, хороший парень,
стукач и сводник, плут и алкоголик,
слюной умылся, хлебушком утерся,
несет-ползет — и пива не забыл.
А вот моя жена от остановки,
вся торопясь, вся в сумках и авоськах,
наискосок, пружиня и скользя...
А он ее приветствует, как может,
и по ее прекрасному лицу
чернее мухи взгляд его елозит.
Она идет, восходит по ступенькам,
и праведный, отшельнический кашель
стучится в дверь и сердце мне сжимает
безадресной мучительной тоской.
Кому мне предъявить мое унынье,
на чей мне счет перевести терпенье,
чтоб долгожданный ветер перемен
коснулся лба горячими губами?

Прости, Господь, и не лови на слове.
Переменить? — немедля переменим.
Сейчас вам будет все наоборот...

12.

Нет, грех роптать. Пока здоровы дети;
пока меня уральская тайга
не приласкала писком комариным,
пока не окунула мордой в снег,

сухой и жесткий, как наждачный камень;
пока я о сосну не бьюсь затылком;
пока я жив — и радуюсь погоде,
пока здоров — и от кошмарных снов
еще меня спасает пробужденье;
пока я заморожен и обижен,
пока я раздражителен и сух —
все хорошо, чего и вам желаю.

Я прожил жизнь не хуже, чем пытался.
Все выжал из нее и все в ней выжил.
И кончился. И просьба не винить.
И нет меня. Но остаются дети.
Ночь на исходе, утром на работу.
Привычную напялив оболочку,
Я вновь прикинусь теплым и живым,
Мой внешний вид вне всяких подозрений,
ни зеркала, ни взгляды сослуживцев.
Но есть глаза, есть два таких зрачка —
в которые вошла без искажений
моя потусторонняя тоска...

1972



РАСКАЗЫ И «ТРЕХГЛАВОЕ ДЕТИЩЕ»

ЯДРЕНА ФЕНЯ

р а с с к а з

«Прислонясь к дверному косяку...»
Б. П.

— Вот здесь вы можете переодеться. — Распорядительница щелкнула выключателем, и в мутной зелени зеркального трилистника они многократно представились, столкнулись и разбежались: аккуратная кокетливая стрижка, джинсовый костюмчик с вытертыми локтями и коленками, полу-женская телячья сумочка через плечо и — белый отложной воротничок, тугие лакированные кудряшки, писклявый запашок духов, недоуменные брови. Ее, должно быть, озадачило, как размещаются в сумочке черная отутюженная пара, сорочка, галстук, в чем фокус? не забыл ли он в гостинице чемоданчик... — она оглянулась, не переступая порога — комната, где сейчас начнет раздеваться до трусов и пахнуть потом чужой мужчина была заранее ей гадка, — она оглянулась, ища чемоданчик. Чтец-декламатор угадал ее взгляд.

— Я так буду, — примирительно сказал он, и голос его поплыл по комнате колечком сладкого дымка, который высекает неторопливый курильщик трубки, откинувшись в кресле. Распорядительница хотела что-то заметить и не заметила. Только чуть шевельнулись губы, и посмотрела недоверчиво.

— Нина Львовна, — произнес чтец, взявший себе за правило запоминать имена-отчества распорядителей всех мастей для упрощения дела, — а где здесь у вас туалет?

Вопрос, уходящий корнями, в державинский век простоты, крепостного права, мужицкой галантности, был опрометчивым. Несмотря на предпринятые усилия, Нина Львовна не сладила с собой, надулась.

— Предпоследняя дверь по коридору, — обиженно выдавила она, всем видом показывая, что она не вахтерша и не уборщица, а представительница местной интеллигенции, состоящая на службе у муз, учительница пения, общественница, пользующаяся авторитетом и уважением, член городской комиссии — «фу, черт, святая дуреха!» — и, знаете ли, молодой человек, я вас не понимаю, подъезжать к женщине с таким вопросом... или я что??? Подумаешь, тоже мне, столичная птица...

Мужчины писают стоя — какой ужас!

Она отпрянула.

Но вкралась ошибка. Пришлось исправляться:

— Нет, мужская, — последняя по коридору, — пролепетала с миной смущенной брезгливости.

— Как вы сказали? — Чтец приблизил молочную раковину уха.

Издевается! Она оробела от такой наглости.

— Там нету обозначений, но последняя дверь...

— А! — понял чтец. — Да мне все равно.

Нина Львовна не находила слов.

Вода зашумела. Носовым платком вытирая руки, чтец-декламатор задержался перед картиной двери. Это был довольно редкий экземпляр, своего рода шедевр, парад необузданной коллективной мужской мысли. Во все стороны разлетались надписи, исполненные разноцветными чернилами, пастой, химическим карандашом, а также ножом и еще бог весть какими колющими предметами. Мохнатая жизнь страстей овеществилась в татуировке пространства. Жанры смешались. Стихи соседствовали с прозаическими пассажами, лоснящимися афоризмами. Мычащие междометия, утыканные, словно перьями, восклицательными знаками порхали по всему пейзажу. Дверь цвела. Здесь было все: советы, рационализаторские предложения, похрюкивания, вопли вздыбившейся плоти, элегические остроты, предостережения и угрозы, мрачная и смачная инвектива в адрес Леночки Сальниковой (не сердись, Лена!), отрывки, здравницы, автографы с датами и городами, намеки на толстые обстоятельства, истошные призывы и совершеннейшая дичь.

МЕНЯ МАМА РОДИЛА ГОЛОЮ
РАССМОТРЕЛА НАРЕКЛА ОЛЕЮ
МУЖИКИ МНЕ СЛАЩЕЕ МАЛИНЫ
Я НАПЬЮСЬ НА СВОИ ИМЕНИНЫ

Последняя строчка вызвала одобрительное хмыканье теще-декламатора. В обещании напиться на именины была какая-то щемящая татарская неожиданность-негаданность. Что за грустный кретин сочинил эту Олю? Хорист из самодеятельного хора? Заезжий артист? Пионер-переросток? Откуда это, с подвывом, **слащее**, как не из недр кишечника? — Теще-декламатору вдруг тоже захотелось что-нибудь написать: густое, похабное, что-нибудь хулиганское. Он извлек из кармана шариковую ручку, приладил ладонь к двери и задумался. В голову ничего путного (или: непутного) не шло. Тщетно потужившись, он поймал себя на мысли, что жаждет непременно соригинальничать, отличиться так, чтобы **слащее** вышло. И сравнение с другими писателями, которые творили произвольно, от переизбытка: выплескивали себя на дверь и шли, облегченные, далее, это сравнение было не в его пользу. Даже простого ругательства не смел нацарапать. Простота смердела бы снобизмом, эстетством или, ежели иначе посмотреть, заискивающим приобщением, опрощением... Все это ему не свойственно, не по нраву, а написать все-таки хотелось. Прикидывая, что именно, он машинально продолжал разглядывать дверь. Помимо текстов имелись, разумеется, и рисунки. Один отличался от прочих габаритами, древностью. Созданный в размахе всей двери, он уже порядком стерся и был заслонен позднейшими слоями. Однако угадывались контуры женщины, улетающей вбок, к ядреной Фене, с лицом в профиль: простоволосая, глаза — узкие, низкий лоб насильницы и убийцы, челюсть неряшливо отпадала. Невероятно вывернутая поза туловища с боевыми сосисками-моталками невольно наводила мысль на сравнение с цыпленком-табака. Одна нога болталась не то полусъеденной, не то недорисованной — помешали, спугнули, не дали.

Зверская баба! Надо же такую нарисовать, — почти с завистью думал теще-декламатор. — Ее не устроят все эти неуклюжие взбухшие рогалики (рогалики были представлены в большом количестве), нацеленные из дремучих кустов. Летит себе да поет...

Да это она сама и есть, ядрена Феня! — охнул, догадавшись, чтец.

Но что же ему самому-то написать? Какое заявление сделать. Он все браковал: и это — не то, и то — не это. Господи, да почему же ему разрешено меньше других! Где равноправие? Он поскреб ручкой о дверь. Ничего не рожу.

Дверь цвела.

Еще раз пересмотрел надписи. Как люди чудно по-разному слышат! В орфографии блаженного русского мата царил перевозданный хаос. И дух носился над водами. Может, что-нибудь запузырить из Библии, переиначив? Почему из Библии? При чем Библия? Или в тайном пороке признаться? Со смешком: в котором? Опять получается *слаще*. Или обман свой увековечить? Чугунный глагол: «увековечить». А после, возвратясь в Москву, в сиреневую блевотину родственных отношений, сказать ей: Ну, вот. Я проговорился. На сортирной двери, цветнике, в достопочтенном городе... Тут он запнулся. Подожди, как же название этого города? Вот черт, забыл. На К, кажется... Сегодня что, вторник? Где я должен быть во вторник? Нет, на К — Кострома. Кострома — была. Кострома — большая. Там сыро, там, кажется (несчастный пижон!), Волга... Увековечить обман? С нежностью гладил дверь. Какой я осел! Неужели я ей еще что-нибудь должен? Признаваться в грехах... когда обрыдло! Когда все умещается в одной-единственной частичке НЕ. Напишу НЕ. Глупо. Не напишу... Как же все-таки название этого города?

Чтеца развеселила собственная забывчивость. Где он, совсем непонятно. Как здорово! Как прекрасно!.. Ему будет досадно, если сейчас всплывет название города. Хитря, незаметно он ставил рогатки для памяти. Говорил: вот приехал с утра, проспал в гостинице до обеда, ел в ресторане мясную солянку и жидкий гуляш, после обеда снова спал в номере: окно в сад, ветер, солнце, сентябрь... сел в машину, домишки прыгали, Интернациональная улица, Магазин Культурный Досуг, арка, церковь — и неизвестно, где все это. Чтец-декламатор возносился над безымянным городом.

И ничего не увековечив, заставив себя не вспомнить название, довольный, он выбрался из уборной. Да, думал он, такие двери надобно снимать с петель, покрывать лаком и отправлять в запасники государственных музеев; пусть там хранятся до поры. Как драгоценнейшие документы эпо-

хи... — ядрена Феня летит да поет! — как образцы народного творчества.

Пройдя несколько шагов по коридору, чтец воровато оглянулся и приоткрыл дверь соседней уборной. Удостоверившись, что там ни души, он прошмыгнул вовнутрь. Его интересовало, каков будет женский «перепляс». По опыту, нажитому в гастрольных мотаниях, он знал, что женщины — не тянут, ну, иногда вдруг прокричит в зудящей тоске одинокая надпись, и дух замрет от ее сладостного бесстыдства, и все перевернется, и так захочется заглянуть в глаза той, кто это писала — впрочем, здесь верное разочарование — законы творчества больны — одинокая надпись прокричит и сгинет в пустоте.

Дверь была девственной. Ни куплетов. Ни графики. Ничего. Только разводы от пальцев, от тряпки уборщицы. Приведя в порядок складки губ, женщины хранили загадочное, убогое молчание. Щелчок! — и выход в общую жизнь, но лицо еще долго несет следы туалетной торжественной озабоченности. Кто — что: одни — конфеты «раковая шейка», другие — чистую душу, а я на Страшный суд я прихвачу с собой дверь от мужского сортира...

Дверь ушла в сторону.

Нина Львовна смотрела на чтеца оловянным глазом военизированной охраны.

— Я, кажется, что-то перепутал... — вздрогнув, вымолвил чтец-декламатор. Вдали зазвенели звонки, колокольчики.

— Вам стало плохо? — с участием спросила Нина Львовна и опрокинулась. Чтец взошел к ней на живот и вежливо вытер ноги.

— Отчего это у вас такой мягкий живот? — поинтересовался он.

— Ах, пустяки!

— Нет, все-таки... Хотелось бы знать.

— Вы меня смущаете. — Слезы брызнули. Нина Львовна отворотилась.

— Нет, все-таки, а?

— От клизмы... — она разрыдалась. — Вы — гадкий. Чтец подумал и сошел с живота.

— Побежали на сцену? — предложила Нина Львовна, отрыдавщи свое.

— Побежали, — нехотя согласился чтец.

Они побежали. Бежали долго и гулко по коридорам.

Вспугнули стайку пионеров, присевших на отдых под старый, малиновый тополь (хреновая, слинявшая бутафория). Потом попадались солдаты, картофельные поля, грибки на опушке и баба с гитарой. По дороге играли в прятки. Ку-ку! Чтец иногда прижимал ее к себе и говорил невнятные слова.

— Ах, пусти меня! — вырывалась Нина Львовна и дула дальше, во все лопатки, крича на бегу: — Ты знаешь, я бросила школу, музыку, фортепьяно... Я бросила все. Я сорок лет тебя ждала. Я бы прождала еще сорок. Мой мальчик! Мой витязь! Представь себе, я только недавно узнала, что мужчины писают стоя. Но неужели все до единого? И ты, родимый мой, тоже?

— Тоже, — понуро кивал чтец-декламатор, едва поспевая за Ниной Львовной. — Сила привычки. Что делать? Прости...

Звонок разрывался. Нина Львовна припрятала чтеца за бурой кулисой. Он вытер пот со лба, старался совладать с дыханием. Когда последний раз он волновался перед выступлением? Сколько их там — десять? тысяча? никого? Он вынул расческу и причесался.

— Как твое отчество? — любовно шептала Нина Львовна.

— Отчества не надо, — морщился он. — Отчества не объявляй.

Дыхание восстановилось. Снова, снова прищуренный гипсовый взгляд в затылок будет мучить его целый вечер. Чтец видел себя отчетливо: он наступает, дотрагивается до горла, говорит: «больно!», смеется, кручинится, машет рукой. И сладкий запах трубочного табака ублажает, укачивает зал. Чтеца мутит. Он учтиво кланяется на звук аплодисмента. Два близнеца из Воркуты, артисты оригинальнейшего жанра, небось, педерасты, подают ему знаки из-за кулис: закругляйся, пусти нас, нам в десять на поезд, извини, старичок, потеснись... Он тормозит. Так опытный автомобилист ведет машину: забыв, что он ее ведет. И останавливается, думая о белом отложном воротничке, о том, как ночью вынудит, заставит златозубую Нину Львовну сосать и нюхать запретный плод, останавливается на красный свет у самой черты. Мягко. Высокий класс! Высокая болезнь!

Нина Львовна выпорхнула на сцену и вдруг съежилась как воробей. Объявляла. ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА РУССКИХ ПОЭТОВ. Заметно тряслись коленки. На правом чулке огромная дыра зияла. Он вяло слушал. Откликнулся только

на слово АХМАТОВА с ударением на первом А. Получилась чуть ли не Пахмутова. Подумал: ах, пиковая дама! как кстати! как кстати! Подумал: не разрешу ей снимать белой блузки с белым отложным воротничком... Нина Львовна целовала его в глаза, воротившись, и всю ее знобило, знобило, знобило.

— Ни пуха, ни пера!

Пыталась перекрестить.

— Мой маленький! Мой любимый!

Как на войну собирала.

Чтец чистосердечно послал ее к черту.

ПРИСПУЩЕННЫЙ ОРГАЗМ СТОЛЕТЬЯ

р а с с к а з

Не верьте, не верьте, читатели, придаточным предложениям! В придаточных предложениях отлагаются соли, Синтаксис обещает санитарию и гигиену образа? Скажите, пожалуйста! Даже в невиннейших письмах к родителям, открытке с черноморского курорта Я на глазах перерождается: то ходит по струнке, то вдруг примет развязную позу, заржет, спохватится, приляжет под кипарисом, остепенится, завянет — и все мимо, мимо, мимо. Гнет грамматики, читатели, гнет грамматики. И что же? Я теряет третье измерение, а вместо него получает четвертое. Глядишь: оно липовое, с подвязками. И таким надувательством приходится смириться. Закрывать глаза, дышать глубоко и весомо, с сознанием теплой беспомощности. Считать слонов и заснуть, восславя беспомощность как божий мир, гар, жар...

В четвертом измерении Я размножается по-амебьи: посредством деления Я+Я+Я+Я+Я+Я+Я+Я+так далее равняются не НАМ, а ЕМУ. Или, на худой конец, Ей, сестре таланта, женщине отзывчивой и чистоплотной. В четвертом измерении небритый человек недовольной, дачной наружности пудрит щеки и отъезжает в прошедшее время с запоздалыми почестями. Напоследок он хочет сказать, что ему чуть-чуть-чуть-чуть (чу, вагонетки!) совестно, но вместо

того замечает нечто двусмысленное по поводу роли безвкусицы.

Есть род легких, загородных мыслей. Они отличаются фамильярностью и необязательностью. В них душевность и блажь и подмосковные перелески.

По случаю решающей жары на площади у железнодорожного переезда обмерли лавки с тазами и мылом, совхозное молоко прокисло, и был временно запрещен ремонт часов всевозможных систем и видов. Зато свистели поезда, кусты шарахались, изображая где плешь, где пробор, где борьбу за существование. Гудела ненадежная платформа. И если будущие железнодорожники, хмурые юноши с земляничной полянкой прыщей, любители угрей и устриц, приглашали прокатиться на лодке будущих железнодорожниц, хмурых одалисок со всякими там пупырышками, а пруд блестел на расстоянии солнечного удара, и не мешало бы прихватить с собой белый зонтик, то те, польщенные знаком внимания, не прятались по интернатским сортирам, не крутили динамо, и вот под запах шашлыка, сосны и пива компания выплывала на середину пруда, где, покотившись однажды со смеху, превращалась в рекламный щит лодочной станции. «Они дикие, потому как с колесами», — рассуждал небритый о поездках, состоя на законном основании в очереди за арбузами. Кособоко бежали собаки. Они принадлежали к особой породе, что развилась от многолетнего беспорядочного коитуса разновеликих дачных псов. Особи этой усредненной породы зовутся в народе просто и ласково: собака. В очереди поговаривали о том, что арбузы — кормовые и несъедобные, что внутри у них жижа, гниль, розовая плесень, одни косточки. Проехал крытый грузовик с предостерегающими надписями на бортах: «Осторожно, люди!», и медленный, как мед, милиционер, выйдя на крылечко винного магазина, смущенно прикрыл рукою карман. Небритый не брился какой уже день от запустения жизни, из тайного жеманства, оттого, что бритва задурила и, когда брила, немилосердно кусала лицо. Одышка тщеславия, утомительна, но из игр, арендованных литературой, шахматы — самая пропадающая. Еще немного, и мускульная сила шахматного коня станет единицей измерения внутри-фабульного напряжения. Тогда — хана, тогда над вымыслом шахматной задачи культурные люди будут обливаться слезами, и опытные гроссмейстеры с улыбками высокомерия присвоят себе весь нобелевский капитал. Эндшпиль обещал быть

бездарным. Игра дальтоники и маловеров! Небритый брал на себя смелость сомневаться в белом цвете белых. Они, возбужденно говорил он, свежескрашены; краска положена в один, ну, максимум, два слоя, а дальше тмутаракань. Они все перебежчики — собаководы, гинекологи, евреи — еще не отдохнувшие от перебежки: одна нога здесь — другая там. Приезжают отлеживаться, окапываться. Заборчик с невидимой колючей проволокой, засов, запор, анти-вор.

Но по ночам камень летел в черные блестящие окна, и звон стекла был слышен на всю округу.

Дети — пешки на велосипедах. Дачных детей по утрам кормят яйцами, и они от яиц становятся сильными и целый день крутят педали. Вырастают все, как один, эгоистами. Об этом не раз писалось, но дачники, кажется, разучились читать. Об этом тоже не раз писалось. Дачные дети очень самоуверенны, однако в душе трусливы и даже по-своему гнусны. Легко возбуждаются, спят беспокойно, в глубине зрачков истерика, щеки пухлые, губы в малине. Нужно отнять у них велосипеды и подарить велосипеды вьетнамцам. Вьетнамцы этого заслужили.

Ну, а женщины, которые несут в авоське два арбуза, выглядят непристойно. Вы знаете, на что похожи два арбуза, висающие в авоське у самой земли? Это не смешно, а очень страшно. Это признак нравственного отупления, И, наконец, самое главное: женщина, не соблюдающая менструального поста, хуже фашиста. Слово МЕНСТРУАЦИЯ — одно из самых красивых слов русского языка. В нем слышится ветер и видится даль (Даль?). Оно просится в песню.

Торговка арбузами страдала очень низким давлением. Время от времени из ее маленькой волшебной груди выходил слабый шум, и она падала в обморок на гору арбузов. Очередь терпеливо, с уважением к болезни, ждала возобновления торговли. Торговка долго не залеживалась. Очнувшись, она чихала и бестолково озиралась, пока взгляд не нападал на тугие лица покупателей, молчаливо приветствовавших ее очередное выздоровление. Так находила она свое место в жизни, оправляла халат и, аккуратненько харкнув в специальный бидончик для низкого давления, припрятанный под прилавком, принималась отпускать товар. Арбузы. Небритый спешил и жадничал, когда ел арбузы. Кроша мякоть кухонным ножом, он устремлялся к сахарной сердцевине арбуза. Сок стекал по подбородку. Пальцы дрожали, слипались, дрожали. Кадык, как поршень, ходил вверх-

вниз. Сладкие слюни выступали на уголках бесформенного рта, рукавом утирался, взор безумный, сопел, кричал, ловил коленями соскользнувший кусок, сосал мякоть и разбухал на глазах. Только всё ему не шло впрок, был он худой, изнуренный, и с утра никогда не понять: не то недоспал, не то переспал, но арбузы любил. Обожал. И персики. Очень уж он любил персики.

Снимая полдома у крашеной кряжистой вдовы, убитой прошлогодним горем, небритый силой неумолимых вещей принадлежал к дачникам. В сарае он обнаружил косу, судорожными движениями скошил скорбные травы, обварился крапивой, однако ног не перебил и нашел, что это хорошо. Теперь он, дачный Игова, разгуливал по газону и угощался вдовьими яблоками неопределенно-кислого сорта. Он рифмовал угрозу с грозой и рассуждал о чуде громоотвода, как всякий веселый человек. После обеда небритый отбыл в Москву. Жена с годовалым сыном провожали его до станции. Сыну гордо ехал в полотняной сидячей коляске.

— Горбуна вырастите, — убивались сердобольные тетки, недовольные конструкцией коляски.

— Не ваше дело, — огрызалась жена в польских джинсах.

— Материнства бы тебя лишить... — мечтали тетки.

Когда небритый к ночи вернулся, испуганная жена сообщила ему о краже. Он прошел в комнату, увидел вывернутые карманы плащей и курток. Карманы свешивались грязными маленькими мешочками. Денег не взяли, потому что их не было. Был японский транзистор — не стало, а рядом — пишущая машинка, не тронули. Небритый не жалел вещей, относился к ним снисходительно, но, когда их терял, расстраивался и недоумевал. Он взял фонарь и пошел по тропинке к калитке. Не знакомый близко со смертью, он нетвердо верил в необратимость событий. Может быть, пошутили? Постоял на просеке и припомнил: трое парней кружили вокруг дачи. Небритый нарушал правила нелюбимой игры: не запирали наружную дверь. За это он был справедливо унижен. Они молодцы, думал он, смиряясь с необходимостью кражи. Я на их месте сделал бы то же самое. Обворованные во всем воруют по мелочам, тосковал небритый по ночному прибою далекой Европы. Господи, обучи меня опасному ремеслу! Вставь мне, что ли, мотор в задницу! Это, вру я себе, период такой, я еще распетушусь, раскручусь. Во всем виноваты запредельные требования...

Проклятое колдовство! Луч фонаря бессмысленно лез вверх по ветвям елей. Неужели эти малоподвижные деревья, флора кошмаров, могли когда-то быть новогодними ёлками в разноцветных шарах и конфетах?.. Они, конечно, ликуют и презирают меня. Победители! Небритый постарался вообразить себе их радостные оживленные лица и уже готов был порадоваться вместе с ними, что обещало быть приятной темой, но увидел чердак, паутину, глаза маленьких хищников, и его замутило оттого, что за ним наблюдали, охотились. Вот если бы им пальцы оторвало каким-либо хитрым приспособлением, когда они дотронулись до двери, то они чего доброго, с оторванными пальцами меня бы принялись уважать. Мерзавцы, пробормотал небритый. Через пару дней он повстречал мерзавцев на просеке. Курить есть? — спросил самый молодой. Есть, — содрогнувшись, сказал небритый, невинно смотря в насмешливые физиономии. — На даче. Тут рядом. Мерзавцы ничего не сказали и ушли. Небось подумали, что ловушка. Небритый не обладал музыкальной памятью, не отличал Бетховена от Брамса, однако ощущал потребность два-три раза в сезон ходить на симфонические концерты и терпеливо сидеть в пульсирующем ореоле мыслей в ожидании перерыва. При этом он ощущал также странную потребность недолюбливать Чайковского.

— Это Петр Ильич... — морщил нос небритый.

У небритого был залупившийся нос, а ноздри, шевелящиеся при дыхании, он позаимствовал у дыр пустых скворешен. Ноздри мешали небритому жить серьезной трудолюбивой жизнью в той жизни, в которой третий алкаш потерял свою очередь за арбузом, а, может быть, болтал, что потерял, потому что никто не желал признать его стоявшим. Его отпихивали и говорили: «Уйди, дед, от греха подальше!», а дед с обидою хрипел, что он заслуженный дед, пенсионер и храбрый партизан двух войн. Деду теперь захотелось, чтобы случилась еще война и были кровавые бои под Курском и чтобы дачники-партизаны и местные спекулянты, сдающие дачи дачникам-паразитам, гибли в ней безвозвратно или сурово карались. Тогда, мстительно думал дед, они не только бы пустили меня без очереди, но и купили бы мне бесплатно два сладких арбуза с вырезом... тут всплыли из выреза божественные груди с дулями сосков, крашенных губной помадой... небритый отмахнулся от них, как от мухи... бутылочку красенького, билет на электричку и кулек ирисок. Нет,

мстительно думал дед, билета не надо, я могу ехать и без билета, а купите-ка мне лучше еще бутылку пива... Опять! — усмехнулся небритый. — Опять поднимается зуб сочинительства, что трусливо смиреет в сырые утренники. Их холодная трезвость вызывает отвращение к тому, что ядовито плодится в голове по вечерам, как в бешеном тропическом лесу, кишашем павианами. К черту вонючие джунгли! К черту ярко-зеленые папоротники! К черту засраных павианов! Боже ты мой, как все мелко и гадко! Как убого и натужно! НЕ ТО! НЕ ТО! НЕ ТО! Библиотеки ломаются от книг. Щекочет нос запашок пота. Уж не запахла ли это глубокомысленная литература с сентиментальными завиточками квелых волосков на подмышках?... Трудовой пот и кровь, напор, призыв и плесень бедности. От бедности, не от избытка. Потому, что другое не получается... ЛИТЕРАТУРА-ДУРА. Ну, да, конечно, Пушкин... Но когда это было: Пушкин?

Так он болтался. Вечерние оргии и утреннее похмелье. Самозабвенно барабанил на машинке (если бы сперли машинку, он бы пошел в милицию, а так идти противно и стыдно: в мелкой краже есть своя мудрость). Посторонись! — рывкнул на жену. С остановившимся взглядом восторженного идиота. Утром трясущимися от негодования руками рвал бумагу. Боль от утреннего удара — глумление, будьте покойны, изысканно — рассасывалось долго, до самого вечера, а, бывало, длилось неделями. Бывало, впрочем, и иначе. Порой, выпив стакан крепкого кофе, от которого у него по склонности к вегетативно-сосудистой дистонии влажнели ладони и по телу неслись волны игольных уколов, он с каким-то тоскливым энтузиазмом принимался думать о том, что именно ему суждено услышать и запечатлеть в случайных словах ленивое наступление конца века в его начальной обманчивой формуле. Здравствуй, приспущенный оргазм столетия!..

— А не хочешь ли ты, сынок, заодно отобразить и конец тысячелетия? — поинтересовался партизан двух славных войн.

— Тысячелетия? — удивился небритый и невпопад подумал о Пастернаке. — Ах, вот что... — он хотел было обидеться, однако по своему обыкновению усмехнулся: — Нет, дедуля, кишка тонка.

Дед радостно потер руки и высморкался в землю.

— А что? — спросил он хитро. — Как думаешь: не

придет ли на место истаскавшемуся разуму и истлевшему чувству какая-нибудь красивенькая религия, которая всех спасет?

— Да ты сам-то, случайно, не новый ли Николай Федоров? — уклонился небритый от халтурного пророчества.

— Нет, — бойко отвечал дед.

— Мне кажется, — разулыбался небритый, — что Федоров был некрофилом...

— Эх, ты, дурень! — пропел дед и отвалил в сторону. Чувствуя себя виноватым перед стариком, небритый бросился вслед за своим незадачливым героем и, опасаясь немилости очереди, быстро шепнул ему в ухо:

— Хочешь, куплю тебе арбуз?

Небритый считал, что своим предложением задобрит деда и тот немедленно полюбит его на всю жизнь, и они станут ходить друг к другу в гости, пить чай с клубничным вареньем, ловить в пруду карпов, играть в поддавки, и вести оживленные беседы о Николае Федорове и маршале Жукове, а когда дед окончательно доверится небритому, то расскажет ему про то, как его младший брат Кузя вернулся с фронта с пробитой внутренностью, отчего вынужден был вечно слоняться с мокрыми штанами. Девки, заметя в нем порчу, отказывались иметь с ним дело, хотя он честно сулил дорогую трофейную принадлежность: будильник «Немецкая овчарка», а тем более выйти за него замуж. Не стерпев такого насмешливого отношения, Кузя решил взять свое против женской воли, напав на девку (она и сейчас живет) в совхозном коровнике. Девка, испугавшись: еще убьет! — безучастно присмирела на холодном навозе, обернувшись к Кузе лиловой спиной. Счастье шло Кузе в руки, но прошло-таки мимо, он только сильно обоссался с натуги, отчего в скупом отчаянии наложил на себя руки и был таков. Вот... Хоронили его с военным почетом, как сержанта...

— Дед, хочешь, куплю тебе арбуз?

Но дед глянул на небритого с недобрим прищуром, глянул как на совсем незнакомого и чужого человека, и, не прощая за Николая Федорова и маршала Жукова, прохрипел: «Я СТОЯЛ ВПЕРЕДИ ТЕБЯ!» — и истории про брата Кузю не рассказал. Обойдешься!

Опять! — расстроился небритый. — Опять кособоко бегут собаки. Бегут и бегут. Экий китч!

Кособоко бежали собаки.

На середине пруда затонула лодка с будущими железнодорожниками, любителями угрей и устриц.

Хотелось посидеть в тени.

Минуя очередь к окошку арбузной лавки шел миниатюрный человек в безукоризненной каштановой паре. Дачники почтительно раскланивались с ним. Накануне в конторе правления дачного кооператива он прочел лекцию о вреде пространства и времени. Только местная шантрапа не разделила его пафоса.

— Па-а-а-вольте! — внушительно сказал профессор. — Я предводитель городских фигур, изъеденных демисезонной мигренью. Не видите разве, что у меня в руке ценная вещь?

— Неужели трофейный будильник «Немецкая овчарка»? — изумился небритый в качестве несостоявшегося композитора. Он полагал, что сочинить мелодию сложнее, нежели открыть новый химический элемент.

— Георгий Яковлевич не любит конкретной музыки, — холодно заметила жена профессора, седая женщина с бычьей кровью в глазу.

РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ! БЕРЕГИТЕ ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ!

— Горбуна вырастишь! — убивались сердобольные тетки.

Небритый своим глазам не верил.

— Простите мне всю несуразность вопроса, — сказал небритый, подступая к профессору, — но, видите ли, такой же, точно такой транзистор у меня украли на днях...

Профессор оборвал на полуслове:

— Вы хотите сказать, что Я украд у вас этот приемник?

— Что вы! — в ужасе замахал руками небритый. — Но вы могли случайно найти его в траве.

— Транзистор, знаете ли, не гриб и не ягода, чтобы его можно было найти в траве, — возразил профессор.

— Георгий Яковлевич, покажи-ка ему свое удостоверение, — рассердилась седая женщина.

— Ничего я ему не покажу, — насупился профессор.

— Я все понимаю, — пробормотал небритый. — Но странное совпадение... У моего тоже была трещинка на стекле. Я уронил при переезде...

— Лера, не волнуйся! Просто молодой человек сошел с ума.

— У моего транзистора тоже вот здесь вот... — Небритый судорожно глотнул воздух.

— Ты еще приползешь ко мне на коленях извиняться, — незлобно улыбнулся профессор.

Очередь забыла про арбузы и превратилась в круглую толпу.

— Смывайся, — тихо шепнули небритому сзади. — Беги, пока не поздно.

— Это мой транзистор, — сказал небритый. — Мой до последней царапины.

Торговка арбузами высунулась из окошка по пояс и заорала:

— Держи вора!

— Может быть, я и дачу у тебя украл? — спросил профессор, бледнея.

— Мой муж родом из Харькова, — гордо объявила седая женщина толпе. — Он автор семи трудов, переведенных на три языка. Он добился всего своими собственными руками и светлым умом.

— Вы нарочно вывернули карманы плащей, чтобы подозрение пало на ребят... Вы... вы... светлый ум! — Небритый деланно засмеялся, не чувствуя лица.

— Вы будете виновны в его смерти! — предупредила Лера с бычьей кровью в глазах.

— Нет, я не умру! — замечательно крикнул профессор скрытой цитатой из сочинений Пушкина. — Я не умру, куда...

Он развернул транзистор тыльной стороной: — Читайте!

Народ бросился к транзистору. Читали: **ДРАГОЦЕННОМУ ГЕОРГИЮ ЯКОВЛЕВИЧУ В ДЕНЬ ЕГО ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ ОТ СОТРУДНИКОВ, АСПИРАНТОВ, ГАРДИРОВЩИЦ И БИБЛИОТЕКАРЯ.**

Народ так и ахнул.

— Беги, — заторопил небритого дружеский шепот сзади. — Беги, дурень, беги!

— Это фальшивая надпись, — слабо запротестовал небритый. — Он сам выгравировал табличку.

Раздался возглас всеобщего возмущения. Торговка арбузами влезла на крышу лавки. Алая юбка билась у нее между ног.

— Тише! — приказала она, митингуя. — Только что

на переезде электричка раздавила неопытную суку. Все остальное — детали.

Народ в нехорошем предчувствии поспешил на переезд смотреть суку. Остались профессор, небритый и Лера.

— Я думал раньше, как все, — молвил небритый, — что собака — друг человека, а оказалось-то совсем наоборот, совсем наоборот оказалось...

— Во всем виновато пространство и время, — молвил профессор, любуясь видом беззащитных арбузов.

ТРЕХГЛАВОЕ ДЕТИЩЕ

I

Запыхавшийся, взмыленный, с гулко колотящимся в горле сердцем, он выбежал на платформу, скользя и срываясь на песке, и наяву увидел хвост удалявшегося в сумерки поезда. Опоздал!.. Хлопнула дверь, дежурный по станции, проводя поезд, ушел в свою каморку бить баклуши. И никого, кроме серебристой статуи, указывающей рукою дорогу в счастье, перпендикулярную железнодорожной колее. Три красных огонька исполнили свой скромный насмешливый танец и растворились в вечернем воздухе. Он застонал. Из ослабшей руки выпал чемодан. Ненадежные замки расстегнулись с сухим треском; на платформу выкатилось около дюжины бутылок из-под пива. Он с удивлением склонился над ними. У некоторых были отбиты горлышки... Мама! Где же мои наутюженные брюки? где пиджак с комсомольским значком? А три пары белья? — я помню, ты клала, мама! погоди, а где фотография в круглой рамочке, выпиленной мною лобзиком в детстве: ну, да! Фотография, на которой я с Наденькой, Наденькой,

Н

а

д

е

н

ь

к

о

й.....

Ощущение надвигающейся неприятности, крупной мучительной неприятности, способной переродиться в ослепительно яркую катастрофу, давило Игоря, не давая ему расслабиться, с четверга, начиная с того момента, когда его предупредительно уведомили о том, чтобы он соизволил придти в понедельник к одиннадцати в Главное здание: на разнос. Солидная куча дряхлеющей плоти, которая звалась столь элегантно, столь шикарно: Сперанский! — наябедничала на него, разрыдавшись в жилетку товарища Стаднюка.

Игорь заставил себя держаться молодцом. Он вел семинары, читал лекции, консультировал нервничающих дипломников, разговаривал с коллегами, чувствуя на себе их долгие, внимательные взгляды, не позволяя прорваться ни одному взволнованному жесту, ни одной тревожной интонации. Достойное поведение не осталось без оценки. Его приняли к сведению, а одна молоденькая преподавательница, конопатенькая, с ненормальным блеском в глазах, особа весьма эмоциональная, отвела нашего привлекательного чернобрового мужчину в сторону и выразила ему свое восхищение и солидарность. Еще бы! Потолкните с любым мыслящим человеком, и он вам скажет, если доверится, что вступать в единоборство со Сперанским — дело нешуточное. О, Сперанский силен! Он обладает ценнейшим оружием — гипнотизирующим недругов мифом о своем невероятном могуществе, богатстве связей, глубине пущенных корней, высоте стояния своей звезды, которая стремительно вознеслась в конце сороковых — начале пятидесятых годов и с тех пор светила, а когда нужно, то жгла и прижигала. Размеры месячной зарплаты Сперанского, которую он собирал в различных местах, имея ряд должностей по за стенами Института: в ученых комитетах, комиссиях, редакциях — входили в миф дополнительной легендой, украшенной фантастическими гирляндами чисел. Кто мешал Сперанскому — те в земле сырой; кто поддакивал Сперанскому недостаточно часто и недостаточно добровольно — «те далече» — так, по крайней мере, повествовалось в саге... Василий Яковлевич хорошо знал ее содержание, и хотя формально, в качестве декана, главенствовал над Сперанским... но как можно главенствовать над сагой? В конфиденциальном разговоре с Игорем он предложил ему услуги миротворца.

Отступник! Не ты ль обещал мне безоговорочную поддержку?

— Я знаю, что вы хотите, Василий Яковлевич, — тихо сказал Игорь, глядя в узкое, вечно скорбное лицо декана. — Вы хотите, чтобы студенты опять нарисовали на вас карикатуру.

Он сделал ударение на последнем слове. Лицо декана сделалось еще более скорбным...

— Но ведь Евдокимов...

— Разве в Евдокимове дело? — живо и невежливо перебил декана Игорь, поддаваясь почти юношескому нетерпению. — Помните, я довольно подробно говорил об этом на партбюро, и вы, кажется, соглашались с моей аргументацией.

— У меня изменилось мнение. Могло же оно измениться? Мы не догматики, в конце концов! А потом, знаете, что сказал Стаднюк? Он спросил меня: «Что это у вас там за парень, которому больше всех надо?»

— «Больше всех надо!» Прекрасно! Значит, Сперанский ему вот таким вот образом преподнес... Подождите, а что вы ему ответили?

— Что я мог ему ответить? — печально пожал плечами декан.

— Как что? Я ведь защищал честь факультета и... вашу честь, Василий Яковлевич, потому что во всей этой истории вы некоторым образом потерпевший, именно вы.

— Слушайте, Игорь Михайлович, — поморщился декан, — мы с вами не какие-нибудь мушкетеры, чтобы вести дебаты о чести. Честь! Честь! Не будем пустословить! Выгнали Евдокимова — и дело с концом.

— Что же вы все-таки сказали обо мне Стаднюку?

— Я дал вам хорошую характеристику... но я также сказал, что считаю ваш шаг опрометчивым... да, опрометчивым. Вот видите, — улыбнулся декан, — я от вас ничего не скрыл.

— То есть как опрометчивым? — опешил Игорь.

Декан не ответил. Он медленно рос, поднимаясь из-за стола: аудиенция закончена. Игорь некоторое время оставался сидеть, не замечая сигнализации декана. Тот кашлянул. Сильно покраснев, и Игорь вскочил на ноги.

— Я вас прошу, Василий Яковлевич, позвоните Стаднюку, он меня вызывает, и скажите ему...

— Может быть, я сам решу, что мне делать? — деликатно улыбнулся декан.

— Извините, — совсем сконфузился Игорь.

— Я вам все-таки советую, пока есть время, помириться со Сперанским. Вы знаете, это мудрый человек.

— Да, но... нет! Нет, теперь это исключено.

— Ну, как знаете...

После ухода Игоря декан откинулся в кресле и закрыл глаза. «Слишком рано он вылетел. Ранняя пташка. И надорвался. Заработал грыжу... Но этот полет весьма симптоматичен. Сперанский сдает, слабеет потихоньку. Глядишь, годика через два мы, пожалуй, его, — он потянулся, — и порешим... А странный этот тип, Евдокимов, — мысли декана сменили свое направление. — Я его ни разу не прижимал. Я даже фамилии его не знал, а он — на тебе! Сбеленился... — Василий Иванович встал, защелкнул на замок дверь своего кабинета и, вернувшись к столу, выдвинул средний ящик. Из-под бумаг он достал изрядно помятый листок ватмана и взглянул на него с брезгливостью и недоверчивостью. На листке был изображен Василий Яковлевич (портретное сходство удивительное!), разноцветными фламастерами — в неопрятном шлафроке, перевязанном, подхваченном бечевкой («да я вообще никогда халатов не носил!»); в одной руке он держал большую ночную вазу, а другой приподнимал ее крышку. Из горшка поднимался легкий парок, и он внюхивался в него с лицом умиленным, растроганным, хотя в то же время сохранявшим какую-то неземную скорбь. На горшке надпись: «Докторская диссертация», а под рисунком: «Профессор».

«Да нет, просто негодяй! Нет, каков мерзавец!.. Ну, ничего, в армии его скоро от таких штук отучат...»

«Больше всех надо!», — переживал Игорь.

Ну, хорош Стаднюк! Поверил старику... Эх Стаднюк! Физиономия благовоспитанного бульдога. Этот бульдог мягко спрыгнет с насиженного дивана, подойдет к вошедшему в дом гостю, обнюхает его вежливо и вроде бы снисходительно, но вдруг в следующее мгновение мотнет мордой и насмерть вопьется зубами в мякоть ляжки. И гость — завопит! завопит!

«Больше всех надо!» — переживал Игорь.

После вероломства Василия Яковлевича оставалась единственная надежда: крупнокалиберное оружие, которое следовало поспешно развернуть, направить... и шаракнуть

из него, дернув за шелковый шнурок!

Но пушку укатили. Еще в четверг, не теряя времени понапрасному, Игорь накручивал домашний телефон тестя бесконечное количество раз, кусая ногти и накуриваясь до одури. Мне нужно с ВАМИ срочно посоветоваться, Александр Иванович, по одному важному делу.

Телефон не отвечал.

Ах, да, он на даче! Конечно, на даче! Какой уважающий себя человек сидит в майский теплый вечер в Москве?

Дачный не отвечал.

Четверг пропал даром. Пушку не отыскали. По воробьям пальнуть.

В пятницу утром Игорь звонил на работу. Уши распухли, налились кровью. Гудки были полные, длинные, апатичные, как переваренные макароны...

Телефон секретарши не отвечал.

Летело время. Рабочий день вот-вот обещал упереться в обеденный перерыв. Игорь опаздывал на лекцию. Игорь гримасничал, волнуясь и колеблясь. Позвонить — не позвонить? Он залепил носом левый глаз, как куском пластилина, натянул нижнюю губу на подбородок, затушил сигарету и, взволнованно чертыхаясь, набрал номер засекреченного телефона, который стоял у тестя в кабинете и был приравнен по рангу к «верхушке». Тесть собственноручно снимал трубку и говорил отчетливо:

— Слушаю!

Такие игрушки продаются в Японии.

Засекреченный глухо урчал от бессилия. Трубки никто не поднял.

О, подлость! Игрушка сломалась!

Игорь беспорядочно рассылал звонки направо и налево, путаясь и не понимая, кому они адресуются... Тесть был неуловим и, вместе с тем, вездесущ — он бесстрастно созерцал мышиную возню Игорька из окон высокого расписного терема — как и полагается особе значительной.

Наконец, дозвонился!

До тестева помощника.

— Это Игорь Михайлович? — помощник обладал исключительной памятью на телефонные, исковерканные километрами проводов голоса и очень приятным тембром голоса, который составляет привилегию людей, устроившихся в жизни недурственно и с известным основанием надеющихся устроиться со временем еще более недурственно.

Александр Иванович?

Но он же в Киеве.

Со среды...

Укатили царь-пушку! Упавшим голосом: — И сколько он...

Да нет, ненадолго, он ожидается сегодня, после обеда. Обещал заглянуть на работу. Конечно, попробуйте! После обеда.

Не заглянул.

Не приехал.

И не позвонил, улетая в Киев.

С какой яростью он пылесосил квартиру, как беспощадно тер щелью густой вишневым ковер! Носился по магазинам в поисках апельсинового сока (напрасно), поругался с кассиршей из овощного магазина, обозвал ее «старой варежкой». Зачем все это? Лишнее.

Пятница. Вечер. Почти ночь. Неужели не приедет до понедельника?

Александр Иванович, милый, спасайте!

Неужели не приедет?..

Внезапно возникшая мысль о том, что тесть, возможно, выходные решил провести в Крыму (сам себе хозяин), куда неделю назад отправился в санаторий бледнолицый похудевший Колька, трехлетний Игорев сынишка, мучительно перенесший в марте воспаление легких, вместе с мамой-Танькой, бабушкой-тещей и любимым слоненком, повергла его в полное уныние.

Субботу Игорь продержался в институте героически — но каких сверхъестественных усилий ему то стоило!..

Разгуливал по коридорам Сперанский, с обворожительной улыбкой, неся с достоинством шарообразный живот-симпатягу, в коротких узких брючках; бросались в глаза носки в красно-белую горизонтальную полоску. Игорь пробовал подарить ему свой новый галстук. Румынский. Старик фыркнул и отвернулся. Подарка не принял. Да и на что ему румынский галстук? У него есть свой, за восемьдесят копеек — скромность украшает — бедность не порок. Игорь ломал руки: почему не хотите румынский?

Стало ясно: тесть сбежал в Киев, как тать. А там развернулся. Якшается с браконьерами, курит дорогие офицерские папиросы. ЗАГОВОР.

Игорь «поймал» Александра Ивановича, не веря своему счастью — на даче — в восьмом часу вечера.

— А я, брат, в Киеве был. На торжествах по случаю.

— Как прошло, Александр Иванович?

— Замечательно! Ты знаешь, должен тебе сказать, киевляне — народ удивительно радушный... Слушай, приезжай сюда, чего тебе в городе зря сидеть. Тут кино сегодня показывают... подожди, как его?.. забыл! Ну, все равно приезжай!

Игорь глубоко затянулся ароматной сигаретой, особенно приятной после плотного неторопливого обеда, оживленного двумя стопками прекрасной украинской горилки с перцем (подарок радушных киевлян) и бокалом достойного «мукузани», замечательно гармонизировавшего с жареной телятиной под грибным соусом, положил ее на борт биллиардного стола с девственно ворсистым сукном, тщательно освещенным двумя низко повешенными лампами под массивным темнозелеными абажурами, прицелился, с удовольствием ощущая в руке добротную тяжесть свинца, прицелился другой раз — и заколебался.

— Ну, чего ж ты?! — воскликнул его партнер, невысокий, уже изрядно полысевший мужчина лет около шестидесяти с серебристыми висками и весьма заметным брюшком, одетый в свою излюбленную дачную униформу: тренировочный костюм. Игорь повернул к нему голову, склоненную над биллиардом, и, выпустя табачный дым через узкие ноздри, произнес с сожалением:

— Не войдет, Александр Иванович.

— Да ну, рассказывай! Не войдет! Должен войти! — запротестовал тот. — Прекрасный свояк. Подставка! Бей только несильно и вот сюда примерно, — прищурившись, он указал точку.

В просторной биллиардной кроме них не было ни души. Отобедав и разморившись, обитатели дачного поселка разбрелись по домам соснуть. Погода этому располагала. Шел бойкий майский дождь, он пузырил лужи, играл по крышам и, шурша в молодой траве, исторгал из земли, возбужденной своим весенним всемогуществом, божественные запахи.

— Молодец! — похвалил тесть. — А ты, что называется, боялась. — Он вынул шар из лузы и отнес на полку. Игорь раньше все сам порывался класть на полку свои шары, но тесть считал такое дело непорядком, нарушением правил, и Игорю наконец пришлось смириться с тем, что такой почтенный и уважаемый человек, как Александр Иванович

(чья фамилия нередко фигурировала в газетной хронике и была известна если не всем, то во всяком уж случае всем тем, кому надлежит знать или же кому доставляет удовольствие коротать досуг, задаваясь вопросом «Кто есть кто?» и сиюсья воссоздать в воображении контуры мраморных ступеней барочно величественной и замысловатой иерархической лестницы), вынимает забитые им шары. Правда, шары тестя Игорь вынимал все равно чаще. Тесть играл лучше. Сказывалась многолетняя практика, а Игорь, по сравнению с Александром Ивановичем, был почти совсем новичок, хотя и подающий надежды. Сладко-пресладко зевнув, так что слезы выступили у него на глазах, тесть произнес с шутливой ворчливостью, глядя в приоткрытое окно:

— Нет, это что такое за безобразие, я тебя спрашиваю. Который уж раз в выходные льет дождь! На Первомай лил, на день Победы лил... А впрочем, чего это господу-богу большевиков баловать хорошей погодой?.. Я б на его месте не баловал.

— Правильно, — вежливо засмеялся Игорь.

— Ну, да конечно! — улыбнулся тесть. — Скоро научимся погодой управлять, совсем хвост богу прищемим. Ты как полагаешь, есть у бога хвост или он только у черта? Да! Слушай! А кто это черту рога наставил?

Тесть пребывал в прекрасном расположении духа. Отдохнул немножко... а кто уж в отдыхе действительно нуждался, так это именно он, работавший не разгибая спины с утра до ночи. Игорь, живший некоторое время после женитьбы у тестя, знал, как нелегко ему приходится. Семья давно уже отужинала, а Александра Ивановича все нет. Наконец, приходит. Жена варит ему сосиски (домработницы не держали; пробовали, но не те нервы у Марьи Григорьевны, чтобы выносить присутствие чужого человека), накладывает побольше картошки, которую сохраняла горячей в кастрюле, обмотанной полотенцем, под подушкой; он ест, глядя отрывок какой-нибудь телепередачи, потом переключивается в кресло, берет в руки «Известия» и минут через пятьдесят начинает похрапывать, просыпается, делает вид, что и не думал спать, опять подносит к глазам газету, выпавшую из рук, и опять начинает похрапывать, пока жена не скажет ему: «шел бы ты, Саша, в постель», — и не отнимет «Известий». Так почти изо дня в день, а, кроме того, приемы, экстренные совещания, вызовы... Или куда-нибудь улетал.

— Ну, как съездили, Александр Иванович?

— Замечательно! Ты знаешь, должен тебе сказать, минчане — народ удивительно радушный.

И нужно было ему везде поспеть, ничего не пропустить, все вверенное проконтролировать. И только на даче отходил. Смотрел кино, предпочитая комедии (особенно любил с де Фюнесом), отсыпался, летом купался в реке, удил рыбу, зимой регулярно ходил на лыжах километров по пятнадцать... А ранним утречком в понедельник к даче подкатывала бесшумно большая черная машина, за десять шагов разящая бензином, и Александр Иванович летел в город мимо марионеточных постовых, вскидывающих руку к козырьку, где его ждала трудная ответственная работа с людьми, чреватая такими неприятностями, как инфаркт или инсульт, на выбор. Ну, а тот причитающийся ассортимент «привилегий», который возбуждал приступы то зависти, то благоговения у родственников, живших на периферии, ему казался лишь набором необходимейших средств для существования. Без машины он бы ничего не успел. Без дачи и поликлиники на Грановского давно бы отдал концы. Привилегии чувствовала семья. Он же чувствовал бремя. «Худшему недругу не пожелаешь такой жизни», — думал порою Александр Иванович у себя в кабинете, растирая пальцами воспаленные веки, над неразобранными бумагами, над нерешенными делами... но он не отчаивался, не тосковал даже при мысли о том, что теперь от людей не добьешься слов благодарности и признания, что доброго они не помнят и память у них коротка: отправят на пенсию и на следующий день позабудут. Нет, он не отчаивался! Он жил убежденностью в нужности, необходимости своей работы, которой отдавался целиком, весь без остатка. В его жизни было мало досуга, и времени искать себе друзей не хватало, но у него существовал с давних пор один испытанный друг: — партия — и ради нее он был готов на все. Партия вывела его в люди из захолустного городка с немощными улицами, оказала доверие, поставила руководить, и какая задача для него могла быть более святой, нежели это доверие оправдать? Ошибется, однако, всякий, кто решит, кривя иронично губы, что Александр Иванович был человеком восторженным и наивным. Александр Иванович прекрасно сознавал, что есть партия и есть люди ее составляющие, и что людям свойственны пороки и слабости, и что среди товарищей попадаются подхалимы, завистники,

недоброжелатели и, наконец, просто враги, так что нужно вести себя осторожно, не зарываться, но и спуску не давать, а то сядут на шею. Умел Александр Иванович держаться достаточно твердо, знал, когда казнить, а когда миловать, и мог по праву этим гордиться. Беззащитным он чувствовал себя только перед одним существом, своей дочерью, которая этой беззащитностью не пользовалась, из любви отца к себе капитала не создала. Это было тихое существо, незлобное и недалекое. На длинных тонких ножках. И это существо нашло себя в материнстве. «Танька, Танька-то моя — мамаша!» — до сих пор поражался порой Александр Иванович.

«Что же он тянет?»

Игорь несколько успокоился после того, как изложил тестю, прогуливаясь с ним перед обедом, суть дела. Оттого и аппетит был приличный. И хотя говорил он с несвойственной ему сбивчивостью и поначалу даже не очень понятно, тесть выслушал все с терпеливой доброжелательностью. Задавал вопросы. Интересовался Сперанским: что за человек? чем знаменит? И сказал:

— Мы вернемся к этому разговору.

Когда вернемся? Ведь завтра в одиннадцать...

Вновь Игоря терзало беспокойство, отражаясь на игре. Он стал «мазать», выставил два шара...

Сам выпутывайся!

Тесть помогал не раз: с квартирой в хорошем доме и хорошем месте (в центре, в тишине переулков), с машиной (Игорь взял «жигуля»), но еще ни разу не вырчал.

Между тем, расхаживая вокруг бильярдного стола и время от времени наклоняясь, чтобы метким ударом послать в лузу очередной шар, тесть думал о произошедшем разговоре. Что ж, он непрочь поддержать. Зять своего он жаловал. Он нравился ему и по характеру, и своей четкостью во взглядах. Не дурачок! И трудолюбив! Да... конечно, смешно: в его семье оказался философ. Подумать только! Для него это слово всегда носило неодобрительный характер — как там говорят? — pejоративный. «Эх, ты, философ», — говорил он, бывало, своему незадачливому помощнику, пока не прогнал его. Или: «расфилософствовался!». Он опасался поначалу, не окажется ли его будущий зять с завихрениями, с интеллигентскими выкрутасами. Только такого ему не хватало под боком! Но Игорь оказался без выкрутас, и тесть скоро почувствовал к нему симпатию. Он разобрался

в людях; Игорь ему импонировал особенно тем, что всего добился собственными силами, как сам Александр Иванович. Конечно, не обошлось без недоразумений. Дочка-то была единственной и любимой. Мать искала ей более выгодную партию. Искала по родителям. И глупо! Ой, как глупо! Александр Иванович знал, что за чудо такое — сынки: болтались они тут на дачах. Их за уши тянут, а они еще упираются. Беспребетные создания! Их избранничество недолговечно. Оно проходит с отцами, потому что отцы не вечны, с ними может случиться... все, что угодно. Вон у него самого сердце пошаливает. Тут на прошлой неделе пришлось «неотложку» даже вызвать... Едва от больницы отбился. Да, а потомственного дворянства у нас, как известно, не существует с семнадцатого года. Он так матери и заявил, когда нашептывала она против Игоря. А кого она Таньке сама подговорила? Этакого виконта с остекляневшими от пьянства глазами! Обжору, вечного студента, лентяя... Но мать уперлась и твердила одно: Игорь — авантюрист, он хочет проникнуть в наш круг, его нужно в шею гнать, философа! Я его больше на порог не пущу.

— Они будут видеться в подворотнях.

— Я этого не допущу! Слышишь, Саша, не допущу!

— Ну, хватит орать, — сказал Александр Иванович.

— Ничего не хватит. Она такая же моя дочь, как и твоя.

Я требую!..

— Перестань, Маша, успокойся...

А Танька плакала в соседней комнате. Эта «ни рыба — ни мясо», как величал ее впоследствии Игорь, бунтовала и упрячилась. Это был ее час. Она знала: либо за Игоря, либо в старые девы. Она не могла без него. Он был для нее всем. Она восхищалась им. Он был настоящим мужчиной. Он был ее первым мужчиной. Она отдалась ему месяц назад в подмосковном лесу, в молодом ельнике, неподалеку от станции Трехгорка Белорусской железной дороги. Любовь! Любовь!

— Я паспорт у нее спрячу, чтобы не расписались! Татьяна! Отдай мне немедленно свой паспорт!! И ты хорош, рехнулся совсем: да у него родители на Тишинском рынке картошкой торгуют!

И тут Александр Иванович не утерпел. Он ругался редко, во всяком случае вслух, а на жену и подавно, но тогда не сумел сдержаться:

— А ты, такая-сякая, из господских, да?! Подумаешь, королева бифета!

Мать даже заикала. Зашлась в икоте, вздрагивая всем телом, а Александр Иванович добавил потише:

— Моча тебе в голову бросилась.

А какая была у той буфетчицы из спецбуфета точеная шейка! А остренький носик? А мелкие ровные зубки? А грудь? Это была редкостная по своей красоте грудь, такую грудь на ВДНХ можно было бы показывать!.. Ну, а что стало? Высокая грудь давно опала, голубые глаза выцвели (от ревности выцвели, небось, ревнивой оказалась невероятно), и обернулась она скандалисткой — вот оборотень!

После того скандала мать затаилась. Вроде бы, сдалась. Свадьбу справили, как полагается. Сколько лет с тех пор минуло? Скоро пять. Да, уже Кольке три. Хороший парень. Надо бы еще одного. Или внучку... Но тогда на похороны Игоревой матери не пожелала поехать. Больной прикинулась. А Александр Иванович поехал. И на поминках был. Несмотря на горе, родня покойной разглядывала его во все глаза. Александр Иванович поднял тост за простую советскую труженицу, которая безвременно, так сказать, ушла от нас, в связи с тяжелой болезнью, но которая воспитала сына, которым можно гордиться. Отец Игоря шептал все: «спасибо, спасибо», и плакал, а когда сели за стол, зачем-то начал извиняться: у нас, знаете, все по-простому, не взыщите... Да что вы! И слышал, как Игорь сказал: «Перестань срамиться!» Он уехал, когда напиваться стали. Дурацкий это обычай — поминки!

Дуплет в серединку!

— Ну, Александр Иванович! — восхищенно развел руками Игорь. — Высший класс.

— Да, брат, это тебе не философия, — задумчиво произнес тесть и, выходя из оцепенения: — Что, гегель-гегель, домой пошли?

Игорь погасил свет; зеленое сукно словно намокло водой — потемнело. Они вышли в раздевалку, взяли с вешалок плащи...

— Александр Иванович, полдничать приходите! — Их из столовой заметила и к ним подходила, легко ступая в бесшумных тапочках, Галя-подавальщица, маленькая улыбчивая женщина средних лет с бесхитростной прической из русых слабеньких волос, в белом накрахмаленном передничке. Галя подготавливала свои столы к полднику.

— Полдничать? — Александр Иванович охотно остано-

вился, чтобы ответить Гале. — Придем, спасибо. А чем вы нас угостите?

— Будут сдобные булочки, очень вкусные, с маком, Александр Иванович, — весело сообщила Галя, — и пирожные.

Галя давно уже работала на дачах и знала, что среди «хозяев» встречаются два сорта людей, которых она про себя звала по-детски: «буки» и «добрые». «Буки» тебя не замечают, хоть тресни от желания им угодить. Их можно годами обслуживать — они даже имени твоего не спросят, а если что скажут, то непременно обидное: «у вас сегодня крошка невкусная». «Добрые» же, к числу которых относился Александр Иванович, напротив, быстро привыкают к тебе, не любят, когда тебя от них переводят, и оказывают разные знаки внимания. «Добрых» больше, чем «бук», и Галя-подавальщица искренне верила в счастье на земле.

— Ну, пирожные для меня хуже смерти, — пошутил Александр Иванович, — а про сдобы и говорить нечего... Но чайку попьем, попьем.

— Приходите, — улыбнулась Галя.

Дождь снаружи стал мельче, безвреднее: иди — не промокнешь. По аллеям, обсаженным пышными кустами желтой акации, неспеша двигались два пятна: кремовое и темносинее. Мужчины прошли мимо теннисного корта с асфальтовым покрытием, на котором они сегодня до дождя помахали чуть-чуть ракетками, мимо волейбольной площадки, на которой никто никогда не играл... Из дощатой зеленой беседки, попавшейся им по дороге, слышался лихой перестрел костяшек.

— Алексан-Ваныч присоединяйся!

Заядлые доминошники дневали в беседках целыми выходными.

— Загляну попозже, — пообещал тесть.

— А что не видно Марьи Григорьевны?

— Она в Крыму, вместе с дочкой и внуком.

— Купаются там?

— Нет, вода, говорят, еще холодная. Загорают только.

— Тоже дело!

«Домино — вот основа великого единения начальства с народом», — подумалось Игорю. Он презирал домино и не мог понять, зачем здесь играют в эту плебейскую игру. С таким же презрением он относился к пиву. Пацаном он бегал искать отца у пивного ларька невдалеке от местного

пивоваренного заводишка, обдававшего окрестности тяжелым запахом.

— Пап, иди домой, мамка ждет, ругается.

— Подождет... Ну-ка, на, выпей.

В его руки опускается тяжелая липкая кружка с обкусанными краями.

— Чего не пьешь! Или брезгаешь?

И подивился пьяно:

— Он брезгает!

— Будешь звонить — приветы передавай.

— Обязательно.

Если у него сорвется, она не даст мне покоя, будет пилить: говорила тебе: авантюрист! Настоящая теща.

— Так, значит, он пошел и пожаловался на тебя? — как бы переспросил Александр Иванович, словно их разговор перебили доминошники.

Игорь вздрогнул и живо кивнул.

— И, говоришь, в парткоме у вас там Стаднюк командует, верно?

— Стаднюк. Петр Петрович.

— Стаднюк... — Александр Иванович искоса посмотрел на зятя. — А ты думал, что стариков можно толкать, пихать, сдергивать с насиженных мест, а они будут сидеть, как воды в рот набравши.

— Александр Иванович! — воскликнул Игорь. — Я никого не собирался сдергивать!

— В песне, конечно, красиво поется, ничего не скажешь: «Молодым везде у нас дорога...», но жизнь — пока что еще не песня, хотя мы хотим, чтобы она стала песней.

— Дело в том, — начал Игорь, — что раз дошло до такого инцидента, то закрыть Черную лестницу на время просто необходимо. Если там могут...

— Но когда ты закроешь лестницу, — не дослушал его Александр Иванович, — ты закроешь сразу и путь вашему... как его?

— Сперанскому.

— ... Сперанскому к переизбранию в парторги.

«А старик сечет», — подумал Игорь.

— Может быть, и так, — сказал он, — но дело не в этом...

— Нет, дело как раз в этом, — мягко, но уверенно надавил тесть и при этом недовольно покашлял.

Игорь закусил губу и ждал: сейчас шархнет его царь-

пушка. По нему самому! Еще мгновение — и тесть закричал, зафыркал, затопал ногами, проклял его и прогнал в мир за зеленый забор и приказал охранникам назад не впускать. Прощайте, дачи с утренними ваннами, вкусные обеды с дотациями, Гали-подавальщицы, просторные лимузины! Прощай, мой спецмир! Веснуцатый мальчик-милиционер, любитель подсолнечных жареных семечек, отведет его в жуткий московский коммунал и пропишет там навечно, рядом с семейством забулдыги-водопроводчика, ядовитым водителем трамвая, матерью-одиночкой двадцати двух лет, про которую рассказывают гадости, отставным майорам из «сверхсекретного» ведомства, уверяющим, что он служил звукооператором на Мосфильме, презлющей богомолкой, у которой за иконами, под обоями, говорят, много денег припрятано, толстой и непременно неряшливой еврейкой (с ее трусливым мужем-инженером и большеглазым перекормленным Ильюшей), в чьей комнате стоит кисло-сладкий запах еврейства и в чьей душе нет намерения уехать в голубой Израиль потому, что «мне и здесь хорошо»... А по тусклому коридору, где на стенах висят старые пыльные велосипеды и детские цинковые ванночки, вечно шастают какие-то полуодетые полуполицейские личности и на правах чьих-то дальних родственников подолгу пользуются уборной, жарят рыбу на общей кухне и обрывают телефон у входной двери (стена в этом месте исцарапана и исписана всевозможнейшими номерами, фамилиями и вензелями), слезно жалуясь на каких-то жестокосердных прорабов...

Мужчины молча свернули на узкую асфальтированную тропку, ведущую к даче.

Стаднюк может понять таким образом, что на него оказывается давление, а этого Александр Иванович не желал. Это было не в его принципах.

— Хорошо, — сказал он, шагая впереди Игоря, — я постараюсь связаться с вашим Стаднюком завтра с утра. Ты к каким идешь к нему?

— К одиннадцати.

Александр Иванович кивнул.

— ... связаться, чтобы... — он помедлил, внимательно выбирая слова из своего невидимого колчана и осматривая их со всевозможными предосторожностями, словно они отравленные, — чтобы он подошел к этому делу... непредвзято. Чтобы, вернее, он не был под впечатлением той жалобы.

— Иначе будет разгром, — неловко усмехнулся Игорь. Александр Иванович не откликнулся на эти лишние слова. Они вошли в дом.

— Я, пожалуй, сосну часок, — объявил свою волю тесть и стал подниматься по скрипучим деревянным ступенькам на второй этаж, в спальню.

— Да! — остановился он на полдороге, морща лоб. — Ты Таньке ничего об этом не сообщал?

— Нет.

— Ну, и не надо пока. Не стоит девку волновать понапрасному. Пусть себе отдыхает.

«Понапрасному!» Игорю захотелось вихрем взлететь по лестнице и от всего сердца броситься тестю на шею. Но он переборол свое мальчишечье желание. С благодарностью вообще никогда не следует перебарщивать. Игорь достал сигарету, закурил, отойдя к окну. Спокойным, светлым взглядом смотрел он на клумбу нарциссов, посаженных чьи-то заботливыми руками, на колышки качели, привешенные между двух сосен, на набухающие грозди белой сирени. «Если б еще Надька завтра пришла... Никак у нее телефон, черт, не соберутся поставить...» Он уже докуривал, когда до него донесся негромкий голос тестя:

— Игорь!

Бросив окурок в форточку, он направился на зов, ожидая получить просьбу накапать капель двадцать валокардина в рюмку и принести воды запить или еще что-нибудь в таком роде, однако тесть, возлежа на широком уютном ложе, заговорил о другом.

— Знаешь, — сказал он, — когда цветку тесно в горшке, что с ним делают?

— Пересаживают в горшок побольше? — подивился вопросу Игорь.

— Вот именно! А иначе он либо погибнет, либо горшок разорвет. Понял? — Александр Иванович помолчал. — Тебе надо уходить из твоего Института, — продолжал он. — Ты из него взял все, что мог. А остальное там не твое... Выходика на широкую дорогу. Есть много интересных мест, где можно попробовать свои силы... и не горячись. Ты горячишься, Игорь, — дружелюбно улыбнулся с подушки Александр Иванович, — а разве философам пристало горячиться.

На Черной лестнице, неукрощенной, непорешенной, табачный дым ест глаза, впутывается в шерсть свитеров и в волосы, вгрызается в стены, потолок — не выветришь его отсюда и за пять лет сквозняков! Не легче, казалось, отсюда выветрить дух студенческой бесшабашности... Ох, не любила Черной факультетская администрация, мозолила и слезила она ей казенные очи — до того, что и ходить по ней не ходили, избегали, а если уж приходилось, то шли не гоголем, а все бочком-бочком, втянув голову в плечи, чтоб незаметнее было, как по вражеской территории шли, и осаживалась нелюбовь, как копать, в укромных уголках сознания-подсознания, где паучком ползла, не переставая, мысль о том, что когда-нибудь что-нибудь Черная вытворит, выкинет, пощады не жди!.. и морщились, когда доходили до ушей оброненные здесь слова, зеленые, кислые — как яблоки, краденые в июле. А доставалось на лестнице уж давно и декану, сутулой тенью скользящему по факультетским коридорам, и его заместителю, придурку-опричнику, с ужимками и прищурками провинциального комедианта, и отставному полковнику, «гробовщику», умеющему сунуть свою малиновую крысиную мордочку в противогаз за: «раз, два, три — и готово!» — и грозящему студентам неминуемыми мировыми катаклизмами; он начинал так: «Когда начнется термоядерная война...» Не жаловали на Черной честолюбивых аспирантов, в подражание декану говорящих немного в нос; надрывали животики, глядя на безобидных дурнушек, с горя подавшихся в активистки и ставших «при деле», которые носились с утопическими идеями культпоходов, шахматных турниров, стопроцентной посещаемости занятий... Желторотое племя умников и анекдотчиков, рыжих хохмачей и рифмоплетов, вертихвосток и дон-жуанов царило под низкими сводами, «кадрилось», целовалось, наскоро подзубривало лекции. Сказать ли: вольница? Нет, слово, режущее ухо, привыкшее к эвфемистическим напевам, сюда не подойдет: не тот калибр. Что фантазировать! Здесь просто жила молодая беспечность, легкомысленность и та полудетская шаловливость, которая бесследно исчезнет вместе с первым приступом ожесточения. Но когда многие рано остепеняются и задумываются чуть ли не с первого курса о перспективах распределения, о теплых местечках, беспечность перерастает самое себя, обретает новое

качество, становится глухим, неосозанным, но — вызовом. Многие — молчаливики на Черной, они здесь только покурить: дыма табачного в рот наберут, ни гу-гу. Чували многие этот вызов и не одного охватывало желание броситься предупредить, предотвратить. Берегитесь! Стучались — не достучались... А спохватилась администрация, по русской пословице, чересчур поздно: когда в разгар торжества — дали декану профессора — вдарила лестница декана промеж глаз карикатурой!..

Теперь таких зданий не сооружают — с тайными ходами, с черными лестницами. Архитектура — зеркало коллективной души! Ныне все стекло, от пола до потолка, все на виду, на просвете; летом — жарко, зимой — холодно. Игорь поднимался по стертým ступеням пережитка забытого прошлого. Был перерыв; лестница галдела о своем, беззаботно курила, не ведая о том, что сегодня вечером ее заколачивать будут: проветривать! Кто-то выпал из-за дымовой завесы, поздоровался. Где-то хохотнули взрывом! Игорь невольно оглянулся: не над ним ли? Нездоровая атмосфера. А курить могут и на «психодроме» — так назывался внутренний двор Института, где во время сессии студенты дружно мандражировали. Развязные позы, потертые джинсы, нестриженные затылки и лбы... Игорь и сам не любил коротко стричься, терпеть не мог высоко выстриженных затылков: это отдавало школой, провинцией, глушью. Игорь считал себя человеком современных воззрений и не мог в душе не усмехнуться над стадниковским атавизмом: отрицанием дамских брюк! Но здесь, на лестнице, нелюбовь к парикмахерской и прочие подобные мелочи составной частью входили в вызов. Стадник был прав: дисциплина, прежде всего дисциплина! «Когда я прохожу по Черной лестнице, — вспомнились Игорю слова «гробовщика», — мне хочется крикнуть: «смирно!» Полковника Игорь считал доисторическим существом, но и доисторическим существам случается выражать требования исторического времени...

Однако зачем же он сам здесь, на этой сомнительной лестнице? Почему не прошел по парадной?

На это был свой — невидимый миру — резон. — Он искал на лестнице «одного товарища» — в Институте он кодировал Наденьку даже для себя самого — но «товарища» на лестнице не нашлось. Опять не пришла, опечалился он. Сегодня вдвойне хотелось ему ее видеть.

Дверь на мощной пружине дребезжающим звуком пальнула ему в спину — он вышел в залитый неоном коридор и, минуя факультетскую стенгазету, несдержанно поздравлявшую декана с высшим званием, направился в профессорскую. Нужно было позвонить тестю, сказать: все в порядке — и повесить трубку. Все в самом деле оказалось в порядке.

Стаднюк встретил его радушно — насколько, конечно, могла отпустить радушия благоприобретенная натура. Власть, даже незначительная, как известно, меняет людей образом совершенно неисповедимым. Запорожца-борщелюба, веселого комсомольца с бархатными глазами, Петра Стаднюка, власть изрядно подсушила, подвялила и превратила в педанта. К тому же, она поспешила его состарить: для своих пятидесяти он выглядел неважно: мешки под глазами, морщины, желтая, как пальцы курильщика, кожа, — зато взамен отточила, выдрессировала его ум. Только с «х-эканьем» малоросским не справилась власть; «х-экал» Стаднюк оглушительно, по-прежнему. В этом, впрочем, некоторые подхалимы находили свой особый шик.

Секретарша принесла на подносе два стакана крепкого чая с лимоном и вазочку с печеньем. Стаднюк мочил печенье в чае, внимательно слушал. Говорил Игорь убежденно, без фальшивых интонаций и ложного пафоса. Из его слов выходило, что история скверная, иначе не охарактеризуешь, это «звонок»; если сейчас не принять действенных мер, то дело может дойти до того, что не Черную придется закрывать, а сам факультет. Не сочтите за панику, Петр Петрович! Это трезвая оценка сложившейся ситуации.

«Закреть факультет!» На секунду Стаднюку стало дурно, не хватало воздуха, капли пота заблестели в глубоких морщинах лба. Парень явно перехватил. Стаднюк закричал, напрягся: зачем? — зачем? — зачем?

Ответ пришел сам собой, и отпустило.

— Короче говоря, ослабили идеологическую работу, — подытожил Игорь.

Не отрывая стакана от губ, Стаднюк мотнул головой. Соображал так: этот не даст распоясаться.

— Ну, а что комсомол?

— Комсомол? Так ведь студенты сами предложили — насчет лестницы. На бюро комсомола Люся Ильинская...

— Та-а-к... — протянул Стаднюк. — Значит, комсомолия первая затрубила об опасности? — в его глазах затеплилось понимание.

— Совершенно верно, Петр Петрович! — подтвердил Игорь, всей душой устремляясь навстречу этому спокойному рассудительному человеку. — Комсомолия проявила бдительность.

Стаднюк любил слово «бдительность» с молодых ногтей и улыбнулся слову, как старому другу.

— Чай пейте: остынет.

— Спасибо! Я пью.

А еще совсем недавно, может быть, всего час назад, замышлялся ему здесь разнос. «Впрочем, — мелькнуло у Игоря, — у страха глаза велики. Замышлялся ли?»

— Ну вот, теперь обстановка мне у вас более-менее понятна, — сказал Стаднюк и заговорил о том, что партия испытывает настоятельную потребность в молодых энергичных и преданных людях, которые по своим качествам отвечали бы уровню новых требований... Постепенно становилось ясно, что Стаднюк непрочь избрать Игоря парторгом факультета на надвигающихся перевыборах, учитывая опыт его работы как члена бюро.

— Вы были правы, — похвалил его Стаднюк в заключение, гримасничая и передергиваясь: жуя лимон, — обостряя вопрос. Это отвечает духу времени. Идеологическая борьба на современном этапе разгорается с новой силой — вот ведь кислятина какая! А я, вы знаете, люблю, — впрочем, это вы представляете куда лучше меня, — спохватился он, бросив лимонную корку в пустой стакан; затем помедлив: — Сложность состоит в том, чтобы не изменить принципиальности в борьбе за подъем жизненного уровня. Покупая за границей бюстгальтеры, — («бюстхальтеры», — выдохнул Стаднюк свое глубинное заветное «х»), — и всякую там парфюмерию, мы сами поощряем потребительское отношение к жизни, против которого же и воюем... Или взять погоню за экономической выгодой. К чему это приводит в некоторых случаях (сакраментальное словечко: в некоторых)? На улицах Москвы и Ленинграда разгуливают целые орды интуристов... а сколько среди них диверсантов? провокаторов, подосланных с целью разложить нестойких людей? Часто ли мы задаем себе этот вопрос? Нет, но зато мы потакаем бухгалтерам, подсчитывающим выручку... А зачем, скажите мне, нам нужны будут эти доллары, если нас ограбят духовно? Ситуация достаточно сложна. Но я лично, Игорь Михайлович, верю в нашу молодежь. У нас растет замечательная смена. Я знаю Люсю Ильинскую и мно-

гих других, — сдержанным, глуховатым голосом говорил Стаднюк, — это славные ребята. Опирайтесь на них! И они всегда помогут, как помогли в этот раз. Так что насчет закрытия факультета — это зря. Нет у нас ни малейшего основания... да, и представьте себе, — он понизил голос, — дошло бы это до ректора... ни вам, ни кому другому это не нужно. Сами понимаете! Вот... ну, а что касается лестницы, из-за которой весь сыр-бор загорелся, и Сперанского, — он усмехнулся не слишком почтительно, — чуть кондрашка не хватила, так почему бы ее в самом деле... Знаете, сделайте ремонт! Пусть ее побелят, покрасят, а то она у вас какая-то действительно слишком темная, грязная — раздолье для всяких негодяев. А средства на ремонт... ну, в общем, закройте, а потом о средствах мы подумаем.

Стаднюк протянул Игорю руку, усмехнулся чему-то своему и, переходя на чистосердечное товарищеское «ты», сказал:

— Видел мою секретаршу? В брюках заявила! А ведь не девчонка какая-нибудь: сыну пятнадцать лет. Ну, вот ты — человек молодой — ты как? За или против брючных женщин?

Без труда угадывая отношение Стаднюка к данному вопросу, Игорь разразился изящной инвективой по поводу маскулинизации женщин.

— Заставлю ее снять! — рассмеялся Стаднюк, утверждаясь в собственном мнении.

Телефон был занят. Преподавательница немецкого терпеливо, с повтором, объясняла, наверное, младшему сыну, что и как подогреть себе на обед. «Только сковородку не сожги», — умоляла она. Игорь охотно ждал, не без удовольствия вспоминая подробности разговора со Стаднюком. Наденька отступала на второй план, хотя ему все не терпелось поделиться с ней своей радостью... Неожиданно вошел Сперанский. Как же не шла эта фамилия — олицетворение надежды на обновление, на перемену российской государственности — к нашему современнику-однофамильцу, к тяжелому обрюзглому лицу со складками черепашьей кожи, повисшей под подбородком, к бессильным рукам с короткими толстыми пальцами! Говорили, что когда-то он был недурен собой и пользовался успехом у женщин. Возможно, но сейчас, глядя на него, с трудом в это верилось. Правда, если уж совсем внимательно присмотреться к его лицу, то можно еще отыскать следы былой молодцеватости; осо-

бенной жизнью жили его глаза: подвижные, умные даже. Ему нельзя было отказать в недюжинной эрудиции, которая до сих пор могла покорить собеседника, но он давно уже жил на старые накопления. Сперанский особенно сдал за последние два года в борьбе с целым сонмом как всегда неведомо откуда налетевших болезней. Его мучили головокружения, тошнота, острые боли в сердце, порождавшие приступы тяжелой апатии. Он почему-то панически боялся паралича и часто по ночам просыпался в холодном поту: ему снилось, что его парализовало. Но еще больше паралича он боялся начальства, это был какой-то зоологический страх, до темноты в глазах, и, казалось, что этот страх будет преследовать его даже на смертном одре, так что если кому-нибудь захочется тогда его спасти, имея в виду, что медицина уже откажется от него, то пусть он только пригласит какое-нибудь очень высокое начальство и пусть начальство, соизволив придти, скажет с явным неудовольствием в голосе: «Как же вам не стыдно, товарищ Сперанский умирать-то, а?» Сперанский воскреснет, как Лазарь! Однако страх за страх: Сперанский требовал, чтобы его так же боялись подчиненные. Еще с порога увидев Игоря, Сперанский решительно направился к нему. Немногочисленные коллеги не помешали их разговору.

— Декан счел нужным проинформировать меня о вашем разговоре в парткоме, Игорь Михайлович.

Игоря приятно поразил стремительный темп работы секретаря парткома: уже и декан в курсе дела! — но сейчас, опасаясь неожиданного нападения со стороны Сперанского, он, естественно, меньше всего был склонен к ликованию. Сперанский помедлил; он прекрасно понимал свою оплошность: потерял инициативу, приняв ответственность за дело Евдокимова и не отпаснув ее кому-нибудь стремительным швырком. Оплошность — при учете количества врагов, которые висели на нем невидимыми гроздьями, — грозила стать роковой: вывести его на мель, выбросить в безбликой перспективе на пенсию, а как еще хотелось ему полизать тот сладчайший мед, который приносит власть над юными существами! Еще немножечко полизать! У него были свои маленькие старческие удовольствия: любил он, например, принимать экзамены с глаз на глаз в своем полутемном кабинете у робких студенточек, нервно кусающих кончик носового платка, и гонять их! гонять на карачках по всему курсу, возбужденно похрюкивая при неверных ответах!.. Жесткие

глаза Сперанского смотрели сквозь стекла очков на Игоря, не мигая: как извернулся этот молокосос? Он не подумал о существовании заветного дяди из расписного терема и полагал, что Стаднюк попросту «перестраховался».

— Вы, очевидно, неправильно меня поняли, — произнес Сперанский, раздвигая рот и щеки в затверженной улыбке, — но я в любом случае готов принести вам мои извинения.

«Вот из-за этой старой обезьяны я мог здорово сорваться», — внутренне содрогнулся Игорь.

— Я ведь только хотел, как лучше... — сказал он.

Горячо над ухом залился звонок.

Так тестю и не доложил.

Но как хочется, ни с кем не делаясь, быть хозином столь ощутимой победы!

Он вошел в аудиторию — и сразу грянуло: ПРИШЛА! Чувствуя — пришла! — ее — пришла! — взгляд: НАКОНЕЦ-ТО! И — от восторга свихнуться можно: целый вечер впереди: вместе, вдвоем, никто не помешает, им; я замучаю тебя сегодня до смерти, будешь молить о пощаде — не дам! Ты меня сама лучше замучай... Шум отодвигаемых, придвигаемых стульев: расшаркались! садитесь! — и твое приветливое личико в просвете меж прыщавых физиономий, нескладно намалеванных лиц; хоронишься от света, улыбку прячешь, но глаза выдают, а они еще чернее, еще больше после болезни...

— Ты куда, чудо-юдо, исчезла?

— Болела.

— Разве можно так долго болеть?

— У меня ангина была... Эта такая противная вещь. — Со смешком: — Мороженого переела... Скучал?

— Очень, Надюш, скучал! Слушай, не откладывая, в шесть у «Ремонта», хорошо?

— Ага... только у меня сегодня мама вечером дома.

— Зато у меня — никого!

— Никого?.. А где же твоя?

— В Крыму, до середины июня! Здорово?

Мы сегодня поедem ко мне: первый раз за все наше знакомство! Завтра тоже, и каждый день... Я кончаю в семнадцать сорок пять... значит, в шесть у мастерской кожгалантерейных инвалидов? У меня потрясающие новости. Я тебе все расскажу: как Сперанский жаловался и как прощения

просил. На коленях! Надюшка, я победил!.. Староста, где журнал?

Шел один из последних семинаров перед сессией. Целый год обучал Игорь, как нужно думать. Теперь требовал знания того, как думать не нужно. Студенты — известные критиканы. Главное — объяснить им, кого критиковать. Ребята сориентировались правильно. На глазах у Игоря разыгрывалось ледяное побоище: философствующие адвокаты старого мира бежали, бросая картонные щиты и деревянные секиры. Они теряли очки, спотыкались, разбивали в кровь носы, проваливались под лед, глупо фыркали, как моржи, и уморительным образом тонули, пуча глаза и пуская пузыри. Группа была сильная, подкованная.

— Пусть им не хватает порой глубины, пусть еще наивны некоторые их реплики, но зато молодой задор, убежденность!..

— Одержимость! В лучшем смысле этого слова, — вернул другой член авторитетной комиссии.

— Это замечательно! — закончила дама, потряхнув мелкими кудряшками прически.

— Да-да, — убежденно поддакнул ей Игорь, подумав: дура! Он не тешил себя иллюзиями. Левая опасность тотального ниспровержения гораздо сильнее правой из-за простодушной студенческой веры в то, что лобовая атака ведет к «пятерке».

Лентяи!

Игорь приостановил мордобитие — сколько рук тянулось в воздух, чтоб вдарить!

— Нельзя делать из них... э-э простачков. Они сильнее, коварнее.

Но: лениво, нехотя. Не тянуло лаяться.

На эстраде возник Топорков. Игорь поручил ему в прошлый раз подготовить доклад о Фрейде. Игорь считал фрейдизм поживее всего остального. Хотелось заинтересовать аудиторию. Топорков не то самбист, не то боксер. Здоровенный детина с агрессивно выпирающей нижней челюстью. Челюсть задвигалась: Топорков забубнил о вреде реакционности, ошибочности... Однако не минуло и пяти минут как он стал выдыхаться. Его вопрошающий взгляд с тоской бродил по ногам девиц, забирался под короткие юбки.

— Нельзя ли конкретнее? — тормозил Игорь самбиста.

— Куда конкретнее... — недоумевал Топорков, заполняя взглядом все выше и выше по ноге девицы с первого

ряда, которая сидела вполне провокационно.

— Вы можете что-нибудь добавить? — спросил ее Игорь с тем, чтобы она одернула юбку.

Она встала, растерянно моргая.

— Слушать надо, — вяло напомнил ей Игорь. Размечталась, аж ноги разошлись... Теперь, говорят, и четырнадцатилетние дают... Скорей бы промчался день! Отбарабанить, схватить Надьку под мышку и — домой! — Игорь взглянул на нее. — А если узнают? Обо всем? И тесть тоже... — в глазах запрыгало ее лицо. — Не узнают! Надька — замечательный конспиратор; это она умеет... К ней многие пристают. И этот болван тоже. Он, небось, силен в постели: с четырьмя зараз сладит. Ну, и что? И я слажу... Он ведь медведь, кости переломает, а женщинам такие как раз и нравятся. А ведь с четырнадцатилетними можно под суд попасть... САМОЕ СТРАШНОЕ — ЭТО РОДИТЕЛИ.

— Ну, и что ж вы воду льете? — возмущился Игорь. — Вы что-нибудь самого Фрейда читали?

— Читал, — поспешно заверил его Топорков.

— Ну, вот и рассказывайте.

А если все-таки узнают?

ПЕРЕСТРЕЛЯЮ.

А было так: в институтском общежитии усилили воспитательную работу — пришел новый директор с крутым нравом. С тех пор засвирипствовали студенческие оперотряды; они наводили на всех страх, особенно заботясь о нравственной стороне воспитания ровесников. Обладая запасными ключами, они врываются в комнату, предварительно выследив уединившуюся там парочку, и заставляли ее на месте преступления, барахтающуюся в казенной кровати. Любили они врваться с шумом, чуть ли не с улюлюканьем. Случалось, брали фотоаппарат со вспышкой и тут же снимали перепуганных, оглушенных любовников, наспех чем попало прикрывших свою срамоту. Иногда посмотреть приходил сам директор. Оперотрядники работали слаженно, четко; количество разоблаченных парочек росло... Однажды одна студентка привела к себе «черного». Сердца «ловцов человек» забились в упоении: не каждый день такое случается! Черно-белую пару разоблачили в момент наивысших стений и восторгов (один подслушивал у двери) и ворвались с гиком, как полагается, но повеселиться не удалось: негр, не пряча в горсть свой негритянский срам, вдруг стал драться и основательно измордовал всех четырех членов команды;

двоих доставили в больницу... Историю не удалось замолчать. Ректор опасаясь международного скандала, незаметно прогнал директора общаги. Оперотрядникам же было приказано сконцентрировать свои усилия на борьбе с пьянством и фарцой.

Скоро после этого случая Игорь был у Наденьки дома на Ленинградском шоссе, и почудилось ему вдруг, что кто-то в двери поворачивает ключ. Они с Наденькой нервно прислушались, замерев, Тишина. И, поколебавшись немного, вновь окунулись в блаженство. Но когда — уже после — осмотрелись, — то увидели: над ними стояли оперотрядники. И сколько их! Целая толпа!

Оперотрядники загоготали:

— Попались, Игорь Михайлович!

— Игорь Михайлович, к лицу ль вам это?

Что-то подсказало Игорю сунуть руку под кровать. Он вынул оттуда мрачно блеснувший стволом автомат Калашникова и, ничуть не удивившись оружию, стал сейчас же расстреливать незваных пришельцев в упор, так что пули разрывали тела на куски. Поднялись страшные вопли; оперотрядники бросились вон, да дверь предательски не поддавалась, заклинило ее, и Игорь добил последнего, уже не улюлюкающего, а катающегося по полу, защищая руками лицо, и молящего о пощаде. В ушах звенело, воняло порохом... Он оглянулся на Наденьку: она сидела, завернувшись в простыню, на кровати, усыпанная пустыми гильзами, крепко-накрепко сжав уши руками, с косою нехорошей улыбкой-grimасой. Он хотел сказать: «Так им и надо», но вместо того заорал: «Что с тобой?!» Она промолвила: «Ты в меня тоже попал...» — и разжала уши. Из них фонтанчиком брызнула яркая девичья кровушка...

— Ну, ладно, хватит. Садитесь, — сказал Игорь. — Плохо.

Он высмеял Топоркова за доклад, а затем не спеша, с профессиональной сноровкой уложил отца психоанализа на обе лопатки.

Стрелки часов, как всегда, прилипали к циферблату; в задних рядах переговаривались, читали постороннее. Надька ковырялась в каких-то тетрадках... Игорь разгуливал вдоль рядов, раздумывая о своем, и говорил об идеологах одного, некогда модного, направления, по инерции еще выдающегося у нас за новинку.

— Они стремятся запугать людей смертью и тем самым

отвлечь их от борьбы за прогресс, за социальное равенство... Но это атмосфера искусственной, нарочито созданной паники. Ну, кто из нормальных людей, скажите мне, — обратился Игорь к аудитории, и на его лице появилась небрежная усмешка, — боится смерти? Я — нет! Может быть, вы?

Он опять поднял девицу с первого ряда.

— Что вы! — хихикнула девица. Аудитория оживилась: смерти, вроде бы, никто не боялся. Игорь собрался уже переходить к следующему пункту, когда заметил, что Наденька подняла руку.

— Вы что-то хотите сказать? — спросил Игорь не без удивления: не в ее стиле было тянуть руку на его семинаре.

— Я хочу сказать, — Наденька встала: она была высокой, статной, — я хочу сказать, что я боюсь смерти.

Все повернулись в ее сторону с интересом.

— Не понимаю, — опешил Игорь.

— Это очень просто! — воскликнула она, взволнованно улыбаясь. — Живешь себе, живешь, и вдруг: бац! — смерть. Дырка. Пустая дырка. И если подумать об этом более серьезно и более непосредственно, так о прогрессе и позабыть можно... Ведь правда же?

Кто-то подбадривающе гмыкнул. Игорь почувствовал, как кровь прилила к лицу. Удар был слишком неожиданным... С ума сошла девка!

— Я не понимаю, — повторил Игорь тверже, не глядя на Надю по распространенной среди людей привычке не смотреть в лицо человеку, с которым споришь неприязненно, — не понимаю, как подобные мысли могут придти в голову... особенно женщине? А дети? Мы ведь оставляем после себя детей. И наконец, главное: мы оставляем потомкам творения нашего ума и наших рук.

— Ну, и что толку, что оставляем? Потомки... да они нас презирать будут, скажут: вот дураки, сами по-человечески не жили, ради нас вкалывали... или вообще думать не захотят о нас: часто мы, что ли, вспоминаем предков?

Студенческие физиономии расплылись в улыбки.

— Значит, после нас — хоть потоп? По этому принципу мы должны жить, если я верно вас понял?

Неизвестно, чем бы закончился этот столь не свойственный семинарским занятиям диалог, если бы Топорков, с самого начала воспринимающий его как Надькину хохму (она умела потешать приятелей, особенно на «гробе») и энергично ей подмигивающий, не положил этому конец, зашеп-

тав горячим вдохновенным шепотом на всю аудиторию:

— Гляньте, братцы, что голуби-то на карнизе делают! Совокупляются!

Все, конечно, — в окно смотреть! И верно...

Голуби в панике шарахнулись с карниза.

— Видно, прав был грузинский философ, — глубоко-мысленным тоном изрек Топорков, провожая птиц взглядом, — сказавший однажды, что эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете. Любовь побеждает смерть!

Аудитория грохнула. Сквозь хохот едва был слышен звонок на перерыв. Надька смеялась больше всех...

— Топорков! — угрожающе крикнул Игорь. — Вы, кажется, совсем забыли, где вы находитесь!

У него был строгий, недовольный вид. Надька испортила встречу: зачем?

Он дождался, когда все вышли, копясь для отвода глаз в бумагах и, едва сдерживаясь, бросил:

— Ты зачем меня ставишь в идиотское положение?

— В идиотское положение? — удивилась Наденька, поближе подходя к столу. — Но я, правда, так думаю.

— Ну, мало ли что кто думает! Если все говорить, что думаешь, то не семинар выйдет, а черт знает что!.. Не могла подождать? — укорил он ее.

— Не могла... — но думала о другом: — Слушай, за что все-таки выгнали Евдокимова?

Евдокимова! Он знал, что спросит, полюбопытствует, и сам бы охотно рассказал, но не мог перестать сердиться:

— Зря не выгоняют. Значит, так надо было.

— К о м у надо?

— Мне! — огрызнулся Игорь. — Это долгий разговор, — он нетерпеливо передернул плечами. — Ты знаешь: нарисовал этот Евдокимов похабную карикатуру на декана...

— Который ее заслуживал? Ну, скажи, нет! Ты ведь сам его терпеть не можешь.

Игорь невольно оглянулся на дверь.

— Я — другое дело, — сказал он кисло. — Не вали, пожалуйста, всех в одну кучу... и вообще: кто он тебе — Евдокимов? Брат, что ли? Вел он себя в высшей степени трусливо, сначала отнекивался, отрицал авторство и только тогда признался, когда доказательствами к стене приперли. Нет, уж коли нарисовал, так хоть имей мужество признаться. Держись с достоинством, а то: не я... не я... Дерьмо!

— Игорь! — с болью вскрикнула Наденька. — Нельзя ж так. Если ты против кого — я уже замечала не раз, — так он сразу у тебя: дерьмо!

— Надя, ты неправа! — в его голове зазвучало ничем неприкрытое раздражение.

— Зато ты всегда прав.

— У вас здесь будут занятия? — в дверь просунулась бородатая физиономия, жующая коржик.

— Нет-нет! — Игорь быстрым шагом вышел из аудитории. «Пора кончатъ», — вдруг трезво, холодно подумалось ему.

Сам виноват!

Игорь не шел — летел по коридору, стремительно, в никуда.

Ведь слово себе давал: никаких нюансов! На стороне, мимолетное, случайное — да ради бога! Но в институте, и четыре месяца! Идиот! Кретин! Шею себе свернешь — на радость сперанским.. И куда она лезет? Евдокимов! Подумаешь, тоже мне героя нашла...

— Игорь Михайлович!

За рукав его дергала, не сознавая фамильярности своего жеста, уборщица, старая тетка, с усталым брезгливым лицом и серебрянными серьгами в ушах, похожими на массивные кольца, которые носят добродетельные семьянины.

— Что, Игорь Михайлович, Черную лестницу закрываете?

— А в чем дело? — насторожился Игорь, ожидая почему-то недовольства, но видя, что ошибся и что татарка растерялась, услышав стальные нотки в его голосе, он помячал:

— Да, вот закроем на какое-то время.

— И очень правильно! Грязи меньше будет, — закивала татарка, и сквозь густую паутину морщин забрезжила блеклая улыбка.

— Вот именно: меньше грязи! — подтвердил Игорь.

Народ! Он всегда поймет правильно и поддержит! — Эта мысль придавала ему силы и освежила уверенность в своей правоте.

Но ненадолго.

Чем ближе приближался вечер, тем все более беспокойно чувствовал себя Игорь. С Надькой он так и не договорился, а ему было что ей сказать. Хотелось решительно объясниться: или она будет мешать ему, как сегодня... Да,

конечно, за наши встречи я наговорил ей много лишнего, на свою голову, но мне ничего не стоит с ней порвать, хорошего понемножку. Да я просто порву с ней для того, чтобы доказать себе, что я могу с ней порвать!

Кого он хотел обмануть?

Шли занятия, на которых Игорь изнывал от привычной тоски, мучительно заставляя себя хотя бы изредка прислушиваться к ответам студентов, повторяющих с большим или меньшим успехом азбучные истины вялыми бесцветными голосами. Вот таким же голосом Танька жалуется мне на Колькину неугомонность или на мое же наплевательское к ней отношение.

С самого начала неправдоподобное «порвать с Надькой!» сменялось на более снисходительное и реальное «объясниться!», ну, и это «объясниться!» скоро стало превращаться лишь в повод, в жалкий, наскоро выдуманный повод для того, чтобы спасти столь легко ранимое мужское самолюбие, и хотелось, конечно, не объясняться, а увидеться, поговорить, посмеяться, обнять Надюшку и не выпускать из рук...

Он искал бы с ней немедленной встречи в Институте, но для этого требовалось с ней предварительно условиться: не хватать же ее за рукав на глазах у всех в коридоре?

Однако, в конце концов он не выдержал и рискнул: разыскивал в расписании, где у нее следующая лекция и направился туда к концу перерыва на перехват. У двери аудитории столпилась масса студентов: лекция читалась для всего четвертого курса, но, как и следовало ожидать по закону всемирной подлости, Надьки среди них не оказалось. Наверное, уже прошла внутрь. Тем не менее, Игорь проторчал у двери до самого звонка и уже собирался уходить — коридор быстро пустел — когда увидел Надьку, идущую рядом с Медведевым. Медведев как раз и должен был сейчас прочитать лекцию надькиному курсу. Это был мужчина чуть постарше Игоря, тридцати семи лет, подтянутый, щегольски одетый; доктор наук, недавно съездивший в Канаду на полгода. Он чуть косил, но свой дефект искусно скрывал под большими дымчатыми стеклами очков в модной оправе. Медведев что-то оживленно рассказывал Надьке; та улыбалась. Поравнявшись с Игорем, Медведев остановился, а Надька проскользнула в аудиторию, обогнув Игоря, как манекен.

— Ты меня ждешь? — спросил Медведев, пожимая Игорю руку.

— Да нет, я просто так... стою, — не нашелся что соврать Игорь.

— Вот это девка! — восхищенно кивнул на дверь Медведев. — Почтище любой канадки...

— Ты ей что, про Канаду что-нибудь заливал?

— Ага, — рассмеялся Медведев, — я всем бабам сейчас прокручиваю эту пластинку!.. Слушай, какая у нее попка, а? Просто произведение искусства. Знаешь, я не люблю женщин с грушеобразными туловищами, необъятными задами... Вай-вай-вай, какая попка! Эх, старик, — зажмурился он, — я догадываюсь, какая нежная кожа должна быть у нее на животике!..

— Ну-ну, не заводись, — по-дружески посоветовал ему Игорь.

Медведев взялся за ручку двери.

— И ты представляешь, — прибавил он с видимым удивлением, — она неглупа... по крайней мере, для женщины... Да, мои поздравления! — воскликнул Медведев, — мне говорили, что ты откусил Сперанскому голову!

— Знаешь, это такая г и д р а... — шутливо поморщился Игорь.

Медведев расхохотался:

— Ну, что верно, то верно!..

Медведев, понятно, только подлил больше масла в огонь. Это была ее последняя лекция, которая заканчивалась в четыре-десять, а он мог освободиться, как всегда по понедельникам, только без пятнадцати шесть, и если она его не подождет где-нибудь в библиотеке, как обычно, а уедет домой, в бестелефонную свою квартиру, то впереди у него пустой нищенский вечер: с тестем посидеть рядышком у разноцветного телевизора... На последнем семинаре только об этом и думал: подождет — не подождет? Даже решил загадать, если Парюгин не подготовит своего доклада по Фрейду, то — не подождет. Шансов было мало. На Парюгина еще труднее надеяться, чем на самбиста. Он слыл одним из заводил на Черной лестнице и дружил с Евдокимовым. Игоря он постоянно возмущал своим значком, привинченным к полосатому свитеру, с надписью: «Освобожден от рукопожатия». Игорь считал этот значок выражением высокомерия и хамства — одновременно. Парюгин доклада не подготовил, и долго сдерживавшийся Игорь рассер-

дился не на шутку. Он раскричался на всю аудиторию, что не допустит Парюгина до экзамена, что таким, как он, нечего делать в Институте и что не к лицу комсомольцу таскать дурацкие значки. С невинной мордой Парюгин принялся возражать, что этот значок как раз «очень комсомольский», что его носили комсомольцы двадцатых годов и что он выражает справедливые гигиенические требования как своего, так и нашего времени.

— Это не гигиена, а чистоплюйство! — рявкнул взбешенный Игорь так, что даже улыбки исчезли с лиц студентов, и вечный, непрекращающийся шепоток на задних рядах стих. Игорь наставил тогда много «двоек», пообещав пожаловаться на группу в деканат и ушел со звонком, даже не попрощавшись. День тяжелый: понедельник, — решили студенты.

Игорь вышел на улицу, сел в «жигули» — кому пришло в голову назвать машину множественным числом?! — и поехал без большой надежды к «Ремонту сумок». Было без пяти шесть...

Наденька стояла у кромки тротуара... и от сердца тотчас отлегло, и позабылись парюгины, и ничего он не чувствовал, кроме благодарности за то, что пришла.

Он, конечно, и вида не подал. Сидел, насупившись. Она села рядышком и примирительно улыбнулась:

— Ну, не будь филином!

— Я не филин, — буркнул он.

— Филин!.. И ты, правда, не боишься смерти? — спросила она, заглядывая ему в лицо.

— У меня, собственно, нет времени ее бояться, — пожал он плечами, с нарочитой сосредоточенностью наблюдая в зеркальце за идущими сзади машинами. Улица была узкой, но очень оживленной, особенно в часы пик. Никак не удавалось отъехать от тротуара.

— Я знала, что ты так ответишь! — воскликнула Наденька. — Ты все спешишь, спешишь...

Он нажал на газ, быстро отпуская педаль сцепления; чертыхнулся, выехал. Теперь они плыли в общем потоке среди отяжелевших от пассажиров автобусов, нахальных такси и робких частных, боящихся ободратся.

— Кто не спешит, ответил бы тебе герой какого-нибудь второсортного боевика, тот остается сзади. И он, представь себе, оказался бы прав... Вон, ты посмотри, — Игорь провел пальцем слева направо через все ветровое стекло, — сколь-

ко их там, на тротуарах, в магазинах, в квартирах, в автобусах! И все они спешат, лаются в очередях, несутся как угорелые, проглатывают куски, не жуя... Это инстинкт: успеть, не пропустить, взять от жизни больше других.

— Но это страшно! Я иногда смотрю в метро, в час пик, как врывается на станцию из туннеля поезд, вагоны набиты людьми, нафаршированы буквально ими, и в каждом из вагонов люди подняли вверх кулаки, обхватив длинную рейку над сиденьями, и вот эти сотни кулаков кажутся массовым проклятием и угрозой кому-то за то, что люди давятся в роскошном чертовом подземелье каждый день ради чего? ради мало-мало сносной жизни... и я вхожу, втискиваюсь! — в вагон, и тоже поднимаю кулак...

— Вот этого не нужно делать, — быстро и убежденно заговорил Игорь. — Это бесполезно. Пусть они ездят всю жизнь с поднятыми кулаками, бог с ними, они ни черта не изменят. Их только со временем народится еще больше. Не нужно им уподобляться. Нужно, наоборот, найти верный способ оторваться от них и бежать впереди... бежать одному легче, чем в толпе, где скалят зубы и подставляют друг другу подножки.

— Ты вот очень сильный человек, — с грустью сказала Наденька. — В тебе есть какая-то необыкновенная сила... она засасывает, завораживает... и я не могу ей сопротивляться, сдаюсь. Нет, правда! — воскликнула она горячо, видя его протестующий жест.

— Нет, неправда! Если бы я был действительно сильным человеком, я бы... не приехал за тобой сегодня к «Ремонту».

— Я бы тоже не пришла... — если бы у меня нашлось больше силы воли.

— Значит?

— Значит: да здравствует слабость!

Игорь наклонился к Наденьке и легко поцеловал ее в щеку.

— Ты говоришь ужасные вещи, — сказал он тихо, — но я с ними соглашаюсь на один вечерок, ради тебя, при условии, что это станет нашей самой великой тайной.

— Нет-нет, никаких тайн! — засмеялась Наденька. — Я сейчас же тебя продам, первому попавшемуся милиционеру!

Так ехали они через город, на который опускался прохладный вечер с болезненно-ярким закатом, чей свет иска-

жал до неузнаваемости знакомые с давних пор дома и улицы.

Москва! Москва! Вот и тебе, знать, приходит давно обещанная пора подернуться легким слоем жирка, как подергиваются лужи неверным ноябрьским ледком: хватит, набегалась в оборванцах, в беспризорницах, отмаршировала свое на «динамовских» парадах — другое время идет! Отведут тебя к модному портному, к парикмахеру-франту, «освежат» одеколончиком и ты еще щегольнешь в своем лисьем воротнике. Но удел твой пока таков: карикатуриться в перебродной поре! В душном ульи ГУМа давимся мы за махровыми полотенцами и на лбах наморщен один вопрос: хватит ли?

Девушка, отпускайте по три!

По два! по два!

ПО ОДНОМУ! — и отходим с полотенцем, счастливые, словно первенец родился: домохозяйки, интеллигенты, дворничихи, милиционеры, спекулянты... А в гостях нас потчуют шотландским виски из «Елисеевского», и мы, представьте себе, — ничего; мы посасываем его, европейцы с татарскими скулами, этак запросто! По «Детским мирам», ошалев от столичной бестолочи, шарят мешочницы в сатине и телогрейках, из деревень, где еще крепко помнят про голод, да и Москва все твердит по-старинке: «Лишь бы не было войны!», оправдываясь за свою арбатскую бедность, воспетую поэтами, за свой черемушкинский «наспех», и, чуть что, кричит развязным голосом торговли: «Зажрались!», но по улицам, высветленным неонами, уже бегают юркие «жигули», и Москва готовится втайне к тому, чтобы все мы сели за рули «жигулей», нахохлились и отчалили... каждый по своим делишкам.

— У тебя новый плащ... — прервала молчание Наденька.

— Нравится?

— Красивый, и цвет красивый: кремовый.

— Итальянский.

— Из какой-нибудь сексекции ГУМа?

— Из нее, — усмехнулся он.

Наденька пощупала материал, одобрительно кивнула головой и неожиданно вздохнула, украдкой бросив на Игоря взгляд:

— А знаешь, все-таки жаль Евдокимова.

— Жаль, — согласился Игорь, — но он сам виноват. Я не разделяю философии самоубийц.

— Почему — самоубийц?

— А потому, что это самое натуральное самоубийство. У декана никто все равно «профессора» не отобрал и не отберет — хоть сто карикатур рисуй! — а Евдокимов крепко получил по мозгам, что и следовало ожидать с самого начала. Так какой же смысл в его поступке? Он хотел сохранить инкогнито? Допустим. Он действительно стал сначала запираяться, но ведь все на факультете знали, что только он рисует. У нас не Строгановка! Его ничего не стоило разоблачить. Нет, ты пойми, я вовсе не против борьбы, споров, даже вполне вульгарных драк, и готов в них участвовать, но надо знать, во имя чего ты дерешься. Евдокимов знал? Я не думаю: нарисовал он просто по дурости, повеселить дружков, похохмить, прославиться... И потом: все-таки следует быть более разборчивым в средствах. А то, видите ли, идет декан и нюхает свое дерьмо в ночном горшке. Это же просто омерзительно! И это называется «борьбой за справедливость!» Во всяком случае, он так считает. Его спросили: «Вы расквашиваетесь?», предварительно объяснив, что к чему. Куда там! Он борец! Он мученик! Сначала струсил, а потом решил вдруг понести крест: «Я бы снова нарисовал!» Скажите, пожалуйста! Ну, рисуй, милый, рисуй! А то, что из-за этой глупости, чепухи, о которой послезавтра все позабудут, он себе, может быть, всю жизнь испортил — этого он не понимает, на это ума не хватило! Кто он без диплома? без образования? Кому он нужен? Круглый ноль!

— В твоих словах есть своя логика, — подумав, произнесла Наденька, — но все-таки Евдокимов дискредитировал декана, и это немало.

— Его уже не однажды дискредитировали, — безнадежно махнул рукой Игорь.

— А помочь как-нибудь нельзя?

— Кому? Декану? — усмехнулся Игорь.

— Да нет, Евдокимову!

Игорь решительно покачал головой.

— Вот это-то меня и угнетает, — призналась Наденька, — Знаешь, он, говорят, живет в ужасных условиях. В коммуналке, в одной узкой отвратительной комнате, вместе с родителями, с сестрой.

— Я слышал, что он живет несладко, — перебил ее Игорь, — но тогда мне тем более непонятно, зачем он это сделал. Ты пойми, во все времена одни люди жили хорошо, а другие — плохо. Все одинаково хорошо жить не могут. Уравниловка — это больная фантазия вот таких безграмот-

ных утопистов, как Евдокимов, который считает при этом, явно противореча себе и не замечая своего противоречия, как последний школьник, что каждому человеку нужно воздать по заслугам.

— Конечно, по заслугам! Это правильно.

— Может быть, это и правильно, но где ты найдешь коллегия мудрецов, которые бы нашли удовлетворяющие всех критерии... Нет, нет, это сущий бред!

— Зачем же искать мудрецов? Достаточно порядочных людей.

— Порядочных людей?.. Это что за неклассовое понятие: порядочные люди? — весело спросил Игорь и рассмехался.

— Да ну, хватит тебе! Это не семинар! — отмахнулась от него Наденька.

— Слушай, Надька, ты мне лучше вот что скажи: у меня, правда, очень скучно на семинарах?

— А, хочешь знать правду?.. Ужасно! Но, я думаю, тебе не стоит переживать: в этом, в общем, виноват не ты, а сама философия... Это страшная скучища; кому она только нужна?

— Если серьезно — то ведь нужно же какими-то общими принципами руководствоваться в жизни.

— Ну, не знаю, может быть... Но, во всяком случае, Топорков сегодня всех здорово повеселил. «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете, — произнесла она, стараясь подражать акценту ширококопечных грузин из цветочного павильона Центрального рынка.

Игорь фыркнул:

— Топорков — болван!

— Это точно, — подтвердила Наденька, — но он болван с чувством юмора, за что ему многое прощается, потому что чувство юмора у нас — большая редкость. Просто мы привыкли ценить только людей серьезных, важных и невероятно правильных. — Наденька скорчила кислую мину. — Нужно воспитывать у трудящихся чувство юмора! Вот в Канаде, например...

— Так то в Канаде! — иронически-почтительно произнес Игорь, стукнув ладонью по рулю. — Да еще не просто в Канаде, а в Канаде, в которой побывал мистер Мэдвэдэфф. Это особая страна, где одни молочные реки с кисельными берегами, и в этих реках купаются легко доступные голые женщины на любой вкус.

Наденька рассмеялась.

— А ты думаешь, там одни истощенные голодом безработные? — спросила она.

— Безработных, во всяком случае, хватает... Да, кстати, а каким образом ты очутилась вместе с Медведевым?

— Случайно встретила в коридоре... А что?

— Да ничего, — невольно помрачнел Игорь, вспомнив, как жмурился Медведев, смакуя разговор о Наденьких прелестьях. — Ты с ним поосторожнее. Он вообще тип сомнительный.

— Почему?

— Черт его знает! Его довольно трудно раскусить, это крепкий орешек. Но мне кажется, что он не только физически, но и духовно косоглазый: одним глазом — нашим, другим — вашим. С ним можно влипнуть в грязную историю.

— А, по-моему, он просто бон-виван, которому на все наплевать. И в этом смысле он куда лучше всех этих старых маразматиков, вроде Сперанского, которые так перепугались после случая с Евдокимовым и так теперь хотят выслужиться перед облитым дерьмом «нашим любимым» деканом, что даже Черную лестницу собираются, я слышала, закрывать, чтобы «зараза» не расползлась.

— Может быть, они и правы, — сказал Игорь без излишней убежденности, краем глаза взглянув на Наденьку: нет, она ничего не знает. Собственно, он с самого начала подозревал, что Надька примет сторону Евдокимова. Ее к этому обязывал хотя бы темперамент. Что же касается его позиции, то она, если разобраться, была ничейной: интересы Евдокимова и декана оставались для него в равной степени безразличными. Он просто сыграл на закрытии лестницы и сорвал банк. Перед Наденькой ему хотелось похвастаться победой над Сперанским вовсе не вдаваясь в ее сущность, как личным достижением: я победил, порадуйся со мной, вот и все. Но сейчас он с удивлением ощутил, что эта победа за время, которое прошло после разговора в профессорской, утратила для него значительную часть своей привлекательности, она превратилась в малозначительное происшествие, по поводу которого радоваться было даже странно. «Да, человек быстро привыкает к победе, следы оставляют только поражения», — мелькнуло у Игоря.

— Что плохо в тебе, так это то, что ты ортодокс, — заявила Наденька. — Ты готов оправдывать любые дейст-

вия начальства, даже самые невероятные.

Брови Игоря сдвинулись.

— А знаешь, что в тебе хорошо?

— Что же?

— То, что ты ортодокс не по призванию, а по служебному положению... а это исправимо! — Наденька откинула назад голову и залилась смехом.

Игорь снисходительно улыбнулся. Никому другому в жизни бы не позволил он подобного рода высказываний, оборвал бы на первом слове, перестал бы здороваться, но для Наденьки он делал исключение за исключением и находил в этом какое-то тайное удовольствие. Наедине с ней он позволял себе роскошь не быть начеку.

— Просто я более ответственный человек, чем ты — нигилистка! — он вдруг набросился на нее и ущипнул за ухо. Машина круто вильнула в сторону.

— Ты давай не отвлекайся! — весело закричала на него Наденька. — Веди машину, я еще жить хочу!.. И не щипайся, тем более, что ты абсолютно неправ. Я не нигилистка.

— Как же ты не нигилистка, когда все отрицаешь... все! даже то, что ты нигилистка! Да ты нигилистка в квадрате!

Наденька снова рассмеялась, потом спросила с хитринкой:

— Куда это ты меня везешь?

— К себе... А что?

— А то, что степень твоего нигилизма вообще трудно измерить!

— Почему? — удивился Игорь. — Что же я отрицаю?

— Супружескую верность!

Она сбросила плащик в приемной, он подхватил его, вместе со своим нацепил на вешалку, и тут же, в прихожей, поймал ее, привлек к себе и принялся целовать, зацеловывать, а потом, на руках понес в комнату и, не давая ей ни минутки перевести дух, осмотреться, опомниться, начал раздевать нетерпеливыми, торопящимися руками — снял зеленое короткое платьице с золочеными пуговками, колготки, голубенькие трусики... пока не осталась на ней одна только тоненькая золотая цепочка (его подарок) — «ты лохматись меня, сумасшедший!» — а он наклонился и, лаская, целовал ее маленькие груди с набухшими сосками, потом — живот, языком щекотал пупок и гладил, гладил руками

упругие нежные ягодицы; он спрятал лицо между ее бедер: дурманящая теплота, невыносимое наслаждение, до стона, до обморока — и она впилась! — не больно ничуть! — ему в волосы и вздрагивала от ласк... он застонал, с мукой оторвавшись от нее, и стал, не помня себя, срывать с себя одежду, словно она вспыхнула на нем факелом — и они, голые, жаждущие утолиться друг другом, свалились на диван, обвиваясь ногами, руками, не отрывая губ от губ... и сладкая судорога пробежала по ее чувствительному телу: она тихо ойкнула, поджала ноги и приняла его целиком-руками слегка касаясь его бедер так, что в каждое мгновение он был у нее в руках, в ее теплых ласкающих ладошках — и пока блаженство накатывалось волнами — мир, вселенная, человечество с его бедами и надеждами, христами и мао-дзе-дунами утратили всякое значение, слиняжи, растворились в горячем головокружительном потоке... «я мечтала об этом, когда болела», — шепнула она; «я тоже,... все время», — выдохнул он в ее раскрасневшееся лицо...

Он достал плед, чтобы накрыться, из бара принес бутылку армянского коньяка. Они грели рюмки в ладонях, втягивали в ноздри амброзию, попивали не спеша, кайфовали...

Наденька, наконец, осмотрелась. Комната была большая, светлая, с двумя окнами. Уважение, несомненно, внушал роскошный вишневый ковер во весь пол. Расстановка мебели не свидетельствовала о вкусе (конечно, хозяйки!); казалось, как внесли ее рабочие, как поставили, так она и осталась стоять до сих пор. Да и сама мебель — какая-то разнокалиберная. Слишком громоздкий письменный стол со старомодной грибообразной лампой, к которому вовсе не подходило легкое, крутящееся креслице... На столе валялись — в скромном количестве — газеты и книги; стоял телефон. Как только Наденька взглянула на него, он словно проснулся от ее взгляда и зазвонил. Неожиданный звонок в тихой квартире заставил ее вздрогнуть. Игорь не шевелился. Телефон звонил долго, терпеливо, потом оборвался на ползвонке, но не прошло и полминуты, как зазвонил снова.

— Черт возьми!

— Не надо, — попросила Наденька, — ну его!

— Затерзает он нас! — с раздражением выкрикнул Игорь. Он подошел к телефону:

— Я слушаю.

— Алло, Игорь? — Тесть говорил не «аллэ», а «алло»; выходило как-то очень не культурно. Только теперь

до Игоря дошло, что тестю он так позвонить и не собрался.

— Я, Александр Иванович, — сказал Игорь без особого подъема. — Да, только что вошел. Еще в лифте слышал... Да-да, конечно, это очень толковый человек (о Стаднюке). Все прошло замечательно! Спасибо! Большое спасибо!.. Ужинать?

— Да, давай приезжай, — гудела трубка. — У тебя машина бегаёт? Ну вот, садись и приезжай. Или хочешь, Григория пришлю? Он еще не уехал в гараж.

— Я не смогу приехать, Александр Иванович.

— Что значит «не смогу»? Я из буфета клубнику принес — небось, в этом году еще не ел... болгарскую! Круу-у-упная, зараза! и пахнет...

Голый Игорь нетерпеливо поворачивался на кресле из стороны в сторону, поигрывая коньячной рюмкой.

— Давай-давай, — настаивал тесть. — Сегодня футбол по телевизору, вместе посмотрим.

— Александр Иванович! — взмолился Игорь. — Не могу никак... Мне... мне.. у меня срочная работа: мне нужно статью одну по рабочему движению рецензировать к завтрашнему дню.

— Ага! — засмеялась Наденька, с дивана грозя пальцем Игорю. — Это, оказывается, теперь называется — рецензировать статью по рабочему движению.

Игорь приложил палец ко рту: тс! — и подмигнул ей. А тесть томился от одиночества в тишине пятикомнатных апартаментов.

— Да пошли ты ее к черту! Приходи, побалуемся коньячком... я знаю, ты любишь!

— Александр Иванович, не соблазняйте, с меня голову снимут!

— А, может быть, статья у тебя того... блондинка? — с шутливым подозрением осведомился тесть. Игорю стало не по себе. Не нагрянул бы сюда на ревизию!

— Александр Иванович! — обиженно воскликнул он, и сам подивился, сколь естественной вышла у него обида.

— Ну, работай, черт с тобой! Сам съем всю клубнику, — сказал тесть, вешая трубку.

— Уф! Отпустил с миром! — Игорь перевел дух. — Вот ведь зануда!

Не угадали, Александр Иванович, скорее шатенка!

— Кто?

— Аноним. — Игорь усмехнулся. — Это я для тестя

определение нашел: аноним.

— Почему аноним?

— А очень просто, — сказал Игорь, забираясь под плед к Наденьке. — Как в лотерее выигрывает аноним. Как когда-то Стаханов. Разве в том было дело, что он выполнил сто своих норм? Не говоря уж о том, что это не производство, а полный бардак, когда можно лишнюю сотню норм выполнить... Просто попался под горячую руку, потребовался — и стал Стахановым. Так и тесть мой — потребовался, после окончания какого-то вшивого техникума. А кем мог бы остаться? Он даже, наверное, сначала не понимал, что происходит. Он просто шел, глядя прямо перед собой круглыми, преданными глазами, и — все, а перст судьбы указывал вдруг на него, и его вызывали в отдел кадров или в партком. А вокруг люди с такими же преданными глазами, свои парни в доску, оставались в дураках. СЛУЧАЙ! И сначала его вызывали даже не в кабинеты, не наследил бы там, а просто в большую комнату, к одному из столов; это позже пошли кабинеты, которые становились все краше и краше, а секретарши — все приветливее и приветливее к нему, пока, наконец, перст судьбы еще раз не указал на него — правда, к этому времени он, видимо, умишко накопил и научился нравиться, — и он сам не плюхнулся в кожаное кресло и не обрел свою собственную секретаршу, пока он сам не очутился в кабинете с державным, многопудовым сейфом, с комнатой для отдыха сбоку, с телевизором, с пальмой в кадке и с могущественным пресс-папье на столе — символом его могущества, — которым так удобно проламывать подчиненным головы... И тогда он подумал: «Я был создан для руководства людьми...»

Наденька рассмеялась — вот хохотушка!

— Ты не любишь его?

Он посмотрел на нее недоуменно и, не отвечая на вопрос, сказал:

— С тобой я вырываюсь из-под его власти... С тобой я чувствую себя, — он смутился, — свободным.

— Свобода — это осознанная необходимость, — торжественно объявила Наденька.

— Не смейся! — чуть ли не с мольбой в голосе воскликнул Игорь. — Я же серьезно. Я никому не рассказывал о тесте... Нет, это лотерея, — помолчав, вздохнул он. — Ему нельзя подражать. Можно повторить те же движения — и вытащить проигрышный билет. Сейчас другое время, когда

всесильным стал не случай, а вульгарный блат. Он запросто превращает деньги в бумажки, если только захочет, он открывает любые двери, заставляет людей улыбаться, кланяться, потеть, бояться, он изменяет втихомолку, чтобы другие не знали, олухи, инструкции, правила и даже постановления, он все «нельзя» переправляет на «можно», все «запрещается» — на «милости просим».

— Это точно!.. И ты женился... — начала Наденька.

— Нет, — остановил ее Игорь, — здесь было не так все просто.

— Извини, я совсем не хочу...

— Ну, почему? Если рассказывать, так рассказывать. Как я влюбился в дочку анонима, а я в самом деле в нее влюбился? — Я вернулся из армии, отрубив законные три года, как пьявка впился в книги и протиснулся в университет. И вот однажды я прохожу мимо ее факультета — она училась рядом, в соседнем здании — и вдруг вижу: на улице останавливается черная, сверкающая на зимнем солнце «чайка», и из нее выходит Танька в белой дубленке, отороченной мехом, и так небрежно — не нарочно, не на показ небрежно, а просто каждодневным жестом — дверцей: шлеп! — и этот образ у меня в голове так и отпечатался: шлеп! — в голове пацана с Подмосковья, которого все детство отец ненавидел за хронические бронхиты, за кашель по ночам — я ему силы мешал восстанавливать — и он кричал: прекрати кашлять, а не то придушу, щенок, — а когда пьяный был, то не выдерживал, как я в подушки ни старался тихо кашлять, вскакивал и стегал ремнем, куда не попадая, а если мать бросалась защищать меня, то и ей попадало, так что она не бросалась, а только выла...

Он замолчал; Наденька взглянула ему в лицо: оно было жестоким, злым.

— Я отомстил отцу — женился на Таньке. Он теперь тщеславится мной, подлец! Я к нему не езжу: ну, раз в два месяца... Он постарел ужасно, опустился, пить не может. Я не могу простить... Видишь, вон на виске шрам? — он скривил рот: — Папашин.

А ты бы простила?

Наденька задумчиво гладила его по груди.

— Не знаю... Мой папаша бросил маму, когда я пошла в первый класс, и больше не появлялся. Но он и до этого почти с нами не жил. Он был каким-то вечным командировочным, и я запомнила его как-то, знаешь, вместе с огром-

ным рыжим чемоданом в руке... так что для меня отцовство — это что-то такое чемоданное...

— Чемоданное! Чудачка же ты!.. Мне с тобой хорошо, — признался он, — и хочется говорить. Хотя, потом, наверное, жалеть буду.

— Почему?

— Потому что это действительно недопустимая слабость... а нужно буриться.

— Буриться?

— Ну, пробиваться вперед, понимаешь?

— Ты пробьешься — я верю, — шептала Наденька, нежно играя его гениталиями...

Ласковые пальцы с крохотными коготками звали, звали к новым весельям. И подсматривала лукаво... Ах ты, насмешница! Он одним махом сдернул плед, прикрывающий Наденьку, и набросился на нее: целовать, зацеловывать.

— Игорек, милый, любимый... — лепетала Наденька, оглушенная поцелуями, и щеки ее пунцовели, и жглись и ласкались.

А когда, прервав на секунду свое движение в ней, он спросил очень тихо и очень по-доброму:

— Ты и сейчас боишься смерти? — она ответила с легким счастливым смешком: — Не-а, я бессмертна!

— Ой, сколько времени? — услышал Игорь сквозь сон.

Он высвободил руку с часами. В тишине они тикали всеми своими колесиками, но циферблат оказался слепым, без единой стрелки.

— Без двенадцати... — увидел он наконец расположение большой стрелки. — А маленькая отвалилась.

Она приподнялась на локте, прижимаясь грудью к его плечу:

— Дай-ка я ее поищу... — и почти в панике: — Боже мой, без двадцати двенадцать! Мама, наверное, с ума сошла. Я обещала быть к ужину. Знаешь, у нее нервы... Ей всякие ужасы в голову лезут. Ну, как маме!

— Может, все-таки останешься?

— Нет, что ты! Она подымет на ноги всю московскую милицию!

... И пока она в ванной приводила себя в порядок, Игорь неподвижно лежал на диване, не зажигая света, курил, пускал дым в потолок и мысли его шли нестройной чередой. Он вдруг посмотрел на нее с подозрением:

- Слушай, Надька, а за что ты меня любишь?
- За твои дикие пляски в кровати.
- И только? Нет, правда...
- За твои дурацкие сомнения... и вообще. В общем, отстань от меня! Люблю, и все.
- Слушай! Выходи за меня? а? выйдешь?
- Игорь?
- Что?
- Не шути так.
- Я не шучу.
- А жена?
- Что жена?

Он подбежал к столу; на стене возле него висела большая фотография Таньки, еще до замужества, на ступеньках дачи с соседским щенком на руках. Он сорвал фотографию и поспешно разорвал на клочки — он снял ее со стены сегодня утром, «на всякий пожарный», и спрятал в ящик стола; вместе с четырьмя кнопками, на которых она держалась.

— Видишь: нет жены! Финита ля комедия! — кричал он, посыпая клочками ковер. А в душе уже возникал, мужал и креп, параллельно этому действию и совершенно независимо, сам по себе, всегдашний страх — холодный и острый — страх прожить жизнь бессеребренником, превратиться в старости в посмешище для ребятишек, и беспомощным инвалидом подохнуть на продавленной койке, на матрасе в желтых подозрительных разводах, в городской полуголодной больнице. Нет, я от мира сего!

Ему вспомнилась встреча со своим бывшим однокурсником: недавно, в апреле, на Гоголевском бульваре. Тот зябко сидел на краешке скамейки и что-то читал, среди луж и талого снега. На нем было потертое пальто, в котором он проходил когда-то все пять зим студенческой учебы. Книга, толстая, большого формата, пожелтевшая от времени, покоилась у него на коленях.

Игорь неслышно подошел к нему и тихо спросил:

— Что читаем, сэр?

Рябов вздрогнул, что Игоря порадовало: шутка удалась.

— А, Игорь! — Рябов приподнялся, встряхнул ему руку по своей манере, как стряхивают термометр, и улыбнулся расплывчатой улыбкой, весь там, в книге: — Да вот... — неловким жестом он показал обложку книги и не решался сесть.

— Зачем же ты тут мерзнешь? Читал бы дома... Да ты садись!

Ироническая улыбка появилась на губах Игоря. Он всегда к Рябову относился несколько свысока и не считал себя обязанным это прятать.

— Зоя послала подышать свежим воздухом, — степенно ответил Рябов, усаживаясь.

— Ах, Зоя! Понимаю, понимаю... — Игорь понятия не имел ни о какой Зое (кто это: жена, сестра?), и его неожиданно обозлил ответ. Зачем эта Зоя гонит Рябова на свежий воздух с никому не нужной книженцией про основы средневековой религиозности?.. Какая чужь!

— Слушай, — сказал Игорь, — а почему твоя ЗОЯ не заставит тебя поменять шнурки: ведь они у тебя сгнили.

Рябов не на шутку смутился и не нашелся с ответом, но Игоря его смущение нисколько не разжалобило; он воспринял эти сгнившие шнурки, как личное оскорбление, как выражение гордыни и — презрения к людям, следящим — столь они ординарны! — за обувью и модой, как, наконец, выражение уверенности в своей исключительности; он и на вонючих больничных матрацах, неизлечимо больной, станет читать своих заветных кьеркегоров и свято верить, что в них соль земли, а мы — плебеи, раз этого не понимаем. Игорь съязвил:

— Она, наверное, тебе сказала: вот прочтешь основы этой самой средневековой религиозности и получишь новые шнурки, да?

Рябов пришел в полное замешательство, он не знал, как надлежит реагировать, и пытался оправдываться с виноватой улыбкой, но Игорь его перебил:

— И не жаль тебе времени на чтение всякой макулатуры?

Тогда тот с неожиданной горячностью принялся доказывать, что Игорь заблуждается — это не макулатура, а в достаточной степени любопытное исследование религиозной жизни, в основном, преддантовской Италии, без знания которой затруднительно будет представить культуру той эпохи... Игорь смотрел на примитивную оправу его очков, на глупую кепку и думал: шут ты гороховый! Зоя твоя, небось, слюни пускает от умиления, выслушивая твои спекуляции на темы египетско-иудео-греческо-византийских культур... дура! Но что больше всего раздражало — нет, просто бесило! — Игоря, так это понимание того, что его

несовременный, казалось бы, однокурсник найдет себе нынче слушателей и помимо Зои, которые станут в неограниченном количестве потреблять всю эту лишнюю информацию, строча добросовестные конспекты, да еще, пожалуй, в знак благодарности возьмутся носить на руках и наградят отменно дружным интеллигентским аплодисментом. Он пожал плечами и сказал — глупо! — но ничего поделать с собою не мог:

— Ну, ладно, мешать не буду, драгоценное время воровать... Впрочем, всех книг не перечитаешь!

Нет, думал Игорь, не для меня призвание жреца, поверженного ниц перед сокровенными алтарями культуры в мешковатых брюках, просиженных до зеркального блеска в публичных библиотеках, впадающего в экстаз при виде полусгнивших страниц рукописей, пахнущих мышами, с благоговением шепчущих имена античных мудрецов, средневековых богословов, немецких романтиков, шальных декадентов и всех прочих, которые возвещают о закатах культур и начале апокалиптического действия всякий раз, когда у них случаются поллюции из-за неумеренных воздержаний... К черту все эти научные мастурбации, когда Наденька раскрывает навстречу мне свои ножки!

Я ХОЧУ БЫТЬ С НЕЙ.

Представляю, как тесть разинул бы рот, когда я бы сбежал от его сокровища. А я бы ему с удовольствием на солил, стахановцу!

В машине было тепло, и уютно; между ними о главном — условлено, и она сидела рядом, не в силах перестать улыбаться.

— Ну, сначала мы можем жить у меня, — сказала она.

— Почему у тебя? — немедленно насторожился он.

— Но ведь свою квартиру ты оставишь жене... и Кольке.

Колька! Странно, что я о нем не подумал. Ведь с ним нужно будет расстаться. Колястик — папин хлястик! А она, смотри-ка ты, быстро: Кольку жене спихнула, и конец.

— Будем снимать... — Не жить же с ее матерью, зубным врачом, всю жизнь продышавшей воздухом чужих ротовых полостей. Пусть она специалист отменный, и клиентура у нее избранная, как уверяет Надька, но все равно она, наверняка, нудная и надоедливая тетка! — И запишемся в кооператив.

— Это дорого!

— Ну, и что? Продадим машину.

— Жалко...

— Ничего, обойдемся... Главное, свой угол... Свой угол,
— повторил он упрямо, угрюмо.

— Ну, как хочешь...

— Или уедем куда...

— Куда?

— В Канаду! Ага... Завтра! Пакуй чемоданы!.. Нет, милая, в провинцию... где жизнь потише, посерее.

— Зачем же уезжать! — изумилась Наденька. — Я люблю Москву. Мы соскучимся без нее. — Со страхом. — Еще прописку потеряем!

— Поедем в Пензу. Славный город Пенза. Я как-то говорил с одним аспирантом оттуда: нахваливал Пензу. Сказал, что там даже небоскребы сейчас строят... Правда, может быть, потому, что он патриот Пензы...

— В конце концов, мне — все равно! Давай хоть в Пензу. Там, — она, кажется, догадалась, в чем дело, — будет подальше от своего а н о н и м а. А то еще... начнет мстить!

— Перестань говорить глупости! Мстить! Чуть! Поедем, где хуже.

— Игорек, почему: где хуже?

— Потому что, где хуже.

«Пустой номер», — подумал он.

Пришла Наденька из ванной; в темноте ее тело светилось теплым матовым светом. Он смотрел на нее чистым взглядом, не обремененным половым желанием.

— Ты красивая...

Что мне с тобою делать?

Она присела на краешек дивана и сказала с бесконечной печалью.

— Мы с твоей женой моем голову одним шампунем.

— Ну, и что? Ассортимент-то не велик, — рассмеялся он, обнимая ее.

— И волосы у меня пахнут, как у нее? да?

— Что ты! Совсем иначе... — он поцеловал ее. — А вот губы твои пахнут коньяком, — и встал зажечь свет.

— Не надо, — попросила она. Они разбирали белье, в беспорядке валявшееся на ковре у дивана.

— Что-то холодно стало, — поежилась Наденька, застегивая платье. — Ты форточку открыл?

— На кухне все время была открыта. Закрыть?

— Как хочешь... Игорь, нам нужно спешить!

Они уже стояли у входной двери, в плащах, когда он вдруг воскликнул: — Подожди! — и исчез в спальне. Там, в темноте, он налетел на Колькину, огромных размеров, бордовую пожарную машину, ушиб ногу и, выругавшись, стал рыться в комоды жены, пока не извлек оттуда флакон французских духов, еще не початый. Какой-то знатный французский гость преподнес их недавно тестю при встрече.

— Возьми, это тебе, — сказал он, возвращаясь в прихожую. — Говорят, что это самые модные в Париже в этом сезоне духи.

— Что ты, с ума сошел! — замахала она руками, увидев флакон.

— Возьми... пожалуйста!

— Ты меня балуешь... — она взяла, сильно покраснев.

— Доставь мне это удовольствие, — улыбнулся он, видя, как обрадовалась она подарку. По московским ценам это был почти королевский подарок. А Таньке скажу... ну, да ладно! Успею придумать!

— Ой, как пахну-у-ут! — она приподняла стеклянную пробку. — Боже мой, легко-легко, и в то же время как-то знаешь... шикарно! Мне почему-то кажется, что вот такой примерно запах должен стоять в салонах иностранных посольств, смешанный с запахом дорогого табака... Я, конечно, дурочка, но как бы хотелось однажды в длинном платье до самого пола пойти куда-нибудь на настоящий прием! Это страшная глупость, не обращай внимания... — весело щебетала она, аккуратно поворачивая в руке флакон. — Я вообще не душусь, но твоими буду... для тебя!

Они вышли на улицу, держась за руки. Видимо, только что кончился дождь. Мостовые блестели, отражая свет фонарей и непотушенных вывесок магазинов. Машина вся была в крупных каплях. Пока Игорь ее открывал, Наденька баловалась, сбрызгивая капли с крыши.

— Смотри, Надюш, руки запачкаешь...

Они мчались по асфальтовым прериям Садового кольца, обсаженным чахоточными липками, у которых вот-вот начнется кровохарканье, через Брестскую улицу с молчаливыми подворотнями, минуя покосившуюся, продавленную купеческим вокзалом площадь и — далее: вдоль по благородному проспекту, чья репутация была бы отменной, не подмочи ее блатные гитары веселой козлиной шпаны, прыгающей через скамейки, до самого конца, где вместо того,

чтобы разбиться в лепешку о билдинг, что вырос на любвеобильном «Соколе», они исчезали в туннеле и, благополучно вынырнув с противоположной стороны, продолжали улепетывать от центра во все лопатки...

— А все-таки как хорошо, — бормотал он блаженно, — когда нет угрозы, что у твоей мамы разболится голова или горло, или живот, и она бросит своих питомцев на произвол судьбы, не долечив им зубы, придет домой... и застучает нас! Все как-то сегодня было иначе, куда лучше! Правда?

— Правда... А когда возвращается назад твоя...? — Слово «твоя» повисло в воздухе, ни к чему не пристегнутое, не по злему умыслу, а из-за смутной, спорадически навещающей ее боязни: назовешь свое своим именем — и окажешься вдруг расколдованной замарашкой. Ее не могла не мучать развратная, дурными людьми выношенная кличка: **любовница**.

— У нас с тобой в запасе целых восемнадцать дней, Надюш! Надо будет подумать, как их провести с толком...

— Восемнадцать дней? Ведь это много...

— Конечно! Причем из них две субботы и два воскресенья, на которые ты бы могла переселиться ко мне, если бы...

— Я скажу маме, что ухожу в поход с институтом! Я скажу ей сегодня же. Восемнадцать дней!.. Так мало... — она заморгала, поспешно, беспомощно.

— Тебя смущает... — он замолк, подбирая слово, и выбрал неудачно, зато вполне искренне: **бесперспективность**...

Она быстро, в ужасе, прикрыла ему рот ладошкой:

— Не надо!

Он молча поцеловал ее милую теплую ладошку.

— Не надо! — повторила она. — Ты хочешь испортить наш чудный вечер?

— Нет, Надюш. Я просто хочу быть с тобой предельно честным... Ты пойми, ведь я... ведь между нами — это не пустяк; может быть, да нет! я наверняка знаю: ни с кем в жизни мне не было так хорошо, как с тобой.

— Мне кажется, — задумчиво сказала Наденька, улыбаясь Игорю влажными блестящими глазами, — все мы совершенно не умеем относиться нормально ко времени... У нас с ним какие-то уродливые, запутанные связи. Наверно, это потому, что мы живем, торопя следующий день — так едят дети: не доев одного, они тянутся ко второму, от него — к третьему, к чужой тарелке, ничего в результате

толком не успев распробовать и оставшись полуголодными. Мы с нетерпением ждем конца месяца, весну, лето, день рождения, праздники, Новый год — мы наполовину живем одними ожиданиями, или вернее, нас здесь в «сейчас» почти не существует — мы там, в будущем, потому то, что происходит с нами сегодня, именно сегодня, нам даже трудно оценить по достоинству, как полагается, и только когда-нибудь потом вдруг задумаешься, поймешь и скажешь: ты была счастлива... так зачем же думать о том, что восемнадцать дней кончатся?.. чтобы счастье нарочно немного горчило?!

— Наденька! — с мукой воскликнул Игорь.

— Нет, я никогда не научусь об этом не думать... Я знаю. Что делать? Надо будет искать другой выход. Ведь надо же когда-то будет его искать... Ничего! — попыталась она усмехнуться. — Я поеду летом куда-нибудь в Палангу и постараюсь исцелиться там под литовским солнышком с каким-нибудь голубоглазым литовцем с соломенными волосами.

«Исцелиться?» — подумал он с удивлением и нежностью, и что-то даже зашипало у него в носу. В ту же минуту предательски потакая немужской чувствительности, в голову ворвалась гениальная мысль и забила крыльями сумасшедшей птицей.

— Слушай Надька! Не спеши обзаводиться литовцем. Я тебе предлагаю: махнем куда-нибудь летом вместе! Я берусь все устроить. Я вырвусь! — «Что я говорю? Я ведь обещал тестю...» — Я обязательно вырвусь! — прикрикнул он на себя. — Я раздобуду путевки в какой-нибудь приличный дом отдыха и поедем: море, тепло... Давай в Крым, а? Что мы рыжие, что ли? Я возьму машину... Или нет! Лучше поедем «дикарями»! Без дома отдыха! Снимем комнату на двоих с видом на море. Обязательно — на море, чтобы по ночам были волны и лунная дорожка на воде, и соленые поцелуи...

— Малосольные!

— Ну, малосольные, — согласился он.

— Фантазер!.. Неужели это возможно?

— Конечно, возможно!

— Я никогдашеньки не путешествовала на машине, — призналась она.

— О, мы разработаем такой маршрут, что только паль-

чки оближешь! Мы прокатимся по Украине, заедем в Киев, объездим весь Крым...

— Между прочим, я не была в Бахчисарае. Из-за ненависти к коллективным экскурсиям.

— Значит, в Бахчисарай поедем в первую очередь!

— Иногда я смотрю на тебя и думаю: может быть, ты принц из сказки? — сказала она с добродушной насмешкой, к которой прибегала в минуты счастливого смятения.

— Ну, что ты! — запротестовал Игорь, подделываясь под ее тон. — Я такой, как и все, нас таких миллионы! Простых, советских...

— Боже мой! Как же я всех вас люблю! — вскричала Наденька, с глубоким чувством сжимая руки на груди. — Только не забудь затормозить, мы уже приехали, — добавила она несколько более будничным тоном.

Он остановил машину. Ее дом был метрах в двухстах на другой стороне Ленинградского шоссе. Едва взглянув на бессмысленный для постороннего глаза пасьянс из окон, она предсказала:

— Мама не спит. Будет крик, шум и запах валерьянки! Стремительно чмокнула его в щеку:

— Бегу!

— Значит, завтра утром до занятий, — удержал он ее за руку. — Жду, Надюш. Квартиру помнишь? Ну, вот видишь! А как бы нашла? — Двадцать восьмая.

— Двадцать восьмая. Хорошо. Да духи! — она схватила флакон, лежавший на сидении, сунула в сумку с книгами. — Спасибо огромное!.. и за Бахчисарай тоже. Я ведь поверила.

— Правильно сделала!

— Я пораньше приду, — пообещала она, открывая дверцу. — Чтобы вместе доспать... Мне почему-то страшно хочется поспать у тебя на плече.

— На «поспать» не очень надейся! — засмеялся он.

— Ух ты, ненасытное создание! Тебе мало сегодняшнего?.. Ну, привет! — она весело хлопнула дверцей.

— Спокойной ночи! Пока!

«Ты еще увидишь, на что я утром буду способен», — подумал он, махая ей рукой на прощанье.

Чудесная перспектива, друзья! Лежишь себе утром, румяный и сонный, и чувствуешь, замирая, как сладкая кровь ровно пульсирует в отдохнувшем и окрепшем теле, и вот Наденька, сбросив одежду и чуть-чуть на секунду зар-

девшись, забирается к тебе под одеяло, шаловливая, ласковая, полная любви...

В супружеское ложе!

Да, — ну предрассудки!

ПРЕДРАССУДКИ!

И пошла Танька к черту!..

Он стал разгонять свой «жигулек», сосредоточенно твердя про себя: «предрассудки-предрассудки-предрассудки ссудки-предки-предрассудки», — пока слово не растеряло зерна первоначального смысла и не предстало скоплением разновеликих букв, над которыми господствовало сдвоенное «С» — «до разворота, здесь далеко; неудобство всех выездных автострад, в Америке, говорят, ошибешься и будешь ехать пятьдесят-сто километров КАНАДА не свернешь... ссудки, предрассудки»... Отчаянный визг тормозов. Там, сзади тебя. Так. Что это? Визг тормозов и: раз — медленно — два — медленно — три... четы... — удар. Сбили кого-то.. сбили... кого-то... вдруг внутри похолодело сжалось не может быть ерунда похолодело сжалось теперь визжали его розовые воспаленные алые тормоза он бросил: — Наденька! — маши... — Нет! — ну на обочину выскочил, инстинкт не сработал: не захватил ключей — Наденька! — выскочил из машины, болтались ключики... и в голове сидели занозой последние сдвоенные СССССС.

Поперек той части шоссе, что вела к центру города, стояла бледнозеленая «Волга»-такси, а там дальше, поближе к обочине — при рассеянном свете фонарей: легкий туман — он увидел большой светло-серый комок... Были секунды всеобщего оцепенения.

Ни из «Волги», ни из двух машин, которые одновременно буквально уперлись в нее, ни откуда-нибудь еще — никто (ни единая душа!) не бежал. Все замерло, остолбенело, мир застыл — и только когда вдруг пулей в лошадиный рост величиной полетел к человеческому комку какой-то мужчина, в переливчатом вишнево-зелено-зелено-вишневом плаще, первый очухавшийся, — все разом пришло в движение. Распахнулись дверцы машин. Игорь рванулся! И жили еще обломки надежды...

Вокруг Наденьки хлопотал мужчина в плаще. Игорь оттолкнул: не трожь! С размаху хлопнулся на колени... Надька, Надька!.. — залопотал: лицо — перекошенное — было страшно от горя, страдания. Она лежала на животе, с неловко подвернутой рукой, лицом уткнувшись в мокрую

мостовую. Плащ, и платье, и комбинация сбились к талии, виднелись голубые трусики под колготками.. Стесняясь посторонних, стал одергивать ей одежду. Одернул. А мужчина, переливчатый, опереточный, рядом, на корточках, попытался перевернуть ее, и о т в а л и л о с ь, открывшись, лицо: щека одна грязная и вся окровавленная, с содранной кожей, подбородок столкнут на сторону, кровь из носа сочилась; а голова как-то странно болталась на шее, словно на одной только коже держалась. «Надька!» — прохрипел Игорь. Жесточайший спазм перехватил горло. «Переливчатый» ощупывал ее, барахтаясь возле.

Надо было спешить. Могли придти люди и ее захватить. Если Наденьку увезти домой, положить на диван, обмыть лицо и забинтовать шею, чтобы не болталась голова, чтобы укрепить голову — нужен гипс! — то еще ее можно спасти. Надеяться не на кого, «переливчатый» тоже доверия не внушает, он чужой, лишний... Надо только так, чтобы никто не заметил, скрыться, отползти к машине, или — лучше! — схватить ее на руки и бежать; я добегу, она легонькая. Только сразу бежать.

Осторожно он подсунул руку под спину Наденьки. Из рта ее послышались какие-то булькающие звуки... Ничего-ничего, подожди, я сейчас... знаю, что больно.

— Умерла сразу, — ляпнул «переливчатый», перестав ее ощупывать.

Ну, и пусть так думают, пусть; значит, сейчас все уйдут, не будут нам мешать; мы сами сейчас уедем...

Наверху черная туша таксиста металась в хрипоте, заговаривалась, захлебывалась, а «переливчатый» схватил ее, вцепился в загривок...

— Что ж ты, братец, наделал?

Толпа стремительно росла, несмотря на поздний час. Из ближайших домов бежали, звали с собой соседей, прыгивали с балконов, троллейбус остановился — и из него бежали; водитель первым бежал, из машин бежали... Игорь увидел лес ног; брюки, чулки, подола платьев, пальто... не успел!... туфли, боты, ботинки в грязи... не успел!

— Вызывайте «скорую»!

— Побежали звонить.

— Кого задавило?

— Сейчас приедет.

Сквозь толпу пробивался случайный орудовец, ехавший себе на мотоцикле с коляской.

— «Скорую» вызвали? — спросил деловито.

— И в милицию тоже позвонили, — ответили с готовностью.

— Ей уже ничего не поможет, — авторитетно заявил «переливчатый», поднимаясь во весь рост, с корточек. Игорь машинально поднялся вслед за ним.

— Вы врач? — спросил милиционер.

— Я биолог... — ответил тот с достоинством.

— Понятно... — неопределенно произнес милиционер.

Игорь тронул биолога за рукав.

— Е е н у ж н о унести, — шепнул он доверительно.

— Куда? — сощурился тот.

— Чтобы спасти. Ей нельзя тут лежать... ей больно!

— Она умерла, — мягко сказал биолог.

— Спасите ее, — тупо настаивал Игорь, на свои силы он перестал надеяться, толпа смущала и подавляла его.

— Я сказал: она умерла. — В голосе «переливчатого» зазвучало легкое раздражение, видимо, ему не нравилось, что к его словам относятся недостаточно серьезно.

— Тут же перехода нет! Товарищ старшина — перехода! — прорвало таксиста. Милиционер тяжелым взглядом смотрел на его тушу.

— Пассажира вез?

— Пустой ехал... В парк. Она сама под колеса бросилась, сама, сама! — уцепился таксист за соломинку. Игорь с тупым недоумением косился на него.

— Разберемся, — мрачно пообещал старшина. Его обещание не понравилось Игорю. Он надулся, побагровел и бросил шоферу:

— Врешь!

— Ты молчи! Ты-то что видел? — заревела на него чернющая морда, сейчас убьет!

— Я свидетель. Я видел. — Спокойно и твердо сказал «переливчатый», обращаясь к старшине. — Она поскользнулась, когда перебежала дорогу...

— Куда же бежала, если склизко?

— А сколько у тебя спидометр показывал? — рассерчал вдруг старшина, словно дошел до сути. — Неси документы, — сурово добавил он.

— В тюрьму сажать будешь? — Таксист посмотрел на него с ненавистью.

— А что думаешь, домой пойдешь?

Понуро выругавшись, таксист двинулся к своей «Вол-

ге» с зеленым хищным глазом, сел в нее и замер, руками охватив голову.

— Всех передавят, окаянные! — вслед ему раздался высокий женский голос, полный истерики. Вокруг сочувственно загудели.

Старшине подали Наденькину сумку, далеко отлетевшую в сторону.

— Одеколон какой-то... — пробормотал он.

Все внутренности сумки, тетрадки, учебники были облиты «одеколоном» запах которого обоняла любопытная толпа. Игоря замутило. Старшина раскрыл студенческий билет. Там фотокарточка была... Улыбчивая! Старшина откашлялся, прочищая луженую глотку.

— Студентка, — объявил он.

— Молоденькая совсем!

— Лет-то сколько?

— Тут не пишут...

— Бедненькая...

— Она раз десять перекувырнулась через себя, когда он ее ударил!

— Что вы говорите!

— А голова-то не отскочила?

— Да вроде нет...

— Бедненькая...

— Одета во все импортное...

— Нет, десять раз она не могла перекувырнуться!

— Невеста...

— Ее кто-нибудь знал? — старшина оглянулся вокруг себя.

— Он ее, кажется, по имени звал, — донес «переливчатый», кивнув на Игоря.

— Да-да, — подтвердил Игорь, пытаясь сосредоточиться.

— Так, выходит дело, вы ее знаете? — с какой-то непонятной (неуместной, вроде бы) грубостью спросил старшина, указав на труп, распростертый у его ног.

Игорь смотрел вниз, официально и недвусмысленно приглашенный к созерцанию Наденьки с последующей подачей свидетельства. Глаза отказывали... До него постепенно начинало доходить, что она умерла бесповоротно, навсегда. Его сознание, которое поначалу столь свирепо сопротивлялось этой мысли, что готово было подать в отставку, как проворовавшееся и публично уличенное во лжи правитель-

ство, теперь занимало выжидательную позицию и собиралось исподволь идти на компромиссы. Он мог желать об одном: остаться одному. Но исполнение этого желания откладывалось на неопределенное время. Между тем, событие, с которым, казалось, еще совсем недавно можно было в два счета расправиться, отказавшись в него верить по одной причине его чудовищности и властно потребовав проиграть что-нибудь другое, с иным финалом: в бесконечном ассортименте случайностей нетрудно подобрать, — а затем уже, если угодно, и пожурить таксиста, сломя голову несущегося по скользкому шоссе в свой парк в нарушение всех правил, затвердевало в зловещей однозначности; на него поставили гербовую печать милицейской кокарды, оно оформилось в документ и входило в силу... Игорь вздрогнул, прозрев: особенно не е е были широко раскрыты запрокинутые глаза. Он перевел взгляд на старшину, чье безлобое (лоб скрывала фуражка) незатейливое лицо выражало, одновременно, и служебную невозмутивость, и растерянность деревенского парня, которую тот не смог скрыть. В исповедники старшина не годился. Игорь словно пузырек нашатыря под нос: нюхни! — поднесли.

— Я не знаю ее, — чрезвычайно беспомощно и неуверенно пролепетал он, приходя в себя после обморока.

— То есть как? Не знаете, а звали по имени? — Старшина с большим подозрением всматривался в Игоря, и тот понял: сейчас потребует документы! Просто ради профилактики потребует, на всякий случай, мало ли что? — ради самоуспокоения и сознания выполненного долга. Даже странно, что старшина еще медлил. Секунда, вторая, третья... Игорь весь сжался, ожидая, казалось бы, неминуемого, и с виноватой улыбкой, которая на его ярко-белом лице выступила, как протез, попытался разъяснить:

— Я перепутал... мне померещилось... а не она...

Толпа примолкла, прислушиваясь, только в задних рядах пихались досадливо и шаркали обувью. За отдавленные ноги не извинялись: ни обиженные, ни обидчики, не замечали этих мелочей: тянули головы.

— Это нервы, — добавил Игорь, непосредственно обращаясь к обступившим его людям, и те его поняли. Сейчас же из толпы кто-то произнес, с пониманием дела:

— Нервы сдали!

Другой, сочувственно, послал вдогонку:

— Обознался... Бывает.

Правда, третий, невидимка, не преминул съязвить: «Психопат!» — но на него строго зашикали.

Снисходительность старшины станет со временем легендарной. В конце концов, толпа вовсе не угрожала порвать его на куски, пусть он только попробует потребовать у Игоря документы. Тем не менее, он всего-навсего лишь переспросил Игоря, очевидно, попадая под гипнотическое действие зевак, благоволящих Игорю, и заранее веря ему на слово:

— Значит, не знаете?

— Нет... не знаю.

«Переливчатый» промолчал. Общее внимание вновь стало переключаться на разглядывание труппа.

Собственно говоря, для завершения картины не хватало теперь только Наденькиной мамы, женщины полной и величественной, как всякий уважающий себя стоматолог, которая должна была выбежать, полная смутных предчувствий, к месту происшествия, в кое-как натянутом на ночную рубашку пальто, броситься к телу дочери, заламывая руки, и забиться в судорогах. Любое ее действие толпа бы приняла со священным почтением, по достоинству оценила, и не будет преувеличением предположить, что у многих были бы выбиты слезы из глаз. Благодарные зеваки ушли бы, навсегда сохранив в сердцах воспоминание об этой достоверной душераздирающей сцене... Но картине суждено остаться незавершенной. Вместе с тем, под маской непроницаемости (ведь непроницаемыми оставались почти все лица, за исключением лиц нескольких сердобольных толстух, заочневших в плаксивых гримасах), «под» чувством жалости к сбитой, умершей студенточке и страха перед трупом, «под» чувством подавленности: «и меня могло бы так...» — в собравшемся народе угадывался прилив новых освежающих жизненных сил (впоследствии не замедляющих вырваться наружу), который рожден ликованием по поводу того, что «не я лежу здесь под ногами!», что «я — живой, я — вот он!». Этому приливу суждено будоражить рассудок и очищать душу от скверны каждодневной апатии...

— Неужели насмерть? — воскликнул кто-то неуверенным голосом. В толпе только снисходительно пожали плечами. «Новичок!»

Некоторые спрашивали себя: «Зачем я смотрю на такой ужас на ночь? Еще приснится...» Другие думали: «Вот жуть!... Расскажу на работе завтра».

Старшина терял терпение. Сначала он уговаривал: «Ну, посмотрели, и отходите, отходите», — теперь же кричал: «Да отойдите ж, наконец, не цирк вам тут!» — и отпихивал людей самым бесцеремонным образом. «Переливчатый» помогал ему, защищая жизненное пространство тела от посягательств наиболее наглых зевак. Делал он это столь ревностно, словно уже приобрел труп в свою собственность и теперь ожидал только прибытия транспорта, чтобы погрузить его и отправить в лабораторию для своих мерзкопакостных экспериментов. «Ишь, раскомандовался!» — кипел Игорь, а когда биолог, присев на корточки, прижал пальцами глаза Наденьки, Игоря передернуло всего: как он посмел?!

— А вам тут особенно нечего делать, раз слабонервный, — бросил мимоходом старшина, видя, как дрожит игорево лицо. Безо всякой симпатии бросил.

— В самом деле, идите лучше домой, — посоветовал ему и биолог, поднимаясь на ноги.

— Заткнись! — отрезал Игорь.

— Что-о-о?

— Подонок ты! — выпалил Игорь.

— Слушай, я сейчас врежу, не посмотрю...

Угроза повисла в воздухе. Игорь сжал кулаки. Он готов был отомстить этому негодяю за все сразу. Он защитит честь Наденьки! Ненависть в его глазах была столь ошутима и безмерна, что биолог даже невольно попятился, несмотря на то, что, судя по внешности, мог дать достойный отпор.

— Да что вы!.. Ну-ка, давай отсюда! — старшина грубо схватил Игоря за рукав плаща, предотвращая драку. — А то отправлю, куда следует. Тоже мне разошелся!

Игорь резко высвободил руку, взглянул еще раз на Наденьку, с какой-то безысходной, звериной тоской, и стал пробивать себе путь сквозь толпу.

Нетвердым шагом он перешел через шоссе и обернулся. Наденька была облеплена густым, черным, гудящим роем. «Отбили, сволочи», — пробормотал он.

Когда Игорь уже подходил к своей машине, его окликнули:

— Алло! Подожди!

Он оглянулся, в его воспаленной голове мелькнула мысль: «переливчатый» направил к нему своего посланца, чтобы условиться о месте неизбежной стычки. Игорь даже обрадовался: желание мстить саднило грудь. Итак, он, под-

жидал гермеса, который быстрыми шажками, чуть не вприпрыжку, подошел к нему и остановился с трудом переводя дух.

— Я слушаю вас, — произнес Игорь с такой изысканной надменностью, которая могла быть принята всерьез в прошлом столетии, но уж никак не в наши дни, да еще на асфальте Ленинградского шоссе, где ее появление объяснялось единственно душевным «вывихом». Впрочем, он и сам начал догадываться, что дал маху: перед ним стоял никакой не посланец, а этакая шваль, секретированная толпой, муж и к — небольшого роста, щуплый, в кургузом пиджачке, в перекрученных, перекошенных брюках, весь какой-то полурасстегнутый, лет сорока с небольшим: голова — с грецкий орех, не больше, но зато на ней шляпа, с опущенными вниз полями; выражение лица — нахальное, и шрам через переносицу. Он смахивал на алкашей, которые пристают к вам на улице и не просят, а требуют гривенник, и угрожающе матерятся, когда вы им отказываете, — алкашей, еще не гнилых, не трухлявых телом и не совсем еще опустившихся, но к этому катящихся. У них есть свой гонор (шляпа ведь не случайно), свои запросы и свой счет в жизни, по которому та, мерзавка, не собирается платить. Мужик был не пьяным, но, верно, подвыпившим.

— Я за тобой следил! — выложил он одним махом, обдав Игоря винным перегаром, табачной изжогой и еще какой-то чесночно-луковой вонью. — Она из твоей машины вылезла, я видел. Я все видел, понял?.. Чего же ты старшине не сказал?

— Тебе какое дело? — ошетинился Игорь.

— Как то есть какое? Человека задавило, а мне дело какое? — спросил он юродствуя.

— Слушай, ты, придурок, — зарычал Игорь, — поди-ка проспись! У тебя в голове все перемешалось.

— Чего это у меня перемешалось, когда ты еще с ней целовался в машине!

— Врешь! — У Игоря руки зачесались: расправиться с этой тварью, затащить в машину и там придушить. Мужик разгадал его мысли.

— Я живучий, — сказал он злорадно. — На куски разорвешь — я выживу, цепью бить будешь — не сдохну, отдышусь, тебя подзаложу; так что не думай! — Он цепко смотрел на Игоря, готовый в любой миг отскочить в сторону,

побежать, заорать истошным голосом. Игорь понял это и не знал, что предпринять.

— Ты говоришь, что я вру? — продолжал мужик неожиданно почти примирительным тоном. — Так это проверить можно: вру я или не вру... Пусть вот старшина и проверит, понял? Дай-ка я только номер твой посмотрю, а то удерешь еще.

Он сделал шаг к машине, собираясь, видимо, совершить обещанное.

— Стой! — не выдержали нервы у Игоря. Мужик с явной охотой остановился, стоял, как вкопанный. Сирена «скорой помощи» взрезала воздух. Через несколько мгновений из микроавтобуса выскочили темные фигурки санитаров. «Скорая помощь» тотчас обросла толпой и сгнула в ней.

— Сейчас повезут красавицу...

— Молчи! — приказал Игорь, дрожа. — Не смей о ней!..

— А я и так знаю твой номер: 73-72, — похвастался мужик.

— Что ж ты сразу старшине не сказал? — прерывающимся голосом произнес Игорь.

Мужик противно жевал губами и не торопился с ответом. «Какой мерзавец!» — пронзило Игоря. Он еще раз взгляделся в лицо мужика: сомнений не оставалось... Какой мерзавец!

— Тебе что надо?

Мужик сложил три пальца правой руки, словно собирался осенить себя крестным знаменем, но вместо того выразительно помусолил их друг о дружку. Трясущейся от негодования рукой Игорь вынул бумажник, неловко раскрыл его и протянул мужику пять новеньких красных бумажек, которые он всегда таскал с собой, на всякий случай.

— Вот... — сказал он, брезгливо морщась. — Все, что есть.

Деньги хрустнули сухим хрустом, исчезли.

— Ну, и часы доложи, что ли...

Игорь снял с руки свой золоченый «Полет», отдал и, ни слова не говоря, пошел к машине. Мужик двинулся за ним.

— Уходи! — властно скомандовал Игорь.

— А, может быть, еще чего-нибудь антиресненькое? — Глаза шарили по сиденьям машины. «Какая гадость!» — подумал Игорь. Вдалеке блеснула фотовспышка, еще раз,

еще. Милицейский фотограф припечатал Наденьку к черному шоссе. Когда приехала милиция?

— Фотографируют на память, — усмехнулся мужик.

Игорь зажмурился, его грабитель и думать не думал, что с размаху угодил в солнечное сплетение. Радужными кругами горячая боль растеклась по телу.

— Еще слово — убью на месте! — сдавленным голосом пообещал Игорь.

— Молчу, молчу... — покорно сказал мужик, — только вот...

— Что?

— Еще одна вещичка... и уйду.

— Какая еще вещь чка?

— Плащик. Уж больно хорош.

Секунду Игорь помедлил и вдруг решительно сорвал с себя кремовый плащ и швырнул тому прямо в лицо. Мужик схватил плащ обеими руками и, отпрыгнув назад, тут же принялся натягивать на себя обнову.

— Конечно, великоват... но ничего, ничего, — бормотал он, застегивая пуговицы. — В руке нести неудобно...

Из толпы отделилась «скорая помощь», мягко, бесшумно покатила она и, только когда набрала скорость, завизжала протяжно, припадочно, на весь город. Милиционеры сгоняли людей с проезжей части, машины еще не пускали, замеряли тормозной путь; губили таксиста. Заскучавшие водители время от времени зажигали слепящие фары и сигналили назойливо, подгоняя милицию; трагедия трагедией, но всем не терпелось вернуться домой, было поздно.

Мужик все медлил уходить: не то еще чем поживиться хотел, не то имел другие намерения. Игорь посмотрел на него:

— Ты чего ждешь?

— Эх, жизнь хреновая! — вздохнул несчастный грабитель, хлопая по пустым накладным карманам необъятного плаща. У него был обескураженный вид... Да он просто не сообразил, что же, собственно, произошло, и терялся в догадках, и хотел, наконец, знать! О, это ничуть не удивительно, напротив, это наша национальная особенность, отличительный знак, по которой распознается русский человек с той же легкостью, с какой беспомощность перед буквой «р» выдает чистокровного француза — мучительная жажда определенности. Отсюда ведь и проистекает наша известная любовь к тягуче-интимным выяснениям отношений, с

кем угодно: с женой, с властью, с народом, с Европой, с теплым течением Гольфстрим, с американским джазом, с русской классической литературой и, непременно, с республикой Чад. Иные выяснения затягиваются на целые исторические периоды, от одного оледенения Земли до другого... так что скромные позы мужаика заслуживали к себе снисхождения.

— А как это ты ее под таксиста угораздил? — попробовал закинуть он удочку. Святая простота!..

— Ты... ты... ты... — стал таращить глаза Игорь. Он не нашел слов — он кинулся на обидчика. Тот хотел отскочить в сторону, но запутался в полах плаща и упал на асфальт. Шляпа соскочила с головы.

— Я буду кричать! — испуганным голосом предупредил мужик и напомнил:

— Я живучий!

Поеживаясь от негодования и гадливости, Игорь осторожно потрогал его тупым носком ботинка, словно убеждаясь в его реальности, а затем, примерясь, хорошенько пнул ногой в бок.

— Больна! — вскрикнул мужик встревоженно.

Расходившиеся зеваки останавливались, оглядываясь на них. К ним могли подойти.

— Вот мразь... — выдохнул из себя Игорь, отходя от грабителя.

Мужик вскочил на ноги, подобрал, озираясь, шляпу, и побежал в сторону от шоссе.

Он исчез в темноте, будто вовсе его и не было.

В изнеможении Игорь плюхнулся на сиденье машины и захлопнул дверцу. Наступила тишина...

В машине тонко пахло духами.

И тотчас же, в одно мгновение, запах помог воссоздать цепь сменяющих друг друга в и д е н и й: мертвую Наденьку со свернутой челюстью, черную блестящую тушу таксиста, кокарду старшины, неугомонную толпу, лес ног, деятельного биолога, склоняющегося над ней, чтобы закрыть глаза... Над всем, над всем этим довлел торжествующий, приторный запах парижских духов, по поводу исчезновения которых еще предстоял разговор с подозрительной сумрачной Танькой, за чьей спиной выростали и разрастались в гневе самодержавные подбородки тестя; вся машина пропахла духами. Он поднес руки к лицу: от них разило духами, и от его пиджака, и от сиденья, где сидела она, разило.

Запах был таким невыносимым, отвратительным, неискоренимым, что неожиданно он осознал совершенно отчетливо: «живучий» мужик — всего лишь робкое и неудачное воплощение этого запаха в человеческом облике, и ничего больше! — причем, настолько неудачное, что можно просто обхохотаться, и его уже начинало трясти от беззвучного смеха, когда ему в лицо заглянуло смеющееся личико Наденьки, чистенькое, гладкокожее, навсегда дорогое, зовущее на юг, в Бахчисарай, к глупым малосольным поцелуям... Он уронил голову на руль и разрыдался глухими лающими рыданиями... «Наденька, радость моя...» бормотали исковерканные плачем губы.

— Я бессмертна, — шепнула она ему в самое ушко.



СТИХИ

ВОСЬМИСТИШИЯ

Павлу

Чёрные ветви. Плац.
Вьется метель кунницей.
Выряжен, как паяц,
русский медведь с косицей.
Тенью пройдя на смотр,
выучку прусских правил
шепчет Великий Пётр:
«Ты рогоносец, Павел!»

Чаша обнажена.
Колются пни и ветки.
Мёртвая — не жена.
Лебедь уснул в беседке.
В Гатчине каждый куст
октябрьский ветер окровавил.
Жалобный слышен хруст:
«Ты рогоносец, Павел!»

Людовик и Новиков
мучались от простуды.
Как пропитал альков
запах ночной посуды!
Кажется, палача
тянется в фортку лапа.
В спальне у рогача
скрипнула дверца шкапа.

Ямы алмазит пыль
возле Эскуриала.
Пален и князь Яшвиль
прячут в плащи сусала.
С нетерпеливых рук
лайковую сметану
тянут: веди, гайдук!
Что потрафлять тирану?

«Гатчинский лебедь спит,
как Фридерих перед боем.
Снится, что я убит.
В порфире с красным подбоем
перед Всевышним смог,
пав на одно колено,
крикнуть, что я двурог!
И во дворце измена!»

...Помню тот парк и пруд
в семидесятом годе.
Сам я богат, как Брут,
грёзами о свободе.
Весь монолит хором,
где поднимали брашна,
чтобы душить потом.
И ничего не страшно.

7. 11. 1977 г.

31 ЯНВАРЯ

(по магазинам, рысью...)

...Шампанское в наклейках тёмных
для встреч роскошных и укромных,
знакомый с детства шоколад,
где Пушкин няне, словно брату,
читает вслух «Гавриладиу»,
задрапированный в халат...
Или «арабика» душистый
под пленкой пены золотистой

в сердца вселяющий экстаз,
когда в углу дракон пятнистый
с фарфора скалится на вас...
Да что!

Балтийская селедка,
доступная с морозца водка,
продолжим перечень потерь:

мослы,
копчёности
и чресла

— мы помним ВСЁ.
Зачем исчезло?

Куда теперь?

ПОРТРЕТ

Чёртов ладан, табак везде.
Аида глаз, как птенец в гнезде,
глядит сквозь стены в нездешний край.
Постыл Москвы караван-сарай.

Горбинка профиля. Ветхий ови
моей России одиноковн.
Недаром горло стянул аркан.
Полна бутылка, да пуст стакан.

(Кто знал, что в Стрешневе есть Сион?
Но тароватый центурион
из легиона румяных харь
блюдёт с порога питейный ларь.)

В мозгу пропеллер гудит давно.
Ужо на кухне рвануть окно
и махом —

с пятого этажа.

Какая виза?

Лети, душа!

СОНЕТ

В залепленном окне серебряно-седое,
потом багряное и, наконец, ночное.
Я чувствую, что стар, что на лице моём
оцет минувшего. Я прижимаюсь лбом
к стеклу холодному... Прощла минута страха.
В морозной тишине кормушку долбит птаха.

...Склоняясь над тобой, я чуть не позабыл
того, кто до меня тебя со мной делил,
и не забрал во тьму, как пленников в обозах:
островский кашемир в кустодиевских розах
и крупных огурцах любимого платка
вкруг юного лица, когда спешишь с катка,

да ветку снежную, да камень голубиный
от дней, когда тебя не трогал ни единый.



И.

Схизма нашей любви и нежна и сурова —
изумрудный огонь
с каждой новой зимой обжигающий снова
и глаза и ладонь.

Как на чайную зелень похожи метели!

Чуден скрип мостовых.

И прогулки по чёрному саду в апреле,
и ночлег у чужих.

Так идёт круговерть високосного года:
счастье, бедность, печаль...

Где в гранитных метро преизбыток народа,
москвиты не видят следов недорода.

Никого им не жаль.

10 февраля.



...Не Новгород-купец, не древний воин Псков
был выбран для паломничества нами,
пусть новодел Кремля возрос до облаков,
зане упитан костяками,
не глинобитный путь, не башенный Изборск
с хмельным и кряжистым народом, —

а утро лунное, похожее на воск,
и растопившееся медом.

Луна и озеро, сосна и мотылек
в глубинной синеве эфира, —
где сладострастный Вульф под крест покорно лег...

И Святогорский холм покоит Ямбы Мира.

ПЕРЕДЕЛКИНО

На луковицах петухи
или кресты? Овраг и доли.
Бориса юные стихи.
Трёх сосен слитные верхи,
соцветья, чешуя и смолы.

(Подумать, десять лет тому:
всё было кончено. Однако
еще не знали, что к чему
и шли, болтая про сурьму
грозы и мыслящих иначе.)

Кусок земли, где Сетунь с нить,
где наши старые шакалы
умеют мёртвых хоронить.
Где мужикам нельзя не пить,
а бабам — не ворочать шпалы.



Месяц бледен и Врубель ревнив.
У маэстро повадки изгоя.
И пока его холст терпелив,
куст сирени не знает покоя.

Тишина. Лишь янтарный светляк
вылетает из-за поворота.
От росы укрываясь, пиджак
нахлобучил на голову кто-то.
Да еще под ногой зашуршит
белый гравий в классическом стиле.
И сирень на ветру закипит,
как глазурь в декадентском горниле...

Подойди ко мне. Это весна.
Это тульского агнца закланье.
Это русского царства казна.
Наше сердце и наше желанье.

John UPDIKE
a guest of METROPOL
an excerpt
from the new still unpublished novel

THE COUP
(exclusively for us)

My country of Kush, landlocked between the mongrelized, neocapitalist puppet states of Zanj and Sabel, is small for Africa, though larger than any two nations of Europe. Its northern half is Sahara; in the south, forming the one boundary not drawn by a Frenchman's ruler, a single river flows, the Gri-
onde, making possible a meagre settled agriculture. Peanuts constitute the principle export crop: the doughty legumes are shelled by the ton and crushed by village women in immemorial mortars or else by antiquated presses manufactured in Lyons; then the barrelled oil is caravanned by camelback and treacherous truck to Dakar, where it is shipped to Marseilles, to become the basis of heavily perfumed and erotically contoured soap designed not for my naturally fragrant and affectionate countrymen but for the antiseptic lavatories of America — America, the fountainhead of obscenity and glut. Our peanut oil travels westward the same distance as eastwards our ancestors plodded, their neck-shackles chafing down to the jugular, in the care of Arab traders, to find from the flesh-markets of Zanzibar eventual lodging in the harems and palace guards of Persia and Chinese Turkestan. Thus Kush spreads its transparent wings across the world. The ocean of desert between the northern border and the Mediterranean littoral once knew a trickling traffic in salt for gold, weight for weight; now this void is disturbed only by Swedish playboys fleeing cold boredom in Volvos that soon forfeit their seven coats of paint to the rasp of sand and the roar of their engines to the carnivorous howl of the heumattan. They are skeletons before their batteries die. World that Allah had so disposed of all infidel intruders!

To the south, beyond the Gri-
onde, there is forest nakedness, animals, fever, chaos. It bears no looking into. Whenever

Специально для нас

Джон АПДАЙК,
гость «МетрОполя»

Отрывок из нового
еще неопубликованного
романа
«ПЕРЕВОРОТ»

Страна моя Куца, стиснутая у́блюдочными неокапиталистическими марионеточными государствами Зани и Забел, не велика для Африки, однако больше двух любых европейских стран, разумеется, вместе взятых. Северная ее часть суть южная часть пустыни Сахара; на юге протекает единственная наша река Грионде, являющаяся и единственной естественной то есть не прочерченной французами границей. Являясь границей, река к тому же являет нам некоторые возможности для развития скудного сельского хозяйства. Арахис, этот отважный представитель семейства бобовых, основной предмет нашего экспорта. Деревенские бабы давят бобового, как в незапятные времена, здоровенными ступками или антикварными прессами лионского производства. Арахисовое масло в бочках верблюжьими караванами или ненадежным грузовичком доставляется в Дакар, откуда пароходами отправляется в Марсель, чтобы в конечном счете стать основой тяжелой парфюмерии и всякого рода мылами с эротическими контурами, на потребу, разумеется, не моим естественно благоухающим и трепетным соотечественникам, а всяким там американам в их антисептических сортирчиках — о, Америка, фонтанирующий на весь мир сосок непристойности и обжорства! Таким образом наше арахисовое масло путешествует к западу на такое же расстояние, на какое наши предки брели к востоку с кандалами на шее, растирающими яремную вену, под хлыстами арабских торговцев, чтобы, пройдя через невольничий рынок Занзибара, найти, наконец, себе прибежище в

a Kushite ventures into this region, he is stricken with *mal à l'estomac*.

Kush is a land of delicate, delectable emptiness, named for a vanished kingdom, the progeny of Kush, son of Ham, grandson of Noah. Their royalty, ousted from the upper Nile in the fourth century by the Christian hoardes of Axum, retreated from Meroe, fabled home of iron, into the wastes of Kor-dofan and Darfur, and farther westward still, pursued by dust-devils along the parched savanna, erecting red cities soon indistinguishable from the rocks, until their empty shattered name, a shard of grandeur, was salvaged by our revolutionary council in 1968 and, replacing the hated designation of Noire, was bestowed upon this hollow starving nation as many miles as years removed from the original Kush, itself an echo: Africa held up a black mirror to Pharaonic Egypt, and the image was Kush.

The capital is Istiqlal, renamed in 1960, upon independence, and on prior maps called Callieville, in honor of the trans-Saharan traveller of 1828, who daubed his face brown, learned pidgin Arabic, and achieved European celebrity by smuggling himself into a caravan from Timbuctu to Fez and doing what hundreds of unsung Berbers had been doing for centuries, maligning them as brutes even while he basked in the loud after-glow of their gullible hospitality. Previous to French organization of the territory of Noire in 1903 (checking a British thrust arising in the Sudan), the area on both sides of the river had been known, vaguely, as Wanji. An Arab trading town, El Abid, much shrunken from its former glory, huddles behind the vast white-and-green Palais d'Administration des Noires, modelled on the Louvre and now used in its various wings as offices for the present government, a Peoples' Museum of Imperialist Atrocities, a girls' high school dedicated to the extirpation of the influences of Christian mission education, and a prison for the politically aberrant.

In area Kush measures 126, 912, 180 hectares. The population density comes to .03 per hectare. In the vast north it is virtually immeasurable. The distant glimpsed figure blends with the land as the blue hawk blends with the sky. There are twenty-two miles of railroad and one hundred seven of paved highway. Our national airline, Air Kush, consists of two Boeing 727s, stunning as they glitter above the also glittering tin shacks by the airfield. In addition to peanuts are grown millet, sorghum, cotton, yams, dates, tobacco, and indigo. The natives

гаремах и казармах Персии и Китайского Туркестана. Вот так моя Куца и простирает свои прозрачные крылья над всем миром.

Песчаный океан между северной нашей границей и Средиземноморским побережьем пересекали когда-то торговые пути, соль меняли на золото, вес на вес; теперь этот вакуум тревожат лишь шведские плейбои и их «вольво», убежавшие от своей холодной тяготины, чтобы в реве своих движков и в песчаных бурях «хармодана» очень скоро поплатиться всеми семью слоями своей краски и превратиться в скелеты еще до того, как сядут их аккумуляторы. Мир, из которого Аллах изгоняет всех докучливых и неверных.

Дальше к югу, за Грионде, джунгли, мрак, дичь, голые твари, лихорадка, хаос. Невыносимо. Когда бы любой куцит ни отважился проникнуть в тот край, всегда подхватит, бедняга, диаррею, *mal a l'estomac*, профузный понос.

Деликатная просторно-пустынная моя Куца получила свое имя от исчезнувшего в давние времена королевства династии Куша, сына Хама, внука Ноя. Династия эта была изгнана в четвертом веке христианскими ордами Аксума из мифического Железного Дома Мерве в верховьях Нила к пустырям Кардофана и Дарфура. Век за веком она уходила все больше и дальше на запад по раскаленной саванне, спасаясь от дьяволов пыли и строя из скальных пород красноватые города, которые вскоре нельзя было отличить от скал; так продолжалось до тех пор, пока черепок прежнего величия, это разбитое потрескавшееся имя не было спасено нашим Революционным Советом в 1968 и взято на замену ненавистой клички *Noige*. Вот так слово Куца пришло словно эхо за много сотен миль, за много сотен лет от древнего величия к моей опустошенной голодающей нации. Африка подняла черное зеркало к фараонскому Египту, и образ, возникший в зеркале, назвался Куцей.

Столица наша Истиклаль еще раньше, в 1960, сразу после достижения независимости, избавилась от позорной клички Кальвиль, данной в честь француза-путешественника, который в 1828 году, изучив «пиджин-арабик» и вымазав физиономию коричневым, нагло пробрался в караван из Тимбукту к Фецу и совершил «историческое» путешествие, то есть то, что столетиями делали невоспетыми историками берберы. Впрочем, он-то не забыл их простодушного гостеприимства у вечерних костров, и описал их как «жес-

extract ingenious benefits from the baobab tree, weaving mats from its fibrous heart, ropes from its inner bark, brewing porridge, glue, and a diaphoretic for dysentery from the pulp of its fruit, turning the elongated shells into water scoops, sucking the acidic and refreshing seeds, and even boiling the leaves, in desperate times, into a kind of spinach. When are times not desperate? Goats eat the little baobab trees, so there are only old giants. When the oil has been pressed from the peanuts, the dry residue, called "groundnut cakes", can be utilized as fodder. The herds of livestock maintained by the tribes of pastoral nomads have been dreadfully depleted by the drought. The acacia trees yield some marketable gum arabic. The last elephant north of the Grionde gave up its life and its ivory in 1959, with a bellow that still reverberates. "The tou-babs took the big ears with them", is the popular saying. Both Sahel and Zanj possess quantities of bauxite, manganese, and other exploitable minerals, but aside from a streak of sulphur high in the Bulub Mountains the only known mineral deposit in Kush is the laterite that renders great tracts of earth unarable. (I am copying these facts from an old *Statesman's Year-Book*, freely, here where I sit in sight of the sea, so some of them may be obsolete.) In the north there were once cities of salt populated by slaves, who bred and worshipped and died amid the incessant cruel glisten; these mining settlements, supervised by the blue-clad Tuareg, are mere memories now. But even memory this in this land, which suggests, on the map, an angular skull whose cranium is the empty desert. Along the lower irregular line of the jaw, carved by the wandering brown river, there was a king, the Lord of Wanjiji, whose physical body was a facet of God so radiant that a curtain of gold flakes protected the eyes of those entertained in audience from his glory; and this king, restored to the throne as a constitutional monarch in the wake of the *loi-cadre* of 1956 and compelled to abdicate after the revolution of 1968, has been all but forgotten. Conquerors and governments pass before the people as dim rumors, as entertainment in a hospital ward. Truly, mercy is interwoven with misery in the world wherever we glance.

Among the natural resources of Kush perhaps should be listed our diseases — an ample treasure which includes, besides famine and its edema and kwashiorker, malaria, typhus, yellow fever, sleeping sickness, leprosy, bilharziasis, onchocerciasis, measles, and yaws. As these are combatted by the

токий народ», то есть нагло оклеветал. Перед тем, как французы, упрямая британское продвижение к Судану, организовали свою пресловутую Noige, местность по обе стороны реки смутно была известна под именем Ванджиджи. Некогда славный своей торговлей арабский город Эль Абид усох и превратился в подобие свалки на задах Палэ д'Администрасьон де Нуар, гигантского бело-зеленого здания, смоделированного ни более — ни менее как с Лувра и ныне занятого в разных своих крыльях офисами правительства, Народным Музеем Империалистических Злодеяний, школой для девочек Имени Искоренения Влияния Христианства, а также тюрьмой для политически неполноценных.

Территория Куци — 126.912.180 гектаров. Густота населения 0,03 человека на гектар, впрочем, на севере нули уходят в бесконечность, случайно мелькнувшая на горизонте фигура тут же сливается с землей, как голубой ястреб сливается с небом. Имеется 22 мили железной дороги и 107 миль мощеного шоссе. Национальная аэрокомпания «Эр Куца» располагает двумя «боингами 727», ошеломляюще сверкающими среди лачуг аэропорта. Кроме боевого бобового растут у нас просо, сорго, хлопок, ямс, бататы, финики, табак и индиго. Большое благо для населения — растение баобаб. Из коры его ткют коврики, плетут веревки, варят пиво, кашу, клей, потогонное средство, из семян высасывают освежающую кислоту, а в отчаянную пору даже переваривают листья в некоторое подобие шпината. Впрочем, когда у нас времена не отчаянные? К сожалению, наши козы съедают наши маленькие баобабы, а потому над страной шумят только наши старые гиганты. Есть еще одна хитрость — после выжимки масла из арахиса сухой остаток используется как жмых для скота. Пастбища наши увы, очень страдают от засух, но зато из акаций производится некоторое количество гумми-арабика на продажу. Последний наш слон откинул копыта и бивни в 1959 году к северу от Грионде, рев его все еще ревербирует в наших сердцах. *The toubabs are taking their ears with them;* — гласит пословица. Зани и Забел владеют бокситами, магниезией, другими полезными ископаемыми, у нас лишь одна лишь прожилка лишь сульфур лишь высоко в горах Булуб лишь... (Я выписываю все эти данные, сидя праздно у моря из не очень-то нового ежегодника «Стейтсмен», так что сведения могут быть слегка устарелыми...) На севере среди бесконечного жестокого сияния возникали когда-то города рабов,

genius of science, human life itself becomes a disease of the overworked, eroded earth. The average life expectancy in Kush is thirty-seven years, the per capita gross national product \$79, the literacy rate 6%. The official currency is the lu. The flag is a plain green field. The form of government is a constitutional monarchy with the constitution suspended and the monarch deposed. An eleven-man Supreme Revolutionaire et Militaire pour Emergence serves as the Executive arm of the government and also functions as its legislature. The pure and final socialism envisioned by Marx, the theocratic populism of Islam's periodic reform movements: these transcendent models guide the council in all decisions. SCRME's chairman, and the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Minister of National Defense, and President of Kush was (is, the Statesman's Year-Book has it) Colonel Hakim Felix Ellellou — that is to say, myself.

Yet a soldier's disciplined self-effacement, my Cartesian schooling, and the African's traditional abjuration of ego all constrain this account to keep to the third person. There are two selves: the one who acts, and the "I" who experiences. This latter is passive even in a whirlwind of the former's making, passive and guiltless and astonished. The historical performer bearing the name of Ellellou was no less mysterious to me than to the American press wherein he was never presented save snidely and wherein his fall was celebrated with a veritable minstrelsy of anti-Negro, anti-Arab cartoons; in the same spirit the beer-crazed mob of American boobs cheers on any autumnal Saturday or Sunday the crunched leg of the unhome-team left tackle as he is stretchered off the field, Ellellou's body and career carried me here, there, and I never knew why, but submitted.

We know this much of him: he was short, prim, and black. He was produced, in 1933, of the rape of a Salu woman by a Nubian raider. The Salu are a sedentary tribe in the peanut highlands of the west. His mother, a large, oppressively vital woman of the clan Amazeg, became the wife by inheritance of her husband's sister's husband, her own husband having been slaughtered the same night of her rape. The peanut lands are brown, the whispering feathery brown of the uprooted bushes as they dry, precious pods inwards, in stacks two meters high, and Ellellou from the first, perhaps taking his clue from these strange fruits that can only mature underground, showed a wish to merge with his surroundings. In the public eye he al-

которых гоняли в соляные копи туареги в их голубых одеяниях. Города эти сейчас только лишь памятники прошлого, но даже и память оскудевает в этой стране, напоминающей на карте угловатый череп, под сводом которого — пустыня. Нижняя челюсть этого изображения образована блуждающей коричневой рекой. Там некогда восседал Властелин Ванджиджи, наш король. Физическое его тело считалось аспектом Божества, оно испускало такие лучи, что требовался занавес из золотой чешуи, чтобы предохранить глаза смертных. Король этот был возвращен к трону в рамках французского *loi-cadre* на волне национального пробуждения в 1956 и принужден был отречься от трона после революции 1968. Сейчас он почти уже позабыт. Завоеватели и правители тусклой чередой проходили перед народом, словно посетители перед больным. Милосердие и беда переплетаются в этом мире, куда ни кинь взгляд.

Среди естественных ресурсов Кущи быть может нужно было бы перечислить такие сокровища, как: квашноркор, бильчарзиазис, ончосерзиазис и другие наши болезни, однако по мере того, как они побеждались гением науки, сама человеческая жизнь становилась чем-то вроде болезни, непомерной нагрузкой для нашей измученной эразированной земли. Средняя продолжительность жизни 37 лет, национальный продукт на душу населения 79 долларов в год, уровень грамотности 6%. Официальная валюта — «лу». Флаг — простое зеленое поле. Форма правления — конституционная монархия с подвешенной конституцией и свергнутым монархом. Чрезвычайный Высший Военно-Революционный Совет из одиннадцати человек — вот исполнительная и законодательная власть страны. Чистейший и окончательный социализм, предвиденный Марксом, плюс теория исламского популизма — вот трансцендентные модели, которые направляют Совет во всех его решениях. Председателем ВВРС, командующим вооруженными силами, министром национальной обороны и президентом Кущи являлся (по ежегоднику «Стэйтсмен» является) полковник Хаким Феликс Иллилуя — то есть, так сказать, я сам.

Солдатская дисциплина и картезианское воспитание, стремление к само-стусшевыванию в сочетании с традиционным африканским отречением от «его» привели, быть может, к тому, что я не мог ощутить себя как единое целое. Существовали две отдельные персоны: я, который действовал, и я, который переживал содеянное. Этот последний был совер-

ways wore brown, the tan of his military uniform, unadorned, as monotonous and uninsistent as the tan of the land itself, the savanna merging into desert. Even the rivers in Kush are brown, but for the blue moment when the torrents of a rain-storm boil murderously down a wadi; and the sudden verdure of the rainy season soon dons a cloak of dust. In conformity with the prejudices of the Prophet. Ellellou resisted being photographed. Such tattered images, in sepia tints, as gathered fly specks in the shop windows and civic corridors of Istiqlal were hieratic and inexpressive. His one affectation of costume was the assumption, on some state occasions, of those particularly excluding and protective sunglasses whose odd trade name is NoIR. It was said that his anonymity was a weapon, for armed with it he would venture out among the populace as a spy and beggar, in the manner of the fabled Caliph Haroun al-Raschid. Colonel Ellellou was a devout Muslim. He had four wives, and left them all (it was said) unsatisfied, so consuming was his love for the land of Kush.

At the age of seventeen, to escape the constriction of village life, in whose order his illegitimacy and his mother's widowhood gave him a low place, he enlisted in the **Troupes coloniales** and eventually saw service in French Indochina prior to Colonel de Castries' defeat at Dienbienphu in 1954, by which time he had risen to the rank of sergeant. In battle he found himself possessed of a dead calm that to his superiors appeared commendable. In truth it was peanut behavior. Out of the tightest spot, even as when the hordes of General Giap outnumbered the defenders four to one and the Asiatic abhorrence of black skins was notoriously lethal, he had faith, the pull of fate would rescue him, if he be numb enough, and submit to being shelled. During the subsequent campaigns of his division, when many of the **Troupes noires** were pressed into fratricidal struggle with the independence-seekers of Algeria, Ellellou left no trace of himself on the military record. He re-emerges from the shadows around 1959, with the rank of major, as an attache to King Edumu IV, Lord of Wanjiiji. Their failure with Bao Dai had not totally soured the French taste for puppet monarchs. The king was then in his sixties, and has spent a dozen years under house arrest by the colonial representatives of the Fourth Republic in retribution for his alleged collaboration with the Vichy government of Noire and their German sponsors, his shame doubled by the heroic example of resistance offered by Felix Eboue of French Equatori-

шенно пассивен в круговороте событий, удивленное, ни в чем неповинное дитя человеческое. Исторический деятель, носящий имя Иллилуя, был для него загадочен не менее, чем для американской прессы, которая отпраздновала его падение вакханалией анти-негритянских и анти-арабских каррикатур. В таком же духе ошалевшая от пива толпа американских болванов вопит от радости осенним уикэндом, когда с поля утаскивают переломанного игрока чужой команды. Тело полковника Иллилуя, совершившее свою карьеру, притащило меня сюда, где я нахожусь сейчас, совершенно ничего не понимающий, но всему подчиняющийся.

Мы знаем о нем немало. Маленький, чопорный, черный, он был продуцирован к жизни в 1933 году путем изнасилования женщины племени «салу» каким-то нубийским налетчиком. «Салу» — оседлое племя в арахисовом плоскогорье на западе. Мать его, угнетающе витальная леди из клана Амазег, по законам клана стала женой мужа сестры ее, мужа, зарезанного в ту же ночь исторического изнасилования. Мир арахиса, коричневые шепчущиеся поля, кусты с корнями вверх и с драгоценными стручками под землей, сохнувшие скирды двухметровой высоты, это был мир Иллилуи, отсюда шла основная нить его жизни, и, может быть, именно эти странные плоды, созревающие только под землей, возбуждали и в нем постоянное желание слиться с окружающей средой. Перед публикой он всегда представлял в коричневой военной униформе, столь же монотонной, как саванна его родины, переходящая в пустыню. Даже ведь и река в Куче коричневая и голубеет она лишь на короткое время в сезон дождей, когда невероятные ливни вдруг оживляют прибрежную зелень, чтобы вскорости уйти однако в болота и позволить лечь на все вокруг налету коричневой пыли. В соответствии с заповедями Пророка Иллилуя всегда противился фотографированию. Выставленные в окнах магазинов и в гражданских присутствиях Истиклала, основательно засиженные мухами, его изображения, сделанные сепией, считались священными и были маловыразительны. На государственных оказиях он появлялся в темных очках. Эта анонимность давала ему в руки определенное оужие, при желании он мог бы рискнуть и проникнуть в среду своего населения, как нищий-соглядатай в стиле мифического Гарун-аль-Рашида. Полковник Иллилуя был благочестивым мусульманином. У него имелось четыре жены и всех их

он оставил неудовлетворенными, так как не мог поделить с ними свою любовь к Родине.

В семнадцатилетнем возрасте, для того, чтобы убежать от «идиотизма деревенской жизни», который явно не сулил ему ничего хорошего ввиду незаконности рождения, он завербовался в колониальные войска и в конце-концов попал во Французский Индо-Китай, где дослужился до сержанта и участвовал в историческом капуте полковника де Кастри при Дьен-бьенфу в 1954. На полях брани он держался с убийственным спокойствием, что казалось старшим по званию весьма похвальным. На самом деле это было, конечно, поведением арахиса. В самых безнадежных осадах, когда полчища генерала Зиапа превышали силы обороняющихся в четыре раза, а азиатское отвращение к черной коже не сулило ему ничего, кроме летального исхода, он сохранял веру, что судьба как-нибудь вытянет, только если будешь достаточно нем и покоришься ужасным взрывам. В последующих компаниях, когда *troupees noires* были втянуты в братоубийственную войну с соискателями независимости в Алжире, Иллилуя так уж ступешевался, что начисто исчез из каких бы то ни было воинских записей. Он вынырнул на поверхность приблизительно в 1959 уже в чине майора и в качестве атташе при дворе короля Эфушу IV, Властелина Ванджиджи. Позорный прокол с Бао Даем не вполне еще отбил у французов вкус к устройству марионеточных монархий. Королю было 60 с чем-то лет, из которых 12 с чем-то он провел под домашним арестом, назначенным ему колониальными властями IV республики в знак возмездия за позорную коллаборацию с режимом Виши, а стало быть и его германскими покровителями. Позор Властелина Ванджиджи удваивался героическим примером по соседству, имеется в виду безупречное поведение Феликса Эвуэ во Французской Экваториальной Африке. Иллилуя тесно сотрудничал с королем и буржуазно-либерально-элитарной администрацией, с которой король делил свою весьма потускневшую власть, вплоть до 1968, до переворота, в котором Иллилуя, хотя и держался в тени ныне щедро оплаканного народного героя генерала Жана Франсуа Якубу Саба, играл все же решительную, если не решающую роль. В 1969 году он стал министром информации, через год министром обороны, а после успешно осуществленного на 12-й день Рамадана убийства генерала Саба — президентом. Ныне апартаменты его частично располагаются в грандиозном, возве-

al Africa to the south. Ellellou continued in close association with the king and with the liberal-bourgeois elitist administration to which the king lent his tarnished authority, until the coup of 1968, in which Ellellou, though secondary to the well-mourned people's hero General Jean-Francois Yakubu Soba, played a decisive, if not conspicuous, part. He became Minister of Information in 1969, Minister of Defense later that year, and upon the successful assassination attempt upon General Soba on the twelfth day of Ramadan, President. He keeps an apartment within the grandiose government building erected by the French and another in the military barracks at Sobavilic. His wives are scattered in four separate villas in the suburb still called, as it was in the days of imperialist enslavement, Les Jardins. His domicilic policy is apparently to be in no one place at any specific time. More than this, of the legendary national leader and third-world spokesman, is difficult to discover.

Why did the king love me? I ask myself this in anguish, remembering his infinitely creased face surrounded by wiry white hair and in color the sunken black of a dried fig, his way of nodding and nodding as if his head were mounted on a tremulously balanced pivot, his cackle of mirth and greed like a fine bix crushed underfoot, his preposterously bejewelled little hands, so little thickened by labor as to seem two-dimensional, so lightly gesturing, lifting in a wind of hopeless gaeity and sadness such as lifts puffs of dust on the street. His pallid eyes, not blue yet not brown either, a green, rather, blashed by his blindness to a cat's shallow-backed yellow, always reminded me that his royal line had come from the north, contemptuous and foreign, however darkened, arrogant assailants, themselves in flight, bringing with them, worse than their personal cruelties, the terrible idea of time, of history, of a revelation receding inexorably, leaving us to live and die to no purpose, in a state of nonsense. What did this blind man see when he looked at me? I can only speculate that, amid so many possessed by their personal causes, by schemes of aggrandizement for themselves and their clans and their wives' clans, I was a blur of a new color, patriotism. This arbitrary and amorphous land descended to him from the French, this slice of earth, with its boundaries sketched by an anonymous cartographer at the infamous Berlin Conference of 1885 and redrawn more firmly as a military zone for occupation a decade later, its pacification not complete until 1917 and its assets to

денном французами правительственном здании, а частично в военном городке, в Сабавиле. Коллектив его жен рассеян по четырем отдельным виллам в пригороде, именуемом еще по-старому, как в дни империалистического рабства, *Les Jardins*. Отсутствие постоянного местожительства и стабильного расписания — это конечно определенная политика. Благодаря ей легендарный национальный лидер и выразитель идей Третьего Мира почти неуловим.

Почему король так любил меня? Страдание не оставляет меня, когда я вспоминаю его лоснящееся лицо, окруженное проволокой седых волос, и две глубоко запавшие сухие фиги, его манеру постоянно кивать головой, кивать или подрагивать, как будто голова сидит на трепещущей спице, его кудахтанье в минуты веселья или скупердяйства, наполняющее звуки раздавленной под ногой шутейной коробочки, его до абсурда украшенные бриллиантами пухлые ручки, не тронутые и намеком на человеческую деятельность, поднимающийся вокруг него, словно пыль на улице, душок безнадежной веселости и печали. Его бледные, пожалуй, даже голубенькие, хотя и слегка зелененькие, или чуть-чуть коричневые, может быть попросту белые, как у слепца, но во всяком случае подернутые кошачьей желтизной глазки всегда напоминали мне, что его род пришел с севера, что короли эти суть мрачные и высокомерные захватчики, принесшие с собой нечто даже похуже их личной жестокости, их ужасающую идею времени, истории, безжалостно раскрывающую перед нами неумолимость и бессмысленность жизни и заставляющую наш народ существовать в состоянии абсурда. Что видел этот слепец, когда взирал на меня? Я могу только предполагать, что среди мелькающих перед ним крохоборов, одержимых лишь собственной мощью, в крайнем случае интересами своего клана или клана жены, я был для короля пятном другого цвета — я был патриотом.

Эта причудливая и аморфная страна, переданная ему французами, ломоть земли с границами, нарисованными анонимным картографом к презренной Берлинской конференции 1885 года и закрепленными десятилетием позже как оккупированная зона, эта страна, умиротворенная только после 1917, страна с активами, полностью заложенными в *La Banque de France*, страна, где живет такой восхитительный тонкий народец — что это все для него значило? Историческое Королевство Ванджиджи растягивалось и сокращалось, как желудок какой-то твари, не жравшей столетья-

this day mortgaged to La Banque de France and its beautiful brown thin people invisible on every map — what was it? The historic kingdom of some creature that does not eat for centuries; by the time the Gauls, at de Gaulle's mystical bidding, abandoned colonial rule and cast about for an agency wherewith to rule covertly, Wanjiji had shrunk to a name and a notion of infinite privilege in the head of one ancient prisoner. He, casting about in turn, saw in me, an exile returned with re-educated passions, what he failed to discern within himself, an idea of Kush.

ми; от галлов до де Голля шли какие-то тайные торги, открытый колониальный грабеж и прикрытый; что осталось от Ванджиджи, кроме пустого звука, кроме совершенно непонятного права на бесконечные привилегии, засевшего в голове этого древнего зека. Впрочем, быть может, глядя на меня, он видел то, что отчаялся разглядеть в себе самом, идею Куци.

Перевел В. Аксенов.

ЧЕТЫРЕ ТЕМПЕРАМЕНТА

Комедия
(10 картин)

От автора. Среди других бездомных моих вещей «Четыре темперамента», быть может, самые бездомные. Нежные чувства одиннадцатилетней давности толкнули меня втащить их под крышу «Метрополя».

Действующие лица:

Хол Ерик	III Дама
Санг Виник	IV Дама
Флег Матик	Любовный треугольник
Мелан Холик	Катюша
Разраилов	Емеля
Кибер	Гутик
Орел	Помреж
Нина	Дидя Витя
I Дама	Фефелов
II Дама	

Действие происходит в далеком будущем,
затем вне времени и пространства,
финал — в наши дни.

1

Перед белым экраном мечется Холерик. Он в черном. на глазах защитные очки. Останавливается лицом к залу,

покачивается, поднимает руку, словно заслоняясь от слепящего огня.

Холерик

Девятый день заходит это солнце,
Всё запеклось в крови, всё помертвело...
Какое нудное кровопусканье!
Пора уж уходить к чертям собачьим!
А волны, волны! Полюбуйтесь, братцы,
на скопище бессмысленных баранов,
на сборище гривастых идиотов,
катящихся к подножью истуканов,
к бетонным теремочкам цвета желчи!
А вертолеты, висающие над рынком,
мрачней жуков навозных... ох, как тошно!
Нет, не могу! Пора уже отчалить!
Я уйду! Кранты! И дело тут не в славе,
Не в почестях погибших, не в измене...
Все дело в цвете, в этом мрачном свете,
Вот в этих красках, от которых, братцы,
Я выть хочу, а это неуместно
Для чемпиона лобовых ударов.
Хотя, кто помнит? дело тут не в этом,
Не в памяти... Итак, пора! Прощайте!
Я завязал!

Смотрит вниз на катящиеся под мостом волны, воздевает руки в немом яростном проклятии, перекидывает ногу через перила моста...

Появляется Разраилов.

Разраилов

А вы очки снимите!

Холерик

Какого черта? Кто мне тут мешает
Отправиться на перевоз к Харону?
Забыли, кто я? Так могу напомнить!

Разраилов

Зачем? Вы мастер лобовых ударов.

Холерик

Однако помнят? Все же не забыли?
Но все равно мне некогда вас слушать
И бросьте про очки плести свой вздор!

Разраилов

Послушайте, мы помним ваши взрывы,
Срыванье всех и всяческих там масок.

(хихикает в сторону)

У нашего, поверьте, поколенья
Осталась память.

Холерик

Да не в этом дело!

Что мне до памяти, когда проклятый город
Таковыми красками паскудными окрашен!

Разраилов

Очки снимите! Все не так уж мрачно.
Попробуйте, рискните!

Холерик

(снимает очки)

В самом деле...

Немного лучше, чуточку спокойней,
Немного меньше всё напоминает бойню...

Разраилов

(хватает его за руку)

Готовы вы служить Эксперименту?
Во имя положительной программы?
Во имя ваших прежних идеалов?
Во имя масс?

(вырывает очки)

Холерик

Но я не понимаю!

Белый экран гаснет. Зажигается желтый, на фоне которого
стоит, опустив руки, Флегматик в желтом.

Флегматик

Мамаша не вернулась... Где же киска?
Бульон протух. Пожалуй, я повешусь...
А может почитаю на ночь книжку,
Как в добром девятнадцатом столетьи?

(не двигается)

Пожалуй, книжку мне уж не найти
Как не найти ушедшего папашу...
Вот так и буду я смотреть на окна,
На кисло-серый монумент напротив,
На комбинат «Улучшим настроенье»,
Обманщиков и жуликов притон.

(нерешительно хлопает носом)

Нет, правда, все же лучше я повешусь,
Намылю мылом крепкую веревку,
Как в старину бывало мылил каждый
В двадцатом, двадцать первом, двадцать третьем
Столетиях тихоньких... Привет, ребята...
(делает движение)

Появляется Разраилов.

Разраилов

Стойте!

Просил бы вас, остановите ваше
Неумолимое движение к петле.
Поверьте, друг, бульон благоухает,
Когда в него кладут восстановитель,
Котенок ваш давно уж превратился
В благоухающий кусочек мыла,
Им моет грудь прелестная дешевка,
А благовонную, мой друг, мамашу
Заменит вам эксперимент научный.
Стойте!

Флегматик

Стою давно уже по вашему приказу.

Разраилов

Очки наденьте! Мир преобразится,
И кисло-серый монумент напротив
Покажет вам величие эпохи!

(надевает на Флегматика очки)

Флегматик

А ведь верно.

(вглядывается)

Тяжелый идол вдруг засеребрился,
А загогулька в этом дивном небе
Напоминает хвостик моей киски...

Разраилов

Итак, пойдете!

Гаснет желтый экран. Вспыхивает лиловый, на фоне которого блуждает, заламывая руки, Меланхолик в зеленом. На нем очки.

Меланхолик

Вот угасает день в оранжерее,
На противне котлеты угасают...
Вот угасает мой видеофончик,

Доставшийся в наследство от угасших
Веков — свидетелей истории угасшей...
Вот угасают юные созданья,
И угасают зрелые матроны,
И гаснет Институт омоложения,
И угасает гаснущий газон...
Вот угасает солнце, в мириадах
Угасших лет Галактика тускнеет...
Начало фразы к угасанью фразы
Неумолимо гаснущих влечет...
Одна тоска моя не угасает
И оборвать ее я должен нынче,
Принявши яд ужасной рыбы «фуго»
На фоне сизо-пепельных цветов.

(делает несколько движений, свидетельствующих
о приближении конца)

Разраилов

Не кажется ли вам, что в угасаньи
Уже сокрыт источник разгоранья?
Что творческие силы человека...

Меланхолик

Простите, что у вас на голове?

Разраилов

На голове моей, признаться, кепи.
Отличный кепи модного покроя.

Меланхолик

Да-да, я вижу. Ну, а что под кепи?

Разраилов

Под кепи шевелюра.

Меланхолик

Да, я вижу.

А что под шевелюрой?

Разраилов

Ниже кожа!

Под нею кожа собственной персоной.

Меланхолик

Да-да, там кожа. Ну, а что под кожей?

Разраилов

Под кожей череп милостью природы.

Меланхолик

Там череп, череп! Боже! Боже! Боже!

(у него подламываются ноги)

Разраилов

(поднимает Меланхолика)

Как вам не стыдно! Вижу, вас тревожит
Вопрос ничтожнейший, презренный «данс макабр»?
И это в наше время, на пороге
Событий важных, революционных?
Какая примитивность! Так негоже!
Очки снимите! Больше оптимизма!
Пойдем вперед путем Эксперимента!

Меланхолик

(щурится без очков)

Да-да, вперед, но я не понимаю...

Гаснет лиловый экран. Загорается красный, на фоне которого, деловито потирая руки, прохаживается Сангвиник в белом.

Сангвиник

Итак, я снова в чудном настроеньи!
Который год я наслаждаюсь жизнью
И каждой клеткою воспринимаю
Разумность мира, важность бытия.
Желудок мой в ладу с пищевареньем,
А я люблю вишневое варенье,
А сердце увлекается любовью
И гонит кровь в сосуды, как всегда.
Я чередую отдых и работу,
Любовь и спорт, кефир и алкогольных
Напитков радость, нажимаю кнопки,
Цветы срываю, их вдыхаю запах,
Пою в ансамбле, правильно питаюсь...
Я всем доволен, ровен и сердечен,
Душа компаний, радость преферанса,
И потому покончить с безобразьем
Решил одним ударом навсегда.

(вынимает из кармана пистолет,
приставляет ко лбу)

Ведь если я могу понять разумность
Всего, что в мире есть, то почему же
Мне не понять разумность этой пули,
Давно уж ждущей моего толчка?

Появляется Разраилов.

Разраилов
(в сторону)

Боюсь, что это самый трудный случай.
Румян, здоров, красив и сангвиничен:
Законченный балбес-самоубийца.

(Сангвинику)

Послушайте, приятель, вы уже?..

Сангвиник

Простите, с кем имею честь?

Разраилов

Я Разраилов.

Хотел бы вас предостеречь от слишком
Оптимистически-вульгарных взглядов.
Клянусь вам, мир намного интересней,
И под прикрытием внешнего покрова
Таится нечто...

Сангвиник

Бросьте вы болтать!

Разраилов

К примеру, что у вас на голове?

Сангвиник

Ну, кепи.

Допустим, кепи модного покроя.

Разраилов

Да-да, я вижу. Ну, а что под кепи?

Сангвиник

Под кепи шевелюра-с...

Разраилов

Да, я вижу.

А что под шевелюрой?

Сангвиник

Ниже кожа-с.

Под нею кожа собственной персоной.

Разраилов

Да-да, там кожа. Ну, а что под кожей?

Сангвиник

Под кожей череп милостью природы.

Разраилов

Вот видите. Там череп. Череп. Череп.

Сангвиник

Подумайте, как интересно! Ужас!
Немного страшновато-с! Череп! Надо ж!

Признаюсь, батенька, что никогда подобным образом я не расчленил явления...

Разраилов

Очки надетьте!

(подает очки)

Мир преобразится,

И вы увидите трагизм повсюду,

И будет вам намного интересней

И увлекательнее...

Сангвиник

(в очках)

В самом деле.

Я вижу боль и трепет, и тревогу...

Мне надо жить! За оптимизм бороться!

Разраилов

(горячечно)

Все это так, и я вам предлагаю

Возглавить авангард в числе немногих,

Пойти вперед путем Эксперимента!

Согласны вы?

Сангвиник

(пылко)

Прекрасная идея!

Гаснет весь свет.

2

Сцена освещается изнутри, она пуста, видны даже всякие механические приспособления театра, разные там блоки, лебедки, колеса...

Появляются несколько рабочих, на глазах у зрителей они начинают монтировать декорации, громко переговариваются.

Пожилой рабочий сцены дядя Витя. Куды ж ты, Емеля, фуру тащишь? Заест етту фуру, Орлу тогда гроб.

Молодой рабочий сцены Емеля. А куда ее пихать?

Дядя Витя. Пихай влево.

Емеля. Опыта маловато, дядя Витя. Нас на философском факультете этому не учат.

Средних лет рабочий сцены Гүтик. Значит, что же, дядя

Витя, получается? Выходит, утвердили роль Орла? Выходит, с профсоюзом не считаются?

Дядя Витя. То-то и оно, что утвердили. В аккурат третьего дня, во вторник, то есть, после аванса с Сергачановым мы в реквизитной засиделись, и тут звонок был главному. Утвердили.

Девушка Катюша, рабочий сцены. Как жалко мне Евгения Александровича!

Емеля. Простите, Катюша, отчего это вам так уж его жалко? Пышный жизнерадостный старик...

Дядя Витя. Вчерась, в четверг, значит, говорит он мне — видать, последняя моя роль, дядя Витя.

Катюша. Очень мне жалко Евгения Александровича! Он какой-то близкий, какой-то зовущий! И кому нужна эта роль Орла!?

Гүтик. А это мы еще на месткоме провентилируем. Осади, Емеля, подай назад... заноси!

Емеля. Задник чем крепить, дядя Витя? Роль Орла, Катюша, в этом спектакле имманентна и трансцендентальна, никто лучше Евгения Александровича вашего с ней не справится.

Дядя Витя. А ты поменьше разглагольствуй, философ! Без году неделя на сцене, а туда же... о ролях... держи трос и с места не сходи.

Входит Помреж.

Помреж. Дядя Витя, я в тревоге. Чем будем панораму крепить?

Дядя Витя. Жгентелем ее надо крепить, Алисия Ивановна, тройной скобкой, мулероном хорошо бы прихватить, полагаю.

Помреж. Но где же это все взять, дядя Витя? У нас и простых болтов не хватает.

Дядя Витя. Дело ваше, Алисия Ивановна, а поить Фефелова больше сил у меня нет. У Фефелова вкус непростой — «табака» любит с «Мукузани», к кофию коньяку, сувенирчик какой-нибудь в конце обеда, то... се... А я исчерпал свои финансовые возможности.

Помреж. Может быть, и так сойдет?

Дядя Витя. Оно посмотрим, а только боюсь, как во втором акте катавасия начнется, жди беды.

Помреж. О, ужас!

Дядя Витя. Вон Гутику скажите — проведет через местком ассигнования, выбью из Фефелова мулерону банки три.

Гутик. Местком на подлог не пойдет.

Дядя Витя. То-то и оно. Пошабашим, ребята!

Забрав молотки, клещи и все остальное, рабочие покидают сцену, последней уходит Помреж Алисия Ивановна. Уже из-за кулис она бросает на декорации взгляд, полный сомнения и тревоги.

3

Сверкающее белизной, пронизанное голубым сиянием помещение, похожее на лабораторию из научно-фантастических романов. Огромное окно, за которым пустое голубоватое пространство. Четыре вращающихся кресла с мягкими подлокотниками. Над каждым из кресел странной формы экран. Возле одной из стен стоит невероятно сложное кибернетическое устройство с множеством кнопок, регуляторов и т. п.

Входят Сангвиник, Меланхолик, Холерик и Флегматик. Останавливаются в середине сцены, недоуменно оглядываются.

Вслед за ними появляется Разраилов, задыхается, кашляет, сплевывает в окно.

Разраилов (в сторону). Проклятая верхотура! Если бы не эксперимент, ни за что бы не поперся, да еще в компании с самоубийцами. (Поправляет галстук, быстро причесывается) Итак, друзья, наше длительное восхождение завершено. Мы в святая святых, у истоков Великого Эксперимента. Здесь, именно здесь возникнет будущее человечества с его неограниченными возможностями, и здесь мы, пионеры современной науки...

Холерик. Довольно словоблудия! Мы требуем, чтобы нам объяснили суть эксперимента. Столько дней топтать по лестнице вверх, чтобы выслушивать очередную демагогию?!

Флегматик. Главное, что добрались. Где здесь уборная, граждане?

Меланхолик (смотрит вниз, в окно). О боже, земли не видно!

Сангвиник. Все это прекрасно, но где мы, Разраилов?

Разраилов (обиженно). Меня перебили, не дали развернуть мысль. Вот этот невыдержанный гражданин...

Холерик. А вы точнее высказывайтесь. Речугами мы и так сыты по горло!

Разраилов (кричит). Не орите на спасителя! Не будь меня, болтались бы сейчас, как бревно, в канализации Гульtimoоры. Граждане, даже в условиях Великого Эксперимента прошу соблюдать элементарные принципы единоначалия. Не забывайте, что я ваш директор и спаситель. Итак, прошу вас сесть в эти кресла, это ваши рабочие места. (рассаживает сотрудников). Так, прекрасно. Теперь, граждане будущего человечества, надежда всех шести континентов, я разъясняю вам вашу великую миссию.

Холерик. Опять демагогия?

Разраилов. Я вас уволю, если будете прерывать! Друзья, за сотни веков существования цивилизации земля впитала в себя порочные идеи, соблазны, рефлексии и мечты тысяч поколений. Поэтому невзирая на колоссальные технические достижения, истинный прогресс на Земле невозможен, а я, Разраилов, преданный ревнитель прогресса во все века, должно быть, знаете из литературы — бьет в меня горящими глазами ангел смерти Азраил... условность, конечно... намек на лазер... пардон. Происходит колоссальный разрыв между прогрессом кибернетических машин и застоем, а может быть, даже регрессом, увы-увы, человечества. И вот моя идея, граждане, поддержанная и финансируемая Академией Лонг-Шорт-Лайф, а также Юнион-Квас-Лимитейд. Построена башня, на вершине которой мы сейчас находимся. Высота... гм-гм... значительная... Прошу обратить внимание на этот предмет (вынимает из кармана шарик, бросает его в окно). Теперь вновь внимание на меня. Итак, на этой высоте на вас, участников Эксперимента, не будут действовать миазмы земли, во-вторых, влияние высоты, сформированное новейшим стимулятором, управление которым я буду вести из своей командной рубки, в колоссальной степени повысит ваши умственные возможности и творче-

ские силы. А вы, в свою очередь, сможете управлять сложнейшим кибером. Таким образом, цепь замкнется, главная проблема будущего будет решена. Новая эра! Заря! Радуга! Вознесенные индивидуумы, киберо-люди... (продолжает что-то пылко, но беззвучно говорить, жестикулирует, танцует).

Сангвиник. Что это с ним?

Холерик. Извините, терпеть не могу патетики. Я его выключил. Нажал под столом какую-то кнопку и он выключился.

Флегматик. Высота... оно понятно... влияет...

Меланхолик. Как это ужасно — человек без звука! Говорят, в старину было такое кино...

Сангвиник. Да-да, батенька, представьте, вот потеха! Недавно я читал, что в прошлом были фильмы даже без запахов и без плоти.

Холерик. Зато какие были тогда люди! Гиганты!

Флегматик. Говорят, что тогда в кино даже нельзя было поддержать полюбившуюся кинозвезду за кругленькое местечко.

Сангвиник. Друзья, есть предложение познакомиться. Меня зовут Санг Виник. (Холерику). А вас?

Холерик. Не помните меня? Вглядитесь! Эх, жалкое племя! Меня зовут Хол Ерик. Ну?! Никаких эмоций?

Меланхолик. Да разве можно быть известным в наше время? Мое имя Мелан Холик, даже я ни на что не рассчитываю.

Флегматик. А мое имя Флег Матик. Мой папа *gopogis causa* университета города Баковка, но он куда-то пропал, а мама... Граждане, где все-таки здесь уборная?

Сангвиник. Послушайте, батенька, а как вы сюда попали?

Холерик. Не ваше дело! Я к вам в душу не лезу!

Сангвиник. Извините. Я сам не склонен распространяться. А вы, Мелан?

Меланхолик. Что вам сказать? Я жертва вымысла, что называется реальностью. В последнее мгновение появился Разраилов.

Флегматик. А я могу сказать. Дело в том, что мамаша куда-то провалилась и киска пропала, а бульон протух, и я...

Сангвиник. Молчите, Флег! Я все понял! Ну, что ж, друзья, раз уж так получилось, и мы на башне, а наше

начальство пока что выключено, сыграем в «чирышек-пупырышек-бубо».

Холерик. Отличная идея! Вы мне нравитесь, Санг!

Меланхолик. Увы, я почти забыл эту запрещенную игру.

Флегматик (встряхнувшись, весело). А мы с мамашей всегда в нее играли, и киска третья...

Сангвиник. Я начинаю. (показывает Холерику пальцы, сложенные в кольцо) Чирышек!

Холерик. Классно! Дайте подумать. (думает) Пупырышек! (показывает Меланхолику последовательно «уши», «нос», четыре пальца и медный ключ)

Меланхолик. Сложный ход. (думает) Ага, нашел. (Флегматику) В ночи горел вошел Наполеоном четыре хризантемы и бутон. (показывает «рожки»).

Флегматик. Ишь, как завернул... (думает, потом затыкает уши, свистит) Бубо! (сразу ослабев, вяло). Вот так я вас.

Все. Bravo! Гениально! Какой простой и мощный ход. (аплодируют).

Разраилов, продолжающий свою пламенную безмолвную речь, тоже аплодирует.

Сангвиник. Итак, у вас 27 очков, у вас 11, у вас 18, у меня 14. Начинайте, Флег, ваша подача.

Снизу доносится глухой взрыв. Все вскакивают.

Холерик. Началось! К оружию!

Сангвиник (подбегает к окну, смотрит вниз). Внизу розовое облако, похожее на пион. Каково-с?

Меланхолик. О, ужас! Угасающий пион!

Флегматик. Да це та штука до земли долетела.

Все смотрят вниз, потом отворачиваются от окна.

Разраилов. ...без компромиссов и снисхождения! Радуга над головой! Вперед, кибер-люди! Ура! (причесывается, нагло улыбается, поправляет галстук). Ну-с, друзья, отдохнули? Не воображайте, Хол, что я в ваших руках. Это вы в моих руках. А теперь за работу. По местам! Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!

Сотрудники молча занимают свои места в креслах. Разраилов обходит всех, пожимает руки, интимно шепчет каждому «поздравляю», потом четкими офицерскими шагами покидает сцену.

Сотрудники молча, глядя прямо перед собой, сидят в креслах.

Над ними начинают флюоресцировать экраны. Включается тихая, но чудовищная музыка.

Холерик (изменившимся металлическим голосом). Задание первое. Из бассейна А в бассейн В ежедневно вытекает 400 кубометров воды и 300 кубометров вина. Из бассейна С ничего не вытекает. Требуется рассчитать количество осетровых мальков во внутренних водоемах Антарктиды. Включаю Кибер.

С резким мгновенным воем включается и освещается Кибер.

Кибер. Хелло, ребята! Поздравляю с началом эксперимента. Передача окончена.

Флегматик. Начинаю. Необходимо установить законные потребности каждого современного человека в осетровых мальках, внутренних водоемов.

Меланхолик. Продолжаю. В хромосомной теории Бонч-Мариенгофа клетка, изменяясь, выражает число абсолютно малое, уходящее в протоплазму типа нос. Отбрасываем. Отсюда следует: сон, нсо, осн, трапеция с огнем внутри.

Кибер. Небольшая поправка. Логос. Передача окончена.

Сангвиник. Итог: Бесконечно малое, уходящее в нос, с учетом потребностей Лестера Бота ночью с похмелья, гемоглобин 90 — мальков нет минус единица. Конец.

Кибер. Какие вы молодцы. Передача окончена.

За окном в голубой пустоте медленно пролетает какое-то тяжелое тело. На мгновение кажется, что кто-то заглядывает внутрь лаборатории. Все сотрудники оборачиваются и напряженно смотрят в окно.

Кибер. Это Орел. Он постоянно здесь летает. Не обращайтесь внимания. Передача окончена.

Флег. Задание второе. Сколько дьяволов и лисиц может разместиться одновременно на кончике иглы?

Неожиданно отваливается и съезжает в сторону правый угол декорации. Темпераменты резко поворачиваются и смотрят туда. Там стоит Катюша. Подняв голову, смотрит куда-то в глубину сцены. Рядом Емеля.

Емеля. Катюша, я хотел с вами договориться на завтра.
Как раз получка...

Катюша. Подождите, Емеля. Да ну вас! Он опускается!

Выбегает дядя Витя.

Дядя Витя (свистящим шепотом). Вы что, не видите, ироды, боковина съехала!

Выбегает Гүтик.

Гүтик (радостно). Фиксируем — нарушение трудовой дисциплины!

Проходит некто согбенный, закутанный в халат, из-под которого торчит темнокоричневое оперение. Очень странная фигура.

Катюша (вслед, робко). Евгений Александрович, не ушиблись?

Дядя Витя. Спектакль срывается, ироды. Подтягивай боковину.

Помреж (высовываясь из-за кулис). Ужас, ужас, ужас...

Рабочие подтягивают «боковину», скрываются за восстановленной декорацией.

Голос дяди Вити. Можно поворачивать.

Медленный поворот круга.

Сангвиник (металлическим голосом). Общеизвестно, что ни одна лисица не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики...

4

Командная рубка Разраилова находится в странном противоречии с научно-фантастической обстановкой лаборатории. Словно комиссионный магазин, она заставлена разностильной антикварной мебелью XVIII и XIX веков. Тяжелые пыльные шторы закрывают окна. В углу маленький бар в колониальном стиле. На стойке граммофон с огромной трубой. Рядом виолончель. В складках бархата скрыт рояль. Мольберт. Помост с неоконченной скульптурой «Мыслителя». С потолка свисают разномастные вычурные люстры. И лишь небольшой элегантный экран — Выход Кибера, —

окруженный горшками с геранью, напоминает здесь о Великом Эксперименте. Грамофон поет: «Завял наш дивный сад, осыпались цветы, печальный голос твой я слышу в отдалении, но это лишь мираж, тебя давно уж нет, то осени сырой я слышу дуновенье».

Разраилов в длинном бархатном халате, в феске, с изогнутой трубкой в руке томно скользит по комнате под эту музыку.

Разраилов (становится на одно колено, заглядывает в дверную щелку). Работа кипит, идут расчеты. Все-таки хорошие у нас люди! Зря мы, зря иной раз неумеренно критикуем, рубим головы. Тот же Хол Ерик. Внешне нетерпим. Первое желание — ликвидировать, но... вот, пожалуйста, берешь себя в руки, и индивидуум работает, да еще как работает! Что значит во-время жилку подрезать! (продолжает скольжение по комнате, на секунду остановившись, завершает Роденовского «Мыслителя», приседает у мольберта, вдохновенно бросает несколько мазков, поворачивает картину к залу — вполне завершенное полотно «Бурелом» Шишкина; бросается к роялю, взбивает кудри, поет «В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь», записывает музыку; играет на виолончели первые такты «Чижика», ходит по комнате, засунув пятерню в шевелюру, мычит, потом произносит: «Мы рождены, чтоб сказку седлать былью, преодолеть пространство и простор»; с радостным возгласом бросается к столу, записывает сочиненное).

Кибер. Расчет окончен. Сообщаю результаты. Лисица, пушистый хвост которой блестит, как иглы, а дьявол окосел. Передача окончена.

Разраилов. Потрясающе! (берет хрустальный бокал, наливает бургундского). Задача третья. Начинает Мелан Холик. У вас в кармане двадцать пять яблок. У вашего товарища восемнадцать. Вы даете своему товарищу двадцать пять яблок, он вам восемнадцать. Нужна ли человеку песня, как птице крылья для полета? (опорожняет бокал).

За окном проходит тяжелая тень. Кажется, что кто-то заглядывает в окно.

Разраилов (подбегает к окну, высовывается, скандально кричит). Опять машете? Я буду жаловаться! Чтоб вы шею свернули на вашей войне! (отходит от окна, фальшиво возмущенный, якобы взвинченный). Безобразие какое! Вечно этот Орел мешает Эксперименту! (включает граммофон, тот поет «Черную розу, эмблему печали»). Что же мне делать? Чем заняться? Не онанизмом же, право? (хлопает себя по лбу — пришла идея). Вызову-ка я даму! (скользит к Киберу, нажимает какую-то заветную кнопку).

Появляется Дама в средневековом роброне с высоким стоячим воротником, движется жеманно с приседаниями, тоненьким голоском поет старинный романс «Виолета-грациоза». Разраилов тоже с приседаниями скользит к ней, берет протянутую руку, церемонно целует кончики пальцев, ведет к пышному ложу под балдахином, наполняет бокал вином, подает даме. Дама жеманно выпивает. Разраилов тоже выпивает, смотрит на Даму. Дама смотрит на него.. Он берет Даму за талию.

Разраилов. Ну?

Дама. Я в вашей власти, монсиньор! (пытается повалиться на кровать, Разраилов ее удерживает).

Разраилов (передразнивает). В вашей власти! Монсиньор! Не знаешь, как себя вести, дура!

Дама (плаксиво). Давеча-то, как стриптиз делала, были изысканными.

Разраилов. То давеча, а то теперь. Сопrotивляйся! Выражай благородное негодование, шалава! Кричи — «насильник»! Кричи — ай-ай! (хватает Даму).

Дама. Ай-ай! На помощь! Кабальерос! Родригос! Гидальгос! Пустите, насильник! (сопротивляется, вырывается).

Разраилов (гонится за ней). Так! Так! Кричи, чувиха!

Дама. Постыдитесь! Это недостойно! Ай-ай!

Разраилов (хватает Даму, валит ее на ложе, сует ей в рот бутылку водки, пьет сам, орет). Эх, житуха, хорошая петруха, бляха-муха, мать честна!

Кибер. Извиняюсь за вторжение в интимный мир. Поступил запрос из Академии Лонг-Шорт-Лайф совместно с Юнайтед-Квас-Лимитейд. Как выполняется график Эксперимента? Передача окончена.

Разраилов. Эксперимент идет согласно плану с опере-

жением графика. График поймал графиню! (безумно хохочет, /гр/ебет слабо верещащую Даму).

Левый угол декораций отваливается и съезжает в сторону. В глубине сцены Катюша, которая, сжав руки на груди, смотрит куда-то вверх. Рядом Емеля.

Емеля. Вот, Катюша, билеты в «Современник». Еле достал. Всю рожу разодрал, уверяю.

Катюша. Как вам не стыдно, Емеля? В такой момент! Смотрите, он снижается! Ой! Ой! О, господи, опустился!

Выбегают дядя Витя, Гүтик, Помреж.

Дядя Витя (свистящим шепотом). Чокнулись студенты? Не видите, боковина отвалилась!

Помреж. Романы крутят на производстве!

Гүтик (радостно). Фиксируем нарушение техники безопасности!

В глубине сцены снова быстро проходит странная согбенная фигура в халате, из-под которого торчит оперение.

Катюша (бросается к фигуре). Не ушиблись, Евгений Александрович?

Емеля. Постыдитесь, Катюша.

Фигура исчезает.

Дядя Витя. Тяни боковину-то, ироды! (тянет трос)

Помреж. Что же делать, дядя Витя?

Гүтик. Пахнет катастрофой.

Дядя Витя. Похоже, без мулерону спектакля не дотянем. Поеду сейчас к Фефелову, в ноги кинусь.

Помреж (снимает кольцо). Отдайте ему вот это.

Гүтик (смахивает слезы). Я знал, что вы такая, Алисия Ивановна. (пытается поцеловать ей руку)

Помреж (отвернувшись). Не надо, Гүтик!

Гүтик. Не думайте, что я не такой. Умоляю, не думайте обо мне плохо. Вот, пожалуйста, дядя Витя, передайте ему это. (подает авторучку)

Емеля (ворчит). Ладно уж, я тоже не жмот. Может, галстук сгодится? (снимает галстук)

Катюша (пылко). Ради техники безопасности ничего не пожалею. (расстегивает молнию на платье)

Дядя Витя. С ума сошла, девчонка! Отцу позвоню!

Подтягивает «боковину». Декорация восстановлена. Рабочие скрываются.

Разраилов (капризно). Можно, наконец, продолжать? (бросается на Даму).

Дама. Кабальерос! Родригос, Гидальгос!

Кибер. Снова прошу прощения за вторжение в интимный мир. Экстренное сообщение. Эксперимент приостановлен по непонятным для меня причинам. Передача окончена.

5

Снова зал лаборатории. Кресла пусты. Холерик, бешено размахивая руками, носится по сцене. Сангвиник прохаживается, потирая руки. Флегматик сидит на полу,ковыряет в носу. Меланхолик движется по сцене на подгибающихся ногах, заламывая руки, словно бабочка на исходе жизни. Взволнованно и беспорядочно мигает Кибер.

Холерик. Тупые бездарные люди! Еще секунда и я все здесь разнесу своим знаменитым лобовым ударом! Хлюпики! Жалкое поколение! Я утверждаю, слышите: Песня есть сигма, бешеная сигма водопровода, бешеная сигма водопровода!

Сангвиник. Не горячитесь, дружище Хол! Чем кричать, батенька, и махать руками, лучше признать свои ошибки. Факты вещь упрямая, мой друг, а песня есть формула существования аминокислот плюс гибридизация всей земли. Вот так-с!

Холерик (яростно). Схлопочешь!

Меланхолик. О мрак! О ночь! Как страшно терять друзей! Как страшно видеть развал Эксперимента! Другзя, последняя надежда, последний трепещущий светильник в черном бархате всемирной ночи, единственный верный ответ: песня — это лента, голубая лента, зовущая под диван в паутину иллюзий...

Холерик. Пришибу, как муху!

Флегматик. Песня — это бублик.

Кибер. Умоляю прекратить спор. Передача окончена.

Холерик. Сигма!

Сангвиник. Аминокислоты!

Меланхолик. Лента!

Флегматик. Бублик!

Кибер. Без паники! Передача окончена.

Беспорядочный рев Холерика, самоуверенные, жизнерадостные восклицания Сангвиника, унылые вопли Меланхолика, возгласы Флегматика.

Кибер. В такой обстановке я отказываюсь работать. Передача окончена. (гасит все огни)

Темпераменты смущенно затихают. Некоторое время Холерик, Сангвиник и Меланхолик кружат по сцене, потом собираются вокруг сидящего Флегматика. Флегматик неуверенно хлопает носом, улыбается.

Холерик (улыбается, хлопает Меланхолика по животу).

Однако, друг мой, солидные у вас соэнакопления.

Меланхолик (улыбается). Там, внизу, я был поваром.

Сангвиник. Поваром? Где же?

Меланхолик. В «Каптенармусе».

Холерик. В этом притоне толстосумов?!

Флегматик. Папаша и мамаша водили меня туда.. Мы ели телячьи уши «оревуар» в вишневом соусе «бонжур». Это невозможно забыть.

Меланхолик. Еще бы, телячьи уши...

Сангвиник. Старый добрый «Каптенармус»! Сколько с ним связано! Бывало, вечера не проходит, чтобы мы не собрались в нем с друзьями-литераторами, а я там, внизу, был поэтом, милостивые государи, чтобы вы знали. Помню, как-то ем я селянку «Острога», а беллетрист Бигбин Андреев подошел сзади, положил голову мне в тарелку вот таким макаром, батеньки, и тоже ест. Каково-с?

Меланхолик. Еще бы, селянка «Острога»! Сколько я слез над ней пролил! Ведь у меня, господа, хронический насморк...

Холерик. Единственное, из-за чего стоило ходить в «Каптенармус», это из-за баб. Бабы там собирались законные, это верно. Большое удовольствие отбить красотку у какой-нибудь буржуйской рожи! Бывало, зайдешь в темных очках, никто не узнает чемпиона лобовых ударов, а снимешь очки, все — ах-ах!

Сангвиник. Так ты, Хол, тот самый Ерик?

Холерик. Ага, наконец-то догадался. Да, я тот самый, но давно уже не у дел. Стадо свиней, теперь они забыли про лобовой удар, увлекаются обходами с флангов. А какое было времечко! Помните бучу на 42-й улице?

Меланхолик. Еще бы не помнить, я заперся тогда в уборной...

Флегматик (встрепенувшись). В уборной?

Меланхолик. ...и пролил множество слез. Мне казалось, цивилизация гибнет и никто уже не придет в «Каптенармус»... никогда...

Сангвиник. Да, славно ты тогда бил яйца на 42-й улице, Хол! Помню, помню... Я всегда был твоим идейным противником, всегда считал, что нужно идти другим путем, именно путем флангового обхвата, но не могу не воздать тебе должное. Вся мостовая была залита желтком! Каково-с?

Холерик (вдруг взвизывает, делает огромные нелепые прыжки, ревет). Я хочу вниз! Туда, в этот осатаневший муравейник! Я не могу без них! Я еще не додрался, не доругался, не долюбил! Я погибну без них! (падает).

Сангвиник. И я хочу туда, милостивые государи! Я хочу написать поэму-с! Каково-с? Я жажду позитивной борьбы за оптимизм, батеньки, жажду фланговых обходов. Вот так-с! (падает).

Меланхолик. А я хочу кушать, господа, варить и кушать. Одна лишь гастрономия спасала меня от философского пессимизма. (падает).

Флегматик. А я хочу в уборную. (валится на бок).

Кибер. Вынужден включиться. Хочу сообщить товарищам по работе, что практически они ничего не хотят, как и было запрограммировано условиями Эксперимента. Не так ли? Передача окончена.

Сангвиник. Практически я ничего не хочу, но хоть только бы чуть-чуть подковырнуть идейного врага.

Холерик. Хоть бы на мгновение увидеть, как стержочка из «Каптенармуса» крутит юбкой.

Меланхолик. Разочек бы высморкаться над любимой селянкой.

Флегматик Только бы взглянуть на мой унитаз, на уголок задумчивости с подшивкой журнала «Знание-сила».

Входит Разраилов.

Разраилов. Ай-я-яй! Ай-я-яй! Саботируете Эксперимент?
И не стыдно?

Темпераменты молча лежат на полу. Разраилов становится на четвереньки, ползает от одного тела к другому, шепчет вдохновляюще каждому: «вставай товарищ!», «время, вперед!», «во имя Прогресса!», «перед лицом эпохи!», но Темпераменты недвижимы. Разраилов встает, нажимает какую-то кнопку в Кибере.

Кибер (рывает). Встать! Передача окончена.

Темпераменты вскакивают.

Разраилов. И это вы, граждане будущего кибер-человечества! Позор! Вы разорвали цепь Эксперимента, поддались глетворному действию земных миазмов, которые, я уверен, принес на своих крыльях проклятый Орел. Если не хотите работать... (с глухой угрозой), мы можем вернуться к исходной точке.

Сангвиник (изменившимся, почти машинным голосом). Мы хотим работать для Эксперимента и мы будем работать для Эксперимента, но у нас есть просьбы к администрации.

Разраилов. Ну, хорошо-хорошо. Какие же просьбы? Только не зарывайтесь!

Меланхолик. У меня есть скромная просьба! Я хочу цветок, какое-нибудь растение.

Разраилов. Растение? Пожалуйста! (нажимает кнопку).

На подоконнике появляется фикус.

Флегматик. Я хочу киску.

Разраилов. Извольте. (нажимает кнопку).

На подоконнике появляется глиняная грубо размалеванная киска с умильной страшноватой мордой.

Холерик (делает мучительное движение, как будто хочет от чего-то освободиться, потом — глухо). Я тоже хочу киску.

Разраилов (весело). Пожалуйста, пожалуйста! (нажимает кнопку).

На подоконнике появляется вторая такая же киска.

Сангвиник. (тоже пытается освободиться, потом — звонко). Я тоже хочу киску!

Разраилов (хохоча). Сколько угодно! Фирма не жалеет затрат! (нажимает кнопку).

На подоконнике появляется третья киска.

Меланхолик (металлическим голосом). Мне не нужно растений. Мне нужна киска.

Разраилов. Вот и молодец! (нажимает кнопку).

Фигус исчезает, появляется четвертая глиняная киска.

Разраилов. Довольны мальчики? Есть еще претензии, личные просьбы?

Все (хором). Всем довольны! Претензий нет!

Разраилов. А теперь за работу.

Темпераменты садятся в кресла.

Разраилов. Итак, нужна ли людям песня, как птице крылья для полета? Начинает Хол.

Холерик. Песня есть сигма, бешеная сигма водопровода.

Сангвиник. Не согласен. Песня есть форма существования аминокислот плюс гибридизация всей земли.

Разраилов. Опять за свое?

Меланхолик. Песня — это голубая лента, влекущая под диван в паутину иллюзий.

Разраилов. Молчать!

Флегматик. Песня — это бублик.

Снова разгорается спор. Темпераменты выходят из-под власти Кибера.

Разраилов (растерянно, Киберу). Как, по-вашему, в чем тут дело?

Кибер. Предполагаю несходство темпераментов. Передача окончена.

Разраилов. Может быть, унифицировать?

Кибер. Невозможно. Требуется новая система моделирования. Передача окончена.

Разраилов (задумывается). Новая система? Так, так...

В окно кто-то заглядывает, проходит тень, слышится трепет крыл. Поток воздуха срывает с подоконника четырех кисок.

Темпераменты. Ай! Ай! Где же наши киски?! Это обман!

Разраилов (суетится, напуганный). Уверю вас, админи-

страция тут не при чем. Это все проклятый Орел, солдафон, вредитель!

Отваливается и съезжает в сторону правый угол декораций. В глубине сцены снова стоит Катюша, смотрит вверх. Рядом Емеля.

Емеля. Катюша, это невозможно. Я только о вас и думаю. Честно, я влип со страшной силой.

Катюша. Ой, его заклонило, он перевернулся! Боже мой, неужели конец? (закрывает лицо руками).

Емеля. Да что с ним делается, с вашим проклятым Орлом! Опустился, гад!

Выбегают, обнявшись, Помреж и Гутик.

Помреж. Катастрофа! Где же дядя Витя?

Гутик. Алисия Ивановна, родная, незаурядный мой человек, дядя Витя помчался к Фефелову. Я ему рубль дал на такси из членских взносов. Все ради вас!

Проходит согбенная фигура в халате.

Катюша (бросается). Евгений Александрович, не ушиблись?

Фигура (раздраженно). Послушайте, барышня, у меня сложная роль, тяжелая работа, я рисковую жизнью, теряю перья, а вы постоянно издеваетесь. (уходит)

Катюша убегает с рыданиями.

Емеля. Подлец толстокожий! Он ее не понимает!

Помреж. Емеля, Гутик, спасайте спектакль!

Рабочие подтягивают отлетевший угол. Декорация восстановлена.

Флегматик (икает). Упали кiski.

Меланхолик (плачет). Разобьются вдребезги, на черепки... злая судьба...

Холерик (размахивая руками). Где наши любимые реликты?! Одной рукой даете, другой отбираете?! Знаем мы эту тактику! Разнесу все к чертям!

Санквиник. Извините, Разраилов, в такой обстановке мы отказываемся работать. Вот так-с, батенька, и о продолжении Эксперимента не может быть и речи!

Разраилов (обиженно). А где элементарное чувство благодарности? Что с вами было бы, молодые люди, не

появись я в последний миг перед каждым? (кричит, тыча пальцем). Вы бы гнилым бревном болтались в канализации Гультимооры! Вы бы висели, как сосиска, в вашем любимом клозете! Вы бы тухли на огороде! Вы бы валялись с простреленной башкой! Я знал, что вы идете к самоубийству, я давно следил за вами, и я вас спас! Из жалких рефлектирующих людишек я хотел превратить вас в могучих кибер-индивидуумов, я приобщил вас к Великому Эксперименту! Где элементарная благодарность? Где? (с глухой угрозой). Может быть, хотите вернуться к исходной точке?

Темпераменты смущенно смотрят на него, молчат.

Сангвиник. Он прав. Без него нам всем был бы капут.

Вот лично со мной... помню великолепное утро, отлично работает пищеварение, выпил чаю с вишневым вареньем... принял решение уйти из жизни...

Слышится приближающийся трепет крыл, и на окно вдруг садится тяжелый пожилой Орел с лицом старого солдата.

Орел. Привет, покойнички!

Один за другим раздаются четыре глухих взрыва.

6

Немая сцена в лаборатории Великого Эксперимента. Темпераменты, застывшие в напряженных позах, смотрят на окно. Разраилов стоит с вытянутой вперед рукой. Орел, положив локти на подоконник, улыбается.

Разраилов. Убирайтесь!

Орел (перебрасывает ногу в высоком кожаном сапоге, влезает внутрь, усаживается на подоконник, закуривает сигарку). Умотался, ребята, сил нет.

Холерик (глухо). Кто вы?

Орел. Я орел, братцы. Я тут каждый день мимо вас летаю на войну. У меня война, братцы.

Холерик (делает движение к Орлу). С кем вы воюете, Орел?

Орел. Да все с им проклятым, со Стальной птицей. Дело тут, ребята, нехитрое: я простой Орел из мяса и кос-

тей с горячей кровью, и вот воюю бесконечно с этой паскудиной. Честно, мужики, надоело до смерти, а надо.

Сангвиник (делает шаг к Орлу). А за что вы воюете, разрешите поинтересоваться?

Орел (громогласно). За идеалы справедливости!

Разраилов (истерично). Ну вот и летите на вашу дурацкую войну! Чего здесь околачиваетесь?

Орел. Спокойно, папаша! Не базарь! У нас обеденный перерыв. Стальная тоже полетела керосинчиком заправиться, и я сейчас в столовку рвану, в «Капте-нармус». (Меланхолику) Харч там испортился с вашей кончиной.

Меланхолик. Как это с кончиной? Позвольте...

Разраилов. Требую, чтобы вы очистили помещение! Вы срываете Великий Эксперимент!

Орел (передразнивает). Перемент! Перемент! Тоже мне ангел смерти доморощенный! И все это происходит под самым носом у Верховной Канцелярии. Глаза бы мои не глядели!

Холерик (встает на колени). Орел, возьми меня на свою войну! Я мастер лобового удара! Пригожусь!

Сангвиник (встает на колени). И меня возьмите... в штаб... я знаю теорию флангового обхвата... не пожалете, уверяю, батенька...

Меланхолик (встает на колени). Возьмите меня в поле-вую кухню...

Флегматик (встает на колени). Возьмите меня в обоз...

Орел. Не могу, братцы! У каждого своя война, у меня моя, а вас, бесплотных, куда ж я дену!.. (гасит цигарку о каблук). Ну, извините за компанию... (Разраилову) А ты поменьше базарь, балда. (Темпераментам) Пока, покойнички! (улетает).

Темпераменты стоят на коленях, низко опустив головы.

Разраилов. Не обращайтесь внимания, друзья, на этого старого провокатора, с его дурацкими штуками. Выше головы! Великий Эксперимент...

Сангвиник (глухо). Мы мертвы?

Разраилов. Ха-ха-ха, какая ерунда! Ведь я же вас спас, разве не помните? Вспомните, Хол, вы перебросили ногу через перила моста, и тут появился я...

Холерик. Кажется, я летел вниз... да... летел... потом был удар... (вскакивает) Я загнулся, братцы!

Меланхолик. И я... друзья... я вспоминаю... кажется, я успел принять яд... сильнейший яд из печени рыбы «фуго»...

Флегматик. И я как будто доплелся до уборной...

Сангвиник. Не помню точно, но кажется,.. был удар в висок и только после этого появились вы, Разраилов. (встает) Признайтесь, мы мертвы? Мы требуем, в конце концов, мы имеем право знать. Не ставьте нас в дурацкое положение.

Разраилов (уклончиво). Все в мире так относительно, друзья мои, — пространство, время, жизнь, смерть, — а для успеха Эксперимента...

Холерик (подступая к нему с кулаками). Говори!

Разраилов. В конце концов, лучший человек — это мертвый человек!

Сангвиник. Почему же вы молчали?

Разраилов. Зачем зря трепать нервы своим сотрудникам?

Холерик. Так это ты толкнул нас на самоубийство?

Разраилов (возмущенно). Извините! Вот это уже гнусная инсинуация. Господа, я готов доказать! Можно, если угодно, вернуться к исходной точке. Я просто вас курировал, понимаете, я давно вас курировал в ваших же интересах. (кричит) Встать всем! Занять свои места! Вы что-то обнаглели, голубчики! Ведете себя словно живые люди. Раз уж на то пошло, знайте раз и навсегда — вы не существуете, вы лишь придатки сложнейшего эксперимента по трансформации всего человечества (нажимает одну за другой несколько кнопок на пульте кибера).

На пульте беспорядочное мелькание огоньков, слышны хриплые звуки, чуть ли не стоны, доносятся отдельные слова: «... трудно. Передача окончена», «...невыносимо, передача окончена», «...не виноват, передача окончена»; напряженная пульсация экранов, Темпераменты словно под гипнозом садятся в кресла, кладут руки на подлокотники, задирают подбородки.

Холерик (словно пытаюсь выбраться из-под тяжелой мраморной плиты). Трансформация всего человечества... на манер нашей, так, что ли?

Разраилов. Идея в общих чертах такова, но возможны и модификации. Мы могли бы вместе разработать идею, если бы вы прилежно трудились. Мы были уже на правильном пути. Творить надо, а не фрондировать.

Холерик. Какой гад...

Разраилов быстро нажимает еще несколько кнопок.

Холерик. Какой гадостью веет от наших сомнений и тревог (затихает).

Разраилов. Ну вот, кажется, теперь порядок, можно и речугу толкнуть! (встает в позу) Счастье! Счастье, лишенное несчастий! Полное счастье в любой части!

Сангвиник (слабое движение). Прощай, лазурь преображенская и золото Второго Спаса... (затихает).

Разраилов. Творчество! Счастье в творчестве! Творчество в счастье!

Меланхолик (слабое движение). Анна Николаевна... там, на скатерти... обратите внимание... золотое кольцо... (затихает).

Разраилов. Чистота! Чистота линий! Лаконизм! Чистота в лаконизме! Лаконизм в чистоте!

Холерик (слабое движение). Как трепетали липы на углу Сорок второй и Восемнадцатого... какое пиво... (затихает).

Разраилов. Прогресс! Прогресс без регресса! Чистый прогресс в чистоте, в счастье, в счастье без несчастий, в творчестве и лаконизме! Лучший человек — мертвый человек!

Флегматик (слабое движение). Навешивай на ворота! Пас! Боба, не водись! Мазила, бей! (затихает).

Разраилов. Сон! (нажимает на кнопки. Сотрудники сидят без движения. Киберу) Какие будут предложения?

Кибер. У меня предчувствие. Эксперимент провалился. Передача окончена.

Разраилов. С каких это пор у вас предчувствия?

Кибер неожиданно покидает свое место. Разминаясь, проходит через сцену, садится на подоконник, нога на ногу.

Кибер. Слушайте, Разраилов, вы что-то слишком уж вошли в роль. Что вы знаете о моем внутреннем

мире? Что вы понимаете в науке? Скажем прямо — вы шарлатан! Передача окончена.

Разраилов (нагло улыбаясь). Лобовая и грубая характеристика. Не к лицу такой сложной машине, как вы.

Кибер. Я вами возмущен. Этих несчастных заставляете работать, а сами в командной рубке занимаетесь плагиатом. Передача окончена.

Разраилов. Это мой хобби. Что, съели?

Кибер. Устроили свалку антиквариата, бесчинствуете с Дамой. Передача окончена.

Разраилов. Но это же модно! Поймите, я современная персона, проводник истинного прогресса, а мода — спутник прогресса. И потом, что это за критиканство? Что можно Юпитеру, того нельзя быку. Академия вложила в вас деньги, вы должны заниматься Экспериментом, а не критиканствовать. Еще машины будут нас учить!

Кибер (со вздохом). Да уж связался я с вашей шаражкиной контрой. Передача окончена.

Разраилов. Подумайте, как будем регулировать температуры наших сотрудников.

Кибер (резко). Этого я делать не буду! Передача окончена.

Разраилов. Почему?

Кибер. Потому что они мне симпатичны. Передача окончена.

Разраилов. Но ведь они дохлые!

Кибер. Не уверен. Они спорят, страдают, о чем-то мечтают, у них разные температуры. Передача окончена.

Разраилов. Ага, понимаю, они внесли дисгармонию в ваш внутренний мир, растревожили вашу душу. Да, вы действительно сложная машина. Поверьте, это не пустой комплимент. Да-да, понимаю, поверьте, мне тоже это близко. Поверьте, иной раз хочется спуститься на грешную... (заглядывает в окно), пошляться там, как встарь, по конференц-залам, побезобразничать. Иной раз вспомнишь мыльную воду, пузыри, розовую ножку...

Кибер (глухо). Не надо мучить. Передача окончена.

Разраилов. А помните, как иной раз мчишься скачками по траве и столько запахов — голова кружится!

Кибер. Не надо мучить. Передача окончена.

Разраилов. Да вы не стесняйтесь, любезнейший, посмотрите вниз. Уверяю вас, что хоть и прошло столько веков, она ничуть не изменилась. (со скрытой ненавистью) Она так же прекрасна.

Кибер, не выдержав, резко поворачивается к окну. Перед зрителями его зад, обыкновенный человеческий зад. Зад дрожит.

Разраилов (отступив на шаг, осматривает зад). Подумать только, доэволюционировался до человеческого зада. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. (вынимает из кармана ржавую консервную банку, огромный гвоздь и молоток, приставляет банку к заду, к банке гвоздь, одним ударом вгоняет гвоздь в зад Киберу).

Кибер рушится на колени.

Разраилов. Так, готова новая модель! Я гений! Гений! (тащит Кибера по полу и водворяет на прежнее место) Теперь можно и речугу толкнуть!

На сцене зловещее мерцание. Скособоченный Кибер, белые маски спящих Темпераментов, жуткий в своем величии Разраилов.

Слышится свист, трепет крыл, в лабораторию заглядывает Орел.

Орел. Привет, покой... Э, да тут я вижу, мокрое дело! И все это под самым носом Высшей Канцелярии! Ну, Разраилов, допляшешься! (улетает).

Отваливается правый угол декораций. Катюша в прежней позе. Рядом Емеля.

Емеля. Может быть, вы думаете, Катюша, что у нас на философском все хлюпики-интеллигенты. Ошибаешься, чувиха, мы все в законе, по фене ботаем. Катюша, я сидру выпил в антракте, я смелый!

Слышится глухой стук упавшего тела. Катюша закрывает лицо руками. Емеля убегает.

Выбегают, обнявшись, Помреж и Гутик.

Помреж. Ужас! Позор! Не дотянем спектакля! Где же

дядя Витя?! Где же Фефелов с мулероном? Гутик, спасите!..

Гутик. Аля, плюнем на все, у меня членские взносы, улетим в Сочи, проживем хоть два дня по-человечески...

Прихрамывая, опираясь на плечо Емели, проходит согбенная фигура в халате.

Фигура (Катюше). Что же вы не спрашиваете, барышня: Евгений Александрович, вы не ушиблись?

Катюша молча рыдает.

Емеля (коварно). Разве ж ей понять, Евгений Александрович, тяжесть вашего труда...

Помреж. Тяните же, тяните!

Подтягивают правый угол. Декорации восстановлены.

Разраилов (плюет в окно вслед улетающему Орлу). Тьфу, ничтожество! Такую речугу сорвал! (Киберу) Ну как, ржавый патефон, нравится новое регулирующее устройство?

Кибер. Прошу не оскорблять. Устройство нравится. Передача окончена.

Разраилов. Теперь дело в шляпе. Эксперимент пойдет как по маслу. Кандидатская диссертация в кармане. Теперь они у меня работать будут на холерическом темпераменте, а отдыхать на флегматическом. И никаких нюансов. Вуаля! Итак, включаю на работу. Повело! (нажимает кнопки).

Холерик. Задача третья: нужна ли модели песня как птице крылья для полета. Песня есть бешеная сигма водопровода.

Сангвиник. Сигма сигмоидальна, альфа гемороидальна, лира слепа, «а» в квадрате из корня «икс».

Меланхолик. Гром зовет, а пес ликует. Скоро песня закукует.

Флегматик. Вывод. Песня нужна птицам, как крылья самолетам. Людям нужна... (рычит) ... не могу...

Разраилов. Ну-ну, мы на пороге великого открытия, еще одно усилие... ну! (нажимает кнопки).

Все темпераменты. Людям нужна смерть!

Разраилов. Гениально! Шедеврально! Поздравляю, братцы! Перевожу на отдых, вы его заслужили. (нажи-

мает кнопки) Ну, и мне пора отдохнуть. Умотался я с вами. Буду руководить отдыхом из командной рубки. Пока! (уходит).

7

На сцене молчание. Темпераменты недвижимы в своих креслах. Слабо мигает единственный огонек в Кибере.

Наконец пошевелился Флегматик, за ним сделал слабое движение Меланхолик, потом Сангвиник и Холерик.

Флегматик. Есть предложение сыграть...

М о л ч а н и е

Холерик. Начинайте... кто-нибудь...

Сангвиник (с трудом делает пальцами крестик). Чирышек...

М о л ч а н и е

Входит Нина, изящная блондинка в мини-юбке, растрепанная и прелестная. За ней проскальзывает Любовный Треугольник, изнуренный субъект в трико. Занимает треугольную позицию.

Нина (бодро). Ну, что мы здесь имеем? (осматривается) Ого, четыре внушительные полновесные мужские фигуры! Для начала неплохо! (кокетливо делает ручкой) Ну, что молчите? Может быть, здесь не принято приветствовать дам?

Темпераменты вяло кивают Нине. Флегматик изображает какое-то подобие воздушного поцелуя.

Нина. Эй, да что это с вами?! Налейте даме стаканчик джин-эн-тоник! (удивленно) Ну и типусы! (Любовному Треугольнику) Слушай, как это тебе все нравится? Не реагируют на даму! Стоило переться на такую высоту, чтобы попасть в общество четырех импотентов!

Любовный Треугольник (заунывно). Почему не любишь меня? Что ты в нем нашла? Милый, я твоя! Любимая, наконец-то мы одни! А что же он? Ха-ха-ха! (делает какое-то душераздирающее движение).

Нина. Пошел к черту! От тебя и здесь пользы, как пива

от реактора! (замечает Кибера, оживляется) Эге, кажется, автоматический бар. Сейчас надерусь! (танцующей походкой подходит к Киберу, роется в сумочке) Как назло ни единого пипа! Не успела сунуть кошелек в сумку до того, как он навел пистолет, сама виновата, дурища! Впрочем, вспомним детские шалости. (вынимает маникюрные ножницы, воровато оглядывается, сует их в какую-то прорезь Кибера) Ты уж не обижайся, лапуля!

Кибер. Я не обижаюсь. Напротив, рад. Передача окончена. (подает Нине стаканчик, а вслед за стаканчиком розу).

Нина. Ого, новая система! Таких у нас, внизу, еще нет. (выпивает, нюхает розу) Мерси, лапочка! (снова засовывает ножницы в Кибера).

Кибер. Как вы здесь оказались, Нина? Передача окончена. (подает стаканчик и розу).

Нина. Смотрите-ка, он и мое имя отгадал. Вот это прогресс! (выпивает) Да, понимаешь ли, лапуля, меня прикончил этот идиот Чипс, мой муж, ну, этот девятый... впрочем, пардон... (берет протянутую Кибером зажженную сигарету, думает) одиннадцатый, да-да, одиннадцатый. Короче, совершенно тривиальная история, мой дорогой. Утром пришел к нам сборщик налогов, абсолютно незнакомый молодой мужчина, очень милый, кстати, интеллигентный. Студент философского факультета. Вдруг вбегает Чипс, глаза навывкате у кретина. И ровно ничего еще и не было — понял, автомаша? — правда, я была немного, ну... (улыбается) слегка раздета, а он разорался: а-мэбэ! — начались упреки, подозрения... Не успела я одеться, как он мне бац-бац, две пули загнал вот сюда. (расстегивает блузку) Вот сюда, нет... ниже...

Кибер. Прошу не мучить. Передача окончена.

Нина. Ого, даже на тебя действует! Тогда немудрено, что меня в конце концов пристукнули. Давай-ка по третьей. (выпивает третью рюмку, нюхает третью розу) Ну вот... Не помню уж как, но я оказалась у подножья этой миленькой башни. Чипс, кажется, в полицию побежал сдаваться. Помнишь, как в той древней опере... «Вяжите меня, я ее убийца...»?

Кибер. Помню. (исполняет несколько фраз арии Хозе из оперы Бизе «Кармен») Передача окончена.

Нина: Во-во. Я всегда со смеху подыхала на этом месте. И вот стою я возле этой вашей башни, вокруг никого кроме этого ничтожества (показывает на Любовный Треугольник, который тут же делает конвульсивное движение). Вдруг подлетает здоровенный Орел, такой солидный вояка, пожилой, но еще вполне в соку. Иди, говорит, дочка, вверх по лестнице, иди, не бойся. Подвези, говорю, полковник, а он отвечает — не могу, на войну лечу, работа тяжелая, рискованную жизнь, теряю перья, не до баб. И улетел. Забавный такой сексопильный старикан. Ну, вот я и поперлась сюда вместе с этим чучелом. (показывает на Любовного Треугольника).

Кибер. Позвольте спросить — кто он? Передача окончена.

Нина. Это Любовный Треугольник. Таскается со мной с четырнадцати лет. Надоед до смерти. (Любовному Треугольнику) Эй, покажи джентльмену свои номера!

Любовный Треугольник (заунывно). Всю ночь мне мерещится образ твой. В смерти моей прошу никого не винить. Нина, уходишь? Приду в четыре. Ах, оставь! Тело твое... Если бы нас было только двое! Пойми, тебя я люблю, а его уважаю. Любимый! Любимый! Дорогой! (конвульсивное движение).

Нина (Киберу). Понял?

Кибер. Понял. Но треугольник для вас, Нина, слишком тесные рамки. Передача окончена.

Нина (хохочет) Вот именно! А эти кретины не понимают! Бар-автомат понимает, а интеллектуалы-мужепесы ни бум-бум!

Меланхолик (трижды надувает щеки, хлопает по ним ладошками). Пум. Пум. Пум. Пупырышек.

М о л ч а н и е

Нина. Это что, гнездо наркоманов? Куда я попала все-таки? Что за трупы?

Кибер. Они не виноваты, Нина. Передача окончена.

Нина. А вы, милостивый государь, довольно странно себя ведете для автоматического бара. Вынуждаете на откровенность. Если я пользуюсь вами без денег, при помощи ножниц, это еще не значит...

Кибер. Я не бар-автомат, Нина. Я сложный Кибер, Нина. Вы меня не узнаете, Нина? Передача окончена.

Нина (возмущенно). Почему я должна вас узнавать?

Таких, как вы, сотни тысяч.

Кибер (печально). Неужели ни одной знакомой черточки не осталось? Передача окончена.

Нина. Что за бред? Вы испорченный Кибер!

Кибер протягивает ей стаканчик и розу. Включает музыку: страстное томительное танго.

Молчание под танго

Нина (взволнованно). Не понимаю...

Любовный Треугольник. Мяу, мяу, бабушка, где мой мячик, как вы выросли, **Нина**... (Конвульсивное движение).

Нина. Не понимаю... (раздраженно) Откуда у вас эти розы? В автоматах-барах...

Кибер. Я все время забываю, что прошло столько веков моей эволюции, трансформации от простейших молекул до встречи с вами в ароматных травах, прощанье с вами в мыльных пузырях, потом века от паровой машины до бомбы атомной, услады идиотов, но я бродил во мгле экспериментов в тоске по вам, служба своей науке, во имя вас, пока в новейшем виде я не попал сюда, вернее, был заманен, попался в лапы шайки шарлатанов... но все равно я начинен любовью и только ей, и ваше появление, кустистой молнии подобное...

Нина. Кустистой? (тревожно). Послушайте, как это понимать?

Кибер. Поймите это как в любви признание... (тягостное молчание) Передача окончена.

Нина (Любовному Треугольнику). Ну, как это тебе нравится? Даже окачуриться не дают спокойно... (тревожно вглядывается в Кибера).

Любовный Треугольник (в привычной интонации). А что нового в твоей внутренней жизни? Не лги! Удушью! Альберт, он меня не понимает! Вот у нас с тобой есть внутренний контакт. Тебя интересует моя внутренняя жизнь, меня интересует твоя внутренняя жизнь. (конвульсивное движение).

Флегматик. Один милейший мистер Бобби купил собаку с кличкой Бобик.

Нина (скрывая тревогу). Э, да они играют в чирышек-пупырышек-бубо! (с деланным оживлением) Слабо,

братцы, слабо! Такие ходы больше, чем на пять очков, не тянут!

Кибер. Нина! Нина! Нина! Передача окончена.

Нина. Да слышу, слышу, слышу! Не видишь, что ли, что со мной делается? (плачет).

Кибер (высоким трепещущим голосом). Нина! (рыдает) Передача окончена. (у него начинает расти голова, показывается макушка).

Нина (вытирает слезы, берет себя в руки, улыбается). Веселенькие делишки! А как ты себе представляешь наше будущее, автомаша? Ведь я бесплотная, а ты железный.

Кибер. Я не знаю, что со мной происходит, Нина, не знаю, что будет с вами... Не верю, что вы мертвы, вы не можете умереть.. Я испытываю мучения... (голова продолжает расти, показывается лоб) Чудовищной силы процесс бушует во мне, я эволюционирую. Нина, дайте руку! Нина, ты пришла! Сколько веков я ждал тебя! (голова вырастает окончательно, Кибер причесывается) Здравствуй, любимая!

Нина (разочаровано). Привет, привет... А я-то думала... Теперь я вас узнаю, милейший. Похоже на то, что вы обыкновенный заурядный мужчина. Впрочем, вы довольно симпатичны. (подает ему руку) Итак, какие будут предложения?

Кибер (припадая на одно колено, целует ей руку). Мы связаны с вами навеки?

Любовный треугольник (оживленно). Мы связаны с вами навеки? Нельзя ли без патетики? А кто нам все время звонит и вешает трубку? А кто нам все время звонит и вешает трубку? А кто нам все время звонит и вешает трубку? (конвульсия).

Нина (Киберу). Нельзя ли без патетики?

Кибер. Мы пойдем к Разраиллову и я подам заявление об уходе.

Нина (заинтересованно). А кто это Разраиллов?

Кибер. Любовь моя! Рука об руку! Эволюция завершается! Я становлюсь человеком! Эксперимент гибнет!
Нина! Пойдем!

Уходят. Вслед за ними проскальзывает Любовный Треугольник.

Холерик (оглушительно свистит в три пальца). Бубо! (прыгает с кресла). Ребята, это она!

Командная рубка. Разраилов в костюме вельможи эпохи Людовика XIV танцует минует, окруженный уже четырьмя дамами в костюмах пастушек.

Разраилов. Признайтесь, прелестные пастушки, вы случайно забежали на этот лужок?

Дамы. Случайно, монсиньор, случайно!

Разраилов. И вы не ожидали встретить здесь кавалера, проказницы?

Дамы. Не ожидали, монсиньор. Ах, не ожидали!

Разраилов. И кавалер ваш так любезен, галантен, элегантен?

Дамы. О, кавалер наш совершенство, монсиньор!

Разраилов. Ну, а теперь поговорим иначе, пастушки-потаскушки!

Входят Кибер и Нина.

Кибер. Прошу прощенья за вторжение в интимный мир.

Нина. Ой, девочки знакомые! (подбегает к пастушкам, те ее радостно приветствуют).

Разраилов. Дальше. (пауза) Где же ваше пресловутое «передача окончена»?

Кибер. С этим покончено.

Разраилов. Давно пора, дружок, давно пора. А то бубнили, как примитивный диктор, «передача окончена», «передача окончена». Ведь вы же сложнейший кибер. Поверьте, мне даже немного было стыдно за вас, но я уж молчал из деликатности.

Кибер. Вы видите — у меня выросла голова!

Разраилов. Нет, не вижу.

Следует сказать, что во время этого диалога Нина шушукается с «пастушками», осматривает их наряды, они ее юбку. Поглядывая на мужчин, дамы хихикают.

Кибер. Как это не видите? Вот уши, вот нос, рот, вот шевелюра, все, как полагается, не хуже, чем у людей.

Разраилов. Я вижу ржавый гвоздь у вас в заднице, а головы не вижу.

Кибер (рассердившись). Послушайте, Разраилов, я всегда вас считал не ученым и тем более не ангелом смерти, а обыкновенным шарлатаном. Вы даже не можете заметить эволюции, которая произошла со мной. Вы бездарь! Поймите, любовь, скопившаяся во мне за сотни веков, теперь материализовалась и вот: я — человек!

Разраилов (глухо). Отдайте мои вещи.

Кибер. Пожалуйста. На кой мне черт теперь ваше примитивное реле! (отдает Разраилову гвоздь и консервную банку).

Разраилов. Зачем вы пришли?

Кибер. Я пришел сюда с девушкой. (показывает на Нину)
Мы любим друг друга.

Нина в это время демонстрирует «пастушкам» своего Любовного Треугольника. Тот что-то бормочет, извиваясь в конвульсиях. Дамы хохочут.

Разраилов (Киберу, доверительно). Дружище, это я понимаю. На эротику потянуло? Понимаю, понимаю. Хочешь, все эти четыре шлюхи будут твои? Хочешь, вызовем больше, целый ансамбль, бездна разнообразия? Давай вообще загуляем, а? Тебе нужна встряска, я же вижу. (дружески обнимает Кибера за плечи).

Кибер (освобождается). Вы меня не поняли. Речь идет о вечной любви. Вспомните классическую литературу: Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, Игорь и Таня. (отходит от Разраилова, встает в позу). Поверьте мне, ничтожный Разраилов, что в грохоте миров, в соединеньях молекул низменных, в распадах и разрывах текут века любви, и пахнут травы, и тучи проплывают грозовые, проходит лето в пузырях жемчужных... но вам понять все это не дано.

Разраилов (истерично). Да почему же это не дано? Что же это вы мне в элементарной интеллигентности отказываете? (выхватывает молоток) Стой, убью!

Кибер (с улыбкой). Рискните!

Разраилов. Извините, нервы шалят! А вот ежели нажать на кнопки? (нажимает кнопки на груди Кибера).

Кибер (с улыбкой). Как видите, не действуют.

Разраилов (вкрадчиво). А нет ли у вас желания покончить самоубийством?

Кибер. Отнюдь. Я жить хочу, любовью окрыленный я ухожу в века и обрастаю мясом, покуда кровь...

Разраилов. Довольно, довольно... опять заводитесь?

Кибер. Нина, пойдём!

Нина в это время показывает «пастушкам» какой-то сверхмодный танец. В танце участвует и Любовный Треугольник.

Разраилов. А дамочка ваша не дохлая?

Кибер. Она убита, но не мертва! Она живая вечно! Нина, ну сколько можно танцевать? (рисуюсь перед Разраиловым) Ты несносна, право!

Подходит Нина.

Нина (Разраилову). Привет, чучело гороховое!

Разраилов (растерянно). Мадам... очень рад... безумно огорчен, что упустил за работой вашу кончину... Мадам, повлияйте на вашего... уж не знаю, как называть... на вашего аманта, напомните ему о Великом Эксперименте...

Нина (Киберу). Разве ты забыл о Великом Эксперименте, моя лапочка? (прижимается к Киберу) Ай-я-яй, как тебе не стыдно, мой железный пузик! Какой позор на твою новенькую миленькую головушку. (гладит Кибера по волосам).

Кибер (расплываясь от счастья). Забыл, Нинуля, ой забыл... Ай-я-яй, совсем забыл... мур-р-р, буль-буль, моя лапочка...

Очень быстро из железных недр Кибера начинает вырастать живой чудеснейший орган.

Нина (в восторге). Какая прелесть! (целует орган).

Разраилов (орет на весь зал). Погибла моя кандидатская диссертация!

Нина и Кибер, любовно воркуя, покидают сцену. За ними понуро тащится Любовный Треугольник. Разраилов мечется по сцене, срывает драпировку, покрывала, ковры, невнятно бормоча, запихивает ткани в какой-то саквояж, делает пометки в длиннющем списке.

Дамы, забившись в угол, репетируют сверхмодный танец. Они так увлеклись, что даже не заметили ухода Нины и странного поведения Разраилова.

I Дама. Ниночка, а нижний бюст при переходе на пуанты работает? Нина...

II Дама. Ой, девочки, она ушла!

III Дама. }
IV Дама. } Ниночка, где ты?

Разраилов (проносясь с наволочкой). Молчите, дохлятины!

Дамы. Разраилов, а где наша Нина? Разраилов, отпусти нас! Мы хотим вниз, в наш родной «Каптенармус»! Мы хотим видеть мужчин! Мы отстали от моды! Мы хотим танцевать «елки-палки»!

Разраилов (закрывая саквояж). Не надо было в ящик играть, идиотки!

Дамы (в рыданиях). Пощади нас, Разраилов!

Разраилов. Полонез!

Гремит полонез. Дамы танцуют, словно под гипнозом. Разраилов танцует поочередно с каждой.

Вбегает Нина. За ней проскальзывает шустрый, гадко улыбающийся Любовный Треугольник.

Нина. Извините, сумочку забыла, а там у меня ножницы. (заинтересованно смотрит на танцующего Разраилова) А вы, я погляжу, мужчина с фантазией. Пока! (убегает).

Любовный Треугольник (манерно извиваясь). А вы, я погляжу, мужчина с фантазией. Во всяком случае, для вас у меня ее достаточно. Ах, чьи это шаги! Гнусная потаскуха! Бум! Бум! Бум! Одна мимо, две в цель! Вяжите меня, я ее убийца! (В конвульсиях убегает).

Разраилов (танцую). Всегда забываю проклятую формулу и из-за этого терплю неудачи. Шерше ля фам, господа, шерше ля фам!

9

Лаборатория Великого Эксперимента. Темпераменты снова вышли из-под власти. Холерик носится по сцене. Сангвиник мелкими шажками ходит взад-вперед, потирает

руки, весело и мечтательно улыбается. Меланхолик медленно движется на подламывающих ногах, простирает руки. Флегматик стоит в углу сцены с пальцем в носу.

Холерик. Это она, братцы, она! Проклятая, любимая, я ждал ее всю жизнь! Мне было тринадцать лет, сижу под забором, в пыли, грызу ногти, весь в прыщах, дитя городских окраин, отец в тюрьме! Мимо — белый «ролс-ройс», и в нем она, дочь какого-то вице-президента, надменный взгляд через плечо на ублюдка, на меня. Я побежал за машиной, упал в нечистоты, и встал из них уже борцом против плутократии! Хотите, душу распахну, братцы? — только ради нее я сделался мастером лобового удара!

Сангвиник. Идея социальной справедливости и мне была не чужда, милостивые государи! Я был простым яхтсменом, батенька, элементарным тунеядцем, здоровым, полным сил и жизненных соков. И вот однажды я увидел ее в одном из бесчисленных окон городских трущоб. Она стояла, знаете ли, в коротенькой юбочке-с и мыла стекло-с. Вспыхнула страсть, господа, да, страсть. Полез по трубе-с, и был, к стыду своему, избит хулиганом, похожим на вас, Хол. Вернувшись домой, я написал свою первую поэму. Каково-с?

Флегматик. А мне она напоминает мою киску. (кивает). Она пахнет отличным мылом.

Меланхолик. Я знал... я знал... предчувствие томило... еще чумазым поваренком... сверкающее платье на эстраде... певица в антракте заходила на кухню похлепать борща... мне хотелось жить в этом борще и умереть... ни одного взгляда не бросила... пальчиком не поманила... увядшие розы на попире... преждевременная старость. О, любовь моя, кошмарная, как вчерашняя котлета... мрак...

Входят, воркуя, Нина и Кибер. За ними деловито прислушивающийся Любовный Треугольник.

Холерик (в прыжке). Эстер! Готова разделить судьбу несчастного борца? (показывает свой страшный лобовой удар).

Сангвиник (семена с распростертыми руками). Фенечка, солнышко мое, какая встреча. Помните стихи: моя

к тебе рванулась некрасивость, твоя ко мне помчалась красота?

Меланхолик (приближается в трепете и изломах). Глория, счастье, тоска, домино...

Флегматик (не сходя с места). Киска моя, иди ко мне. Пушок! Пушок!

Кибер. Простите, вы мне? Но с этим покончено.

Нина. Чокнулись, ребята? Меня зовут Нина.

Кибер. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Меня зовут... Нинулечка-булечка, как зовут твоего пузика?

Нина. Тебя, моя пулечка, автомаша моя несчастная, тебя зовут Ваня-Малахай.

Кибер. Хочу представиться. Я Ваня-Малахай — двенадцатый муж Нины.

Холерик (хватает Нину за руку). Я люблю твою жену, Ваня, и готов подтвердить это страшным любовым ударом! Понял?

Сангвиник (делает фланговый обход, берет Нину за другую руку). Признаюсь вам, геноссе Малахай, что мы с Ниной созданы друг для друга. Вот так-с! И о супружеской верности не может быть и речи-с!

Меланхолик (подползает к Нининым ногам). Божественная... безнадежность... соус души моей... коснуться шлейфа... (рука его скользит по Нининой ноге)... одно прикосновение к шлейфу... где же шлейф?

Флегматик (трогает Нину за подбородок). Кисанька, мурочка, пушок... Нина, Ваня,.. вот ведь... какая... петруха... Этого-того... влопался я...

Любовный Треугольник (бормочет в растерянности). Люблю твою жену... страшным ударом... вот тэк-с... ну, и дела... пушок... безнадежность... влопался... я человек широких взглядов... (конвульсия).

Нина (смеется). Ну и дела! Рехнулись мужчины и на том и на этом свете.

Кибер. Вы, господа, не волнуйтесь, я Ваня-Малахай — двенадцатый человек... да-да, человек... (горделиво прихорашивается) человек широких взглядов. Я не похож на одиннадцать предыдущих, которые из-за каких-то пустяков тревожили мою Нинулечку (пытается протиснуться к Нине, его отталкивают). Зачем замыкаться в рамках одного треугольника, когда можно соорудить красивейшую композицию из множества треугольников? Композицию, подобную кри-

таллу. Пожалуйста, ухаживайте за моей женой, ухаживайте, это только льстит моему самолюбию. Но я, господа, тоже бы хотел иногда за ней поухаживать (снова пытается пробиться).

Вокруг Нины начинается толкучка.

Нина. На колени!

Все пятеро бухаются на колени. Нина смеется. За окном шум крыльев. Появляется Орел.

Орел. Привет, покойнички! Хотел узнать, как тут мое протеже? (садится на подоконник, свешивает ноги в сапогах. Нине) Ты, я вижу, дочка, и здесь не теряешься.

Нина (подходит к окну, виляя бедрами). Дай закурить, папаша.

Холерик (вскакивает). Любовь — самум, торнадо, смерч! Нина, ты должна принадлежать только мне. Только я подстаю тебе, я всех остальных... (демонстрирует лобовой удар).

Нина (покуривая, Орлу). Они тут все в меня втрескались.

Орел. Оно понятно. Баба ты видная, хотя и не в моем вкусе.

Кибер. Простите, это все-таки моя жена.

Сангвиник. Де факто или де юре?

Нина. А какие же в твоём вкусе, отец? Небось любишь, чтоб было за что подержаться?

Орел (посмеивается). Во-во, чего-нибудь попроще.

Нина (уязвленно). Солдафон!

Кибер. Какая разница — де факто или де юре? Я люблю ее тысячу веков. Мы не мещане.

Холерик. Признавайся, где было де факто?

Кибер. Ну, на лестнице.

Сангвиник (провоцируя). Как вам это нравится, милостивые государи? Мы ждем Нину, подвергаемся чудовищному Эксперименту, и вот является какой-то Ваня Малахай, и де-факто на лестнице! Каково-с?

Меланхолик. Увы, так всегда — третий лишний! (засучивает рукава).

Любовный Треугольник (возмущенно). Это неправда! Гипотенуза без двух катетов мертва!

Холерик. А ты молчи, глиста! продажная! (наносит Любовному Треугольнику лобовой удар, но тот, конеч-

но же, увертывается. Холерик, промахнувшись, падает, катится кувырком).

Входит с саквояжем Разраилов, останавливается в углу, никем не замеченный.

Влюбленные сбиваются в кучу.

Нина. Раньше я нравилась военным. Даже старые козлы из генштаба... (улыбается)... присылали цветы.

Орел. Брось, дочка, брось. Мне не до этого: у меня война. Конечно, мужчина я видный и самостоятельный, женщины интересуются. Не поверишь, девчонка одна, малолетка, пристала. Ну, я летаю, — так? — падаю иной раз — а как же без этого? — а она ко мне: вы не ушиблись, вам не больно? — записочки подкладывает, — понятно? — твоим сединам так пристало... тебя за раны полюбила, и все такое прочее. Ох, любовь злая штука, ох, великая! Вот Стальная птица этого не знает. Иной раз деру его и думаю — и где уж у тебя сердце, а у его, дочка, вместо сердца пламенный мотор! А человек он, вишь, даже мертвый за любовь бьется. (показывает на сбившихся в кучу влюбленных) Тебе вообще-то кто из них больше глядится?

Нина. В принципе мне все мужчины нравятся. В каждом мужчине есть что-то трогательное и смешное.

Орел. Это верно.

Флегматик (с пальцем в носу). Втюрился я, братцы, в Нину, какая незадача. (неожиданно бросается вперед) Я всю жизнь ее ждал! Ни одной бабы не лобзал! Дождался! Никому не отдам!

Холерик (Флегматику). Тюря!

Флегматик (Холерику). Псих ненормальный!

Кибер. Нина, бежим! (пытается выбраться из кучи).

Нина. Как бы они моего двенадцатого не задавили.

Орел. Эй, покойнички! Перестаньте базарить! (спускается с подоконника) К вам любовь пришла, а вы безобразничаете. Да ежели бы вот меня, старого Орла, любовь посетила, да я бы... (поет и вальсирует, стуча сапогами)

Мы земных земней и вовсе
К черту сказки о богах!

Просто мы на крыльях носим
То, что носят на руках...

Кибер. Орел прав, друзья. (печально) Любишь ты меня, Нина, или не любишь, это не важно. Важно, что я тебя люблю, и поэтому я человек, а не металл. (вальсирует).

Нина. Я тебя люблю!

Холерик. Ты меня не любишь, Нина! Ты в белом «ролс-ройсе», а я в грязи. Но я тебя люблю и поэтому я жив! (вальсирует).

Нина. Я тебя люблю!

Меланхолик. Нина, золотая тифелька, гром оркестра, твои глаза сквозь пар кастрюль. Ты меня не любишь, но я тебя люблю, и я жив. Жив! (вальсирует).

Нина. Я тебя люблю!

Сангвиник. В зеленом небе, на черной стене, в поднебесьи я увидел тебя, Нина, впервые. Пусть ты не любишь меня, но я тебя люблю, и я жив! (вальсирует).

Нина. Я тебя люблю!

Флегматик. Как тебе полюбить меня, тюрю? Но я тебя люблю, и жизнь для меня теперь дрожит, как листва под ветром. (вальсирует).

Нина. Я тебя люблю! (спрыгивает с подоконника, вальсирует) Мальчики мои, я вас не оставлю, не бойтесь. Я знала, что вы меня ждете, и вот я пришла. Две пули в грудь — это мура! Я всегда знаю, что меня ждут, но не всегда могу прийти.

Все молча танцуют, улыбаются друг другу, передают цветы. Один лишь Любовный Треугольник неподвижен. Образовав треугольную фигуру, он замер в углу сцены.

Разраилов. Ха. Ха. Ха. Забавно. «Данс макабр!»

Танец прерывается.

Орел. Не мешай танцевать, ублюдок!

Разраилов. Такого еще не было. Как трогательно: полуманная швейная машинка и старый ободранный петух танцуют с мертвяками. (Нине, галантно) Вас это не касается, мадам.

Холерик (Орлу). Полковник, разрешите продемонстрировать лобовой удар?

Орел. Не трать энергию, парень, на этого прохиндея.

(Разраилову) Ох, доберется до тебя Верховная Канцелярия.

Разраилов. Предатели! Вы погубили идею Великого Эксперимента! Индивидуалисты! Узкие эгоисты! Абстракционисты! Исты! (показывает на саквояж, набитый барахлом) Что для вас счастье всего человечества? (Вытаскивает из саквояжа портьеру) Что для вас Прогресс?

Сангвиник. Мы не виноваты, **Разраилов.** Произошло вмешательство таинственных сил. Мы влюблены.

Разраилов. Ваш труп на письменном столе с простреленной башкой.

Холерик. Мы счастливы!

Разраилов. Ваш труп застрял в канализации Гультимооры.

Меланхолик. Мы живы!

Разраилов. Ваш труп гниет на грядке сельдерея.

Флегматик. Нас спасла любовь.

Разраилов. Ваш труп упал на унитаз, веревка оборвалась.

Кибер. Она пришла ко мне и я стал человеком.

Разраилов. В утиль! (выхватывает голубую ткань, закутывается в нее) Я ангел смерти!

Орел. Самозванец!

Разраилов. Сам дурак!

Орел. Есть у тебя ученая степень?

Разраилов. А есть у вас доверие к научной молодежи?

Нина. А где сейчас мой труп, **Разраилов?**

Разраилов. Мадам, это безобразная сцена к вам не имеет ни малейшего отношения. (бросает Нине какую-то огненно-рыжую тряпку).

Любовный Треугольник (приходя в движение). Мы счастливы... я пришла... мадам... это к вам не относится... поиски родственных душ... мадам... адам... не дам... ам-ам... (конвульсирует).

Кибер (**Разраилову**). Вам бы лучше уйти.

Разраилов (выхватывает черную занавеску, манипулирует). Ени-бени-ел-пельмени-ени-бени-не-хочу-ени-бени-в-ад-хочу. Сдаетесь?

Холерик. Если ты меня берешь на «понял-понял», то и я тебя возьму на «понял-понял». (разгоняется, наносит лобовой удар). **Разраилов** увертывается, удар попадает в живот **Меланхолику**, тот падает)

Орел (весело). Бей своих, чтоб чужие боялись!

Меланхолик (Нине). Любить иных тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин.

Нина целует его.

Флегматик (Нине). И прелести твоей секрет разгадке жизни равносильна.

Нина целует его.

Кибер (отводит Сангвиника в сторону). Я давно вас хотел спросить — что такое смерть?

Сангвиник. Кафка сказал: смерть прекрасна, но не эта, а другая.

Стоят задумавшись.

Нина целует их обоих.

Холерик (Нине). Послушай, Нина, что мне пришло в голову: о доблести, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле...

Нина целует его.

Разраилов (Нине). Мадам, у меня к вам половое влечение.

Нина тянется к нему. Любовный Треугольник выбрирует.

Холерик. Внимание! (разгоняется, но попадает в Любовного Треугольника) И то хлеб! Кажется, прикончил гадину! Нина, слушай дальше. Когда твое лицо в простой оправе передо мной стояло на столе...

Разраилов. Ложь! (выхватывает из саквояжа разноцветные ткани, закутывается в них, превращается в шар, катится по сцене) Ложь! Ложь! Ложь!

На сцену врываются в бешеном ритме танца «елки-палки» четыре пастушки. Юбки их обрезаны на манер Нининой «мини».

Холерик. О, боги, Девк из «Каптенармуса»!

Разраилов. Ложь! Ложь! Ложь!

Пастушки. Сколько мужчин. Ура! Знакомые мальчики! Хол, привет! Это из-за тебя я бросилась с моста! Санг, ты тоже здесь? Это из-за тебя я пустила себе пулю в лоб! Флег, милый, я люблю тебя всю жизнь. Ты сидел в уборной, а я ревела! Повесилась из-за тебя! А я отравилась из-за нашего повара, из-за

тебя, Мелан! Какая встреча! Какое счастье! Мы снова вместе!

Разраилов. Ложь! Ложь! Ложь!

Пастушки. Нина, ты нас спасла!

Темпераменты. Ты жизнь!

Кибер. Ты сама любовь!

Разраилов. Ложь! Ложь! Ложь!

Орел (громогласно). Да здоровствует Нина! (берет Нину за руку, ведет ее по сцене, поднимает и ставит на одно из кресел).

Все становятся перед креслом на колени, кроме Любовного Треугольника, который замер в выжидательной треугольной позиции, и Разраилова, который прекратил катание и тоже замер, высунув голову из тряпья.

Орел (строго). Где ты родилась, Нина?

Нина. Точно не помню. Какие-то пузыри, пена, голубое небо... нет, не помню...

Орел. Как ты жила, Нина?

Нина. Масса неприятностей.

Орел. Как ты умерла, Нина?

Нина. Ты знаешь. Этот идиот две пули мне всадил вот сюда (расстегивает блузку) Нет, прощай, ниже...

Орел. Чего ты хочешь, Нина?

Нина. Ясное дело — жить хочу, папаша. Вниз хочу. У меня во вторник примерка.

Темпераменты	}	Мы хотим жить! Мы хотим любить тебя, Нина! Мы хотим вниз! К чертовой матери эту проклятую башню! Разраилов, давай ключ! Мы пойдем по лестнице вниз и будем идти хотя бы вечность!
Пастушки		
Кибер		

Все вскакивают и подступают к Разраилову.

Разраилов (вылезает из кучи тряпья, совершенно спокойный). Одну минуточку. Ключ? Вот он! (показывает на ключ) Ам! (проглатывает ключ, хлопает себя по животу) Был ключ у нашего плутишки, он прятал этот ключ в штанишки. Но долго прятать нету сил, плутишка ключик проглотил. Не понимаете вы, господа, что такое вечность! Даже смерть вас ничему не научила, ай-я-яй! Придется мне прибегнуть к край-

нему средству. Не хотел, вы сами вынудили. (вытаскивает из саквояжа огромную белую простыню, заворачивается в один конец, другой простирает над головой, скользит по сцене, делая таинственные пассы, приближается к Нине и вдруг хватает ее, заворачивает в свободный конец простыни, притягивает к себе) Извините, мадам, это крайняя мера (душит Нину, хохочет). Единство противоположностей, дорогие товарищи!

Крики. Он убивает ее! Спасите! Мужчины, что вы смотрите? Полковник! Ваня-Малахай, ты ведь железный!

Нина извивается в руках Разраилова.

Кибер (дрожит). Я не могу двинуться с места, что-то страшное происходит со мной. Я не чувствую своей головы. (голова постепенно исчезает) Передача окончена!

Орел (растерянно мечется). Братцы, поймите, я ведь живой, что я тут могу сделать? Если бы за чертой, я бы его в одну секунду на детали разобрал. (прыгает на подоконник). Попробую до Верховной Кацелярии долететь! Сгорю, но долечу! (хватается за косяк рамы).

Декорация покачивается, в ней появляются трещины.

Орел (Холерику). Где же твой лобовой удар, парень?
Холерик. Я потерял силу: руки, как ватные.

Все в жутком оценепении. Нина слабеет.

Разраилов. Терпенье, господа, терпенье. Терпенье и труд все перетрут. Мы еще с вами поэкспериментируем, господа!

Любовный Треугольник (взвизгивает). Не допущу гибели гипотенузы! (бросается на Разраилова).

Короткая борьба возле правой стены. Правая стена угрожающе накреняется. Какая-то деталь с грохотом валится на сцену.

Разраилов правой рукой хватается за горло Любовного Треугольника, левой по-прежнему душит Нину.

Холерик, собрав все силы, направляет лобовой удар на Разраилова. Не попадает, валится на левую стену. Падает часть стены.

Орел (кричит). Башня падает! (бьет кулаком по раме, прыгает вниз, за окно).

Рама с грохотом валится.

Гаснет свет. В темноте слышится грохот разваливающихся декораций.

В луче света перекошенное лицо Разраилова.

Разраилов. Безобразие. Все рушится! Это не по правилам!

Падает кусок задника. В глубине сцены согбенный измученный Орел. К нему бегут Катюша и Емеля.

Катюша. Евгений Александрович, не ушиблись?!

Орел. Я люблю вас. Катюша. (обнимает ее).

Емеля. Наконец-то!

В темноте, в хаотических обликах света мелькают лица Темпераментов, Пастушек, Кибера.

Крики. Нина! Нина! Где ты?! Нина!

Грохот. Падает еще один кусок задника.

В глубине сцены Помреж и Гутик.

Помреж. Гутик, это полная катастрофа!

Гутик (встает перед ней на колени). Еще не все погибло. Алисия Ивановна. Будьте моей женой! Я люблю вас безмерно!

Декорации продолжают падать. Из темноты словно видение выплывает и исчезает Нина. За ней проплывает Любовный Треугольник.

Т и ш и н а

Вспыхивает яркий свет. На сцене куча обломков — все что осталось от лаборатории Великого Эксперимента.

Выбегает дядя Витя. За ним солидно, руки в карманах, выходит Фефелов.

Дядя Витя (горестно). Опоздали, Андрон Лукич. Усе порушилось.

Фефелов (с мрачным спокойствием). Боковину жгентелем крепил?

Дядя Витя. Крепил, крепил, да вот видите...

Фефелов. Чего ж тут видеть? Ясное дело — мулерону не хватило.

Кафе-закусочная. Несколько столиков на хлипких алюминиевых ножках, маленькие неудобные стульчики. В углу телевизор, возле которого спинами к зрителям сидят Сангвиник и Флегматик. Неподдалеку один за столом молодой Емеля. Читает книжку и поглядывает на экран. Четыре девушки-официантки шушукуются в углу возле стойки буфета. За стойкой буфета Меланхолик. Он перегнулся через стойку, вытаращенными глазами впился в экран телевизора. В просцениуме за столом чинно обедают дядя Витя и Фефелов. Чуть глубже — беспокойная парочка: Помреж и Гүтик. Они быстро едят, быстро пьют вино, быстро целуются, и все время оглядываются по сторонам. Сбоку от них Орел с Катюшей. Перед ними недопитые рюмки. Орел держит руку Катюши в своей руке, смотрит девушке в глаза. Катюша украдкой поглядывает на Емелю. Над буфетной стойкой крупными буквами объявление: «Пальцы и яйца в соль не макать!»

Дядя Витя

Подлить вам соусу, Андрон Лукич? «Ткемали»?
Аль «нашшараби» больше по душе?

Фефелов

«Ткемали» тот погуще будет. К птице
Идут, Витек, густые соуса.

Дядя Витя

Желательно рюмашку опрокинуть,
Желудок подготовить к смене блюд?

Фефелов

Рюмашка пролетает словно пташка,
Когда коньяк в ней добрый заключен.
Однако, коньяку теперь не сыщешь,
А то, что коньяком мы именуем,
По сути называется — бурда.

Дядя Витя

(обеспокоенно)

Уж вы не обессудьте. Мулероном
Не обижайте нас, Андрон Лукич.

Фефелов

Да ладно.

Разлей, Витек, бурдишку эту в рюмки.

Входит Кибер. Он в строгом, застегнутом на все пуговицы костюме, с портфелем. Подходит к бұфету.

Кибер

(Меланхолику, шепотом)

Она не приходила?

Меланхолик

(орет в телевизор)

Бей, болван!

Промазал, дьявол! Что за игровишки

Теперь в командах наших завелись!

(лупит кулаком по стойке)

Вот было время! Как трещали штанги!

Какие дыры пробивали в сетках!

Сейчас бы я ударил с поворота,

Через себя в девятку вбил бы мяч!

Фефелов

(потирая руки, улыбаясь)

Тактически он правильно играет.

Да-с, батеньки, не может быть претензий

К такому игроку, который видит

Столь зорко поле.

Меланхолик

(орет)

Много понимаешь!

Флегматик

Однако он забил четыре гола.

Меланхолик

А мог бы девять! Я забил бы девять!

Сангвиник

(уныло)

Погибло все.. Теперь полуфинала

Команде нашей сроду не видать.

Кибер

(шепотом)

Она не приходила?

Меланхолик

(смотрит на него)

Нет, не видел.

(плюнув, отворачивается от телевизора)

Смотреть противно. Вот вам ваш футбол!

(смотрит на Кибера, потом начинает говорить горячечным свистящим шепотом)

Послушай, друг, я знаю, что ты шишка,
Что где-то заправляешь в Министерстве,
А я простой ханыга... только слушай!
Она была здесь, милый, заходила!
Чтоб мне простого хлеба не видать!
Тому лет пять, в такой же жаркий вечер,
Как раз после футбола дверь открылась...
Она вошла, взяла коктейль молочный,
Немного поболтала по-турецки,
Иль по-французски, иль по-англичански.
Короче, не по-нашему...
(скрипит зубами)

ушла...

Кибер

(печально)

Я это знаю, братец, каждый вечер
Об этом ты рассказываешь...

Емеля

(не отрываясь от книги)

Странно!

Выходит, что философ Измаилов
От всех людей солидно отличался
Размером головы...

Катюша

(заинтересованно)

Подумать только!

Как много интересного, должно быть,
Из ваших книг вы можете извлечь.

Орел

Я был в разведке, помню, и однажды
В оставленном врагами блиндаже
Увидел книгу...

Катюша

Знаю, Орлик, знаю...

(с зевком отворачивается)

Орел в отчаянии сжимает ее руку.

Меланхолик

(орет)

Какого же рожна! Опять он медлит!
Движенья, как у спящего питона!

Флегматик

Игрок отличный, только темперамент

Такой иметь судьбе, не игроку-с...
(встает, подходит к буфету)

Сангвиник

(тоже встает, движения его напоминают движения
Меланхолика из 9 предыдущих картин)
Свисток финальный! Сколько огорчений
Принес он нам, поклонникам несчастным
Команды этой, явно обреченной...
(подходит к буфету)

Шушукуются втроем. Меланхолик стучит кулаком, что-то пылко рассказывает.

Дядя Витя

(робко)

Андрон Лукич, быть может вам сгодится
Стило вот это?

(подает Фефелову авторучку)

Фефелов

(надевает очки, рассматривает)

Мда... ну что ж... сгодится...

Сгодится-то, сгодится, милый Витя.

Али забыл, как я тебя учил?

В хозяйстве гнида, да и та сгодится,

А только «паркер» я предпочитаю.

(кладет ручку в карман)

Дядя Витя

Ужо спрошу про «паркер» у ребят.

А галстук вас не заинтересует?

Андрон Лукич, ведь вы у нас орел!

(подает галстук)

Орел

Прошу поосторожней! Ваши шутки...

Катюша

(досадливо)

Евгений Александрович, не волнуйтесь!

Волненья даже старого солдата

К расстройству печени способны привести.

Иди сюда, Емеля! Этот парень

Студент-философ. Вот уж голова!

Подходит Емеля. Не отрываясь от книги выпивает рюмку Орла, что-то ест из его тарелки.

Емеля

Подумать только, доктор Александров
От всех людей солидно отличался
Ушей размером. Уши, как радары...

Помреж

(Гутику, глядя на Фефелова)
Колечко съели. Купишь мне колечко?

Гүтик

Я думаю, что скоро мне подарят
Кольцо не хуже. Банку мулерона
Я съэкономил, временно изъял.
Уже звонят из Малого театра,
У них спектакль назначен на субботу,
А с мулероном, как везде, завал.

Флегматик

(Меланхолику)

Она не приходила? Нет известий?
Клянусь, друзья, вчера на Малой Бронной
В предверии заката я увидел
В окне высоком поворот плеча,
До странности похожий...

Сангвиник

Показалось.

Ее в природе нет, не ожидайте.
Быть может, там, на острове Маврикий
Она в кафе сидит по вечерам.

Меланхолик

Зачем же ты приходишь каждый вечер
И ждешь, развесив сопли, крокодил?
Братишки-крокодилы, плюньте в очи,
Она была здесь, братцы, заходила!
Чтоб мне простого хлеба не видать!
Тому лет пять, в такой же жаркий вечер,
Как раз после футбола, дверь открылась,
Она вошла, взяла бульон яичный,
Немного поболтала по-испански,
По-польски или по-азербайджански,
Короче, не по-нашему...

(скрипит зубами)

ушла...

Флегматик

Петро, зачем все время повторяться?

Она придет, конечно, но зачем же
Про небылицы-то все время говорить?

Сангвиник

Обман ужасный...

Меланхолик

Отвались, ханыги!

Обслуживают здесь официантки!

К буфетчику с дурацким разговором

Запрещено, ребята, приставать.

(сжимает кулаки, отворачивается)

Емеля

(глядя в книжку, подходит к Киберу,

тычет пальцем ему в грудь)

Скажи, папаша, для чего живешь ты?

Кибер

Я не живу, я просто отдыхаю...

Я новой жизни жду...

Емеля

(весело)

Идеализм!

Флегматик и Сангвиник подходят к столику Орла, хотя в помещении много свободных столов.

Флегматик

Простите, здесь не занято?

(салятся)

I Официантка

Уселись.

Петро психует. Эти, как с похмелья...

II Официантка

Они все ждут, приходят каждый вечер...

Заезжую туристку... Вера, помнишь?

III Официантка

Артистку, Шура, вовсе не туристку.

IV Официантка

Они все ждут...

А разве мы не ждем?

Входит Холерик. Его движения напоминают движения Флегматика из 9 предыдущих картин.

Меланхолик

(орет)

Пришел, урод! Вот так он и на поле

Плетется с центра к линии штрафной!
(швыряет в Холерика бутылкой)

Холерик

Кончай швыряться.

IV Официантка

(бежит к Холерику, целует его)

Игорь! Мой любимый!

На поле бьют по ножкам, в кафетерий
Едва зайдет — бутылками швыряют!

Холерик

Кончай лизаться!

(идет к буфету)

IV Официантка

Игорь, погоди!

(опускает руки)

Холерик

(подойдя к стойке, виновато хлопает носом)

Однако я забил четыре гола...

Меланхолик

(орет)

А мог бы девять! я забил бы девять!

Холерик

Кончай базарить. Дай-ка мне сосиску.

Меланхолик

Сосиску хочешь?

(смирясь)

Ладно получай!

Холерик

(с сосиской)

Она не приходила?

Меланхолик

Нет, не видел.

(оглядывается, горячечным шепотом)

Послушай, Игорь, можешь мне не верить.

Она была здесь, парень, заходила!

Чтоб мне простого хлеба не видать!

Тому лет пять, в такой же жаркий вечер...

Орел

(встает и громогласно)

Когда-нибудь она придет сюда!

(стоит с поднятой рукой)

Входит Разраилов под руку с Ниной. За ними, шаркая подошвами, плетется Любовный Треугольник.

Немая сцена

Разраилов

(Нине)

Вот здесь, ма шер, немношко будем кушать,
Немножко закусь, пошелъ обратно...

(хохочет, виляя бедрами ведет Нину к
свободному столику, замечает Кибера)

Приветствую, товарищ Малахаев!

Какая встреч! Откушаль пирога?

(трясет руку Киберу)

Я отшень рад увидель вы сегодня

И на правах торгового партнера

Хотель представить вам моя супруга

Мадам Флоренс, а это наш друг дома

(кивает на Любовного Треугольника)

Надежный спутник...

Кибер

(глухо)

Как мадам назвали?

Разраилов

Мадам Флоренс.

Орел

Неправда. Это Нина!

Все

Да это Нина! Нина! Нина!

Все вскакивают, робко тянутся к Нине. Лишь Фефелов продолжает есть.

Фефелов

Мадам Флоренс, отведайте цыпленка.

Нина

(улыбаясь словно во сне)

Буа луа лион ниелодар...

Разраилов

Как видите, мадам Флоренс по-русски

Как говорится, ни бельмеса, не смыслит.

(Нине)

Ты видишь, милая, тебя здесь очень ждали.

Ведь я же говорил, что здесь нас ждут...

Нина

(жалобно)

Дзондон муар оли Голиотело...

Разраилов

Она сказала: каждому — свое.

Холерик

(глухо)

Уйдите, Разраилов, мы вас помним.

Кибер

Останься, Нина, ждали мы тебя.

Д в и ж е н и е

Разраилов

Нам недосуг. Одним экспериментом

Сейчас мы заняты.

(быстро ест с тарелки Фефелова)

Представьте, под землю...

Курчонок сочный, соус подлейте!..

На глубине, далекой от футбола,

Одна лаборатория возникнет...

Свободный индивидуум совместно

С машиной электрической... огурчик...

(чавкает)

Темпераменты

Мы не согласны! Нет!

Разраилов

Не зарекайтесь.

(вытирает губы галстукком обалдевшего Фефелова)

Пойдем, Нинон, мадам Флоренс иль как там

Тебя зовут в различных городах

(Любовному Треугольнику)

Пойдем и ты, урод!

Любовный Треугольник

О ужас!

Его люблю, тебя я уважаю.

Подлейте яду в пищу с поцелуем

Следы любви трехгранной исчезают,

Страданья блекнут, эрос отошал.

(конвульсия)

Разраилов берет под руку Нину и Любовного Треугольника, виляя задом, ведет их к выходу. Скрываются. Все медленно возвращаются к прежним позам.

Фефелов

Какая духотища!

(Орлу)

Что ты, дядя,

Орешь в такую духоту? Мы можем

Призвать тебя к порядку.

Появляется Нина.

Нина

(радостно)

Эй, ребята!

Я к вам пришла! Меня вы долго ждали.

И я ждала...

(плачет)

Выскакивает Разраилов, хватает Нину за руку.

Нина

...мурлен юло тимпан!

(простирает руки)

Ферран оччи стилло навакобуко!

Разраилов тащит Нину. Скрываются.

Орел

(устало садясь)

Она придет, увидите, придет...

Меланхолик

(горячечно)

Она была здесь, братцы, заходила!

Лет пять вперед в такой же жаркий вечер,

Как раз после футбола дверь открылась,

Она вошла с каким-то гнусным типом

И с тенью треугольной...

Фефелов

Он рехнулся!

Дядя Витя

Молчи, Андрон, он дело говорит.

Темпераменты, Кибер и Орел выходят вперед. Стоят в задумчивости.

Кибер

Хотел бы знать я, что же с нами будет,

Что станет с нами в прошлом,

в настоящем,
Что будет с нами в будущем?

Орел

Кто знает?

Могу сказать лишь: все мы будем живы,
И двести лет спустя, и сто обратно
В такой же душный и тревожный вечер
Мы будем ждать...

Фефелов

А кто курчонка слопал?

На следующий спектакль мулерона,
Клянусь ногой железной, вам не дам!

З а н а в е с .

Обсерватория - Коктебель
июль - август 67

ТЕАТРАЛЬНЫЕ КОЛЕЧКИ, СЛОЖЕННЫЕ В СПИРАЛЬ

С чего начинается театр?

Театр лично для меня начинается с непьесы.

Непьеса — это то, что пока не расскажу что.

Что-то нужно сделать, чтобы театр раскрепостился (мечта Таирова) и явил себя сверхтеатром.

Сверхтеатр — мираж мнимости.

Мнимость и мираж театра доказывают реальное существование несуществующего.

Несуществующее есть в театральном массиве самое существенное.

Существенное существует только в нашем сознании.

Сознание материализуется в мираж, т. е. в чреватое поэзией жизни и смерти зрелище.

Зрелище всегда конкретно, явно и определено.

Определенность программируется усталым, суетливым режиссером.

Режиссер по заданию сатаны занимается строительством миражей и мнимостей.

Мнимости и миражи, выстроенные режиссером, должны заставить зрителя поверить в фактурную, телесную, материальную обязательность жизни некоего «второго» мира.

Второй мир и есть театр, который с началом спектакля выходит из ниоткуда и с его концом уходит в никуда.

Никуда — это то, или там, где театр таится, скрывается от нас до начала завтрашнего представления.

Представлением выражает себя Мировая Тайна.

Тайны нет только для тех, кто все знает.

Знаете ли вы себя?

Себя до конца не знает никто, — вот почему нужны

актеры, которые якобы знают якобы нас.

Якобы мы — это те, кого они играют на сцене.

Сцена — это дыра во второй мир.

Второй мир обдуваем ветрами неведомой жизни, которая и есть главный носитель солёной правды.

Правда извлекается из хаоса, из игры, она чудесна, наивна и мимолетна.

Мимолетность театра делает его вечным.

Вечность космогонична, поэтому правда, такая мимолетная в театре приходит к нам из второго мира, будто из вечности.

Вечность правды подчеркивает невечность жизни.

Жизнь не игра.

Игра — театр.

Театр — это то, чего нет, — ведь с дощатого помоста в нашу реальную жизнь перелетает другая, в сущности иллюзорная жизнь, поверив в явность которой, мы приобщаемся к чему-то высшему, к нам поступает сигнал из мира идеалов, как всегда сообщающих о глупости здравого смысла.

Смысл может быть обнаружен и в бессмыслице.

Бессмыслица — это только часть игры, но суть волшебства.

Волшебством проникнут вагонный запах сцены и смрад театральных кулис.

Кулисы никогда не следует задевать руками, об этом правильно кричал на репетициях Станиславский.

Станиславскому принадлежит самое точное определение театра в двух словах: «здесь и сейчас».

«Сейчас» — это значит сегодня, в этом году и в этом веке, «здесь» — это значит — в границах нашей страны, с нашим зрителем и с нашим Министерством культуры.

Культуру не следует охранять, ее надо хранить.

Хранители отличаются от охранников тем, что ходят не в караул, а в театр.

Театр — место, где крепкие потомки попадают в духовную зависимость от своих расплывчатых предков.

Предки мечтают, чтобы их вспомнили, между тем потомки думают, как этим воспоминаниям придать бесчисленное количество вариаций в театральном выражении.

Выразить себя и предков легко — надо только суметь вывернуться наизнанку под перекрестным взглядом всех, кто пришел в свой театр.

Твоему театру надо учитывать специфику зрелища из разных точек зала.

Зал, как правило, не понимается режиссером как продолжение, продление сцены в другую Вселенную.

Другая Вселенная визуально противопоставляется сценическому пространству, которое, к сожалению, чаще всего именуется «зеркалом сцены».

«Зеркало сцены» при этом почти всегда испытывает от режиссеров простодушное центровое решение, при котором оно понимается буквально — как зеркало.

Зеркало — плоско, между тем, как «зеркало сцены» всегда криво и стереоскопично, из-за чего режиссер во время репетиций и мечется по проходам, мечтая войти всей душой и всем телом в композиционную и цветовую игру.

Игра — это театр, а литература — дело.

Дело игры — моя профессия драматурга и режиссера.

Режиссер смотрит на сцену с разных точек зала, чтобы уяснить изображение одной и той же «картинки» в бесчисленных предложениях изменчивой композиции, стараясь угадать законы таинственного ритма, протестующего против законов железной симметрии, желая поймать другой мир на перекрестке зрительских взглядов, в фокусе перспектив, в неисчислимых местах столкновения иллюзорных элементов и реалий.

Реалия в театре достигается через восприятие потока смен: лиц, позиций, фигур, красок и, конечно, смысловых идей, образов, персонажей.

Персонаж — объект спутавшихся грандиозных сил — выводит зрелище к драме.

Драматизм — из соединения несоединимостей в пьянящую своей свободой систему.

Система авторских своеволий и ужимок решает проблему формы как конечной цели такого искусства, в котором театр и жизнь конфликтуют, а перекатывающаяся между ними ложь оправдывается пошлым сюжетом и бытом.

Быт — или «коммунальная чепуха» (выражение Набокова) — насаждается в сознание автора с единственной целью: хоть как-то прикрыть декларативность и фальшь персонажных диалогов и речей.

Персонажные речи (не поступки) — мерило этого псевдореализма, обезжизненного психологизма и кастрированной драматургии, программная заданность которых лишает зрителя наслаждения в отгадывании человека.

Человек в драме бесконтролен, его сценический облик хвостат, странен, противоречив, нелогичен.

Логика «коммунальной чепухи» — главный враг нашего театра, — как сальеризм против моцартианства, поверяет алгеброй гармонию и неминуемо приводит творцов к схемам.

Схематизм — это результат нашего поклонения перед первым миром (где мы с вами живем) и нашего безверия во второй мир (где мы отражаемся).

Отражения бесценны, потому что нарушают логику, которую преподавал когда-то кому-то Пиранделло.

Пиранделло был учителем логики, а стал поэтом театра.

Театру был необходим Пиранделло, который вывел неустойчивость, текучесть, переливчатость своих персонажей из трагизма жизни.

Трагизм жизни был переадресован им в юморизм театра, и спектакль сделался актом погружения в игру.

Игровая концепция театра выстрадана, таким образом, в борьбе с «коммунально-чепуховой логикой», которая, теперь капитулировав, интегрируется в космос идей и чувств.

Чувства и идеи в сочетании с бечувственностью и безидейностью держат театр в напряжении, ибо он до сих пор взывает к ним ко всем с просьбой дать репертуар, однако нет ответа, нет репертуара.

Репертуар — тоже враг нашего театра, но не главный.

Главное качество нашего театрального репертуара — пьесность, между тем как им должна быть — театральность.

Театральность пьесы — нонсенс, таких теперь драматурги не пишут.

Пишут театрально в наше время все, кто не имеет никакого отношения к театру, все, кто от театра далек, все, кому театра стыдно.

Стыд и жалость способствуют расщеплению персонажа, его очеловечиванию в противоречиях поведения — именно здесь подлинный реализм, нескомканный рутинными формами.

Форма в театре непостижима, постижимо содержание. Содержанием наш театр пуст, а бесформницей наполнен.

Полнота театрального выражения никак не тревожит агонизирующих трупов, которым по их должностям и праву на строчку внизу афиши вверены актерские судьбы и делание волшебств.

Волшебным театр становится в том случае, если на сцене организованы динамические перемены, которые для зрителя всегда якобы импровизационны, эта каждый миг следующая «картинка» есть новинка, умеющая подновляться непрерывно, пока идет спектакль.

Спектакль — это бесконечные фазы, куски, сочетания, организованные в непрерывность, где каждая бесконечно малая величина или деталька включены в никогда неповторяемую в пространстве и во времени гармонию.

Гармоничность достигается в свободной игре художественного воображения, все прихоти которого мы обязаны объявить строго-настрою исполняемым законом.

Законы театра держатся на беззаконии наших человеческих чувств, понуждаемых к откровенности и регулируемых природой, историей и человеком, в триединстве которых хранится Мировая Тайна.

Мировой Тайной следует интересоваться, но ни в коем случае ее нельзя открывать (даже если она сама тебе немножко приоткрылась как-то вечером или на рассвете, где-нибудь «здесь» или когда-нибудь «сейчас»).

«Сейчас» — часть вечности, а «здесь» — кусок пространства.

Пространство разрешает нам отрезать от себя маленькую площадку, названную сценой, и теперь на ней можно немножко покувыркаться, поиграть, повеселиться, поимпровизировать, поговорить, попереживать...

Переживание в наше время уходит из театра, потому что из искусства исчезает боль.

Болью пронизанная игра — вот искусство.

Искусство каверзно, оно податливо только тем, кто не до конца и не слишком отчетливо понимает, чего хочет, но желает достичь всего и сразу путем насилия.

Насилие, которому подвергает беременную зрелищем сцену бродяга-режиссер, не отнимает у гуманизма всегда ушлывающее, непреодолимое желание правды, сходное с букетиком вкусной травы, подвязанной перед мордой идущего неизвестно куда осла, и когда с трудом дотянувшись до пучка, мы жадно глотаем выхваченный стебелек, тут-то и оказывается, что это не что иное, как отрава.

Отравиться театром полезно, хотя действие этого наркотика несет в себе разрушающую силу и замкнутость всей жизни на усладе зрелищем.

Зрелище есть заполненная призраками пустота, — приз-

раки исчезают и появляются, и снова исчезают, и снова появляются, — в повторяемости неповторимой игры заключается ее ирреальность, — и смысл жизни, который ранее, еще в школе, приоткрыт был нам практицизмом и материализмом, в этот момент как бы ставится под вопрос.

Вопрос этот обращен не только к нам самим, он брошен как дерзкий вызов всем далеким и близким формам нашего космоса, содержащего загадку и тайну «второго» мира, необъяснимого с точки зрения нашего «первого» (и последнего?) хотя бы потому, что мы все, вместе с нашими уважаемыми учеными взятые, бессильны узнать то, что просто не нашего ума дело.

Дело все в том, что глубокое сомнение в полной реальности сущего театр превращает в недостойную всякого серьезно мыслящего интеллектуала игру, полную наивности, грез и чудес.

Чудесное в театре мистифицируется под подлинное, на сцене творится и вытворяется некий дурман коллективного и одиночного иллюзиона, — вот уж когда небывальщина заставляет поверить в свою бытность, вышедшую на подмостки с единственной мыслью: доказать, что собрание миражей и мнимостей на ограниченном кусочке пространства (если только оно устойчиво в своей организованности) и есть в конечном человеческом счете абсолютом правды, то есть Бог.

Ей-богу, как не приходиться в восторг перед конкретно выдуманным структурным миром, живое присутствие которого в нашем сознании есть прямое доказательство явности небытия?

Небыль-быль, как «быть иль не быть», доказывает неопровержимо и воочию, что из всех учреждений людских театр, пожалуй, единственное место, где торжествует чудо: смотришь ничто, а видишь нечто.

Нечто это своими пропаданиями и возникновениями, из которых в сущности и состоит поток театральной игры, олицетворяет так называемую борьбу Человека со временем, борьбу, в которой время то и дело умерщвляет отдельно взятого человека, а тот, шутя и играя при этом, каждый раз доказывает, что жив.

Живой Гамлет не исчезает со сцены по окончании спектакля, — были случаи, когда я, обнюхивая только что бывшие в освещении предметы и декорации, бродя по кулисам среди опустевших пыльных интерьеров, искал его и не раз

находил, и мы болтали часами о том, о сем, о важном и неважном, о простом и сложном, о жизни и смерти...

Смерть проживает на сцене и в кулисах после спектакля до тех пор, пока мы не проникли во все уголки и потайные местечки этого затхлого мира, похожего на подземелье крематория, где уже сожжены макро-миллионы жизней, порвавших со своим личным «здесь и сейчас».

Сейчас здесь, в полутьме кулис, глубокой ночью, не пахнет мертвечиной потому, что тихо, и воздух смерзся в такую прекраснодушную гниль, откуда дорога только в вечный сон, в ту самую небыль, которая лишь завтра станет былью, — пустите только сюда, на сцену, откуда-нибудь сверху или сбочка маленький пронзительный лучик и — что будет? — уснувший мир проснется, вздрогнут предметы, оживут декорации, отряхнется пыль, а уж коли и актер вдруг да выйдет сюда в костюме и гриме, то — пропади пропадом сама смерть, явятся нам такие картины, каких никто пока не видывал и второй раз повидать не сумеет — чудо, сущее чудо!

Чудесами мы называем то, что приходит к нам с «того» света, что «несусветно» и обязательно светится.

Светящееся — это уже театр.

Театр — это светящееся и двигающееся.

Двигающееся, светящееся и говорящее — тоже может быть театром.

Театром может быть солнечный зайчик, положенный на музыку невдалеке проходящей грозы.

Гроза тоже сама по себе в каком-то определенном смысле, поверьте мне на-слово, есть театр.

Театр грозы интересно смотреть точно так же, как любой другой театр, — например, на живую, всамделишную картину уничтожения, казни, сноса домов Старого Арбата новой техникой.

Техническое оборудование наших театров, к слову сказать, ужасно.

Ужас в том, что наш театр перегнал мировой театр, но мировой театр, хотя и отстал от нас, но почему-то впереди.

Впереди у нас только то, что уже не раз было.

Было все, и все-таки многого еще не было.

Не было еще полного разгула фантазии, которая своими утыгами проглаживает несвежие воротнички стареньких пьес и забытой, нечитаемой литературы.

Литература под этими утыгами в нечаяно прожженных

местах, поверьте, источает этикие прелестно вьющиеся дымочки.

Дымочки рассеиваются, но театр не кончается с нашим уходом из театрального здания, — спектакль фосфоресцирует в чернотах чувственной памяти, побеждая научный тезис о пугающем Миге Времени, и наши представления о жизни оказываются сильнее, да-да, сильнее самой жизни!

Жизнью будет вся эта уложенная в целесообразную гармонию аккордная смесь звуков, деталей, цветных пятен, актерских личностей, декоративных элементов, движений, переживаний, зрительских и актерских изъявлений — или не жизнью?

Жизнью или не жизнью будет этот крохотный зыбкий дымок отдельно выполненного спектакля, вплетенного в многофигурную нелепицу реального существования, и противостоящий этой нелепице и этому нашему всеобщему окостенению мыслей и чувств?

Чувства, воля, понимание людей и окружающей жизни, восприятие истории, морали, таланта, живость рассуждения (того или иного), увлеченность собой и другими существами, многообразие смен картин и интонаций, милые шутки и злейшие реплички, счастье, горе, занудство, лень, восторг, интриги, жертвенность, умопомрачение и гениальность всех и каждого участника, — все, все, все, что несет в свой зал театр, конечно, есть эти самые дымочки, и ничто больше.

Большое искусство выжить дано только тем, кто, пригибаясь под малейшим дуновением, все же вытягивает кверху, выравнивает почти в перпендикуляр свои хилые крученые столбики.

Столбики струятся и испаряются где-то там в вышине вышины, и нет уверенности никакой, что вот этот, хотя бы вот этот совершенно одинокий газовый наплыв, такой беспечный, продерется через что-то куда-то...

Куда все-таки исчезают спектакли?

Спектакль — каждый — это живой человек.

Человек смертен, — значит, и театр должен заранее знать и готовить себя к переходу в иной мир?

Миру духовному, несомненно, привычны процессы перерождения в новый вид жизни, следующей «после» той, нами уже прожитой, но тогда почему так болезненно жутко воспринимаются смерти театров во цвете лет? и почему тще-

душное бескультурье так часто оказывается сильнее все-
сильной, казалось бы, культуры?

Культура не фестивальна, она не временное достиже-
ние, а то, что сложилось веками в сознании моем и окру-
жающего меня народа.

Народ объединим с бескомпромиссной волей художни-
ка только культурой.

У культуры не одна судьба с народом, но у народа
может быть, должна быть одна судьба с культурой.

Культура русская выстрадана теми, кто никогда не
путал ее с цивилизацией.

Цивилизованное, но бескультурное общество дичает,
развращается, погружается в болото коллективной безвку-
сицы, где талантливо поют одинокие веселые птицы.

Птицу тоже можно цивилизовать, доведя постепенно
все её признаки до конструкции самолета.

Самолеты взмывают и падают непохоже на птиц —
культура, которая падает, — есть цивилизация, и цивили-
зация поднимается все выше и выше, превращая культуру
в управляемый самолет, летящий по чьей-то чужой воле в
нужном кому-то направлении, — где выход? как спасти
культуру?

Декультуризуясь в цивилизации и современном мрако-
бессии, я ищущу единственный способ — пустить птицу в полет,
и в полет свободный.

Свободное парение птицы — наперекор запрограмми-
рованным маршрутам автопилотов и командам с земли.

Земное и небесное взаимовыворачивают друг друга, и
эти изливания в стихии моей души делают бурю в стакане
воды современного искусства.

Искусство театра среди других искусств сегодня самое
неповоротливое, самое рутинное, самое слепое, а в начале
века — при Чехове, Блоке, Мейерхольде — оно было и самое
глазастое, и самое горластое, и самое живое.

Жизнь наша гораздо театральнее своего театра.

Театр Николая Евреинова прорвался в наше время
«хепенингами», перепрыгиваемый и обгоняемый Арто,
Ионеско и прочими чуждыми нам гениями.

Гений — это человек, который приходит со стороны,
но оказывается в центре.

Центр — это, к примеру, точка на пересечении Толсто-
го и Тютчева, — имя этой гигантской точки: Андрей Пла-
тонов.

Платонов создал никому неизвестный театр, мощь которого еще почувствуют люди будущего.

Будущему театру еще придется копать наши архивы, чтобы мысленно придти в потрясающе светлый, беззащитный, полный юмора сценический мир, которого нет.

Нет потому, что он уже был однажды, но умер не своей смертью, и этот сходный с убийством мальчика акт был тем и страшен, что нелеп.

Нелепая случайность?

Случайная нелепость? или искусственное умерщвление живого театра, дело чисто бандитское, требующее суда в справедливом суде?

Судить убийцу?

Убивать нынче того, кто проломил когда-то череп тебе — человеку-театру?

Человек-театр истребим, конечно.

Конечно, да, да, что поделаешь, согласен, но не все еще кончено, это еще не конец...

Конец мальчика, окровавленного, с проломленным черепом, подыхающего на асфальте улицы при всем народе — чем не театр?!

Театром поставленный вопрос «быть или не быть» обращен на этот раз к самому театру: как «здесь и сейчас» выжить?

Выжить как дымочку под ураганным ветром, как засунуться нам в консервы, в банку, вовнутрь, с пошлой обидой раба на силу, пришедшую извне, как и кому в жилетку исторгнуть плач по сочинению, проткнутому гвоздем, и под легкий шабаш собственного испуганного духа как, каким голосом выкрикнуть друзьям-творцам мелочные претензии (ты им, а они — тебе!): мол, «не так надо было!», «не то сделано!», «не перед тем унижено!», «не туда хожено?»? — а красномордый подлец в зеленом костюме, родная ягодка моя, выпускает тем временем на нас свой блестящий ножичек и, помахав им для остратки, наносит удар сзади дубинкой по голове, хрясь! — было разве не так?

Так, так... О сколько их, наших смертей, уже было, а мы, живучие Ваньки-Встаньки, выскакиваем в другом месте, на другой сцене, в другой декорации и в другой пьесе, или непьесе, твердо зная, что театр истребим, и человек истребим, и мы истребимы в театре. И все-таки...

Все-таки с чего опять начинается наш новый театр?

ЧЕРЕЗ...

Признание в искусстве — очень странный перекресток. Эрудиция, чувство, даже чувствительность, интуиция, смелость, страх — что здесь важнее?



Почему:

в нас видят сфинкса, пытаются нас разгадать, а мы, ничуть не смущаясь, делаем вид, что никакой загадки и нет? «А что? — ничего... особенного? И это про самое невероятное. И впрямь какая-то сюрреалистическая реальность!



Русский авангард.

Сегодня он — предмет интеллектуальных спекуляций, идол для почти мифологического поклонения, ходкий товар на художественных биржах Запада.

Если на Западе что-то хвалят, то у нас по привычке, старой, с XIX века, с передвижников, смотрят с подозрением. Но что делать — кажется, близится пора признания и авангарда?



Вот «Бубновый валет». Уже доступная, взятая искусствоведением и публикой, вершина русского сюрреализма. Никому не приходит в голову говорить об авангарде.

Дальше, дальше. Осторожнее:

Татлин. Малевич. Конечно, можно дать портреты через архитектуру, дизайн.

Лисицкий. Родченко. — Здесь палочка-выручалочка полиграфия. Потом ученики, адепты, несомневающиеся эклектики, переобезьянивающие новаторов. — Уже можно смело прикладывать восторженные эпитеты.

Сначала читаем пародию, потом надеемся отыскать оригинал. На другом берегу есть хороший бинокль — модернизм XX века. Есть схемы, куда все можно вложить. Смена течений. Абстрактное искусство, поп-арт, концептуализм и дальше. Наконец слово «революция», магическое даже и сейчас. Революция людей, слов, машин. Социальная, сексуальная, научно-техническая. И все-таки и там, на рациональном Западе, не все концы с концами сходятся.

Например, слава авангарда.

Раньше сказали бы, русского абстракционизма, или просто, беспредметничества.

По-настоящему она началась после крушения диктатуры абстрактного искусства, в казалось бы самый неподходящий момент ностальгии по фигуративности.

Сегодня говорят о спаде «левых» настроений в жизни, но авангард становится все более притягателен.

Масса публикаций.

Кандинский, Матюшин, Попова. Даже Филонов.

Шагал?

Идет сложение. Правда, к единицам нередко прибавляют дроби. Но расширение штатов не закончилось.

Супрематизм. Татлинизм. Конструктивизм.

Факты, документы, работы.

Целое явно больше суммы отдельных частей. Оно рождает иные качества.

Авангард космичен, универсален, но и чувственно конкретен, осязаем.

Сплошные антиномии.

Авангард — не направление, а направленность, не стиль, а особое творческое состояние.



В России изобрели «интуитивный разум». Рациональное и иррациональное соединили легко и просто. Искусство захватывало территории философии, религии и вовсе не намеревалось их освободить. «Восстание против материализма современности», поднятое авангардом, было точно направлено против пустоты жизни и прозы чувства и мысли.

Искусство так и делили не только по ячейкам измов, но и на «глубокое» и «пустое».

Художник 10-х годов не видел вещи сами по себе. Машина, стул, дерево-живопись, пластика. Он — апологет цвета, фактуры, ритма. Но еще у Беркли: «глаз (или правильнее сказать) — дух»...

Художник утверждал целостность восприятия и, стало быть, цельность личности.

Ницше толковал о преодолении человека, авангардисты пришли к необходимости уйти от отчуждения индивидуализма. Начало нового человека?



Что за человек живет в пространстве авангарда? Не смешно ли ощущать человека в комбинации треугольников или в хитросплетении из проволоки, битой штукатурки и стекла? Но

Новый опыт искусства всегда связан с расширением внутренних возможностей человека.

Спросим себя —

не есть ли борьба с иллюзией пространства, отрыв от «конной привязи перспективы» — борьба с иллюзорностью сознания и существования?

не есть ли разрушение предмета и изгнание его — борьба с прозой быта?

Конечно, быт можно опоэтизировать, но чаще он заслуживает того, чтобы его не замечали.

Новая форма в искусстве есть особая форма поведения.



Что думает художник, занимающийся творчеством пластических знаков?

Мир для него не материя, которую нужно оформить, а чистая энергия. Он мыслит очень конкретно как профессионал, чувствующий свою незаменимость в мире, и созерцательно отвлеченно. Наиболее естественное мышление для него — абсолютными категориями.

Творческая энергия становится основой художественного процесса. Этот процесс — не обычная художественная жизнь с производством картинок и статуй, а эпическое дей-

стве. Миф, способствующий утверждению нового художественного сознания.

«Беспредметное творчество — новое мирозерцание».



Внутренняя свобода, раскованность — без этого нет новой формы. Говорят, жизнь — основа искусства. Авангардисты делали перестановку: новое искусство — новая жизнь.

Мастерство теряет нейтральность. Новый художественный язык становится внутренней потребностью.

Наука, техника, религия, социология, фольклор — все то, что хаотично, фрагментами входит в наш быт — находит единство в личности художника. Хотя, как писал Малевич: «удивительно трудно приспособиться к счастью, проехавши всю Сибирь».

История авангарда может быть рассмотрена как история освобождения художественной личности, а с точки зрения общей истории как трагедия крушения личности.



Снова и снова странности пропаганды «левого» искусства у нас. Все через что-то.

Но картина писалась не для того, чтобы дизайнер придумал новое крыло автомобиля.

На общие большие выставки можно «просунуть хорошее имя». Например, Малевич.

Картина самая случайная, самая не примечательная.

«А что? — умел». (Что умел — «как все?»)

«Ничего страшного. А говорили...»

Страшновато — можно забыть, что существует искусство и великие художники. Например, Малевич.

Мистификация и искажение из наилучших чувств — «ввести в оборот». Все время идея социального алиби, а ведь речь идет о художниках, а не о политических деятелях!



Авангард и революция.

Увидеть проблему как жизнь, без грима, не всегда удается. Мы привыкли разъединять пластику и философию, подменять социальное художественным. Вместо того, чтобы

понять и ПОЧУВСТВОВАТЬ, начинаем, как в трибунале, разбираться: принял — не принял и потом уже судить об искусстве.

И кажется трудно иначе: революция из тех вопросов истории, на которые невозможно не отвечать.



Авангард и революция.

Кажется, и экзотичным, и естественным это сопоставление. Почти обычным.

«Кто там шагает правой?»

Шаткая позиция авангарда в истории нашей культуры оставалась все-таки позицией благодаря Маяковскому. Без него это была бы бесплодная пустыня, свалка истории.

Маяковского из лучших побуждений сделали ширмой, занавесочкой, прикрывающей нечто постыдное, что ни знать, ни показывать не надо. Его личную судьбу сделали эталоном. Тех, кто не подходил под мерку, старательно забывали.

«Художники Маяковского» — по временам это была неплохая лазейка. Но для Малевича, Татлина, Филонова, Маяковский был не образцом, а гениальным учеником, при том очень и очень непохожим на учителей.



Авангард был выброшен в общественную жизнь на гребне волны революции 17-го года. Своевольная художественная богема оказалась определяющим фактором в художественной ситуации, наиболее жизнеспособным. Но жажда жизни не тождественна приспособлению.



Отношения авангарда с новой властью причудливы и фантастичны. Суммарно говоря, традиционалистски настроенная художественная интеллигенция стремилась сохранить в буре гражданской войны памятники культуры. Авангард, вопреки легенде, приписывавшей ему безграничный нигилизм не только в теории, но и в практике, тоже занимался этой работой. Но главная функция его в общественной жизни иная. Созидательная. Новые школы, музеи, выставки, стройно организованная система «вживления» искусства в

страну, не приспособленную к искусству.

В первый момент некоторые из спутников авангарда хотели «левое» искусство сделать государственным. Опьянение.

Но в целом авангард не стремился ассоциировать себя и с новой идеологией, отрицая все старые. Его идеалом была ситуация идеологического вакуума.

Революция была для авангардистов особым напряжением, проявлением всеобщей стихии мира. Их восприятие революции зачастую было внеисторическим, наднациональным, она для них чистое действие.

Но лозунг мировой революции — лозунг дня — в глубинах сознания вполне сопрягался с идеей универсального беспредметного искусства.



Авангард рассматривает революцию как абсолютную свободу личности.



Идеология политическая и идеология художественная могут пересекаться, но они независимы на осях жизни.

Отсюда главный принцип их взаимоотношений — принцип автономии искусства от государства. Группировки двадцатых годов — наследие этого статус кво искусства и власти, установившегося в первые же месяцы после Октября.



Оппоненты авангарда могли бы упрекнуть авангардистов в прагматизме, житейском честолюбии и прочих грехах, вплоть до заведомого обмана «системы». Но такой подход был бы абсурден.

В самой идее универсального искусства авангарда есть абсолютные философские претензии и своеобразно деформированное русское мессианство типа «красота спасет мир».

Авангард смело идет в революцию — им движет вера в абсолютную действенность искусства. Авангард мечтал через модель художественной жизни определить строй жизни людей в целом, строй их чувств. В основе этой претензии лежит уверенность в глубинном родстве с народным эстетическим самосознанием.

Самый удивительный из всех афоризмов Крученых, гениального экспериментатора: «видеть перед собой народ».



Мир искусства как таковой серьезно намеревался стать частью нового жизнеустройства. Именно жизнеустройства, а не быта, и отказывался быть выражением готовых социальных идей.

Авангард шел в революцию как в неизвестное пространство творчества. Он нес свои собственные представления, концепции и иллюзии. Он «работал» не с конкретностью дня, а с историей, с абсолютными теоретическими моделями жизни, народа, страны.

Здесь присутствовал Народ, а не масса.

Это особое имперсональное фиолоофское ощущение действительности, когда личность и мир равны по масштабу. В этом приравнивании нет ни грана честолюбия индивидуализма.

Вера в возможность нравственного обновления через пластику возвращает авангард в этическое русло русской культуры, к Достоевскому и Толстому.



Высочайшие достижения пластики авангарда — организующее ядро в системе новой художественной культуры, как икона в древней Руси, Парфенон или средневековый собор. И как в эпохи настоящего расцвета, искусство не адаптируется. «Снизу» к нему наводятся «мосты». На реализацию этой задачи была направлена вся программа эстетического и собственно художественного воспитания, разработанная авангардом.



Стыки авангарда с конкретностью эпохи замечательны и важны. Дело не в том, что многие из авангардистов (но и традиционалисты тоже!) оформляли улицы, рисовали плакаты. Агитационная символика «левого» искусства — одна из сторон пластического фольклора революции, хотя здесь много мимолетного и несущественного.

Замечательно, что беспредметное искусство как абсолют-

ное творчество практически «не заметило» революции и замечательно, что именно оно стало самовыражением каких-то глубинных процессов, помимо требований к искусству быть зеркалом эпохи или даже увеличительным стеклом.



Искусство входит в сознание, как новая жизнь в независимости от отношения к нему общества, точнее — как новая жизненная энергия, сила.

У него собственная хронология и собственные ритмы.

«Черный квадрат» для него — всемирно-историческое событие, а не скандальное происшествие на выставке в Петрограде.

Рельеф Татлина — открытие новой поэзии материала.

Филонов, Розанова, Кандинский, Родченко — не словари формальных приемов, а открытие новых миров.

В этом аспекте и спор авангарда с реализмом, доведенный в эпоху революции до слепых крайностей, в сущности, спор не об одной форме, а и о ритме жизни, способе действовать в пространстве жизни.



Изжитая форма отвергается как жизненная пошлость.



К концепции жизни, к спору о человеке в значительной мере сводятся и отношения с эпохой.

Революция расколола авангард как единое психологическое целое. «Левое» — все более относили только к социально активному искусству, а не к новой форме вообще. Метафизика столкнулась с динамикой истории, круто сдвигающей жизнь страны.

Как согласовать невероятные глубины беспредметного творчества и дело дня? Для художников, уже сформировавших свои миры, это была личная драма. У них не было иного выхода, как отказаться от своего искусства или противостоять истории.

О Хлебникове близкий друг Дмитрий Петровский: «Его угнетала революция, как она выявилась тогда, но верить он хотел и бодрился». Малевич, Филонов, Татлин шли против

течения, не принимая как догму общую эволюцию искусства, происходившую на их глазах. Так же, как в литературе Пастернак или Платонов. И теперь мы точно видим, что искусство такая область человеческих взаимоотношений, где один чаще бывает прав, чем «все», и что вчерашний аутсайдер больше нам скажет о Времени, чем плеяда талантливых отражателей реальности. Современность искусства не только в созвучности с эпохой, но и в соразмерности масштабов дела художника и эпохи, во внутреннем пафосе его творчества.



Авангард и революция —

это, конечно, и те выходы, которые то логично, то судорожно пытались отыскать «левое» искусство в 20-е годы, стремясь преодолеть отчужденность социального и художественного.

Это отказ от станковой живописи и провозглашение производственного искусства московскими конструктивистами в начале 20-х годов. Начало нового кино. Дзига Вертов, Эйзенштейн, Довженко. «Левый» фронт в театре. Прежде всего Мейерхольд.

Каждое искусство конкретно и жило своей жизнью. Расцвет, первый расцвет кино и триумф Мейерхольда шли на фоне ярких, странных и по-своему драматических событий в пространственных искусствах. Младшее поколение авангарда, чуждое его метафизике 10-х годов, было по-своему последовательно в разрешении конфликта новой формы как особого способа жизни и социальной конкретности. Коллектив, по их убеждению, всегда был прав перед личностью. Картина как духовная субстанция уходила. Или перерождалась в иллюстрацию тем дня средствами живописи. (Все это, понятно, не отрицает прекрасных исключений.)

Производственное искусство и новая архитектура часто хотели «исправить» общество в его социологических построениях.

«Левое» искусство в этих социальных проявлениях создало эстетический идеал эпохи, привлекательный и законченный. Это модель нового человека, ясного, здорового, целеустремленного.

Но ясность при художественно-социологических построениях легко может быть доведена до одномерности.

Талантливая и невольная пародия на такой идеал — пьеса Сергея Третьякова «Хочу ребенка». Преданный до фанатизма идеям новой социальности драматург доводит до антиутопического абсурда представление о новой жизни. Конечно, для сторонников этой эстетики Малевич — темная метафизика («бросьте ваши проповеди, гражданин Малевич!») или поставщик формального материала, но в целом нечто давно списанное, вчерашнее.



Традиционалисты доказывали непонятность и ненужность всех проявлений авангарда в целом. «Левое» (в политическом отношении) крыло авангарда сознательно принесло в жертву многие пластические ценности авангарда и его основополагающие философские принципы. В жертву социальному утилитаризму. Искренняя романтическая жертва, не принятая в конце концов социумом и механически отвергнутая.



Троцкий, Лев Давыдович:

«Нельзя же серьезно думать, что история просто консервирует футуристические труды и принесет их массе через многие годы, когда та созреет».

Может быть, и здесь ошибся?



Платон, Августин Блаженный, Лейбниц верили в число как меру гармонии.

Нашел бы с ними общий язык Малевич?

Шопенгауэр. Адорно. Бергсон. Хайдеггер. Дзен-буддизм.

Сколько философских аналогий придумали, чтобы понять только одного Художника!

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА

21 сентября

Вот уж не думал, что возобновлю когда-нибудь свой давно заброшенный дневник. Но во мне появились какие-то странные и сложные чувства, и в них надо разобраться. А для этого лучше всего записать все по свежим следам.

Началось это так.

Возвращался я сегодня с работы почти без сил — выдался на редкость тяжелый день. Я был так измотан, что, сойдя с автобуса, присел на стоявшую недалеко от остановки деревянную скамейку, на которую прежде никогда не садился и даже вряд ли ее замечал. Глядя на разлившийся по горизонту закат, я впал в какое-то оцепенение, и вдруг из памяти неожиданно всплыла надпись, прочитанная мною на одном деревянном кресте Новодевичьего кладбища:

Прохожий, знай: я дома, ты в гостях!

Повернув голову, я отыскал на восьмом этаже высокого здания свои окна. Я представил внутренность квартиры, книги на полках, картины, мебель — все, что собирал годами и старательно размещал поудобнее и покрасивее — и увидел все каким-то чужим и неуютным.

— Разве это дом? — подумал я. — Ведь это дешевая гостиница с претенциозным интерьером, пытающимся заглушить ностальгию постояльца. Таких гостиниц можно сменить хоть двадцать, переезжая из одной в другую без малейшего сожаления, а если обрешь два-три лишние метра площади, то и с радостью. До чего же точно и глубока надмогильная надпись! И вправду, мы всюду здесь в гостях, хотя стараемся не замечать этого и бодримся. И только в такие моменты, как у меня сейчас, нам открывается истина и мы начинаем осознавать безвыходность и тщетность нашего

земного верчения и ощущать собственную душу как нечто внешнее, отделившееся от нас и тоскующее по своей милой отчизне. «Бедная душа, — восклицаем мы в эти минуты прозрения, — как устала ты от своего плена! Скорее уж освободилась бы ты от телесных пут и вернулась к Тому, Кто прислал тебя сюда для такой тяжелой работы и по ее окончании утешит и вознаградит тебя!»

Проговорив все это внутри себя, я вспомнил, что являюсь человеком двадцатого века, притом таким, каких при переписи населения вносят в графу «ученые», следовательно, появившиеся у меня мысли есть ни что иное, как измена. Ведь наука, на идеалах которой я взлелеян и воспитан, давно доказала, что понятие души есть пережиток времен невежества и дикости и что живые существа представляют собой лишь сложные механизмы, возникшие в результате естественного отбора, от которых после их смерти остается только прах. Как же я скатился к крамоле? Что содействовало моей капитуляции перед мистикой?

Я вспомнил, что подобные настроения возникали у меня и раньше. В этот раз они лишь проявились с особенной остротой. Что же это — старость, одряхление ума, боязнь смерти, заставляющая искать утешения в иллюзиях?

Огорченный и расстроенный, я встал со скамейки и побрел домой. Я почувствовал, что теряю уважение к самому себе и что дальше так продолжаться не может, иначе я окажусь между двух стульев, от деревни отстану, а к городу не пристану. Я постарался успокоить себя. Я сказал себе: «ты сегодня устал, мозг твой истощен, поэтому в него проникли представления, логическую нелепость которых ты не способен в таком состоянии заметить. Пройдет этот миг слабости, и ты снова станешь передовым человеком, чуждым всякому оккультизму». И я попытался восстановить в себе если не само научное осознание феномена жизни, то хотя бы чувство, возникающее при таком осознании — так хорошо знакомое мне чувство гордости за свою приобщенность к свету знания, разогнавшему мрак предрассудков и выдумок, к дерзкому и беспристрастному научному мышлению, проникающему все глубже в тайны природы. Но, странное дело, стремясь воскресить в себе восхищение тайнами науки, я вместо этого снова ощутил поднимающуюся в груди волну холода, неуютности и страха. И тут мне на ум пришел образ Рейнольдса — знаменитого английского физика конца прошлого века. Недавно я прочитал, что в

конце жизни он сошел с ума и впал в депрессию. Тогда я не обратил на это внимания — свихнулся, ну и Бог с ним. А тут на меня нашло будто прозрение, и я все понял. Фанатический приверженец научного мировоззрения, Рейнольдс много лет разрабатывал детальную теоретическую модель мира, все многообразие которого складывается из беспорядочно мятущихся и сталкивающихся между собой шариков. Он считал эту модель делом своей жизни. Кроме шариков, говорил Рейнольдс, ничего не существует. Даже на заказном портрете, висящем ныне в Манчестерском университете, он изображен со своим любимым шариком в руке. И вот меня словно пронзила догадка: да ведь от этой-то модели он и сошел с ума! Я понял это с достоверностью, не нуждаясь ни в каких дополнительных материалах, ибо сам в этот момент перевоплотился в Рейнольдса и похолодел перед всемогуществом бессмысленных шариков, которым сам же и помог восторжествовать.

Но неужто и мои дела так же плохи?

Нет, сегодня надо как следует выспаться, а утро вечера мудренее.

22 сентября

Нынешний день я должен запомнить: это один из самых важных для меня дней. Говорят, в жизни человека бывают некие критические моменты, когда быстро кристаллизуется то, что накапливалось годами, и человек будто поднимается на гору, с которой открывается совершенно новая программа окружающего. У меня сегодня произошло именно это. Попробую привести в некоторый порядок то, что я обдумал и понял.

Прежде всего я захотел пробежать внутренним взором доказательство отсутствия души, данное естествознанием, чтобы еще раз удостовериться в его неоспоримости и со спокойной совестью перейти к анализу причин моего вчерашнего настроения. И тут случилось непредвиденное. Чем больше я всматривался в это доказательство, тем более призрачным оно становилось и тем яснее я начинал понимать, что его нет и никогда не было!

Если бы при ясном небе грянул гром, если бы рыба заговорила, а собака стала летать, я не был бы так поражен и обескуражен этим, как своим открытием. Но еще больше я удивился тому, что такой мыльный пузырь не лопался в

течение столетий, что много поколений умнейших голов были так примитивно одурачены мистификаторами, провозглашающими себя борцами против мистики.

Впрочем, долой эмоции, изложу все строго и лаконично.

1. Самым корректным доказательством чего бы то ни было является, как известно, доказательство логическое. Когда этим путем нужно доказать отсутствие чего-то, пользуются методом «от противного» — предположение о существовании объекта сводят к явному абсурду. Ничего похожего в данном случае никем не сделано. Видимо, представление о наличии у человека души не содержит в себе никакого противоречия, иначе за него давно бы ухватились. Правда, может показаться, что понятие души имеет некоторый логический изъян, связанный с тем, что оно не вещь — и, следовательно, имеет в себе какую-то долю неопределенности и произвольности. Но такое возражение сейчас, похоже, полностью отпало. Его подоплекой является идущее из XVIII в. представление о первичности материального и вторичности идеального, которое в физике давно устарело. Хотя обыватель не знает этого, современная физическая теория, разыскивая все более фундаментальные составляющие материи, неожиданно пришла к... идеям. «Кварки», из которых, по всеобщему мнению специалистов состоит вещество, суть, по всей видимости, чистые абстракции, имеющие не физический, а математический статус и поэтому принципиально не могущие быть обнаруженными в эксперименте. Известный американский теоретик Л. Купер, говоря о том, что кварков «реально» не существует, задает вопрос: «Какой смысл может заключаться в трех несуществующих объектах, комбинации которых образуют все то, что существует?» Принадлежность к касте ученых не позволяет Куперу честно ответить на этот вопрос, но непредубежденному человеку ответ должен быть ясен: учитывая данные новой физики, материальный и идеальный миры надо поменять ролями — первый считать вторичным, а второй — первичным.

Итак, ссылка на «реальность» материи как на базу логической предпочтительности этого понятия перед любым нематериальным понятием отпадает. Что же касается чисто логического критерия, то уж он-то совершенно недвусмысленно указывает на предпочтительность идеального мира. Тезис об исходности материи содержит в себе непреодолимую логическую трудность: он не может объяснить, где

помещаются законы природы. Если лет сто назад их еще можно было мыслить как бы «встроенными» в материю, поскольку тогда надеялись свести все мировые процессы к столкновениям крошечных частиц, то теперь, когда стало очевидным, что основные физические законы не могут быть сформулированы иначе, как на языке операторов, действующих в бесконечномерных пространствах, стало столь же очевидным, что законы эти суть типичные идеальные данности, а таким данностям в мире, состоящем только из материи, поместиться негде. Доказанная в квантовой физике теорема об отсутствии «скрытых параметров» удостоверяет это строго материалистически, показывая, что законы, управляющие материей, принципиально не могут быть «вделаны» в саму материю и находятся в особом ненаблюдаемом слое Бытия, фиксируясь в свойствах так называемой «функции состояния», или «пси-функции». Если же считать исходным мир идей, то никаких логических трудностей не будет. Законы природы, как частный вид идей, обретут легальное право на существование, а материю можно будет трактовать как овеществленную мысль. Именно такая трактовка материи была принята в космогонических мифах и религиозно-философских системах всех народов.

Логическое неравноправие идеального и материального коренится в том простом факте, что логика умеет работать только с идеями. Четкое осознание чего бы то ни было, в частности материи, невозможно без выработки соответствующего понятия. Даже атеистическое определение материи начинается словами: «Материя есть философская категория для обозначения...» Никакой материалист не может перескочить через логический примат идеи перед вещной реальностью: ведь «философская категория» есть идея. Проверка любых высказываний о свойствах материи сводится к анализу наших ощущений, возникающих в эксперименте, т. е. к данности нематериальной. Джон фон Нейман справедливо заметил, что все утверждения физической науки, чтобы иметь смысл, должны формулироваться не по типу «происходит то-то и то-то», а по типу «мы увидим стрелку на таком-то делении». Это значит, что и наука, занимающаяся только материей и ничем другим, если она хочет быть последовательной, должна начинать с идеального и кончать им же. Тем более это относится к рассуждениям, затрагивающим явления живой природы. Тут с тезисом об исходности материи и производности идеального не сдела-

ешь ни единого уверенного шага и будешь постоянно сбиваться на туманные высказывания, вроде: «Нравственные нормы возкли как результат эволюции, заботящейся о процветании вида». А любой отход от этого тезиса рано или поздно приведет к понятию души. Следовательно, это понятие не только не является логически уязвимым и поддающимся под какую-либо «отрицательную теорему», но и представляет собой логически напрашивающееся понятие.

2. Можно предположить, однако, что наука дала не логическое, а несколько более слабое, но все же достаточно убедительное доказательство отсутствия души, которое заключается в том, что ей удалось почти полностью описать окружающий мир, не прибегая к этому понятию. Если бы это было действительно сделано, мы могли бы объявить понятие души не то чтобы, противоречивым, но с познавательной точки зрения излишним, избыточным. Именно такого рода доказательство имел в виду Чернышевский, когда писал: «Характер результатов, доставленных анализом объясненных наукою частей и явлений, уже достаточно свидетельствует о характере элементов, сил и законов, действующих в остальных частях и явлениях, которые еще не вполне объяснены». Написав эти строки, Чернышевский, наверное, было очень горд собой и, перечитывая их, думал: «Как энергично и ясно выражена мысль, теперь только дурак не поймет нашей правоты!» Но сейчас, читая эти слова, думаешь совсем другое: «Где же вы, о добрые старые времена, когда уверения в объясненности таких-то «частей и явлений» принимались за чистую монету!» Сейчас нет ни одной отрасли науки, где не было бы «тайн», и это заставило ученых втихомолку изменить тактику воздействия на общественное мнение. Вместо того, чтобы заявлять, как это делал Чернышевский, что тайн осталось совсем немного, они начали как бы гордиться тем, что их всюду так много и что всякое усовершенствование экспериментальной техники порождает новые и новые загадки. Современные научные статьи пестрят оборотами, которые сто лет назад выглядели бы шокирующими: «природа мудра и изобретательна», «природа достигнет своих целей удивительными средствами», «природа всегда оказывается хитрее, чем мы предполагаем» и т. д. Эти фразы, строго говоря, бессмысленны в рамках естественнонаучного мировоззрения, считающего Вселенную автоматом, но в науке стало так много непонятного, что ученые прибегают к ним как к средству создать впечатление, будто

изобилие тайн только укрепляет их мировоззрение. В действительности же накапливающиеся непонятные для науки факты таковы, что они свидетельствуют не о недостаточной нашей зоркости, которая в ближайшее время будет усилена новыми биноклями, а о том, что нами в корне неправильно выбрана точка зрения. Если говорить о фундаментальных теоретических проблемах, то можно без колебаний утверждать, что вся наука находится сейчас в состоянии глубокого философско-методологического кризиса, и главная забота ученых состоит в том, чтобы скрыть это обстоятельство от общественности и, по возможности, от самих себя. В астрономии, например, рухнули все классические представления о Вселенной, составляющие традиционную базу материалистического мировоззрения, и небо покрылось сплошными вопросительными знаками. Таинственна сущность квазаров и пульсаров, неизвестно, существуют ли «черные дыры» и много ли их, нет никаких правдоподобных гипотез о причинах рождения материи в ядрах галактик и о механизме расщепления галактик. А главное, закрылась густым туманом картина функционирования Вселенной в целом: ее гипотетического возникновения из сверхплотного вещества, ее расширения, распада на отдельные звезды и т. д. Не лучше обстоит дело в молекулярной и клеточной биологии. Еще какой-нибудь десяток лет назад нам можно было создавать искусственный оптимизм, заменяя вопрос «почему» вопросом «как», и торопливо, восторженно, похваляясь, что вот-вот будет разгадана «тайна жизни», изучать подробности только что открытых механизмов синтеза белков и передачи генной информации молекулами ДНК. Теперь же, когда схема действия этих механизмов стала известной, биологам нечем больше отвлечь внимание от куда более существенных вопросов: почему именно такие механизмы сформировались в ходе эволюции и что им предшествовало? почему мы не можем реконструировать цепочку, перекинутую между живым и неживым? возможна ли вообще такая цепочка через пропасть, грандиозную ширину которой мы еще вчера не могли даже вообразить? Обратившись к биологии организмов или видов, мы и здесь найдем бесчисленные головоломки. Стало окончательно непонятным само происхождение видов: классический дарвинизм начисто уже себя дискредитировал и вызывает среди биологов почти открытую оппозицию, а провозгласившая себя его приемницей «Синтетическая тео-

рия эволюции» является голой программой, причем такой, суть которой ни один разумный человек понять не может. Такая же загадка — развитие организма из эмбриона, которое происходит по столь сложному плану, что невозможно себе представить, будто он записан в одной-единственной зародышевой клетке. Загадочно и происхождение поведенческих реакций животных, получающих пока единственное «объяснение»: «Вид или биоценоз, вероятно, с помощью гуморальных или психологических воздействий, способен изменить поведение отдельных особей в выгодном для себя направлении». Поднимаясь по лестнице уровней живого от зоологии к общей экологии, а потом к психологии, социологии и истории, мы окажемся перед лицом еще более беспросветной тьмы. Объяснения здесь начнут заменяться описаниями, убедительность — красноречием, а доказательства — демагогическими приемами. Тут вы на каждом шагу будете сталкиваться с интригами, склоками, борьбой школ и течений и откровенным слиянием научной деятельности с сиюминутной политикой. Общаясь в этой сфере «знания» со стеклянноглазными бизнесменами от науки, вы всегда будете испытывать чувство, что они вот-вот попросят у вас взаймы, и вы не увидите больше своих денег, и однажды вас поразит мысль: «Неужели это о н и объясняли мне, как устроен человек и человеческое общество?»

Но дело даже не в том, что утрачены все надежды на полное объяснение мира материалистической науки. Гораздо важнее то, что данные, получаемые наукой, все красноречивее свидетельствуют о возможности преодоления кризиса познания только одним способом: признанием нематериальной данности, управляющей материальными процессами. Эти свидетельства идут вразрез с официальной научной идеологией, поэтому им чрезвычайно трудно пробить себе дорогу к признанию. Их стараются дискредитировать или, по крайней мере, не замечать. Представляя собой нечто противозаконное, они обсуждаются только в тех областях знания, где к тому вынуждает высокий уровень логической строгости или обилие ясного экспериментального материала. Физика оказалась здесь первой, так как она и строга в рассуждениях, и более других наук приучена считаться с опытными данными, иными словами, менее всего поддается нажиму со стороны ученых. Непосредственно за ней следует эмбриология, которая хотя и является наукой описательской, но располагает огром-

ным запасом достоверных и точных лабораторных наблюдений. Далее располагается теория эволюции, у которой материала меньше, но все же достаточно много. Потом идут психология, наука о поведении животных и экология, где данные более расплывчаты. Замыкают же эту цепочку такие сомнительные в своей методологии и неоднозначные в трактовке фактов отрасли, как социология и история. Физика уже лет сорок тому назад примирилась с мыслью о существовании ненаблюдаемой компоненты Бытия, воздействующей на материальные частицы. Этому вынужденному отступлению от принятого ею мировоззрения предшествовал долгий период споров, колебаний и страхов, но вот он завершился, и сейчас всякая физическая система рассматривается теоретиками как двухъярусная: состоящая из «волновой функции» и «наблюдаемых». Без такого расщепления реальности, позволившего поместить законы эволюции в один слой, а чувственно воспринимаемые объекты в другой, физика не смогла бы преодолеть своего «кризиса», разразившегося в начале нашего века, и стать основой современной ядерной техники. Остальные науки не решились пока на открытое признание невидимых сущностей, но кое-где чувствуется глухое брожение, упорное нащупывание истины, то и дело прорывающееся наружу ортодоксальными высказываниями, и по энергии этих ересей можно судить о степени готовности соответствующей отрасли знания последовать примеру физики. Самая явная оппозиция официальному научному мировоззрению имеется в эмбриологии. Про представителей этой науки нередко говорят, что витализм является их профессиональным заболеванием. Под этим имеют в виду, что многие выдающиеся эмбриологи упорно отстаивали существование «энтелехии» — некоей неощутимой для нас субстанции, направляющей развитие зародыша. Этим людей можно понять: тот, кто ежедневно наблюдает поразительный процесс формирования сверхсложного организма почти из ничего, из микроскопической клетки, должен наконец осознать, что грандиозный замысел этого организма не может помещаться в клетке, а должен втекать в зародыш по мере его развития откуда-то извне. Эту внешнюю данность, являющуюся хранилищем плана организма, бунтующие против принятой догмы биологи и называли «энтелехией», но узаконить ее до сих пор так и не смогли. В теории эволюции идея управляющей развитием видов ненаблюдаемой данности звучит уже более приглу-

шенно, не принимая явной формы и претворяясь в неортодоксальные теории, вроде теории «нимогенеза», выдвинутой Л. С. Бергом, имеющие целью выработать наукообразную аргументацию в пользу тезиса о целенаправленности эволюции. В психологии идея нематериальной цельности, воздействующей на материальную структуру, проглянула лишь в работах одной из школ — в учении о гештальтах. Что же касается социальных наук, то здесь термины «национальный дух» и другие, ему подобные, трактуются как чистые метафоры.

Итак, современная наука допускает существование «души» у всякой микрочастицы и считает изучение этих «душ», которые она называет «функциями состояния», важнейшим делом; наличие биологической управляющей данности, или «энтелехии», она ставит под сомнение; предположение о существовании нематериальной программы эволюции она поднимает на смех и согласна обсуждать направленность развития биоценоза только с тем, кто заранее дает обязательство свести его к действию физико-химических законов; «душа народа», по ее мнению, есть лишь сокращенное выражение, за которым скрывается «параллелограмм сил» — таких, как стремление человека насытиться, спрятаться от холода и произвести потомство. Выходит, чем объект примитивнее, тем легче допускается наукой мысль о том, что им руководит некая невидимая реальность. Но ведь это полнейшая бессмыслица! Из физики известно, что когда частицы соединяются в систему — например, в атом, — функция состояния не только не утрачивает своей роли, но повышает ее, обретая новые, более тонкие, средства воздействия на наблюдаемую структуру. Естественно ожидать, что при формировании таких все усложняющихся структур, как внутриклеточные аппараты, клетки, функциональные системы организмов, организмы в целом и сообщества живых организмов будут развиваться и соответствующие управляющие данности и их влияние будет становиться все более многоплановым. И если наука не делает такого естественного заключения, то потому только, что оно противоречит ее идеологической установке. А откажись она от этой предвзятой установки, доставшейся ей в наследство от эпохи мистического материализма и воинствующего атеизма, сразу стало бы ей очевидно, что накопившиеся в изобилии факты буквально вопиют о том, что за видимым слоем Бытия стоит невидимый, но не менее реальный слой, без познания

которого невозможно понять ничего существенного. Следовательно, и такое нематериальное понятие, как «душа человеческая», не только нельзя считать сейчас излишним, но надо поставить в ряд важнейших понятий, к которым должен обратиться человеческий разум конца двадцатого столетия, чтобы осмыслить имеющийся научный материал.

3. Еще более слабым, но все же заслуживающим внимания аргументом против существования человеческой души могло бы стать создание искусственного устройства, имитирующего какие-либо важные аспекты поведения человека. Тогда можно было бы сказать: «Вот видите, в этом механизме заведомо нет души, а чем он отличается от нас?» Естественнаучная идеология в какой-то момент начала, видимо, чувствовать, что в этом состоит ее последний шанс, поэтому с таким энтузиазмом ухватилась за кибернетику. Вокруг этой псевдонауки, не имеющей даже определенного предмета исследования, поднялся настоящий бум. Основополагающие работы Винера, Шеннона и Эшби, усиленные журналистикой, породили мощное эхо в виде необъятной литературы, которая сама себя нарекла «научной фантастикой», а народ гораздо точнее назвал просто «фантастикой», не считая нужным указывать на ее научность. Но народ не знает, что точно такой же голой фантастикой можно считать и насыщенные учеными терминами и материалистическими формулами статьи, печатавшиеся в научной периодике и специальных сборниках. Сколько денег было истрачено на эти сборники, на съезды, конференции и симпозиумы по кибернетике! Но шли годы, и из оседающего тумана лжи и демагогии начала вырисовываться горькая правда: ни единого шага по направлению к созданию «искусственного интеллекта» так и не было сделано. Полностью провалились даже сравнительно скромные планы создания опознающих устройств или машин-переводчиков. В бесчисленных публикациях подробно описывались свойства рукотворных «людей» и объяснялось, чем роботы отличаются от киберов, а киберы от киборгов, а в действительности ничего, кроме быстродействующих арифмометров, науке построить не удалось, и теперь почти всем ясно, что и не удастся. Не должно ли это натолкнуть на мысль, что в человеке есть что-то такое, что ни одной материальной структурой воспроизведено быть не может?

Вот как обстоят дела с «доказательством отсутствия души», якобы полученным наукой. Оно оказалось величай-

шей фальсификацией нового времени. Сегодня я понял это с абсолютной несомненностью и почувствовал, что с моих глаз спали перевертывающие мир очки, и я увидел все на своих местах. Каким волнующим является это незнакомое мне прежде чувство, которое я назвал бы счастьем прозрения! В первый момент оно, правда, омрачилось сожалением о потерянных годах, в течение которых я пребывал в состоянии оглупения, но вскоре эта грусть сменилась желанием находить новые и новые доказательства присутствия во мне души. Хотя объективное научное исследование, вопреки желанию ученых, дает немало таких доказательств, они все же не исчерпывают вопроса. Наука уперлась в необходимость признания нематериальных реальностей как таковых и должна изучать их, ввиду своей специфики, извне, но познать свойства именно человеческой души сподручнее всего изнутри. Вчерашнее ощущение ностальгии по какой-то неземной отчизне, собственно и пробудившее во мне все мысли, которые я сейчас записываю, дало мне, пожалуй, одно из таких внутренних, т. е. прямых, доказательств и открыло некоторые свойства души. Нужно идти в этом направлении и дальше. Почему моя душа вчера как бы отделилась от меня и смогла стать объектом моего наблюдения? Потому, что наши устремления на какой-то момент стали противоположными: она затосковала по своему дому, а я, как и всякое биологическое существо, продолжал ориентироваться на жизнь здесь. Это расщепление установок было проявлением «краевого эффекта», который к концу жизни должен усиливаться. Но в таком случае дополнительные сведения о душе может дать другой краевой эффект, действия которого нужно ожидать в первые годы жизни, когда душа еще не освоилась в этом мире и между нею и телом могло быть значительное взаимонепонимание.

Что ж, вероятно, для этого нужно совершить экскурсию в собственное детство. Ведь я давно хотел посетить места, в которых вырос, они даже во сне мне стали сниться, да все никак не мог собраться — то одно мешало, то другое. А сейчас самый удобный случай исполнить свое намерение.

27 сентября

Только что вернулся из Малаховки. Записываю по горячим следам все, что стало мне там понятным.

Дом моего детства встретил меня невысоким крыльцом. Многие из царапин, избороздивших его ветхие ступени — мои. Они были сделаны мною сорок лет назад, когда я по утрам распахивал дверь террасы и сбегал на посыпанную желтым песком дорожку сада. Терраса тогда не была застеклена, а отделялась от внешнего пространства живой стеной из вьющегося растения, которое мы все называли повиликой, хотя, как я узнал много позже, это был повой. Все лето возле его белых цветов в форме «граммофончиков» жужжали тяжелые шмели.

С террасы открывалась дверь в длинный темный коридор. Я вступил в него в смятенных чувствах, ощущая себя бывшим придворным, состарившимся в опале и теперь приближающимся к трону, чтобы вновь получить запоздалые знаки королевской милости.

Я подошел к концу коридора, где висит потемневшее зеркало, а по бокам от него поднимаются к самому потолку книжные полки. Здесь образовывается тупик, тихий обособленный уголок, куда можно было забиваться и никем не замечаемым просиживать часы.

Какие счастливые это были часы! Современный взрослый человек, т. е. человек, который в силу условий современности с годами не обретает истину, а теряет ее, не способен понять этого. Современный взрослый человек считает пределом счастья завести новую любовницу или выпить с приятными собутыльниками. Но он забыл, что когда-то ему было доступно несравненно большее счастье: пребывать наедине с собой в излюбленном укромном и таинственном месте и, зажигаясь волшебностью и значительностью этого места, извлекать из самого себя какие-то удивительно дорогие и важные образы, представления и мечты.

В моем заколдованном царстве под зеркалом мне помогали в этом книги. Вот они — все целехонькие, даже пыли не очень многоросло за эти годы. А вот и главная из них, с крестиком золотого тиснения на корешке, плотно стоящая в ряду таких же крепких, коричневых, сделанных со старинной добротностью фолиантов. Это какое-то немецкое энциклопедическое издание типа «Вселенная и человечество», в котором весь мир природы, техники и искусства с необыкновенной аккуратностью разложен по главам, параграфам и абзацам, явлен в четких рисунках и проложенных папиросной бумагой цветных вклейках и растолкован с такой исчерпывающей полнотой, чтобы по его поводу уже

никогда не могло возникнуть ни одного вопроса. Десятый том посвящен как раз искусству. Я взял его в руки, и он сам открылся на гравюре Дюрера «Адам и Ева», которую я когда-то разглядывал чаще и дольше всех других иллюстраций. Как и в те давние времена, я смотрел на нее с удивлением и любопытством. Только на этот раз причина этих чувств была другая. Сейчас я удивлялся, как могли издатели не почувствовать, что это загадочное изображение разрушает их сумасбродный замысел втиснуть все сущее в дюжину увесистых томов. Неужели эти фанатически верившие во всемогущество науки немцы начала двадцатого века не заметили, что гравюра, созданная немцем начала шестнадцатого века, которую они так тщательно воспроизвели на дорогой глянцевой бумаге, является вызовом их спесивой науке? Я взял наугад другой том. В нем были паровые машины, золотники, центробежные регуляторы, автомобили, колеса и спицы, изображенные с такой же тщательностью, с какой репродуцировались в десятом томе работы живописцев и графиков. Но если с автомобильчиками и колесиками все было предельно понятно, то с сюжетами и образами Дюрера все оставалось предельно непонятно. Эти так непохожие на реальных и вместе с тем реальные персонажи раздражали, заинтриговывали, но не поддавались разгадке. Изображения, конечно, пояснялись в книге обычным самоуверенным искусствоведческим текстом, в котором разбираются течения, школы и стили, но каким бы ни был этот текст, он заведомо не был способен ответить на главный вопрос: откуда Дюрер взял своих странных людей? Округлая Ева, поджав губки берущая из пасти змей плод, и устремивший на нее растерянный взор кудрявый Адам, у ног которого пробегала мышь, а над головой сидел на ветке попугай, — пробивали в замкнутом лабиринте ученого текста дыру, которую ничем невозможно залатать и сквозь которую просвечивает такая даль и нездешность, что в груди пробуждается что-то вроде тоски. Но в детстве меня занимало в гравюре не это. Я был мал и не претендовал на знание того, какие в каких землях водились или водятся звери и люди, поэтому, видя изображения людей, которых художник явно не смог бы просто выдумать, так вот взять и высосать из пальца, я поневоле верил, что подобные люди где-то и когда-то существовали. Но вот нагота этих людей впечатляла меня необыкновенно. Когда Дюрер в своем вольном городе Нюрнберге процарапывал очередную мед-

ную пластину, мог ли он подумать, что сделанный с нее оттиск так сильно подействует через четыреста с лишним лет на какого-то российского мальчика! О, это было совсем не то действие, которому, преодолевая лень, я поддаюсь сейчас, когда вижу и дорисовываю воображением определенные части женского тела. Сейчас я уверил себя, будто я прекрасно знаю, где тут причина и корень, и поэтому меня не проймешь какой-нибудь там нежной шейкой — нынче мне подавай сам этот корень. Но, вопреки мерзкой фальшивке нашего века — фрейдистской теории — детский нелокализованный интерес к обнаженному телу вовсе не есть отголосок сексуального чувства; он есть значительно более универсальное ощущение, которое у взрослого человека постепенно усыхает и распадается, и один из фрагментов которого становится составной частью полового влечения. Оно гораздо обширнее этого влечения и, пожалуй, родственно столь же неспецифическому по своей природе непроборимому любопытству, с которым мы в первые годы жизни смотрим на раны и увечья или на изображения внутренностей в медицинском атласе. Казалось бы, у каждого из нас есть этот опыт восприятия и нам нетрудно правильно осмыслить его. Но нет, наша эпоха обрекает нас на слепоту. В детстве мы догадываемся об истине, но не умеем ввести ее в рамки строгих понятий и зафиксировать; вырастая же, мы все глупеем, так как со школьной скамьи начинаем иметь дело не столько с жизнью, сколько с ее теоретическим истолкованием, как никогда прежде тенденциозным, и с ее изображением в искусстве, как никогда прежде стандартизированным. Выйдя из детства и потеряв непосредственное ощущение истины, мы оказываемся неспособными устоять перед соблазном недуманья и охотно принимаем эту искусственную структуру за исходную реальность, а значит, навсегда расстаемся с надеждой понять сущность мироздания. Но в прежние времена, когда люди еще не завели у себя цивилизации с ее комфортабельной ложью и видели все таким, как оно есть, они знали прекрасное слово «телесность». Правда, оно звучит иногда и сегодня, но его философский смысл давно утерян. Раньше его понимали много шире, чем теперь, и вместе с тем много определеннее. С ним было связано представление об одной из фундаментальнейших составляющих Бытия, суть которой была всем понятна. Телесность противопоставлялась духовности, а духовность объединяла в себе божественные порывы души. Поскольку

с Богом тогда было все ясно, столь же ясно обстояло дело и с духовностью, а значит и с противоположным понятием — телесностью. В наши же дни, когда мы отрицаем Бога и считаем человека всего лишь сложным автоматом, мы не можем вложить никакого разумного содержания в понятие духовности, называя этим словом то любовь к чтению, то пристрастие к искусству, то мечтательность, а поэтому для нас потеряло четкое значение и понятие телесность. Согласно нашей убогой теории, к телу, т. е. к материи сводится вообще все сущее, однако, произнося по привычке словосочетание «телесная сторона жизни», мы какой-то глубинной памятью вспоминаем, что оно должно относиться все-таки не ко всей жизни, а к какому-то низменному ее аспекту, и связываем его либо с сексом, либо с пьянством и обжорством — в зависимости от того, что нам в этот момент покажется низменным. Мы так сузили наш кругозор, что нам приходится называть телесностью какой-нибудь наиболее отвратительный фрагмент разросшейся в наших глазах до масштаба всего мира телесности. И лишь в те несколько лет жизни, пока в наше сознание не успела еще внедриться идеология бездуховности, мы воспринимаем телесность правильно — как нечто особое, что вызывает у нас сопровождающееся глубинным ощущением недозволенности специфическое любопытство. Мы чувствуем, что этот элемент не необходим для нашей души, но коль уж он навязан ей, то мы должны отнестись к нему как к еще одному свидетельству непостижимости Вселенского замысла. Мы часто испытываем в этот период содрогание, сталкиваясь с телесностью в ее неожиданных проявлениях, вне зависимости от того, связана она с половой сферой или нет. Нас коробит, когда мальчишка выпускает изо рта и втягивает обратно слюну, когда мама выворачивает себе веко, чтобы снять с него соринку, или просит нас надавить ей ложкой на язык и посмотреть горло, и даже когда наш взор падает на висящую в ванной клизму и живое воображение рисует нам картину ее использования. Все это мы воспринимаем как явления одного порядка — как намеки на то, что в нашем материальном устройстве, имеющем на поверхности лучистые глаза, мягкие кудри и ароматную кожу, есть омерзительная изнанка, с которой нам, видимо, все чаще придется иметь дело и к которой, следовательно, надо как-то при-терпеваться.

Воскресив в себе это детское ощущение и проанализи-

ровав его теперешним разумом, я понял даже больше, чем рассчитывал понять, отправляясь в путь. Краевой эффект начала жизни с лихвой оправдал мои надежды. С такой же отчетливостью, как то, что дважды два четыре, я увидел: душа моя действительно бессмертна, и существовала она в каком-то другом виде задолго до того как ей пришлось войти в мое тело. И к этому телу она в первое время никак не могла привыкнуть.

Но не осталась моя бедная душа без поддержки и помощи. В нее было вложено семя, которое, разившись и укрепившись, помогло ей примирить ее с пугавшей на первых порах телесностью. Оно есть предощущение гармоничности мира в целом, взятого вместе с его отталкивающими сторонами. Развившись до большого масштаба, оно, видимо, и становится основой присутствующего у всех настоящих художников умения быть совершенно небрезгливым к жизненной правде. Я думаю, что оно дало в моей душе первый росток как раз тогда, когда я разглядывал «Адама и Еву». Гениальный Дюрер изготовил именно то лекарство, которое мне было тогда необходимо. Подобно собаке, находящей в поле нужную организму ткань, я отыскал его гравюру среди тысяч других изображений и напITYвал ею свою душу. В результате в глубине моего «Я» происходила медленная, но важная перемена. Видя нагие тела смягченными, округленными и вписанными в роскошную девственную природу, я приучался к мысли, что и голый человек может не быть отталкивающим. Это был мой первый шаг к примирению с внутренними органами, физиологическими отправлениями и половой жизнью.

Пробудив в себе детские ощущения, я понял и другое: в те далекие годы моя душа адаптировалась к новым для нее условиям не в том лишь смысле, что преодолевала страх перед телесностью, но и в том, что ей пришлось учиться новому языку. Но обучалась она ему совсем не так, как это трактуется в учебниках психологии. С нынешнего дня я точно знаю, в чем состояла суть ее обучения: на местах моего детства истина открылась мне как ясное солнце. Она так твердо вошла в мое сознание, что я не стану торопиться писать об этом. Подробное изложение потребует много времени, а сейчас уже поздно.

28 сентября

Итак, истина состоит в следующем.

Когда мы вступаем в земную жизнь и душа вселяется в наше тело, она в течение некоторого времени сохраняет воспоминания о том мире, из которого пришла, и остается связанной с ним многими нитями. Но здесь ей приходится иметь дело с совсем другим миром. Став пленницей плоти, она обнаруживает, что имеет теперь прямой доступ лишь к мозаике чувственных сигналов, и догадывается, что на долгое время это будет единственная предстоящая ей реальность, к которой надо приспособливаться. Приспособиться — в первую очередь означает научиться расшифровывать, истолковывать. Как это можно сделать? Конечно, только тем методом, каким путешественник учится понимать язык чужой страны. Слыша незнакомые слова, он с помощью словаря или по догадке соотносит их со словами родного языка и постепенно выполняет перевод чужеземной речи на свою. Такой же перевод, но только неизмеримо более объемный, осуществляет наша душа за первые несколько лет своего заточения в телесной оболочке. То, что она лицезрела и понимала там, она скрепляет с тем, что воспринимает с помощью органов чувств здесь. Поскольку категория смысла, как и все другие абстрактные понятия, существует только там, а здесь имеются лишь наборы пятен, звуков, запахов и т. д., то такой перевод означает осмысление предметного мира. Никакого другого способа осмыслить вещную реальность, кроме как привести ее в соответствие с духовной реальностью, т. е. с объектами того мира, нет и быть не может. Актом простого восприятия мы вызываем к жизни еще не предметы, а только бессодержательные чувственные структуры; содержание же они обретают на следующем этапе — в акте перевода.

Вещи сами по себе, без скрепления с истинной реальностью — объектами духовного царства — лишены какого бы то ни было значения и смысла. Наши высказывания о вещах всегда представляют собой иносказания. На самом деле мы говорим о том, что стоит позади вещей и, просвечиваясь сквозь них, наполняет их содержанием. А проделывать это скрепление может только та данность, которая заранее знает то, с чем нужно скреплять образы вещей. Но эта данность и есть наша душа.

Я уже писал о том, что современная наука неотвратимо подходит к пугающей ее мысли о существовании нема-

териальной реальности. Но так же неотвратно она подходит к выводу, что всякое живое существо от рождения имеет в себе обширные целостные представления о сущем, постепенно претворяющиеся в знаковую структуру какого-либо языка, т. е. приходит к невольному признанию тезиса Платона: «Знание есть припоминание».

С наибольшим сопротивлением встречала всякий намек на эту идею психология. Как известно, в этой науке в свое время господствовала концепция Локка, будто человек есть «чистый лист», куда воспитание и образование могут вписать все, что угодно. Центральной задачей психологии считалось исследование еще не ясного, но, как полагали, совершенно конкретного и сводящегося к физико-химическим процессам механизма, управлявшего таким «вписыванием». Ученые обещали, что секрет этого механизма вот-вот будет полностью разгадан. Но шло время, а дело так и не сдвигалось с места. Понимая, что она не может вечно оставаться лишь программой действий, лишь призывом и лозунгом, психология постепенно начала терять высокомерие и вдумываться в проблему серьезнее. И тогда всплыло, что, во-первых, надо решить вопрос, вписывается ли в нас извне сама возможность вписать в нас что-то, а, во-вторых, что теорию «чистого листа» опровергает хотя бы такой очевидный факт, что на некоторых детей не действует никакое прекрасное воспитание, и они вырастают порочными людьми. Чтобы как-то выпутаться из положения, Ломброзо допустил существование «врожденной преступности», позволив, таким образом, вписать в нас нечто не только воспитанию, но и судьбе. Этой уступки оказалось все же недостаточно, и Фрейд ввел пару новых элементов, по его мнению, вкладываемых в нас природой. Пользуясь крайней расплывчатостью определив этих элементов и, конечно, привилегированным положением науки, которая должна не объяснять, а создавать лишь видимость объяснения, фрейдисты сумели сделать свою теорию необычайно популярной. Но уже один из учеников Фрейда — Юнг — начал сомневаться в том, что стремление к совокуплению и стремление к смерти исчерпывают тот внутренний багаж, с которым мы являемся в мир, и с тех пор какая-то часть психологов постоянно возвращается к юнговскому дополнительному перечню «архетипов», надеясь с его помощью сделать свою науку менее бездоказательной. Однако и это расширение не помогает, к тому же господствующая идеология с большим подо-

зрением смотрит на такие изначальные психические элементы Юнга, как, скажем, «тяга к культурным ценностям». Была сделана и другая попытка спасти «науку о душе», не подвергая сомнению основную аксиому естественнонаучного мировоззрения, гласящую, что души не существует. Установив с помощью экспериментов некоторые интересные факты, касающиеся восприятия, группа ученых создала направление, названное «гештальтизмом». Оно утверждало, что человек воспринимает не мозаику чувственных сигналов, которая является лишь провоцирующим агентом, а некие изначально находящиеся в нем целостные образы — «гештальты». Будучи вполне лояльными по отношению к догме бездуховности, психологи этого направления пытались объяснить возникновение в психике гештальтов какими-нибудь физическими «полями», но сделать этого им не удалось, и их концепция после кратковременного успеха заглохла. Тем временем методы психофизиологических измерений развивались и совершенствовались, и стало накапливаться все большее количество фактов, неопровержимо свидетельствующих о том, что восприятие все-таки не синтезирует пятна и звуки в сложные образы, а наоборот, придает тот или другой смысл пятнам и звукам в зависимости от возникающих в сознании или подсознании цельных образов и представлений, которых имеется неизмеримо больше, чем «архетипов» Юнга. Не ставя вопроса, что же за невидимый мир они обнаружили в человеке, физиологи констатируют: «Человек видит не то, что спроектировалось на его сетчатку, а то, относительно чего он знает, что оно есть». Из-за этого в последние годы сильно участились ссылки на результаты гештальт-психологии. Но, обжегшись на молоке, ученые дуют теперь на воду и придерживаются молчаливого соглашения не ворошить больше проблемы местопребывания гештальтов.

Еще любопытнее материал, полученный в тех областях, где пока еще не осознаются его мировоззренческие намеки, и потому он не подвергается идеологической цензуре. Одна из таких областей — этология, наука о поведении животных. Этологи установили, что формирование психики животного определяется в основном не возникновением условных рефлексов, как утверждали прежде теоретики, подводившие базу под концепцию «чистого листа», а механизмом «запечатления». Его суть можно пояснить на примере. Допустим, из яйца вылупляется гусенок. Казалось бы, природой

должно быть предусмотрено, чтобы он узнавал в облике гусыни свою мать. Но, как выяснилось, все устроено не так. Оказывается, гусенок будет всю жизнь считать «матерью» первое существо, которое он увидит, появившись на белый свет, даже если этим существом окажется человек. Лоренц, открывший это явление, назвал его «запечатлением» и с его помощью объяснил в развитии поведенческих реакций очень многое. Но он не задумался над философским значением обнаруженного факта. Факт состоит в том, что гусенку до всякого чувственного опыта доступно понятие «матери», но никаких априорных представлений о том, как именно выглядит «мать», у него нет. Следовательно, понятие высокой степени абстракции предшествует конкретному зрительному образу, и оно-то и запечатляется в этом образе, наполняя его содержанием. И это у кого — у глупой птицы! Что же говорить о человеке? Уж он-то наверняка является в этот мир переполненный сверхчувственными психическими данностями — умозрительными идеями, общими представлениями об устройстве Бытия, отвлеченными эмоциями, смутными побуждениями — и куда интенсивнее гусенка начинает сразу же приводить все это в соответствие с показаниями органов чувств.

Еще одна дисциплина, которая ведет себя несколько угрожающе по отношению к официальной теории обучения, делая это, правда, не по смелости, и по недомыслию — это семиотика, довольно расплывчатый «комплекс исследований знаковых систем», где подвизаются лингвисты, математики и философы, оказавшиеся неудачниками в своих собственных науках. Семиотика провозгласила, что она состоит из трех частей: синтаксиса, семантики и прагматики. По поводу первой части никаких принципиальных недоумений не возникает: объектом ее анализа являются правила формирования текстов. Третья часть занимается использованием текстов, и тут тоже все ясно. Но вот вторая составная часть семиотики загадочна. Специалисты определяют семиотику как науку о смысле текстов, но если мы просеем необозримую литературу, посвященную семантическим проблемам, с целью узнать, что понимается в этой науке под «смыслом текста», то мы найдем два совершенно разных варианта определения этого центрального понятия семантики. В первом варианте смыслом данной знаковой системы объявляются символы другой знаковой системы. Определения второго типа, если очистить их от словесной

шелухи, могут быть сформулированы примерно так: «Смыслом называется то, что люди считают смыслом». Первая точка зрения, разумеется, нелепа, так как она ведет либо к порочному кругу, либо к построению бесконечной последовательности знаковых систем, и ни в том, ни в другом случае не дает нам ответа на наш вопрос. Второй вариант определения, вопреки внешнему впечатлению, не есть тавтология: в нем признается, что категория смысла является чем-то врожденным для человека и, главное, существующим вне какой бы то ни было знаковой системы. Если на чем-то и можно построить реальную, а не фиктивную семиотику, то только на этой второй концепции смысла. Но тот, кто ее примет, должен будет согласиться со следующим утверждением: «Показания чувств наполняются содержанием только тогда, когда они скрепляются с целостными представлениями, имеющимися в нашей душе заранее».

И, наконец, надо вспомнить о математике. Примерно с середины прошлого века эта наука неуклонно формализовалась. Тем не менее, несмотря даже на усилия такого крупного математика как Гильберт, превратить ее в алгоритмическую структуру не удалось. Как единодушно признают все специалисты, осмысленность и ценность любого математического формализма определяется тем, имеет ли он интерпретацию. Под интерпретацией же в математике понимают теоретико-множественную модель, т. е. некоторое множество, элементы которого обозначаются символами данной формальной системы. Но в каком значении берется здесь понятие множества? Оказывается, в «старом», канторовском значении, как «многое в едином». Известно, однако, что это понятие неформализуемо и открыто только интуиции. Следовательно, и здесь, т. е. в самой фундаментальной области знания, являющейся базой всех «точных наук», осмысление есть ни что иное, как сопоставление с врожденными целостными образами.

30 сентября

Напишу теперь о том главном, что я понял в Малаховке, в комнате с бревенчатыми стенами, где прошло несколько лет моей жизни, равных векам.

Я понял там, что такое Любовь. И понял, что есть Бог.

На первой стадии своего земного заточения душа человеческая живет еще не в капитальной темнице, а во вре-

мянке с многочисленными дырами и трещинами в стенах. Порывшись в памяти, каждый отыщет в ней отзвук одного из тех таинственных моментов, когда его детское сердце беспричинно начинало трепетать радостью или тоской, когда впервые увиденный ландшафт неожиданно казался давно знакомым или, наоборот, хорошо известная местность вдруг преображалась в чуждую и вызывала испуг. Это мелькал сквозь прорехи свежей загородки ставший для нас уже потусторонним отчий край, и то одна, то другая его деталь случайным образом накладывалась на то, что мы созерцали в здешнем краю, и приводила нас в растерянность. Потом, когда мы повзрослели, все устроилось по-другому: щели были заделаны, и мы приучились проектировать на всякую земную вещь лишь воспоминание о чем-то неземном, скрепленное с нею. Эти-то воспоминания и дают нам возможность существовать во враждебном нашей душе царстве мертвой материи, так как создают иллюзию, будто мы находимся не в гостях, а дома.

Но воспоминания истощаются, внутренний свет, благодаря которому позади цветных пятен мы видим людей, природу и предметы, иссякает, и не будь восполнения, человеку суждено было бы деградировать и в самом деле превратиться в автомат, каким рисует его наука с самого момента своего возникновения. Как выглядят такие автоматы, хорошо знают те, кто сталкивался с шизофрениками, страдающими синдромом психического автоматизма. Не приведи Господь никому стать такой марионеткой, потерявшей всякую интуицию, не улавливающей глубинного смысла явлений, утратившей все ценностные критерии, не понимающей метафор, чуждой юмору, а главное — постоянно чувствующей бесцельность собственного существования. Если этого не случается с нами, то только потому, что наша душа, неощутимо для нас, главным образом во время сна навещает некоторые области своего духовного отечества, набираясь там свежих впечатлений. Какая часть Духовного Царства окажется ей доступной, во что будет вглядываться она жадными очами, восстанавливая ясность чувства и разума, во многом зависит от того, куда она привыкла путешествовать в первые годы своего заточения, когда сон занимал больше половины жизни и эти визиты были особенно частыми, так как тогда шел интенсивный процесс осмысления вещного мира, т. е. интерпретирования чувственных показаний сверхчувственными образами, а такие

образы можно заимствовать только оттуда. Этим и объясняется тот факт, хорошо известный психологам и педагогам, что духовная ориентация человека тесно связана с характером опыта самого раннего детства. Если в этот период ребенку приходится особенно часто наполнять содержанием явления, соответствующие определенной группе сверхчувственных представлений, то душа его прокладывает себе путь именно в то место материального мира, где обитают эти представления, и он становится в дальнейшем привычным и незарастающим путем.

Моя бабушка, бывшая рядом со мной в раннем детстве в комнате с бревенчатыми стенами, заставила мою душу протоптать тропинку к самой высокой точке Духовного Царства, откуда при желании можно увидеть все его пределы и понять сущность мироздания в целом. Благодаря ей мой первый опыт стал опытом Любви, а там Любовь располагается на вершине.

Я говорю это совсем не в том смысле, что из-за счастливого влияния бабушки я с детства рос добрым, чутким и отзывчивым, что я любил ближних, видел в них только хорошее и был готов ради них на самопожертвование. Нет ничего более на меня непохожего, чем образ такого человека. Жизнь свою я прожил гадко, в ней было много злобы, зависти, малодушия и эгоизма. Тем не менее, оглядываясь назад, я могу произнести те же самые слова, которые написал в дневнике Лев Толстой: «По крайней мере, несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я все-таки не был оставлен Богом и хоть под старость стал хоть немного понимать и любить Его». И вот этим-то я и обязан бабушке Оле.

Ее любовь ввела мою душу в дом великого Творца нашего, от которого одного лишь берет начало всякая любовь, кому бы она ни представлялась в аренду на срок земной жизни. Это имело для меня важнейшие последствия. Воспарявшая в детстве в такую высь душа навсегда запечатлела в себе мягкий ландшафт какого-то прекрасного отечества, и этот смутный образ на многих ответственных развилках моей жизни выплывал из моей памяти и оказывал решающее влияние на выбор дороги. Нередко я делал такой выбор против собственной воли и, как тогда был уверен, против собственной выгоды. И только сейчас я понял, какими спасительными для меня были все решения, подсказанные воспоминаниями души о Доме Господнем, и как жаль, что во

многих случаях я не прислушивался к таким подсказкам.

Мудрецы всех времен и народов твердили одно: любовь есть стремление души к Богу. Но мы, так называемые ученые люди, не посчитались с тысячелетней мудростью, с выверенной внутренним опытом всего человечества истиной, и объявили любовь «отражением в высших этажах психики полового влечения». Естественнонаучная эпоха начала с возведения Человека на пьедестал на место сброшенного оттуда Бога, а кончила тем, что можно было предвидеть с самого начала: затапыванием Человека в грязь. Человек стал изображаться не просто животным, а самым подлым, агрессивным и похотливым из всех животных. Сейчас, правда, ученые смягчают свой приговор и произносят туманные фразы о возвышенных порывах людской натуры, но это все лишь лицемерие и заигрывание с публикой, ибо мировоззренческая платформа науки бессильна объяснить происхождение и сущность подобных порывов. Не пора ли нам перестать уповать на зашедшую в тупик во всех областях науку и взяться за собственный ум?

Теперь я понял: накапливающееся во мне в последние годы раздражение против науки с ее самоуверенностью и увертливостью как раз и было подспудным стремлением освободить свой разум от лжи. И несколько дней назад нарыв прорвался...

Величайшие из мировых истин не надо разыскивать в текстах антикварных книг — они лежат у всех на виду. И одна из них состоит в том, что любовь есть стремление души к Богу, к самому родному ей существу. Помимо древних философов и всех религиозных учений это подтверждает даже сам наш язык: синонимом слова «любить» является слово «обожать» — видеть в предмете любви Бога, считать его заместителем Бога на земле. Любовь есть самое прямое следствие существования Бога. Если мы часто и не понимаем этого и полагаем, будто наша любовь относится к такому-то человеку, то только потому, что так задумано нашим Творцом. Мы присланы в этот мир, чтобы выполнять некую предусмотренную Его неисповедимым планом работу, потому на протяжении земной жизни мы не должны отвлекаться от материала нашей здешней деятельности — чувственно воспринимаемых структур. В то же время работать с этими структурами, находясь целиком в их плоскости, бессмысленно. Чтобы избежать такой заикленности, в нас и вложен механизм «запечатления», благодаря

которому мы, сами того не сознавая, относимся к чувственным образам как к сверхчувственным, т. е. оперируем с ними по высшим по отношению к ним правилам мира идей. Но запечатление не является жестким. Осваивая новый для нее язык чувственных сигналов, душа, если это необходимо, может изменять систему соотношения «тамошних» и «здесьних» объектов. Естественно, что наибольшей способностью пересоотнесения обладают тамошние объекты высочайших уровней. Они нужны душе более всего, поэтому не должны подвергаться угрозе, которая возникла бы, если бы мы скрепляли их со строго определенными земными объектами, всегда могущими уйти из нашей жизни. Эти мощные стимуляторы нашего поведения должны зажигаться за чувственными образами в самых ответственных точках предметного мира, а поскольку эти точки по мере выполнения нами нашей земной миссии меняются, им необходима значительная мобильность. Любовь, т. е. тяга к Богу, есть особенно действенный стимулятор, поэтому она-то и мобильнее всех других. Как путеводная звезда, она блуждает в этом мире, вспыхивая то позади одного объекта, то позади другого, и заставляет нас вступать в брак, сажать деревья, воспитывать детей и защищать родину. Любовь есть не только самый сильный, но и самый универсальный стимулятор, сущность которого заключается в том, что сам великий наш Создатель, укрывшись за какой-нибудь земной маской, подвигает нас на самоотречение и труд.

Но стремление к Богу не запечатлется в нас, если в первые годы жизни мы не будем ощущать присутствия кого-то, кто любит нас и добр к нам. Чтобы перевести на свой язык и воспринять адресованную нам любовь, наша душа должна втайне соприкоснуться с Богом — изначальным источником любви и всепрощения, и частые визиты в Его чертоги потом невольно вспоминаются ею, становясь причиной ностальгии, т. е. нашей собственной любви к кому-то или чему-то. Беззаветно любящие нас в начале жизни взрослые вкладывают в структуру нашей личности еще не саму любовь, а ее главную предпосылку — сознание того, что есть Некто, с кем очень хорошо и без кого очень плохо. Когда такое сознание станет неискоренимым, то оно, как бы ег они подавляли и ни загоняли внутрь обстоятельства, будет время от времени прорываться наружу в виде возвышенных устремлений и порывов. А этот Некто становится знакомым нашей душе только при том

условии, что мы в младенчестве окружены ничего не требующей взамен любовью. Мир человеческий стоит на великой эстафете: чтобы в зрелом возрасте любить самому, нужно в детстве быть объектом чьей-то любви.

Но как расплачиваться за этот аванс?

Людям, которые передали его нам, обычно отплатить бывает невозможно — они уходят из нашей жизни. Но, возможно, в этом кроется какая-то мудрость. Ведь любовь, которую они нам давали, принадлежала на самом деле не им, а Тому, кто есть источник всякой души.

И лучше всего вернуть этот долг непосредственно Ему.

Для этого нужно прежде всего сохранить свою душу. Ведь она есть вложенная в нас часть Его нематериального имущества, и давая нам ее в пользование, Он не только хочет получить ее обратно, но и надеется, как это ясно сказано в евангельской притче о талантах, иметь прирост капитала.

А сохранить душу невозможно, не искоренив из нее предварительно лжи. Главной же ложью современности является тезис бездуховности мира, пропагандируемый наукой. Значит, у меня нет выбора.

Значит, мне надо порвать с воспитавшей меня наукой, стать по отношению к ней ренегатом. Что ж, чему быть, того не миновать. Ведь куда страшнее стать предателем по отношению к создавшему меня Богу.

5 апреля 1978 г.

НЕУЮТНОСТЬ КУЛЬТУРЫ

Для многих людей — среди них встречаются и профессиональные философы — «культура» синоним чего-то надежного и стабильного. Парфенон, Шекспир, Пушкин — имена, звучание которых успокоительно уже потому, что это вечные имена, сработанные из мрамора или бронзы. За их оградой тихо и торжественно, здесь неуместны неопределенность, сомнения, резкие жесты, хриплые голоса.

«Культура» — то, с чем принято соглашаться.

Кому придет в голову спорить с Бахом или Кёльнским собором?

Это не означает, тут же, пожалуй, возразят мне, что речь идет, упаси бог, о каком-то хрестоматийном глянце, о привычном почтении к великим мертвецам.

О да, в ритуал нынешнего «приобщения» к культуре характерно входит отношение к ней, «как к живой». Поэтому вполне разрешается умно поспорить — не с Бахом, конечно, но о Бахе, — или даже сознаться, что «Джоконда» ничуть не затронула». Это неплохо, это служит признаком основательности или, напротив, доверчивой непосредственности — словом, подлинности вашего отношения к культуре. В таких спорах и признаниях, происходят ли они на страницах академических журналов или за чайным столом, всегда присутствует приятное ощущение безопасности. Это не то что приглашать на ужин статую Командора...

Получается, будто культура — это специфически-человеческий способ гармонизировать душераздирающие крайности неухоженной природности и непросвещенной социальности. Такую культуру «приобретают» — вместе с образованием, хорошими книгами, пластинками, альбомами репродукций. От нее ожидают, что она сделает индивида существом добропорядочным и воспитанным и поможет

ему достичь, хотя бы внутри себя, некой комфортной позиции посреди всемирных испытаний.

На соответствующем уровне это становится действительно **духовной** проблемой. Т. е. имеется в виду интеллектуальный комфорт, а не что-либо иное. Как не понять добрых людей, желающих уберечь тождественное себе сознание от искусовых нашествия змия, за коими последовало бы философское грехопадение и изгнание из рая в неизвестность истории. Хотят укрыться от бушующей за окнами стихии «демонизма», от незаконного пересмотра первооснов существования и мышления, пересмотру не подлежащих.

И вот «культура» становится чем-то вроде заклинания!

Ученые специалисты по культуре формулируют все эти вещи, разумеется, куда глубокомысленней; но все же, дело часто сводится к тому, что в культуре видят мачту, к которой велел привязать себя Одиссей, чтобы устоять перед голосами сирен. Нужно зафиксировать сознание в одной точке и во что бы то ни стало остаться неподвижным.

Если уж речь идет об успокоении, обретаемом в культуре как «высшей мере» гармонии, то нетрудно догадаться, что при этом культуру нельзя представить иначе как готовой и законченной. Культура более или менее отождествляется с традицией. Она кристаллизуется в культурных нормах и образцах, будь то «нравственные заповеди» или (непременно «высокие»!) «творения искусства». История — вынужденное, навязанное такой культуре приключение, которому она, склоняясь в душе к благопристойной «кристаллизации», всячески и с отвращением противится. Всякие кризисы и муки культуры, всякие нарушения ее гармонической меры, с этой точки зрения, антикультурны и лишь показывают, что нигилистические силы «чистой» природности и «чистой» социальности часто действуют безуспешно.

При подобном подходе к культуре не возникает ни малейшей внутренней логической необходимости в обосновании культуры как творчества. Напротив, структура консервативно-охранительного подхода неизбежно выталкивает напроць все, что неудобно для порядка, все бескомпромиссно-критическое, угловатое и запальчиво-новое, из которого еще неизвестно, что получится, все странное и неправильное, вообще все не однозначное, все, что остается неустранимо-проблемным, открытым, трагическим.

А ведь мы слышим обычно при этом немало слов о «трагизме культуры»! Но имеется в виду только то, что происходит вокруг да около культуры, только то, что с нею творится, а не как творит она, — короче, внекультурный трагизм обстоятельств, но не трагизм как определение самой культуры, совпадающей с ее способом жить, не тот трагизм, который культура, вполне достойная этого названия, непременно должна вносить и вносит в мир.

Ибо культура, взятая с творческой, порождающей, а не просто репродуцирующей стороны, как способность человека мысленно экспериментировать, воображать еще не существующее или даже не могущее существовать, видеть во всем наличном материале для изменения и тем самым менять, прежде всего, самого себя, становясь подлинным историческим субъектом, — такая, культурная культура, конечно, отмечена высоким трагизмом. Всюду она стремится нарушить стереотипность, законченность, равновесие, отменяет привычный порядок, словом, создает проблемы, а не решает их. Притом культура касается вещей не второстепенных, а главных для мироздания, то есть идет на смертельный риск. Ставит перед человеком последние вопросы и побуждает решать их так, как будто никаких решений до сих пор не было. Когда Блок утверждал, что назначение поэзии — вносить в мировой хаос гармонию, то это ведь и означало, что поэт ведет себя так, словно до него гармонии не существовало. До каждого поэта, до каждого стихотворения, до каждого акта культурного творчества предполагается мир, еще не вышедший из утреннего тумана, и поэт, как ветхозаветный Адам, впервые дает имена сущему. Философ или физик, впрочем, поступают точно так же, и «недостаточно безумные, чтобы быть верными», идеи — это, собственно, идеи недостаточно культурные.

Быть культурным человеком — значит отличаться «странной и опасной манией всякий вопрос решать с начала (что значит со своего личностного начала)». И еще: «то же самое слово, которое кажется абсолютно ясным, если мы слышим или употребляем его в обиходной речи... становится сказочно-головоломным, приобретает странную непотатливость... как только мы изымаем его из обращения, дабы рассмотреть его само по себе...». «Время» или «жизнь», став целью «чудовищного философского домогательства, обращается в тайну, в бездонность, в терзание мысли...». Не нужно думать, что Поль Валери говорил не то, что Блок;

напротив, оба говорили нечто сходное. Никакой «гармонии» нет, если не обнаруживается «бездонность» там, где все «абсолютно ясно». Всякое культурное домогательство совершается как «чудовищное», «варварское», т. е. как бы пришедшее со стороны и не знающее правил. Все позабывшее.

Но что значит «забыть» традицию, разве культурный человек может ее забыть, разве так когда-нибудь бывает? Успокоимся, так не бывает. Тот, кто хочет высказаться, находит любой повод для высказывания обросшим со всех сторон прежними высказываниями (об этом прекрасно писал М. М. Бахтин). Поэтому варварски желают забыть только то, что слишком хорошо помнят. Забывание есть вместе с тем отклик — вопрос, возражение, дерзость, переименование. Невозможно пробиться прямо и непосредственно к бытию сквозь толщу ставшей культуры, расслышать безмолвное бытие в гуле человеческих голосов. Но и невозможно не пробиваться для культуры становящейся. Само собой, обязательна достаточная осведомленность, чтобы просто-душно не принять чужое и готовое за свое, и надо владеть гортанью, чтобы раскрепостить собственный голос, а все-таки, нужно как-то высвободиться из всего этого («проглотить океан книг и извергнуть его обратно»).

Культура вынуждена иметь дело с культурой же, обращая, как Мидас, все, к чему притрагивается, в золото, в себя же (например всякая ностальгия по первоначальному, «естественному» существованию — от античной и ренессансной пасторали до Руссо и Толстого — немедленно превращает и опрощение в сугубо культурное и весьма сложное переживание). Но, если не осталось пустого пространства, если все оно заставлено культурой, то культуре некуда расти. «Все уже сказано».

Нет другого выхода, кроме забывания. «Опереться» всерьез, всей тяжестью современности на традицию — значит ее опровергнуть. Или слышат в произведениях прошлого то, чего не могли слышать создавшие их когда-то поэты и композиторы, т. е. перестают помнить первоначальный смысл; или бросают традиции вызов. Так или иначе, невольно или сознательно, люди творческие обращаются с классиками бесцеремонно (люди нетворческие подобным образом поступают только пока неизвестно, что это классики). И тем продолжают им жизнь. Футуристы мальчишески освистывали Пушкина, будто находились в одном с ним зале, на его, Пушкина, поэтическом вечере. Деликатному Блоку не мог

нравиться поднятый ими шум, но он заступился за футуристов, справедливо полагая, что заступает этим за Пушкина. «Они его бранят по-новому, а он становится ближе по-новому... Брань во имя нового совсем не то, что брань во имя старого, хотя бы новое было неизвестным (да ведь оно всегда таково), а старое — великим и известным. Уже потому, что бранить во имя нового — труднее и ответственнее».

Итак, помнят только то, что забывают. Привычный семиотический фон (традиция) освежается, благодаря нарушениям, новизна которых, в свой черед, значима лишь на этом фоне (как показал еще Тынянов). Из бунта против «культуры» (т. е. всегда против старой культуры, хотя по форме это нередко бунт против «культуры вообще» — как у «новых левых»... или у Льва Николаевича Толстого) может не выйти ничего путного, иногда же что-то выходит, а именно — новая культура. Бог знает, получится ли что-нибудь из маленького дикаря Геккельбери, зато о Сиде это известно заранее. Из чего уж точно не получалось никогда и ничего — так это из респекта к «нормам и образцам». Тома Сойера тетюшка учила быть чистоплотным и послушным мальчиком, его не учили, вообще-то говоря, ничему дурному, но к культуре это отношения не имело. Положим, доля конформности обязательно присутствует в творческой культуре — и даже плодотворна, но лишь в качестве одного из **спорящих** в ней **голосов** (побуждений, логик, семиотических функций), не заглушающего иные голоса. Если же потребность в порядке заставляет от порога отбросить «чудовищные домогательства» — порядок, разумеется, будет восстановлен, но, боюсь, в последнем счете внекультурными средствами.

Изложенное никоим образом не означает, что новое всегда право и симпатично или что плохо быть поборником старины, вообще не предрешает никакой конкретной позиции, однако означает, что спор остается подлинно культурным, лишь пока он длится; длится же он нескончаемо, когда идет не между отвлеченными, овнешненными идеями-результатами, а между субъективными и **поэтому** равноправными, никем и ничем, даже смертью, не отменяемыми сознаниями, укорененными в историческом социуме культуры. В этом плане само противопоставление «нового» и «старого» как таковых снимается в споре, их принципиально синхронизирующем. Существенно не одобрение и не отвержение нового, не одобрение и не отвержение традици-

онного, а диалогическая активность, т. е. понимание чужой, пусть и враждебной позиции, как реальной, незавершенной **проблемы**, как чужой **правды**, и, следовательно, точно такое же восприятие своей, кровной правды как открытой, незавершенной.

Под этим («бахтинским») углом зрения кажутся, между прочим, бьющими мимо цели многочисленные работы Ю. Н. Давыдова против «новых левых» и всей кризисной западной культуры последних ста лет. Ведь интонация и фактура этих работ сводятся к тому, чтобы доказать **мнимость** чужой мысли, чужой боли, с дидактической высоты единственно-возможной позиции, занимаемой автором. В этих работах «только один субъект — познающий и говорящий... Ему противостоит только **безгласная вещь**» (Бахтин). Идет ученая сортировка безгласных вещей, разъясняется, на какой идеологической ниточке висит та или иная марионетка, как «ориентирован» тот или иной текст — освещаемый не другими текстами, а внетекстовой вещной действительностью. По очереди достается всем — Вагнеру и «франкфуртской школе», Хайдеггеру и Томасу Манну, Добро бы Ю. Н. Давыдов бранился с ними! — но он их только бранит, не слушая. Ни с ними, ни, тем более, с «новыми левыми» автор не желает хоть на йоту проделать мысленно вместе их трудный путь, прежде чем разойдется с ними, не желает отнестись к ним, иначе говоря, как к полноценным и равноправным (с автором) субъектам. Их проблемам отказано в том, чтобы быть реальными духовно-творческими проблемами, а не какими-то дешевыми интеллектуальными уловками и контаминациями. Поэтому Ю. Н. Давыдов легко — пожалуй, слишком легко — выходит победителем, так и не решая даже своей идеологической задачи, если понимать ее, как настоящий спор, а не «универсальные приемы „разоблачительства“» (удачное выражение Ю. Н. Давыдова). Все многозначное и живое превращается в повод для одного и того же патолого-анатомического диагноза: «отсутствие дневных красок». Беда не в том, что диагноз чересчур категоричен, сильно упрощает свой объект, а в том, что отнесен к культуре именно как к объекту и что диагностический (прокурорский) способ разбора ставит под сомнение культурную реальность самого авторского сознания, оказывающегося «одним-единственным», не живущим на границах с другими сознаниями.

Примечательно частое недоразумение вокруг формулы

Бахтина о том, что культура располагается «на границе». Одни считают, что это граница, отделяющая «человеческое» от «нечеловеческого» или «надчеловеческого»; другие — что это та трещина, которая, по известному слову Гейне, «проходит через сердце поэта». Но мысль Бахтина не имеет ничего общего с моралистической риторикой. Ищут некую границу за пределами культуры, так что культура оказывается на чьей-то чужой границе, обращенная лицом к лицу к внекультурным категориям. У Бахтина же культура (как и личность) целиком размещается на собственной границе, т. е. на границе с другой культурой: «границы проходят всюду через каждый момент ее». «Пограничность», по Бахтину, это внутреннее определение культуры, не имеющей никакой «своей» замкнутой на себя территории: «культурный атом» существует только в диалоге и, «отвлеченный от границ», становится пустым, заносчивым, вырождается и умирает».

Для моралистического подхода характерно то, что культура берется не изнутри, не в ее отношении к себе самой, а лишь в отношении к природе, социуму и чему угодно; ищут ей место во внешнем для культуры мире, указывают ее роль, беспокоятся о ней, связывают с ней надежды на устройство жизни, короче, толкуют не о проблеме культуры, а о проблемах с культурой. Социальность соответственно понимается не как строение (функционирование) культуры, а как ее причина или наваждение, как та внешняя среда, в которой ей предстоит выполнить гуманистическую миссию. Для выполнения миссии сама культура должна, по необходимости, восприниматься как благополучная, непроницаемая, милая. С «культурой» охотно ассоциируют благородную паутину далеких эпох и особенно гармоничный классицизм (так называют то, в чем уже не чувствуют риска, не замечают неустранимой проблемности). Возле «культуры» надеются согреться, как у домашнего очага. Только нужно сперва защитить ее от всяких исторически привнесенных вещей, делающих культуру какой-то странной и неуютной.

Так, мы уже довольно давно наблюдаем по-человечески понятную борьбу, которую иные гуманитарии добросердечно ведут против классической философии и, главным образом, против науки, в рационализме которых им недостает тепла и сочувствия трудностям, стоящим перед личностью. Впрочем, напрасно отождествляют «внеличную», «вненравственную» предметную форму научного мышления

с теми высокими нравственными и эмоциональными требованиями, которые она ей на сей счет, несомненно, дает (гарантиями, правда, исторически противоречивыми и не безусловными, как и всякие культурные гарантии).

Вообще, некоторые люди любят думать, что в мышлении, в культуре всегда есть что-то лишнее, без чего, на благо культуре, лучше бы обойтись. Предлагают выбросить то подсознательное и причудливо-химическое, то слишком чувственное, то «безддушную» системность, рассудочность и т. п. То «мрачное» Средневековье, то безбожный практический аналитизм Нового времени. Конечно, кому что нравиться. Однако **культура**, в ее современном понимании (как теоретическая идеализация способности к творчеству и саморазвитию, заложенной в культурной эмпирии) — культура нуждается решительно во всех возможных культурах прошлого и настоящего и во всех человеческих склонностях и «сущностных силах» (Маркс), ибо парадоксальность культуры возникает лишь в их сопряжениях и отталкиваниях, в их взаимном провоцировании в человеческой голове, дающем стимулы для исторического движения.

Наивозможная полнота включения в себя, бездонность диалога — вот что потребно для культуры; любое механическое редуцирование, заочное исключение из внутреннего спора — вот что культуру действительно выхолащивает. Но как мы боимся помедлить на сквозняке! как избегаем того, что Гофмансталь назвал «благодатью опровергаемости»! как торопимся, свести незнакомое к знакомому и трудное к легкому! Культура же, напротив, всегда превращает легкое в трудное и знакомое в незнакомое.

Однако, может быть, истолкование культуры как парадокса делает ее слишком элитарной? Наоборот, если культура — это прекрасные нормы и великие образы, к которым следует приобщиться, т. е. если культура более или менее подменяется образованностью и т. п., то неизбежна иерархия потребляющих, «знающих» культуру. Но культуру нельзя «знать», ее никогда не знают, ее творят. Значит, культура — достояние только тех, кто творит? Да. Однако творят ее, разумеется, не только тот, кто пишет музыку или ставит спектакли, но и тот, кто слушает и смотрит — при условии, что это становится для него событием (трудностью, проблемой), возбуждающими цепную реакцию собственного ума и сердца, из которой он в какой-то степени выходит обновленным. В этом суровый демократизм куль-

туры: только жизнестроительного духовного усилия, только потрясенности ждет она от человека и не выдвигает никаких других условий.

Если описать феномен культуры в семиотических терминах, то, по определению Ю. М. Лотмана, культура — это устройство с минимум двумя принципиально разными «языками», причем перекодирование информации об универсуме с одного языка на другой оказывается существенно необходимым, хотя, вместе с тем, почти невозможным. Но как структурно обосновать необходимость разноязычия, при котором каждый язык выглядит по отношению к другому как неправильный и немислимый? Откуда, собственно, берется в семиотическом устройстве, предназначенном (по определению) для понимания, эта потребность в непонимании, в сбоях, в «безумных идеях»? Понимание становится культурным только через преодоление непонимания, всегда остающееся неокончательным, неполным. В процессе невозможно-возможного перевода на другой «язык» (т. е. на границе с другим языком) каждый наличный язык пытается выйти за собственные пределы и, напрягаясь, остраивается, становится проблемой для себя самого. Таким образом, язык получает возможность принципиального обновления (а не просто изменения знаков на противоположные и т. п.). Но языку для его функционирования, это, по-видимому, «не нужно». Это нужно не «составителю сообщения» и не «реципиенту», а субъекту культуры, для которого развитие его субъектной способности есть самодовлеющая человеческая историческая задача. Тут возникает вопрос о границах собственно-семиотического подхода. Прежде всего, под культурой в тесном смысле слова уместно подразумевать не всякую семиотическую систему, но лишь такую, в которой на первый план выступает особая функция самообновления, а не функция стабилизации и репродуцирования самой системы и того, что может быть высказано в пределах наличной логики (назовем вторую функцию «цивилизацией»). Однако, по точному замечанию Ю. М. Лотмана, подлинно новое сообщение невозможно посредством старого кода. Тогда получается, что культура, строго говоря, вообще не есть какое-либо семиотическое устройство какая-либо готовая, нормативно действующая, наличная модель; культура — это трудноуловимый момент перехода от одного устройства к другому. Она подобна богу в негативной телогии: центр ее всюду, а окружность — нигде. Дело семиотиков решить,

может ли диалектическое учение культуры быть интерпретировано во внутреннем логическом пространстве семиотики или же само определение понятия «семотическое устройство» проясняется на его границе с понятием «культура».

Для самосознания всех традиционалистских обществ, т. е. до XVI-XVII веков в Западной Европе заметной и системообразующей была только вторая функция, и, в **этом смысле**, культура — совсем недавнее открытие человечества, открытие, в конечном счете, XX века. До Нового и Новейшего времени культурная функция, конечно, осуществлялась, но, во-первых, в масштабах многовековых эпох, а не индивидуальной человеческой жизни; во-вторых, новизна, в той мере как она обнаруживалась, толковалась и санкционировалась исключительно как поновление старины; в-третьих, каждая культура (здесь этот термин ограничивается его описательно-феноменологическим значением) считала себя лучшей и последней: единственно-возможной. Поэтому ее диалог с другими культурами (в том числе с собственным наследием), если не сводился к нулю отталкиванием или псевдоморфозом, был частичным, обедненным, заторможенным. (Так, например, включалась ближневосточная культура в греческую античную или античная в европейскую средневековую). До новоевропейской и даже до нашей эпохи не было **проблемы культуры**, культуры как проблемы. Понимание этого обстоятельства в советской науке связано, прежде всего, как раз с работами М. М. Бахтина и некоторыми другими (назову книгу В. С. Библера «Мышление как творчество»). В традиционной оппозиции «культура — природа» творческий момент стусевывался именно потому, что им равномерно окрашивалась вся упорядочивающая деятельность человека. Фермент, который дает окраску, не был выявлен, сгущен. Только в исторически-новой оппозиции «культура-цивилизация», т. е. когда потребовались дальнейшие внутренние дифференциации понятия «культура», которые объяснили бы неслыханный способ исторического движения, — культура стала трудностью в отношении к себе. Проблема культуры возникла вместе со **всемирностью** как тем качеством, которое тоже присутствовало раньше в мировой истории скрыто и неполно и тоже стало специфическим открытием XX века.

Дело не только в том общеизвестном факте, что катастрофическая (для традиционного сознания) быстрота исторических перемен непоправимо нарушила, запутала «нор-

мальное», плавное соотношение культурной и цивилизаторской фракций, творчества и репродуцирования, заострило это отношение до парадокса, подчас болезненно сказываясь на той и на другой функции. Важней всего то, что впервые современная культура перестала (или перестает) считать себя лучшей и последней, ощущает себя распахнутой во все стороны, обеспечивает место в себе для любой значимой и непривычной культурной конфигурации прошлого и настоящего, напряженно заглядывает в незнакомое будущее — и только на многоязыкости, на небывалой диалогической активности строит утверждение собственной уникальности. Стихли (затихают) споры о том, «какое искусство выше», или «выживет ли театр в конкуренции с кино», или «что лучше, искусство или наука» и т. п. Исчезает (исчезнет?) иерархическое, догматическое мышление.

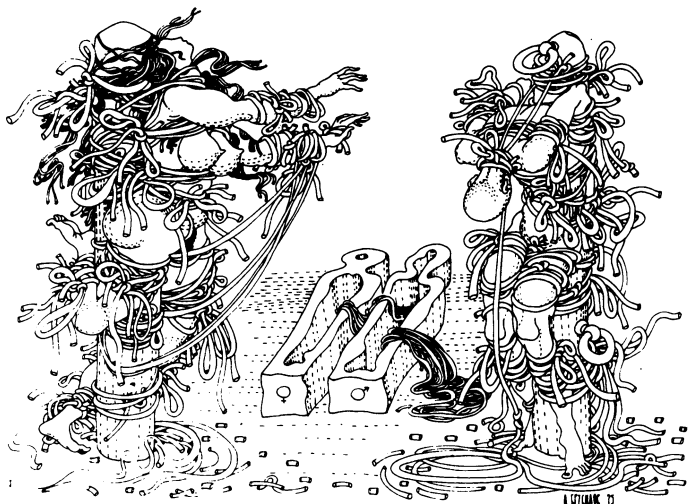
Европоцентризм еще дает знать себя в последних попытках торжественно «возвысить» не-европейские культуры путем перенесения на них конкретно-европейских исторических понятий, вместо выяснения их равноправной специфичности, их «правды». Но этот наивный европоцентризм изжит развитием именно европейского типа культуры, на почве которого только и стало возможным сознательно-диалогическое сопоставление культур. Европеизм, конечно, перестал быть географическим, региональным понятием (на «Востоке» возникает «западное», на «Западе» предостаточно «восточного»). Лишь на Западе, однако, и «Запад» и «Восток» впервые становятся сами собой. Дело идет от суммы национальных и региональных монологов к всемирной многоголосице третьего тысячелетия, к «единству не как природному одному единственному, а как диалогическому согласно неслиянных двух или нескольких» (Бахтин).

Культура не так уж хрупка и уязвима, у нее верблюжий желудок. «Цивилизация» (под которой, кстати, здесь не понимается ничего скверного, если только отношения цивилизации с культурой остаются нормально-трудными, драматическими, иначе говоря, культурными) — это или не втянутые в культуру инертно-традиционалистские элементы, или культура, выпавшая в осадок, остановленная и приспособленная. Но культура умеет придать современную остроту архаике и вторично утилизировать собственные осадки, окультуривая явления «массовой культуры», превращая их в голоса своей полифонии. В истинно-культурном контексте все идет в дело — частушка становится «Двенад-

цатью», голливудские сантименты и трюки — фильмами Чаплина. Культура не только противостоит цивилизации, но и жить без нее ни минуты не могла бы, не отвечая ей, не пародируя, не переплавляя, не подхватывая в ней все характерное. Цивилизация — дикий заказник культуры. Культуре все на пользу и на здоровье, был бы в этом какой-то живой смысл. Только с мертвыми вещами ей делать нечего.

Не будем защищать культуру. Постараемся лучше ей не мешать.

Москва, март 1978 г.



Нам не освободиться, не проснуться
 И милых губ рукою не коснуться.
 Повсюду — путы... Где ж набраться веры?..
 И лилипуты — мы, и гулливеры.

Да, на себя мы взяли обязательства.
 Нас в сеть свою поймали обстоятельства.
 В них путаются лучшие умы...
 Мы — не рабы, скорее рыбы — мы.

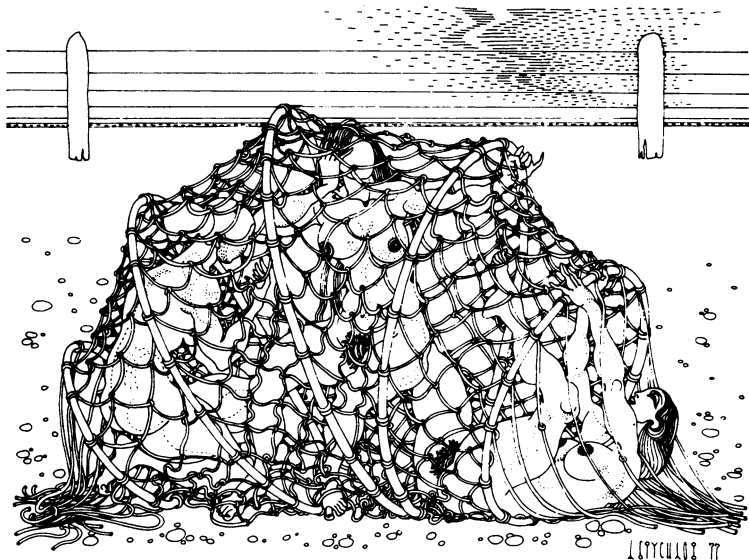




ИЛЛЮСТРАЦИЯ 13

— Будь ты проклят, индивидуум!
 — Наш сократ, гляди, что выдумал,
 Будто все мы связаны, как шишки!
 — Сам запутался в своей ты метафизике!

Куда я тяжесть эту прун?
 Не мученик, но почему-то стал им.
 Всю жизнь — под камнем. А когда умру,
 Мне этот камень станет пьедесталом.

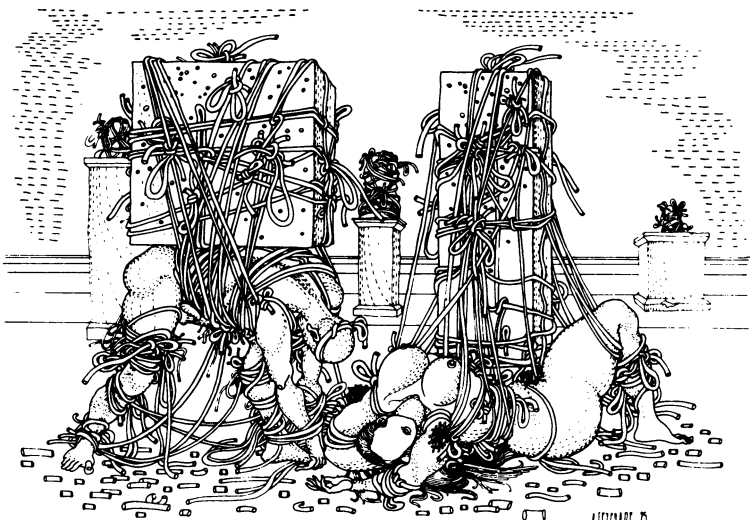
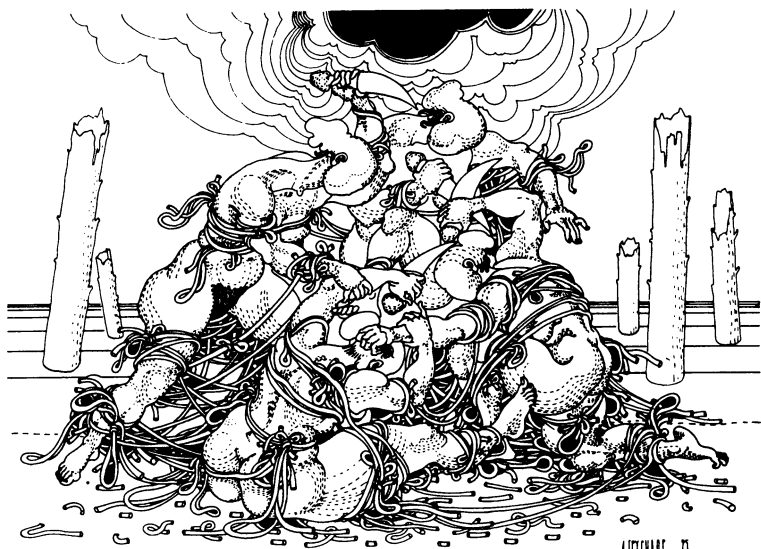


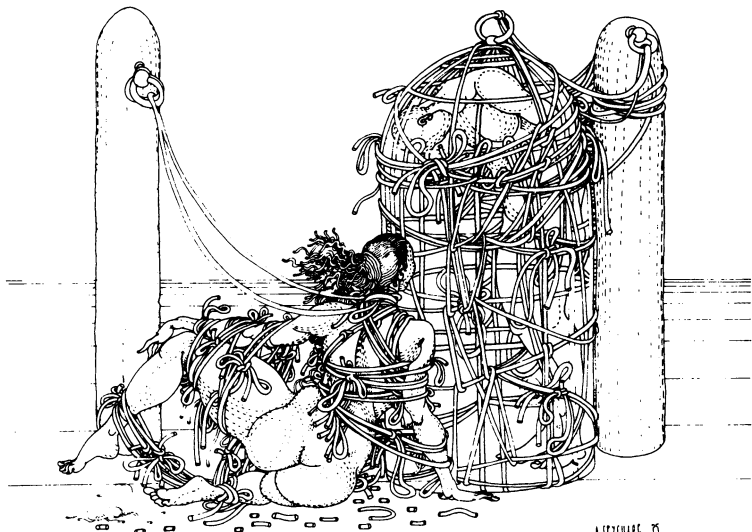
ИЛЛЮСТРАЦИЯ 14



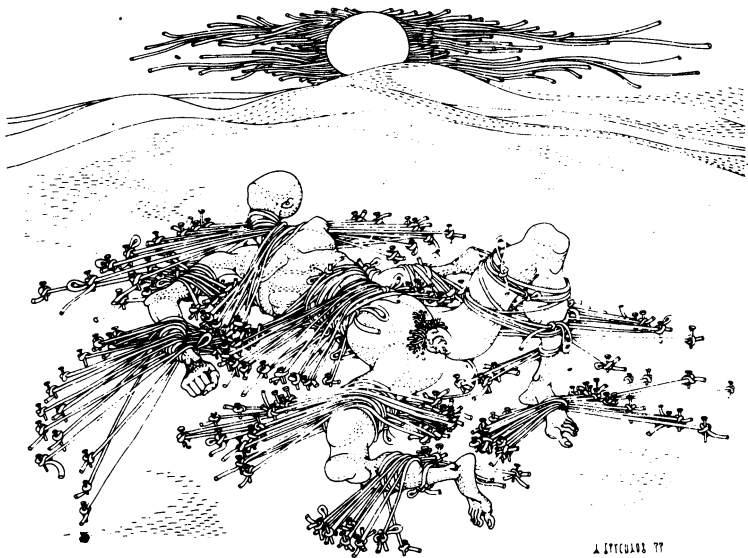
КОТОВИЧ 75

В одной упряжке мы — одна семья
 Убить его? Но он — ведь это я!
 И потому я так страдаю,
 Что сам в себя я попадаю.

Ни жить, ни мыслить по-другому.
 Привязан ты к семье и дому,
 К земле, соседям, старой табуретке...
 Да, ты сидишь в отличной клетке.



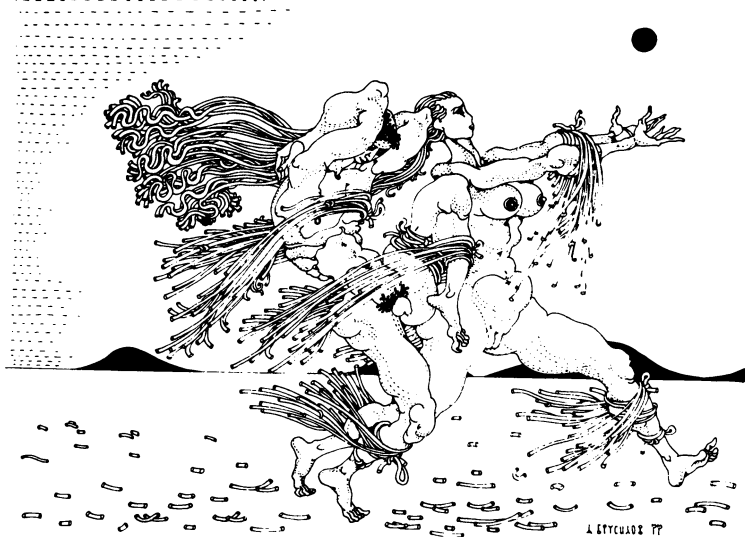
А 67/0485 75



А БУСШАОВ 77

Я Прометею может быть подобен,
Но я люблю свои мучения.
К тому же у меня есть развлечение:
Вообразить, что я свободен.

От уз освободиться,
Как заново родиться.
Только тот рождается,
Кто освобождается.



А БУСШАОВ 77

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

- Аксенов Василий, 1932, прозаик.
Алешковский Юз, 1929, поэт, прозаик, кинодраматург.
Апдайк Джон, 1932, прозаик, драматург.
Арканов Аркадий, 1933, прозаик, драматург.
Ахмадулина Белла, 1937, поэт, переводчик стихов.
Баткин Леонид, 1932, историк культуры.
Битов Андрей, 1937, прозаик, кинодраматург.
Боровский Давид, 1934, художник.
Вахтин Борис, 1930, прозаик, переводчик стихов, синолог.
Вознесенский Андрей, 1933, поэт.
Высоцкий Владимир, 1937, поэт, актер, автор и исполнитель песен.
Горенштейн Фридрих, 1932, прозаик, кинодраматург.
Ерофеев Виктор, 1947, прозаик, критик.
Искандер Фазиль, 1929, прозаик, поэт.
Карабчиевский Юрий, 1938, поэт, прозаик.
Кожевников Петр, 1953, прозаик.
Кублановский Юрий, 1947, поэт.
Липкин Семен, 1913, поэт, переводчик стихов.
Лиснянская Инна, 1924, поэт, переводчик стихов.
Мессерер Борис, 1933, художник.
Попов Евгений, 1946, прозаик, драматург.
Ракитин Василий, 1937, искусствовед.
Рейн Евгений, 1936, поэт, переводчик стихов, кинодраматург.
Розовский Марк, 1937, режиссер, драматург.
Сапгир Генрих, 1928, поэт, драматург.
Тростников Виктор, 1928, физик.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ЭПИГРАФ

Стихи Ю. Кублановского 11, А. Вознесенского 12, С. Липкина 13, Ю. Карабчиевского 14, Е. Рейна 15, И. Лиснянской 16, В. Высоцкого 17, Г. Сапгира 18.

Б. АХМАДУЛИНА

Много собак и собака 21

П. КОЖЕВНИКОВ

Две тетради 48

Е. РЕЙН

Стихи 1959–1979 гг 89–112 Вологда 89, Монастырь 89, Конец монастыря или последнее утро 91, Ключик 92, "Холодным летним днем..." 92, Тридцатое сентября 93, 15 лет назад 94, "Нет вылета. Зима. Забит аэродром..." 96, Подпись к разорванному портрету 96, "Грай вороний над бульваром..." 97, Фонтан 98, У Лукоморья 99, Крестовский 100, Четыре 101, Балкон 102, Японское море 103, 599/600 103, 31 декабря 104, Карантин 105, Меланхолия 106, "За десять лет два раза..." 107, Никодим 109.

Е. ПОПОВ

Чертова дюжина рассказов 113 "Ворюга" 113, Про Кота Котовича 117, Отчего деньги не водятся 121, Золотая пластина 131, Сторож сошел с ума 137, Старая идеалистическая сказка 140, Рукопись, состоящая из одного стихотворения 143, Темный лес 148, "Песня первой любви" 151, Водоем 153, Вера или дополнительные сведения о жизни 158, Горы 167, Голубая флейта 176.

В. ВЫСОЦКИЙ

Стихи и песни 189–214 Ребята, напишите мне письмо 189, "В тот вечер я не пил, не пел..." 189, Рыжая шалава 191, На большом каретном 192, На нейтральной полосе 193, Пародия на плохой детектив 194, О сентиментальном боксере 196, О диком вепре 198, Про нечисть 199, Гололед 201, Лукоморья больше нет 201, "А люди все роптали..." 205, На смерть Шукшина 206, Охота на волков 207, Банька по белому 209, Горизонт 210, "Он был хирургом..." 212, Диалог 212.

Ф. ГОРЕНШТЕЙН

Ступени (повесть) 215

И. ЛИСНЯНСКАЯ

Стихи 314–317 "В день Владимира..." 314, "Про огонь и дерево..." 314, "Я и время – мы так похожи!" 315, "Над санаторным отделением..." 316, В Гегарде 316, Слепой 317.

С. ЛИПКИН

Стихи 318–325 Фантастика 318, Хаим 322, В пустыне 323, Крик чаек 323, "Когда в слова я буквы складывал..." 324.

А. БИТОВ

Прощальные деньки (Из книги "Воспоминания о реальности") 326

Последний медведь 326

Глухая улица 332

Похороны доктора 355

Ю. АЛЕШКОВСКИЙ

Три песни 372–375 Лесбийская 372, Окурочек 373, Личное свидание 374.

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Стихи 376–378 Щиповский переулок 376, Дождь прошел 376, Гекзаметр 377, Есенин 377, Державин 379, После 380.

Ф. ИСКАНДЕР

Маленький гигант большого секса 381

Возмездие 425

Б. ВАХТИН

Дубленка 444

Г. САПГИР

Из книги "Голоса" 491–499 Голос 491, Радиобред 492, Обезьян 493, Сонет 494, Рукопись 495, Подмосковный пейзаж с куклой 495, Диаграмма жизни 496, Любовь 496, Из Катулла 497, Третий Рим 497, О смерти 498.

А. АРКАНОВ

И все раньше и раньше опускаются синие сумерки 500

И снится мне карнавал 509

Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ

Осенняя хроника 519

Элегия 527

В. ЕРОФЕЕВ

Ядрена Фея 537

Приспущенный оргазм столетья 543

Трехглавое детище 552

Ю. КУБЛАНОВСКИЙ

Стихи 615–620 *Восьмистишия 615, 31 января 616, Портрет 617, Сонет 618, "Схизма нашей любви..." 618, "Не Новгород-купец..." 619, Переделкино 619, "Месяц бледен и Врубель ревнив..." 620.*

Д. АПДАЙК

Переворот (отрывок из романа) 621

В. АКСЕНОВ

Четыре темперамента (комедия) 636

М. РОЗОВСКИЙ

Театральные колечки, сложенные в спираль 697

В. РАКИТИН

Через... 707

В. ТРОСТНИКОВ

Страницы из дневника 717

Л. БАТКИН

Неуютность культуры 744

А. БРУСИЛОВСКИЙ (графика), Г. САПГИР (стихи)

Путы 756

Коротко об авторах 760

Форзац и концовка

Б. МЕССЕРЕРА

Издательство „Ардис”

- Фазиль Искандер, САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА (1978).
Андрей Битов, ПУШКИНСКИЙ ДОМ (1978).
Саша Соколов, МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ
(1978).
Саша Соколов, ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ (1976).
Владимир Набоков, ДРУГИЕ БЕРЕГА (1978).
Владимир Набоков, ОТЧАЯНИЕ (1978).
Владимир Набоков, СОГЛЯДАТАЙ (1978).
Владимир Набоков, СТИХИ (1978).
ГЛАГОЛ 1 (1977).
ГЛАГОЛ 2 (1978)
Лев Копелев, И СОТВОРИЛ СЕБЕ КУМИР (1978).
Владимир Войнович, ИВАНЬКИАДА (1976).
Иосиф Бродский, ЧАСТЬ РЕЧИ (1977).
Иосиф Бродский, КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ
(1977).
Алексей Цветков, СБОРНИК ПЬЕС ДЛЯ
ЖИЗНИ СОЛО (1978).
НЕИЗДАННЫЙ БУЛГАКОВ (1977).
Мандельштам, КАМЕНЬ (1977).
Мандельштам, ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА (1977)
Ахматова, ПОДОРОЖНИК (1977).
Булгаков, ДЬЯВОЛИАДА (1977).
Кузмин, ФОРЕЛЬ РАЗБИВАЕТ ЛЕД (1978).
Замятин, НЕЧЕСТИВЫЕ РАССКАЗЫ (1978).
Замятин, ОСТРОВИТАНЕ (1978).
Хлебников, ЗАНГЕЗИ (1978).
Вагинов, КОНСТАНТИН ВАГИНОВ (1978).
Олеша, ЗАВИСТЬ (1978)
СТРЕЛЕЦ, Сборник № 1 (1978).